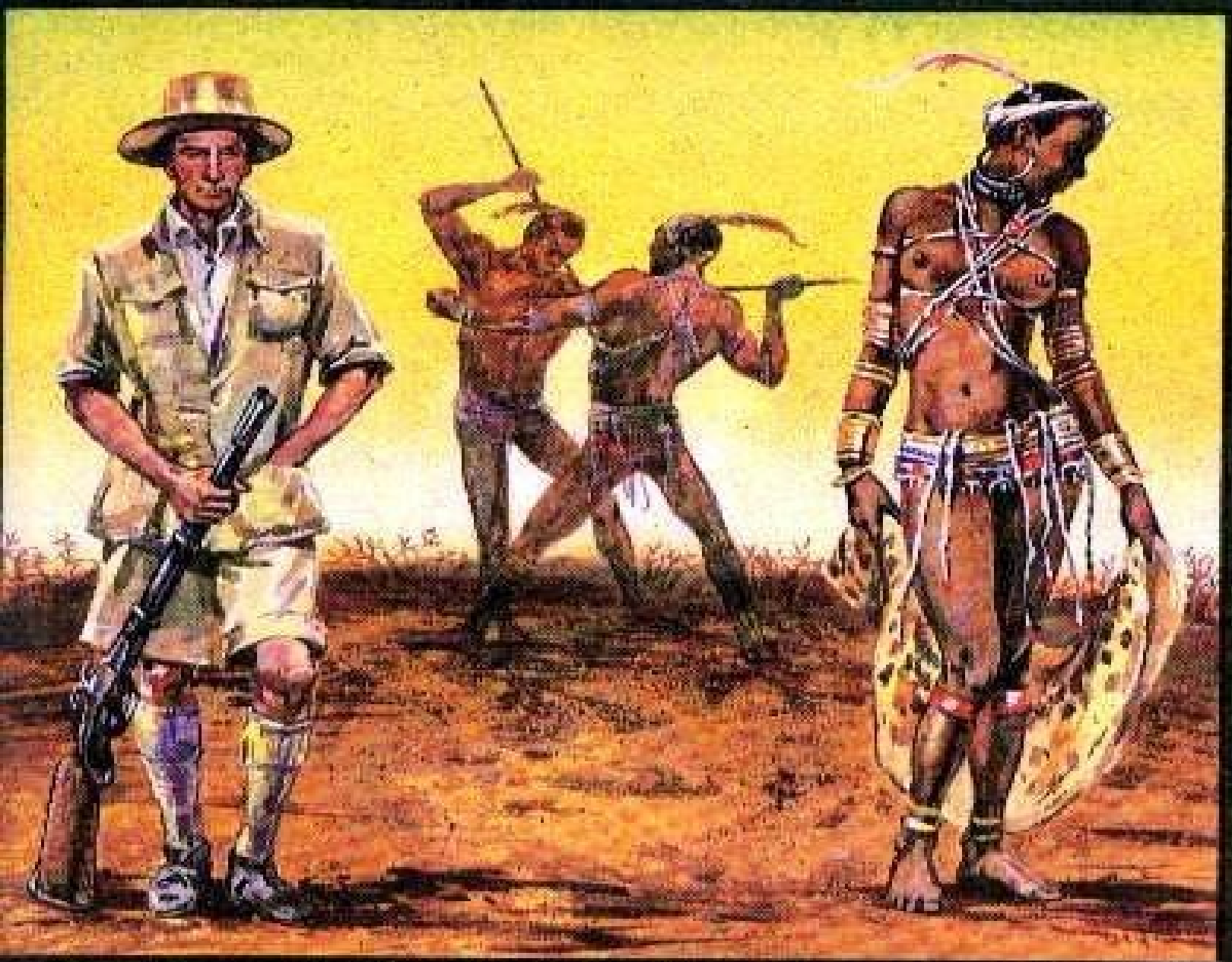
Г. Р. ХАГГАРД



Annotation

Во второй том Собрания сочинений известного английского романиста Генри Райдера Хаггарда (1856-1925) входят три романа и повесть, рассказывающие об удивительных приключениях знаменитого южноафриканского охотника Аллана Квотермейна.

-
  -
  - ДИТЯ БУРИ
  - Глава II. Дурман знахаря
  - Глава III. Охота
  - Глава IV. Мамина
  - Глава V. Соперники
  - Глава VI. Засада
  - Глава VII. Сватовство Садуко
  - Глава VIII. Вражда братьев
  - Глава IX. Аллан Квотермейн возвращается в Землю Зулу
  - Глава X. Загадочное злодеяние
  - Глава XI. Побег Мамины
  - Глава XII. Узуту и изигкоза
  - Глава XIII. Предатель
  - Глава XIV. Торжество победителя
  - Глава XV. Мамина требует поцелуя
  - Глава XVI. Мамина!… Мамина!… Мамина!…
  - АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
  - I. Совет консула
  - II. Черная рука
  - III. У миссионера
  - IV. Альфонс и его Анетта
  - V. Умслопогас дает обещание
  - VI. Рассвет близок
  - VII. Страшная резня
  - VIII. Альфонс обнаружен
  - IX. В неизвестной стране
  - X. Подземный огонь
  - XI . Нахмуренный город

- XII. Сестры-королевы
- XIII. Народ Зу-венди
- XIV. Храм Солнца
- XV. Песня Зорайи
- XVI. У статуи Радемеса
- XVII. Поднимается буря
- XVIII. Война
- XIX. Свадьба
- XX. На поле битвы
- XXI. Вперед! Вперед!
- XXII. Умслопогас защищает лестницу
- XXIII. Я все сказал
- XXIV. Другой рукой
- ЖЕНА АЛЛАНА
- Глава I. Ранние воспоминания
- Глава II. Огненный поединок
- Глава III. На север
- Глава IV. Зулусские воины
- Глава V. Конец лагеря
- Глава VI. Стелла
- Глава VII. Женщина-бабуин
- Глава VIII. Мраморные краали
- Глава IX. «Пойдем, Аллан!»
- Глава X. Гендрика злоумышляет
- Глава XI. Исчезла!
- Глава XII. Что произошло со Стеллой
- Глава XIII. Пятнадцать лет спустя
- ХОУ-ХОУ, ИЛИ ЧУДОВИЩЕ
- Глава II. Изображение в пещере
- Глава III. Открывающий Пути
- Глава IV. Легенда о Хоу-Хоу
- Глава V. Аллан дает обещание
- Глава VI. Черная река
- Глава VII. Вэллу
- Глава VIII. Священный остров
- Глава IX. Пир
- Глава X. Жертвоприношение
- Глава XI. Шлюзы
- Глава XII. Заговор

- Глава XIII. Страшная ночь
- Глава XIV. Конец Хоу-Хоу
- Глава XV. Прощание Сабилы
- Глава XVI. Не на жизнь, а на смерть

- notes

Р. ХАГГАРД

собрание сочинений
в десяти томах





МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1993

Р. ХАГГАРД

собрание сочинений
в десяти томах

том
2

Дитя Бури

Аллан Квотермейн

Жена Аллана

Хоу-Хоу,
или
Чудовище

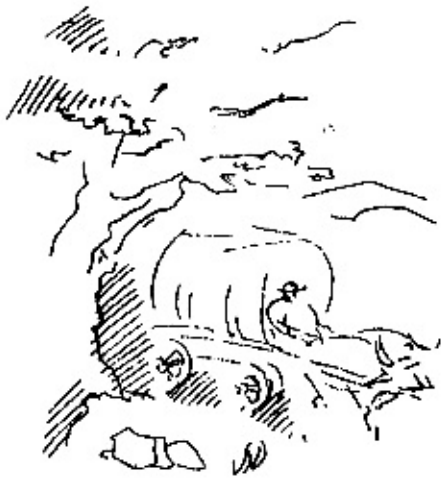


МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1993



Дитя Бури





ДИТЯ БУРИ

Глава I. Аллан Квотермейн слышит о Мамине

Мы, люди белой расы, думаем, что знаем все. Например, мы думаем, что понимаем природу человека. Но в действительности мы понимаем ее лишь так, как она представляется нам — со всеми прикрасами, неясно обрисовывающимися сквозь завесу наших условностей, и упускаем из вида те ее проявления, которые мы забыли или о которых мы находим неприятным вспоминать. Но я, Аллан Квотермейн, размышляя об этих вещах как человек невежественный и необразованный, всегда находил, что никто в действительности не может постичь сущность человеческой природы, если он не изучил ее в грубых, нецивилизованных формах. А с этим проявлением ее я был отлично знаком. Дело в том, что в жизни мне приходилось иметь дело преимущественно с сырым материалом, с девственной рудой, а не с отшлифованными и отполированными предметами, изготовляемыми из нее (если только можно считать их отшлифованными, в чем я сильно сомневаюсь). Я думаю, что придет время, когда более культурные поколения будут смотреть на нас как на грубые, полуразвитые существа, единственной заслугой которых было то, что мы передали потомству огонь жизни.

В жизни все относительно, и на одном конце лестницы стоит человек-обезьяна, а на другом — сверхчеловек, то есть то последнее явление человечества, которое я не хочу и не могу предугадывать.

Но на всех ступенях развития человек остается все же человеком. Я хочу этим сказать, что те же страсти обуревают его и стремится он к тем же честолюбивым целям, и познает те же радости, и удручен теми же горестями — все равно, живет ли он в негритянской хижине или в европейском раззолоченном дворце, ходит ли он на двух ногах или летает по воздуху. Для меня одно несомненно: человек, покуда он жив, поступает в главных своих действиях так, как поступали его предки в течение бесчисленных веков — с некоторыми, конечно, изменениями, вызываемыми климатом, местными условиями и обычаями.

Вот почему я всегда считал дикарей такими интересными. В них

обнажены и ярче выражены те вечные принципы, которые управляют нашей человеческой природой.

И именно поэтому я счел нужным записать на досуге различные случаи из моей жизни, в которых, по моему мнению, выявляется эта наша общая природа. Очень может быть, что никто никогда не прочтет моих записок. Но все-таки — кто знает? — быть может, когда-нибудь в будущем они и попадут в чьи-либо руки и окажутся ценным материалом для изучения человеческой натуры. Во всяком случае, я рассказываю правдивые истории об интересных племенах. Если последние выйдут живыми из дикой борьбы народов, то им, наверное, суждено подвергнуться большим переменам. Поэтому я хочу изобразить их такими, каковы они сейчас, покуда их еще не постигли изменения.

Первая из моих историй — хотя и не в строго хронологическом порядке — гласит об одной женщине, о самой, по моему мнению, красивой женщине, которая когда-либо встречалась у племени зулусов. Вместе с тем это была и самая умная, и самая честолюбивая, и самая порочная женщина. Ее имя — Мамина. Но ее звали также Дитя Бури, потому что она родилась в ночь, когда свирепствовала страшная буря.

Мамина мне очень напоминает прекрасную Елену, описанную поэтом Гомером. Во всяком случае, общее между ними то, что обе они были красивые, хотя одна из них была черная или, вернее, бронзовая, а другая — белая. Кроме того, обе они были вероломные и стали причиной гибели сотни мужчин. На этом, пожалуй, кончается сходство, так как в Мамине было гораздо больше темперамента, чем в Елене, которая, если только Гомер верно изображает ее, была, в конце концов, недалекой, пустой женщиной. Елена была воплощением красоты, которую эти старые плуты, греческие боги, использовали как ловушку для поимки многих достойных мужей. Такова была Елена, как понимаю ее я, не получивший классического образования. Мамина же, хотя она и была суеверной — обычная слабость женщин — не признавала никаких богов и расставляла свои ловушки с переменным успехом, но с весьма определенной целью: играть видную роль в Земле Зулу.

* * *

С Маминой я встретился в первый раз в 1854 году, и мое знакомство с

ней продолжалось до 1856 года, когда оно оборвалось после кровопролитной битвы при Тугеле, в которой погиб Умбулази, сын Мпанды и брат Кетчвайо, на свое несчастье тоже встретившийся с Маминой.

В те дни я был еще молодым человеком, хотя уже успел схоронить свою вторую жену после краткой, но счастливой брачной жизни. Оставив своего сынишку в Дурбане на попечение верных и добрых людей, я отправился в Землю Зулу, где бывал еще юношей. На этот раз я поехал туда, чтобы удовлетворить свою страсть охотника и попутно заняться торговлей.

В сущности, у меня не было призвания к коммерческим делам, что видно из того, как мало я достиг в этом направлении. Но охота всегда была моей страстью — не потому, что я люблю убивать живые существа. Нет, могу вас уверить, что во мне главным образом говорило спортивное чувство. Мне нравилась бродячая жизнь в диких местах, где часто моими спутниками были только небесные светила; нравились постоянные приключения; нравилось знакомиться с новыми племенами, с которыми мне приходилось сталкиваться. Короче говоря, меня привлекала и теперь еще привлекает вечная перемена, опасность положения и надежда открыть что-нибудь новое.

* * *

Дело было в мае 1854 года, когда я отправился охотиться в дикую местность между реками Блэк- и Уайт-Умфолози. Охоту мне разрешил сам Мпанда, которого буры сделали правителем Земли Зулу после поражения и смерти его сводного брата Дингаана[1]. В этих местах свирепствовала лихорадка, а потому я отправился туда в зимние месяцы. Местность была так густо покрыта кустарником, что при полнейшем отсутствии дорог я счел благоразумным не брать с собою свои фургоны и отправился пешком. Моими спутниками были туземец-метис по имени Сикаула, которого обыкновенно звали Скаулем, зулусский вождь Садуко и кафр[2] по имени Умбези, в краале[3] которого, в горах, я оставил свой фургон и нескольких своих людей со слоновой костью и другими местными товарами.

Этот Умбези был полный, здоровый мужчина лет шестидесяти, очень жизнерадостный, и, что редко бывает среди негров, он любил охоту как

спорт, а не как промысел. Зная эту его склонность и его искусство находить дичь, я обещал подарить ему ружье, если он согласится сопровождать меня и приведет с собою еще несколько охотников. У меня было одно плохое старое ружье, которое имело неприятную привычку стрелять при полувзведенном курке. Но даже после того, как я объяснил ему все недостатки ружья, он подпрыгнул от радости при этом предложении.

— О Макумазан (это было имя, данное мне туземцами и которое означало «Бодрствующий В Ночи»), гораздо лучше иметь ружье, которое стреляет, когда этого не ожидаешь, чем вовсе не иметь ружья, и у тебя благородное сердце, что ты мне его обещаешь. Если у меня будет ружье белых людей, то на меня будут смотреть с почтением, и все живущие между обеими реками будут меня бояться.

В то время, как он говорил, он взял в руки ружье, которое было заряжено. Я инстинктивно отошел в сторону. Ружье выстрелило и отбросило Умбези назад — это ружье сильно отдавало; пуля же оторвала край уха у одной из его жен. Женщина с воплем убежала в хижину.

— Это ничего не значит, — сказал Умбези, вставая и потирая плечо с горестным видом. — Хотел бы я, чтобы злой дух, сидящий в ружье, оторвал ей язык, а не ухо. Это вина самой Старой Коровы, которая всюду сует свой нос. Теперь ей будет о чем поболтать с соседями, и на время она оставит меня в покое. Хорошо, что это была не Мамина, мне было бы жаль, если бы ее наружность пострадала.

— Кто это Мамина? — спросил я. — Твоя последняя жена?

— Нет, нет, Макумазан. Я хотел бы, чтобы она была моей женой, потому что тогда бы у меня была бы самая красивая жена во всей стране. Она моя дочь, но не от Старой Коровы. Ее мать умерла, когда она родилась, в ночь великой бури. Спроси Садуко, кто такая Мамина, — прибавил он с широкой усмешкой, приподнимая голову от ружья, которое он осматривал теперь с опаской, и кивая в направлении человека, который стоял позади его.

Я повернулся и в первый раз увидел Садуко, который сильно отличался от обычного типа туземцев.

Это был высокий, идеально сложенный молодой человек. Хотя его грудь была испещрена шрамами от нанесенных копьями ран, доказывающими, что он был воином, однако он не удостоился чести носить головное кольцо[4]. Право ношения такого обруча дается только за особые заслуги и в более зрелом возрасте. Но лицо его поразило меня больше, чем его сложение и физическая сила. Это было бесспорно очень красивое лицо, почти вовсе не носившее черт негритянского типа. Он скорее напоминал

темнокожего араба, и, вероятно, в его жилах и текла арабская кровь. Глаза были большие и вдумчивые, и видно было, что он получил некоторое образование.

— С добрым утром, Садуко, — сказал я, с любопытством разглядывая его. — Скажи мне, кто такая Мамина.

В виде приветствия он приподнял руку, и эта вежливость понравилась мне, так как, в конце концов, я был для него простым охотником.

— Инкоси[5], — произнес он приятным низким голосом, — разве ее отец не сказал тебе, что она его дочь?

— Да, — ответил весело старик Умбези, — но ее отец не сказал, — что Садуко ее возлюбленный или, вернее, хотел бы стать ее возлюбленным. Ты, Садуко, — продолжал он, погрозив ему своим толстым пальцем, — с ума сошел, если думаешь, что такая девушка, как Мамина, может принадлежать тебе. Если ты мне дашь сто голов скота, то тогда я, может быть, подумаю об этом. У тебя же нет и десяти, а Мамина моя старшая дочь и должна выйти за богатого человека.

— Она любит меня, Умбези, — ответил Садуко, глядя вниз, — а это значит больше, чем скот.

— Для тебя — может быть, Садуко, но не для меня. Я беден и хочу иметь побольше скота. Кроме того, — прибавил он, хитро взглянув на него, — разве ты так уверен, что Мамина любит тебя, хотя ты и такой красавец? Я так полагаю, что сердце ее никого не любит, кроме себя самой, и что в конце концов она послушается голоса своего разума, а не голоса сердца. Красавица Мамина не пожелает стать женой бедного человека и исполнять всякую грязную домашнюю работу. Но приведи мне сто голов скота, и мы тогда посмотрим, потому что, по правде сказать, если бы ты был богатым человеком, то я не пожелал бы никого другого в мужья моей дочери, разве только Макумазана, — сказал он, толкнув меня локтем. — Он возвеличил бы мой дом.

Во время этой речи Садуко беспокойно переминался с ноги на ногу. Мне показалось, что он считал правильной оценку Умбези характера его дочери. Но он только сказал:

— Скот можно приобрести.

— Или украсть, — подсказал Умбези.

— Или захватить в виде добычи на войне, — поправил его Садуко. — Когда у меня будет сто голов скота, я напомню тебе твои слова, о Умбези.

— А чем ты тогда будешь жить, дурень, если отдашь мне весь свой скот? Нет, нет, перестань говорить глупости. Раньше чем у тебя будет сто голов скота, у Мамины будет шестеро детей, и будь уверен, они не тебя

будут звать отцом. Ах, это тебе не нравится! Ты уходишь?

— Да, я ухожу, — ответил Садуко, и его спокойные глаза вспыхнули. — Только уж смотри, чтобы человек, которого они будут звать отцом, остерегался Садуко.

— Остерегайся лучше своих слов, молокосос, — сказал Умбези серьезным тоном. — Ты хочешь пойти по стопам своего отца? Надеюсь, что нет, потому что я люблю тебя. Но такие слова не забываются.

Садуко вышел, делая вид, что не слышит.

— Кто он? — спросил я.

— Он высокого происхождения, — коротко ответил Умбези. — Он был бы теперь великим вождем, не будь его отец заговорщиком. Дингаан *вынюхал* его[6]. — Умбези сделал боковое движение рукой, имеющее большое значение среди зулусов. — Они все были убиты: сам вождь, его жена, его дети и все его родные — все, за исключением его брата Тшозы и его сына Садуко, которого приютил у себя старый карлик Зикали, самый известный иньянга[7] в нашей стране. Но лучше об этом страшном деле не говорить, — прибавил он, вздрогнув. — Идем, Макумазан, и полечи мою Старую Корову, а то она не даст мне покоя несколько месяцев.

И я пошел осматривать Старую Корову — не потому, что чувствовал к ней особое сострадание, так как, по правде сказать, она была очень неприятной старухой. Это была брошенная жена какого-то вождя, на которой в незапамятные времена женился хитрый Умбези из политических соображений. Я пошел к ней в надежде услышать что-нибудь о Мамине, которой я заинтересовался.

Войдя в хижину, я нашел женщину, прозванную Старой Коровой, в плачевном состоянии. Она лежала на полу, измазанная кровью, вытекавшей из ее раны, окруженная толпой женщин и детей. Через определенные промежутки времени она испускала страшный вопль и объявляла, что умирает, после чего все присутствовавшие тоже начинали вопить. Короче говоря, это был ад кромешный.

Попросив Умбези очистить хижину от посторонних, я отправился за лекарствами. Тем временем я приказал своему слуге Скаулю обмыть рану. Скауль выглядел очень забавно, со светло-желтым оттенком кожи, так как в нем была сильная примесь готтентотской[8] крови. Вернувшись десять минут спустя от своего фургона, я услышал еще более ужасающие вопли, хотя хор вопивших стоял теперь вокруг хижины. В этом не было ничего удивительного, так как, войдя в хижину, я застал Скауля, подправлявшего ухо Старой Коровы тупыми ножницами.

— О Макумазан, — проговорил Умбези хриплым шепотом, — не лучше ли, быть может, оставить ее в покое? Если она истечет кровью, то, во всяком случае, она станет спокойнее.

— Человек ты или гиена? — накинулся я на него и принялся за дело, заставив Скауля придерживать между коленями голову несчастной женщины.

Наконец все было кончено. Я проделал простую операцию — прижег ей ухо сильным раствором ляписа[9].

— Вот, мать, — сказал я, оставшись с ней наедине в хижине, так как Скауль убежал, укушенный Старой Коровой в ногу, — теперь ты не умрешь.

— Нет, гадкий ты белый человек, — зарыдала она, — я не умру, но что стало с моей красотой!

— Ты станешь еще красивее, чем когда-либо, — ответил я. — Ни одна женщина не будет иметь уха с таким изгибом. Но, кстати, скажи мне, где Мамина?

— Я не знаю, где она, — сказала она со злобой, — но я отлично знаю, где она была бы, будь на то моя воля. Это она, эта скверная девчонка, — тут она прибавила несколько сочных эпитетов, которых я не хочу повторять, — навлекла на меня это несчастье. Мы слегка с ней поссорились вчера, и так как она колдунья, то она напророчила мне беду. Да, когда я случайно оцарапала ей ухо, она сказала, что скоро мое ухо будет сожжено, и вот теперь оно действительно горит, как в огне.

Это было, несомненно, верно, так как ляпис начал оказывать свое действие.

— Ох, белый дьявол, — застонала она, — ты околдовал меня, ты наполнил мою голову огнем.

Затем она схватила глиняный горшок и швырнула его в меня со словами:

— Вот тебе плата за твое лечение! Ступай, ползи за Маминой, как другие, и пусть она полечит тебя.

В это время я уже наполовину вылез через отверстие хижины. Котелок с горячей водой, брошенный мне вслед, заставил меня поспешить.

— Что случилось, Макумазан? — спросил Умбези, ожидавший меня снаружи.

— Ровно ничего, мой друг, — ответил я с лукавой улыбкой. — Твоя жена хочет только тебя немедленно видеть. Ей больно, и она желает, чтобы ты утешил ее. Войди, не мешкай.

После минутного раздумья он вошел, то есть его половина туловища

влезла в хижину. Затем послышался страшный треск, и он снова вынырнул с ободком горшка вокруг шеи и с лицом, обмазанным медом.

— Где Мамина? — спросил я его, когда он уселся, отплевываясь.

— Там, где я желал бы быть теперь, — ответил он едва разборчиво.

— В одном краале, в пяти днях пути отсюда.

В эту ночь, когда я сидел под брезентом, прикрепленным к фургону, и курил трубку, со смехом вспоминая приключение со Старой Коровой и интересуясь, удалось ли Умбези счистить мед с лица, брезент зашевелился и под него в фургон прополз какой-то кафр и уселся на корточках передо мной.

— Кто ты? — спросил я, потому что было так темно, что я не мог разглядеть лица человека.

— Инкоси, — ответил низкий голос, — я Садуко.

— Добро пожаловать, — ответил я, подавая ему в знак гостеприимства кисет с нюхательным табаком. Затем я подождал, пока он насыпал себе табак на ладонь и втянул его в нос.

— Инкоси, — сказал он, обтерев слезы, выступившие от табака,

— я пришел попросить тебя об одной милости. Ты слышал, как Умбези сегодня говорил, что отдаст мне свою дочь Мамину только в том случае, если я ему достану сто голов скота. Но у меня нет ничего, а заработать их я не смогу, даже проработав многие годы. Поэтому я Должен захватить их у одного племени, которое, я знаю, ведет войну с зулусами. Но я могу захватить скот только в том случае, если у меня будет ружье. Инкоси, если у меня будет хорошее ружье — такое, которое стреляет когда нужно, а не по своему желанию, то я могу уговорить некоторых друзей помочь мне в моем предприятии.

— Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я ни за что ни про что подарил тебе одну из моих лучших двустволок, которая стоит не меньше двенадцати быков? — спросил я удивленным тоном.

— Не совсем так, Макумазан, — ответил он, — я никогда не посмел бы сделать тебе такое невыгодное предложение.

Он замолчал, взял еще щепотку табаку, а затем продолжал задумчивым тоном:

— Там, где я предполагаю добыть эти сто голов скота, имеется его гораздо больше. Мне сказали, что там вообще не менее тысячи голов. Инкоси, — прибавил он, искоса взглянув на меня, — положим, ты дашь мне ружье, о котором я тебя прошу, и, положим, ты отправишься вместе со мной со своим собственным ружьем и с вооруженными охотниками, тогда по справедливости ты получишь половину скота. Не так ли?

— Недурно, — сказал я. — Значит, ты хочешь сделать из меня вора. Я украду скот, а Мпанда перережет мне глотку за то, что я нарушил мир в его стране. Ты этого хочешь?

— Нет, Макумазан. Это мой собственный скот. Слушай, что я тебе расскажу. Ты слышал о Мативаане, вожде нгваанов?

— Да, — ответил я. — Его племя жило у верховьев Умвиниати, если я не ошибаюсь. Затем они были разбиты бурами или англичанами, и Мативаан перешел к зулусам. Но затем Дингаан смел его племя с лица земли со всем его родом, и теперь весь его народ рассеян.

— Да, его народ рассеян, но род его продолжает жить. Макумазан, я один из представителей этого рода, я единственный сын старшей его жены. Зикали Мудрый, принадлежащий к племени ндвандве, спас и укрыл меня. Он ненавидел правителей зулусов Чаку[10] и Дингаана и их отца Сензангакону, но никто из них не посмел убить Зикали, древнего иньянгу, потому что он могущественнее всех людей.

— Если он так могуществен, то почему же он не спас твоего отца, Садуко? — спросил я, не показывая вида, что уже раньше слыхал о Зикали.

— Не могу сказать, Макумазан. Во всяком случае, вот как все произошло. Бангу, предводитель амакобов, нашептал Дингаану, что мой отец Мативаан будто бы был колдуном, а также, что у него будто бы были несметные богатства. Дингаан поверил его словам и подумал, что болезнь, которой он страдал, напущена колдовством моего отца. Он сказал: «Ступай, Бангу, возьми с собой людей и отправься в гости к Мативаану, а ночью, о, ночью… Потом мы разделим с тобой скот, потому что Мативаан силен и умен и ты не должен даром рисковать своей жизнью».

Садуко замолчал и в тяжелом раздумье уставился глазами в землю.

— Да, Макумазан, — сказал он, наконец, — злодейство было совершено. Они пользовались гостеприимством моего отца, они передали ему подарок от Дингаана и восхваляли его. Да, Бангу поделился с ним щепоткой табаку и называл его братом. А затем ночью, о, ночью…

Вновь помолчав немного, Садуко наконец продолжил свой рассказ:

«Мой отец был в хижине с моей матерью, и я, не выше этого, — он показал рукой рост десятилетнего мальчика, — был с ними. На дворе раздались крики, показалось пламя. Отец выглянул из хижины и понял, в чем дело. «Проломай изгородь и беги, жена, — сказал он. — Беги с Садуко, чтобы он остался в живых и отомстил за меня. Ступай, пока я буду защищать ворота. Ступай к Зикали, он поможет вам».

Затем он поцеловал меня в лоб, сказал мне только одно слово: «Помни!» — и вытолкал нас из хижины.

Моя мать стала пробиваться сквозь изгородь, она рвала ее зубами и ногтями, как гиена. Стоя в тени, я оглянулся назад и увидел моего отца Мативаана, сражавшегося как буйвол. Люди валились от его ударов, хотя у него не было щита, только одно копье. Затем Бангу подкрался к нему сзади и ударил его в спину, и он взмахнул руками и упал. Больше я ничего не видал, так как мы в это время пробились сквозь изгородь. Мы побежали, но нас заметили. Они устроили погоню и охотились за нами, как дикие собаки охотятся за кабаном. Они метнули в мою мать копье и убили ее. Копье вошло в ее спину и вышло из сердца. Я обезумел, вытащил копье из ее тела и побежал навстречу врагам. Я нырнул под щит первого воина, очень высокого человека, и держал копье вот так, обеими своими маленькими руками. Он всей тяжестью навалился на острие, и оно проткнуло его насквозь. Он упал мертвый, и рукоятка копья сломалась, ударившись о землю, остальные в изумлении остановились, потому что они никогда не видели такого подвига. Чтобы ребенок мог убить высокого воина — этого еще никогда никто не видал. Некоторые из них хотели дать мне возможность уйти, но в это время подошел Бангу и узнал в убитом своего брата.

— У! — закричал он, узнав кто убил брата. — Этот щенок тоже, значит, колдун, иначе как бы он мог убить воина, сражавшегося не раз на войне? Держите его за руки, пока я прикончу его!

Двое воинов взяли меня за руки, и Бангу подошел ко мне с копьем…»

Садуко остановился, его голос прервался от волнения. Он тяжело дышал, пот лился градом, и судороги сводили его мускулы. Я дал ему кружку воды. Он выпил и продолжал:

«Копье уже оцарапало мне грудь… Смотри, вот здесь остался шрам. — И он указал на белую полоску, как раз под грудной клеткой. — Как вдруг между мной и Бангу встала странная тень, отброшенная пламенем горящих хижин, тень, напоминавшая стоящую на задних ногах жабу. Я оглянулся и увидел, что это была тень Зикали, которого я до этого видел один или два раза. Не знаю, откуда он появился, но он стоял, потрясая своей большой седой головой, сидевшей на его плечах как тыква, и, вращая своими глазищами, насмешливо хохотал.

— Веселенькое дельце, нечего сказать! — воскликнул он, и громкий голос его прозвучал, как плеск воды в пустой пещере. — Веселенькое дельце, о Бангу, предводитель амакобов! Кровь, кровь, сколько крови!… Огонь, огонь, сколько огня!… Я много видел на своем веку разных дел — например, в краале твоей бабки, великой инкосикази[11], когда я сам еле спасся от смерти, однако такого дела, как это, я не припомню. Но скажи

мне, великий вождь Бангу, любимец сына Сензангаконы, что значит это? А? — и он указал на меня и на двух воинов, державших меня за руки.

— Я убиваю этого щенка, Зикали, вот и все, — ответил Бангу.

— Вижу, вижу, — засмеялся Зикали. — Доблестный подвиг! Ты заколол отца и мать, а теперь хочешь заколоть ребенка, который убил одного из твоих воинов в честном бою. Очень достойный подвиг, достойный вождя амакобов! Хорошо, убей его!… Только…

Он остановился и взял щепотку табака из коробочки, которую вынул из дырки в мочке уха.

— Что только? — спросил Бангу.

— Только мне интересно, Бангу, как тебе понравится тот мир, в котором ты очутишься прежде, чем взойдет завтрашняя луна. Вернись тогда обратно, Бангу, и расскажи мне, потому что под солнцем много миров и я хотел бы наверняка знать, в какой мир попадают такие люди, как ты, которые из ненависти и ради наживы убивают отца и мать и затем закалывают ребенка, поразившего взрослого воина копьем, еще обагренным материнской кровью.

— Ты хочешь сказать, что я умру, если убью этого мальчишку? — заорал Бангу громовым голосом.

— А что же иначе? — спокойно ответил Зикали, беря другую щепотку табака.

— Так вот что, колдун! Мы отправимся в тот мир с тобою вместе!

— Хорошо, хорошо, — засмеялся карлик. — Отправимся вместе. Я давно желаю умереть и не могу найти себе лучшего спутника, чем Бангу, вождь амакобов и убийца детей. Идем, храбрый Бангу, идем! Убей меня, если твоя рука подымется на старого Зикали. — И он снова засмеялся ему в лицо.

Тогда, Макумазан, воины Бангу отступили, потому что они испугались странного карлика. Даже державшие меня за руки отпустили меня.

— Что случится со мною, Зикали, если я пощажу мальчика? — спросил Бангу.

Зикали протянул руку и дотронулся до царапины, нанесенной мне копьем. Он поднял свой палец, покрасневший от моей крови, и пристально посмотрел на него при свете луны; затем он языком попробовал кровь.

— Вот что случится с тобою, Бангу, — сказал он. — Если ты пощадишь мальчика, то он вырастет, сделается взрослым и убьет когда-нибудь тебя и твоих родных. Но если ты не пощадишь его, то, я думаю, завтра же ты будешь мертв. Таким образом, весь вопрос в том, хочешь ли ты пожить еще некоторое время или хочешь умереть сразу, захватив и меня

с собой в качестве спутника. Потому что ты не должен оставлять меня здесь, Бангу.

Бангу молча повернулся и ушел, перешагнув через труп моей матери, а за ним ушли все его воины, так что вскоре Зикали Мудрый и я остались одни.

— Что? Они ушли? — сказал Зикали, подняв глаза. — В таком случае и нам лучше уходить, сын Мативаана, а то он может еще передумать и вернуться. Живи, сын Мативаана, чтобы отомстить когда-нибудь за отца».

— Интересная история, — сказал я. — Но что случилось потом?

— Зикали взял меня с собой и воспитывал меня в своем краале, в Черном ущелье, где он жил один со своими слугами, потому что он не разрешал ни одной женщине переступать порога своей хижины. Он научил меня многому и ознакомил меня со многими тайнами, и сделал бы из меня великого знахаря, если бы я этого пожелал. Но я не захотел этого, Макумазан. Зикали мне однажды сказал: «Я вижу перед тобою две дороги, Садуко: дорогу мудрости — это дорога мира, и дорогу безумия — это дорога войны. Я вижу тебя, идущего по дороге мудрости (это и моя дорога, Садуко), и вижу, как ты становишься мудрым и великим, пока, наконец, не достигнешь глубокой старости и, окруженный почестями и уважением всех людей, незаметно исчезнешь в туманной дали. Но только по этой дороге ты должен идти совершенно один, потому что друзья, а в особенности женщины, отвлекут тебя от твоей цели… А затем я вижу другую дорогу — дорогу безумия — и вижу тебя, Садуко, идущего по этой дороге. Ноги твои покраснели от крови, и женщины обвивают руками твою шею, и один за другим погибают твои враги. Ты много грешишь ради любви, и та, ради которой ты грешишь, приходит и уходит, и снова приходит. И дорога эта короткая, Садуко, и конец ее близок, но я не вижу, каков конец твоего пути. Теперь выбирай, по какой дороге ты хочешь идти, сын Мативаана, и выбирай скорее, потому что больше об этих вещах я говорить не буду». Тогда, Макумазан, я подумал о безопасной, но одинокой дороге мудрости, подумал о кровавой дороге безумия, где я найду любовь и войну, и молодость заговорила во мне, и я выбрал дорогу, где были любовь, и война, и неизвестная смерть.

— Если предположить, что в этой притче о двух дорогах есть доля правды, то выбор твой был очень неразумен, Садуко.

— Нет, Макумазан, это был мудрый выбор, потому что из-за этого я увидел Мамину и знаю, почему я выбрал эту дорогу.

— Ах, да, — сказал я. — Мамина… я и забыл о ней. Может быть, ты и не так прав, Я смогу судить об этом, когда увижу Мамину.

— Когда ты увидишь Мамину, Макумазан, ты скажешь, что я был прав. Зикали Мудрый громко засмеялся, услышав о моем выборе. «Вол ищет жирное пастбище, — сказал он, — но молодой бык ищет скудные склоны гор, где пасутся телки, но, в конце концов, бык лучше вола! Иди по своей дороге, сын Мативаана, и время от времени возвращайся в Черное ущелье и рассказывай мне, как идут твои дела. Я обещаю тебе, что не умру, пока не узнаю, каков будет твой конец». Вот, Макумазан, я сказал тебе о таких вещах, которые до этого времени были известны только мне одному. И Бангу теперь в немилости у Мпанды, которому он не хочет подчиниться, и мне дали обещание — все равно как, — что тот, кто убьет Бангу, не будет привлечен к ответственности и может взять себе его скот. Пойдешь ли ты со мною, Макумазан, и разделишь ли со мною его скот?

— Не знаю, — сказал я. — Если твоя история правдива, то я не откажусь помочь тебе убить Бангу, но я сперва должен разузнать об этом деле поподробнее. А пока я завтра отправлюсь на охоту с толстяком Умбези. Но ты нравишься мне, Садуко. Хочешь сопровождать меня и заработать двуствольное ружье?

— Инкоси, — сказал он со вспыхнувшими от радости глазами, — ты щедр и оказываешь мне большую честь. Чего мог бы я желать больше? Но, — прибавил он, и лицо его омрачилось, — сперва я должен спросить Зикали Мудрого, Зикали, моего приемного отца.

— Вот как! — сказал я. — Так ты, значит, все еще привязан к поясу иньянги?

— Нет, Макумазан, но я обещал ему ничего не предпринимать, не посоветовавшись с ним.

— Как далеко живет отсюда Зикали? — спросил я.

— До него один день пути. Если я выйду при восходе солнца, то я могу быть там к закату.

— Хорошо. Тогда я отложу охоту на три дня и пойду с тобой, если ты считаешь, что Зикали примет меня.

— Я думаю, он примет тебя, Макумазан, потому что он мне сказал, что я встречу и полюблю тебя и что ты будешь вплетен в мою жизнь.

— Этот Зикали насыпал тебе в кружку пива дурмана, — ответил я. — Что же, ты всю ночь будешь мне рассказывать такие глупости, когда нужно отправиться завтра же на рассвете? Ступай и дай мне поспать.

— Я иду, — ответил он с улыбкой. — Но если это так, Макумазан, то почему же ты тоже хочешь испробовать дурмана Зикали? — И он ушел, не дождавшись ответа.

Но в эту ночь я спал довольно скверно, потому что странная и

страшная история Садуко овладела моим воображением. У меня тоже были свои причины, почему я желал видеть этого Зикали, о котором я так много слышал еще в прежние годы. Я хотел разузнать, был ли этот карлик обыкновенным шарлатаном, как все знахари и колдуны. Кроме того, он мог мне рассказать более подробно о Бангу, к которому я почувствовал сильную антипатию, может быть совершенно необоснованную. Но более всего я желал видеть Мамину, чья красота произвела такое сильное впечатление на туземца Садуко. Может быть, за тот промежуток времени, когда я отправлюсь к Зикали, она вернется обратно в дом своего отца и я ее увижу до того, как отправлюсь на охоту.

Глава II. Дурман знахаря

На следующее утро я проснулся, как это делают всегда хорошие охотники, очень рано. Выглянув из фургона, я ничего не видел, кроме серого луча света, отраженного от рогов привязанных волов. Вскоре, однако, сверкнул еще луч света, и я догадался, что это блеснуло копье Садуко, сидевшего у потухшего костра и закутанного в плащ из шкур диких кошек. Сойдя с фургона, я тихо подошел к нему сзади и дотронулся до его плеча. Он вскочил и сильно вздрогнул, что говорило о его расстроенных нервах. Но, узнав меня, он сказал:

— Ты рано встаешь, Макумазан.

— Конечно, — ответил я. — Недаром меня называют Бодрствующим В Ночи. Пойдем к Умбези и скажем ему, что я хочу отправиться с ним на охоту послезавтра на рассвете.

Мы пошли с Садуко и нашли Умбези еще спящим в хижине со своей последней женой. Я не желал ему мешать. К счастью, около хижины мы нашли Старую Корову, которая не могла спать из-за своего больного уха. Этикет не разрешал ей входить в хижину, и она ждала снаружи, когда выйдет муж — вероятно, чтобы накинуться на него с бранью.

Осмотрев ее рану и втерев в нее мазь, я попросил ее передать Умбези, что охота откладывается на два дня. Затем я разбудил своего слугу Скауля, сказал ему, что отправляюсь в короткое путешествие, и приказал ему сторожить мои вещи до моего возвращения. Я наскоро выпил рюмку рому и приготовил пакет с вяленым мясом и бисквитами.

Затем, захватив с собой одноствольное ружье, мы отправились в путь пешком, так как я не хотел рисковать своей единственной лошадью.

И я поступил хорошо, так как путешествие действительно оказалось очень затруднительным. Путь лежал через ряд поросших кустарником холмов, гребни которых были покрыты острыми камнями, по которым ни одна лошадь не смогла бы пройти. Мы то поднимались на эти холмы, то спускались с них, то шли через долины, разделявшие их, следуя по какой-то тропинке, которую я так и не мог разглядеть в течение всего этого долгого дня. Я всегда считался хорошим ходоком, так как по природе очень гибок и подвижен, но я должен сказать, что мой спутник переоценил мои способности. Час за часом шел он впереди меня таким шагом, что я вынужден был иногда бежать, чтобы не отстать от него. Гордость не позволяла мне жаловаться, но я был очень доволен, когда к вечеру Садуко

сел на камень на вершине холма и сказал:

— Посмотри на Черное ущелье, Макумазан. — Это были практически первые слова, которые он произнес с тех пор, как мы отправились в путь.

Нужно сознаться, местность была названа метко, потому что это было одно из самых мрачных мест, которое я когда-либо видел. Это была огромная расщелина, промытая водой в горе в незапамятные доисторические времена. Гранитные глыбы были фантастически нагромождены в ней, наваленные одна на другую, образуя высокие колонны. По склонам ее росли темные деревья, редко рассеянные среди скал. Расщелина была обращена лицом к западу, но свет заходящего солнца, наводнявший ее, только еще больше подчеркивал ее пустынность и обширность, так как это была огромная расщелина шириной в некоторых местах чуть ли не с милю[12].

Мы зашагали по этому мрачному ущелью, сопровождаемые насмешливой болтовней павианов, следуя по маленькой тропке, которая привела нас наконец к большой хижине и к ряду тех, что поменьше. Хижины были окружены тростниковой изгородью, и над ними свисала гигантская глыба скалы, которая, казалось, могла упасть в любую минуту.

Из ворот изгороди внезапно выскочили два туземца неизвестно какого племени, но свирепой и угрюмой наружности, и замахнулись на меня своими копьями.

— Кого ты привел сюда, Садуко? — спросил один из них строго.

— Белого человека, за которого я ручаюсь, — ответил Садуко. — Скажите Зикали, что мы хотим его видеть.

— Если ты за него ручаешься, — ответил часовой, — то войди с ним вон в ту хижину. Там найдется пища для тебя и твоего спутника.

Хижина была очень чистая, а табуреты и утварь были из красного дерева с красивой резьбой. Все это, как сообщил мне Садуко, было сделано собственными руками Зикали. Как раз когда мы доканчивали ужин, явился кафр и передал нам, что Зикали нас ждет. Мы последовали за ним через открытую площадку к калитке, находившейся в высокой тростниковой изгороди, и, пройдя эту калитку, я в первый раз увидел перед собою знаменитого старого иньянгу, о котором рассказывалось так много небылиц.

Несомненно, он выглядел очень странно в этой необыкновенной обстановке, и я подумал, что именно простота ее усиливала эффект. Перед нами был небольшой дворик с черным полом из утоптанной муравьиной кучи, смешанной с коровьим навозом. Огромная свешивающаяся глыба скалы служила как бы крышей этому двору, и свод ее возвышался не менее

чем на шестьдесят или семьдесят метров над землей. В эту большую пещеру вливался ярко-красный свет заходящего солнца, окрашивая все внутри, даже большую соломенную хижину на заднем фоне, в кровавый цвет. Увидя изумительный эффект солнечного заката в этом мрачном и зловещем месте, я сразу подумал, что старый знахарь с умыслом выбрал это время для нашего приема, чтобы произвести на нас впечатление.

Но я забыл про обстановку, когда увидел самого старика. Он сидел на табурете перед своей хижиной совершенно один. На нем был только плащ из шкуры леопарда, открытый спереди, и не было никаких украшений вроде змеиных кож, человеческих костей, ладанок с разными зельями и т.п., какие носят обыкновенно знахари.

Наружность его была необыкновенная. Телосложением своим он напоминал упитанного ребенка. Голова была огромная, и седые, заплетенные в косички волосы спадали до самых плеч. Лицо было широкое, очень строгое, с глубоко ввалившимися глазами. Несмотря на свои белоснежные волосы, он не выглядел, однако, старым, так как тело его было крепкое и упругое и не было видно морщин на щеках и шее. Поэтому я подумал, что слухи о его необыкновенной старости преувеличены. Человек, которому, как говорили, свыше ста лет, конечно, не мог иметь таких изумительных зубов, так как я даже на сравнительно далеком расстоянии видел, как они сверкали. С другой стороны, было очевидно, что он явно перешагнул за средний возраст, но по его наружности даже приблизительно нельзя было определить, сколько ему лет. Он сидел, освещенный красным светом заходящего солнца, совершенно неподвижно и смотрел, не мигая, на огненный диск. Говорят, только орел может так смотреть на солнце.

Садуко подошел, и я последовал за ним. Я небольшого роста и никогда не считал свою наружность внушительной, но таким незначительным, как в данном случае, я никогда себя не чувствовал. Высокий, красивый туземец, за которым я шел следом, мрачное великолепие окружающей обстановки с ее кроваво-красным освещением, торжественная, одинокая маленькая фигура передо мной с отпечатком мудрости на лице — все это невольно вызывало самоунижение.

В душе я пожалел, что из любопытства пожелал увидеть этого странного человека, но отступать было поздно. Садуко уже стоял перед карликом и, подняв правую руку над головой, приветствовал его. Почувствовав, что от меня тоже чего-то ожидают, я снял свою потрепанную шляпу и поклонился.

Казалось, знахарь только теперь заметил наше присутствие. Он отвел

глаза от заходящего солнца и оглядел нас долгим, вдумчивым взглядом.

— Привет тебе, сын Садуко, — сказал он низким, внушительным голосом. — Почему ты так скоро вернулся и почему ты привел с собою эту белую блоху?

Этого я не мог вынести и, не дожидаясь ответа моего спутника, вмешался:

— Ты дал мне жалкое прозвище, о Зикали. Что бы ты подумал обо мне, если бы я тебя прозвал тараканом?

— Я счел бы тебя умным, — ответил он, — потому что я действительно, должно быть, похож на таракана с большой головой. Но почему ты обижаешься на мое сравнение с блохой? Блоха работает ночью, как и ты, Макумазан; блоха очень подвижная, как и ты; блоху трудно поймать и убить, как и тебя; и, наконец, блоха напивается досыта кровью людей и животных, и ты так же делал, делаешь и будешь делать.

И он залился громким смехом, который раскатился под скалистым навесом и отозвался эхом. В то время, как я искал ответа в том же духе и как назло не мог в эту минуту найти его, он вдруг перестал смеяться и продолжал:

— Не будем терять драгоценного времени на шутки, потому что на долю каждого из нас его осталось немного. Какое у тебя дело, Садуко?

— Этот белый инкоси, — сказал Садуко, — предложил мне взять меня с собою на охоту и дать двуствольное ружье в уплату за мои услуги. Но я сказал ему, что не могу ничего предпринять без твоего совета, и он пришел узнать, дашь ли ты мне разрешение, отец мой.

— Ты думаешь, — ответил карлик, кивнув своей огромной головой, — что этот белый человек совершил длинное путешествие под палящим солнцем, чтобы спросить меня, может ли он подарить тебе ружье большой ценности за услугу, которую всякий молодой зулус в твоем возрасте охотно оказал бы ему даром? Нет, белый человек пришел потому, что он хотел видеть того, о ком он много слышал. Он хотел удостовериться, действительно ли я обладаю той мудростью, которую мне приписывают, или же я обманщик. А ты пришел узнать, принесет ли тебе счастье дружба с ним и поможет ли он тебе в предприятии, которое у тебя на уме.

— Ты верно угадал, Садуко, — сказал я, — по крайней мере, в той части, которая касается меня.

Садуко ничего не ответил.

— Хорошо, — продолжал карлик, — я сегодня в хорошем настроении и отвечу на оба ваших вопроса.

Он ударил в ладоши, и слуга — один из тех свирепых сторожей,

которые остановили нас у ворот, — появился из глубины хижины.

— Разведи два костра, — сказал Зикали, — и дай мне мое снадобье.

Слуга принес хворост, который он разложил двумя кучками перед Зикали. Затем он зажег их головешкой, принесенной из-за хижины, и подал Зикали мешок из кошачьей шкурки.

— Удались, — сказал Зикали слуге, — и не возвращайся, пока я тебя не позову. Если же, однако, я умру, то похорони меня в известном тебе месте и дай этому белому человеку пропуск для беспрепятственного выхода из моего края.

Слуга поклонился и молча вышел.

После его ухода карлик вытащил из мешка связку перекрученных корешков, а также несколько агатовых камешков и выбрал из них два, один белый, другой — черный.

— В этот камень, — сказал он, подняв белый агат к свету, — войдет твой дух, Макумазан. А в этот, — и он поднял черный агат, — войдет твой дух, сын Мативаана.

Я с недоверием посмотрел на старого колдуна.

— Ты, конечно, считаешь меня старым обманщиком, но смотри, что будет дальше. Твой дух поднимается из тела и душит твою глотку, как это сделал бы этот маленький камушек, если бы ты его проглотил.

Я старался протестовать, но не мог произнести ни слова. Вероятно, я поддался внушению и действительно почувствовал, будто камень застрял в моей глотке. Это нервы, подумал я, результат переутомления. И так как я не мог произнести ни слова, то сидел неподвижно, с недоверчивой усмешкой на устах.

— Теперь, — продолжал карлик, — может быть, вам покажется, что я умру, но вы не трогайте меня, иначе вы сами можете умереть.

В то время, как он говорил, он бросил по большой щепотке корешков, о которых я упоминал, в оба костра, и немедленно из них взметнулись высокие языки пламени — какие-то зловещие языки, которые сменились столбами густого белого дыма с таким сильным едким запахом, какого мне никогда не приходилось встречать. Казалось, этот запах пропитал меня насквозь, а проклятый камень в горле сделался величиной с яблоко.

Затем Зикали бросил белый агат в правый костер, против которого я сидел, и проговорил:

— Войди, Макумазан, и смотри.

А черный агат он бросил в левый костер и сказал:

— Войди, сын Мативаана, и смотри.

Так морочил нас старый знахарь, а мы невольно поддались его

внушению. Я чувствовал какую-то странную пустоту, будто я был не я. Все ощущения, несомненно, были вызваны сильным запахом горящих корней. Однако, вероятно, я сохранил способность видеть и наблюдать, потому что я ясно видел, как Зикали сунул свою голову сперва в дым моего костра, а затем в костер Садуко, потом он откинулся назад, выпуская дым облаками изо рта и ноздрей. Затем я увидел, как он упал на бок и остался лежать неподвижно с распростертыми руками.

В таком положении Зикали пролежал очень долго, и я начал думать, не умер ли он на самом деле. Но в этот вечер я не мог сосредоточить своих мыслей на Зикали или на чем-нибудь определенном. Я просто машинально отмечал все эти факты, как делает это человек, не имеющий к ним никакого отношения. Они меня нисколько не интересовали, потому что во мне было какое-то полное ко всему безразличие и у меня было ощущение, что я не здесь, а где-нибудь в другом месте.

И все происходило как во сне. Солнце село, не оставив после себя даже отблеска. Единственный свет исходил от тлеющих костров, и его было как раз достаточно, чтобы освещать фигуру Зикали, лежащую на боку и напоминавшую своей неуклюжей формой мертвого детеныша гиппопотама. Вся эта история начинала мне страшно надоедать, ощущение пустоты становилось невыносимым.

Наконец карлик зашевелился. Он присел, зевнул, чихнул, встряхнулся и стал шарить голой рукой в горячих угольках моего костра. Вскоре он нашел белый камень, который был раскален докрасна (по крайней мере, таким он казался при свете костра), и, внимательно осмотрев, сунул его себе в рот. Затем он выискал в другом костре черный камень и поступил с ним таким же образом. Потом у меня в памяти осталось, что костры, совершенно уже догоревшие, снова ярко вспыхнули. Я предполагаю, что он незаметно подложил в них топлива. И Зикали опять заговорил.

— Подойдите сюда, Макумазан и сын Мативаана, — сказал он, — и слушайте, что я вам скажу.

Мы подошли к кострам, которые горели необычайно ярко. Затем он выплюнул изо рта на руку белый камень, и я заметил, что камень был покрыт линиями и пятнышками, как птичьи яйца.

— Ты не можешь растолковать эти знаки? — спросил он, держа передо мною камень, и, когда я покачал головой, он продолжал: — А я могу прочесть их так, как вы, белые, читаете ваши книги. Вся твоя прошедшая жизнь написана здесь, Макумазан, но нет необходимости рассказывать тебе ее, так как ты ее сам знаешь. Но здесь также написано и твое будущее, странное будущее. — И он с интересом стал осматривать камень. — Да, да,

удивительная жизнь и славная смерть предстоят тебе. Но об этом ты меня не спрашивал, и поэтому я и не скажу ничего, да ты и не поверил бы мне. Ты меня спрашивал только о предстоящей охоте, и я говорю тебе: если ты благоразумен, то не ходи на охоту с Умбези — ты будешь на волоске от смерти, хотя все кончится благополучно.

Затем он выплюнул черный камень и посмотрел на него таким же образом.

— Твое предприятие будет успешно, сын Мативаана, — сказал он. — Вместе с Макумазаном ты достанешь много скота ценою многих человеческих жизней. В остальном — но ведь ты меня об этом не спрашивал…

Мы сидели совершенно молча, пока карлик не прервал молчания громким жутким смехом.

— Это колдовство, конечно, — сказал он. — Ничего особенного, не правда ли? Почему ты не попросил меня предсказать тебе всю твою будущую жизнь, белый человек? Это тебе было бы интересно, но ты, конечно, ничему этому не веришь! Садуко, ступай спать! А ты, Макумазан, посиди со мной еще в моей хижине, и мы поговорим о других делах.

И он повел меня вовнутрь хижины, хорошо освещенной горящим посредине очагом, и предложил мне туземного пива, которое я выпил с удовольствием, так как горло мое пересохло.

— Скажи, кто ты? — спросил я прямо, когда уселся на низкий табурет и, прислонившись спиной к стене хижины, зажег свою трубку.

Он поднял свою большую голову с кучи шкур, на которой лежал, и посмотрел на меня.

— Меня зовут Зикали, что значит «оружие». Ты это знаешь, не правда ли? — ответил он. — Мой отец умер так давно, что его имя не имеет никакого значения. Я карлик, очень уродливый, с некоторым образованием, как мы, черные, его понимаем, и очень старый. Хотел бы ты еще что-нибудь знать?

— Да, Зикали. Сколько тебе лет?

— Ты знаешь, Макумазан, что мы, кафры, не умеем как следует считать. Сколько мне лет? Когда я был молод, я пришел в эту страну с Большой реки, которую вы, кажется, называете Замбези, с Ндвандве, который в те дни жил на севере. Теперь это уже все забыли, потому что много времени протекло с тех пор, но если бы я умел писать, то описал бы историю этого похода и те великие битвы, в которых мы сражались с народом, жившим до нас в этой стране. Впоследствии стал другом отца зулусов, того, кого до сих пор зовут Инкоси Ункулу (могучий

предводитель). Может быть, ты слышал о нем? Я соорудил специально для него табурет, на котором ты сейчас сидишь, он им пользовался до своей смерти, а потом табурет перешел опять ко мне.

— Инкоси Ункулу? — воскликнул я недоверчиво. — Как же так? Говорят, он жил несколько сот лет тому назад.

— Неужели, Макумазан? Но ведь я тебе уже сказал, что мы, черные, не умеем так хорошо считать, как вы. Правда, мне кажется, что это было только вчера. Как бы то ни было, после его смерти зулусы стали плохо обращаться с нами и с теми племенами, которые пришли с нами с севера. И я поссорился с зулусами и в особенности с Чакой, с тем, кого называли Ухланайя (Безумцем). Видишь, Макумазан, ему нравилось высмеивать меня за то, что я не был похож на остальных людей. Он дал мне прозвище, которое значило «Тот, кому не следовало родиться». Я не хочу выговаривать этого имени, это тайна, которая никогда не сойдет с моих уст[13]. Но временами он обращался к моей мудрости, и я отплатил ему за его насмешки, я давал ему плохие советы, и он следовал им. Таким образом, я был причиной его гибели, хотя никто никогда не догадался о моем участии в этом деле. Но когда он умер от руки своих братьев Дингаана, Мхланганы и Мбопы[14] и тело его было выброшено из крааля, как это делают с преступниками, я пошел ночью, сел у его трупа и громко засмеялся. — Зикали залился своим жутким ужасным смехом. — Три раза я принимался смеяться: один раз за моих жен, которых он отнял у меня; второй раз за моих детей, которых он убил; и третий раз — за насмешливое прозвище, которое он мне дал. Затем я сделался индуной[15] Дингаана, которого я ненавидел еще больше, чем Чаку, потому что он был такой же, как Чака, но без его величия. И ты знаешь конец Дингаана, потому что ты сам принимал участие в этой войне, и конец Мхланганы, его брата и соучастника в убийстве, которого я посоветовал Дингаану убить. Теперь правит зулусами Мпанда, последний из сыновей моего врага Сензангаконы. Мпанда глупец, но я щажу его, потому что он пытался спасти жизнь моего ребенка, которого убил Чака. Но у Мпанды есть сыновья, такие же, как Чака, и я орудую против них, как орудовал против тех, кто были до них.

— Почему? — спросил я.

— Почему? О, если бы я рассказал тебе историю всей своей жизни, то ты понял бы, почему, Макумазан. Может быть, я и расскажу ее тебе когда-нибудь.

— Я верю, — ответил я, — что Чака, Дингаан, Мхлангана и прочие

были нехорошие люди. Но почему ты мне все это рассказываешь, Зикали? Ведь если бы я только повторил это попугаю, то тебя схватили бы, и не успела бы взойти новая луна, как тебя не было бы в живых.

— Ты так полагаешь? В таком случае я удивляюсь, что меня не убили раньше. А рассказываю я это тебе, Макумазан, потому, что со времени Дингаана ты имел такое большое отношение к истории зулусов и я желал бы, чтобы кто-нибудь знал это и, может быть, записал бы, когда все будет кончено. Кроме того, я знаю, что ты умный и осторожный человек и что ты даже попугаю не передашь того, что слышал.

Я наклонился вперед и посмотрел на него.

— Но к какой конечной цели стремишься ты, Зикали? — спросил я. — Ты не из тех, кто попусту бьет палкой по воздуху. Кого ты хочешь ударить палкой?

— Кого? — прошипел он изменившимся глухим голосом. — Ну, конечно, этих гордых зулусов, этот маленький народ, который называет себя «небесным народом»[16] и который проглатывает другие племена, как большая змея проглатывает козлят и поросят. Я из племени ндвандве, это одно из тех племен, к которым зулусы относятся с презрением и считают их паразитами и свиньями. Так вот, я хочу, чтобы свиньи разорвали охотника. Если же это невозможно, то я хочу, чтобы черный охотник был побежден носорогом, белым носорогом твоей расы, Макумазан, даже если бы при этом пострадал также и ндвандвский кабан. Вот, я все тебе сказал, и это и есть причина, почему я так долго живу. Я не хочу умереть, пока это не случится, а я знаю, что это должно случиться. И я, Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться, продолжаю жить, пока не наступит этот день, а когда он наступит, то ты и я, Макумазан, будем находиться друг возле друга, и вот почему я раскрыл тебе свою тайну. Я больше не буду говорить о том, что должно произойти. Может быть, я и так сказал слишком много. Однако не забудь мои слова — или забудь их, если хочешь, а я напомню их тебе, Макумазан, в тот день, когда твой народ отомстит за ндвандве и за всех прочих, на которых зулусы смотрят как на навоз.

Странный карлик присел и в возбуждении стал трясти своими длинными седыми волосами, которые, как полагается знахарям, были заплетены в тонкие косички, пока они не свесились наподобие вуали, скрыв его широкое лицо и глубоко ввалившиеся глаза. Затем он снова заговорил сквозь эту завесу.

— Ты удивляешься, Макумазан, какое отношение имеет Садуко к великим событиям, которые должны произойти. Я говорю тебе, что он наверное будет играть в них известную роль и для этой цели я спас его

ребенком от Бангу и воспитал из него воина; он наверное убьет Бангу, который поссорился теперь с Мпандой, и большое участие во всей этой истории, по всей вероятности, примет Мамина. Она сумеет вызвать войну между сыновьями Мпанды, и эта война повлечет за собой гибель зулусов, так как победитель окажется плохим правителем и навлечет на свой народ гнев более могучей расы. Таким образом Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться, и ндвандве, и все другие племена, которых зулусы называют свиньями, будут отомщены.

— А что будет с Садуко, моим другом и твоим воспитанником?

— Садуко, твой друг и мой воспитанник, пойдет по назначенному ему пути, Макумазан, как ты и я. Чего большего может он желать, принимая во внимание, что он сам выбрал этот путь? Не старайся узнать большего. И к чему, раз время само откроет, что произойдет? А теперь иди отдохнуть, Макумазан, и мне тоже нужен отдых, так как я стар и слаб. А когда тебе захочется снова меня повидать, мы еще поговорим об этом подробнее. Пока же помни, что я только старый колдун, который делает вид, что знает больше других людей. А теперь — спокойной ночи, и не поминай меня лихом.

Глава III. Охота

Я хорошо спал в эту ночь, потому что устал как собака, но на следующий день, во время долгого обратного пути к краалю Умбези, я много раздумывал над теми странными вещами, которые я видел и слышал накануне. Несколько часов мы шагали молча, и наконец молчание было прервано моим спутником.

— Ты все еще думаешь пойти на охоту с Умбези, инкоси? — спросил он. — Или ты боишься?

— Чего мне бояться? — спросил я резко. — Я этим предсказаниям не придаю никакого значения.

— Я все же опасаюсь за тебя, Макумазан, так как в случае, если ты будешь ранен, ты не сможешь пойти со мной забрать скот Бангу.

— Кажется, друг Садуко, ты думаешь только о своем благополучии, а не о моей безопасности, — заметил я насмешливо.

— Если бы это было так, как ты говоришь, Макумазан, разве стал бы я советовать тебе не идти на охоту, теряя таким образом хорошее двуствольное ружье, которое ты мне обещал. Хотя, правда, я охотно остался бы в краале Умбези с Маминой, в особенности в отсутствии Умбези.

Ввиду того, что нет ничего более неинтересного, как выслушивать любовные дела посторонних, и видя, что при малейшем поощрении Садуко готов был снова рассказывать историю своих ухаживаний, я не поддерживал его разговора. Так, молча, мы и закончили наш путь и, прибыв в крааль Умбези вскоре после захода солнца, с разочарованием убедились, что Мамины все еще не было.

На следующее утро мы отправились на охоту. Наша компания состояла из меня, моего слуги Скауля (который был, как я, кажется, уже говорил, наполовину готтентот), из Садуко, старого весельчака Умбези и из нескольких кафров, служивших носильщиками и загонщиками. Охота вначале оказалась очень удачной, потому что в то время в этой местности было необычайно много зверья. Менее чем за две недели я убил четырех слонов, из них два были с огромными клыками, а Садуко, из которого скоро получился хороший стрелок, тоже пристрелил слона из двуствольного ружья, которое я ему обещал! И даже Умбези — я никогда не мог узнать, каким образом, так как это граничило с чудом, — удалось убить слониху с красивыми клыками из старого ружья, которое стреляло при полувзведенном курке.

Никогда не видел я, чтобы человек — чернокожий или белый — был в таком восторге, как этот тщеславный кафр. Целыми часами он танцевал и пел, нюхал табак и делал приветственные жесты рукой, рассказывая мне несколько раз подряд историю своего подвига, причем ни одна версия не походила на другую. Он принял также новый титул, означавший «Гроза Слонов», и приказал одному из своих людей восхвалять его и величать всю ночь напролет, не дав нам сомкнуть глаз, пока, наконец, бедняга не свалился от усталости. Это было действительно очень забавно, пока не наскучило нам до смерти.

Кроме слонов, мы убили много других зверей, в том числе двух львов и трех белых носорогов, которые в настоящее время, увы, почти совсем вымерли. Наконец к концу третьей недели наши люди оказались навьюченными разными трофеями: слоновой костью, рогами носорогов, шкурами и высушенной на солнце козлятиной, и мы решили отправиться на следующий день в обратный путь. На самом деле нельзя было откладывать нашего возвращения, потому что запасы пороха, и свинца подходили к концу.

По правде сказать, я был очень рад, что наша экспедиция кончилась так благополучно, и, возвращаясь в последний вечер с охоты, я указал на это Садуко, прибавив, что только суеверные туземцы могут верить в болтовню кафрских иньянг.

Садуко молча все выслушал и ничего не сказал.

Какой бы ни была причина, но я по опыту знаю, что никогда не следует преждевременно хвастаться. В частности, находясь на охоте, не хвастайтесь до тех пор, пока не будете сидеть в безопасности у себя дома. Справедливость этой старинной поговорки мне суждено было теперь испытать на себе.

Местность, где мы расположились лагерем, была покрыта редким кустарником, а внизу, под холмом, тянулось обширное пространство, поросшее сухими камышами. Вероятно, в период дождей эта местность представляла собою болото, которое питалось небольшой речкой, втекавшей в него с противоположной стороны нашего лагеря. Ночью я проснулся, так как мне показалось, что какие-то большие звери двигались в камышах, но, не услышав больше никаких звуков, я снова заснул.

Вскоре после рассвета меня разбудил чей-то голос. Сквозь сон я узнал голос Умбези.

— Макумазан, — хриплым шепотом говорил он, — камыши внизу кишат буйволами. Вставай! Вставай скорее!

— Для чего? — спросил я. — Если буйволы вошли в камыши, то они

тем же путем выйдут из них. Нам не нужно мяса.

— Нет, Макумазан, но мне нужна их кожа. Мпанда потребовал от меня пятьдесят щитов; у меня нет столько кожи, а убивать для этого моих быков я не хочу. Эти же буйволы здесь как в ловушке. Болото походит на нору с одним выходом. Они не могут выйти сбоку, а проход, по которому они пришли, очень узкий. Если мы встанем по обе стороны, то можем убить много буйволов.

К этому времени я уже совсем проснулся и встал. Накинув на плечи плащ, я вышел из шалаша, сделанного из веток, и прошел несколько шагов к гребню скалистого холма, откуда я мог видеть высохшее русло реки. Внизу еще стлался густой туман, но оттуда доносились мычанье и топот, и я, старый охотник, не мог ошибиться насчет этих звуков. Очевидно, в камыши забралось целое стадо буйволов в сто или двести голов.

В эту минуту к нам присоединились Скауль и Садуко, оба сильно возбужденные.

Оказалось, что Скауль видел, как буйволы вошли в камыши, и предполагал, что их должно быть двести или триста штук. Садуко исследовал проход, по которому они прошли, и заявил, что он так узок, что мы можем убить любое их количество при попытке выйти из болота.

— Я понимаю, — сказал я. — Но, по моему мнению, лучше дать им возможность уйти. Только четверо из нас, считая Умбези, вооружены ружьями, а ассегаи[17] против буйволов не очень пригодны. Пусть уходят подобру-поздорову.

Умбези, думая о дешевом сырье для щитов, сильно запротестовал, и Садуко, для того ли, чтобы понравиться своему будущему тестю, или просто из любви к охоте, к которой он чувствовал всегда страсть, поддержал его. Только Скауль, который в качестве готтентота был хитер и осторожен, принял мою сторону, указывая, что у нас мало пороха, а буйволы едят много свинца. Наконец Садуко сказал:

— Макумазан наш начальник. Мы должны повиноваться ему, хотя это и очень жалко. Но, без сомнения, он думает о своей безопасности, а потому ничего не поделаешь.

Слова Садуко задели меня за живое, так как совесть подсказала мне, что в них была доля правды.

— Я не думаю, чтобы нам удалось уложить больше восьми или десяти буйволов, а это слишком мало для щитов, — сказал я, обращаясь к Умбези. — Иное дело, если бы стадо завязло в тине, но на это нельзя надеяться, так как болото очень сухое. Все равно, идемте и составим план действий. Нам нельзя терять времени, потому что, я думаю, буйволы двинутся раньше,

чем солнце взойдет.

Полчаса спустя четверо из нас, вооруженные ружьями, заняли позиции по обе стороны крутой дороги, прорытой водой и ведущей вниз к болоту, и с нами же засело несколько людей Умбези. Сам Умбези встал рядом со мной — это был почетный пост, который он сам себе выбрал. По правде сказать, я и не противился этому, так как считал безопаснее для себя такое положение, чем если бы он стоял напротив меня: старое ружье могло выстрелить по собственному желанию и попасть в меня.

По-видимому, стадо буйволов улеглось в камышах. Поэтому, заняв наши посты, мы предварительно послали троих туземцев-носильщиков к дальнему краю болота, дав им инструкцию разбудить зверей криками. Остальные зулусы — их было десять или двенадцать человек, вооруженных метательными копьями, — остались с нами.

Но что сделали эти туземцы? Вместо того, чтобы поднять шум, как им приказали, они, очевидно боясь зайти в болото, где могли в любую минуту наткнуться на рога буйволов, подожгли сухие камыши в трех или четырех местах одновременно. Минуту или две спустя дальний край болота превратился в сплошное море пламени, из которого вырывались столбы белого густого дыма. Затем началось столпотворение.

Спавшие буйволы вскочили на ноги и после некоторых секунд нерешительности бросились по направлению к нам, рыча и мыча как безумные. Предвидя, что должно случиться, я быстро отскочил за большую глыбу, а Скауль с быстротой кошки вскарабкался на колючее дерево и, не обращая внимания на его шипы, уселся на верхушке в гнездо орла-ягнятника. Зулусы с копьями рассыпались в разные стороны искать прикрытия. Что сталось с Садуко, я не видел, но старик Умбези, обезумев от волнения, прыгнул на самую середину дороги, крича:

— Они идут!… Они идут!… Нападайте, буйволы, если хотите!… Гроза Слонов ожидает вас!…

— Старый болван! — закричал я, но не мог продолжать дальше, потому что как раз в эту минуту первый буйвол, огромнейшее животное (вероятно, вожак стада), принял приглашение Умбези и уже бежал к нему с наставленными на него рогами. Ружье Умбези выстрелило, а в следующий момент он сам взлетел кверху. Сквозь дым я увидел в воздухе его черное тело, а затем услышал, как оно с шумом упало на вершину скалы, за которой я прятался.

«Конец бедняге», — подумал я и в виде заупокойного поминания всадил буйволу, отправившему его на тот свет, порцию свинца в ребра в тот момент, когда он пробегал мимо меня. После этого я больше не стрелял, так

как подумал, что лучше не выдавать своего присутствия.

За всю свою охотничью жизнь я никогда не видел подобного тому, что произошло потом. Буйволы десятками выскакивали из болота, и каждый из них ревел и мычал на свой лад. Они столпились в узком проходе и, не находя выхода, прыгали друг другу на спины. Они визжали, лягались, ревели. Животные с такой силой ударялись о скалу, за которой я лежал, что я чувствовал, как она трясется. Они сломали дерево, на котором засел Скауль, и выбросили бы его из гнезда ягнятника, если бы, к счастью, верхушка не зацепилась за другое, более устойчивое дерево. А вместе с буйволами на нас неслись облака едкого дыма, смешанного с частицами горящего камыша и порывами раскаленного воздуха.

Наконец все кончилось. За исключением нескольких телят, растоптанных во время бегства, все стадо ушло. Теперь, подобно римскому императору (мне кажется, это был император), я стал подсчитывать свои легионы.

— Умбези! — крикнул я, откашливаясь от удушливого дыма. — Ты умер?

— Да, да, Макумазан, — ответил с верхушки скалы грустный, задыхающийся голос, — я умер, совершенно умер. О! Зачем я вообразил себя охотником?… Зачем я не остался в своем краале?…

— Уж этого я не знаю, старый дурень, — ответил я, карабкаясь на скалу, чтобы проститься с ним.

Скала кончалась острым ребром, похожим на конек крыши, и поперек этого конька, подобно кальсонам на веревке, висел Гроза Слонов.

— Куда он тебя ранил, Умбези? — спросил я, потому что из-за дыма не мог видеть его раны.

— Сзади, Макумазан, сзади, — простонал он. — Я повернулся, чтобы бежать, но было слишком поздно… Посмотри, что скверное животное мне сделало. Тебе легко будет взглянуть назад, потому что моя мука[18] содрана.

Я внимательно осмотрел внушительный зад Умбези, но не мог ничего обнаружить, кроме широкой полосы черной грязи. Тогда я догадался, в чем было дело. Буйвол не попал в него рогами. Он только ударил его своей грязной мордой, которая, будучи почти такой же ширины, как зад Умбези, причинила ему лишь ссадины. Убедившись, что никакого серьезного ранения не было, я вышел из себя и угостил его таким звонким шлепком, — его положение было очень удобное, — какого он не получал со времени своего детства.

— Вставай, идиот ты этакий! — закричал я. — И поищи остальных. Вот к чему привела твоя дурацкая мысль напасть на целое стадо буйволов.

Вставай! Ждать мне здесь, что ли, пока я задохнусь!

— Неужели ты хочешь сказать, что у меня нет смертельной раны, Макумазан? — спросил он уже веселым тоном. — Я очень рад это слышать. Я хочу жить, чтобы заставить этих негодяев, которые подожгли камыши, пожалеть, что они родились на свет. А также я хочу покончить с этим буйволом. Я попал в него, Макумазан! Я попал в него!…

— Не знаю, попал ли ты в него, но знаю, что он попал в тебя, — ответил я, снимая его со скалы, а затем побежал к дереву, где в последний раз видел Скауля.

Здесь мне представилась другая картина. Скауль все еще висел в гнезде ягнятника вместе с двумя наполовину оперившимися орлятами. Одного из них он, вероятно, придавил, и тот испускал жалобные крики. И он кричал не напрасно, так как его родители, принадлежавшие к той разновидности огромных орлов, которую буры называют ягнятниками, прилетели к нему на помощь и клювом и когтями расправлялись с непрошенным гостем. Борьба, на которую я смотрел сквозь клубы дыма, казалась титанической, более шумной борьбы мне никогда не приходилось наблюдать, потому что я не знаю, кто визжал громче — разъяренные ли орлы или их жертва.

Я не мог удержаться и громко расхохотался. В эту минуту Скауль схватил за ногу орла, стоявшего на его груди и вырывавшего пучки волос крючковатым клювом, и смело выпрыгнул из гнезда, где ему становилось слишком жарко. Распростертые крылья орла, действуя как парашют, смягчили его падение. Этому же способствовал и Умбези, на которого он случайно упал. Соскочив с лежавшего Умбези, у которого теперь прибавился еще ушиб спереди, Скауль, весь покрытый ссадинами и царапинами, побежал стрелой, предоставляя мне поднять ружье, которое он уронил у дерева.

Мы выбрались втроем за линию дыма в весьма растерзанном виде — на Умбези не осталось ничего, кроме кольца на голове, — и стали звать остальных. Первым явился Садуко, совершенно спокойный и невозмутимый. Он с удивлением воззрился на нас и спросил, каким образом мы пришли в такое состояние. Я, в свою очередь, спросил его, каким образом ему удалось сохранить такой приличный вид. Он ничего не ответил, но я подозреваю, что он укрылся в большой норе муравьеда. Затем один за другим вернулись и остальные наши люди, разгоряченные и запыхавшиеся. Все были налицо, за исключением тех, кто поджег камыши, и они хорошо сделали, что не явились.

Когда мы все собрались, был поднят вопрос, что нам делать дальше.

Конечно, я хотел вернуться в лагерь и выбраться как можно скорее из этого злополучного места. Но я не принял во внимание тщеславие Умбези. Умбези, висевший на краю острой скалы и воображавший, что он смертельно ранен, был одним человеком; но Умбези, хотя и поддерживавший обеими руками свои ушибленные места, но знавший, что это лишь поверхностные ранения, был совсем другим.

— Я охотник, — сказал он. — Меня зовут Гроза Слонов. — И он завращал глазами, ища кого-нибудь, кто посмел бы ему противоречить. — Я ранил буйвола, который осмелился напасть на меня. (В действительности это я, Аллан Квотермейн, ранил его). Я хочу прикончить его, потому что он не мог уйти далеко. Пойдемте по его следам.

Он оглянулся вокруг, и один из его людей с арабской угодливостью проговорил:

— Да, пойдем по его следам, Гроза Слонов. Макумазан, этот умный белый человек, поведет нас, потому что нет такого буйвола, которого бы он боялся.

Конечно, после этого ничего другого мне не оставалось делать, и, позвав Скауля, мы отправились по следам стада, что было так же легко, как идти по проезжей дороге.

— Ничего, баас[19], — сказал мне Скауль, не одобрявший, по-видимому, этого преследования, — они нас перегнали на два часа и теперь далеко.

— Надеюсь, — ответил я, но счастье было против меня. Не прошли мы и полумили, как какой-то чересчур усердный туземец напал на кровавый след.

Я шел по этому следу около двадцати минут, пока не дошел до кустарника, спускавшегося вниз к руслу реки. Следы вели прямо к реке, и по ним я подошел к краю большого водоема, полного водой, хотя сама река высохла. Я остановился, глядя на след и обсуждая с Садуко, не переплыл ли буйвол через водоем, так как следы, доходившие до его края, стали неясными и стертыми. Внезапно наши сомнения рассеялись, потому что из густого кустарника, мимо которого мы прошли (буйвол нас подвел, вернувшись по своим собственным следам), появился огромный бык, прихрамывавший, так как моя пуля пробила ему ногу. Нельзя было сомневаться, что это был тот самый бык, потому что с правого его рога, расщепленного наверху, свешивались обрывки мучи Умбези.

— Берегись, Макумазан! — закричал Садуко испуганным голосом.

Я поднял ружье и выстрелил в нападавшее на меня животное, но промахнулся. Я отбросил ружье — буйвол мчался прямо на меня — и

сделал попытку отскочить в сторону.

Мне это почти удалось, но расщепленный рог, на котором висели остатки повязки, подцепил меня и отшвырнул с берега реки в глубокий водоем. При моем падении я увидел, как Садуко прыгнул вперед, и услышал выстрел, заставивший буйвола присесть. Затем медленным, скользящим движением буйвол последовал за мною в водоем.

Таким образом мы очутились оба в водоеме, но там не было места для нас обоих. Я делал попытки увернуться, но вскоре был побежден. Буйвол, казалось, делал все, что мог делать при таких обстоятельствах. Он старался забодать меня, что отчасти ему и удалось, хотя я нырял при каждом нападении. Затем он ударил меня мордой и потащил на дно, хотя я ухватился за его губу и перекрутил ее. Затем он встал на меня коленом, все глубже и глубже погружая меня в тину. Я помню, что ударил его ногой в живот. После этого я ничего больше не помню, потому что меня окутала тьма.

*** * ***

Когда я пришел в себя, то увидел склонившуюся надо мной высокую фигуру Садуко с одной стороны, а с другой Скауля, который, очевидно, плакал, так как горячие слезы падали на мое лицо.

— Он умер! — говорил бедный Скауль. — Буйвол убил его! Он умер, лучший белый человек во всей Южной Африке, которого я любил больше родного отца и всех моих родственников!

— Это тебе не трудно, — ответил Садуко, — так как ты не знаешь, кто они. Но не волнуйся, он не умер. Я попал копьем в сердце этого буйвола раньше, чем он успел вышибить из него жизнь, потому что, к счастью, тина была мягкая. Но я опасаюсь, что у него сломаны ребра. — И он ткнул меня пальцем в грудь.

— Сними свою руку, — с трудом проговорил я.

— Видишь? — сказал Садуко. — Разве я не сказал тебе, что он жив?

*** * ***

После этого я помню лишь какой-то смутный бред, пока не увидел себя лежавшим в большой хижине, оказавшейся впоследствии хижиной Умбези, той самой, в которой я лечил ухо его жены, прозванной Старой Коровой.

Глава IV. Мамина

При свете, вливавшемся через дымовое и дверное отверстия, я осматривал некоторое время потолок и стены хижины, стараясь отгадать, чья она и как я сюда попал.

Я постарался присесть, но мгновенно почувствовал мучительную боль в области ребер, которые были перевязаны широкими полосами мягкой дубленой кожи. Было ясно, что ребра сломаны.

— Но каким образом они сломались? — спросил я себя. И тогда я вспомнил все, что случилось. В эту минуту я услышал шорох и понял, что кто-то влезает в хижину через дверное отверстие. Я закрыл глаза, не будучи в состоянии разговаривать. Кто-то вошел и остановился надо мной. Я инстинктивно почувствовал, что это была женщина. Я медленно приоткрыл свои веки ровно настолько, чтобы быть в состоянии разглядеть ее.

В лучах золотистого света, проникавшего через дымовое отверстие и пронизывавшего мягкие сумерки хижины, стояло самое прекрасное существо, какое я когда-либо видел — конечно, если допустить, что женщина с черной или, вернее, бронзовой кожей может быть прекрасна.

Она была немного выше среднего роста, но ее фигура была очень пропорциональна. Я мог ее прекрасно разглядеть, так как, за исключением небольшого передника и нитки бус на груди, она была совершенно нагая. Черты ее лица не носили следов негритянского типа, наоборот, они были чрезвычайно правильные: нос был прямой и тонкий, а рот, хотя и с немного мясистыми губами, между которыми виднелись ослепительно белые зубы, был невелик. Глаза, большие, темные и прозрачные, напоминали глаза лани, а над гладким широким лбом низко росли вьющиеся, но не войлочные, как у негров, волосы. Кстати, ее волосы не были зачесаны на туземный манер, а были просто разделены пробором посередине и связаны большим узлом на затылке. Кисти и ступни были маленькие и изящные, а изгибы бюста нежные и в меру полные.

Поистине, это была красивая женщина; однако в этом красивом лице было что-то неприятное. Я старался выяснить причину и пришел к заключению, что оно было слишком рассудочное. Я сразу почувствовал, что ум у нее светлый и острый, как полированная сталь, что эта женщина создана для того, чтобы властвовать, и что она никогда не будет игрушкой для мужчины или его любящей подругой, а сумеет использовать его для своих честолюбивых целей.

Она опустила свой подбородок, прикрыв им маленькую ямочку на шее, что составляло одну из ее прелестей, и начала изучать черты моего лица. Заметив это, я плотнее закрыл глаза, чтобы себя не выдать. Очевидно, она думала, что я все еще нахожусь в бессознательном состоянии, потому что вскоре она заговорила сама с собой тихим и мягким голосом.

— Мужчина некрупный, — сказала она, — Садуко вдвое больше его, а другой (мне интересно было знать, кто был этот другой) — втрое больше его. Волосы его очень некрасивые; он коротко стрижет их, и они торчат у него, как шерсть у кошки на спине. Пфф! — презрительно фыркнула она. — Как мужчина он ничего не стоит. Но он белый, один из тех, которые властвуют. Все зулусы признают в нем своего предводителя. Его называют «Бодрствующий В Ночи». Говорят, что у него мужество львицы, защищающей своих детенышей, что он проворный и хитрый, как змея, и что Мпанда считается с ним больше, чем с каким-либо другим белым. Он не женат, хотя говорят, что он имел двух жен, которые умерли, и что теперь он даже не глядит на женщин. Это странно для мужчины, но не надо забывать, что здесь, в Земле Зулу, все женщины — только самки и ничего больше.

Она замолчала, а затем продолжала мечтательным голосом:

— Вот если бы он встретил женщину, которая не была бы просто самкой, женщину умнее его самого, даже если бы она не была белой, то интересно…

Здесь я нашел нужным проснуться. Повернув голову, я зевнул, открыл глаза и взглянул на нее. В одно мгновение выражение ее лица изменилось, и вместо властолюбивых мечтаний на нем отразился девичий испуг. От этого лицо сделалось женственнее и привлекательнее.

— Ты Мамина? — сказал я. — Не так ли?

— Да, инкоси, — ответила она. — Таково мое имя. Но от кого ты его слышал и как ты меня узнал?

— Я слышал его от некоего Садуко, — при этом имени она немного нахмурилась, — и от других, а узнал я тебя потому, что ты так красива.

Она ослепительно улыбнулась и вскинула свою головку.

— Разве я красива? — спросила она. — Я никогда этого не знала! Ведь я простая зулусская девушка, которой великому белому вождю угодно говорить любезности, и я благодарна ему за них. Но, — продолжала она, — кем бы я ни была, я совсем невежественна и не сумею ухаживать за твоими ранами. Может быть, мне пойти за мачехой?

— Ты говоришь о той, кого твой отец называет Старой Коровой и которой он прострелил ухо?

— Да, по описанию это она, — ответила она, слегка засмеявшись, — хотя я никогда не слышала, чтобы он так называл ее.

— Или если слышала, то, вероятно, забыла, — сказал я сухо. — Нет, благодарю тебя, не зови ее. К чему беспокоить ее, когда ты сама можешь сделать то, что мне нужно. Если в той чашке есть молоко, то, может быть, ты дашь мне попить.

В следующую минуту она уже стояла на коленях около меня и, поднося чашку к моим губам одной рукой, другой поддерживала мою голову.



— Это для меня большая честь, — сказала она. — Я вошла в хижину как раз перед тем, как ты проснулся, и, видя, что ты все еще без сознания, я заплакала… посмотри, мои глаза еще мокрые (действительно, они были мокрые, хотя я не знаю, как это случилось). Я боялась, что сон твой может

оказаться роковым.

— Ты очень добра, — сказал я. — Но, к счастью, твои опасения неосновательны, а потому садись и расскажи, как я попал сюда.

Она села не так, как это обыкновенно делают туземки, в коленопреклоненном положении, а присела на табурет.

— Тебя принесли в крааль, инкоси, — сказала она, — на носилках из веток. Сердце мое остановилось, когда я увидела эти носилки. Я подумала, что убитый или раненый был… — И она остановилась.

— Садуко? — подсказал я.

— Вовсе нет, инкоси… мой отец.

— Но так как это не был ни тот ни другой, — сказал я, — то ты почувствовала себя счастливой.

— Счастливой? Как я могла считать себя счастливой, инкоси, когда гость нашего дома был ранен, может быть, насмерть — гость, о котором я так много слышала, хотя, к несчастью, меня не было дома, когда он прибыл.

— Продолжай свой рассказ, — перебил я ее.

— Мне нечего больше рассказывать, инкоси. Тебя внесли сюда, и я узнала, что злой буйвол чуть не убил тебя в водоеме. Вот и все.

— Но как я выбрался из водоема?

— Кажется, твой слуга Скауль прыгнул в воду и отвлек на себя внимание буйвола, который вдавливал тебя в тину, а Садуко забрался ему на спину и всадил ассегай между лопатками до самого сердца, так что он издох. Потом тебя вытащили из тины, почти совсем раздавленного, и вернули тебя к жизни. Но затем ты снова потерял сознание и до настоящей минуты бредил и не приходил в себя.

— Он очень храбрый, этот Садуко.

— Как и все, ни больше ни меньше, — ответила она, пожав своими округлыми плечами. — Я считаю храбрым того, кто был под буйволом и скрутил ему нос, а не того, кто сидел на его спине и проткнул его копьем.

В этой части нашего разговора я внезапно опять лишился чувств и потерял представление обо всем, даже об интересной Мамине. Когда я снова пришел в себя, ее уже не было, а на ее месте был старый Умбези, который, как я заметил, снял со стены хижины циновку и сложил ее в виде подушки, прежде чем сесть на табурет.

— Привет тебе, Макумазан, — сказал он, увидев, что я проснулся, — как ты поживаешь?

— Лучше нельзя и пожелать, — ответил я, — а как ты поживаешь?

— Плохо, Макумазан. До сих пор я едва могу сидеть, потому что у

этого буйвола была очень твердая морда. Спереди у меня тоже распухло — там, где ударил меня Скауль, когда он свалился с дерева. А сердце мое разорвалось надвое из-за наших потерь.

— Каких потерь, Умбези?

— Ох, Макумазан. Пожар, который устроили эти негодяи, захватил и наш лагерь, и почти все сгорело — мясо, шкуры, даже слоновая кость, которая так потрескалась, что никуда не годится. Это была несчастная охота — хотя она и началась удачно, но вышли мы из нее почти голыми. Да, у нас ничего не осталось, кроме головы буйвола с расщепленным рогом. Я думал, что ты захочешь сохранить его череп.

— Ну, Умбези, поблагодарим судьбу, что мы остались живы, — конечно, если я не умру, — прибавил я.

— О Макумазан, ты, без сомнения, будешь жить. Так сказали два наших знахаря, которые осматривали тебя. Один из них наложил на тебя эти кожаные повязки, и я обещал ему телку, если он вылечит тебя, и дал ему в задаток козла. Но он сказал, что ты должен лежать здесь месяц, если не больше. Тем временем Мпанда прислал за кожей для щитов, и я вынужден был убить двадцать пять моих лучших коров, то есть моих собственных коров и коров моих людей.

— Мне очень жаль, что ты не убил коров до того, как мы встретили этих буйволов, — проворчал я, потому что у меня очень болели ребра. — Пришли сюда Садуко и Скауля. Мне хотелось бы поблагодарить их за то, что они спасли мне жизнь.

На следующее утро они пришли, и я горячо поблагодарил их.

— Не надо, не надо, баас, — сказал Скауль, который буквально плакал слезами радости при виде того, что ко мне снова вернулись сознание и рассудок. Это были не слезы Мамины, а настоящие слезы, потому что я видел, как они стекали по его плоскому носу, носившему еще следы орлиных когтей. — Не надо, не благодари больше, умоляю тебя. Если бы ты умер, то и я пожелал бы умереть. Вот почему я прыгнул в воду спасти тебя.

Когда я услышал это, мои глаза тоже увлажнились. Мы привыкли свысока смотреть на туземцев, а между тем где мы встретим большую преданность и любовь, как не среди дикарей?

— Что касается меня, инкоси, — сказал Садуко, — то я только исполнил свой долг. Как мог бы я ходить с поднятой головой, если бы буйвол убил тебя, а я остался бы жив? Даже девушки засмеяли бы меня. Но какая толстая шкура была у буйвола! Я уже думал, что ассегаем никак не проткнуть ее.

Заметьте разницу в характере этих двух людей. Один, вовсе не герой в повседневной жизни, рисковал просто из верности своему господину, который часто ругал его, а иногда и бил за пьянство. Другой рисковал жизнью из тщеславия и, может быть, также потому, что моя смерть помешала бы его планам и его честолюбивым замыслам, в которых я должен был принять участие.

Когда Скауль вышел из хижины приготовить мне пищу, Садуко сразу перевел разговор на Мамину. Он слышал, что я видел ее, и хотел знать, нахожу ли я ее красивой.

— Да, очень красивой, — ответил я. — Это самая красивая зулуска, которую я когда-либо видел.

— И она умная, такая же умная, как белые женщины?

— Да, очень умная… гораздо умнее многих белых.

— И… какая она еще?

— Очень изменчивая. Она может меняться, как ветер, и быть то теплой, то холодной.

Он немного подумал, а затем сказал:

— Какое мне дело, если она холодна к другим, лишь бы она была тепла ко мне.

— А она тепла к тебе, Садуко?

— Не совсем, Макумазан. — Опять молчание. — Мне кажется, она скорее похожа на ветер, дующий перед большой бурей.

— Да, это режущий ветер, Садуко, и когда он дует, мы знаем, что разразится буря.

— И я полагаю, что буря сопутствует ей. Но что из этого, если она и я выдержим ее вместе. Я люблю ее и готов скорее умереть с ней, чем жить с другой женщиной.

— Вопрос в том, Садуко, захочет ли она скорее умереть с тобой, чем жить с другим мужчиной? Она тебе это сказала?

— Инкоси, мысли Мамины таятся во мраке. Ее мысль похожа на белого муравья, роющего подземный ход в иле. Мы видим подземный ход, показывающий, что она думает, но мы не видим самую мысль. Только иногда, когда она полагает, что никто не видит или не слышит ее (я вспомнил о монологе молодой девушки, когда она думала, что я лежу без сознания), или если ее застать врасплох, выглядывает из подземного хода подлинная ее мысль. Так случилось недавно, когда я умолял ее выйти за меня замуж. «Люблю ли я тебя? — переспросила она. — Наверное я этого не знаю. Как я могу сказать? У нас нет обычая, чтобы девушка любила прежде, чем она выйдет замуж, иначе большинство замужеств

превратилось бы в вопрос сердца, а не расчета, и тогда половина отцов в Земле Зулу обеднела бы и не захотела бы воспитывать дочерей, которые им ничего не приносят. Ты храбр, красив, и я охотнее жила бы с тобой, чем с каким-нибудь другим мужчиной… то есть если бы ты был богатым или, еще лучше, могущественным. Стань сильным и могущественным, Садуко, и я полюблю тебя». — «Я этого достигну, Мамина, — ответил я, — но ты должна подождать. Зулусское королевство не было основано в один день. Сперва должен был явиться Чака». — «Ах! — воскликнула она, и глаза ее засверкали. — Чака! Вот это был человек! Стань таким, как Чака, и я полюблю тебя, Садуко, больше… больше, чем ты можешь себе это представить… вот так…» И она обвила руками мою шею и поцеловала меня так, как меня никто еще не целовал. Ты знаешь, что среди наших девушек это не принято. Затем она со смехом оттолкнула меня и прибавила: «Что же касается того, чтобы я тебя ждала, то спроси об этом моего отца. Разве я не его телка, предназначенная для продажи, и разве я могу ослушаться моего отца?» И она ушла и больше не хочет говорить об этом — белый муравей снова скрылся в подземный ход.

— А ты говорил с ее отцом?

— Да, я говорил с ним, но в неудачную минуту, когда он только что убил скот, чтобы поставить Мпанде щиты. Он ответил мне очень грубо. Он сказал: «Ты видишь этих мертвых животных, которых я должен был убить для короля, чтобы не впасть в немилость. Приведи мне в пять раз больше, и тогда мы поговорим о твоей женитьбе на моей дочери». Я ответил, что постараюсь сделать что могу, после чего он смягчился, так как у Умбези вообще доброе сердце. «Сын мой, — сказал он. — Ты мне нравишься, а с тех пор как ты спас моего друга Макумазана, ты мне нравишься еще больше. Но ты знаешь мои обстоятельства. Я беден, а Мамина представляет из себя большую ценность. Не многие отцы вырастили такую девушку. Так вот, я должен извлечь из нее наибольшую выгоду. Я хочу такого зятя, на которого я могу опереться в старости, к кому я всегда могу обратиться в минуту нужды. Теперь я тебе все высказал. Вернись со скотом, и я выслушаю тебя, но знай, что я не связан ни с тобой, ни с кем-либо другим. Я возьму то, что пошлет мне судьба. Еще одно слово: не задерживайся слишком долго в этом краале, чтобы не говорили, что ты жених Мамины. Ступай, соверши дело, достойное мужчины, и возвращайся с добычей — или совсем не возвращайся».

— Что же, Садуко, это копье не без острия! — ответил я. — Как же ты решил поступить?

— Я решил, — сказал он, поднимаясь, — уйти отсюда и собрать тех,

кто дружески расположен ко мне, потому что я сын своего отца и вождь нгваанов или, вернее, тех из них, кто остался в живых, хотя у меня нет ни крааля, ни скота. Затем, к тому времени, как на небе появится новая луна, я надеюсь вернуться сюда и найти тебя снова сильным и здоровым, и тогда мы отправимся, как я уже говорил тебе, в поход против Бангу, с разрешения короля, который сказал, что я могу, если мне удастся забрать скот, оставить его себе за свои труды.

— Не знаю, Садуко. Я тебе никогда не обещал, что пойду войной против Бангу — с разрешения ли или без разрешения короля.

— Нет, ты мне никогда не обещал. Но Зикали, мудрый карлик, сказал, что ты примешь участие, а разве Зикали лжет? Прощай, Макумазан. Я выступлю с рассветом и поручаю Мамину твоим заботам.

— Ты хочешь сказать, что поручаешь меня заботам Мамины, — начал я, но он уже выполз из дверного отверстия хижины.

Нужно сказать, что Мамина очень заботилась обо мне. Не обращая внимания на злобу и ругань Старой Коровы, она сумела выпроводить ее, зная, что я ее ненавижу. Она сама делала мне перевязки и варила мне пищу, из-за чего она несколько раз поссорилась со Скаулем, который не любил ее, так как она не удостаивала его своими очаровательными улыбками. Когда я окреп, она очень много сидела со мною и разговаривала, потому что, с общего согласия, красавица Мамина была освобождена не только от полевых, но даже и от домашних работ, выпадающих на долю кафрских женщин. Ее назначением было служить украшением крааля ее отца и, если можно так выразиться, его рекламой.

Мы обсуждали разные вопросы, начиная с религии и вплоть до европейской политики, потому что ее жажда знания казалась ненасытной. Но больше всего ее интересовало положение дел в Земле Зулу, которое мне было хорошо известно как человеку, принимавшему участие в ее истории и пользовавшемуся доверием в королевском доме, а также как белому, понимавшему планы буров и губернатора Наталя[20].

— Если старый король Мпанда умрет, — спрашивала она меня, — кто из его сыновей будет его преемником — Умбулази или Кетчвайо? Или, если он не умрет, кого из них он назначит своим наследником?

Я ответил, что я не пророк и ей лучше спросить об этом Зикали Мудрого.

— Это очень хорошая мысль, — сказала она, — но мне не с кем пойти к нему, так как мой отец не позволит мне ходить с Садуко. — Затем она захлопала в ладоши и прибавила: — О Макумазан, своди меня к нему. Мой отец доверит меня тебе.

— Да, я полагаю, — ответил я, — но вопрос в том, могу ли я себе доверить?

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она. — Ах, я понимаю! Так, стало быть, я значу для тебя больше, чем черный камушек, годный только для игры.

Я думаю, эта моя неудачная шутка в первый раз заставила Мамину призадуматься. Во всяком случае, после этого ее обращение со мной изменилось. Она стала очень почтительной, прислушивалась к моим словам, как будто они были невесть какой мудростью, и часто я ловил на себе ее взгляд, полный восхищения. Она стала делиться со мной своими заботами и своими надеждами. Она спрашивала меня относительно Садуко. На этот счет я ответил ей, что если она любит его и ее отец разрешит это, то лучше ей выходить за него замуж.

— Он мне нравится, Макумазан, хотя иногда он мне надоедает, но любовь… О, скажи мне, что такое любовь, Макумазан?

— Я думаю, — ответил я, — что в этом вопросе ты более сведуща и могла бы меня научить.

— О Макумазан, — ответила она почти шепотом, опустив голову, — разве ты когда-нибудь дал мне возможность?!

— Что ты этим хочешь сказать, Мамина? — спросил я, начиная нервничать. — Как мог я… — И я остановился.

— Я не знаю, что я хочу сказать, Макумазан, — воскликнула она, — но я хорошо знаю, что ты хочешь сказать: что ты белый как снег, а я черная как сажа и что снег и сажу нельзя смешать вместе.

— Нет, — серьезно ответил я, — и снег и сажа в отдельности красивы, но при смешивании дают грязный цвет. Я не хочу сказать, что ты похожа на сажу, — прибавил я поспешно, боясь ее обидеть. — У тебя цвет кожи, как твое запястье. — И я дотронулся до бронзового браслета на ее руке. — Очень красивый цвет, Мамина, как и все в тебе красиво.

— Красиво, — сказала она, тихонько заплакав, что вывело меня из равновесия, так как я не переношу женских слез. — Как может быть красивой зулусская девушка?! О Макумазан, природа плохо поступила со мной, дав мне цвет кожи моего народа, а ум и сердце твоего. Если бы я была белая, то моя, как ты называешь, красота принесла бы мне пользу, потому что тогда… тогда… ты не можешь догадаться, Макумазан?

Я покачал отрицательно головой и в следующую минуту пожалел, потому что она начала объяснять.

Опустившись на пол (мы были совершенно одни в хижине), она положила свою красивую голову на мои колени и стала говорить тихим,

нежным голосом, прерываемым иногда рыданиями.

— Тогда я скажу тебе… я скажу тебе. Да, если даже ты меня и возненавидишь потом. Ты прав, Макумазан, я могу отлично научить тебя, что такое любовь… потому что я люблю тебя. (Рыдание.) Нет, не возражай, пока ты меня не выслушаешь. — Она обвила руками мои ноги и крепко держала их, так что, не применяя силы, мне абсолютно невозможно было двинуться. — Когда я первый раз увидела тебя, разбитого и без чувств, мне показалось, что снег упал на мое сердце… оно остановилось на время, и с тех пор оно не то, что раньше. Мне кажется, будто что-то растет в моем сердце. (Рыдание.) До этого мне нравился Садуко, но потом я совсем невзлюбила его… ни его, ни Мазапо… ты знаешь, это тот толстый вождь, который живет за горой, он очень богат и могуществен и хочет взять меня в жены. А по мере того как я ухаживала за тобой, мое сердце становилось все шире и шире, а теперь, ты видишь, оно лопнуло. (Рыдание.) Нет, сиди смирно и не пытайся говорить. Ты должен выслушать меня, потому что ты причинил мне все эти страдания. Если ты не хотел, чтобы я полюбила тебя, то почему ты не ругал и не бил меня, как поступают англичане с кафрскими девушками? — Она встала и продолжала: — Слушай теперь. Хотя кожа моя цвета бронзы, но я красива. Я из хорошей семьи, и, Макумазан, я чувствую в себе огонь, который говорит мне, что я сделаюсь великой. Возьми меня в жены, Макумазан, и я клянусь тебе, что через десять лет я сделаю тебя королем зулусов. Забудь своих бледных белых женщин и сочетайся с огнем, который горит во мне, и он пожрет все, что стоит между тобой и престолом, как пламя пожирает сухую траву. Более того, я сделаю тебя счастливым. Если ты захочешь взять себе других жен, я не буду ревновать, потому что я знаю, что твоим умом буду владеть я и что в сравнении со мной остальные жены не будут для тебя ничего значить!…

— Но, Мамина, — прервал я ее, — я не желаю быть королем зулусов!

— Нет, нет, ты желаешь, потому что всякий мужчина стремится к власти, и лучше властвовать над храбрым черным народом — над тысячами и тысячами их, — чем быть никем среди белых. Подумай. Наша страна богатая; применив твое искусство и твои познания, можно внести улучшения в войска. Имея богатство, ты сможешь вооружить воинов ружьями, а также громовыми глотками[21]. Мы будем непобедимы. Королевство Чаки будет ничто в сравнении с нашим, потому что тысячи воинов будут ожидать твоего слова. Если ты захочешь, ты можешь даже покорить Наталь и сделать белых своими подданными. Но, может быть, благоразумнее оставить их в покое, не то другие белые придут из-за зеленой воды к ним на помощь. Лучше пробиться к северу, где, как мне

рассказывали, лежат большие богатые земли, в которых никто не будет оспаривать нашего владычества.

— Но, Мамина, — с трудом проговорил я, потому что титаническое честолюбие девушки буквально подавило меня, — ты безумная! Как можешь ты все это сделать?!

— Я не безумная, — ответила она, — я то, что называется великая, и ты знаешь, что одна я этого сделать не могу, потому что я женщина. Но я могу сделать это с тобой, если ты поможешь мне. У меня есть план, который должен удаться. Но, Макумазан, — прибавила она изменившимся голосом, — пока я не буду знать, что ты захочешь быть моим мужем, я даже тебе не расскажу своего плана, потому что ты можешь проболтаться… во сне… и тогда огонь в моей груди скоро потухнет… навсегда.

— Я и теперь могу проболтаться, Мамина.

— Нет, мужчины, подобные тебе, не болтают о девушках, которые случайно полюбили их.

— Мамина, — сказал я, — брось говорить об этом! Могу ли я поступить так по отношению к Садуко, который день и ночь говорит мне о своей любви к тебе?

— Садуко! Пфф! — воскликнула она, делая презрительный жест рукой.

Видя, что эта карта бита, я продолжал:

— Не могу же я так поступить по отношению к Умбези, моему другу и твоему отцу.

— Мой отец! — засмеялась она. — Разве ему не понравится мысль возвыситься за твой счет? Еще вчера он сказал мне выйти за тебя замуж, если я смогу это сделать, потому что тогда у него будет настоящая опора в старости и он отделается от хлопот с Садуко.

Очевидно, Умбези был еще худшей картой, чем Садуко, и я пошел с другой.

— И могу ли я помочь тебе, Мамина, идти по пути, который будет обагрен кровью?

— Почему нет? — спросила она. — Все равно, с тобой или без тебя, мне суждено идти по этому пути. Единственная разница та, что с тобой этот путь приведет к славе, а без тебя, может быть, к шакалам и коршунам. Кровь? Пфф! Что такое кровь в Земле Зулу?

Так как и эта карта оказалась битой, то я выложил свою последнюю карту.

— Слава или не слава, но я не хочу идти с тобой по этому пути,

Мамина! Я не желаю вызывать войну среди народа, оказавшего мне гостеприимство, или замышлять заговоры против его правителей! Как ты только что мне сказала, я — ничто, просто песчинка на морском берегу, но лучше пусть я буду песчинкой, чем скалой, о которую разбиваются корабли. Я не ищу власти ни над белыми, ни над черными, Мамина, и пойду своим путем. Я сохраню твою тайну, Мамина, но я умоляю тебя: откажись от своих страшных мечтаний, которые, в случае успеха или неудачи, одинаково обагрят тебя кровью.

— Хорошо! Значит, ты отказываешься от величия. Но скажи мне, если я погружу эти мечтания на дно моря, привязав к ним тяжелый камень, и скажу: «Покойтесь здесь, мои мечты, ваш час еще не настал!» — скажи, если я это сделаю и приду к тебе просто как женщина, которая любит и клянется памятью своих предков ничего не думать или не делать без твоего ведома — полюбишь ли ты тогда меня, Макумазан?

Я молчал. Она прижала меня к стене, и я не знал, что ответить. Кроме того, я должен сознаться в своей слабости — я чувствовал странное волнение. Эта красивая девушка «с огнем в груди», эта женщина, столь отличавшаяся от всех остальных женщин, которых я когда-либо знал, казалось, овладела моим сердцем и притягивала меня к себе. Соблазн был большой.

Она скользнула по мне, обвилась руками вокруг меня и поцеловала меня в губы, и мне кажется, что я тоже поцеловал ее, но, правда, я не помню, что я делал и что говорил, потому что голова моя шла кругом. Когда я пришел в себя, она стояла передо мной и задумчиво смотрела на меня.

— Макумазан, — проговорила она со слегка насмешливой улыбкой, — мудрый, опытный белый человек попался в сети бедной черной девушки, но я покажу тебе, что она может быть великодушной. Ты думаешь, что я не читаю в твоем сердце, что я не знаю твоих мыслей о том, что я навлеку на тебя позор и гибель? Хорошо, Макумазан, я пощажу тебя, потому что ты поцеловал меня и говорил мне слова, которые, быть может, ты уже забыл, но которые я никогда не забуду. Иди своей дорогой, Макумазан, а я пойду своей, чтобы не запятнать гордого белого человека прикосновением моего черного тела. Иди своей дорогой, но одно я запрещаю тебе: не смей думать, что ты слышал здесь лживые речи и что я для каких-то своих тщеславных целей пустила в ход свои женские чары. Я люблю тебя, Макумазан, как никогда тебя не полюбит ни одна женщина и как я не полюблю ни одного мужчину, сколько бы раз я ни выходила замуж. Кроме того, ты должен обещать мне одно: что один раз в моей жизни, один раз только, если я того

пожелаю, ты снова поцелуешь меня. А теперь прощай, Макумазан, не то ты можешь забыть гордость белого человека и совершить безумие. Когда мы снова встретимся, мы встретимся только друзьями.

И она ушла, а я почувствовал себя таким ничтожным, как никогда в жизни, ничтожнее даже, чем в присутствии Зикали Мудрого. Почему, думал я, она сперва довела меня до безумия, а затем отказалась от плодов моего безумия? И поныне я не могу дать ответа на этот вопрос. Я только предполагаю, что она действительно полюбила меня и что она была настолько умна, что видела: наши характеры были словно масло и вода, которые никогда не могут соединиться.

Глава V. Соперники

Можно было бы думать, что после этой удивительной сцены наши отношения будут натянутыми. Нисколько. Когда мы снова с ней встретились, что произошло на следующее утро, она держалась свободно и естественно, как всегда. Она перевязала мои раны, которые почти уже зажили, шутила о том и о другом, расспрашивала о содержании некоторых писем и газет, полученных мною из Наталя.

Вам, может быть, покажется странным, что дикарка могла действовать так тонко. Но дело именно в том, что в основе все люди одинаковы и между дикарем и нами очень мало разницы.

Начать с того, по какому праву называем мы такие народы, как зулу, дикарями. Откинув в сторону их обычай полигамии, что, в конце концов, обычно и среди цивилизованных народов Востока, они имеют социальную систему, очень похожую на нашу. У них есть древние, глубоко обдуманные законы, и нравственность их, во всяком случае, не ниже нашей. Они честные и правдивые и строго соблюдают гостеприимство.

Они отличаются от нас главным образом тем, что не напиваются, пока белый человек не научит их этому, что они носят меньше одежды, так как климат их более жаркий, что их краали ночью не обезображены такими картинами, как наши города, что они любят своих детей и никогда не бывают жестоки в обращении с ними (хотя они и умерщвляют иногда уродливого младенца) и что когда они ведут войну, они ведут ее со страшной жестокостью — но разве мы не видим почти таких же жестокостей во время европейских войн?

Остается еще их вера в колдовство и вытекающие из этого предрассудки. Но с тех пор как я живу в Англии, я много читал по этому вопросу и нахожу, что подобные же предрассудки встречаются и в Европе, то есть в той части света, которая более тысячи лет наслаждается «преимуществами» христианского учения.

И если «высококультурный» белый — в большинстве случаев какой-нибудь капиталист — бросает камень в бедного, некультурного зулуса, то это происходит потому, что он желает завладеть его землей или воспользоваться плодами его трудов.

Но я отклонился от главной своей мысли, что умный мужчина или умная женщина из тех, кого мы называем дикарями, во всех существенных чертах совершенно такие же, как умный мужчина или умная женщина,

принадлежащие к цивилизованным народам. И это полностью относилось к Мамине.

Через две недели после памятной сцены в хижине я совершенно оправился и окреп. Ребра мои, которые сломал буйвол своими железными коленями, зажили и срослись. Я спешил уехать, так как у меня были дела в Натале. О Садуко ничего не было слышно, и я решил двинуться домой, оставив ему о себе сведения, чтобы он знал, где меня найти, если я ему понадоблюсь. По правде сказать, я совсем не жаждал быть вовлеченным в его набег на Бангу. Я желал умыть руки во всем этом деле, включая красавицу Мамину и ее насмешливые глаза.

Поэтому однажды утром я велел Скаулю запрячь волов, и он с радостью принялся исполнять это приказание, так как он и другие слуги жаждали вернуться в цивилизованные страны. Но только они взялись за дело, как пришел гонец от Умбези, просившего меня отложить отъезд на несколько часов, так как к нему в гости приехал его друг, могущественный вождь, который хотел познакомиться со мной. Я охотно отправил бы этого вождя ко всем чертям, но так как было бы невежливо не исполнить просьбу хозяина, который был ко мне так добр, то я приказал не впрягать пока волов, но держать их наготове. В раздраженном настроении отправился я в крааль, который находился в полумиле от моего лагеря.

В сущности, не было особой причины для моего раздражения, потому что, собственно говоря, мне должно было бы быть безразлично, уеду ли я утром или днем. Но дело в том, что я не желал принимать участие в экспедиции Садуко против Бангу. Пока же я оставался здесь, Садуко мог вернуться в любой момент, и тогда мне было бы трудно увильнуть от выполнения того полуобещания, которое я ему дал.

Дойдя до крааля, я увидел, что там готовилось какое-то торжество, потому что закололи быка, мясо которого частью варили в горшках, частью жарили; также я заметил нескольких чужих зулусов. В ограде крааля я застал сидевшего в тени Умбези со всеми индунами, и с ними сидели большой, мускулистый туземец, на котором была муча из тигровой кожи, в знак его высокого положения, и несколько его старейшин. Около ворот стояла Мамина, на которой были надеты ее лучшие бусы. Она держала чашу с пивом, которую она, очевидно, только что подносила гостям.

— Ты хотел сбежать, не попрощавшись со мною, Макумазан! — прошептала она, когда я поравнялся с ней. — Это нехорошо с твоей стороны, и я горько плакала бы. Однако этому не суждено сбыться.

— Я хотел приехать сюда и попрощаться, — ответил я. — Но кто этот человек?

— Ты узнаешь сейчас, Макумазан. Смотри, отец кивает тебе.

Я подошел к кругу сидевших, и Умбези при моем приближении встал, взяв меня за руку, подвел к дюжему туземцу и сказал:

— Это Мазапо, предводитель клана Амазоми, он желает познакомиться с тобой, Макумазан.

— Очень любезно с его стороны, — ответил я холодно, окидывая взглядом Мазапо. Он был, как я уже говорил, крупный мужчина, вероятно, лет пятидесяти, потому что его волосы были уже подернуты сединой. Говоря откровенно, он мне сразу очень не понравился, потому что было что-то отталкивающее в его грубом лице и в его наглой осанке. Затем я замолчал, так как у зулусов, если встречаются два незнакомца более или менее равного положения, то тот, кто заговорит первый, тем самым признает свое подчинение. Поэтому я стоял и осматривал нового жениха Мамины в ожидании дальнейших событий.

Мазапо тоже осматривал меня, затем сделал какое-то замечание одному из своих старейшин, которое я не уловил, но которое заставило старейшину засмеяться.

— Он слышал, что ты большой охотник, — вмешался Умбези, который, очевидно, чувствовал, что положение становится натянутым и что нужно что-нибудь сказать.

— Он слышал?! — удивился я. — В таком случае он более счастлив, чем я, потому что я никогда не слышал о нем. — К сожалению, я должен сказать, что это была ложь, так как Мамина упоминала о нем как об одном из своих женихов, но среди туземцев нужно поддерживать свое достоинство. — Друг Умбези, — продолжал я, — я пришел попрощаться с тобой, так как я собираюсь отправиться в Дурбан.

При этих словах Мазапо протянул мне свою огромную руку и, не вставая, сказал:

— Сакубона[22], белый человек.

— Сакубона, черный человек, — ответил я, едва дотронувшись до его пальцев. Мамина, обносившая пивом и очутившаяся как раз против меня, сделала гримасу и незаметно засмеялась.

Я повернулся чтобы уйти, но Мазапо проговорил своим грубым хриплым голосом:

— О Макумазан, прежде чем ты покинешь нас, я желал бы поговорить с тобой об одном деле. Не будет ли тебе угодно отойти со мною в сторону?

— Конечно, о Мазапо. — И я отошел на несколько ярдов[23] в сторону, чтобы нас не могли слышать, и он последовал за мною.

— Макумазан, — сказал он, — мне нужны ружья, а мне сказали, что ты можешь достать их, так как ты торговец.

— Да, Мазапо, думаю, что могу достать их за известную цену, хотя это очень рискованное дело — ввозить ружья в Землю Зулу. Могу ли я спросить, для чего нужны тебе ружья? Охотиться на слонов?

— Да, стрелять слонов, — ответил он, вращая своими глазищами. — Макумазан, мне сказали, что ты осторожен, что ты не кричишь с крыши хижины то, что слышишь в ней. Так слушай. В нашей стране смуты. Не все из нас любят династию Сензангаконы, к которой принадлежит нынешний король Мпанда. Например, ты, быть может, знаешь, что мой клан Амазоми пострадал от копья Чаки. Так вот, мы надеемся, что настанет время, когда мы не будем щипать кусты, как козы, а будем снова питаться верхушками деревьев, как жирафы, потому что Мпанда — слабый правитель, а его сыновья ненавидят друг друга, и одному из них могут понадобиться наши ружья. Ты понимаешь?

— Я понимаю! — сухо ответил я. — А теперь поговорим о цене и о месте сдачи.

Поторговавшись некоторое время, мы договорились относительно того, сколько я должен получить скота за такое-то количество ружей, если я их смогу доставить в крааль Умбези. Затем я вернулся в круг, где сидел Умбези со своими старейшинами и гостями, с намерением попрощаться с ними. Но так как в это время подали мясо и я был голоден, то я остался разделить трапезу. Насытившись и выпив глоток пива, я встал, чтобы уйти, но как раз в эту минуту в ворота зашел… Садуко.

— Пфф! — сказала стоявшая рядом со мной Мамина так тихо, что никто не мог слышать, кроме меня. — Когда два самца оленя встречаются, что тогда происходит, Макумазан?

— Иногда они дерутся, а иногда один из них убегает. Это зависит во многом от лани, — ответил я таким же тихим тоном, глядя на нее.

Она пожала плечами, кивнула головой Садуко, когда он проходил мимо, затем прислонилась к изгороди и спокойно стала выжидать развития событий.

— Привет тебе, Умбези, — сказал Садуко со своим всегдашним гордым видом. — Я вижу, что вы здесь пируете. Желанный ли я здесь гость?

— Конечно, ты всегда желанный гость в моем доме, Садуко, — ответил Умбези смущенно, — хотя сегодня я случайно угощаю знатного гостя. — И он указал рукою на сидевших.

— Я вижу, — сказал Садуко, оглядывая гостей. — Но кто из них твой

знатный гость? Я спрашиваю для того, чтобы я мог приветствовать его.

— Ты знаешь это сам, подлый человек! — сердито воскликнул Мазапо.

— Я знаю, что если бы ты был за изгородью, Мазапо, то я копьем забил бы тебе это слово в глотку, — ответил Садуко в бешенстве. — Я догадываюсь, какое у тебя дело здесь, Мазапо, и ты догадываешься, какое у меня. — И он взглянул на Мамину. — Скажи мне, Умбези, этот жалкий предводитель амазомов уже признанный жених твоей дочери?

— Нет, нет, Садуко, — сказал Умбези. — У нее нет еще признанного жениха. Не хочешь ли присесть и поесть с нами? Расскажи нам, где ты был и почему ты вернулся так внезапно?

— Я вернулся сюда, Умбези, чтобы переговорить с Макумазаном. А что касается того, где я был, то я об этом временно умолчу.

— Если бы я был хозяином этого крааля, — воскликнул Мазапо, — то я выгнал бы отсюда эту гиену с паршивой шкурой, которая является сюда пожирать твое мясо и, может быть, — прибавил он многозначительно, — чтобы выкрасть твою дочь.

— Не говорила ли я тебе, Макумазан, что когда два самца оленя встречаются, то они начинают драться? — прошептала мне Мамина на ухо.

— Да, Мамина, но ты мне не сказала, что сделает лань?

— Лань, Макумазан, приляжет и будет смотреть, что произойдет дальше, — сказала она и снова тихо засмеялась.

— Почему же ты сам не выгонишь гиену, Мазапо? — спросил Садуко. — Идем, я обещаю тебе хорошую забаву. За изгородью этого крааля ждут еще другие гиены, которые зовут меня вождем, — сотни гиен. Они собрались для известной цели с разрешения короля Мпанды, которого ты ненавидишь. Оставь мясо и пиво и начни охоту на гиен, Мазапо.

Мазапо сидел молча, так как увидел ‹, что тигра принял за павиана.

— Ты молчишь, вождь амазомов? — продолжал Садуко, который был вне себя от ярости и ревности. — Ты не хочешь оставить мясо и пиво, чтобы охотиться на гиен, у которых вождь «подлый человек»? Хорошо! В таком случае «подлый человек» сам заговорит. — И, шагнув к Мазапо с ассегаем в правой руке, Садуко левой рукой схватил за короткую бороду своего соперника. — Слушай, вождь, — сказал он. — Мы с тобою соперники. Ты хочешь завладеть той же женщиной, какую хочу и я. И так как ты богат, то, может быть, тебе удастся купить ее. Но я говорю тебе: если это случится, то я уничтожу весь твой род, подлая ты собака!

При этих словах он плюнул ему в лицо и с силой отшвырнул его назад. Затем, прежде чем кто-либо мог остановить его (так как Умбези и даже

старейшины Мазапо казались парализованными от неожиданности), он вышел из ворот крааля, бросив мне на ходу:

— Инкоси, я должен с тобой поговорить, когда ты будешь свободен.

— Ты заплатишь мне за это! — зарычал ему вслед Умбези, почти позеленев от бешенства, так как Мазапо все еще лежал молча на спине. — Ты ответишь мне за то, что осмелился оскорбить моего гостя в моем доме!

— Кто-нибудь должен ответить, — крикнул Садуко из-за ворот, — но только неродившаяся луна увидит, кто ответит.

— Мамина, — сказал я, следуя за ним, — ты бросила огонь в сухую траву, и люди сгорят в нем.

— Я этого и хотела, — спокойно ответила Мамина. — Разве я тебе не говорила, что у меня внутри пламя, которое иногда вырывается наружу? Но, Макумазан, это ты бросил огонь в траву, а не я. Вспомни это, когда половина Земли Зулу превратится в пепел. Прощай, Макумазан, до нашей следующей встречи, и, — прибавила она мягко, — кто бы ни сгорел, пусть тебя охраняют добрые духи.

У ворот я вспомнил правила приличия и повернул обратно, чтобы вежливо попрощаться со всей компанией. К этому времени Мазапо уже поднялся с земли и ревел, как бык:

— Убейте его, убейте эту гиену! Умбези, что же ты, будешь сидеть и смотреть, как меня, твоего гостя, бьют и оскорбляют под сенью твоей хижины? Ступай и убей его, говорю я тебе!

— Почему ты сам не убьешь его, Мазапо, — спросил взволнованный Умбези, — или не прикажешь своим людям убить его? Кто я такой, чтобы осмелиться соперничать в деле копья с таким великим вождем, как ты? — Затем он повернулся ко мне и крикнул: — О хитроумный Макумазан, если я когда-либо оказывал тебе добро, приди сюда и дай мне совет!

— Иду, иду, Гроза Слонов, — ответил я, подходя к нему.

— Что мне делать? Что мне делать? — продолжал Умбези, стирая пот со лба и потрясая кулаком. — Вот здесь стоит мой друг, — и он указал на разъяренного Мазапо, — который желает, чтобы я убил другого моего друга. — И он ткнул пальцем по направлению к воротам крааля. — Если я откажусь, я оскорблю одного друга, а если я соглашусь, то руки мои будут обагрены кровью, которая возопит об отмщении, так как у другого друга, без сомнения, есть друзья, которые заступятся за него.

— Да, — ответил я, — и, может быть, не только руки твои будут в крови, но и другие части твоего тела, потому что Садуко не из тех, кто будет сидеть спокойно, как баран, пока ему режут глотку. Да и не говорил ли он, что он не один? Умбези, если ты хочешь послушаться моего совета,

предоставь Мазапо самому убить его.

— Правильно! Это благоразумно! — воскликнул Умбези. — Мазапо, — крикнул он вождю, — если ты хочешь сражаться, прошу тебя, поступай как знаешь. Я обещаю прилично похоронить всякого, кто падет в бою. Только советую тебе поторопиться, потому что Садуко за это время уже отошел далеко от крааля! У тебя и у твоих людей есть ассегаи, и ворота крааля открыты.

— Что же мне, идти не поев, чтобы разбить голову этой гиене? — спросил Мазапо с напускной храбростью. — Нет, он может подождать, пока я ем. Эй, люди, садитесь! Я говорю вам, садитесь. Скажи ему, Макумазан, что я скоро приду, и берегись быть с ним заодно, не то свалишься и ты в ту же яму, что и он.

— Я ему передам, — ответил я, — хотя не знаю, кто сделал меня твоим гонцом. Но выслушай меня, человек громких слов и малых дел. Если ты посмеешь поднять палец против меня, то я насквозь изрешечу твое огромное туловище.

И, подойдя к нему, я взглянул ему прямо в лицо и в то же время похлопал по рукоятке большого двуствольного пистолета, заткнутого у меня за пояс.

Он отшатнулся, бормоча что-то себе под нос.

— Извинений не требуется, — сказал я, — только в будущем будь осторожней. А теперь желаю тебе приятно отобедать, инкоси Мазапо, и да будет мир над твоим краалем, друг Умбези.

После этих слов я вышел из крааля, сопровождаемый злобными возгласами разъяренной свиты Мазапо и тихим, но едким смехом Мамины.

«Интересно, за кого из них она выйдет замуж?» — размышлял я, направляясь к своим фургонам.

Подойдя к лагерю, я увидел, что волы были впряжены, и подумал, что это сделано по приказанию Скауля, который, вероятно, слышал о ссоре в краале и счел нужным быть готовым к отъезду, но в этом я ошибся.

Из кустарника вышел ко мне навстречу Садуко и сказал:

— Я приказал твоим слугам запрячь волов, инкоси.

— Ты приказал? Недурно! — ответил я. — Ты, может быть, скажешь мне, почему?

— Потому что нам до ночи предстоит большой путь на север, инкоси.

— В самом деле? Мне казалось, что мой путь лежит на юго-восток.

— Бангу живет не на юго-востоке, — ответил он медленно.

— О, я почти совсем забыл о Бангу, — сказал я, делая слабую попытку увильнуть.

— Разве? — ответил он своим надменным голосом. — Я никогда не знал до сих пор, что Макумазан принадлежит к тем, кто нарушает обещание, данное другу.

— Будь добр объяснить мне твои слова, Садуко.

— Разве нужны объяснения? — сказал Садуко, пожав плечами. — Если только мой слух не обманул меня, то ты согласился пойти со мною против Бангу. Я набрал нужных людей с разрешения короля. Они ждут нас там. — И он копьем указал в направлении густого леса, видневшегося внизу в нескольких милях от нас. — Но, — прибавил он, — если ты изменил свое решение, то я пойду один. Только в таком случае нам лучше попрощаться навсегда, так как я не люблю друзей, которые меняют свои решения, когда начинают звенеть копья.

Не знаю, сказал ли это Садуко с умыслом или нет, но он не мог найти лучшего способа заручиться моим согласием, потому что я всегда гордился тем, что никогда не нарушал слова, данного туземцу.

— Я пойду с тобой, — спокойно сказал я, — и надеюсь, что когда дело дойдет до схватки, твое копье будет такое же острое, как твой язык, Садуко. Однако не говори со мной больше в таком тоне, иначе мы поссоримся.

Я увидел, как при моих словах лицо Садуко просветлело.

— Прости меня, Макумазан, — сказал он, схватив мою руку. — Но в сердце моем рана. Мне кажется, что Мамина хочет мне изменить, а тут еще случилась эта история с этой собакой Мазапо, и Умбези теперь меня возненавидит.

— Если ты хочешь послушать моего совета, Садуко, — ответил я серьезно, — то выбрось Мамину из твоего сердца. Забудь ее имя, порви с ней. Не спрашивай меня, почему.

— Может быть, мне и не нужно спрашивать. Может быть, она влюбилась в тебя и ты ее оттолкнул, как ты должен был, конечно, поступить в качестве моего друга… Может быть, Мамина сама послала за этой жирной свиньей Мазапо. Я не спрашиваю тебя, потому что, я знаю, ты мне все равно не скажешь. Да кроме того, это не имеет для меня значения. Пока у меня бьется сердце, я не выброшу Мамину из него. Пока я жив, я не забуду ее имени. Более того, она будет моей женой! Прежде чем отправиться против Бангу, я с несколькими воинами пойду и заколю копьем эту жирную свинью Мазапо. Таким образом, по крайней мере, я уберу его со своего» пути.

— Если ты сделаешь что-нибудь в этом роде, Садуко, то ты пойдешь против Бангу один, а я поверну сразу на юго-восток, потому что я не хочу быть замешанным в убийстве.

— Хорошо, пусть будет так, инкоси. Если свинья сама не нападет на меня, то пусть ждет. Она только станет еще жирней. А теперь отдай приказание двинуться в путь. Я покажу дорогу, так как сегодня вечером нам нужно остановиться на ночлег в том лесу, там ждут меня мои воины и там я расскажу тебе свой план. И там тебя также ожидает гонец.

Глава VI. Засада

В течение шести часов спускались мы по довольно скверной дороге, протоптанной скотом; дорог, в настоящем смысле этого слова, в те дни, конечно, в Земле Зулу не было. Наконец мы достигли леса. Я хорошо запомнил эту местность. Это была ложбина, покрытая редкими невысокими деревьями, по которой извивалась речка, мелководная в то время года. На берегу речки, в кустах, водилось много цесарок и других птиц. Это было приятное, пустынное местечко с большим количеством дичи, спускавшейся сюда зимой питаться травой, которой уже не было на холмах.

Мы расположились у реки, в месте, указанном нам Садуко, и принялись приготавливать себе ужин из мяса голубой гну, которую мне удалось подстрелить.

Во время еды я заметил, что постоянно прибывали вооруженные зулусы, партиями от шести до двадцати человек. Выходя из-за деревьев, они поднимали копья, приветствуя меня ли или Садуко, не знаю, и усаживались на открытое место между нами и берегом реки. Хотя трудно было сказать, откуда и кто они, потому что они появлялись, как призраки, из кустов, но я счел нужным не обращать на них внимания, так как догадывался, что их приход был подстроен заранее.

— Кто это? — прошептал я Скаулю, когда он принес мне мою порцию мяса.

— Дикий отряд Садуко, — ответил он тем же шепотом. — Это люди его племени, которые живут среди скал.

Делая вид, что я зажигаю трубку и курю, я украдкой разглядывал их. Вид они имели действительно очень дикий. Это были высокие худые парни с всклокоченными волосами, с изодранными звериными шкурами, накинутыми на плечи. У них, казалось, не было никакого имущества, кроме табака, нескольких циновок для сна и большого запаса щитов, боевых палиц и метательных копий. Таковы были эти люди, которые молча сидели вокруг нас полукругом.

Я продолжал курить и делал вид, что не замечаю их. Наконец, как я и ожидал, Садуко надоело мое молчание, и он заговорил:

— Эти люди принадлежат к племени нгваанов, Макумазан. Это те триста человек, которые остались в живых, потому что, когда отцы их были убиты, женщины спаслись с некоторыми детьми, в особенности из дальних

краалей. Я их вождь по праву крови и собрал их, чтобы отомстить Бангу.

— Я вижу, что ты собрал их, — ответил я, — но желают ли они отомстить Бангу, рискуя своей собственной жизнью?

— Желаем, Белый Вождь! — раздался громовой ответ из трехсот глоток.

— И признают ли они тебя, Садуко, своим вождем?

— Признаем! — снова раздался ответ. Затем выступил вперед один из немногих седых стариков, потому что большинство нгваанов были в возрасте Садуко или даже моложе.

— О Макумазан, — сказал он, — я Тшоза, брат Мативаана, отца Садуко, единственный из его братьев, который спасся в ночь великой резни. Не так ли?

— Так! — воскликнули ряды нгваанов.

— Я признаю Садуко своим вождем, и мы все его признаем, — продолжал Тшоза.

— Мы все его признаем! — повторили ряды.

— С тех пор как умер Мативаан, мы жили, как бабуины, среди скал, не имея скота, не имея часто хижины, где мы могли бы укрыться. Но мы жили, ожидая часа возмездия. Теперь мы верим, что этот час настал, и все мы, как один, собрались отовсюду на клич Садуко, чтобы он повел нас против Банту, победить его или умереть. Не так ли, нгваане?

— Так, так! — грянул единодушный ответ, заставивший закачаться листья в безветренном воздухе.

— Я понимаю тебя, о Тшоза, брат Мативаана и дядя Садуко, — ответил я. — Но Бангу очень силен и живет, как я слышал, в очень укрепленном месте. Но оставим это, потому что ты сказал мне, что вам нечего терять и что вы пришли победить или умереть. Но предположим, что вы победите. Что скажет Мпанда, король зулусов, вам и мне, узнав, что мы затеяли набег в его стране?

Нгваане оглянулись назад, а Садуко громко крикнул:

— Выходи, гонец короля Мпанды!

Не успели его слова замолкнуть, как я увидел маленького, сморщенного человека, приближавшегося сквозь ряды высоких, худощавых нгваанов. Он подошел и, встав передо мной, сказал:

— Сакубона, Макумазан! Ты узнаешь меня?

— Да, — ответил я. — Ты Мапута, один из членов королевского совета.

— Совершенно правильно, Макумазан. Король Мпанда послал меня к тебе с поручением, по просьбе Садуко.

— Как я могу убедиться, что ты действительно послан королем? — спросил я. — Есть у тебя доказательство?

— Да, — ответил он и, пошарив под плащом, вытащил что-то завернутое в сухие листья. Он развернул их и передал мне со словами:

— Вот доказательство, которое прислал тебе Мпанда, приказав мне сказать тебе, что ты наверное это узнаешь. А также он просит тебя оставить его у себя, так как две маленькие пилюли сделали его очень больным и он больше в них не нуждается.

Я взял вещественное доказательство и, рассмотрев его при свете луны, сразу узнал его.

Это была коробочка с пилюлями из каломеля[24], на крышке которой было написано: Аллану Квотермейну. По одной пилюле на прием. Должен пояснить, что я принял по предписанию одну пилюлю, а коробочку с оставшимися пилюлями презентовал королю Мпанде, которому очень хотелось попробовать «лекарство белых».

— Ты узнаешь, Макумазан? — спросил Мапута.

— Да, — ответил я серьезно, — и пусть король воздаст благодарственную молитву духам его предков, что он не проглотил трех пилюль, иначе в настоящее время в Земле Зулу был бы другой правитель. А теперь скажи, что поручил тебе передать король.

Про себя же я подумал, как странно эти туземцы могли смешивать великое со смешным. Здесь шел вопрос о деле, которое могло повлечь за собою смерть многих людей, а самодержец посылает в виде доказательства подлинности своего гонца… коробку с пилюлями каломеля.

Мапута и я отошли в сторону, так как я видел, что он хотел поговорить со мной наедине.

— О Макумазан, — сказал он мне, когда нас не могли слышать другие, — вот что говорит Мпанда: «Я знаю, что ты, Макумазан, обещал сопровождать Садуко, сына Мативаана, в его походе против Бангу, вождя амакобов. Если бы это касалось кого-либо другого, то я запретил бы этот поход, и в особенности я запретил бы тебе, белому человеку, принимать в нем участие. Но Бангу злодей. Много лет тому назад он ложно обвинил перед тем, кто правил до меня, моего друга Мативаана, а затем предательски убил его и все его племя, за исключением его сына Садуко и некоторых его людей и детей, которые спаслись. Кроме того, в последнее время он старается поднять восстание против меня, своего короля, ибо он знает, что я ненавижу его за его преступления. Но я, Мпанда, в противоположность тем, кто правил до меня, люблю мир и не хочу зажечь в Земле Зулу огонь междоусобицы, потому что кто знает, где остановится

этот огонь и чьи краали он уничтожит. Однако я хочу наказать Бангу за его злодеяния и хочу видеть его гордость сломленной. Поэтому я даю Садуко и тем из нгваанов, которые остались в живых, разрешение отомстить Бангу за их личные обиды. И я даю тебе, Макумазан, разрешение принять участие в этом деле. Кроме того, если будет захвачен скот, то я не потребую за него отчета. Ты и Садуко можете разделить его по своему усмотрению. Но знай, Макумазан, если ты или твои люди будут убиты, или ранены, или ограблены, то я ничего не знаю об этом деле и не буду нести ответственности перед тобой или перед Белым Домом в Натале. Вот мои слова. Я сказал».

— Я понимаю, — ответил я. — Я должен вытащить для Мпанды из огня раскаленное железо и потушить огонь. Если мне удастся, то я могу оставить себе кусок железа, когда оно остынет, а если я обожгу Себе пальцы, то это моя собственная вина и я не должен идти жаловаться к Мпанде.

— О Макумазан, ты попал копьем быку прямо в сердце, — ответил Мапута, кивнув своей умной головой. — Что же, пойдешь ты с Садуко?

— Скажи королю, Мапута, что я пойду с Садуко, так как я обещал ему пойти, тронутый рассказом о его обидах. Скажи также Мпанде, Что если меня постигнет несчастье, он ничего не услышит об этом и я не впутаю его высокого имени в это дело. Но он, со своей стороны, не должен меня обвинять, если впоследствии что-нибудь случится. Запомнишь ли ты мои слова?

— Я запомнил каждое слово, и пусть твой дух охраняет тебя, Макумазан, когда вы произведете нападение на гору, где укрепился Бангу. На вашем месте, — прибавил Мапута, — я напал бы на рассвете, так как амакобы пьют очень много пива и крепко спят.

Затем мы разделили с ним щепотку табаку, и он отправился в Нодвенгу, резиденцию Мпанды.

*** * ***

Прошло две недели, и Садуко и я, с нашей дикой командой нгваанов, сидели однажды утром, после долгого ночного перехода, в гористой местности и смотрели через широкую долину на гору, на склоне которой находился крааль Бангу, вождя амакобов.

Это была внушительная гора, и, как мы уже успели заметить, тропинки, ведущие к краалю, были защищены каменными стенами, в которых ворота были так узки, что через них за один раз мог пройти только один вол. Видно было, что эти стены укреплялись недавно; вероятно, Бангу знал, что Мпанда относится к нему с подозрением, даже с враждебностью.

Здесь, в густом кустарнике, покрывающем ущелье между горами, мы устроили военный совет.

Насколько нам было известно, наше передвижение пока осталось незамеченным. Я оставил свои фургоны в долине, за тридцать миль отсюда, пустив между местными туземцами слух, что я охочусь за дичью, взяв с собою только Скауля и четырех своих лучших охотников, умевших стрелять.

Триста нгваанов тоже передвигались маленькими партиями, отдельно друг от друга, выдавая себя за кафров, направляющихся к заливу Делагоа[25]. Теперь мы все встретились в этом леске. Среди нас находились три нгваана, которые после избиения их племени бежали со своими матерями в этот район и выросли среди народа Бангу, но которые откликнулись на клич Садуко и вернулись к нему. Мы очень рассчитывали на них, потому что они одни знали местность. Мы долго советовались с ними. Они объясняли нам и, насколько возможно было при лунном свете, указывали рукой различные тропинки, ведущие к краалю Бангу.

— Сколько человек в краале? — спросил я.

— Около семисот воинов, — ответили они. — Кроме того, все ворота в стенах охраняются часовыми.

— А где скот? — спросил я.

— Здесь, в долине, внизу, Макумазан. Если ты прислушаешься, ты услышишь их мычание. Не менее пятидесяти человек сторожат их ночью — их две тысячи голов, если не больше.

— Тогда было бы не трудно окружить это стадо и угнать его, предоставив Бангу вырастить себе новый скот.

— Может быть, это и не трудно, — прервал Садуко, — но я пришел сюда, чтобы не только захватить скот Бангу, но и чтобы убить его самого, так как у меня с ним кровавые счеты.

— Хорошо, — ответил я, — но триста человек не могут взять приступом гору, укрепленную стенами и шанцами. Наш отряд был бы уничтожен прежде, чем мы даже достигли крааля, потому что благодаря всюду расставленным часовым невозможно напасть врасплох. Ты забыл также сторожевых собак, Садуко. Но если бы даже это было возможно, я не хочу принимать никакого участия в убийстве женщин и детей, которое,

наверное, будет иметь место при приступе. Выслушай меня, Садуко. Я предлагаю оставить в покое крааль Бангу, а нынешней ночью послать пятьдесят наших людей под началом проводников к тому леску внизу, где они спрячутся. Затем, когда взойдет луна и все будут спать, эти пятьдесят человек выпустят из ограды скот, убивая всех, кто встанет на их пути, и погонят стадо через то большое ущелье, по которому мы вошли сюда. Бангу подумает, что стадо забрали обыкновенные воры из какого-нибудь дикого племени, и погонится со своими людьми за стадом, чтобы отнять его. Мы же с остальными нгваанами можем устроить засаду в самой узкой части ущелья между скалами, где высокая трава и густые деревья, и там можем вступить с ними в бой. Что скажешь ты на это?

Садуко ответил, что он охотнее всего напал бы на крааль и сжег его. Но старик Тшоза, брат убитого Мативаана, сказал:

— Нет, Макумазан мудро придумал. Зачем тратить нам наши силы на каменные стены, когда мы даже не знаем, сколько их, и не найдем в темноте ворот. Мы только дадим возможность этим проклятым амакобам украсить их изгороди нашими черепами. Заманим амакобов в горный проход, где у них не будет стен, которые защищали бы их, нападем на них врасплох и посчитаемся с ними в рукопашном бою. Что касается женщин и детей, то я, как и Макумазан, скажу вам — оставьте их в покое. Может быть, впоследствии они станут нашими женами и детьми.

— Да, — ответили нгваане, — план Белого Вождя хорош. Инкоси хитер, как хорек. Мы не хотим другого плана.

Таким образом, мой совет был принят.

Весь этот день мы отдыхали, не зажигая огней, притаившись в густом кустарнике. Это был тревожный день, так как, хотя место и было пустынное, всегда можно было опасаться, что нас обнаружат. Правда, мы совершали наши переходы большей частью по ночам, небольшими группами, избегая оставлять следы и обходя краали. Однако слух о нашем приближении мог достигнуть амакобов или компания охотников могла натолкнуться на нас, или те, кто искал заблудившийся скот.



Действительно, что-то в этом роде и случилось, потому что около полудня мы услышали шаги и увидели человека, пробиравшегося через кусты. По его прическе мы узнали в нем амакоба. Прежде чем он увидел нас, он очутился в нашем кругу. Он остановился в нерешительности, затем

повернулся, чтобы бежать, но три нгваана молча прыгнули на него, как леопард бросается на оленя, и он умер на том же месте, где стоял.

Между тем некоторые из нас, обладавшие самыми зоркими глазами, вскарабкались на деревья и оттуда стали наблюдать за крепостью Бангу и за долиной, лежавшей между нами и крепостью. Вскоре мы увидели, что пока судьба нам благоприятствовала, так как стадо за стадом сгоняли в течение дня в долину и запирали в ограду. Без сомнения, Бангу намеривался на следующий день произвести полугодовой осмотр всего скота своего племени.

Наконец длинный день пришел к концу, и вечерние тени сгустились. Тогда мы стали готовиться к нашей страшной игре, в которой ставкой были жизни всех нас, потому что в случае неудачи мы не могли ждать пощады. Нападающие угонщики скота были поставлены под команду Тшозы, самого опытного среди нгваанов, а повести их должны были те три проводника, которые жили среди амакобов и знали каждую тропинку и каждый муравейник. На их обязанности было пересечь долину, разделиться на маленькие отряды, отпереть все ограды, где содержался скот, убить или прогнать пастухов и погнать скот через долину в ущелье. Другие пятьдесят человек под командой Садуко должны были остаться как раз в конце ущелья, где оно выходило в долину, чтобы помочь загонщикам скота или, в случае надобности, задержать преследующих амакобов, пока огромные стада успеют уйти, а затем они должны были отступить к остальным нашим силам, засевшим в засаде двумя милями дальше. Устройство этой засады было возложено на меня, и это было очень трудным делом.

Луна должна была взойти не раньше полуночи. Но за два часа до этого момента мы начали наши передвижения, чтобы успеть выгнать скот, как только взойдет луна. Иначе бой в ущелье пришелся бы, по всей вероятности, на утро, после восхода солнца, когда амакобам видно было бы, как незначительно число их врагов. Паника, неизвестность, темнота — вот наши союзники, на которых мы рассчитывали в нашем отчаянном предприятии.

Все было наконец устроено, и наступил час действий. Мы, возглавлявшие три отряда, попрощались друг с другом и передали приказ по рядам, что в случае, если мы будем рассеяны, оставшиеся в живых должны собраться у моих фургонов.

Тшоза со своими пятьюдесятью воинами молча скользнули, как призраки, и исчезли во мраке ночи. Вскоре отправился и Садуко со своим отрядом. Он нес двуствольное ружье, которое я ему дал, и его сопровождал один из моих лучших охотников, туземец из Наталя, который тоже был

вооружен тяжелым ружьем. Мы надеялись, что звук выстрелов наведет панику на врага, который подумает, что имеет дело с отрядом белых людей.

Затем я, Скауль, два охотника и двести оставшихся нгваанов тоже двинулись в путь, идя обратно по дороге, по которой мы пришли сюда. Я называю это дорогой, но на самом деле это был просто изрытый водой овраг, усеянный глыбами камней, по которому мы должны были пробираться в темноте. Мы шли тремя длинными вереницами, так что каждый мог не терять связи с идущим впереди, и как раз когда луна стала всходить, мы достигли места, выбранного мною для засады.

В самом деле, место очень подходило для этой цели. Овраг сужался здесь до ширины не более ста футов, а оба крутых склона ущелья были покрыты кустарником и молочаем, растущим между камнями. За этими камнями и кустами мы и спрятались, сто человек с одной стороны и сто с другой. Я и мои охотники, вооруженные ружьями, заняли позицию под прикрытием большой глыбы, находившейся немного правее той самой рытвины, по которой должно было пройти стадо. Я выбрал эту позицию по двум причинам: во-первых, я мог сохранить связь с обоими флангами моего отряда, а во-вторых, мы могли стрелять прямо по дороге в преследующих угнанный скот амакобов.

Я отдал строгий приказ нгваанам не двигаться, пока я или, если я буду убит, один из моих охотников не даст залпа из ружья. Я опасался, что они в возбуждении выскочат раньше времени и убьют наших, которые, вероятно, смешаются с первыми из преследующих амакобов. Затем, после того как скот пройдет и сигнал будет дан, они должны будут наброситься с обеих сторон на амакобов так, чтобы врагу пришлось сражаться на крутом склоне.

Вот и все, что я им сказал, потому что неблагоразумно было сбивать с толку туземцев, отдавая им слишком много приказаний за один раз. Однако я добавил им еще, что они должны победить или умереть, так как пощады им ждать не приходится. Их представитель — у этих народов всегда находятся подобные люди — ответил, что они благодарят меня за совет и что они постараются сделать все, что могут. Затем они подняли копья в виде приветствия, рассыпались в разные стороны, ища прикрытия за скалами и деревьями, и принялись ждать.

Ожидать пришлось долго, и я сознаюсь, что под конец стал нервничать. Время тянулось очень медленно. Убывающая луна ярко светила на светлом небосклоне, и, так как не было ни малейшего ветерка, тишина казалась какой-то напряженной. За исключением смеха случайной гиены и раздающегося временами звука, который я принимал за

отдаленный кашель льва, ничто не двигалось между спавшей землей и освещенным луной небом, на котором под бледными звездами плыли небольшие облака.

Наконец мне показалось, что слышен шум, похожий на отдаленной журчание. Шум разрастался и усиливался. Он звучал так, будто тысячи палок ударялись обо что-то твердое. Шум стал приближаться, и я узнал в нем топот копыт скачущих животных. Затем послышались отдельные звуки, очень слабые и заглушённые, — это могли быть крики людей. Потом, я не мог ошибиться, в отдалении раздались выстрелы. Мне не оставалось ничего другого, как ждать.

Я весь сгорал от возбуждения. Звуки ударов по камням становились все громче, пока они не слились в сплошной гул, смешанный с раскатами отдаленного грома, но я вскоре распознал, что это был не гром, а мычание тысячи испуганных животных.

Все ближе и ближе слышались топот скачущих копыт и гул мычания. Все ближе и ближе раздавались крики людей, нарушая тишину ночи. Наконец показалось первое животное — полосатая антилопа, которая каким-то образом затесалась в стадо. Как стрела пронеслась она мимо нас, а за ней через минуту последовал бык, который, будучи молодым и легким, перегнал своих товарищей. Он тоже промчался мимо, с пеной на губах и с высунутым языком.

Затем появилось стадо, показавшееся мне бесконечным. Коровы, телята, быки и волы — все смешалось в одну сплошную массу, и каждый из них рычал, мычал или испускал какой-нибудь звук. Шум был потрясающий; в глазах рябило, потому что животные были всех мастей и их длинные рога сверкали при лунном свете, как слоновая кость. Только бегство буйволов из камышей в тот день, когда я был ранен, можно было до некоторой степени сравнить с представшей нам картиной.

Стадо неслось мимо нас потоком. Это была могучая масса, такая плотная, что человек мог пройти по их спинам. И действительно, несколько телят, выброшенных кверху давлением, уносились вперед таким образом. Счастье, что никто из нас не оказался на их пути. Они неслись с такой непреодолимой силой, что ни одна изгородь или стена не спасла бы нас. Даже толстые деревья, росшие в ущелье, были вырваны с корнем.

Наконец длинная вереница начала редеть и состояла теперь из слабых и раненых животных, которых было очень много. Другие звуки стали покрывать мычание быков — возбужденные крики людей. Сперва показались первые наши товарищи — загонщики скота, усталые и запыхавшиеся, но с торжеством размахивающие копьями. Среди них был

старик Тшоза. Я окликнул его. Он услышал меня и улегся рядом со мной, с трудом переводя дыхание.

— Мы угнали весь скот, — проговорил он, тяжело дыша. — Ни одного животного мы не оставили, кроме тех, которые были затоптаны. Садуко идет вслед за нами с остальными нашими братьями, за исключением тех, кто убит. Все племя амакобов преследует нас. Садуко удерживает их, чтобы дать время скоту уйти.

— Очень хорошо, — ответил я. — Теперь вели своим людям спрятаться позади нас, чтобы они могли отдышаться перед битвой.

Едва последний из них исчез в кустах, как усиливавшийся шум криков, среди которых я расслышал звук выстрела, донес нам, что Садуко с его отрядом и преследующие амакобы уже недалеко. Вскоре они показались, то есть показалась кучка нгваанов. Они не сражались больше, а бежали изо всех сил, так как знали, что приближались к засаде, и хотели успеть проскочить ее, чтобы не смешаться с амакобами. Мы пропустили их мимо себя. Одним из последних бежал Садуко, очевидно раненый, потому что сбоку у него сочилась кровь. Он поддерживал моего охотника, раненного достаточно серьезно.

Я окликнул его.

— Садуко, — сказал я, — расположись со своим отрядом на гребне скалы, и отдохните там, чтобы вы могли прийти нам на помощь в случае надобности.

Он помахал в ответ ружьем — говорить он не мог — и пошел с остатками своего отряда (их было не более тридцати) по следам стада. Не успели они скрыться из вида, как появились амакобы. Это была беспорядочная, недисциплинированная толпа, человек пятьсот или шестьсот, которые, по-видимому, потеряли не только скот, но и голову. Они были вооружены как попало: иные имели тяжелые ассегаи, другие — метательные[26], у некоторых не было даже щитов. Многие были совсем голые, не имев времени надеть свои мучи, не говоря уже о боевых украшениях. Очевидно, они обезумели от ярости, и испускаемые ими звуки сливались в одно могучее проклятие.

Момент боя наступил, но, по правде сказать, я вовсе не жаждал его. В конце концов, мы украли скот у этого народа, а теперь собирались перебить его. Я должен был вспомнить страшный рассказ Садуко об истреблении всего его племени, прежде чем смог решиться подать условленный сигнал. Кроме того, я подумал, что они намного превосходят нас количественно и, весьма вероятно, останутся в конце концов победителями.

В любом случае, раскаиваться было поздно.

Я поднялся на скалу и выпустил оба заряда из моей двустволки в приближающуюся орду. В следующую минуту с ревом, напоминавшим вой диких животных, с обеих сторон ущелья выскочили из своей засады свирепые нгваане и набросились на своих врагов. Ими руководили ненависть и жажда мести за убитых отцов и матерей, сестер и братьев. Они одни остались из племени, чтобы отплатить врагам кровью за кровь.

Как они сражались! Они были больше похожи на дьяволов, чем на человеческие существа. После того первого рева, вылившегося в слово «Садуко!», они замолкли и дрались без слов, как дьяволы. Хотя их было мало, но своим страшным натиском они сперва оттеснили амакобов. Затем, когда последние оправились от неожиданности, численное их превосходство стало сказываться, потому что они были тоже храбрецы, не поддавшиеся панике. Десятки их пали сразу, но оставшиеся стали теснить нгваанов вверх на гору. Я принимал мало участия в битве, но был отброшен вместе с остальными, стреляя только в тех случаях, когда был вынужден спасать свою собственную жизнь. Шаг за шагом нас теснили назад, пока, наконец, мы не очутились вблизи гребня ущелья.

И вот, когда исход битвы колебался, раздался снова крик «Садуко!», и сам он со своими тридцатью воинами бросился на амакобов.

Эта атака решила битву. Не зная численности подкрепления, оставшиеся амакобы повернули и бежали, но мы не стали их далеко преследовать.

Мы устроили смотр нашим отрядам на вершине холма. Нас осталось не более двухсот человек, остальные пали или были смертельно ранены.

Я был измучен до последней степени. Как сквозь сон увидел я несколько нгваанов, тащивших за собой дикаря с криками «Вот Бангу, Бангу-кровопийца, которого мы поймали живьем!»

Садуко шагнул к нему.

— А! Бангу! — воскликнул он. — Теперь я могу тебя убить, как ты убил бы много лет тому назад маленького Садуко, если бы Зикали не спас его. Смотри, вот знак твоего копья.

— Убей меня! — сказал Бангу. — Твой дух сильнее моего! Убей, Садуко.

— Нет! — ответил Садуко. — Если ты устал, то я тоже устал и так же ранен, как и ты. Возьми копье, Бангу, и будем сражаться.

И при лунном свете они вступили в единоборство. Они бились свирепо, а все кругом стояли и смотрели, пока, наконец, Бангу не упал навзничь.

*** * ***

Садуко был отомщен. Я был рад, что он убил своего врага в честном бою, а не так, как это можно было ожидать от дикаря.

Глава VII. Сватовство Садуко

На следующий день рано утром мы достигли того места, где были оставлены мои фургоны. Переход был весьма утомительный, так как мы были обременены захваченным скотом и нашими ранеными. Настроение было тревожное, потому что было возможно, что остатки амакобов попытаются нас преследовать. Этого, однако, они не сделали, так как у них было слишком много убитых и раненых, а оставшиеся в живых пали духом. Они вернулись в свои горы и жили с тех пор в нищете, потому что у них осталось менее пятидесяти голов скота. В конце концов Мпанда отдал их победителю Садуко, и тот присоединил их к нгваанам. Но это случилось несколько позже.

Отдохнув немного у фургонов, мы произвели смотр захваченному скоту, и при подсчете его оказалось чуть больше тысячи двухсот голов, не считая сильно покалеченных во время бега животных, которых мы убили на мясо. Поистине это была богатая добыча, и Садуко, несмотря на рану в бедре, стоял и блестящими глазами обозревал скот. И немудрено, потому что он, который был беден, стал теперь богат и был уверен — и я разделял его веру, — что при таких изменившихся обстоятельствах и Мамина, и ее отец благосклонно отнесутся к его сватовству.

Я тоже окинул взглядом скот и размышлял, вспомнит ли Садуко нашу сделку, в силу которой шестьсот голов принадлежали мне. Шестьсот голов! Считая их на круг по пять фунтов стерлингов[27], это означало три тысячи фунтов — сумма, которой я не имел за всю свою жизнь. Но вспомнит ли Садуко? В общем, я думал, что он не вспомнит, так как кафры не любят расставаться со скотом.

Но я оказался к нему несправедлив. Он вскоре повернулся и проговорил с некоторым усилием:

Маку мазан, половина этого скота принадлежит тебе, и ты вполне заслужил его, потому что мы одержали победу благодаря твоему хитроумному плану. Давай же делить скот поштучно.

Итак, я выбрал себе хорошего вола, и Садуко выбрал себе, и так продолжалось, пока я не отобрал себе восемь штук. Тогда я повернулся к Садуко и сказал:

— Так! Этого достаточно. Эти волы мне нужны, чтобы заменить в моей упряжи тех, которые пали в пути, но больше мне не нужно.

Возгласы удивления вырвались у Садуко и у всех, стоявших с ними, а

старик Тшоза воскликнул:

— Он отказывается от шестисот голов скота, которые по справедливости принадлежат ему! Он, должно быть, сумасшедший!

— Нет, друзья, — ответил я, — я не сумасшедший. Я сопровождал Садуко в его набеге потому, что он мой друг и помог мне однажды в минуту опасности, но я не хочу брать себе то, что досталось ценою крови. Если, согласно вашим законам, этот скот принадлежит мне, то я могу располагать им. Я даю по десять голов каждому из моих охотников и по пятнадцать — родственникам тех, которые были убиты. Остальных я дарю Тшозе и прочим нгваанам, сражавшихся с нами, и разделить их между собой они могут по соглашению.

Громкие, восторженные крики грянули со всех сторон. Садуко тоже поблагодарил меня с присущим ему высокомерием; однако я не думаю, чтобы он был очень доволен. Хотя мой дар освобождал его от необходимости поделиться своей долей со своими товарищами, но мне кажется, он опасался, что нгваане с этих пор будут любить меня больше, чем его. Это и произошло на самом деле, и я уверен, что среди всех этих дикарей не было человека, который не отдал бы своей жизни за меня, и до сего дня мое имя известно среди них и их потомков.

* * *

Наше обратное путешествие к краалю Умбези совершалось медленно, потому что раненые и огромное стадо стесняли нас. Но от стада мы скоро избавились: отобрав сотню самых лучших животных, Садуко отослал остальных, под охраной старика Тшозы и половины своих воинов, в назначенное им место, где они должны были ждать его прихода.

Прошло около месяца с памятной битвы, когда мы наконец расположились лагерем недалеко от крааля Умбези, в том самом лесу, где я первый раз встретился с воинами Садуко. Но как они отличались теперь от тех тощих дикарей, которые, как призраки, выскользнули тогда из-за деревьев на зов своего вождя! В пути Садуко купил им красивые повязки и одеяла; волосы были украшены длинными черными перьями птиц, а из шкур убитых волов сделаны были щиты. Кроме того, от хорошей обильной пищи они поправились и стали полными и лоснящимися.

Садуко решил провести ночь в лесу, ничем не выдавая нашего

присутствия, а на следующее утро выступить во всем своем величии, в сопровождении своих воинов, презентовать Умбези затребованные им сто голов скота и официально просить руки его дочери.

Этот план был в точности выполнен. На следующее утро, после восхода солнца, Садуко, по примеру великих вождей, выслал вперед двух разряженных глашатаев, которые должны были объявить Умбези о его приближении, а за ними были высланы еще двое людей, чтобы воспевать и восхвалять подвиги Садуко (кстати, я заметил, что им было строго приказано ни словом не обмолвиться обо мне). Затем мы выступили всем отрядом. Впереди шел Садуко в великолепном одеянии вождя, с небольшим копьем в руках, в коротенькой юбочке из леопардовой шкуры и с перьями на голове. Его сопровождала свита из шести самых статных его товарищей, которые должны были представлять его индун. За ним шел я, в старом дорожном костюме, весь в пыли. Меня сопровождал безобразный курносый Скауль в замасленных брюках и в стоптанных европейских сапогах, из которых выглядывали пальцы, и три моих охотника, вид которых был еще более жалкий. За ними шагали приодетые нгваане, человек восемьдесят, и шествие замыкалось стадом волов, погоняемых несколькими погонщиками.

Наконец мы подошли к воротам крааля. Здесь мы застали глашатаев, которые все еще выкрикивали и приплясывали.

— Вы видели Умбези? — спросил их Садуко.

— Нет, — ответили они, — он спал, когда мы пришли, но его люди сказали нам, что он скоро выйдет.

— Скажите его людям, чтобы он скорее поторапливался, иначе я сам его выволоку, — заявил Садуко.

Как раз в эту минуту отворились ворота крааля и в них появился толстый и смущенный Умбези. Меня поразил его испуганный вид, хотя он и старался скрыть свой страх.

— Кто является ко мне в гости с такой толпой? — спросил он, указывая на ряды вооруженных людей. — А, это ты, Садуко! — И, оглядывая его с ног до головы, прибавил: — Каким ты стал важным! Ограбил ты кого-нибудь? А, и ты здесь, Макумазан! Ты, я вижу, не стал важным. Ты похож на корову, вскормившую зимою двух телят. Но скажи, для чего здесь все эти воины? Я это потому спрашиваю, то мне нечем накормить так много людей, в особенности теперь, когда у нас только что было празднество.

— Не беспокойся, Умбези, — величественно ответил Садуко. — Я захватил с собою пищу для своих людей. Что же касается моего дела, то

оно очень простое. Ты потребовал у меня сто голов скота как выкуп за Мамину. Пошли своих слуг пересчитать их.

— С удовольствием, — как-то нервно ответил Умбези и отдал какое-то приказание стоявшим около него слугам. — Я рад, что ты внезапно так разбогател, Садуко, хотя я не могу понять, как это случилось.

— Все равно, как это случилось, — сказал Садуко. — Главное то, что я богат, и этого достаточно. Потрудись послать за Маминой. Я хочу поговорить с ней.

— Да, да, Садуко, я понимаю, что ты хочешь поговорить с Маминой, но, — и он с отчаянием оглянулся, — я боюсь, что она спит. Ты знаешь, что Мамина всегда поздно встает и терпеть не может, когда ее тревожат. Не придешь ли ты лучше в другой раз? Скажем, завтра утром? Она, наверное, к тому времени встанет… или, еще лучше, приходи послезавтра.

— В какой хижине находится Мамина? — грозно спросил Садуко.

— Не знаю, Садуко, — ответил Умбези. — Она спит то в одной, то в другой хижине, а иногда ходит к тетке в крааль, до которого несколько дней пути. Я нисколько не удивлюсь, если она ушла туда вчера вечером.

Прежде чем Садуко мог ответить, раздался резкий, визгливый голос, исходивший от безобразной старухи, сидевшей в тени. Я признал в ней ту, которая была известна под именем Старой Коровы.

— Он лжет! Мамина навсегда покинула этот крааль. Она спала эту ночь не со своей теткой, а со своим мужем Мазапо, которому Умбези отдал ее в жены два дня тому назад, получив за нее сто двадцать голов скота, то есть на двадцать голов больше, чем ты предлагаешь, Садуко.

Я подумал, что при этих словах Садуко сойдет с ума от ярости. Его темная кожа сделалась совсем серой, он дрожал, как лист, и казалось, что он свалится. Затем он прыгнул, как лев, и, схватив Умбези за горло, отшвырнул его назад, угрожая ему копьем.

— Гнусная собака! — закричал он громовым голосом. — Говори правду, или я вспорю тебе живот! Что ты сделал с Маминой?

— О Садуко, — ответил Умбези прерывающимся голосом. — Мамина сама захотела выйти замуж. Это не моя вина.

Дальше ему не пришлось говорить, и не схвати я Садуко и не оттащи его назад, это была бы последняя минут в жизни Умбези, потому что Садуко уже замахнулся над ним копьем. Так как Садуко ослабел от волнения, то он не мог вырваться из моих рук, и я продолжал его держать, пока рассудок вновь не вернулся к нему.

Наконец он немного оправился и отбросил от себя копье, как бы боясь искушения. Затем все тем же страшным голосом он спросил:

— Есть ли у тебя еще что сказать по поводу этого дела, Умбези? Я хочу выслушать все, прежде чем отвечу тебе.

— Только это, Садуко, — ответил Умбези, поднявшись с земли и трясясь, как тростник. — Я поступил так, как поступил бы всякий отец. Мазапо очень могущественный вождь, и он будет мне хорошей опорой в старости. Мамина объявила, что она хочет выйти за него замуж…

— Он лжет! — завизжала Старая Корова. — Мамина сказала, что не хочет выходить замуж ни за одного зулуса, так как, кажется, она имела виды на белого человека. — И она покосилась на меня. — Но потом сказала, что если ее отец желает, чтобы она вышла замуж за Мазапо, то она, как послушная дочь, повинуется ему, но если этот брак вызовет раздоры и прольется кровь, то пусть эта кровь падет на его голову, а не на ее…

— Ты тоже выпускаешь свои когти против меня, проклятая кошка! — сказал Умбези и так огрел старуху по спине, что она убежала, визжа и ругаясь.

— О Садуко! — продолжал он. — Не отравляй своего слуха этими лживыми речами. Мамина никогда не говорила ничего подобного, а если говорила, то не мне. Так вот, когда моя дочь согласилась взять Мазапо в мужья, его люди пригнали сюда сто двадцать самых лучших волов, и ты хотел бы, чтобы я не принял их, Садуко? Вспомни, Садуко, что хотя ты и обещал мне сто голов — то есть на двадцать голов меньше, — но в то время у тебя не было ни одного вола, и я не мог представить себе, откуда ты их достанешь. Кроме того, — прибавил он, видя, что его аргументы не производили впечатления, — мне передали, что вы оба, ты и Макумазан, были убиты какими-то злодеями горах. Вот, я все сказал, и если, Садуко, у тебя есть скот, то у меня имеется еще другая дочь, может быть не такая красивая, но гораздо лучшая работница. Идем и выпьем глоток пива, а я пошлю за ней.

— Перестань болтать о твоей другой дочери и о пиве и выслушай меня, — сказал Садуко, так зловеще поглядывая на выроненное им копье, что я поспешил наступить на него ногой. — Я теперь более могущественный вождь, чем этот боров Мазапо. Есть ли у Мазапо такие телохранители, как эти молодцы? — И он пальцем указал на сомкнутые ряды грозных нгваанов. — Если у Мазапо столько скота, как у меня? То, что ты видишь, только десятая часть, которую я привел в виде выкупа отцу той, которая была мне обещана в жены. Может ли Мазапо назвать Мпанду своим другом? Мне кажется, я слышал что-то другое. Победил ли Мазапо бесчисленное племя благодаря своему мужеству и своему уму? Молод и красив ли Мазапо или он старый безобразный боров? Ты не отвечаешь мне,

Умбези, и, быть может, хорошо делаешь, что молчишь. Теперь слушай дальше. Если бы здесь не было Макумазана, которого я не хочу вмешивать в подобные дела, то я приказал бы своим людям схватить тебя и избить до смерти, а затем пойти к борову и поступить таким же образом. Приходится с этим немного обождать, потому что у меня есть другие дела. Но недалек день, когда я и это устрою. Поэтому советую тебе, обманщик, поспешить умереть, иначе ты узнаешь, что значит быть избитым палками до смерти. Пошли и передай мои слова Мазапо. А Мамине скажи, что я скоро приду и заберу ее, но приду с копьями, а не со скотом. Понимаешь? Да, я вижу, что ты понял, потому что ты от страха ревешь, как женщина. Прощай же, обманщик, и жди меня, когда я вернусь с палками.

И, повернувшись, Садуко удалился. Я хотел поспешить за ним, но бедняга Умбези подскочил ко мне и схватил меня за руку.

— О Макумазан, — воскликнул он, плача от страха, — если ты когда-нибудь считал меня своим другом, то помоги мне выбраться из глубокой ямы, в которую я попал из-за проделок Мамины. Макумазан, если бы она была твоей дочерью и могущественный вождь явился бы со ста двадцатью головами самого лучшего скота, то разве ты не отдал бы ее ему, несмотря на то, что он немолод и некрасив?

— Я думаю, нет, — ответил я, — но у нас ведь нет обычая продавать женщин.

— Да, да, я забыл, что в этом отношении вы, белые люди, сумасшедшие. По правде говоря, Макумазан, я думаю, что она действительно любит тебя, она сама мне говорила это. Почему же ты не украл ее, когда я не смотрел? Мы с тобой сговорились бы потом, а я освободился бы от этой каверзы и не попал бы в яму.

— Потому что некоторые люди не делают таких вещей, Умбези.

— Да, да, я забыл. Я всегда забываю; что вы, белые люди, совсем другого склада и что нельзя от вас ожидать, что вы поступали бы, как люди в здравом рассудке. Во всяком случае, ты друг этого тигра

Садуко, что опять доказывает, что ты совсем помешанный, потому что многие охотнее согласились бы подоить буйволицу, чем идти рука об руку с Садуко. Ты разве не понимаешь, Макумазан, что он хочет убить меня? Уф! Ведь он хочет избить меня палками до смерти. Уф! И если ты не помешаешь ему, то он сделает это наверняка… может быть, завтра. Уф! Уф!

— Да, я понимаю, Умбези, и думаю, что он это сделает. Но я не знаю, как я могу помешать ему. Вспомни, что ты ведь знал, как он любит Мамину, и поэтому ты очень плохо поступил с ним.

— Я никогда не обещал ее ему, Макумазан. Я только сказал, что если он приведет сто голов, то, может быть, я отдам ему Мамину.

— Он получил эти сто голов, и еще гораздо больше, уничтожив амакобов, врагов его племени. Но теперь ты своей доли уже не получишь, и я думаю, тебе придется примириться с твоей участью, которой я не хотел бы разделить, даже если бы мне обещали весь скот в Земле Зулу.

— Поистине ты не из тех, у кого можно искать утешения в минуту горя, — простонал бедняга Умбези, а затем прибавил, просияв: — Но, может быть, Мпанда убьет его за то, что он уничтожил племя Бангу, когда в стране мир. О Макумазан, не можешь ли ты уговорить Мпанду убить его?

— Невозможно, — ответил я, — Мпанда его друг. Между нами говоря, Садуко уничтожил амакобов по особому желанию короля. Когда Мпанда услышит об этом, он позовет Садуко к себе и сделает его своим индуной, дав ему право жизни и смерти над такими маленькими людьми, как ты и Мазапо.

— Тогда все кончено, — слабым голосом проговорил Умбези, — и я постараюсь умереть, как мужчина. Но быть избитым палками! О! — прибавил он, скрежеща зубами. — Если бы Мамина только попалась мне в руки, я вырвал бы все ее красивые волосы. Я связал бы ей руки и запер бы ее со Старой Коровой, которая любит ее так же, как кошка любит мышь. Нет, я убью ее… Слышишь, Макумазан, если ты не поможешь мне, я убью Мамину, а это тебе не понравится, потому что я уверен, что она дорога тебе, хотя ты и не решился похитить ее.

— Если ты только посмеешь тронуть Мамину, — сказал я, — то будь уверен, мой друг, что палки Садуко очень быстро загуляют по твоему телу и я сам донесу на тебя Мпанде. Слушай меня, старый болван, Садуко так любит твою дочь, что если бы только он смог получить ее, я думаю, он не посмотрел бы на то, что она замужем. Поэтому ты должен постараться откупить ее у Мазапо. Понимаешь, я говорю: откупить ее, а не достать ее кровопролитием — и это ты можешь сделать, уговорив Мазапо развестись с ней. И если Садуко узнает, что ты старался сделать это, я думаю, он оставит на время свои палки в покое.

— Я попытаюсь, Макумазан. Правда, Мазапо очень упрям, но если он узнает, что его жизнь в опасности, он, может быть, уступит. И если Мамина узнает, что Садуко сделался богатым и могущественным, она, может быть, тоже согласится выйти за него. О, благодарю тебя, Макумазан, ты настоящая подпора моей хижины. Прощай, Макумазан, если тебе нужно идти. Но почему… почему ты не похитил Мамину и не избавил меня от всех этих неприятностей?

Глава VIII. Вражда братьев

Вернувшись к своим фургонам после этой трагикомической сцены со стариком Умбези, я узнал, что Садуко и его воины уже выступили по направлению к королевской резиденции Нодвенгу. Садуко, однако, надеялся, как мне передавали, что я отправлюсь вслед за ним, чтобы представить отчет об уничтожении амакобов. Поразмыслив немного, я решил это сделать, движимый желанием узнать, что выйдет из всей этой истории.

После длительного путешествия, не ознаменовавшегося никаким особенно интересным приключением, я прибыл наконец в Нодвенгу и расположился лагерем в месте, указанном ожидавшим меня на некотором расстоянии от крааля королевским советником. Здесь я провел два или три дня, занимаясь стрельбой по горлицам и другим птицам.

Наконец, когда это времяпрепровождение мне надоело и я собирался уже двинуться в Наталь, ко мне в фургон заглянул Мапута — тот самый, который передал мне послание от короля перед нашим отправлением в поход против Бангу.

— Привет тебе, Макумазан! — сказал он. — Ну как амакобы? Я вижу, они не убили тебя.

— Нет, — ответил я, угощая его табаком. — Они не совсем убили меня, потому что я здесь. Что тебе угодно от меня?

— О Макумазан, король хочет только знать, остались ли у тебя маленькие шарики в коробке, которую я тебе вернул. Он хотел бы проглотить один шарик.

Я подал ему всю коробку, но он не взял ее, сказав, что король желает принять ее лично от меня. Тогда я понял, что это был просто предлог, и спросил, когда Мпанде угодно будет принять меня. Он ответил, что король ждет меня немедленно.

Таким образом, мы с ним отправились, и через час я стоял, или, вернее, сидел перед королем.

Подобно всем членам его семьи, король был огромных размеров, но, в противоположность Чаке и другим братьям, выражение лица его было доброе. Я поклонился ему, приподняв шляпу, и занял место на деревянном табурете, приготовленном для меня около большой хижины, в тени которой сидел король, окруженный охраной.

— Привет тебе, Макумазан, — сказал он. — Я рад видеть тебя живым

и невредимым. Я слышал, что с тех пор как мы виделись, ты испытал опасное приключение.

— Да, король, ответил я, — но какое приключение имеешь ты в виду? Приключение ли с буйволом, когда Садуко помог мне, или приключение с амакобами, когда я помог Садуко?

— Последнее, Макумазан, и я желаю подробно услышать о нем. Мы остались с ним совсем одни, так как он приказал своим советникам удалиться, и я рассказал ему всю историю.

— Ты умен, как бабуин, Макумазан, — сказал он, когда я кончил.

— Это было хитро придумано: устроить ловушку для Бангу и его амакобов и заманить их в нее их собственным скотом. Но мне сказали, что ты отказался от своей доли этого скота. Почему сделал ты это, Макумазан?

Я повторил Мпанде свои соображения, которые я уже изложил раньше.

— Каждый ищет величия своим собственным путем, — сказал он, — и, может быть, твой путь лучше нашего. Белые люди — или некоторые из них — идут одной дорогой, а черные — другой. Обе дороги кончаются в одном месте, и никто не знает, какая дорога правильная, пока путь не будет пройден. Но то, что ты потерял, выиграли Садуко и его племя. Он мудрый, этот Садуко, потому что он умеет выбирать себе друзей, и его мудрость принесла ему победу и богатство. Но тебе, Макумазан, твоя мудрость не принесла ничего, кроме почета, а если человек будет питаться только почетом, то он отощает.

— Я люблю быть тощим, Мпанда, — спокойно ответил я.

— Да, да, я понимаю, — возразил Мпанда, который, как большинство туземцев, быстро схватывал смысл сказанного, — и я тоже люблю людей, которые тощают от такой пищи, как твоя, и таких людей, чьи руки чистые. Мы, зулусы, доверяем тебе, Макумазан, как мы доверяем не многим белым людям, потому что мы уже давно узнали, что твои уста говорят то, что думает твое сердце, а твое сердце всегда думает о том, что хорошо. Тебя называют Бодрствующим В Ночи, но ты любишь свет, а не тьму.

При этих нескольких необычных комплиментах я поклонился и почувствовал, как даже сквозь загар немного покраснел. Но я ничего не ответил, и Мпанда тоже некоторое время молчал. Затем он крикнул гонцу позвать своих сыновей Кетчвайо и Умбулази и приказал Садуко, сыну Мативаана, ожидать поблизости на случай, если он захочет с ним говорить.

Несколькими минутами позже появились оба принца. Я с интересом ждал их прихода, так как это были виднейшие люди в стране и народ уже горячо обсуждал, кто из них будет престолонаследником.

Оба они были на вид одного возраста (трудно бывает точно определить возраст зулусов), и оба они были статные молодые люди. Выражение лица Кетчвайо было, однако, более суровое. Говорили, что он походил на своего дядю, лютого и зверского Чаку, а я нашел в нем сходство с другим его дядей, с Дингааном, с которым я был очень хорошо знаком в юности. У него был тот же мрачный взгляд и надменный вид. И когда он сердился, он так же сжимал рот, выражая беспощадную непреклонность.

О Умбулази я не могу говорить без восторга. Как Мамина была самой красивой женщиной, какую я когда-либо видел в стране зулусов, так Умбулази был самым красивым мужчиной. Зулусы прозвали его Умбулази Прекрасным, и немудрено. Начать с того, что он был по крайней мере на три дюйма[28] выше самого высокого зулуса — за четверть мили я узнавал его по росту — и ширина его груди была пропорциональна его росту. Затем, он был великолепно сложен и сильные, красивые конечности кончались, как у Садуко, маленькими кистями и ступнями. Лицо было открытое, черты лица правильные, цвет кожи светлее, чем у Кетчвайо, а глаза, всегда улыбавшиеся, были большие и темные.

Прежде чем они прошли во внутреннюю изгородь, можно было заметить, что отношения между братьями были не из лучших. Каждый из них старался первым пройти через калитку, чтобы показать этим свое право на престолонаследство. Результат был несколько комичен, потому что они застряли в калитке. Но здесь сказался больший вес Умбулази, и, пустив в ход силу, он вдавил брата в тростниковую изгородь и на один шаг опередил его.

— Ты становишься слишком жирным, брат мой, — сказал Кетчвайо, нахмурясь. — Если бы у меня в руке был ассегай, то ты был бы ранен.

— Я знаю это, брат мой, — ответил с добродушным смехом Умбулази, — но я знаю, что никто не смеет являться вооруженным перед королем. Иначе я пропустил бы тебя вперед.

При этом намеке Умбулази, сделанном, правда, в виде шутки, что он не рискнул бы пройти спиной к вооруженному брату, Мпанда беспокойно заерзал, а Кетчвайо еще более зловеще нахмурился. Однако они не обменялись больше ни словом, а, подойдя к отцу бок о бок, приветствовали его, подняв руки.

— Привет вам, дети мои, — сказал Мпанда и, предвидя ссору, кому занять почетное место по правую его руку, поспешно прибавил: — Садитесь оба передо мною, а ты, Макумазан, сядь по правую руку от меня. Я сегодня немного туг на правое ухо.

Братья уселись перед королем, предварительно пожав мне руку, и тут

опять возникло затруднение, кто из них первым протянет мне руку. Помнится, Кетчвайо на этот раз удалось опередить брата.

Когда эти формальности были закончены, король обратился к сыновьям:

— Я послал за вами, чтобы спросить вашего совета относительно одного дела — небольшого дела, но которое может разрастись. — Он остановился и взял щепотку табаку, а братья воскликнули:

— Мы слушаем тебя, отец!

— Дело касается Садуко, сына Мативаана, вождя нгваанов, которого Бангу, вождь амакобов, убил много лет тому назад с разрешения того, кто правил до меня. Этот Бангу, как вы знаете, был в последнее время занозой на моей ноге, которая из-за нее начала гноиться, и все же, однако, я не хотел идти войной против него. Поэтому я шепнул на ухо Садуко: «Он твой, если ты сможешь убить его, и скот его будет тоже твоим». Садуко неглуп. С помощью этого белого человека, Маку мазана, нашего старого друга, он убил Бангу и захватил его скот, и нога моя начинает уже заживать.

— Мы слышали это, — сказал Кетчвайо.

— Это было славное дело, — прибавил Умбулази.

— Да, — продолжал Мпанда, — я тоже считаю это славным делом, приникая во внимание, что у Садуко был только небольшой отряд бродяг…

— Нет, — прервал Кетчвайо, — это не бродяги помогли ему одержать победу, а мудрость Макумазана.

— Мудрость Макумазана не привела бы ни к чему, не будь храбрости Садуко и его бродяг, — заявил Умбулази.

Я видел, что братья разделились за и против Садуко не потому, что их интересовал вопрос правоты, а из чувства соперничества.

— Правильно, — продолжал Мпанда, — я согласен с вами обоими, сыновья мои. Но дело вот в чем: я считаю Садуко человеком, подающим большие надежды, и его следовало бы выдвинуть, чтобы он полюбил всех нас, в особенности потому, что его род пострадал от нашего рода, так как тот, кто правил до меня, послушался злого совета Бангу и позволил ему без причины вырезать все племя Мативаана. Поэтому, чтобы стереть это пятно и привязать к нам Садуко, я думаю восстановить Садуко в его правах вождя нгваанов, вернув ему земли, которыми владел его отец, и сделать его также вождем амакобов, из которых уцелели только женщины, дети и несколько мужчин.

— Как угодно будет королю, — зевая, сказал Умбулази, которому надоело слушать.

Кетчвайо ничего не сказал. Казалось, он думал о чем-то другом.

— Я думаю также, — продолжал Мпанда несколько неуверенным голосом, — для того, чтобы прикрепить его к нам неразрывными узами, дать ему в жены девушку из нашей семьи.

— Зачем разрешать этому жалкому нгваану породниться с королевским домом? — спросил Кетчвайо, поднимая голову. — Если он опасен, то почему не убить его и покончить с ним раз и навсегда?

— Это немыслимо, сын мой. В стране неспокойно, и я не хочу убивать тех, кто может помочь нам в час опасности, а также не хочу я делать из них своих врагов. Я хочу, чтобы они были нашими друзьями, а потому мне кажется разумным, если нам дается в руки семя величия, поливать его, а не выкапывать или пересаживать в чужой сад. Дела Садуко показывают, что он представляет собою такое семя.

— Наш отец высказал свое пожелание, — сказал Умбулази, — и Садуко мне нравится. Какую из наших сестер предполагает мой отец отдать ему?

— Ту, которая носит имя праматери нашего рода, о Умбулази, — твою родную сестру Нанди (что значит «нежная»).

— Великий дар преподносишь ты Садуко, отец, так как Нанди и умна, и красива. А как она сама относится к этому плану?

— Очень благосклонно. Она видела Садуко, и он понравился ей. Она сама мне сказала, что не желает другого мужа.

— Если так, — равнодушно ответил Умбулази, — то можно ли что-нибудь возразить, раз король приказывает, а королевская дочь желает?

— Можно возразить очень многое, — вмешался Кетчвайо. — Я считаю недопустимым, чтобы этот ничтожный человек, который победил маленькое племя, воспользовавшись умом Макумазана, получил в награду не только титул вождя, но и руку самой умной и красивой из королевских дочерей, хотя бы даже Умбулази, — прибавил он с усмешкой, — готов был бы швырнуть свою сестру, как швыряют кость бродячей собаке.

— Кто швырнул кость, Кетчвайо? — спросил с жаром Умбулази.

— Король или я, который до настоящей минуты и не слышал об этом деле? И имеем ли мы право оспаривать решение короля?

— Не преподнес ли тебе случайно Садуко несколько голов скота из тех, что украл у амакобов, Умбулази? — спросил Кетчвайо. — Наш отец не требует выкупа, так, может быть, ты принял вместо него этот дар.

— Единственный дар, который я принял от Садуко, — сказал Умбулази, с трудом, как я видел, подавлявший свой гнев, — это дар его дружбы. Он мой друг, и вот почему ты ненавидишь его, как ненавидишь всех моих друзей.

— Любить мне, что ли, всякую бродячую собаку, которая лижет тебе руки, Умбулази? О, тебе не требуется говорить мне, что он твой друг. Я знаю, это ты внушил мысль нашему отцу разрешить ему убить Бангу и украсть его скот. Я считаю это нехорошим делом, так как кровь Бангу запятнала врата нашего дома. И тот, кто совершил это зло, будет жить здесь и величаться, пожалуй, как ты и я. Да и как же иначе, раз сестра Нанди будет отдана ему в жены? Разумеется, Умбулази, тебе следует принять скот, от которого отказался белый человек, потому что всем известно, что ты заслужил его.

Умбулази вскочил, выпрямился во весь рост и заговорил хриплым от гнева голосом.

— Прошу тебя, о король, дать мне разрешение удалиться. Если я останусь здесь дольше, то пожалею, что у меня нет с собой копья. Но раньше чем уйти, я выскажу всю правду. Кетчвайо ненавидит Садуко потому, что, зная его храбрость и ум, он искал его дружбы после того, как Садуко уже обещал быть моим другом. Вот почему он осыпает меня насмешками. Пусть он оправдается, если может!

— Я и не думаю оправдывать себя, — ответил, нахмурившись, Кетчвайо. — Кто дал тебе право шпионить за мной и требовать от меня отчета перед королем? Я не хочу больше ничего слышать! Оставайся здесь и заплати Садуко нашей сестрой. Король обещал ее, и слову своему изменить не может. Только скажи твоей собаке, что у меня наготове для нее палка, если она посмеет огрызнуться на меня. Прощай, отец. Я отправляюсь в мои владения, в крааль Гикази, и там ты можешь найти меня, если я тебе понадоблюсь. Но прошу тебя не вызывать меня до окончания свадебных торжеств, потому что я не хочу на них присутствовать.

И он, поклонившись королю, повернулся и ушел, не попрощавшись с братом. Мне он, однако, пожал руку на прощание, так как Кетчвайо всегда дружески относился ко мне, потому что думал, вероятно, что я могу ему пригодиться.

— Отец мой, — сказал Умбулази, когда Кетчвайо ушел, — разве можно это терпеть! Можно ли меня винить в этом деле? Ты слышал и видел — ответь мне, отец!

— Нет, тебя нельзя винить на этот раз, Умбулази, — ответил король с тяжелым вздохом. — Но чем закончатся ваши вечные ссоры, сыновья мои? Я думаю, что только реки крови смогут потушить такую ненависть, и тогда — кто из вас выживет и достигнет берега?

Некоторое время он молча смотрел на Умбулази, и я прочел в его

взгляде любовь и страх, так как Мпанда любил его больше остальных детей.

— Кетчвайо плохо вел себя, — сказал он наконец. — Он не имеет права указывать мне, кому я должен или не должен отдавать своих дочерей в жены. Кроме того, я высказал свое решение, и я не изменю своему слову из-за его угроз. Всем в стране известно, что я никогда не изменю своему слову, и белые это тоже знают, не так ли, Макумазан?

Я ответил утвердительно. И это была правда: как большинство слабовольных людей, Мпанда был очень упрям, но по-своему честен.

Он помахал рукой в знак того, что тема исчерпана, а затем попросил Умбулази дойти до калитки и послать гонца за «сыном Мативаана».

Вскоре явился Садуко. Спокойной, гордой походкой подошел он к королю и приветствовал его, подняв правую руку.

— Садись, — сказал король. — Я хочу тебе кое-что сказать.

Не спеша и не мешкая, Садуко грациозно присел на колени, опершись локтем о землю, и замер в ожидании.

— Сын Мативаана, — сказал король, — я слышал всю историю о том, как ты с маленьким отрядом уничтожил Бангу и почти всех его воинов из племени амакобов и забрал весь их скот.

— Прости меня, Черный Владыка, — прервал Садуко. — Я только мальчишка и ничего не сделал. Это устроил Макумазан, Бодрствующий В Ночи, который сидит здесь. Его мудрость научила меня, как выманить с горы амакобов, а Тшоза, мой дядя, выпустил скот из краалей. Я же ничего не сделал, за исключением того, что нанес несколько ударов ассегаем, когда было нужно.

— Я с удовольствием вижу, что ты не хвастун, Садуко, — сказал Мпанда. — Хотел бы я, чтобы среди зулусов было побольше таких людей, как ты, тогда мне не пришлось бы выслушивать так много громких слов о малых делах. Во всяком случае, Бангу убит и его гордое племя сломлено. По государственным соображениям я рад, что это случилось без того, что мне пришлось вмешаться в это дело, так как в моей семье есть такие, которые любили Бангу. Но я… я любил твоего отца Мативаана, которого Бангу зарезал. Мы вместе росли с ним мальчиками и служили вместе в одном полку, когда правил мой брат, Лютый Владыка (он говорил о Чаке, но среди зулусов не принято называть имен умерших королей, если можно этого избегнуть). По этой причине, и по другим, — продолжал Мпанда, — я рад, что Бангу наконец наказан и твой отец отомщен. И вот, Садуко, — продолжал Мпанда, — так как ты сын своего отца и так как ты показал себя храбрым человеком, я решил выдвинуть тебя. Поэтому я назначаю тебя

вождем тех, кто остался из племени амакобов, и всех тех нгваанов, кого ты сможешь собрать.

— Как будет угодно королю, — сказал Садуко.

— И я даю тебе разрешение носить головной обруч, хотя, как ты сказал, ты еще мальчишка, и вместе с этим даю тебе место в моем совете.

— Как будет угодно королю, — повторил Садуко, по-видимому, равнодушный к почестям.

— И, сын Мативаана, — продолжал Мпанда, — ты еще не женат, не правда ли?

В первый раз лицо Садуко изменилось.

— Нет, Черный Владыка, — поспешно сказал он, — но…

Тут он поймал мой взгляд и, прочитав в нем какое-то предупреждение, замолчал.

— Но, — повторил за ним Мпанда, — ты, без сомнения, желал бы жениться. Это очень естественно в твои годы, а потому я даю тебе разрешение на женитьбу.

— Я благодарю короля, но…

Тут я громко чихнул, и он снова замолчал.

— Но, — повторил Мпанда, — у тебя, конечно, нет времени искать жену. Где тебе было и думать об этом? Да и хорошо, — продолжал он с улыбкой, — что ты не подумал, так как та, которую я тебе прочу в жены, не могла бы жить во второй хижине твоего крааля и называть другую *инкосикази*. Умбулази, сын мой, пойди и приведи ту, которую мы выбрали женой для этого юноши.

Умбулази встал и вышел с широкой улыбкой на лице. Мпанда же, утомленный длинными разговорами (он был очень толст, а день был очень жаркий), прислонился головой к стене и закрыл глаза.

— О Черный Владыка! Ты, который могущественнее всех, — начал Садуко, который, как я видел, был очень расстроен. — Мне нужно тебе кое-что сказать.

— Разумеется, разумеется, — сонным голосом ответил Мпанда, — но сбереги свою благодарность до того времени, как увидишь невесту. — И он слегка захрапел.

Заметив, что Садуко готов погубить себя, я счел благоразумным вмешаться, хотя не знаю, какое мне было дело до всего этого. Во всяком случае, если бы в тот момент я придержал свой язык и позволил бы Садуко свалять дурака, я твердо уверен, что вся история Земли Зулу приняла бы другой оборот и что многие тысячи людей, ныне погибших, жили бы и по сей день.

Но судьба решила иначе.

Увидев, что Мпанда задремал, я тихонько подошел к Садуко и схватил его за руку.

— Ты с ума сошел? — прошептал я ему на ухо. — Ты хочешь оттолкнуть от себя счастье и проститься с жизнью?

— Но Мамина? — прошептал он. — Я не могу жениться ни на ком, кроме Мамины.

— Глупец! — ответил я. — Мамина изменила тебе и наплевала на тебя. Бери, что посылает тебе судьба, и благодари ее. Ты не брезгуешь быть преемником Мазапо?

— Макумазан, — ответил он хриплым голосом, — я последую советам твоей головы, а не моего сердца. Но ты сеешь недоброе семя, Макумазан, и ты в этом убедишься, когда увидишь плоды.

Он дико взглянул на меня, и его взгляд испугал меня. В этом взгляде было что-то, что заставило меня поразмыслить, не лучше ли было бы мне уйти и предоставить Садуко, Мамине, Нанди и всем остальным разобраться самим во всей этой истории.

Однако, оглядываясь назад на эти события, как мог я предвидеть, каков будет конец? Как мог я знать, что за кулисами этих событий стоял старый карлик, Зикали Мудрый, день и ночь работавший над тем, чтобы раздуть вражду и выполнить давно задуманный им план мщения над королевским домом Сензангаконы и зулусским народом?

Да, он стоял, подобно человеку, стоящему позади большого камня на вершине горы и медленно и безжалостно толкающему этот камень к краю утеса, откуда, наконец, в назначенный час он с грохотом свалится на живущих внизу и раздавит их. Как мог я догадаться, что мы, актеры в этой пьесе, все время помогали ему толкать этот камень и что ему было все равно, кого из нас увлечет с собою камень в пропасть, лишь бы мы доставили торжество его тайной, ни с чем не сравнимой ненависти?

Теперь я ясно вижу и понимаю все это, но в то время я был слеп. Но вернемся к изложению фактов.

Как раз, когда я решил (слишком поздно, правда) заниматься своими делами и предоставить Садуко устраивать свои, в калитке появилась высокая фигура Умбулази, ведущего за руку женщину. По нескольким бронзовым браслетам на ее руке, по украшениям из слоновой кости и по очень редким красным бусам, которые имели право носить только особы королевского дома, я признал в ней королевскую дочь.

Нанди не была красавицей, как Мамина, хотя она была выше среднего роста и лицо ее было привлекательно. Начать с того, что оттенок кожи ее

был темнее, чем у Мамины, что нос и губы были немного толще и что глаза ее не были такие прозрачные и большие, как у Мамины. Затем, ей не хватало таинственной прелести Мамины, лицо которой загоралось иногда вспышками внутреннего огня, напоминая собою вечернее небо, на котором из-за туч всеми оттенками вспыхивает свет, заставляя догадываться, но не обнаруживая той красоты, которую оно скрывает. Нанди не обладала такими чарами. Она была простая, добрая, честная девушка, не более.

Умбулази подвел ее к королю, которому она поклонилась, бросив искоса быстрый взгляд на Садуко и вопросительно поглядев на меня. Она сложила руки на груди и молча стояла, ожидая, когда король к ней обратится.

Мпанда был сонный, а потому ограничился лишь словами:

— Дочь моя, — сказал он, позевывая, — вот стоит твой жених. — И он указал пальцем на Садуко. — Он молод, храбр и не женат. Пользуясь покровительством нашего дома, он станет знатным и богатым, в особенности потому, что он друг твоего брата Умбулази. Я слышал, что ты видела его и он тебе нравится. Я предлагаю устроить свадьбу завтра, если только тебе нечего возразить против этого. Если же у тебя есть что сказать, дочь моя, то говори сразу, а то я устал. Постоянные раздоры между твоими братьями, Кетчвайо и Умбулази, утомили меня.

Нанди посмотрела своим открытым, честным взглядом сначала на Садуко, потом на Умбулази и, наконец, на меня.

— Отец мой, — спросила она своим мягким, ровным голосом, — скажи мне, умоляю тебя, кто предложил тебе этот брак? Вождь ли Садуко, или мой брат Умбулази, или Белый Вождь, настоящего имени которого я не знаю, но которого называют Макумазаном, Бодрствующим В Ночи?

— Я не помню, кто из них предложил, — с зевком ответил Мпанда. — Во всяком случае, я предлагаю этот брак, и я возвеличу твоего мужа. Есть у тебя еще что сказать?

— Мне нечего сказать, отец мой. Я видела Садуко, и он мне нравится… об остальном судить тебе, а не мне. Но, — прибавила она тихо, — нравлюсь ли я Садуко? Когда он произносит мое имя, чувствует ли он что-нибудь здесь?… — И она указала на свое горло.

— Я не знаю, что чувствует его горло, — ответил Мпанда, — но я чувствую, что мое горло пересохло. Так как никто не имеет ничего против, значит, дело решено. Завтра Садуко заколет быка (что означает заключение брака); если у него нет здесь быка, я ему одолжу, а затем вы можете взять себе большую новую хижину и жить на первых порах в ней. Если желаете, можете устроить пляски. Если не желаете, то тем лучше, потому что у меня

в настоящее время столько забот, что мне не до праздности. А теперь я пойду спать.

И, спустившись со своего табурета на колени, Мпанда пролез в дверное отверстие своей большой хижины, у которой он сидел, и исчез.

Умбулази и я вышли через калитку ограды, оставив Садуко и Нанди одних. Я не знаю, что произошло между ними, но предполагаю, что Садуко тем или другим образом произвел на принцессу достаточно хорошее впечатление, чтобы уговорить ее выйти за него замуж. Быть может, она была уже так влюблена в него, что ее нетрудно было уговорить. Как бы то ни было, на следующий день без особых празднеств и шума, за исключением обычных плясок, был зарезан «бык невесты», и Садуко сделался мужем королевской дочери из дома Сензангаконы.

Могу добавить, что после нашего краткого разговора в королевском краале, когда Мпанда дремал, я не говорил больше с Садуко относительно его брака, потому что он избегал меня, а я не искал его. В день же свадьбы я собрался в путь и направился в Наталь. Целый год я не слышал ничего о Садуко, Нанди и Мамине, хотя должен сознаться, что о Мамине я думал, может быть, чаще, чем это следовало бы.

Глава IX. Аллан Квотермейн возвращается в Землю Зулу

Прошел год, в течение которого я занимался разными делами, не имеющими никакого отношения к этому рассказу, а после этого я снова очутился в Земле Зулу, и в частности, в краале старика Умбези. Сюда я приехал для совершения одной сделки со старым толстяком или, вернее, с его зятем Мазапо, представителем которого он являлся в этом деле. Не буду вдаваться в подробности этой сделки, скажу только, что она касалась покупки слоновой кости и продажи ружей.

И вот я сидел вдвоем с Умбези в его хижине, угощая его «огненной водой». Сделка была совершена, и мой слуга Скауль с охотниками только что унесли слоновую кость — солидную кучу клыков — к моим фургонам.

— Ну, Умбези, — сказал я, — как же тебе жилось с тех пор, как мы расстались год тому назад? Видел ли ты Садуко, который, как помнится, в последний раз на тебя немного гневался?

— Благодарение моему духу, я не видел этого неистового человека, Маку мазан, — ответил Умбези, испуганно тряся своей толстой головой. — Однако я слышал о нем. Он недавно велел мне сказать: он не забыл, что он должен мне.

— Он имел в виду палки, которыми хотел избить тебя до смерти? — с невинным видом сказал я.

— Я думаю, так, Макумазан, потому что помимо этого он мне ничего не должен. А хуже всего то, что, живя в краале Мпанды, он сделался важной особой.

— Поэтому он может теперь платить свои долги, Умбези, — сказал я, отхлебывая «огненную воду».

— Само собою разумеется, он может, и, между нами говоря, это и было главной причиной, почему мне — или, вернее, Мазапо — так нужны были эти ружья. Они предназначены не для охоты, как он передавал тебе через гонца, и не для войны, а для того, чтобы защитить нас от Садуко в случае его нападения. Теперь, я надеюсь, мы сумеем постоять за себя.

— Ты и Мазапо, вы должны сперва научить своих людей обращаться с ружьями. Но я думаю, что с тех пор как Садуко сделался мужем дочери короля, он забыл и думать о вас обоих. Скажи мне, как поживает Мамина?

— О, хорошо, Макумазан. Разве она не главная жена предводителя

амазомов? Нет ничего плохого, за исключением того, что у нее до сих пор нет ребенка. А также… — Он остановился.

— Что также? — спросил я.

— Что она ненавидит своего мужа Мазапо и говорит, что охотнее вышла бы замуж за бабуина, чем за него. Это, конечно, ему обидно слушать, после того как он заплатил за нее столько голов скота. Но что из этого, Макумазан? В самом лучшем колосе ржи всегда не хватает одного зерна. Ничто не совершенно в этом мире, и если Мамина случайно не любит своего мужа… — И он пожал плечами и выпил рюмку «огненной воды».

— Конечно, это не имеет ни малейшего значения, Умбези, разве только для Мамины и Мазапо, который, наверное, теперь успокоился, когда Садуко женился на королевской дочери.

— Надеюсь, Макумазан. Но, по правде говоря, я желал бы, чтобы ты принес больше ружей, потому что я живу среди ужасных людей. Мазапо злобствует на Мамину за то, что она не хочет иметь никакого дела с ним, а потому злится на меня, как будто я могу воздействовать на Мамину. Мамина бесится на Мазапо, а потому и на меня, потому что я выдал ее за него замуж. Садуко ненавидит Мазапо, потому что он женился на Мамине, которую, говорят, он все еще любит, а потому ненавидит и меня, потому что я ее отец и старался пристроить ее. О Макумазан, дай мне еще «огненной воды». Она заставляет меня забыть все эти неприятности. Я забываю, что я отец Мамины, которую ты не хотел похитить, когда мог бы это сделать. О Макумазан, зачем ты не сбежал с Маминой и не сделал из нее спокойной белой женщины, которая не думает ни о каком другом мужчине, кроме как о своем муже?

— Если бы я это сделал, Умбези, то сам перестал бы быть спокойным белым человеком. Я очутился бы в таком же положении, как и ты, а этого я совершенно не желаю. А теперь, Умбези, ты выпил достаточно «огненной воды», и я забираю с собой бутылку. Спокойной ночи.

*** * ***

На следующее утро я выехал очень рано из крааля Умбези — раньше, чем он встал, потому что «огненная вода» нагнала на него крепкий сон. Местом моего назначения был Нодвенгу, резиденция Мпанды, где я

надеялся немного поторговать. Так как я особенно не спешил, то решил сделать крюк и заехать к Мазапо, чтобы самому посмотреть, как обстоят дела между ним и Маминой. К вечеру я достиг границ территории Амазоми, где правил Мазапо, и расположился здесь лагерем. Ночь навела меня на размышления, и я решил, что надо держаться в стороне от Мамины и от ее семейных дрязг. Поэтому я двинулся на следующее утро в Нодвенгу по единственной, по словам проводников, удобной для езды дороге, хотя она заставила меня сделать большой крюк.

В этот день, благодаря неровностям дороги и несчастному случаю с одним из моих фургонов, мы проехали только пятнадцать миль и к вечеру вынуждены были остановиться у первого места, где мы могли найти воду. Когда выпрягли волов, я осмотрелся кругом и увидел, что мы находимся у входа в Черное ущелье, где я виделся с Зикали Мудрым. Сомнений быть не могло. Второй такой мрачной долины нет в Африке.

Я сидел на козлах первого фургона, ел ужин, состоявший из сушеного мяса и галет, и размышлял, жив ли еще Зикали и не пойти ли мне в ущелье узнать, как он поживает. В конце концов я решил не ходить, так как мрачное ущелье отталкивало меня и у меня не было особой охоты выслушивать зловещие предсказания Зикали. Итак, я продолжал сидеть, наблюдая изумительный эффект красного вечернего света, вливавшегося между стенами скал.

Вскоре я заметил далеко впереди одинокую человеческую фигуру. Она направлялась ко мне по тропинке, пролегавшей по дну ущелья, но я не мог еще определить, мужчина ли это или женщина. На фоне этой гигантской декорации фигурка казалась необычайно маленькой и одинокой, но это живое существо среди всего этого молчаливого, неподвижного величия привлекло мое внимание. Мне интересно было знать, что этот человек делает здесь, в этой зловещей долине.

Фигура придвигалась все ближе и ближе, и я мог рассмотреть, что это была стройная и высокая фигура, но к какому полу она принадлежала, я не знал, потому что она была закутана в плащ из великолепного серого меха. В это время к фургону подошел Скауль и спросил меня о чем-то и тем отвлек мое внимание на несколько минут. Когда я снова оглянулся, фигура стояла в трех метрах от меня, но лицо ее было скрыто капюшоном, прикрепленным к плащу.

— Кто ты и что тебе надо? — спросил я.

— Ты меня не узнаешь, Макумазан? — ответил нежный голос.

— Как я могу узнать человека, когда он завязан, как тыквенный кувшин в циновке. Но ведь это… это…

— Да, это Мамина, и я очень рада, что ты помнишь мой голос, Макумазан, хотя мы были с тобой разлучены на такое долгое время. — И порывистым движением она откинула назад капюшон и плащ и предстала предо мной во всей своей красе.

Я спрыгнул с фургона и взял ее за руку.

— О Макумазан, — сказала она, не выпуская моей руки, — я так рада видеть наконец друга. — Она посмотрела на меня умоляющими глазами, и при красном освещении они показались мне полными слез.

— Друга, Мамина? — воскликнул я. — Но теперь, когда ты богата и жена могучего предводителя, у тебя, вероятно, множество друзей?

— Увы, Макумазан! Я богата только заботами. Муж мой скуп и копит, как муравей к зиме. Ему жалко даже этого плаща, который я себе сделала. А что касается друзей, то он так ревнив, что ни с кем не позволяет мне дружить.

— Он не может ревновать тебя к женщинам, Мамина!

— Женщины! Пфф! Я не люблю женщин. Они очень нехороши со мной, потому что… потому что… может быть, ты сам догадаешься почему, Макумазан, — ответила она, бросив быстрый взгляд в маленькое дорожное зеркальце, висевшее на фургоне (я недавно причесывался перед ним), и мило улыбнулась.

— По крайней мере, у тебя есть муж, Мамина, и я думал, что теперь…

Она подняла руку.

— Мой муж? О, лучше бы его не было! Я ненавижу его, Макумазан! А остальные мужчины… нет! Я никогда никого не любила, кроме одного, чье имя, может быть, ты случайно помнишь, Макумазан.

— Ты говоришь, я полагаю, о Садуко, — начал я.

— Скажи мне, Макумазан, — с невинным видом спросила она, — белые люди очень глупые? Я спрашиваю это потому, что ты, кажется, поглупел за то время, что провел с белыми. Или у тебя плохая память?

Я почувствовал, что покраснел, и торопливо перебил ее:

— Если ты не любишь своего мужа, то не должна была выходить за него замуж. Ты сама знаешь, что тебя никто не неволил.

— Когда некуда сесть, кроме как на два колючих куста, Макумазан, то из них выбираешь тот, на котором на вид меньше шипов. Но иногда оказывается, что их там сотни, хотя раньше этого не было видно. Ты понимаешь, что устаешь стоять все время.

— Потому-то ты и отправилась гулять, Мамина. Я хочу спросить, что ты здесь делаешь одна?

— Я? О, я слышала, что ты проезжаешь этой дорогой, и пришла

поболтать с тобой. Нет, от тебя я не могу скрыть ни частицы правды. Я пришла поговорить с тобой, но я пришла также повидать Зикали и спросить его, что должна сделать жена, которая ненавидит своего мужа.

— Вот как! И что же он тебе ответил?

— Он ответил, что лучше бы ей сбежать с другим мужчиной, если есть такой, которого она любит… конечно, с тем, чтобы совсем уехать из Земли Зулу, — ответила она, посмотрев сперва на меня, а затем на мой фургон и на двух лошадей, привязанных к нему.

— Это все, что он сказал, Мамина?

— Нет. Разве я не сказала тебе, что я не могу скрыть от тебя и крупицы правды? Он прибавил, что если первый совет не удастся привести в исполнение, то мне остается только сидеть и пить кислое молоко, делая вид, что оно сладкое, пока судьба не пришлет мне новой коровы. Кажется, он думает, что судьба будет ко мне очень щедра в отношении новых коров.

— И еще что? — спросил я.

— Ведь я сказала тебе, что ты узнаешь всю, всю правду. Зикали, по-видимому, думает также, что всех моих коров, старых и новых, ожидает очень скверный конец. Он мне не сказал, какой конец.

Она слегка отвернулась, а когда снова взглянула на меня, я увидел, что она плакала, действительно плакала настоящими слезами.

— Вот почему, — продолжала она тихим, заглушённым голосом, — я не хочу больше соблазнять тебя бежать со мною, как я это хотела сделать, когда увидела тебя. Но это правда, Макумазан, что ты единственный человек, которого я когда-либо любила или когда-либо полюблю. И ты отлично знаешь, что я могла бы заставить тебя бежать со мною, если захотела бы, несмотря на то, что я черная, а ты белый — о да, еще сегодня ночью ты увез бы меня. Но я этого не сделаю. К чему навлекать на тебя всякие беды? Иди своей дорогой, Макумазан, а я пойду своей, туда, куда ветер понесет меня. А теперь дай мне чашку воды и я уйду — чашку воды, не больше. О, не бойся за меня и не принимай такого расстроенного вида, иначе я расплачусь. Там, за тем холмом, меня ожидают провожатые. Вот, спасибо за воду, Макумазан, и спокойной ночи. Несомненно, мы скоро встретимся с тобой и… Да, я забыла, Зикали сказал, что хотел бы поговорить с тобой. Спокойной ночи, Макумазан, спокойной ночи. Надеюсь, что ты заключил выгодную сделку с моим отцом Умбези и с Мазапо, моим мужем. Я удивляюсь, почему судьба выбрала таких людей в качестве моего отца и моего мужа. Подумай об этом, Макумазан, и скажи мне, когда мы в следующий раз встретимся. Подари мне это хорошенькое зеркальце на память, Макумазан; когда я буду смотреться в него, я увижу не

только себя, но и тебя, а это мне будет приятно — ты не можешь себе представить, как приятно. Благодарю тебя. Спокойной ночи.

Минуту спустя я следил глазами за ее одинокой маленькой фигуркой, снова закутанной в плащ, до тех пор, пока она не скрылась за гребень холма. И когда она исчезла, я почувствовал, как какой-то комочек застрял в моем горле. Несмотря на всю ее жестокость (а я думаю, что Мамина была жестока), в ней было что-то особенно привлекательное.

Когда мое волнение несколько улеглось, я стал размышлять о том, сколько правды было в ее рассказе. Она так настойчиво твердила, что сказала мне всю правду, что я был уверен: главное-то она скрыла. Я вспомнил также ее слова, что Зикали хотел меня видеть. Кончилось тем, что я при лунном свете отправился один в страшное ущелье. Даже Скауль не захотел сопровождать меня, уверяя, что в этом ущелье водятся призраки умерших людей, вызванные колдуном.

Прогулка была длинная и неприятная. Я пребывал в каком-то угнетенном настроении и чувствовал себя жалким и ничтожным, шагая между этими гигантскими скалами. Я то проходил по местам, освещенным ярким лунным светом, то попадал в глубокую тень, то пробирался сквозь густой кустарник, то обходил высокие столбы камней, пока, наконец, не дошел до нависшей скалы, похожей на какого-то гигантского демона.

У ворот крааля я был встречен одним из тех грозных великанов, которые служили карлику телохранителями. Он вдруг появился передо мной из-за высокой глыбы и, молча осмотрев меня с ног до головы, сделал мне знак следовать за ним, как будто меня ожидали. Минуту спустя я очутился лицом к лицу с Зикали. Он сидел вблизи хижины, весь облитый лунным светом, и был занят своим любимым делом — резьбой по дереву.

Некоторое время он не обращал на меня внимания. Затем вдруг поднял голову, отряхнул назад свои длинные седые волосы и разразился громким смехом.

— Так это ты, Макумазан! — воскликнул он. — Я знал, что ты должен проехать этой дорогой и что Мамина пошлет тебя сюда. Но зачем ты пришел повидаться с Тем-Кому-Не-Следовало-Родиться?

— Мамина сказала, что ты хотел поговорить со мной, вот и все.

— Мамина солгала, как всегда, — ответил он. — На одно слово правды у нее приходится четыре лживых слова. Но все равно, садись, Макумазан. Вот здесь, у скамеечки, приготовлено для тебя пиво, и дай мне щепотку табаку.

Я исполнил его желание, и он с удовольствием понюхал табак.

— Что делала здесь Мамина? — спросил я без обиняков.

— А что делала Мамина у твоего фургона? — спросил он. — Нет, нет, не трудись рассказывать — я знаю, я знаю. Ты, как змея, всегда ускользаешь из ее рук, Макумазан, хотя если бы она захотела сжать руку… Но я не выдаю секретов моих клиентов. Я только вот что тебе скажу: ступай в крааль сына Сензангаконы и ты увидишь такие вещи, которые заставят тебя смеяться, потому что Мамина будет там и этот ублюдок Мазапо, ее муж, тоже. Она действительно от души ненавидит его, и я предпочел бы скорее, чтобы Мамина любила меня, чем ненавидела, хотя то и другое опасно. Бедный ублюдок! Скоро шакалы будут грызть его кости.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Мамина сказала мне, что он колдун, а шакалы поедают много колдунов в Земле Зулу. А кроме того, он враг королевского дома. Разве это не так?

— Ты посоветовал ей что-то дурное, Зикали, — вырвалось у меня.

— Может быть, может быть, Макумазан. Только я считаю, что дал хороший совет. У меня свой путь, по которому я иду, и если я нахожу людей, чтобы очистить дорогу от шипов, которые могли бы занозить мои ноги, то что в этом плохого? Да и Мамина, которой надоела жизнь среди амазомов с ненавистным мужем, получит награду. Поезжай же и наблюдай, а когда у тебя будет свободное время, приходи сюда и расскажи мне, что случилось, если я сам не окажусь случайно там.

— Здоров ли Садуко? — спросил я, чтобы переменить разговор, не желая стать участником замышляющихся заговоров.

— Мне передавали, что его дерево переросло все остальные в королевском краале. Я думаю, что Мамина желает спать под его сенью. А теперь ты устал, и я тоже. Ступай к своим фургонам, Макумазан. мне нечего тебе больше сказать. Но непременно вернись и расскажи мне, что произойдет в краале Мпанды. Или, как я сказал, может быть, мы встретимся с тобой там. Кто знает?

В этом разговоре, между мной и Зикали не было ничего замечательного. Он не раскрыл мне никаких тайн и не изрек никакого пророчества. Однако разговор произвел на меня необычайное впечатление. Сказано было мало, но я чувствовал, что за этими немногими словами скрывались какие-то страшные события. Я был уверен, что старый карлик и Мамина выработали какой-то ужасный план, результаты которого должны были скоро стать очевидными. Я догадывался, что он поспешил меня спровадить, боясь, чтобы я как-нибудь не узнал его плана и не помешал ему.

Во всяком случае, когда я возвращался к моим фургонам по этому

страшному ущелью, жаркий, тяжелый воздух казался пропитанным запахом крови, а влажная листва тропических деревьев, колеблемая порывами ветра, казалось, стонала, как люди в предсмертной агонии. Нервы мои были напряжены до крайности, и когда я достиг наконец моих фургонов, я трясся, как тростник, а с лица и тела струился холодный пот, что было очень необычно в такую жаркую ночь.

Мне пришлось выпить две рюмки крепкого джина, чтобы прийти в себя, а затем я пошел спать, но утром проснулся с головной болью.

*** * ***

Дальнейшая моя поездка до Нодвенгу протекала благополучно. Я выслал вперед одного из моих охотников доложить Мпанде о моем приближении. Перед воротами Нодвенгу я был встречен своим старым приятелем Мапутой.

— Привет тебе, Макумазан, — сказал он. — Король послал меня приветствовать тебя и указать тебе хорошее место для стоянки. А также он дает тебе разрешение на свободную торговлю в этом краале, так как он знает, что ты всегда честно торгуешь.

Я выразил свою благодарность соответствующим образом, прибавив, что привез королю небольшой подарок, который я передам лично, если ему угодно будет меня принять. Затем, подарив Мапуте тоже какую-то безделицу, я предложил ему проехаться со мной в фургоне до места стоянки.

Место оказалось очень хорошим и представляло небольшую долину, покрытую сочной травой; по ней извивалась речка с прозрачной, чистой водой. Из долины видно было большое открытое пространство перед главными воротами крааля, и, таким образом, я мог видеть всех, кто входил и выходил.

— Тебе здесь будет удобно, Макумазан, — сказал Мапута, — и мы надеемся, что ты продлишь свое пребывание. Хотя вскоре ожидается большое скопление народа в Нодвенгу, но король отдал приказание, чтобы никто не смел вступать в эту долину, кроме твоих слуг.

— Я благодарю короля. Но по какому поводу ожидается скопление народа, Мапута?

— О! — ответил он, пожав плечами. — Это что-то новое. Все племена

зулусов соберутся сюда на смотр. Некоторые говорят, что это придумал Кетчвайо, другие говорят, что Умбулази. Но я уверен, что это дело рук ни того ни другого, а твоего старого друга Садуко, хотя какая у него при этом цель, не могу тебе сказать. Я только опасаюсь, — прибавил он с тревогой, — что дело это кончится кровопролитием между обоими братьями.

— Значит, Садуко сделался очень могущественным?

— Он стал большим, как дерево, Макумазан. Король больше прислушивается к его шепоту, чем к крикам других. И он стал очень высокомерным. Тебе придется первому навестить его, Макумазан; он не придет к тебе.

— Вот как! — сказал я. — Но и высокие деревья иногда валятся.

Он кивнул седой головой.

— Да, Макумазан, я на своем веку видел много деревьев, которые выросли большими, а буря их свалила… Во всяком случае, тебе предстоит хорошая торговля, и, что бы ни случилось, никто не тронет тебя, потому что тебя все любят. А теперь прощай. Я передам твой привет королю, который посылает тебе быка на мясо, чтобы ты не голодал в его краале.

В тот же вечер я увидел Садуко. Я отправился к королю навестить его и передать ему свой подарок — дюжину столовых ножей с костяными ручками. Он был очень доволен, хотя не имел ни малейшего понятия, как ими пользоваться. Я нашел старого Мпанду очень утомленным и встревоженным, но так как он был окружен индунами, я не имел возможности поговорить с ним наедине. Видя, что он занят, я скоро откланялся, и на обратном пути произошла моя встреча с Садуко.

Я увидел его издали. Он шел в сопровождении большой свиты, и я хорошо заметил, что и он увидел меня. Обдумав сразу план действий, я пошел прямо на него, заставив его уступить мне дорогу, что ему очень не хотелось делать перед столькими посторонними. Я прошел мимо него, будто он был мне чужой. Как я и ожидал, подобное обращение произвело желаемое действие; после того, как мы прошли мимо друг друга, он повернулся и спросил:

— Ты меня не узнаешь, Макумазан?

— Кто зовет меня? — спросил я. — Твое лицо знакомо мне. Как тебя зовут?

— Ты забыл Садуко? — спросил он печальным голосом.

— Нет, нет, конечно, нет, — ответил я. — Теперь я тебя узнаю, хотя ты очень изменился с тех пор, как мы вместе охотились и сражались. Я думаю, что это потому, что ты потолстел. Надеюсь, ты здоров, Садуко? Прощай! Я должен вернуться к своим фургонам. Если желаешь меня видеть, можешь

застать меня там.

Садуко казался очень смущенным и не нашелся, что ответить, даже когда Мапута, с которым я шел, и еще некоторые другие громко рассмеялись. Ничто не доставляет зулусам столько удовольствия, как если при них осадить выскочку.

Два часа спустя, когда садилось солнце, я, к своему удивлению, увидел подходившего к моему фургону Садуко в сопровождении женщины, в которой я сразу признал его жену Нанди. На руках она несла грудного ребенка, красивого мальчика.

Я встал, поклонился Нанди и предложил ей свой походный стул, но она подозрительно взглянула на него и предпочла сесть прямо на пол, на манер туземцев. Тогда я сам уселся на стул и только после этого протянул руку Садуко, который на этот раз был скромен и вежлив.

Мы разговорились, и постепенно Садуко ознакомил меня со списком всех повышений и милостей, которыми угодно было королю осыпать его в течение последнего года. Список был действительно внушительный, и когда Садуко кончил перечислять все награды, он остановился, ожидая, очевидно, моих поздравлений. Но я ограничился только словами:

— Клянусь небесами, мне очень жаль тебя, Садуко. Сколько врагов ты должен был нажить за это время. И с какой высоты тебе придется падать! — Мое замечание заставило Нанди тихонько засмеяться, и, мне кажется, ее смех еще менее понравился мужу, чем мой сарказм. — Но, — продолжал я, — я вижу, что за это время ты обзавелся ребенком. Вот это лучше всех твоих титулов. Могу я взглянуть на него, инкосазана?[29]

Нанди была в восторге, и мы стали любоваться ребенком, которого она, по-видимому, любила больше всего на свете. В то время, как мы осматривали ребенка и болтали, неожиданно подошли к нам Мамина и ее толстый неуклюжий муж Мазапо.

— О Макумазан, — проговорила Мамина, не замечая никого другого, — как я рада видеть тебя после целого долгого года.

Я с удивлением уставился на нее и даже разинул рот. Затем я подумал, что, вероятно, она ошиблась и хотела сказать, что не видела меня целую неделю.

— Двенадцать месяцев, — продолжала она, — и не было ни одного, в течение которого я несколько раз не вспомнила о тебе. Где ты был все это время?

— Во многих местах, — ответил я, — и, между прочим, в Черном ущелье, где я посетил карлика Зикали и потерял там свое зеркало.

— У иньянги Зикали? Как часто мне хотелось видеть его! Но, конечно,

я не могу пойти к нему — говорят, что он не принимает ни одной женщины!

— Не знаю, — ответил я, — но ты можешь попробовать. Может быть, для тебя он сделает исключение?

— Я попробую, Макумазан, — прошептала она, а я замолчал, подавленный ее лживостью.

Придя немного в себя, я услышал, как Мамина горячо приветствовала Садуко и поздравила его с возвышением, которое, по ее словам, она всегда предвидела. Садуко был тоже, по-видимому, огорошен; он ничего не ответил, но я заметил, что он не мог отвести глаз от прекрасного лица Мамины. Но затем он будто в первый раз заметил Мазапо и тотчас весь изменился. Лицо его приняло гордое и даже страшное выражение. На приветствие Мазапо Садуко повернулся и сказал:

— Как, вождь амазомов, ты приветствуешь «подлого человека и паршивую гиену»? Почему же ты это делаешь? Не потому ли, что «подлый человек» сделался знатным и богатым и что «паршивая гиена» надела на тебя тигровую шкуру?

И он взглянул на него такими страшными глазами, словно настоящий тигр.

Я не мог уловить ответа Мазапо. Пробормотав какие-то невнятные слова, он повернулся, чтобы уйти, и при этом совершенно неумышленно, я уверен, задел Нанди и свалил ее ребенка. Ребенок выпал из ее рук и ударился головкой о камень, довольно сильно, так что показалась кровь.

Садуко подскочил к нему и ударил его изо всех сил по спине маленькой палкой, которую он держал в руке. На минуту Мазапо остановился, и я подумал, что он набросится на Садуко. Но если первоначально у него и было такое намерение, то потом он передумал и, не сказав ни слова, ушел и исчез в вечерних сумерках. Мамина громко рассмеялась.

— Пфф! Мой муж большой и толстый, но не храбрый, — сказала она. — Но я не думаю, чтобы он умышленно хотел толкнуть тебя, женщина.

— Ты это мне говоришь, жена Мазапо? — спросила Нанди, поднявшись с земли и взяв на руки ушибленного ребенка. — Если так, то меня зовут инкосазана Нанди, дочь Черного Владыки и жена вождя Садуко.

— Прости меня, — смиренно ответила Мамина. — Я не знала, кто ты, инкосазана.

— Предположим, так, жена Мазапо. Макумазан, дай мне, пожалуйста воды, чтобы обмыть головку моего ребенка.

Вода была принесена, и ребенок скоро успокоился, так как оказалось,

что он отделался только царапиной. Нанди поблагодарила меня и ушла домой, с улыбкой сказав мужу, что нет надобности ее провожать, так как у ворот крааля ее ожидали слуги. Садуко остался, и Мамина тоже. Он долго говорил со мной, потому что ему было много что рассказать мне, но я все время чувствовал, что сердце его было с Маминой, которая сидела тут же, таинственно улыбаясь и только время от времени вставляя какое-нибудь слово.

Наконец она встала и со вздохом сказала, что должна вернуться в лагерь амазомов, к своему мужу. Было уже совсем темно, но временами небо освещалось молнией, так как надвигалась гроза. Как я и ожидал, Садуко тоже встал, сказав, что придет ко мне завтра. Он ушел с Маминой, и шел он как во сне.

Несколько минут спустя мне пришлось выйти из фургона, чтобы пойти посмотреть одного из волов, который в тот день выказывал признаки какой-то болезни, а потому из предосторожности был привязан в некотором отдалении. По привычке охотника я двигался тихо и бесшумно. Как раз когда я достиг кустов мимозы, за которыми был привязан вол, широкая молния ярко осветила все кругом, и я увидел Садуко, державшего в своих объятиях Мамину и страстно целовавшего ее.

Я повернулся и пошел обратно к фургонам, еще тише и бесшумнее.

Глава X. Загадочное злодеяние

После этих событий некоторое время все было спокойно и тихо. Я посетил хижины Садуко — очень красивые, — вокруг которых сидело много воинов из его племени, которые, казалось, были очень рады увидеть меня. Здесь я узнал от Нанди, что с ребенком ничего не случилось от ушиба. От Садуко же я узнал, что он помирился с Мазапо и даже извинился перед ним, так как убедился, что он не имел намерения оскорбить его жену, а толкнул ее случайно. Садуко прибавил, что теперь они с Мазапо друзья — что для Мазапо, которого король не имел причины любить, было очень важно. Я сказал, что рад слышать эти, и отправился к Мазапо и Мамине, встретивших меня с восторгом. Здесь я с удовольствием заметил, что супруги были, по-видимому, в лучших отношениях между собой, чем прежде. В двух случаях Мамина даже обратилась к мужу с очень нежными словами и была к нему очень внимательна. Мазапо тоже был в хорошем настроении, по той причине, как он мне сказал, что ссора между ним и Садуко прекратилась и примирение их было закреплено обменом подарками. Он прибавил, что очень рад этому ввиду того, что Садуко был теперь одним из самых могущественных людей в стране и мог ему сильно повредить, если бы захотел. Дружба с Садуко была особенно важна ему потому, что в последнее время какой-то тайный его враг пустил про него слух, что он враждебно относится к королевскому дому и занимается колдовством. Садуко же, в доказательство своей дружбы, обещал раскрыть эту клевету и наказать виновника.

Я поздравил Мазапо, но ушел погруженный в размышления. Что назревала трагедия, в этом я был уверен. Погода была слишком тихая, чтобы она могла долго продержаться. Это было затишье перед бурей. Но что я мог сделать? Сказать Мазапо, что я видел, как его жену целовал посторонний мужчина? Это было не мое дело; это дело Мазапо следить за поведением жены. Да они оба и отрицали бы это, а свидетелей у меня не было. Сказать ему, что примирение Садуко не было искренним и что он должен быть настороже? Но мог ли я знать, было ли оно искренним или неискренним? Может быть, это входило в план Садуко — подружиться с Мазапо, и если бы я вмешался, то нажил бы себе только врагов.

Пойти к Мпанде и поверить ему мои подозрения? Но он был так занят важными делами, что не выслушал бы меня или высмеял, что я тревожусь из-за таких пустяков. Нет, мне оставалось только ожидать развития

событий. Весьма возможно, в конце концов, что я ошибался и что все само собой образуется, как это часто случается.

Между тем смотр племенам был в полном ходу. У меня было много своих дел — нужно было ковать железо, пока горячо. Скопление народа в Нодвенгу было так велико, что за одну неделю я распродал два фургона, которые были нагружены материей, бусами, ножами и тому подобными товарами. Цены я получал отличные, потому что покупатели перебивали товар друг у друга, и в короткое время я набрал целое стадо скота и большое количество слоновой кости. Все это я отправил в Наталь вместе с одним из моих фургонов, а сам остался с другим фургоном, отчасти по просьбе Мпанды, который время от времени обращался ко мне за советом по различным вопросам.

Много любопытного было в то время в Нодвенгу. Никто не был уверен, что в любую минуту не вспыхнет гражданская война между сторонниками Кетчвайо и Умбулази, потому что вооруженные силы обеих партий были налицо.

Однако временно междоусобица была отсрочена. Умбулази, под предлогом болезни, держался в стороне и не показывался, предоставляя Садуко и некоторым другим своим приверженцам соблюдать его интересы. Король не разрешил также враждующим племенам пребывать в краале в одно и то же время. Таким образом, эта туча прошла мимо к всеобщему удовольствию, в особенности короля Мпанды. Но иначе обстояло дело с тучей, нависшей над героями этого рассказа.

По мере того как племена прибывали в королевскую резиденцию, им производили смотр и отсылали обратно, так как было невозможно кормить такое количество людей, которое набралось бы, если бы все они остались. Амазомы, прибывшие одними из первых, скоро покинули крааль. Но по какой-то причине, которой я так никогда и не узнал и которую разве только Мамина могла бы объяснить, Мазапо, Мамина и несколько его детей и индун остались здесь.

И вдруг начало происходить нечто странное. Разные люди неожиданно заболевали, и некоторые из них внезапно умирали. Вскоре было замечено, что все эти лица или жили вблизи лагеря Мазапо, или когда-то были с ним в плохих отношениях. Затем сам Садуко захворал — или представился больным. Во всяком случае, он исчез на три дня, и когда он снова появился, то был очень грустен, хотя я не мог заметить, что он похудел или ослабел.

Оправившись от своей болезни, Садуко устроил пир, к которому было заколото несколько быков. Я присутствовал на этом пиру или, вернее, в конце его, так как я не охотник до туземных пиршеств и явился только для

того, чтобы принести свои поздравления Садуко. Когда пир подходил к концу, Садуко послал за Нанди, желая, видимо, похвастаться перед своими друзьями, что у него жена из королевской семьи.

Нанди явилась, неся на руках ребенка, с которым она никогда не расставалась. Она стала обходить гостей и каждому из них говорила несколько приветливых слов. Наконец она подошла к Мазапо, основательно уже выпившему, и стала говорить с ним, дольше, чем с другими. В ту минуту мне пришло в голову, что она хотела показать ему, что не сердится на него за недавнее происшествие и разделяет примирительную тактику своего мужа.

Мазапо постарался по-своему ответить на ее любезность. Встав с трудом и покачиваясь своим жирным, грузным туловищем, он похвалил пиршество, приготовленное в ее доме. Затем взгляд его упал на ребенка и он стал восхищаться его красотой и здоровьем. Негодующий шепот других гостей остановил его дифирамбы — туземцы считают, что восхваление ребенка приносит ему несчастье. У них есть даже особое название для таких лиц — умтагати, или чародей, который может «сглазить» ребенка и навлечь на него беду. Я слышал, как несколько раз это слово было шепотом произнесено гостями. Но пьяный Мазапо ничего не замечал. Не удовольствовавшись таким серьезным нарушением обычая, он выхватил ребенка из рук матери и начал его целовать своими толстыми губами.

Нанди потянула ребенка к себе и воскликнула:

— Разве ты хочешь навлечь смерть на моего сына, о предводитель амазомов?

Затем, повернувшись, она покинула пирующих, которые все вдруг притихли.

Я увидел, как Садуко от бешенства и страха прикусил губы, и вспомнил, что Мазапо считали колдуном. Поэтому, опасаясь каких-нибудь неприятных последствий, я воспользовался наступившей тишиной, чтобы пожелать всей компании спокойной ночи, и удалился в свой лагерь.

Не знаю, что случилось после моего ухода, но на следующее утро до рассвета меня разбудит мой слуга Скауль. Оказалось, пришел гонец от Садуко с просьбой немедленно прийти к нему и принести «лекарство белых», так как ребенок сильно захворал. Конечно, я встал и пошел, захватив с собой ипекакуану[30] и другие лекарства, которые я считал пригодными для лечения детских болезней.

Около хижины меня ожидал сам Садуко, и я сразу увидел, что он был сильно расстроен.

— В чем дело? — спросил я.

— О Макумазан! — ответил он. — Этот пес Мазапо сглазил моего мальчика, и он умрет, если ты не спасешь его.

— Глупости! — сказал я. — Если ребенок болен, то это от какой-нибудь естественной причины.

— Войди и посмотри сам, — ответил он.

Я вошел в большую хижину, где застал Нанди и несколько женщин, а также туземца-врача. Нанди сидела на полу и была похожа на каменное изваяние печали. Она не произнесла ни звука и только пальцем указала на ребенка, лежавшего на циновке перед ней.

Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что ребенок умирал от какой-то неизвестной болезни. Его темное тельце было покрыто красными пятнами, а личико было искривлено судорогами. Я приказал женщинам подогреть воду, предполагая, что это род судорог, при которых горячая вода будет полезна. Но раньше чем поспела ванна, младенец испустил жалобный стон и умер.

При виде мертвого ребенка Нанди заговорила в первый раз.

— Колдун хорошо исполнил свое дело, — сказала она и в отчаянии бросилась на пол, лицом вниз.

Я не знал, что ответить, и вышел в сопровождении Садуко.

— Что убило моего сына, Макумазан? — спросил он глухим голосом, и слезы потекли по его лицу.

— Не знаю, — ответил я. — Будь он старше, я подумал бы, что он съел что-нибудь ядовитое, но в его возрасте это невозможно.

— Нет, Макумазан, возможно! Колдун отравил его своим дыханием — ты сам видел, как он поцеловал его. Но я отомщу за его смерть!

— Садуко! — воскликнул я. — Не будь несправедлив! Есть много болезней, которых я не знаю, так как я не настоящий врач, и возможно, что одна из них убила твоего сына.

— Я не хочу быть несправедливым, Макумазан. Ребенок умер от колдовства, подобно другим в этом краале, но, может быть, злодей не тот, кого я подозреваю. Но это уже дело *испытания* найти его. — И с этими словами он повернулся и ушел.

На следующий день Мазапо был предан суду индун, на котором председательствовал сам король, что было весьма необычно и показывало, как сильно он интересовался этим делом.

Я был вызван в суд в качестве свидетеля и, конечно, ограничился лишь ответом на заданные мне вопросы. В сущности, их было только два. Что произошло у моих фургонов, когда Мазапо уронил ребенка и Садуко ударил его, и что я видел на пиру у Садуко, когда Мазапо поцеловал

ребенка? В нескольких словах я рассказал им, как мог, стараясь доказать, что толкнул Мазапо жену Садуко случайно, а что на пиру он был пьян. Дав свои показания, я встал, чтобы уйти, но Мпанда остановил меня и просил описать вид ребенка, когда меня позвали дать ему лекарство.

Я описал с возможной точностью и видел, что мой ответ произвел большое впечатление на судей. Затем Мпанда спросил меня, видел ли я подобный случай, на что я должен был ответить:

— Нет, не видел.

После этого суд удалился на совещание, а когда нас снова позвали, король ознакомил нас со своим решением.

— Были доказаны факты, — сказал он, — которые могли вызвать враждебное отношение Мазапо к Садуко, ударившего его палкой. Поэтому хотя и состоялось примирение, но могла быть причина для мести. Ребенок умер от неизвестной болезни, но болезнь эта похожа на ту, от которой умерли в недавнее время некоторые другие лица, которые имели отношение к Мазапо. Все это представляет сильные улики против Мазапо.

Однако суд не хотел осуждать Мазапо без полного доказательства его виновности. Поэтому они решили обратиться к содействию какого-нибудь известного иньянги, такого, который живет далеко и не знает обстоятельств этого дела. На ком остановить выбор, еще не было решено. Вторичный разбор дела был отложен до решения этого вопроса и до приезда иньянги, а до тех пор Мазапо должен был содержаться в строгом заключении. В конце король обратился ко мне с просьбой от имени суда остаться в краале до окончания решения этого дела.

Мазапо увели в весьма удрученном состоянии, а мы все разошлись.

Неделю спустя я получил приглашение явиться на публичное *испытание*. Я пошел, раздумывая, какого иньянгу выбрали для этой варварской кровавой церемонии. Идти мне пришлось недалеко, так как для *испытания* было выбрано то большое открытое место перед главными воротами крааля, которое примыкало к долине, в которой я остановился. Приблизившись, я увидел большое скопление народа, тесными рядами столпившегося вокруг небольшого овального пространства, ненамного большего, чем партер в театре. В первом ряду этого овала сидели виднейшие граждане, мужчины и женщины, и среди них я заметил Садуко, Мазапо, Мамину и других.

Меня тоже провели в первый ряд, и едва я уселся на свой походный стул, принесенный Скаулем, как из ворот крааля вышел Мпанда в сопровождении членов совета. Толпа приветствовала его громкими криками. Когда крики замерли, Мпанда заговорил среди глубокой тишины.

— Приведите сюда иньянгу. Пусть *испытание* начнется.

Наступила долгая пауза, а затем в открытых воротах показалась одинокая фигура, в которой на первый взгляд даже трудно было признать человека — фигура карлика с огромной головой, с которой свешивались длинные седые космы.

Это был не кто иной, как Зикали.

Он шел никем не сопровождаемый и, за исключением мучи, был совершенно голый. На нем не было даже обычных украшений, отличающих людей его профессии. Странной походкой, переваливаясь как жаба, прошел он мимо советников в открытое пространство круга. Остановившись здесь, он медленно обвел вокруг себя своими глубоко впавшими глазами, пока, наконец, его взор не упал на короля.

— Чего ты хочешь от меня, сын Сензангаконы? — спросил он. — Много лет прошло с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз. Для чего ты меня вытащил из моей хижины, меня, который только два раза посещал крааль королей зулусов с тех пор, как Лютый Владыка (Чака) вступил на престол: первый раз, когда тот, который правил до тебя, разбил буров, и второй раз, когда меня привели, чтобы на моих глазах убить всех моих оставшихся в живых сородичей, потомков королевского рода Ндвандве? Призвал ли ты меня сюда, чтобы и меня отправить вслед за ними в небытие, о сын Сензангаконы? Я готов, но перед тем я скажу кое-что, что тебе не понравится.

Его низкий раскатистый голос гулко раздавался в тишине, и все замерли в ожидании ответа короля. Я видел, что все они боялись этого человека, даже Мпанда чувствовал перед ним страх и беспокойно ерзал на скамейке.

Наконец он заговорил:

— Нет, Зикали. Кто захотел бы тронуть самого мудрого и самого старого человека во всей стране, того, кто был уже стар, когда родились наши деды? Нет, твоя жизнь в безопасности. Сам Лютый Владыка не посмел посягнуть на нее, хотя ты был его врагом и он ненавидел тебя. Что же касается причины, для чего тебя привели сюда, то скажи ее нам сам, о Зикали. Нам ли обучать тебя мудрости?

Карлик разразился своим громким жутким смехом.

— Значит, род Сензангаконы признает наконец, что я обладаю мудростью? Когда все свершится, тогда все убедятся в моей мудрости.

И он снова зловеще засмеялся, а затем, как бы опасаясь, что его заставят объяснять его слова, поспешно продолжал:

— А где же плата? Где плата? Или король так беден и думает, что

старый иньянга будет отгадывать даром?

Мпанда сделал знак рукой, и в круг пригнали десять великолепных телок, которых, вероятно, держали где-то наготове.

— Неважный скот, — презрительно заметил Зикали, — в сравнении с тем скотом, который мы выращивали до владычества Сензангаконы. — Это замечание вызвало у толпы громкие возгласы удивления. — Но делать нечего, нужно смириться с тем, какие они есть. Отведите их в мой крааль и прибавьте еще быка!

Скот увели, и старый карлик сел на корточки и уставился в землю, как большая черная жаба. Он сидел неподвижно минут десять, и я, пристально наблюдавший за ним, стал чувствовать себя как бы в гипнозе.

Наконец он поднял голову, откинув назад свои седые космы, и сказал:

— Я вижу много вещей в пыли. О да, пыль оживает… она оживает и говорит мне многое…

Он встал и, шагая то в одну сторону, осматривал внимательно пыль. Затем он сунул руку в висевшую на его плечах сумку и вытащил из нее высохший человеческий палец, на котором ноготь был такой красный, будто был выкрашен краской. При виде его толпа содрогнулась.

— Будь умен, о палец той, которую я любил больше всего, — сказал он. — Будь умен и напиши в пыли так, как Макумазан умеет писать и как мы, из рода Ндвандве, писали до того, как сделались рабами и должны были склониться перед зулусами. Будь умен, дорогой палец, некогда ласкавший меня, и напиши то, что угодно узнать ныне дому Сензангаконы.

Он нагнулся и в трех разных местах сделал мертвым пальцем какие-то знаки в пыли — мне показалось, что он начертил кружки и точки.

— Благодарю тебя, дорогой палец. Теперь спи, спи, ты свое дело сделал. — И он медленно завернул реликвию в какую-то мягкую материю и положил обратно в сумку.

Затем он стал изучать первые знаки и спросил:

— Для чего я здесь? Желает ли тот, кто сидит на троне, узнать, как долго ему царствовать?

Внутренний круг зрителей, который при таких испытаниях исполняет роль хора, посмотрел на короля и, видя, что он энергично покачал головой, вытянули вперед правые руки, держа большой палец книзу, и произнесли все разом тихим голосом:

— Изва! (то есть «Мы слушаем»).

Зикали подошвой ноги затоптал ряд знаков, сделанных пальцем.

— Хорошо, — сказал он. — Сидящий на троне не желает знать, сколько времени ему осталось царствовать, а потому пыль не покажет мне

это.

Затем он подошел к следующему ряду знаков и принялся их изучать.

— Желает ли сын Сензангаконы узнать, какой из его сыновей останется в живых, а какой умрет? Какой из них будет царствовать после его смерти?

Громкие крики «Изва!» вырвались у толпы, потому что в то время, о котором я пишу, ни один вопрос не интересовал так сильно зулусов, как этот.

Но снова Мпанда энергично потряс головой, и послушный хор таким же способом, как и в первый раз, отрицательно ответил на вопрос.

Зикали затоптал ногой второй ряд знаков, приговаривая:

— Народ желает знать, но великие мира сего боятся, а потому пыль не скажет, кто в грядущие дни будет королем, а кто достанется на съедение шакалам и ястребам.

Эти слова, предвещавшие кровопролитие и гражданскую войну и произнесенные диким, жалобным голосом, заставили всех, включая и меня, ахнуть и содрогнуться. Король соскочил со своей скамейки, как бы желая положить конец таким предсказаниям. Но затем, как это всегда с ним бывало, он передумал и снова сел. Зикали, не обращая ни на что внимания, подошел к третьему ряду знаков и стал расшифровывать их.

— Кажется, — сказал он, — что меня вытащили из моего Черного ущелья из-за маленького, ничтожного дела, для которого можно было позвать любого иньянгу. Но все равно, я принял плату, и я хочу отработать ее. Я думал, что меня привели сюда говорить о больших делах, как, например, о смерти королевских сыновей и о будущей судьбе зулусского народа… Желательно ли, чтобы мой дух раскрыл правду относительно колдовства в краале Нодвенгу?

— Изва! — утвердительно закричал хор громким голосом.

Зикали закивал своей огромной головой и, казалось, говорил с пылью, время от времени дожидаясь ответа.

— Хорошо, — сказал он, — их много, колдунов, и пыль мне назвала их. О, их очень много. — И он обвел глазами зрителей. — Их так много, что если бы я их всех назвал, то гиены наелись бы сегодня ночью досыта.

Толпа зашевелилась и стала проявлять признаки обуявшего ее страха.

Зикали снова посмотрел вниз на пыль и склонил голову набок, как бы прислушиваясь:

— Но что ты говоришь, что ты говоришь? Громче говори! Ты ведь знаешь, что я немного туг на ухо. О, теперь я понял… Дело еще ничтожнее, чем я думал. Хотят узнать только об одном колдуне…

— Изва! (громко).

— Только о нескольких случаях смерти и о болезни.

— Изва!

— Даже только об одном смертном случае.

— Изва!!! (очень громко).

— А! Значит, желают узнать об одной смерти… Мужчины?

— Изва! (очень холодно).

— Женщины!

— Изва! (еще холоднее).

— Значит ребенка? Так, так, ребенка. Мальчика, я думаю? Ведь ты сказала, что это был мальчик, о пыль?

— Изва!!! (очень громко).

— Простой ребенок? Сын неизвестных родителей?

— Изва! (очень тихо).

— Сын знатных родителей? О пыль, я слышу, я слышу!… Это был ребенок, в котором текла кровь отца зулусов, кровь Сензангаконы, кровь Лютого Владыки, кровь Мпанды.

Он остановился, а хор и вся многочисленная толпа слились в одном могучем крике «Изва!», усиливая впечатление могучим движением вытянутых вперед рук.

Затем снова наступила полная тишина, во время которой Зикали затоптал оставшиеся знаки, приговаривая:

— Благодарю тебя, о пыль, хотя мне жаль, что я тебя потревожил из-за пустяка. Так, так, — продолжал он, — умерло царственное дитя, и думают, что его околдовали. Узнаем, умер ли он из-за колдовства или обычной смертью, как умирают другие… Что? Здесь знак, который я оставил. Смотрите! Он делается красным, он покрывается красными пятнами. Ребенок умер с судорожно искривленным лицом.

— Изва! Изва! Изва! (все громче и громче).

— Эта смерть не была естественна. Но было ли это колдовство или яд? И то и другое, я думаю, и то и другое. Чье это было дитя? Это не был ребенок королевского сына… Тише, народ, тише; я не нуждаюсь в вашей помощи. Нет, не сына, значит, ребенок королевской дочери. — Он повернулся и обвел глазами вокруг себя, пока взгляд его не упал на группу женщин, среди которых сидела Нанди, одетая совершенно просто, без всяких украшений.

— Дочери, дочери… — Он подошел к группе женщин. — Здесь все простые женщины, и однако… однако я чувствую запах крови Сензангаконы.

Он повел носом, как это делают собаки, обнюхивая воздух и все ближе подходя к Нанди, пока, наконец, не засмеялся и не указал на нее пальцем.

— Это твое дитя умерло, принцесса, но имени твоего я не знаю. Твой первенец, которого ты любила больше своего собственного сердца.

Нанди вскочила.

— Да, да, иньянга! — закричала она. — Я королевская дочь Нанди, и он был моим первенцем, которого я любила больше собственного сердца.

— Ха-ха! — засмеялся Зикали. — Пыль, ты не налгала мне. Дух мой, ты не налгал мне. Но теперь скажи мне, пыль, и скажи мне, дух мой, кто убил этого ребенка?

Он начал бродить по кругу — безобразный карлик, весь покрытый серой пылью, сквозь которую в некоторых местах проглядывали полосы черной кожи.

Вскоре он остановился против меня и стал снова поводить носом и обнюхивать воздух, как он это делал перед Нанди.

— А! А! Макумазан! — сказал он. — Ты имеешь какое-то отношение к этому делу!

При этих словах вся толпа насторожила уши. Я знал, что положение мое опасное, и, охваченный страхом и гневом, вскочил со стула.

— Колдун! Или как ты там себя называешь, — крикнул я громким голосом, — если ты хочешь этим доказать, что я убил ребенка Нанди, то ты лжешь!

— Нет, нет, Макумазан! — ответил он. — Но ты пытался спасти его, и, таким образом, ты имел отношение к этому делу, разве это не так? Кроме того, я думаю, что ты, который так же мудр, как и я, знаешь, кто убил его. Ты не хочешь сказать, Макумазан, кто убил? Нет? Тогда я сам должен найти преступника. Будь спокоен. Разве вся страна не знает, что руки твои чисты, как твое сердце?

И к моему большому облегчению он прошел мимо среди одобрительного шепота, так как зулусы любили меня. Он все ходил кругами и, к моему удивлению, он прошел мимо Мамины и Мазапо, не обратив на них особого внимания. Мне показалось, что он обменялся с Маминой быстрым многозначительным взглядом. Любопытно было наблюдать за его продвижением: по мере того как он шел, те, кто находились впереди него, шарахались от страха в сторону и снова сбивались в кучу, как только он проходил мимо. Так рожь ложится от порывов ветра и снова поднимается, когда ветер проходит.

Наконец он кончил бродить и вернулся к своему месту, видимо сбитый с толку.

— У тебя в краале столько колдунов, король, — сказал он, обращаясь к Мпанде, — что трудно сказать, какой из них совершил преступление. Легче было бы раскрыть какое-нибудь большое дело. Но я взял от тебя вперед плату и должен ее заслужить. Пыль, ты нема. Может быть, ты, о дух мой, скажешь мне это? — И, наклонив голову вбок, он повернул ухо кверху, сделал вид, что прислушивается, а затем произнес странным, деловым тоном:

— А, благодарю тебя, дух мой. Твой внук, о король, убит одним из членов дома Мазапо, вождя амазомов и твоего врага.

Толпа одобрительно загудела, потому что все считали Мазапо виновным.

Когда шум умолк, заговорил Мпанда:

— Семья Мазапо большая. У него несколько жен и много детей. Недостаточно указать семью, потому что я не такой, как те, кто правил до меня, и не хочу убивать невинных вместе с виновными. Скажи нам, о Зикали, кто из семьи Мазапо совершил это преступление?

— В этом весь вопрос, — проворчал Зикали. — Я знаю только, что оно было совершено путем отравления, и я чувствую яд. Он здесь.

Затем он подошел к месту, где сидела Мамина, и закричал:

— Схватите эту женщину и обыщите ее волосы!

Стоявшие наготове палачи прыгнули вперед, но Мамина сделала им знак рукой отойти.

— Друзья, — сказала она с легким смехом, — нет надобности трогать меня. — И, поднявшись с места, она шагнула на середину круга. Здесь несколькими быстрыми движениями рук она скинула сперва свой плащ, затем мучу с бедер и, наконец, сетку, сдерживавшую ее длинные волосы, и предстала перед толпой во всей своей нагой красоте.

— А теперь, — сказала она, — пусть женщины придут и обыщут меня и мою одежду и посмотрят, спрятан ли где-нибудь у меня яд.

Две старые женщины вышли из толпы зрителей — не знаю, кто послал их — и произвели тщательный обыск, но ничего не нашли. Мамина, пожав плечами, оделась и вернулась на свое место.

Зикали казался рассерженным. Он затопал своей огромной ступней, потряс своими седыми космами и воскликнул:

— Неужели мудрость моя потерпит поражение в таком пустяковом деле? Пусть кто-нибудь из вас завяжет мне глаза.

Из толпы вышел Мапута и завязал ему глаза — как мне показалось, туго и хорошо. Зикали покружился сперва в одну сторону, затем в другую и, громко воскликнув: «Веди меня, мой дух!», зашагал вперед зигзагами,

протягивая вперед руки, как слепой. Сперва он пошел направо, потом налево, а затем прямо вперед и наконец, к моему удивлению, подошел к тому месту, где сидел Мазапо, и, протянув свои большие руки, ощупью схватил каросс[31], которым Мазапо был покрыт, и быстрым движением сорвал его с него.

— Обыщите! — закричал он, бросая каросс на землю. Одна из женщин принялась обыскивать, и вскоре у нее вырвался возглас удивления: из меха каросса она вытащила крошечный мешочек, который, казалось, был сделан из рыбьего пузыря. Она передала его Зикали, снявшего уже повязку со своих глаз.

Он посмотрел на мешочек и дал его Мапуте со словами:

— Здесь яд… здесь яд, но кто дал его, я не знаю. Я устал! Пустите меня.

Никто не задерживал его, и он вышел из крааля. Стража схватила Мазапо, в то время как многочисленная толпа с остервенением ревела:

— Смерть Мазапо!

Мазапо вскочил и, подбежав к тому месту, где сидел король, бросился на колени, уверяя в своей невиновности и умоляя о пощаде. Так как вся эта история с *испытанием* казалась мне очень подозрительной, то я рискнул встать и тоже сказать свое слово.

— О король, — сказал я, — я знал этого человека в прошлом, а потому прошу за него перед тобой. Как этот порошок попал в его каросс, я не знаю, но, может быть, это не яд, а безвредная пыль.

— Да это просто порошок, который я употребляю для желудка! — воскликнул Мазапо, который от страха не знал, что говорит.

— А, так ты занимаешься медициной! — вскричал Мпанда. — Значит, никто не подсунул этого порошка в твой плащ.

Мазапо начал что-то объяснять, но слова его были заглушены ревом толпы:

— Смерть Мазапо!

Мпанда поднял руку, и снова водворилась тишина.

— Принесите чашку молока, — приказал Мпанда.

Молоко было принесено, и король приказал всыпать в него порошок.

— Теперь, Макумазан, — обратился ко мне Мпанда, — если ты все еще считаешь этого человека невиновным, выпей это молоко.

— Я не люблю молоко, о король, — ответил я, качая головой, и все слышавшие мой ответ рассмеялись.

— Не выпьет ли молока жена виновного Мамина? — спросил Мпанда.

Она тоже покачала головой и сказала:

— О король, я не пью молока, смешанного с пылью.

В эту минуту случайно забрела в круг тощая собака, одна из тех бездомных дворняжек, которые бродят вокруг краалей и питаются падалью. Мпанда сделал знак рукой, и один из слуг поставил деревянную чашу с молоком перед голодной собакой. Собака с жадностью вылакала все молоко, и как только она слизала последнюю каплю, слуга накинул ей вокруг шеи петлю из кожаного ремня и крепко придерживал ее.

Все глаза были устремлены на собаку. Не прошло и нескольких минут, как животное испустило протяжный меланхолический вой, который пронзил меня насквозь, потому что я понял, что это был смертный приговор Мазапо. Затем собака стала царапать землю и пена выступила у нее изо рта. Догадываясь, что произойдет дальше, я встал, поклонился королю и направился в мой лагерь, который, как известно, был расположен в маленькой долине. Толпа так напряженно следила за собакой, что и не заметила моего ухода. Скауль рассказал мне потом, что бедное животное мучилось еще минут десять и что перед смертью у него появились красные пятна наподобие тех, которые я видел на ребенке Садуко, а умерла она в страшных судорогах.

Я достиг своего лагеря, закурил трубку и, чтобы как-нибудь отвлечь свои мысли, принялся делать подсчеты в своей записной книжке. Внезапно я услышал адский шум. Подняв голову, я увидел Мазапо, бегущего по направлению ко мне с быстротой, какую нельзя было ожидать от такого толстяка. За ним гнались свирепого вида палачи, а позади бежала озверевшая толпа.

— Смерть преступнику! — неслись дикие крики.

Мазапо добежал до меня. Он бросился передо мною на колени и пролепетал задыхающимся голосом:

— Спаси меня, Макумазан. Я невиновен. Это Мамина, колдунья! Мамина…

Но это были последние его слова. Палачи набросились на него, как собаки на оленя, и потащили его от меня. Я отвернулся и закрыл глаза рукой.

*** * ***

На следующее утро я покинул Нодвенгу, не попрощавшись ни с кем.

Последние события так повлияли на меня, что я жаждал перемены обстановки. Скауль и один из моих охотников, однако, остались, чтобы собрать скот, который мне еще причитался.

Спустя месяц они догнали меня в Натале, приведя с собою скот, и рассказали, что Мамина, вдова Мазапо, вошла в дом Садуко в качестве второй жены. Они добавили, что, по слухам, Нанди неодобрительно отнеслась к выбору своего мужа, считая, что Мамина не принесет ему счастья. Но Садуко казался таким влюбленным в Мамину, что Нанди подавила все свои возражения и на вопрос Мпанды, дает ли она свое согласие, ответила, что хотя она и желала бы для Садуко другую жену, которая не была бы причастна к колдуну, убившему ее ребенка, однако она согласна принять Мамину как сестру и сумеет указать ей ее место.

Глава XI. Побег Мамины

Прошло около полутора лет, и снова я очутился в Земле Зулу. За полтора года многое изглаживается из памяти, а потому понятно, что за это время я более или менее забыл много подробностей «дела Мамины», как я его называл. Но все эти подробности живо воскресли в моей памяти, когда первым лицом, которое я встретил — на некотором расстоянии от крааля Умбези, — была сама прекрасная Мамина. Она сидела под смоковницей, обмахиваясь большим пальмовым листом, и выглядела так же обворожительно, как всегда — наружность ее нисколько не изменилась.

Я спрыгнул с козел фургона и приветствовал ее.

— Доброе утро, Макумазан, — сказала она. — Сердце мое радуется при виде тебя.

— Здравствуй, Мамина, — ответил я просто, без всякого упоминания о своем сердце. Затем я прибавил, взглянув на нее: — Правда ли, что у тебя новый муж?

— Да, Макумазан, мой прежний возлюбленный сделался теперь моим мужем. Ты знаешь, о ком я говорю — о Садуко. После смерти этого злодея Мазапо он не давал мне покоя, и король, а также Нанди очень просили меня, и я согласилась. Да и собственно говоря, мне казалось, что Садуко представлял выгодную партию.

Я шел с ней рядом, так как фургоны отправились вперед к месту Старой стоянки.

Я остановился и взглянул на нее.

— Тебе казалось? — переспросил я. — Что ты хочешь сказать этим? Разве ты несчастлива?

— Не совсем, Макумазан, — ответила она, передернув плечами. — Садуко очень любит меня — даже больше, чем я этого желала бы, так как из-за этого он пренебрегает Нанди, а та, конечно, ревнует. Кстати, у Нанди опять родился сын. Короче говоря, — вырвалось у нее, — я только игрушка, а Нанди хозяйка дома, а такое положение мне совсем не нравится.

— Если ты любишь Садуко, то тебе это должно быть безразлично, Мамина.

— Любовь, — горько проговорила она. — Пфф! Что такое любовь? Но я тебе уже однажды предлагала этот вопрос.

— Почему ты здесь, Мамина? — спросил я, меняя разговор.

— Потому что Садуко здесь и, конечно, Нанди — она его никогда не

покидает, а он меня не хочет покинуть. Мы здесь, потому что приезжает принц Умбулази. Готовится большой разговор, и надвигается великая война — та, в которой многим придется сложить свои головы.

— Война между братьями, Кетчвайо и Умбулази?

— Да, конечно. Для чего же, ты думаешь, мы покупаем ружья, за которые нужно платить скотом? Будь уверен, что не для того, чтобы стрелять дичь. Крааль моего отца сделался теперь штаб-квартирой партии «изигкоза», т.е. приверженцев Умбулази, а крааль Гикази — штаб-квартирой партии Кетчвайо. Бедный отец! — прибавила она со своим характерным пожатием плеч. — С тех пор как он застрелил слона, он считает себя великим человеком, но я часто думаю, какой печальный конец ожидает его и нас всех, Макумазан, включая и тебя.

— Меня?! — воскликнул я. — Какое отношение имею я к вашим зулусским спорам?

— Это ты узнаешь, когда все будет кончено!… Но вот и крааль. Прежде чем войти в него, я хочу поблагодарить тебя за твою попытку спасти моего несчастного мужа Мазапо.

— Я это сделал только потому, Мамина, что считал его невиновным.

— Я знаю, Макумазан. И я тоже считала его невиновным, хотя, как я всегда говорила тебе, я его ненавидела. Но то, что я узнала с тех пор, убедило меня, к сожалению, что он был не совсем невинен. Видишь, Садуко ударил его, и этой обиды он не мог забыть. Кроме того, он ревновал меня к Садуко, как к бывшему моему жениху, и хотел причинить ему зло. Но вот чего я до сих пор не понимаю, это почему он убил не Садуко, а ребенка.

— Ведь говорили, что он пытался это сделать. Ты помнишь, Мамина?

— Да, Макумазан, я и забыла. Он действительно пытался убить его, но ему это не удалось. О, теперь я все понимаю… Смотри, вот там идет отец. Я уйду. Заходи как-нибудь сообщить мне новости, которые ты узнаешь, Макумазан. Нанди старается держать меня в неведении относительно всего, что творится вокруг меня. Ведь я только игрушка, украшение дома. Я только красивая женщина, которая должна сидеть и улыбаться, но не смеет думать.

Она ушла, оставив меня под впечатлением, что внешний успех в жизни не принес ей, по-видимому, счастья и удовлетворения. Но размышлять долго об этом мне не пришлось — навстречу мне шел, подпрыгивая как козел, старик Умбези, горячо приветствовавший меня.

Он был в приподнятом настроении и весь был преисполнен важности. Он сообщил мне, что брак Мамины с Садуко после смерти ее первого мужа

оказался для него весьма счастливым обстоятельством.

Я спросил, почему.

— Потому что Садуко сделался очень большим человеком, и вместе с ним, понятно, и я, его тесть, сделаюсь великим, Макумазан. Кроме того, Садуко оказался очень щедрым по отношению ко мне. Он получил весь скот Мазапо в виде вознаграждения за потерю своего сына, и часть стада подарил мне. Таким образом, я сделался богатым человеком. Кроме того, завтра мой крааль будет удостоен посещения Умбулази и нескольких других его братьев, и Садуко обещал мне большое повышение, когда принц будет объявлен наследником престола.

— Какой принц? — спросил я.

— Умбулази, Макумазан. Кто же иначе? Умбулази несомненно победит Кетчвайо.

— Почему ты так уверен в этом, Умбези? За Кетчвайо тоже стоит большая сила, а если он победит, как бы тебе не оказаться в желудке шакала.

Жирное лицо Умбези вытянулось.

— О Макумазан, — сказал он, — если бы я так думал, я перешел бы на сторону Кетчвайо, несмотря на то, что Садуко мой зять. Но это невозможно. Король любит мать Умбулази больше всех своих жен, и, как я случайно узнал, он поклялся ей, что будет поддерживать любимейшего своего сына Умбулази. Он обещал сделать все, что может, вплоть до посылки своего собственного полка в случае, если понадобится подкрепление. Говорят также, что Зикали, мудрейший из людей, предсказал, что Умбулази достигнет большего, чем то, на что он надеется.

— Что такое ваш король? — сказал я. — Соломинка, которая колеблется туда и сюда по ветру, но которая может быть снесена бурей. Предсказание Зикали? Плохо дело, если надеяться только на его пророчества. Но вот что я тебе советую: раз ты уже выбрал партию Умбулази, то и держись ее, потому что измена никогда не доводит до добра — ни при победе, ни при поражении. А теперь, не примешь ли ты у меня ружья и порох, которые я привез?

На следующий день я отправился засвидетельствовать почтение Нанди. Она нянчила своего младенца и была так же спокойна и выдержана, как всегда. Мы поговорили с ней о печальных обстоятельствах смерти ее первого ребенка, которого она все еще не могла забыть, а затем перевели разговор на политическое положение в стране. По-видимому, она желала по поводу этого мне кое-что сообщить, но в это время в хижину без приглашения вошла Мамина и уселась на табурет в углу. Нанди сразу

замолчала.

Это, однако, не смутило Мамину, которая принялась болтать о том и о сем, совершенно игнорируя инкосикази. Нанди некоторое время терпеливо сносила это, но наконец, воспользовавшись наступившей в разговоре паузой, обратилась к ней решительным и спокойным голосом:

— Это моя хижина, дочь Умбези, и это ты отлично помнишь в тех случаях, когда вопрос идет о том, кого посещает наш общий муж Садуко, тебя или меня. Не можешь ли ты припомнить это и теперь, когда я хочу поговорить с Белым Вождем, Макумазаном, который был так любезен посетить меня?

У Мамины засверкали глаза от злости, и она вскочила при этих словах как ужаленная. Я должен признаться, что никогда не видел ее более прекрасной.

— Ты оскорбляешь меня, дочь Мпанды, — вскричала она, — как ты всегда пытаешься это делать, потому что ты завидуешь мне!

— Прости, сестра моя, — ответила Нанди. — С чего бы мне, главной жене Садуко и дочери короля Мпанды, завидовать дочери Умбези, которую нашему мужу угодно было взять в свой дом только для забавы?

— Почему? Да потому что ты знаешь, что Садуко любит мой мизинец больше, чем все твое тело, хотя ты и королевской крови и родила ему детенышей, — ответила Мамина, недобрым взглядом посмотрев на ребенка…

— Может быть, и так, дочь Умбези. У мужчин бывают разные вкусы, и ты, несомненно, очень красива. Но я хочу спросить тебя одно — если Садуко тебя так любит, почему же он так мало доверяет тебе, что если тебе хочется узнать о каком-нибудь важном деле, то тебе приходится подслушивать у моих дверей, как это было, например, вчера?

— Потому что ты его учишь не советоваться со мной. Ты ему наговариваешь на меня, уверяя, что та, которая изменила одному мужу, изменит и другому. Ты внушаешь ему, что я годна только на то, чтобы служить игрушкой, а не быть его советницей, хотя я умнее тебя и всех членов вашей семьи, вместе взятых. Погоди, ты в этом еще когда-нибудь убедишься.

— Да, — ответила невозмутимо Нанди, — я внушаю ему все это и рада, что в этом отношении Садуко слушается меня. Я уверена, что мне придется испытать много неприятностей из-за тебя, дочь Умбези. Но непристойно пререкаться нам при Белом Вожде, а потому я еще раз повторяю тебе: это моя хижина, и я хочу говорить наедине с моим гостем.

— Я ухожу, я ухожу, — задыхаясь от злобы, проговорила Мамина. —

Но я предупреждаю тебя, что Садуко узнает об этом.

— Конечно, он узнает, потому что я сама расскажу ему, как только он придет.

Но Мамина уже исчезла, выскочив из хижины, как кролик из норки.

— Прошу прощения, Макумазан, за то, что произошло здесь, — сказала Нанди, — но было необходимо проучить Мамину, чтобы она знала свое место. Я не доверяю ей, Макумазан. Я думаю, она больше знает о смерти моего ребенка, чем говорит. Она хотела тогда отделаться от Мазапо — ты можешь, конечно, догадаться, почему. Я думаю также, что она навлечет позор и беду на голову Садуко, которого она очаровала своей красотой, как она очаровывает всех мужчин, может быть, даже и тебя, Макумазан. Но поговорим о чем-нибудь другом.

Я охотно согласился с этим предложением. И мы принялись говорить о положении в стране и об опасностях, грозивших всем и в особенности королевскому дому. Положение дел очень тревожило Нанди; у нее была светлая голова, и она с опаской взирала на будущее.

— Ах, Макумазан, — сказала она при прощании, — как бы я желала быть женою человека, не желающего стать большим, и как я желала бы, чтобы в моих жилах не текла королевская кровь.

На следующий день прибыл принц Умбулази в сопровождении Садуко и нескольких видных зулусов. Они прибыли без всякого шума, без бросавшегося в глаза конвоя, но Скауль рассказал мне, что, по слухам, ближний лес кишел воинами, приверженцами партии изигкоза. Посещение Умбулази было объяснено якобы желанием приобрести у Умбези молодых бычков и телок какой-то редкой белой масти.

Но не в характере Умбулази было притворяться. Очутившись в краале и сердечно поздоровавшись со мной, он открыто заявил мне, что прибыл сюда с целью договориться о сплочении рядов его партии и о плане будущих действий.

В течение последующих двух недель то и дело приезжали и уезжали посланцы от различных племен. Я охотно последовал бы их примеру, то есть уехал бы, потому что чувствовал, что могу оказаться втянутым в очень опасный водоворот. Но я принужден был дожидаться платы за привезенный мною товар, которая, как всегда, состояла в скоте.

Умбулази часто вел со мной беседу, подчеркивая свое дружеское расположение к англичанам Наталя, которое он обещал проявить на деле, когда достигнет верховной власти в Земле Зулу. Во время одной из наших бесед произошла его первая встреча с Маминой.

Мы шли с ним по небольшой просеке леса, как вдруг в конце ее

показалась Мамина, освещенная заходящим солнцем. На ней были набедренная повязка, ожерелье из синих бус и несколько бронзовых браслетов, а на голове она несла кувшин из тыквы.

Умбулази сразу заметил ее и, оборвав политический разговор, очевидно надоевший ему, спросил меня, кто эта прекрасная девушка. Это не девушка, — ответил я. — Она вдова, вторично вышедшая замуж. Она вторая жена твоего друга и советчика Садуко и дочь здешнего хозяина Умбези.

— Вот кто она! О, тогда я слышал о ней, хотя мне никогда не приходилось встречаться с ней. Немудрено, что моя сестра Нанди ревнует к ней. Она действительно красавица.

— Да, — ответил я, — как красиво она выделяется на фоне красного неба, не правда ли?

К этому времени мы подошли к Мамине. Я поздоровался с ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь.

— Ничего, Макумазан, — ответила она скромно и бросила робкий взгляд на высокого красавца Умбулази. — Я просто проходила с водой, увидела тебя и подумала, что, может быть, тебе хотелось бы выпить. Сегодня такой жаркий день.

И, сняв с головы кувшин, она протянула его мне. Я поблагодарил, отпил немного воды и возвратил ей кувшин. Она сделала вид, будто спешит уходить.

— Не могу ли я тоже выпить, дочь Умбези? — спросил Умбулази, который не отрывал от нее глаз.

— Разумеется, если ты друг Макумазана, — ответила она, подавая ему кувшин.

— Я друг его и, более того, я друг твоего мужа Садуко»Это тебе должно быть известно, если я тебе скажу, что меня зовут Умбулази.

— Я так и думала, — ответила она, — из-за твоего высокого роста. Она держала кувшин, пока он пил, и я видел, как глаза их встретились.

Когда он передал ей кувшин, она сказала:

— О принц, дозволишь ли ты переговорить с тобой наедине? Мне нужно сообщить тебе кое-что важное! Часто скромной женщине удается услышать известие, которое ускользает от слуха мужчин, наших властелинов.

Он кивнул головой в знак согласия, а я поспешил удалиться, пробормотав что-то насчет неотложных дел. Вероятно, Мамине было много о чем рассказать Умбулази. Прошло целых полтора часа, и луна уже взошла, когда я, согласно своему обычаю, взобрался на козлы фургона,

чтобы произвести оттуда общий вечерний осмотр, и тут-то, к своему удивлению, я увидел вдали Мамину, тихо пробирающуюся обратно в крааль, и за ней, на некотором расстоянии, высокий силуэт Умбулази.

По-видимому, Мамина продолжала быть передаточной инстанцией по части получения известий, которые она находила нужным секретно передавать Умбулази. Во всяком случае, в последующие вечера я несколько раз любовался с моего наблюдательного пункта ее грациозной фигурой, выскальзывавшей из ущелья, в котором Умбулази ждал ее. Помню, что однажды Нанди случайно была при этом со мной; она пришла ко мне за лекарством для своего ребенка.

— Что это значит, Макумазан? — спросила она, когда парочка скрылась, как им казалось, незамеченной, так как мы стояли в таком месте, что они не могли нас видеть.

— Не знаю и не хочу знать! — нехотя ответил я.

— Я ничего не могу понять, Макумазан, но, без сомнения, в свое время мы узнаем, в чем дело. Если крокодил ждет терпеливо, то под конец добыча всегда попадает ему в рот.

На следующий день после этого Садуко отправился с секретной миссией привлечь на сторону Умбулази нескольких колеблющихся вождей. Он был в отсутствии десять дней, и за это время в краале Умбези произошло одно очень важное событие.

Однажды вечером Мамина пришла ко мне в ярости и сказала, что она не в состоянии больше выносить своей теперешней жизни. Пользуясь своим положением главной жены, инкосикази, Нанди обращалась с ней, как со служанкой… нет, как с собачонкой, которую бьют палкой. Она желала, чтобы Нанди умерла.

— Это будет для тебя несчастьем, если она умрет, — ответил я. — Может быть, опять вызовут Зикали расследовать это дело.

Она сделала вид, что не слышит.

— Но что мне делать?

— Хлебать кашу, которую ты сама заварила, или разбить горшок, то есть уйти, — посоветовал я. — Не надо было выходить замуж за Садуко, точно так же как не надо было выходить замуж за Мазапо.

— Как можешь ты так говорить со мной, Макумазан? — воскликнула она, топнув ногой. — Ты отлично знаешь, что это твоя вина, если я вышла замуж за первого попавшегося. Пфф! Я их всех ненавижу! Отец мой только изобьет меня, если я пойду со своими горестями к нему. Нет, лучше я буду жить одна в пустыне!

— Боюсь, что тебе покажется это очень скучным, — начал я

шутливым тоном. По правде говоря, я считал неразумным, при ее возбужденном состоянии, высказывать ей слишком много участия. Мамина даже не дождалась конца фразы. Она расплакалась и, крикнув мне, что я жесток, повернулась и убежала.

На следующее утро я был разбужен Скаулем, которого я послал накануне, вместе с другим слугой, на поиски затерявшегося вола.

— Нашли вы вола? — спросил я.

— Да, но я разбудил тебя не для того, чтобы сказать тебе это. У меня к тебе поручение от Мамины, которую я встретил в степи несколько часов тому назад. Вот что Мамина просила тебе передать: «Скажи Маку мазану, твоему господину, что Умбулази, сжалившись над моими горестями и полюбив меня всем сердцем, предложил взять меня в свой дом и что я приняла это предложение, так как я думаю, что лучше стать наследницей престола зулусов, чем оставаться служанкой в доме Нанди. Скажи Макумазану, что по возвращении Садуко он должен сказать ему, что все это его вина, — если бы он сумел указать Нанди свое место, то я скорее умерла бы, чем покинула его. Пусть он также скажет Садуко, что хотя с этих пор мы можем быть только друзьями, но сердце мое все еще питает к нему любовь. Пусть Макумазан попросит его не сердиться на меня, потому что я это делаю для его же блага, так как он не нашел бы счастья, пока Нанди и я жили бы в одном доме. Но главное, пусть он не сердится на принца, который любит его больше всех. Попроси Макумазана не поминать меня лихом, и я буду добром вспоминать о нем до самой смерти».

Я молча выслушал Скауля и затем спросил, была ли Мамина одна.

— Нет, Умбулази и несколько солдат были с ней, но они не слышали ее слов, потому что она отошла со мной в сторону. Затем она вернулась к ним, и они быстро ушли, исчезнув в темноте ночи.

— Очень хорошо, Скауль, — сказал я. — Завари мне кофе, да покрепче.

Я оделся, выпил несколько чашек кофе, все время думая своей головой, как выражаются зулусы. Затем я прошелся к краалю, чтобы повидать Умбези. Он как раз выходил из своей хижины, зевая и потягиваясь.

— Чего ты выглядишь таким мрачным в такое чудесное утро? — спросил добродушный толстяк. — Потерял ты, что ли, свою лучшую корову?

— Нет, мой друг, — ответил я, — но ты потерял свою лучшую корову. — И слово в слово я повторил ему сказанное Маминой. Когда я кончил, то подумал, что Умбези упадет в обморок.

— Будь она проклята! — воскликнул он. — Но что мне делать теперь, Макумазан? Хорошо еще, что она ушла далеко отсюда и что мне не нужно устраивать погоню за ней, а то Умбулази и его солдаты убили бы меня.

— А что сделает Садуко, если ты не устроишь погони? — спросил я.

— О, конечно, он рассердится, потому что он, несомненно, ее любит. Но я, в конце концов, привык к этому. Ты помнишь, как он сходил с ума, когда она вышла замуж за Мазапо, но это дело касается их, и пусть они сами в нем разбираются.

— Я думаю, из этого могут выйти большие неприятности, — сказал я, — тем более в такое тревожное время, как теперь.

— Зачем придавать этому такое большое значение, Макумазан? Моя дочь просто не ужилась с Нанди, мы все это видели — они едва разговаривали друг с другом. Садуко, правда, любит ее, но, в конце концов, есть на свете еще и другие красивые женщины. Я сам знаю одну или двух красавиц и укажу на них Садуко… или лучше Нанди.

— Но что ты скажешь об этом деле как отец?

— Как отец? Ну, конечно, мне очень жаль, потому что пойдут опять суды и пересуды, как тогда, из-за дела Мазапо. Но нужно все таки отдать справедливость Мамине, — прибавил он с просветлевшим лицом, — она всегда поднимается вверх, а не катится вниз. Когда она отделалась от Мазапо, то есть я хочу сказать, когда Мазапо казнили за колдовство, она вышла замуж за Садуко, который был выше Мазапо. Теперь, когда она отделалась от Садуко, она сделается женой Умбулази, будущего короля зулусов. А это значит, что она будет первой женщиной в нашей стране, потому что она сумеет так окрутить Умбулази, что он только и будет думать о ней и ни о ком другом. Ты увидишь, она сделается великой и потянет за собой вверх своего отца. Нет, Макумазан, солнце еще светит за тучей, поэтому не будем бояться тучи, раз мы знаем, что вскоре солнце прорвется сквозь нее.

— Да, Умбези, но иногда из-за тучи прорывается и нечто иное — например, молния. А молния может убить человека.

— Ты говоришь зловещие слова, Макумазан, и это может испортить мне аппетит. Если Мамина дурная, это не моя вина. Я воспитывал ее хорошо. Да и, в конце концов, почему ты меня бранишь, когда сам виноват? Если бы ты сбежал с ней, когда она была девушкой, то теперь не было бы всех этих неприятностей.

— Может быть, — ответил я. — Но только я уверен, что в таком случае меня бы теперь не было в живых. А теперь, Умбези, желаю тебе приятно позавтракать.

На следующее утро вернулся Садуко, и от Нанди он узнал ошеломляющую новость. Я тоже должен был присутствовать при этой тягостной сцене как лицо, которому Мамина послала свой прощальный привет. Садуко с осунувшимся лицом сидел неподвижно, как каменное изваяние. Затем он повернулся к Умбези и стал упрекать его, что он устроил все это дело в целях собственного повышения. Потом, не слушая объяснений своего бывшего тестя, он встал и сказал, что убьет Умбулази, похитившего у него любимую жену при участии всех нас троих, и он рукою указал на Умбези, Нанди и меня.

Меня взорвало, и я вскочил, спрашивая, что значат его слова, и прибавил, что если бы я пожелал похитить его прекрасную Мамину, то мог это сделать уже давно. Садуко передернуло при моих словах.

Затем поднялась Нанди и заговорила своим спокойным голосом:

— Садуко, мой муж, я, дочь короля, вышла за тебя замуж, потому что я любила тебя, а не по какой-либо другой причине. И я оставалась тебе верна даже тогда, когда ты взял в дом Мамину и жил больше в ее хижине, чем в моей. Теперь эта женщина бросила тебя для моего брата Умбулази, который, если боевое счастье будет сопутствовать ему, сделается преемником моего отца. Она уверяет, что сделала это потому, что я обращалась с нею, как со служанкой, но это ложь. Я только указывала ей место. Под этим предлогом она покинула тебя, но это не настоящая причина. Она бросила тебя оттого, что Умбулази, которого она обворожила своей красотой, знатнее и богаче тебя. Ты, Садуко, можешь стать большим человеком, но мой брат может стать королем. Она любит его не больше, чем любила тебя, но она любит то положение, которого он может достигнуть, а вместе с ним и она. Ей хочется быть первой коровой в стаде. Муж мой, я думаю, что если бы ты не отделался от Мамины и она осталась бы с нами, смерть снова посетила бы наш дом, может быть, смерть вырвала бы меня, что не имело бы значения, но, может быть, и тебя, что имело бы большое значение. Все это я тебе говорю не из ревности, а потому, что чувствую, что это правда. Поэтому мой совет — предать забвению это дело и ничего не предпринимать. Главное же, не мсти Умбулази, потому что я уверена, что месть поселилась в его собственной хижине. Я все сказала.

Эта спокойная и разумная речь Нанди произвела большое впечатление на Садуко, но он ограничился только словами:

— Пусть больше никто не произносит при мне имени Мамины. Мамина умерла для меня.

Таким образом, с этих пор ее имя действительно не произносилось больше ни в доме Садуко, ни в доме Умбулази, а если требовалось по

какой-либо причине упоминать о ней, то ее называли «Дитя Бури».

Со мной Садуко тоже ни разу не говорил о Мамине, но я заметил, что с этого дня он стал совсем другим человеком. Прежней его гордости и прежнего чванства в нем не осталось и следа. Он сделался молчаливым и задумчивым. Случайно я узнал, что он посетил Зикали Мудрого, но я не мог разузнать, какой совет ему дал хитрый карлик.

Единственным событием, случившимся после побега Мамины, было послание, присланное Садуко от Умбулази.

«Садуко, — так гласило послание, — я украл у тебя корову, но я надеюсь, что ты простишь меня, так как этой корове не нравилось пастбище в твоем краале, а на моем она жиреет и очень довольна. Взамен ее я тебе дам много других коров. Все, что у меня есть, я с радостью отдам тебе, моему другу и верному советчику. Пошли мне сказать, Садуко, что стена, которую я возвел между нами, рушится, потому что в скором времени тебе и мне придется сражаться плечом к плечу».

На это послание Садуко отправил следующий ответ: «О Умбулази, ты тревожишься из-за пустяка. Корова, которую ты взял у меня, не представляла для меня никакой цены. И кому нужно животное, которое вечно беснуется и мычит у ворот крааля, мешая своим шумом тем, кто мирно спит внутри? Если бы ты попросил ее у меня, то я бы отдал ее тебе с удовольствием. Благодарю тебя за твое предложение, но мне не требуется больше коров, в особенности если они, как та корова, не приносят телят. Что же касается стены, о которой ты говоришь, то ее между нами нет, ибо как могут двое людей сражаться в битве плечом к плечу, если они разделены стеной? О сын короля, я денно и нощно мечтаю об этой битве и о победе, и я совершенно забыл бесплодную корову, которая побежала за тобой, самым большим быком в стаде. Не удивляйся, однако, если когда-нибудь ты обнаружишь, что у этой коровы острые рога».

Глава XII. Узуту и изигкоза

Шесть недель спустя я случайно находился в Нодвенгу, когда давно тлевшая вражда между обеими партиями изигкоза и узуту перешла в открытое вооруженное столкновение. Был отдан приказ, чтобы ни один из полков не входил в крааль, но, несмотря на это, крааль кишел народом и царило всеобщее возбуждение. Солдаты днем поодиночке приходили в крааль и к ночи уходили ночевать в соседние военные поселки. Однажды вечером, когда часть солдат — около тысячи — возвращалась в поселок Укубаза, между ними произошло побоище, которое явилось началом междоусобной войны.

Случайно в одном из военных поселков Укубаза квартировали два полка, из которых один держал сторону Кетчвайо, а другой — Умбулази. В то время, как несколько рот того и другого полка маршировали вместе параллельными рядами, два офицера завязали спор о больном вопросе престолонаследства. За словами последовали действия, и кончилось тем, что тот, кто стоял за Умбулази, убил своей боевой палицей сторонника Кетчвайо. Товарищи убитого с криком «Узуту!», сделавшимся боевым кличем партии Кетчвайо, набросились на своих противников, и завязался страшный бой. К счастью, солдаты были вооружены только дубинами, иначе произошла бы страшная резня, но и так на поле битвы осталось пятьдесят убитых и много раненных.

В этот день я отправился пострелять к обеду птиц и, возвращаясь через поляну к моему прежнему лагерю в долине, где был убит Мазапо, попал как раз к началу сражения. На моих глазах был убит офицер и разыгрался последующий бой. Не зная, куда укрыться, я повернул лошадь и встал с нею за дерево, ожидая удобного момента, чтобы уйти с поля сражения и не видеть творящегося вокруг меня ужаса. То обстоятельство, что у воинов не было ассегаев и что они были вооружены только палицами, делало бой еще жестким, так как поединки были более отчаянными и продолжительными.

Всюду можно было видеть людей, дубасивших друг друга по голове до тех пор, пока какой-нибудь удар не поражал их насмерть. Лошадь моя, привыкшая к боям, стояла смирно, а я, сидя в седле, смотрел на бой. Вдруг я заметил двух огромных воинов, бежавших по направлению ко мне и оравших изо всех сил:

— Смерть белому человеку, стороннику Умбулази! Смерть ему!

Смерть!

Видя, что дело принимает опасный для меня оборот, я решил действовать.

В руке у меня было заряженное двуствольное ружье. Я вскинул его на плечо и выстрелил — правым стволом в одного воина, а левым в другого. На таком близком расстоянии пули легко пробили кожу щитов и проникли глубоко в тела воинов, так что они оба упали мертвыми. Находившийся слева от меня воин подбежал уже так близко ко мне, что, падая, задел за мою лошадь, а его поднятая дубина ударилась о мою ногу и ушибла ее.

Увидев, что опасность миновала, я дал шпоры лошади и галопом помчался к воротам крааля мимо сражавшихся групп. Достигнув благополучно крааля, я немедленно проехал к королевским хижинам и попросил разрешения видеть короля. Меня немедленно допустили к Мпанде, и я подробно рассказал ему, что случилось — как я убил, обороняясь, двух воинов из партии Кетчвайо. В заключение я сказал, что отдаюсь в руки правосудия.

— Макумазан, — проговорил Мпанда в отчаянии, — я знаю, что тебя нельзя винить. Я уже послал полк, чтобы прекратить бой, и отдал приказание привести виновников завтра ко мне на суд. Я очень рад, Макумазан, что ты остался невредим, но я должен предупредить тебя, что с этих пор твоя жизнь будет в опасности: партия узуту объявит тебя вне закона и будет считать своим долгом отомстить тебе. Пока ты в моем краале, я могу защитить тебя, так как поставлю сильную охрану вокруг твоего лагеря. Но тебе придется остаться здесь, пока все не уляжется, иначе тебя убьют по дороге.

— Благодарю тебя за твою доброту, король, — ответил я, — но это меня совсем не устраивает, так как я надеялся завтра отправиться в Наталь.

— Ничего не поделаешь, Макумазан, если ты не хочешь быть убитым, то тебе придется остаться здесь. Кто попадет в бурю, должен переждать ее в безопасном месте.

Таким образом, судьба снова вовлекла меня в водоворот зулусских событий. На следующий день я был вызван в суд, отчасти в качестве свидетеля, отчасти в качестве обвиняемого. Подойдя к главной площади Нодвенгу, я увидел Мпанду, окруженного членами совета. Все огромное пространство перед ним было заполнено тесной толпой зулусов; по правую руку сидели приверженцы Кетчвайо, партия узуту, полевую руку — приверженцы Умбулази, партия изигкоза. Во главе правой партии сидели Кетчвайо, его братья и военачальники; во главе левой — Умбулази со своими братьями и военачальниками, среди которых я заметил Садуко. Он

сидел непосредственно позади Умбулази таким образом, что мог шептать ему на ухо.

Я явился со своим маленьким отрядом из восьми охотников, и, по особому разрешению короля, мы пришли вооруженные ружьями. Я решил в случае необходимости как можно дороже продать свою жизнь. Нам указали место почти перед самым королем и между обеими партиями. Когда все уселись, начался суд. Мпанда хотел узнать, кто был виновником происшедшей накануне стычки.

Я не могу изложить во всех подробностях все происходящее на суде. Это было бы слишком долго, и многое я уже забыл. Но я хорошо помню одно: что приверженцы Кетчвайо уверяли, что воины Умбулази были зачинщиками, а приверженцы Умбулази говорили, что зачинщиками были воины Кетчвайо, и каждая партия подкрепляла свидетельства своих приверженцев громкими криками.

— Как мне узнать правду? — воскликнул наконец Мпанда. — Макумазан, ты случайно был свидетелем этого боя, выступи вперед и расскажи, как было дело.

Я вышел и рассказал, что воин из партии Кетчвайо начал ссору, ударив сторонника Умбези. Сторонник Умбулази обозлился на это и убил сторонника Кетчвайо, после чего и началось побоище.

— Таким образом, по-видимому, виновной стороной является партия Кетчвайо! — сказал Мпанда.

— На основании чего ты говоришь это, мой отец? — вскакивая с места, спросил Кетчвайо. — На основании свидетельства этого белого человека, который, как всем известно, друг Умбулази и его советчика Садуко и который сам убил двух воинов из тех, кто считает меня своим вождем.

— Да, Кетчвайо, — вмешался я, — я убил их потому, что они напали на меня. И нападение их ничем не было вызвано с моей стороны.

— Как бы то ни было, ты убил их, жалкий белый человек, — сказал Кетчвайо, — и их кровь жаждет отомщения. Скажи, кто дал тебе разрешение явиться перед королем в сопровождении вооруженных людей, когда мы, его сыновья, имеем право брать с собой только палицы? И если это право дал тебе Умбулази, то пусть он защитит тебя.

— Я это и сделаю, если понадобится! — воскликнул Умбулази.

— Благодарю тебя, Умбулази, — сказал я. — Но в случае надобности я сам сумею себя защитить, как я это сделал вчера. — И, взведя курок моего двуствольного ружья, я взглянул прямо в лицо Кетчвайо.

— Когда ты выйдешь отсюда, я посчитаюсь с тобой, Макумазан, —

пригрозил Кетчвайо, сплевывая сквозь зубы, как он всегда делал в минуту гнева.

Он был вне себя от ярости и хотел на ком-нибудь сорвать злобу, хотя до этого времени мы всегда были с ним друзьями.

— В таком случае я останусь здесь, — холодно ответил я, — под защитой короля, отца твоего. Неужели, Кетчвайо, ты от ярости потерял голову до такой степени, что хочешь навлечь на себя гнев англичан? Знай, что если я буду убит, то от тебя потребуют отчета в моей крови.

— Да, — прервал его Мпанда, — и знай, что тот, кто посмеет тронуть пальцем моего гостя Макумазана, умрет, все равно, простой ли он воин или мой сын. А также, Кетчвайо, я налагаю на тебя штраф в двадцать голов скота, которые должны быть выплачены Макумазану за ничем не вызванное нападение на него твоих солдат, которых он убил, защищаясь.

— Штраф будет заплачен! — сказал Кетчвайо более спокойным тоном, так как он видел, что в своих угрозах зашел слишком далеко.

Затем Мпанда вынес приговор по делу столкновения, но, в сущности, этот приговор не привел ни к чему. Ввиду того, что было невозможно доказать, чья партия была более виновна, он наложил на обе партии штраф в одинаковое число голов скота и прочитал им нотацию о плохом их поведении, но эта нотация была выслушана очень равнодушно.

После того как с этим делом было покончено, был поднят самый главный вопрос.

Кетчвайо встал и обратился к Мпанде:

— Отец мой, — сказал он, — страна бродит во тьме, и ты один можешь осветить нам дорогу. Я и мой брат Умбулази живем не в ладах друг с другом, и причиной нашего спора является вопрос, кто из нас сядет на твое место, когда тебя не будет в живых. Одни племена хотят одного, другие — другого, но только тебе, о король, тебе одному принадлежит право решения этого вопроса. Но раньше, чем ты объявишь свою волю, я и те, которые стоят за меня, хотят тебе напомнить следующее: моя мать, Умквумбази, является твоей инкосикази, а потому, согласно нашему закону, я, ее старший сын, должен быть твоим наследником. Кроме того, когда ты бежал к бурам перед падением Дингаана, который правил до тебя, белые спросили тебя, кто из твоих сыновей твой наследник, и ты указал тогда на меня. После этого белые нарядили меня в пышную одежду, чтобы почтить в моем лице будущего короля. Но в последнее время мать Умбулази и другие, — он взглянул на Садуко и на братьев Умбулази, — стали возбуждать тебя против меня, и ты стал холоден ко мне. Многие стали говорить, будто ты хочешь назначить Умбулази своим наследником. Если

это так, отец мой, то скажи открыто, чтобы я мог знать, что мне делать. По окончании своей речи Кетчвайо снова уселся, ожидая ответа. Но Мпанда ничего не ответил, а только взглянул на Умбулази. Умбулази встал и был встречен бурными приветствиями и криками. Хотя Кетчвайо имел большое число сторонников, в особенности среди отдаленных племен, но каждый зулус в отдельности любил больше Умбулази — может быть, из-за его роста, красоты и доброго характера.

— Отец мой, — сказал он, — подобно моему брату Кетчвайо, я ожидаю ответа. Не знаю, что ты мог говорить в поспешности и в страхе белым людям, но не могу допустить, чтобы ты когда-либо объявлял зулусскому народу о своем желании назначить Кетчвайо своим наследником. Я говорю, что у меня такое же право на престол, как у него, и что тебе, одному тебе, надлежит решить, кто из нас наденет королевский плащ в те дни, когда тебя не станет. Однако, чтобы избежать кровопролития, я согласен поделить страну с Кетчвайо (при этих словах Мпанда и Кетчвайо покачали головой, а все присутствующие рявкнули: «Нет!») или же, если он этого не хочет, я согласен вступить с Кетчвайо в единоборство и биться на копьях, пока один из нас не будет убит.

— Выгодное предложение! — насмешливо проговорил Кетчвайо. — Не называют ли моего брата «Слоном» и не считается ли он самым сильным воином среди зулусов? Нет, я не хочу, чтобы судьба моих сторонников зависела от какой-нибудь случайной раны при поединке или от силы мускулов. Решай, о отец, скажи, кому из нас сидеть в твоем кресле после того, как ты перейдешь к праотцам.

Мпанда казался очень расстроенным, и немудрено. Из-за изгороди, за которой подслушивали женщины, выбежали Умквумбази, мать Кетчвайо, и мать Умбулази и стали нашептывать королю одна на одно ухо, другая на другое. Не знаю, какие советы они ему давали, но, очевидно, советы были разные, потому что бедняга король совсем сбился с толку и вращал своими белками то в одну, то в другую сторону. Наконец он закрыл уши руками, чтобы больше ничего не слышать.

— Выбирай, выбирай, о король! — ревела толпа. — Кто твой наследник, Кетчвайо или Умбулази?

Было видно, что Мпанда переживал мучительную борьбу. Его жирное тело колыхалось, и, несмотря на холодный день, пот струями катился с его лба.

— Как поступили бы белые в таком случае? — спросил он меня хриплым шепотом.

Не поднимая глаз и говоря так тихо, что лишь немногие могли

слышать меня, я ответил:

— Я думаю, о король, что белый человек ничего бы не сделал. Он сказал бы, что пусть другие решают это дело после его смерти.

— Ох, если бы я мог так же сказать! — пробормотал Мпанда. — Но это невозможно!

Затем последовала долгая пауза, в течение которой мы все молчали, так как каждый из нас чувствовал, что минута была решающая. Наконец Мпанда с усилием приподнял свое тяжеловесное, неуклюжее тело и произнес роковые слова:

— Когда два молодых быка ссорятся, они решают ссору рогами.

Оглушающий рев немедленно грянул в ответ, в знак принятия королевского решения — решения, означающего собою гражданскую войну и смерть многих тысяч.

Затем Мпанда повернулся и, еле передвигая ноги (я думал, он упадет), прошел через калитку изгороди. За ним последовали обе его жены, и каждая из соперниц хотела первой пройти за ним, думая, что это будет предзнаменованием успеха для ее сына. Однако, к разочарованию толпы, обе прошли одновременно.

После их ухода толпа стала расходиться. Как бы сговорившись, сторонники каждой партии уходили вместе, не нанося оскорбления своим противникам. Я думаю, что миролюбивое поведение вытекало из сознания, что теперь не время для частных ссор, когда начинается междоусобная война. Они чувствовали, что спор их будет решен не палками перед воротами Нодвенгу, но копьями на каком-нибудь большом поле битвы, и к этой-то битве им надо было начинать готовиться.

Через два дня ни одного воина не было видно в окрестностях Нодвенгу, за исключением тех полков, которые Мпанда содержал для охраны своей особы. Принцы отбыли, чтобы произвести смотр своим силам. Кетчвайо разбил лагерь возле крааля племени Мандхлакази, которым он командовал, а Умбулази вернулся в крааль Умбези, который случайно находился в центре той части страны, которая стояла за него.

Не знаю, взял ли он с собой Мамину. Я думаю, однако, что, опасаясь не слишком любезного приема в отцовском доме, Мамина поселилась в каком-нибудь уединенном краале по соседству и здесь ожидала поворота в своей судьбе. Во всяком случае, я ее за все это время не встречал, так как она тщательно старалась не попадаться мне на глаза.

С Умбулази и Садуко у меня было одно свидание. Прежде чем покинуть Нодвенгу, они зашли ко мне вместе. По-видимому, они были в наилучших отношениях, и оба они просили моей поддержки в

наступающей войне.

Я ответил им, что хотя я их лично и люблю, но зулусская гражданская война меня нисколько не касается и что лучше мне сразу уехать, чтобы не быть втянутым в нее.

Они долго убеждали меня, соблазняя заманчивыми предложениями и обещая большую награду.

Наконец, видя, что им не удастся поколебать моего решения, Умбулази сказал:

— Идем, Садуко, не станем унижаться больше перед этим белым человеком. В конце концов, он прав. Это не его дело, и к чему будем мы просить его рисковать своей жизнью, зная, что белые люди не похожи на нас — они всегда очень дорожат своей жизнью. Прощай Макумазан. Если я выйду победителем и сделаюсь когда-нибудь королем, то тебя ожидает всегда хороший прием в нашей стране. Если же я потерплю поражение, то, может быть, для тебя будет лучше оставаться по ту сторону реки Тугелы.

Я остро почувствовал насмешку, скрытую в его словах. Но твердо решив хоть один раз в жизни быть благоразумным и не дать моей любви к приключениям втянуть себя в опасности и неприятности, я ответил:

— Ты говоришь, что я не отличаюсь храбростью и дрожу за свою жизнь. Может быть, ты прав. Но тебе я желаю счастья, Умбулази, в твоих начинаниях.

— Что такое счастье, Макумазан? — возразил Умбулази, схватив мою руку. — Иногда я думаю, что жить и благоденствовать — это счастье, а иногда мне кажется, что счастье в том, чтобы умереть и спать вечным сном. Во сне нет никаких забот; во сне спят честолюбивые замыслы, и те, кто не видит больше солнца, не страдают от измен неверных жен или неверных друзей. Если боевое счастье повернется против меня, Макумазан, то, по крайней мере, это счастье — счастье вечного сна — будет моим, потому что никогда я не соглашусь жить под пятой Кетчвайо.

С этими словами он ушел. Садуко проводил его немного, но затем под каким-то предлогом покинул его и вернулся ко мне.

— Макумазан, друг мой, — сказал он, — я полагаю, что мы расстаемся навсегда, а потому у меня к тебе большая просьба. Она касается той, которая умерла для меня. Макумазан, я думаю, что этот вор Умбулази, — эти слова вырвались у него со злобным шипением, — дал ей много скота и спрятал ее или в ущелье Зикали Мудрого, или где-нибудь поблизости оттуда его попечении. Если война повернется против Умбулази и я буду убит, то, я думаю, этой женщине придется плохо, а так как она имеет отношение к Умбулази и помогала ему в его заговоре, то ее убьют, когда

поймают. Макумазан, выслушай меня. Я скажу тебе правду. Мое сердце все еще пылает от любви к этой женщине. Она околдовала меня, ее глаза преследуют меня во сне, и в порывах ветра я слышу ее голос. Она для меня больше значит, чем земля и все небо, и, хотя она причинила мне много зла, я не желаю, чтобы с ней случилось что-нибудь дурное. Макумазан, прошу тебя, если я умру, будь ее другом и позаботься о ней. Держи ее в своем доме, хотя бы служанкой. Я думаю, что она относится к тебе лучше, чем к кому бы то ни было. А с ним, — он указал по направлению, куда ушел Умбулази, — она убежала только потому, что он принц и она в своем безумии верит, что он будет королем. По крайней мере, увези ее в Наталь, и там, если ты захочешь освободиться от нее, она может выйти замуж за кого хочет и будет жить в безопасности, пока не наступит вечная ночь. Мпанда тебя очень любит, и, если победит Кетчвайо, король помилует ее, если ты у него об этом попросишь.

Затем он провел ладонью по глазам, и я заметил в них слезы.

— Если ты желаешь ей счастья, исполни мою просьбу, — пробормотал он, повернулся и ушел, прежде чем я мог вымолвить слово.

«Странный человек! — подумал я. — Назначить меня опекуном Мамины! Благодарю покорно! Взять ее служанкой в дом после того, что я узнал о ней!». Я утешал себя только надеждой, что обстоятельства, при которых явится необходимость стать ее опекуном, никогда не наступят.

«Этот вор Умбулази!» — странные слова в устах Садуко накануне того дня, когда они сообща с Умбулази собирались начать рискованное предприятие. «Она в своем безумии верит, что он будет королем». Еще более странные слова! Значит, Садуко сам не верит, что Умбулази будет королем. И, однако, он собирается принять участие в его борьбе за трон — он, который сказал, что его сердце пылает от любви к той женщине, которую «вор Умбулази» украл. Будь я Умбулази, подумалось мне, я не хотел бы иметь Садуко своим советником и военачальником. Но, к счастью, я не Умбулази и не Садуко. Главное, я завтра же собираюсь отправиться в обратный путь в Наталь и попрощаться с Землей Зулу.

Но вышло не так, как я предполагал. Я не выехал на следующий день и надолго застрял в Земле Зулу. Вернувшись к моим фургонам, я обнаружил, что мои волы таинственным образом исчезли с луга, где они обычно паслись. Я выслал всех своих охотников на поиски их и остался только со Скаулем. Оставлять в такое тревожное время фургоны мне не хотелось.

Прошло четыре дня, прошла неделя, а не было ни слуху ни духу ни об охотниках, ни о волах. Наконец окольным путем я получил известие, что охотники нашли волов на далеком расстоянии от моего лагеря, но при их

попытке вернуться в Нодвенгу они были прогнаны отрядом из партии Кетчвайо за реку Тугелу в Наталь, откуда они не смели больше вернуться.

Кажется, в первый раз в жизни я пришел в бешенство и осыпал проклятиями и ругательствами несчастного гонца, доставившего это известие и присланного неизвестно кем. Затем, поняв бесплодность ругательств, я отправился к королевскому краалю и попросил свидания с самим Мпандой. Меня сразу допустили к нему, и, войдя в ограду, я застал короля совсем одного. Около него стоял только слуга и держал над ним большой щит, чтобы защитить его от солнца.

Мпанда горячо приветствовал меня, и я рассказал ему свою неприятную историю с волами, после чего он отослал щитоносца, и мы остались одни.

— Макумазан, — сказал он, — почему ты возлагаешь на меня вину за эти события, когда знаешь, что я теперь никто в собственном доме? Я говорю тебе, я мертвый человек, за наследство которого дерутся мои сыновья. Я не могу тебе сказать, кто угнал твоих волов. Но я рад, что их нет и что ты не можешь уехать. Если бы ты попытался отправиться в Наталь, то узуту убили бы тебя по дороге, потому что они считают тебя советчиком Умбулази.

— Я понимаю, о король, — ответил я, — и допускаю, что потеря моих волов оказалась для меня благоприятной. Но скажи, что мне делать? Я хочу покинуть страну. Не дашь ли ты мне других волов для моих фургонов?

— У меня нет объезженных волов, Макумазан. Ты ведь знаешь, что у нас, зулусов, мало телег. Но если бы у меня они были, я бы не дал их тебе, потому что не хочу, чтобы твоя кровь пала на мою голову.

— Ты скрываешь от меня что-то, о король, — сказал я прямо. — Чего ты хочешь от меня? Чтобы я остался в Нодвенгу?

— Нет, Макумазан. Когда начнутся военные действия, я желаю, чтобы ты отправился с моим собственным полком, который я пошлю на подкрепление моему любимому сыну Умбулази. Таким образом, он сможет воспользоваться твоими мудрыми советами. О Макумазан, я скажу тебе правду. Сердце мое любит Умбулази, и я боюсь, что Кетчвайо победит его. Если бы я мог, я спас бы ему жизнь, но я не знаю, как это сделать, так как я не должен слишком открыто принимать ту или другую сторону. Но я могу послать свой полк под видом твоего конвоя, если ты согласишься в качестве моего доверенного лица следить за ходом битвы и потом донести мне о ней. Скажи, ты пойдешь?

— Зачем мне идти? — ответил я. — Кто бы ни победил, я могу быть убитым, если Кетчвайо победит, то я буду убит наверняка и все это

совершенно зря.

— Нет, Макумазан. Я отдам приказание, что, кто бы ни победил, никто, под страхом смерти, не смеет поднять копья против тебя. В этом отношении, по крайней мере, меня не посмеют ослушаться. О, умоляю тебя, не покидай меня в беде! Пойди с полком, который я пошлю, и вдохни мудрость свою в сына моего Умбулази. А я клянусь головой Лютого Владыки (Чаки), что награда за это будет велика. Я позабочусь о том, чтобы ты покинул не с пустыми руками Землю Зулу.

Я все еще колебался, так как подозрительно относился ко всей этой истории.

— Макумазан! — воскликнул Мпанда. — Надеюсь, ты не покинешь меня. Я боюсь за Умбулази, которого я люблю больше всех своих детей. Я страшно боюсь за него. — И бедный отец разразился слезами.

Без сомнения, это было глупо, но вид старика, оплакивавшего своего любимого сына, которого он считал осужденным на гибель, растрогал меня до такой степени, что я забыл всякую осторожность.

— Если ты желаешь, Мпанда, — сказал я, — я отправлюсь на поле битвы с твоим полком и буду помогать сыну твоему Умбулази.

Глава XIII. Предатель

Выбора не было, и я, таким образом, остался в Нодвенгу, но мне было не по себе, и я чувствовал себя несчастным. Крааль почти совсем опустел. Осталось только два квартировавших здесь полка Сингкву и Ама-Вомбе. Последние считались королевским полком и представляли собою что-то вроде лейб-гвардии; все короли — Чака, Дингаан и Мпанда — по очереди командовали им. Большинство индун примкнуло к одной или другой партии, и они отправились набирать отряды, чтобы сражаться за Кетчвайо или за Умбулази. Даже большая часть женщин и детей покинула крааль, чтобы скрыться в лесах или горах, так как никто не знал, что предстоит в ближайшем будущем. Можно было опасаться, что победившая армия нападет на крааль и уничтожит его.

Несколько членов королевского совета остались, однако, с Мпандой. Среди них был, старик Мапута, который когда-то передал мне «послание с пилюлями». Несколько раз он посещал меня по вечерам и передавал мне носившиеся слухи. Из его разговоров я понял, что несколько стычек имели уже место и что в скором времени предстоит, вероятно, генеральное сражение. Я узнал также, что Умбулази выбрал местом битвы равнину у берегов Тугелы.

— Почему он это сделал? — спросил я. — Ведь он будет иметь позади себя широкую реку, и если он будет разбит, то вода может уничтожить столько же людей, сколько и ассегаи.

— Не знаю, почему он выбрал это место, — ответил Мапута, — но говорят, будто из-за сна, который трижды приснился его полководцу Садуко и в котором объявлялось, что только здесь Умбулази найдет славу. Как бы там ни было, он выбрал это место, и мне говорили, что все женщины и дети его армии, несколько тысяч их, спрятались в лесах вдоль берега реки, чтобы в случае надобности бежать в Наталь.

— Крылья у них, что ли, — спросил я, — что они смогут перелететь через Тугелу, которая после дождей может разлиться? О, дух Умбулази, вероятно, отвернулся от него!

— Да, Макумазан, я тоже так думаю, — ответил он. — И я думаю также, что Садуко дурной советчик. Будь я на месте Умбулази, — прибавил старик, — я не держал бы своим советником того, чью жену я украл.

— Я тоже нет, — ответил я, прощаясь с ним.

Два дня спустя Мапута снова пришел ко мне рано утром и передал, что

король желает меня видеть. Я отправился на главную площадь крааля и застал восседавшего там короля; перед ним стояли военачальники королевского полка Ама-Вомбе.

— Макумазан, — сказал он, — я получил известие, что большая битва между моими сыновьями должна произойти на днях. Поэтому я посылаю наблюдать за ходом сражения мой собственный королевский полк под начальством Мапуты, очень искусного в военном деле. И я прошу тебя отправиться вместе с ним и помогать Мапуте и военачальникам своими мудрыми советами. Вот мой приказ тебе, Мапута, и вам, военачальники: не принимайте участия в сражении, пока вы не увидите, что мой сын Умбулази упал в яму, а тогда, если можете, вы должны вытащить его из нее и спасти его живым. Повторите мои слова.

И все они хором повторили его слова.

— А ты что скажешь, Макумазан? — обратился он ко мне, когда они замолкли.

— Король, я сказал тебе, что пойду, хотя и не люблю войны, и я сдержу свое обещание, — ответил я.

— Тогда приготовься, Макумазан, и вернись сюда через час, потому что полк выступает до полудня.

Я пошел к моим фургонам и передал их на попечение нескольких зулусов, которых мне прислал для этой цели Мпанда. Затем Скауль и я оседлали своих лошадей, взяли ружья и забрали с собой столько снаряжения, сколько могли унести. Мой верный Скауль настоял на том, чтобы сопровождать меня, хотя я советовал ему остаться.

Когда мы подъехали к краалю короля, мы увидели на площади полк Ама-Вомбе, выстроенный в боевом порядке. Их было четыре тысячи, и все они были как на подбор, лет под пятьдесят. Они представляли собой великолепную картину со своими белыми боевыми щитами и сверкавшими копьями, в шапках из шкур выдры, в коротеньких юбочках из белых бычьих хвостов и с белоснежными плюмажами, развевавшимися на головах. Мы подъехали лицом к строю, где я увидел Мапуту; при моем приближении полк встретил меня приветственными криками. Как я уже говорил раньше, зулусы знали и любили меня, а тот факт, что я, белый человек, должен был сопутствовать им, а может быть, и сражаться бок о бок с ними, придавал им бодрость. Мы стояли и ждали, пока длинной вереницей ушли несколько сотен юношей, на обязанности которых было нести циновки и кухонные котлы и гнать скот. Это было, так сказать, наше интендантство[32]. Затем внезапно из своей хижины появился Мпанда в сопровождении нескольких слуг. Он произнес своего рода молитву, бросая

при этом в нашу сторону пыль или какой-то порошок, — что обозначала эта церемония, я не понял.

Когда он кончил, Мапута поднял копье, и весь полк, как один, рявкнул: «Байете!»[33] Это был королевский салют, прозвучавший как раскат грома. Трижды повторили они этот оглушительный салют, а потом замолчали. Снова Мапута поднял ассегай, и все четыре тысячи голосов грянули национальный гимн «Ингома», и под неистовые звуки зловещей мелодии полк начал выступление. Так как я не думаю, чтобы когда-нибудь слова этого гимна были записаны, то я привожу их здесь:

Они (враги) его (короля) ненавидят,
Они призывают проклятия на его голову,
Все в этой стране
Страшатся нашего короля.

Когда «Ингому» пели двадцать или тридцать тысяч воинов, бросавшихся в бой, то это было действительно нечто потрясающее.

* * *

Ранним утром 2 декабря я очутился с ама-вомбами в месте, известном под названием Индондакузука. Это равнина с несколькими возвышающимися над ней холмами, лежащая в шести милях от начала территории Наталя, от которого она отделена рекой Тугелой.

Ввиду того, что ама-вомбам был отдан приказ по возможности не принимать участия в битве, мы заняли позицию приблизительно на расстоянии одного километра справа от фактического поля сражения. Мы выбрали для нашего лагеря холм, напоминавший формой огромный курган. Впереди, на расстоянии пятисот метров, находился другой, более низкий холм. Позади нас тянулся кустарник, растущий группами и состоявший преимущественно из колючей мимозы. Этот кустарник спускался до самых берегов Тугелы, протекавшей в четырех километрах от нашей позиции.

Утро было прескверное, холодное и туманное. Я спал, завернувшись в одеяло, под деревом мимозы, так как палаток у нас не было. Вскоре после рассвета меня разбудил гонец, передавший мне, что Умбулази и какой-то белый человек по имени Джон Дэн желают меня видеть. Я встал и стал

приводить себя в порядок; я всегда избегаю, если возможно, показываться перед туземцами в растрепанном виде. Помнится, я как раз кончал причесываться, когда прибыл Умбулази.

В этом утреннем тумане он выглядел настоящим гигантом. Действительно, в ту минуту, когда его фигура вырисовалась в облаках тумана, с блестевшим лезвием тяжелого ассегая, на котором сконцентрировался весь свет, он показался мне каким-то неземным существом.

Он стоял, кутаясь из-за холода в кaросс и вращая глазами. Что-то в тревожном, нерешительном выражении его лица подсказывало мне, что он сознавал страшную опасность, в которой находился. За ним мрачно и задумчиво, с глазами, устремленными вниз, скрестив на груди руки, стоял статный и красивый Садуко, показавшийся моему расстроенному воображению злым гением. По левую его руку стоял белый человек, молодой и сильный, с ружьем в руке и трубкой во рту. Я догадался, что это был Джон Дэн, с которым мне до этого времени не приходилось встречаться. Его сопровождали тридцать или сорок зулусов, входивших в состав правительственных войск Наталя. На них было что-то вроде мундиров, и они были вооружены ружьями. Позади них шел отряд из двухсот или трехсот туземцев из Наталя, вооруженных метательными ассегаями.

— Добрый день, — сказал я, пожимая Умбулази руку.

— День не может быть добрым, когда солнце не освещает его, Макумазан, — ответил он, и слова эти мне показались зловещими.



Затем он познакомил меня с Джоном Дэном, который, по-видимому, был рад встретить человека своей расы. Я спросил о цели их посещения, и Дэн пустился в объяснения. Он сказал, что накануне вечером капитан Уомели, командир пограничного отряда в Натале, послал его сюда, чтобы

попытаться достигнуть примирения враждующих партий. Но когда он заговорил о мире с одним из братьев Умбулази, тот высмеял его и заявил, что они достаточно сильны, чтобы справиться с узуту, то есть партией Кетчвайо. Когда же Дэн предложил переправить ночью через брод реки Тугелы женщин, детей и скот в Наталь, где они были бы в безопасности, то брат Умбулази и слышать не хотел об этом. Сам же Умбулази накануне был в отсутствии — он искал помощи у правительства Наталя, — а потому Дэн не мог ничего сделать.

— Какой набитый дурак! — сказал я громко (мы говорили по-английски). — Не можете ли вы повлиять на Умбулази и сделать это теперь? (Я подразумевал, что надо переправить женщин и детей через реку).

— Боюсь, что теперь уже поздно, мистер Квотермейн, — ответил он. — Узуту наступают. Смотрите сами. — И он подал мне бывшую при нем подзорную трубу.

Я влез на большой камень и внимательно стал осматривать расстилавшуюся передо мной равнину. Как раз в это время порыв ветра рассеял туман. Вдали все было черно от наступающих войск. Они были еще на значительном расстоянии от нас — в двух милях, я думаю, — и наступали они очень медленно, настоящим большим полумесяцем, причем фланги напоминали тонкие рога месяца, а центр казался плотной, широкой массой. Вырвавшийся из-за туч луч солнца сверкнул на их бесчисленных ассегаях. На мой взгляд, их было не менее двадцати-тридцати тысяч.

— Совершенно правильно, они идут, — сказал я, слезая с камня. — Что вы намерены делать, мистер Дэн?

— Повиноваться приказу и постараться устроить примирение, если найду кого-либо, кто захочет мириться, а если нет… ну, тогда придется сражаться, вероятно. А вы, мистер Квотермейн?

— Повинуюсь приказу и останусь здесь. Если только, — прибавил я с сомнением, — эти ама-вомбы не закусят удила и не удерут со мной.

— Насколько я знаю зулусов, они удерут до наступления ночи, мистер Квотермейн. Но, слушайте, почему бы вам не сесть на коня и не уехать со мною? Странно было бы оставаться вам здесь.

— Я обещал остаться, — сердито проворчал я.

Я сам чувствовал, что здесь мне не место. Я посмотрел на дикарей, окружавших меня и зловеще сжимавших уже свои копья, посмотрел на те другие тысячи дикарей, наступавших на нас, и почувствовал, что душа моя ушла в пятки.

— Отлично, мистер Квотермейн, вы знаете лучше, что вам надлежит

делать, и я надеюсь, что вы выйдете невредимым из всей этой передряги.

— Желаю вам того же самого! — ответил я.

Джон Дэн повернулся, и я слышал, как перед уходом он спросил Умбулази, знает ли тот что-нибудь о передвижении узуту и об их плане битвы.

Умбулази ответил, пожав плечами:

— Пока я ничего не знаю, но, несомненно, буду знать многое прежде, чем солнце будет стоять высоко над горизонтом.

В это время порыв ветра налетел на нас и сорвал с головного кольца Умбулази развевавшееся страусовое перо. Шепот ужаса пронесся по рядам присутствующих, которые сочли это дурным предзнаменованием. Перо полетело по воздуху и мягко упало на землю к ногам Садуко. Он нагнулся, поднял его и воткнул его обратно в обруч Умбулази, проговорив:

— Да удастся мне, о принц, возложить так же корону на голову сына Мпанды, благоприятствуемого судьбой.

Эта ловкая речь рассеяла общее уныние и была встречена радостными криками, а Умбулази кивком головы и улыбкой поблагодарил Садуко за находчивость. Я обратил внимание на то, что Садуко не упомянул имени «сына Мпанды, благоприятствуемого судьбой» и на чью голову он надеялся возложить корону. У Мпанды же было много сыновей, и этот день должен был показать, кому из них благоприятствовала судьба.

Минуту или две спустя Джон Дэн с сопровождавшим его отрядом отбыл, чтобы попытаться склонить к миру наступавших узуту. Умбулази и Садуко с их конвоем тоже отбыли — к главным силам войска изигкоза, которые были расположены налево от нас, и, «сидя на своих копьях», как говорят туземцы, ожидали атаки. Что касается меня, то я остался один с ама-вомбами.

Я с трудом заставил себя выпить кофе, сваренный для меня Скаулем, и проглотить что-нибудь съестное, но я должен честно сказать, что не припомню более унылого завтрака, чем этот. Я был уверен, что настал последний день моей жизни, и меня больше всего удручало, что я должен был умереть один среди дикарей, не имея около себя ни одного белого лица. О, как я сердился на себя, что позволил себя втянуть в это страшное дело! Я даже дошел до того, что пожалел, что не нарушил своего слова, данного Мпанде, и не уехал с Джоном Дэном, когда он звал меня.

Но вскоре я забыл все эти мрачные размышления, следя за развитием событий с вершины холма, с которого открывался великолепный вид на все поле битвы. Вскоре ко мне присоединился старик Мапута, и я спросил его, думает ли он, что ему придется сегодня вступить в бой.

— Думаю, что придется, — весело ответил он. — Мне кажется, что узуту намного превосходят числом изигкозов, а ты знаешь, Мпанда приказал помочь Умбулази, если он будет в опасности. Приободрись, Макумазан. Я могу тебе с уверенностью обещать, что еще сегодня ты увидишь наши ассегаи обагренными кровью. Ты не уйдешь голодным с этой битвы[34] и не расскажешь белым, что ама-вомбы трусы, которых ты плетками не мог погнать в бой. Нет, нет, Макумазан. Я думал, что мне, старику, придется умереть дома, как корове, но судьба благоприятствует мне сегодня, и я увижу еще одно большое сражение — мое двадцатое сражение. С этими самыми ама-вомбами я сражался во всех крупных битвах Лютого Владыки и сражался также за Мпанду против Дингаана.

— Может случиться, что это будет твоим последним сражением, — сказал я.

— Полагаю, что так, Макумазан. Но какое это имеет значение, если я и королевский полк смогут умереть такой славной смертью, о которой будут говорить внуки и правнуки? О, развеселись, Макумазан! Судьба благоприятствует нам и даст тебе возможность сражаться. Ибо знай, Макумазан, что мы, жалкие черные воины, ожидаем, что ты покажешь нам сегодня, как нужно сражаться или, если нужно, умереть под грудою врагов.

— Так вот что вы, зулусы, называете «давать советы»? — возразил ему я.

Но Мапута не слышал меня. Он схватил меня за руку и указал вперед, немного влево, где фланг огромной армии узуту быстро двигался на врага, представляя тонкую длинную линию, сверкающую копьями, Движущиеся ноги и руки воинов придавали им вид пауков, туловищами которых служили большие боевые щиты.

— Ты понимаешь их план? — спросил Мапута. — Они хотят окружить Умбулази, отрезать ему путь флангами, а затем атаковать главными силами. Один фланг пройдет между нашей позицией и правым флангом изигкозов. О, проснись, проснись, Умбулази! Или ты спишь в хижине с Маминой? Развяжи свое копье, сын короля, и вперед на врага! Смотри! — продолжал он. — Сын Дэна начинает битву. Не говорил ли я, что белые люди нам покажут, как нужно сражаться? Загляни в свою трубу, Макумазан, и расскажи мне, что происходит.

Подзорная труба, оставленная мне Джоном Дэном, была хотя и небольшого размера, но хорошая, и, заглянув в нее, я увидел все довольно ясно. Джон Дэн верхом на лошади подъехал почти к конечной точке левого фланга узуту, размахивая белым платком. За ним следовал небольшой отряд натальских кафров. Вдруг откуда-то из рядов узуту поднялось облачко

дыма. В Дэна кто-то выстрелил.

Он уронил платок и спрыгнул на землю. Он и солдаты его отряда начали быстро стрелять в ответ, и много воинов попадало в рядах Узуту. Они испустили боевой клич и начали наступать. Шаг за шагом, Джон Дэн и его солдаты были оттеснены назад, храбро сражаясь с превосходящими силами противника. Они прошли мимо наших позиций на расстоянии четверти мили и исчезли в кустарнике позади нас. Прошло много времени, пока я узнал, что сталось с ними, потому что в этот день мы их больше не видели.

Как щупальца паука обхватывают муху, так фланги противника окружили армию Умбулази (я не мог понять, почему Умбулази не отрезал эти «щупальца»), и тогда главные силы узуту пошли в атаку. Полк за полком, всего двадцать или тридцать тысяч воинов, ринулись на склон холма, и там, вблизи его гребня, были встречены полками Умбулази, бросившимися с воинственными криками вперед для отражения атаки.

Шум от их столкнувшихся щитов доносился до нас, как раскаты грома, а метательные ассегаи сверкали как молнии. Узуту остановились и дрогнули. Тогда из рядов ама-вомбов раздались радостные крики.

— Победа за Умбулази!

Напряженно наблюдали мы за ходом битвы и увидели, как узуту подались назад. Они отступили вниз по склону, оставляя перед собою землю, покрытую черными точками. Мы знали, что это были убитые или раненые.

— Почему Умбулази не наносит решительного удара? — воскликнул Мапута недоумевающим голосом. — Бык повален на спину. Почему он не затопчет его?

— Потому что он боится, по всей вероятности, — ответил я, продолжая наблюдать.

Заметив, что их преследуют, воины Кетчвайо быстро перестраивались у подножия холма, готовясь к новой атаке. Среди войска Умбулази, над ними, произошли какие-то быстрые передвижения, о значении которых я не мог догадаться. Передвижения эти сопровождались шумом и сердитыми возгласами. Затем внезапно из середины войска изигкозов выступил большой отряд воинов, силою до тысячи человек. Они быстро побежали вниз по склону по направлению к узуту с повернутыми вверх ассегаями. Я подумал сперва, что они хотели произвести самостоятельную атаку, пока не увидел, как ряды узуту разомкнулись, чтобы принять их, и не услышал их приветственных криков.

— Предательство! — воскликнул я. — Кто это?

— Садуко со своими амакобами и нгваанами. Я узнаю их по прическам, — сказал Мапута холодным голосом.

— Ты хочешь сказать, что Садуко со всеми своими воинами перешел на сторону Кетчвайо? — возбужденно спросил я.

— А что же иначе, Макумазан? Садуко изменник, Умбулази — конченый человек!

Я опустился на камень и застонал. Теперь все мне стало ясно.

Вскоре из рядов узуту поднялись дикие торжествующие крики, и снова их воины, подкрепленные полками Садуко, начали свое наступление. Умбулази и его приверженцы — их было теперь не более восьми тысяч человек — не дождались атаки. Они обратились в позорное, беспорядочное бегство. Благодаря своей численности они пробились сквозь редкие ряды левого фланга узуту и побежали позади нас, направляясь к берегам Тугелы. Задыхаясь от быстрого бега, взбежал к нам на холм гонец.

— Вот слова Умбулази, — с трудом проговорил он. — О Макумазан и о Мапута, Умбулази умоляет вас удержать узуту и дать таким образом ему и тем, кто держит его сторону, время спастись с женщинами и детьми в Наталь. Его полководец Садуко изменил ему и перешел с тремя полками на сторону Кетчвайо, а потому мы не можем больше бороться против стольких тысяч противников.

— Пойди скажи Умбулази, что Макумазан, Мапута и полк Ама-Вомбе сделают все, что только возможно, — спокойно ответил Мапута. — Однако вот наш совет ему: пусть он торопится перейти Тугелу с женщинами и детьми, потому что нас мало, а воинов Кетчвайо много.

Гонец побежал прочь, но, как я слышал впоследствии, он так и не достиг Умбулази, потому что бедняга был убит недалеко от того места, где мы стояли.

Затем Мапута скомандовал, и ама-вомбы построились тройной шеренгой: в первой и второй шеренге было по тысяче триста человек, в третьей — около тысячи, а за третьим рядом шли у-диби, от трехсот до четырехсот юношей. Мне было назначено место в самом центре второй шеренги, которое я и занял верхом на лошади.

В таком порядке мы двинулись вперед, влево от нашей позиции, очевидно с целью встать между бегущими изигкозами и преследующими их узуту или, если последние захотели бы нас обойти, угрожать их флангу. Полководцы Кетчвайо недолго оставляли нас в сомнении относительно того, что они намерены делать. Главные силы их армии повернули направо, преследуя бегущего врага, а три полка, из которых каждый был в две тысячи пятьсот копий, остановились. Может быть, прошло пять минут,

пока каждый полк, выстраивался такой же тройной шеренгой, как и мы.

Мне эти пять минут показались очень долгими. Я думал, что, по всей вероятности, это были последние минуты моей жизни. Я не мог ни на чем сконцентрировать своих мыслей. Я окинул взглядом ряды ветеранов полка Ама-Вомбе и заметил, что у них был торжественный вид, как у людей, приготовившихся к смерти, но не было в них и признака страха.

Мапута прошел по рядам, отдавая приказания военачальникам. Он подошел к тому месту, где я и Скауль сидели верхом на лошадях.

— А! Я вижу, что ты приготовился, Макумазан, — сказал он веселым голосом. — Я говорил тебе, что ты не уйдешь отсюда голодным! Разве я не был прав?

— Мапута! — сказал я тоном увещевания. — Какая польза от нашего выступления? Умбулази разбит, полк Ама-Вомбе не принадлежит к его войску. К чему же посылать всех этих, — я указал на ряды воинов, — в царство теней? Почему не двинуться к реке и не попытаться спасти женщин и детей?

— Потому что нам нужно забрать в царство теней как можно больше этих. — И он указал рукой на густые ряды узуту. — Но, — прибавил он с оттенком недовольства, — наши распри тебя не касаются. У тебя и у твоего слуги есть лошади. Вы можете еще ускакать, если во весь дух помчитесь к нижнему броду, и можете спасти вашу жизнь.

Тогда самолюбие заговорило во мне.

— Нет, — ответил я, — я не хочу удирать, когда другие будут сражаться!

— Я никогда и не думал, что ты удерешь, Макумазан. Я уверен, что ты не хочешь, чтобы тебе дали новое, позорное прозвище. Ама-вомбы тоже не удерут, чтобы не сделаться посмешищем всего народа. Король приказал нам попытаться помочь Умбулази в случае, если боевое счастье повернется против него. Мы повинуемся приказу короля, умирая на своем посту… Макумазан, как ты думаешь, можешь ли ты попасть в того грозного молодца, который осыпает нас оскорблениями? Ты меня весьма обяжешь, потому что он мне очень не нравится. — И он указал мне на воина, храбрившегося перед первыми рядами противника и посылавшего по нашему адресу громкие ругательства. Расстояние до него было не менее шестисот метров.

— Попытаюсь, — ответил я, — хотя это далеко. — Я слез с лошади, вскарабкался на кучу камней и, приложив ружье к верхнему камню, навел мушку, прицелился и, затаив дыхание, спустил курок. Секунду спустя обидчик взмахнул руками, уронил ассегай и упал лицом на землю.

Крики восторга вырвались у следивших за выстрелом ама-вомбов, а старик Мапута захлопал в ладоши и ухмыльнулся во весь рот.

— Благодарю тебя, Макумазан. Очень хорошее предзнаменование. Теперь я уверен, что наш конец будет доблестный, а это все, на что мы можем надеяться. Какой замечательный выстрел! Прощай, Макумазан! — И он сжал мне руку. — Час пробил! Я иду повести полк в атаку. Ама-вомбам отдан приказ защищать тебя до последней капли крови, потому что я хочу, чтобы ты видел конец битвы. Прощай!

И он поспешил в сопровождении командиров отдельных отрядов. Живым я его больше не видел.

Я же зарядил ружье снова и сел на лошадь. Я не хотел стрелять больше с такого далекого расстояния, боясь испортить свою репутацию.

Прошла минута, и первый полк противника начал наступать. Остальные два полка «сели на копья», чтобы показать, что они не хотят портить игры. Сражение должно было начаться поединком между шестью тысячами людей.

— Проучим мы этих мальчишек, — прошептал воин, стоявший рядом со мной.

Несколько секунд царила тишина. Воины наклонились вперед между изгородью тонких и грозных копий. Затем шепот пробежал по шеренгам; он звучал, как шум ветра среди деревьев, — это был сигнал готовиться к бою. Вдалеке раздалась громкая команда, подхваченная несколькими голосами впереди и позади меня. Я заметил, что мы движемся, сперва медленно, затем скорее. Сидя верхом на лошади, я мог видеть все наступление. Казалось, будто три черные волны, окаймленные белой пеной (это были белые перья на головах ама-вомбов), искрились блестками — это сверками их тяжелые ассегай.

Теперь мы перешли в атаку. О этот натиск склонившихся перьев и глухой топот восьми тысяч ног! Узуту наступали вверх по склону навстречу нам. Мы бежали молча, и так же молча бежали они. Все ближе и ближе продвигались мы друг к другу. Уже можно было видеть их лица, уже можно было разглядеть дикий блуждающий взгляд свирепых глаз.

Затем раздался грохот — такого раскатистого грохота я никогда еще не слышал — громовой раскат столкнувшихся щитов — и сверкнула молния взметнувшихся копий.

— Убивай, Ама-Вомбе, убивай! — пронесся грозный клич, и из рядов противника в ответ понеслись не менее дикие крики:

— Коли, узуту, коли!

Как огромная волна прибоя, ударившись внезапно о скалистый риф,

вздымается на него и скрывает его под собою, так набросились ама-вомбы на полк узуту.

В три минуты от полка ничего не осталось. Мы убили всех до единого, но наших полегло около трети. Вся наша первая шеренга была уничтожена в схватке, которая длилась не более нескольких минут. Еще не кончился этот первый бой, как второй полк узуту вскочил и пошел в атаку. С победным кличем бросились мы вниз по склону им навстречу. Снова раздался грохот щитов, но на этот раз бой был продолжительнее, и так как я находился теперь в переднем ряду, то тоже принял в нем участие. Я помню, что застрелил двоих узуту, которые бросились на меня с ассегаями. Я помню стоны раненых, крики торжества и отчаяния и, наконец, голос Скауля:

— Мы побили их, баас, но вот идут другие!

Третий полк наступал теперь на наши поредевшие ряды. Мы схватились с неприятелем и дрались, как дьяволы, даже юные у-диби вмешались в бой. Враг нападал теперь со всех сторон, потому что мы перестроились в кольцо. Каждую минуту люди умирали сотнями, и хотя ама-вомбов осталось уже немного, однако никто из них не сдавался.

Я сражался с ассегаем в руке, хотя сам не знаю, как он попал ко мне в руки. Убитые высокими кучами лежали вокруг нас, друзья и враги, все вместе, и мы использовали их как бруствер. Я увидел, как лошадь Скауля взметнулась на дыбы и упала. Скауль соскользнул с нее через хвост и в следующую минуту сражался около меня, тоже с ассегаем в руке, и бормотал при каждом ударе проклятия по-английски и голландски.

Вдруг моя лошадь громко заржала и что-то тяжелое ударило меня по голове — вероятно, в меня была брошена боевая дубина — и после этого я ничего больше не помнил.

Когда я снова пришел в себя, то увидел, что я все еще нахожусь на лошади, которая плетется вперед со скоростью восьми миль в час. Скауль бежал рядом со мной, держась за ремень моего стремени. Он был покрыт кровью, и кровь была также на лошади и на мне. Не знаю, была ли это наша собственная кровь — мы все трое были более или менее серьезно ранены — или кровь врагов, но знаю, что вид у нас был ужасный. Я натянул поводья, и лошадь остановилась среди кустарника. Скауль пошарил в походной сумке и вытащил из нее большую фляжку с джином, наполовину разбавленным водой. Я отхлебнул большой глоток, и напиток мне показался настоящим нектаром, затем я передал фляжку Скаулю и он последовал моему примеру. Новая жизнь, казалась, влилась в мои жилы. Что бы ни говорили члены общества трезвости, но в таких случаях

алкоголь незаменим.

— Где ама-вомбы? — спросил я.

— Вероятно, теперь все уже мертвы, баас. И мы были бы убиты, если бы твоя лошадь не пустилась вскачь. Уф! Но как они дрались! Об этой битве будут долго рассказывать. Они унесли с собой на копьях все эти три полка.

— Это все хорошо, — сказал я. — Но куда мы теперь едем?

— В Наталь, надеюсь, баас. Достаточно мы нагляделись на зулусов. Тугела недалеко, и мы переплывем ее. Едем, пока наши члены не одеревенели от ран.

Мы поехали вперед, пока не достигли гребня холма, с которого открылся вид на реку. Здесь мы увидели и услышали нечто страшное. Под нами внизу узуту сотнями убивали беглецов. Их тащили к берегу, и здесь они погибали, или на берегу, или в воде. Река была черная от утонувших или утопающих людей.

А эти душераздирающие крики и стоны! Я даже не пытаюсь их описать.

— Поедем вверх по течению, — коротко сказал я, и мы стали пробираться сквозь колючий кустарник в более густой небольшой лесок. Бегущие изигкозы, по-видимому, и не заходили в этот лес, вероятно, потому, что берега реки здесь были очень крутые и обрывистые, а течение было очень быстрое, так как это было выше брода.

Некоторое время мы спокойно продвигались вперед, но внезапно я услышал шум. Мимо меня проскочил огромного роста человек, ломавший кусты, как буйвол. Он добежал до берега и остановился на скале, нависшей над Тугелой.

— Умбулази! — удивленным шепотом проговорил Скауль.

В эту же минуту мы увидели другого человека, стремительно гнавшегося за первым. Так гончая собака гонится за оленем.

— Садуко! — снова проговорил Скауль.

Я повернул лошадь к скале. Я знал, что безопаснее будет держаться в стороне, но не мог поступить иначе. Я доехал до края скалы, на которой дрались Садуко и Умбулази…

При обыкновенных обстоятельствах Садуко, несмотря на свою подвижность и ловкость, не мог бы справиться с самым сильным во всей стране зулусом. Но Умбулази находился в состоянии крайнего изнеможения; его грудь вздымалась, как кузнечные мехи. Кроме того» по-видимому, внутренняя печаль терзала его, а в довершение всего он был без щита. Он был вооружен только метательным ассегаем.

Удар ассегая, нанесенный ему Садуко и частично отпарированный им, слегка ранил его в голову и перерезал повязку, в которую было воткнуто страусовое перо, то самое перо, которое ветер сдул утром. Перо снова упало на землю. Другим ударом Садуко проткнул ему правую руку, так что она беспомощно повисла. Умбулази схватил свой метательный ассегай левой рукой, стараясь продолжать борьбу, и в эту минуту подошли мы.

— Что ты делаешь, Садуко? — крикнул я. — Видел ли ты когда-нибудь, чтобы собака кусала своего собственного хозяина?

Он повернулся и с удивлением уставился на меня. Оба они выпялили на меня глаза.

— Да, Макумазан, — ответил Садуко ледяным голосом, — иногда собака кусает хозяина, когда она умирает с голода, а упитанный хозяин выхватывает у нее ее кость. Отойди в сторону, Макумазан (хотя я был безоружный, но я шагнул между ними), иначе ты разделишь судьбу этого вора.

— Не отойду, Садуко, — закричал я, обезумев от виденного, — разве только ты убьешь меня!

Тогда заговорил Умбулази глухим, прерывающимся голосом.

— Благодарю тебя, белый человек, но сделай то, о чем просит тебя эта змея — змея, которая жила в моем краале и кормилась из моей чаши. Пусть он полностью удовлетворит свою жажду мщения за ту женщину, которая околдовала меня… за ту колдунью, которая довела меня и тысячи людей до гибели. Слышал ли ты, Макумазан, о великом подвиге сына Мативаана? Слышал ли ты, что он все время был изменником, состоя на жаловании у Кетчвайо, и что он перешел со своими полками на сторону узуту как раз в тот момент, когда решался исход битвы? Смотри, предатель, вот мое сердце, сердце, которое любило тебя и доверяло. Порази его, порази!

— Прочь с дороги, Макумазан! — прошипел Садуко. Но я не шевельнулся.

Он прыгнул на меня, и хотя я старался напрячь все свои силы, чтобы бороться с ним, но ему удалось обхватить руками мое горло, и он стал меня душить. Скауль подбежал ко мне на помощь, но рана ли его или крайнее изнеможение, а может быть, также волнение сказались в эту минуту. Во всяком случае, он упал на землю и забился в припадке. Я думал, что все уже кончено, когда снова услышал голос Умбулази и почувствовал, что Садуко отпустил мое горло. Голова моя шла кругом, и я присел.

— Собака, — сказал Умбулази, — смотри, где твое копье! — И он швырнул копье Садуко, которое он поднял во время нашей борьбы, вниз, в реку. — Теперь, собака, я мог бы легко тебя убить, но я этого не сделаю. И

знаешь, почему? Я тебе скажу. Я не хочу мешать кровь предателя с моей собственной кровью. Смотри! — Он поставил рукоятку своего ассегая на скалу и наклонился над острием. — Ты и твоя жена Мамина довели меня до гибели. Да падет моя кровь и кровь всех моих приверженцев на твою голову! Твое имя будет навеки вызывать отвращение у всех честных людей, а я, которого ты предал, я, принц Умбулази, не дам тебе покоя до самой твоей смерти! Прощай, Макумазан, мой друг…

Он замолчал, и я увидел, как слезы брызнули из его глаз — слезы, смешанные с кровью, сочившейся из его раны на голове. Затем внезапно он испустил боевой клич изигкозов и всей тяжестью своего тела надавил на острие копья.

Оно насквозь проткнуло его. Он упал на руки и колени, посмотрел на нас жалобным взглядом и скатился со скалы в реку.

Тяжелый всплеск — и не стало Умбулази Прекрасного, Умбулази, которого Мамина поймала в свои сети.

Грустная история!

Хотя это случилось уже много лет тому назад, но печаль сжимает мое сердце и теперь, когда я пишу эти строки.

Глава XIV. Торжество победителя

Не знаю, сколько времени прошло после падения тела Умбулази в реку до того момента, как к нам подошли несколько воинов узуту. Я был в полузабытьи. Как сквозь сон я услышал голос Садуко:

— Не трогайте Макумазана и его слугу! Они мои пленники! Кто тронет их, умрет со всем своим домом!

В полуобморочном состоянии они посадили меня на коня, а Скауля унесли на щите.

Когда я пришел в себя, я увидел, что нахожусь в небольшой пещере или, вернее, под какими-то нависшими скалами. Со мной был Скауль, оправившийся от своего припадка, но все еще пребывавший в каком-то ненормальном состоянии. Он ничего не помнил об обстоятельствах смерти Умбулази, и я никогда не напоминал ему о них. Подобно другим, он думал, что Умбулази утонул, пытаясь переплыть Тугелу.

— Собираются они убить нас? — спросил я его. По торжествующим крикам, доносившимся извне, я понял, что мы находимся в лагере победоносных узуту.

— Не знаю, баас, — ответил он. — Надеюсь, что нет. Было бы жалко умереть после того, что мы пережили. Лучше бы было умереть в начале битвы.

Я кивнул головой в знак согласия. В эту минуту вошел зулус, неся блюдо с поджаренными кусками мяса и кувшин с водой.

— Кетчвайо посылает тебе это, Макумазан, — сказал он, — и жалеет, что нет молока или пива. Когда ты поешь, стража ожидает тебя, чтобы провести к нему. — И он удалился.

— Если бы они собирались нас убить, — сказал я Скаулю, — то вряд ли бы они взяли на себя труд сперва накормить нас. Поэтому нечего нам падать духом, и поедим!

— Кто знает! — отвечал Скауль, запихивая огромный кусок мяса в рот. — Но, во всяком случае, лучше умереть с полным желудком, чем с пустым.

Так как мы больше страдали от усталости, чем от ран, которые не были серьезны, то силы снова вернулись к нам после того, как мы сытно поели. Когда мы доканчивали последний кусок мяса, зулус просунул к нам голову и спросил, готовы ли мы. Я кивнул головой, и, поддерживая друг друга и прихрамывая, мы со Скаулем вышли из пещеры. Снаружи нас ожидали пятьдесят солдат, громко рассмеявшихся при виде наших

плачевных фигур, но ничего враждебного по отношению к нам я в них не заметил. Там же стояла моя лошадь, печально понурив голову. Мне помогли взобраться на седло, Скауль уцепился за стремя, и нас повели за четверть мили к Кетчвайо.

Мы нашли его сидевшим на склоне одного из холмов, с которого открывался вид на расстилавшуюся перед ним равнину. Моим глазам представилась странная, дикая сцена. Кетчвайо сидел, окруженный своими военачальниками и членами его совета, а мимо него бегом проносились победоносные полки, громко выкрикивавшие самые необыкновенные его титулы. Разодетые и разукрашенные глашатаи бегали перед ним взад и вперед, возвещая о его подвигах, называя его «Грозой Земли» и выкрикивая имена знаменитых предводителей, павших в этой битве.

Между тем беспрестанно подходили воины, приносившие на щитах мертвых вождей и военачальников, и клали их рядами. Так в Англии после удачной охоты укладывают рядами дичь. Кетчвайо, как оказывается, пришла фантазия полюбоваться на убитых, но так как он слишком устал, чтобы пойти на поле битвы, то он приказал принести их к себе. Среди мертвых я увидел тело моего старого друга Мапуты. Все его тело было буквально изрешечено ударами копий, но на лице его застыла улыбка.

С помощью Скауля я слез с лошади и, прихрамывая, пробрался между трупами к тому месту, где сидел Кетчвайо.

— Добрый вечер, Макумазан, — сказал Кетчвайо, протягивая мне руку. — Я слышал, что ты командовал ама-вомбами, которых король, мой отец, послал на помощь Умбулази, и я очень рад, что ты остался в живых. Я горжусь тем, что они так доблестно сражались, потому что ты знаешь, Макумазан, что я был раньше командиром этого полка. Я отдал приказ щадить каждого из них, кто остался в живых, и сделаю их командирами нового полка ама-вомбов, который я хочу возродить. Знаешь ли ты, Макумазан, что ты уничтожил почти целиком три полка узуту, убив столько воинов, сколько убило все войско моего брата? Ты великий человек, Макумазан! Если бы не предательство, — он проговорил это слово с легким оттенком сарказма, — Садуко, то ты выиграл бы сегодня победу для Умбулази. Если ты хочешь остаться при мне, я сделаю тебя полководцем целой дивизии королевской армии, потому что с этих пор я буду иметь голос в государственных делах.

— Ты ошибаешься, о сын Мпанды, — ответил я. — Вся слава доблестной атаки ама-вомбов принадлежит Мапуте, советнику короля. Вот он лежит здесь. — И я указал на тело Мапуты. — Я же сражался в его рядах, как простой солдат.

— Я знаю это, Макумазан, мы все знаем это. Мапута был умная обезьяна, но мы знаем также, что ты научил его, как прыгать. Ну, он умер, и почти все ама-вомбы умерли, а от моих трех полков осталась одна горсть, стервятники пожирают остальных. Все это кончено и забыто, Макумазан. Вот здесь лежит много мертвых вождей и военачальников, но одного не хватает здесь — того, против которого я сражался. Мне говорили, что ты один знаешь, что с ним сталось, и вот, Макумазан, я хотел бы знать, жив ли он или мертв, а если он мертв, то от чьей руки он погиб, чтобы я мог наградить эту руку.

Я обвел глазами вокруг себя, размышляя, сказать ли правду или придержать язык, и глаза мои встретились со взглядом Садуко. Холодный и безразличный, сидел он среди военачальников, но на некотором расстоянии от них, как бы держась особняком. И я вспомнил, что только он и я, мы одни знали правду о смерти Умбулази.

Не знаю, почему мне пришло в голову сохранить про себя эту тайну. К чему было мне рассказывать Кетчвайо, что Умбулази был доведен отчаянием до самоубийства? К чему раскрывать позорный поступок Садуко?

— О Кетчвайо, — сказал я, — случайно я видел конец Умбулази, Он не был убит врагом. Он умер от разрыва сердца на скале над рекой, а если хочешь знать, что случилось потом, пойди спроси Тугелу, в которую он упал.

Кетчвайо на мгновение прикрыл глаза рукой.

— Уф! — сказал он потом. — Я снова повторяю, не будь Садуко, сына Мативаана, который воспользовался случаем отомстить Умбулази за женщину, то, может быть, и я умер бы от разрыва сердца на скале, над рекой. О Садуко, я в большом долгу у тебя и заплачу тебе хорошо. Но я не сделаю тебя моим другом, а то мы тоже можем случайно поссориться из-за женщины и мне придется умереть от разбитого сердца на скале над рекой. О брат мой Умбулази, я оплакиваю тебя. Ведь мы играли с тобой, когда были маленькими, и любили друг друга. И в конце поссорились из-за игрушки, которую зовут троном. Ты умер, брат мой, а я остался в живых. Однако кто знает, может быть, в конце концов, твоя участь счастливее моей. Ты умер от разбитого сердца, Умбулази, а кто знает, от чего умру я?

Я подробно описал эту сцену, так как она послужила тому, что и за пределами Земли Зулу распространился слух, что Умбулази умер от разрыва сердца.

Видя, что Кетчвайо был мягко настроен и относился ко мне дружелюбно, я решил воспользоваться этим случаем и попросить

разрешения уехать. Но пока я размышлял, как бы получше подъехать к нему, случилось нечто, помешавшее мне выполнить мое намерение.

Услышав шум позади себя, я оглянулся и увидел толстого, жирного человека в пышном боевом наряде. В одной руке у него было окровавленное копье, а в другой — головное украшение из страусовых перьев. Он шел и кричал:

— Пропустите меня к сыну короля! Мне нужно сообщить кое-что победителю Кетчвайо.

Я вытаращил глаза. Сомнений не могло быть, это был Умбези, Гроза Слонов, отец Мамины. В несколько секунд, не дожидаясь разрешения приблизиться, он перешагнул через трупы воинов и остановился только для того, чтобы одного ударить ногой по голове, а другого выругать самым бесстыдным образом. Очутившись перед Кетчвайо, он стал скакать перед ним, громко восхваляя его подвиги.

— Кто этот дуралей? — сердито спросил Кетчвайо. — Прикажите ему не шуметь, иначе его глотка замолкнет навсегда.

— О Лев с Черной Гривой, я Умбези, Гроза Слонов, главный помощник Садуко Хитроумного, который выиграл для тебя битву. Я отец Мамины Прекрасной, на которой женился Садуко и которую украл этот мертвый пес Умбулази.

— А, — сказал Кетчвайо, зловеще щуря глаза. — Что же ты мне скажешь, Гроза Слонов и отец Мамины, которую мертвый пес Умбулази отнял у твоего господина, Садуко Хитроумного?

— Вот что, могучий владыка, вот что, Гроза Земли: это я избавил тебя от твоего главного врага, от самого Умбулази.

Садуко, казалось, очнулся от своей задумчивости и вскочил с места, но Кетчвайо резко приказал ему молчать. Не замечая ничего, безумец Умбези продолжал свой рассказ:

— О могучий победитель, я встретился с Умбулази в пылу битвы, и, увидя меня, он бежал. Да, сердце его сделалось мягким как воск при виде меня, чью дочь он украл.

— Значит, Умбулази испугался тебя, который до сегодняшнего утра был одним из его шакалов? — спросил Кетчвайо. — Что же случилось дальше?

— Он бежал от меня, как ветер, о Лев с Черной Гривой, а я бежал за ним еще скорее. Он забежал далеко в лес, пока не дошел до скалы над рекой, и там он вынужден был остановиться. Там мы вступили с ним в бой. Он бросился на меня, но я перепрыгнул через его ассегай, вот так. — И он подпрыгнул в воздухе. — Он снова на меня набросился, но я нагнулся, вот

так. — И он неуклюже присел. — Он устал и кружился по скале, а я ударил его ассегаем раз, и другой, и еще раз в спину, пока он не упал, прося пощады. Потом он скатился со скалы в воду, и я при этом вырвал его перо. Смотри, разве это не перо мертвого пса Умбулази?

Кетчвайо взял головное украшение и осмотрел его, затем показал его нескольким военачальникам, сидевшим возле него, и все они серьезно закивали головами.

— Да, — сказал он, — это боевое украшение Умбулази, любимца короля, опоры королевского дома. При виде этого пера у многих дрожали от страха колени. И это ты убил его, Гроза Слонов? Какую же награду должен я тебе дать за этот подвиг, о Умбези?

— Великую награду, о грозный владыка, — начал Умбези, но громовым голосом Кетчвайо приказал ему замолчать.

— Да, — сказал он, — великую награду. Слушай, шакал и предатель! Твои собственные слова свидетельствуют против тебя. Ты осмелился поднять руку на того, в чьих жилах текла моя кровь. Ты гнусным своим языком покрыл ложью и оскорблениями имя великого умершего.

Только теперь понял Умбези и стал лепетать что-то в свое оправдание, уверяя, что весь его рассказ с начала до конца был ложью. Жирные щеки его ввалились, ноги дрожали, и он упал на колени.

Но Кетчвайо только плюнул на него, как он всегда делал в моменты бешенства, и обвел глазами вокруг себя, пока взгляд его не упал на Садуко.

— Садуко, — сказал он, — убери этого убийцу, который хвастается тем, что обагрен кровью моего брата, и, когда он будет мертв, брось его в реку с той скалы, на которой он заколол сына Мпанды.

Садуко дико оглянулся и колебался.

— Убери его, — загремел Кетчвайо, — и до наступления темноты вернись ко мне с отчетом.

Затем, по знаку Кетчвайо, воины набросились на несчастного Умбези и поволокли его прочь, и Садуко последовал за ними. Проходя мимо меня, Умбези крикнул мне, чтобы я спас его ради Мамины. Я мог только покачать головой и вспомнил предупреждение, сделанное мною ему однажды о судьбе предателей.

Этот трагический инцидент имел еще продолжение. Оказалось, что Садуко отказался стать палачом своего тестя Умбези, так что воины сами выполнили приказ Кетчвайо, а Садуко они привели обратно пленником.

Когда Кетчвайо узнал, что Садуко ослушался его приказа, выраженного в обычной и страшной формуле «Убери его», он пришел в настоящую — или, может быть, притворную — ярость. Я, в общем,

убежден, что он искал только предлога для ссоры с Садуко. Он считал его очень могущественным и боялся, что при удобном случае он поступит с ним так, как поступил с Умбулази. Кроме того, он опасался, что теперь, когда Умбулази умер и большинство сыновей Мпанды были убиты в битве, Садуко сможет в будущем претендовать на трон в качестве мужа дочери короля. Но он боялся или считал неполитичным сразу убрать со своей дороги командира многих полков, которые сыграли такую важную роль в битве. Поэтому он приказал содержать его под стражей и отвести в Нодвенгу, где все дело должно было быть разобрано Мпандой, который все еще считался королем, хотя с этих пор только номинально. Кетчвайо отказался также разрешить мне уехать в Наталь, сказав, что я должен отправиться в Нодвенгу, так как мои свидетельские показания могли понадобиться.

Таким образом, не имея выбора, я отправился в Нодвенгу. Очевидно, мне было суждено увидеть финал драмы.

Глава XV. Мамина требует поцелуя

По прибытии в Нодвенгу я захворал и пролежал в моем фургоне около двух недель. Какая у меня была болезнь, я в точности не знаю. Вероятно, это была нервная лихорадка, которая явилась результатом переутомления от сильных переживаний и волнений. Болезнь эта осложнилась еще и странными головными болями, вызванными раной, полученной мною в битве.

Когда я начал поправляться, Скауль и мои приятели зулусы, приходившие навещать меня, сообщили мне, что по всей стране происходили страшные беспорядки и что за приверженцами Умбулази все еще охотились и их убивали. Некоторые из партии узуту даже настаивали, чтобы и я разделил их судьбу, но на этот счет Мпанда был непреклонен. Оказывается, он публично заявил, что тот, кто поднимет оружие против меня, его друга и гостя, тем самым поднимет его против него, короля, и что это будет причиной новой войны. Таким образом, узуту оставили меня в покое, считая, может быть, более благоразумным довольствоваться достигнутыми ими результатами.

А результаты были большие. Кетчвайо был теперь верховной властью, а его отец представлял собою нуль. Хотя он и оставался главой нации, но было объявлено публично, что Кетчвайо был *ногами* его, а вся сила была в этих подвижных «ногах», а не в склоненной «голове». У Мпанды осталось так мало власти, что он не мог защитить даже собственного домашнего очага. Однажды я услышал сильный шум и крики, доносившиеся, по-видимому, из королевского крааля. Как потом выяснилось, Кетчвайо объявил Номантшгали, жену короля, колдуньей. И, несмотря на мольбы и слезы отца, он заставил ее казнить на его глазах. Так много времени прошло с тех пор, что я не помню, была ли Номантшгали матерью Умбулази или одного из других убитых принцев.

Несколько дней спустя, когда я был уже опять на ногах, Мпанда прислал мне в подарок быка. Гонец, который привел его мне, поздравил меня с выздоровлением и сообщил, что я не должен опасаться за свою жизнь. Кетчвайо поклялся, прибавил он, что ни один волос не упадет с моей головы.

— Если бы я желал убить Макумазана, — сказал Кетчвайо королю, — за то, что он сражался против меня, то я мог бы это сделать у Индондакузуки. Но в таком случае я должен был бы убить тебя, отец мой,

так как ты назначил его командиром своего полка и послал против меня. Но я люблю его, потому что он храбр и принес мне хорошую весть, что мой враг Умбулази умер от разбитого сердца. Кроме того, я не желаю ссориться с англичанами из-за Макумазана, а потому пошли ему сказать, что он может спать спокойно.

Гонец сказал далее, что на следующий день назначен суд над Садуко и Маминой и что желательно было мое присутствие.

Я спросил, в чем их обвиняют. Он ответил, что против Садуко выставлено два обвинения: во-первых, что он был виновником гражданской войны; во-вторых, что, подтолкнув Умбулази к войне, в которой погибло много народа, он сам играл роль предателя, покинув его посреди боя со всеми своими полками — гнусный поступок в глазах зулусов, к какой бы партии они ни принадлежали.

Против Мамины были выдвинуты три пункта обвинения. Во-первых, что это она отравила ребенка Садуко, а не ее первый муж Мазапо, который невинно пострадал за ее преступление. Во-вторых, что она бросила Садуко, своего второго мужа, и пошла жить с другим мужчиной. В-третьих, что она была колдуньей, опутавшей Умбулази своим колдовством и заставившей его добиваться трона, на что он не имел никакого права.

— Это такие западни, что Мамине придется идти очень осторожно, чтобы не попасть в одну из них, — сказал я.

— Да, инкоси, в особенности если западни вырыты во всю ширину дороги и на дне каждой из них вбит кол. О, Мамину можно уже считать мертвой, и она заслуживает этого, так как, несомненно, она самая большая преступница во всей стране.

Я вздохнул, так как мне невольно стало жаль Мамину. Гонец продолжал:

— Черный Владыка (то есть Мпанда) послал меня к Садуко сказать ему, что он разрешит повидаться перед судом с тобой, Макумазан, если ты этого пожелаешь, потому что король знает, что ты был его другом и можешь дать свидетельство в его пользу.

— А что на это сказал Садуко? — спросил я.

— Он сказал, что он благодарит короля, но ему не о чем говорить с Макумазаном, чье сердце бело, как его кожа и чьи уста говорят только правду. Королевская дочь Нанди, которая все время с ним — она не хочет покинуть его в беде, как все другие это сделали, — услышав эти слова Садуко, сказала, что он прав и что по этой причине и она считает, что нет необходимости видеться с тобой до суда.

Я подумал, что настоящая причина нежелания меня видеть

заключается в том, что Садуко стыдился меня, а Нанди боялась услышать от меня о каком-нибудь новом вероломстве ее мужа, о котором она еще не знала.

— С Маминой же дело обстояло иначе, — продолжал словоохотливый гонец. — Как только ее привели сюда с Зикали Мудрым, у которого она скрывалась, и она узнала, что ты, Макумазан, в Нодвенгу, она попросила разрешения повидаться с тобой…

— И ей разрешили? — испуганно прервал я, потому что я вовсе не желал видеться с Маминой наедине.

— Нет, не бойся, инкоси, — с улыбкой ответил гонец, — король отказал ей. Он сказал, что стоит ей раз тебя увидеть, и она околдует тебя и вовлечет в беду, как всех мужчин. По этой причине ее сторожат только женщины и ни одному мужчине не разрешают даже близко подходить к ней. На женщин ее чары не действуют. Но говорят, что она весела, поет и смеется. Она рассказывает, что у старика Зикали ей было очень скучно, но что теперь она попадет в такое место, где так красиво, как на поле весной после первого теплого дождя, и где будет много мужчин, которые станут оспаривать ее друг у друга и сделают ее счастливой и великой. Вот что говорит она, и, может быть, она как колдунья знает, как выглядит обиталище духов.

Я промолчал, и гонец ушел, сказав, что вернется на следующий день проводить меня к месту суда.

*** * ***

На следующее утро, как только подоили коров и выпустили скот из краалей, он действительно пришел с конвоем из тридцати человек. Все это были воины из полка Ама-Вомбе, оставшиеся в живых после великой битвы. Когда я вышел из фургона, они встретили меня громкими криками «Инкоси!», и их восторг при виде меня, на которого они смотрели как на товарища, был трогателен. По дороге их командир рассказал мне, что после того как третий полк атаковал их и прорвал кольцо, небольшому отряду ама-вомбов, от восьмидесяти до ста человек, удалось пробиться сквозь ряды неприятеля и спастись, бежав не по направлению к Тугеле, где погибло столько тысяч, а к Нодвенгу, где они явились с рапортом к королю.

— А теперь вы в безопасности? — спросил я командира.

— Да, — ответил он. — Видишь, мы были солдаты короля, а не Умбулази, и Кетчвайо к нам не питает злобы. Он нам даже благодарен, что мы дали возможность узуту по горло насытиться настоящим боем, не то что эти коровы — воины Умбулази. Он питает только злобу к Садуко, потому что никогда не надо вытаскивать утопающего из воды, а это-то и сделал Садуко — не будь его измены, Кетчвайо погрузился бы в реку смерти. Но, может быть, Садуко и останется жив, потому что он муж Нанди, а Кетчвайо боится своей сестры. Поживем — увидим.

Между тем мы прошли за внутреннюю ограду королевской резиденции, снаружи которой собралось очень много народа, и все они шумели, кричали и ссорились. Обычная дисциплина в эти смутные дни отсутствовала. Внутри же ограды, вход которой строго охранялся, находилось только десятка два членов королевского совета, король, Кетчвайо, сидевший по правую руку короля, Нанди, несколько слуг и двое огромных молчаливых парней, вооруженных дубинами. Я сразу догадался, что это были палачи. В тени, в углу, я заметил еще старого карлика Зикали, хотя каким образом он попал сюда, не знаю.

Я смело подошел к Мпанде и поклонился ему. Он был так же толст, как всегда, но выглядел осунувшимся и сильно постаревшим. Он пожал мне руку и справился о моем здоровье, Кетчвайо тоже протянул мне руку и сказал, что ему передавали, будто я в какой-то стычке при Тугеле получил удар в голову, и он надеется, что это не имело плохих последствий.

— Нет, — ответил я, — но я опасаюсь, что другие не так счастливо отделались, в особенности те, которые напоролись на полк ама-вомбов, с которыми я случайно производил мирную разведку.

Это было дерзко с моей стороны, но Кетчвайо отнесся добродушно и громко рассмеялся на шутку.

Затем я поздоровался с теми индунами, которых я знал, но их было не много, потому что большинство моих старых приятелей было убито, и сел на скамейку, поставленную для меня недалеко от Зикали. Карлик сидел неподвижно и уставился на меня так, будто видел в первый раз.

Наступила пауза. Затем по знаку Мпанды открыли боковую калитку в изгороди, и в ней показался Садуко. С гордым видом он прошел к месту, где сидел король, отдал ему честь и уселся на землю. Затем из той же калитки вышла Мамина, совершенно не изменившаяся и, мне показалось, еще более красивая, чем когда-либо. Она выглядела так прелестно в своем сером меховом плаще с ожерельем из синих бус и с блестящими бронзовыми браслетами на руках и ногах, что все глаза были устремлены на ее стройную фигуру, когда она грациозно скользнула вперед и

поклонилась королю. Затем она повернулась и, увидев Нанди, тоже поклонилась ей и справилась о здоровье ее ребенка. Уверенная в нелюбезном ответе, она, не дожидаясь его, подошла ко мне, схватила мою руку, горячо пожала ее и сказала, что рада видеть меня живым и невредимым после пережитых опасностей.

Только на Садуко, который напряженно следил за ней своими меланхоличными глазами, она не обратила никакого внимания; я даже подумал, что она не заметила его. Кетчвайо она тоже совершенно игнорировала, хотя он пристально смотрел на нее. Но когда взгляд ее упал на обоих палачей, то мне показалось, что дрожь пробежала по ее телу. Она села на указанное ей место, и суд начался.

Первым разбиралось дело Садуко. Индуна, сведущий в зулусских законах, (могу уверить читателя, что у них твердо установленные законы), встал и изложил перечень обвинительных пунктов против Садуко. Он рассказал, как Садуко, который был раньше ничем, был возвеличен королем и получил в жены королевскую дочь. Он утверждал, что Садуко подговорил Умбулази пойти войной на Кетчвайо, а когда война началась, он изменил Умбулази и вместе с тремя полками перешел на сторону Кетчвайо, доведя этим Умбулази до поражения и гибели.

По изложении этого краткого обвинительного акта Мпанда спросил, признает ли Садуко себя виновным или нет.

— Виновен, о король, — ответил Садуко и замолчал. Мпанда спросил, может ли он сказать что-либо в свое оправдание.

— Ничего, о король, за исключением того, что я служил Умбулази, и когда ты объявил, что Умбулази и Кетчвайо могут воевать друг с другом, то я, как и другие приверженцы Умбулази, обеими руками работал для того, чтобы он одержал победу.

— Зачем же в таком случае ты покинул Умбулази в решающую минуту битвы? — спросил Мпанда.

— Я видел, что из двух быков Кетчвайо был сильнее, и мне захотелось быть на стороне победителя, как все этого желают, — спокойно ответил Садуко. — Другой причины у меня не было.

Все, не исключая и Кетчвайо, с удивлением вытаращили глаза. Король, казалось, был совсем сбит с толку. А Зикали в своем углу разразился громким смехом.

После долгой паузы король в качестве верховного судьи собирался по-видимому, произнести приговор.

Но прежде, чем он успел вымолвить слово, поднялась со своего места Нанди и сказала:

— Отец мой, раньше чем ты произнесешь слова, которые нельзя будет вернуть обратно, выслушай меня. Хорошо известно, что Садуко был полководцем и советником моего брата Умбулази, и если его следует казнить за принадлежность к партии Умбулази, то и меня следует казнить, и бесчисленное множество других лиц, которые были на стороне Умбулази, хотя не принимали участия в битве. Хорошо известно также, отец мой, что во время битвы Садуко перешел на сторону Кетчвайо. Почему он перешел? Он говорит тебе, что он хотел быть на стороне победителя. Это неправда. Он перешел, чтобы отомстить Умбулази за то, что тот отнял у него вот эту женщину, — и она пальцем указала на Мамину, — которую он любил и любит до сих пор. Садуко согрешил, я не отрицаю этого, отец мой, но там сидит настоящая виновница, обагренная кровью Умбулази и тех тысяч людей, которые ушли вместе с ним в царство теней. Поэтому умоляю тебя, о король, пощади жизнь моего мужа Садуко, а если он должен умереть, то знай, что я, твоя дочь, умру вместе с ним. Я все сказала, отец мой.

И с гордым видом она снова уселась, ожидая рокового слова.

Но Мпанда не произнес этих слов. Он только сказал:

— Рассмотрим теперь дело Мамины.

Член совета, которого можно было бы назвать прокурором, встал и изложил обвинительные пункты против Мамины: что это она отравила ребенка Садуко, а не Мазапо, что, выйдя замуж за Садуко, она бросила его и стал жить с Умбулази, и, наконец, что она околдовала Умбулази и побудила его начать войну против брата.

— Если второе обвинение будет доказано, а именно, что эта женщина бросила своего мужа ради другого мужчины, то это преступление карается смертью, — сказал Мпанда, как только прокурор кончил говорить. — В таком случае нет надобности разбирать первое и третье обвинение, пока это не будет рассмотрено. Что можешь ты сказать на это обвинение, женщина?

Все повернулись к Мамине, ожидая ответа.

— О король, — сказала она своим тихим, мелодичным голосом, — я не могу отрицать, что я бросила Садуко ради Умбулази Прекрасного точно так же, как и Садуко не может отрицать, что он бросил побежденного Умбулази ради Кетчвайо.

— Почему же ты бросила Садуко? — спросил Мпанда.

— О король, может быть, потому, что я любила Умбулази. Не напрасно же его называли Прекрасным! И ты сам знаешь, что сына твоего нельзя было не любить. — Она остановилась и посмотрела на несчастного Мпанду, которого всего передернуло. — Или, может быть, потому, что я

хотела стать великой, а он ведь сын короля и, если бы не Садуко, стал бы когда-нибудь королем. Или, может быть, потому, что я не могла больше выносить обращение со мной принцессы Нанди; она была жестока ко мне и грозила прибить меня, так как Садуко ходил чаще в мою хижину, чем в ее. Спроси Садуко, он больше знает об этом, чем я. — И она пристально уставилась на Садуко. Затем она продолжала: — Как может женщина сказать причину, о король, когда она сама никогда ее не знает?

Последний вопрос заставил многих присутствующих улыбнуться. Тогда встал Садуко и медленно заговорил:

— Выслушай меня, о король, и я скажу причину, которую скрывает Мамина. Она бросила меня ради Умбулази, потому что я сам приказал ей это сделать. Я знал, что Умбулази желал ее, и я хотел крепче стянуть узы с тем, который должен был унаследовать престол. Мне надоела также Мамина, которая день и ночь ссорилась с моей инкосикази Нанди.

Нанди от удивления открыла рот, и я также. Мамина же засмеялась и сказала:

— Да, это и есть настоящие причины! Я бросила Садуко, потому что он приказал мне поступить так, желая сделать приятное Умбулази. А также я ему надоела: по нескольку дней подряд не говорил он со мною, сердясь за то, что я ссорилась с Нанди. Кроме того, была еще причина, о которой я забыла сказать. У меня не было детей, а потому я думала, что не имеет значения, уйду ли я или останусь. Если Садуко пороется в своей памяти, то он вспомнит, что мы с ним об этом говорили.

И снова она пристально взглянула на Садуко, который поспешил ответить:

— Да, да, я говорил ей, что не хочу держать бесплодных коров в своем краале.

Слушатели рассмеялись, но Мпанда нахмурился.

— Как видно, — сказал он, — уши мои набило ложью, но где правда — я не могу сказать. Что же, если женщина бросила мужа по его собственному желанию, то ее вина отпадает. Теперь, что ты можешь сказать относительно колдовства, которым ты опутала Умбулази и этим заставила начать войну в стране?

— Немногое я могу сказать, и неудобно мне об этом говорить, — ответила Мамина, скромно опуская голову. — Единственные чары, которыми я привлекала к себе Умбулази, заключались здесь, — и она дотронулась до своих прекрасных глаз, — и здесь, — и она дотронулась до своих алых губ, — ив моем теле, которое все мужчины находят таким красивым. А что касается войны, то какое отношение имею я к ней? Я

никогда не говорила о ней с Умбулази. С ним, который был мне так дорог, — и слезы потекли по ее лицу, — я говорила только о любви. Неужели за то, что небо одарило меня красотой, которая привлекает к себе мужчин, меня следует казнить как колдунью?

Никто, казалось, не мог найти на это ответа. Таким образом, отпало и это обвинение, и оставалось первое и самое серьезное обвинение — что это она, Мамина, убила ребенка Нанди, а не ее муж Мазапо.

Когда это обвинение было выдвинуто против нее, то первый раз я увидел, что тревога промелькнула в ее глазах.

— О король, с этим делом уже давно покончено, когда великий Зикали раскрыл, что Мазапо, мой муж, был колдун, и за это преступление он был приговорен к смерти. Разве меня нужно снова судить за это?

— Дело обстоит не так, — ответил Мпанда. — Зикали только открыл, что преступление было совершено при помощи яда, и так как яд был найден у Мазапо, то он был казнен как колдун. Но может быть, не он пользовался ядом?

— Об этом нужно было бы подумать прежде, чем его казнить, — прошептала Мамина. — Но я забыла главное: известно, что Мазапо всегда относился враждебно к дому Сензангаконы.

Мпанда ничего не ответил, а Нанди встала и сказала:

— Разрешишь ли ты мне вызвать свидетеля по делу об этом яде, отец мой?

Мпанда кивнул головой, и Нанди обратилась к одному из членов совета:

— Позови мою служанку Нахану, она ждет за калиткой.

Зулус вышел и вскоре вернулся с пожилой женщиной. Оказалось, она нянчила Нанди и, не выйдя замуж из-за какого-то физического недостатка, навсегда осталась у нее служанкой. Ее все знали и уважали.

— Нахана, — сказала Нанди, — расскажи королю и его совету то, что ты рассказала мне относительно одной женщины, как она заходила в мою хижину перед смертью моего ребенка и что она там делала. Скажи сперва, здесь ли эта женщина?

— Да, инкосазана, — ответила Нахана. — Вот она сидит. Как можно не узнать ее? — И она указала на Мамину.

— Расскажи же об этой женщине и о ее поступках, — сказал Мпанда.

— За два вечера до того, как ребенок захворал, я увидела, как Мамина вползла в хижину моей госпожи Нанди. Я лежала одна в углу большой хижины, и свет от очага не достигал меня. Моей госпожи Нанди и ее сына не было в это время в хижине. Узнав в женщине Мамину, жену Мазапо,

которая была в дружбе с моей госпожой, я предположила, что она пришла навестить ее, и осталась спокойно лежать в углу. Также я не обратила внимание, когда увидела, что она обсыпала маленькую циновку, на которой обыкновенно спал сын моей госпожи, каким-то порошком. Перед тем я слышала, как она обещала инкосазане принести порошок, чтобы вывести насекомых, Мне показалось только странным, что она всыпала порошок также в таз с теплой водой, которая была приготовлена для обмывания ребенка, и, бормоча какие-то слова, положила что-то в солому у дверного отверстия. Я хотела ее спросить, что это значит, но она уже ушла, Немного погодя явился гонец и сказал мне, что моя старая мать лежит умирающей в своем краале, за четыре дня пути от Нодвенгу, и просит меня навестить ее. Я забыла о Мамине и о порошке и побежала разыскивать свою госпожу Нанди, чтобы умолять ее разрешить мне пойти к матери. Она разрешила мне там остаться, пока мать не будет похоронена.

Я отправилась. Но мать моя долго еще промучилась, и прошло несколько месяцев, пока я закрыла ей глаза. Затем наступили дни скорби и слез, за которыми последовало несколько дней отдыха, а после них приступили к дележу скота, так что в конце концов прошло шесть месяцев, прежде чем я вернулась в услужение к свой госпоже. Здесь я узнала, что Мамина стала второй женой моего господина Садуко, что ребенок моей госпожи умер и что Мазапо, первый муж Мамины, был казнен за убийство ребенка. Но так как все это прошло и Мамина была очень добра ко мне, то мне и в голову не приходило рассказать о порошке, которым она посыпала циновку.

Только после того как она сбежала с принцем, я рассказала это своей госпоже. Госпожа в моем присутствии обыскала солому у дверей хижины и нашла там какое-то снадобье, завернутое в мягкую кожу. Вот и все, что я знаю об этом деле, о король.

— Говорит ли эта женщина правду, Нанди? — спросил Мпанда.

— Или она лжет, как все остальные?

— Не думаю, отец мой. Смотри, вот *моути* (снадобье), которое Нахана и я нашли спрятанным в дверях хижины.

И она положила на землю перед королем небольшой кожаный мешочек, сшитый сухими жилами.

Мпанда приказал одному из членов совета открыть мешочек. Зулус сделал это очень неохотно, очевидно боясь действий колдовства, и высыпал содержимое на щит, который затем обнесли кругом, чтобы все могли посмотреть. Насколько я мог рассмотреть, снадобье состояло из нескольких сморщенных корешков, из небольшого куска человеческой берцовой кости,

по-видимому принадлежавшей грудному ребенку, причем отверстие кости было заткнуто деревянной втулкой, — и, как мне показалось, из зуба змеи.

Мпанда взглянул, отшатнулся и сказал:

— Подойди сюда, Зикали Мудрый, ты, который сведущ в магии, и скажи нам, что это за снадобье.

Зикали поднялся из угла, где он сидел все время неподвижно, и тяжело заковылял к тому месту, где лежал щит. Когда он проходил мимо Мамины, она наклонилась над карликом и стала быстро ему что-то нашептывать, но он прикрыл уши своими огромными руками, как бы не желая слышать ее слов.

— Какое я имею отношение к этому делу, о король? — спросил он.

— Большое, как мне кажется, — сказал сурово Мпанда. — Ты был тем иньянгой, который *вынюхал* колдуна Мазапо, и в твоем краале скрывалась эта женщина, откуда она была приведена вместе с тобой. Скажи нам, что это за *моути*, и смотри, скажи правду, чтобы не могли про тебя сказать, что ты не только иньянга, но и колдун. Так как в таком случае, — прибавил он многозначительно, тщательно подбирая слова, — может быть, мне захочется испытать, правда ли, что тебя нельзя убить, как других людей, тем более что недавно я слышал, будто ты питаешь вражду ко мне и к моему дому.

С минуту Зикали, казалось, оставался в нерешительности. Он сознавал, должно быть, опасное положение, в котором очутился, и быстрый ум его искал выхода. Затем он засмеялся своим жутким смехом и сказал:

— Ого! Король думает, что выдра попалась в ловушку. — И он бросил взгляд на охраняемую воинами изгородь и на свирепых палачей, пристально наблюдавших за ним. — Много раз казалось, что эта выдра попалась в ловушку, еще раньше, чем твой отец увидел свет, о сын Сензангаконы, и после этого. Однако я здесь стою живой. Не делай опытов, о король, смертный я или нет, так как, предупреждаю тебя, если смерть приходит к такому, как я, то она забирает с собою многих, многих других. Не слышал ты разве поверья, что когда величайший иньянга дойдет до конца своего жизненного пути, не будет больше короля зулусов, как не было его, когда он начал свой путь, ибо ему суждено видеть всех королей зулусов?

И он устремил свой взор на Мпанду и на Кетчвайо, которые в страхе съежились под его взглядом.

— Вспомни, — продолжал он, — что Лютый Владыка, которого давно уже нет в живых, грозил тому, кого он называл Тем-Кому-Не-Следовало-Родиться, и убил тех, кого он любил, но сам был убит потом другими,

которых тоже уже нет в живых, и что ты один, о Мпанда, не грозил ему, и что ты один, о Мпанда, не был убит. Теперь, если ты хочешь произвести опыт, могу ли я умереть, как другие люди, то прикажи своим собакам напасть на меня. Зикали готов. — И он скрестил руки и ждал.

Мы тоже все ждали, затаив дыхание, так как мы хорошо понимали, что страшный карлик вступил в состязание с Мпандой и Кетчвайо и бросил вызов им обоим.

Вскоре сделалось очевидным, что он выиграл игру, так как Мпанда только сказал:

— Для чего я стал бы убивать того, к кому я дружески относился в прошлом, и зачем ты говоришь такие неприятные слова о смерти, о Зикали, когда я и без того так много слышал о смерти в последнее время? — Он вздохнул и прибавил: — Пожалуйста, скажи нам, что это за снадобье? Или, если ты не хочешь, я пошлю за другим иньянгой.

— Почему мне не сказать тебе, когда ты спрашиваешь меня мягко и без угроз? Смотри! — И Зикали взял ядовитой травы, которая цветет по ночам на вершинах гор, и горе тому быку, который съест ее. — Эти корни были сварены в желчи и крови, и несчастье постигает хижину, если их со словами заклинания спрятать в ней. А это кость новорожденного ребенка, которого забросили в лес, потому что его ненавидели. Такая кость приносит несчастье другим грудным детям. Кроме того, она наполнена еще заколдованным порошком. Смотри! — И, вытащив из кости деревянную втулку, он высыпал из нее какой-то серый порошок. — Это, — сказал он, — зуб ядовитой змеи, который после известных заклинаний употребляется женщинами, чтобы отвратить сердце мужчины от другой женщины и привлечь его к себе. Я все сказал.

И он повернулся, чтобы уйти.

— Стой! — сказал король. — Кто положил это гнусное снадобье в хижину Садуко?

— Как могу я сказать это, о король, не сделав нужных приготовлений и не *испытав* преступника? Ты слышал рассказ этой женщины, Наханы. Можешь поверить ей или не поверить, как подскажет твое сердце.

— Если этот рассказ правдив, о Зикали, то как же ты сам указал на Мазапо как на убийцу ребенка, а не на Мамину?

— Ты ошибаешься, о король. Я, Зикали, указал на семью Мазапо. Затем я распознал яд и искал его сперва в волосах Мамины, но нашли его в плаще Мазапо. Я никогда не говорил, что Мазапо дал яд. Это уже решили вы, ты и твой совет, о король. Нет, я знал отлично, что еще что-то скрывается в этом деле, и если бы ты мне дал еще вознаграждение и

попросил бы меня продолжать мое гадание, то, несомненно, в конце концов я нашел бы это снадобье, спрятанное в хижине, и, может быть, узнал бы, кто его спрятал. Но я очень стар и устал тогда. И не все ли мне было равно, казнишь ли ты Мазапо или отпустишь его? Тем более, что Мазапо был твоим тайным врагом и заслужил смерть — если не за это дело, то за другое.

Все это время я наблюдал за Маминой. Она слушала это убийственное для себя свидетельское показание с легкой улыбкой на лице, не делая попыток прервать или объяснить его. Я заметил только, что когда Зикали осматривал снадобье, ее глаза искали взгляда Садуко, который молча сидел на своем месте и проявлял меньше интереса ко всему этому делу, чем кто-либо из присутствующих. Он избегал ее взгляда и отвернулся, но наконец взгляды их встретились, и она не спускала больше с него глаз. Я увидел, как сердце его быстро забилось, как грудь начала вздыматься и на лице его появилось выражение мечтательного довольства, даже счастья. С этого момента и до конца сцены Садуко не отрывал глаз от этой странной женщины, но кроме меня и Зикали, я думаю, никто не заметил этого любопытного обстоятельства.

Король заговорил.

— Мамина, — сказал он, — ты слышала? Есть у тебя что сказать против этого? Если нет, то, значит, ты признаешь себя виновной и должна будешь умереть.

— Одно слово только, о король, — спокойно ответила она. — Нахана говорит правду! Я действительно входила в хижину Нанди и положила туда снадобье.

— Значит ты произнесла себе приговор, — сказал Мпанда.

— Не совсем, о король… Я сказала, что я положила снадобье в хижину. Но я не сказала и не скажу, как и зачем я его положила. Пусть Садуко расскажет это тебе, он, который был моим мужем, которого я бросила для Умбулази и который поэтому как мужчина должен меня ненавидеть. Что он скажет, тому и быть. Если он объявит, что я виновна, то я виновна и готова поплатиться за свое преступление. Но если он скажет, что я невиновна, тогда, о король и о Кетчвайо, я без боязни отдаю себя вашему правосудию. Теперь говори, Садуко! Говори всю правду, какая бы она ни была, если такова воля короля!

— Такова моя воля! — сказал Мпанда.

— И моя тоже! — прибавил Кетчвайо, по-видимому сильно заинтересованный этим делом.

Садуко поднялся с своего места. Жизнь, казалось, покинула его. Никто

не узнал бы в нем гордого, тщеславного, самонадеянного Садуко. Это была только тень прежнего Садуко. Тусклые, мутные глаза его были неподвижно устремлены на прекрасные глаза Мамины, в то время как нерешительным голосом он медленно начал свой рассказ.

— Это верно, — сказал он, — что Мамина насыпала яду на циновку моего ребенка. Это верно, что она положила снадобье в хижину Нанди. Но она не знала, что делает, слепо повинуясь моему предписанию. Вот как было дело! С самого начала я всегда любил Мамину, как никогда не любил другой женщины и как никакая другая женщина никогда не была любима. Но когда я отправился с Макумазаном, который сидит здесь, в поход против Бангу, Умбези, отец Мамины, принудил ее против воли выйти замуж за Мазапо. Здесь, на празднестве, когда ты производил смотр племенам зулусов, о король, после того, как ты мне дал в жены Нанди, Мамина и я встретились и полюбили друг друга еще больше, чем прежде, но, будучи честной женщиной, Мамина оттолкнула меня и сказала: «У меня муж, и хотя я его не люблю, я буду ему верна». Тогда, о король, я решил отделаться от Мазапо, чтобы жениться на Мамине. Вот что я придумал: отравить моего сына и Нанди и устроить так, чтобы подумали на Мазапо, чтобы его казнили как колдуна и я мог бы жениться на Мамине.

Все ахнули при этом поразительном показании. Самый хитрый и самый жестокий из этих дикарей не мог придумать такой гнусности. Даже карлик Зикали поднял голову и вытаращил глаза. Нанди вышла из своего обычного спокойствия и вскочила, как бы желая что-то сказать, но, взглянув сперва на Садуко, а потом на Мамину, снова села и ждала. Садуко же продолжал тем же безразличным, размеренным голосом:

— Я дал Мамине порошок, который купил у одного знаменитого знахаря. Он жил по ту сторону Тугелы, но теперь уже умер. Я сказал Мамине, что это порошок против насекомых, которых было много в хижине и которых хотела уничтожить Нанди, и я научил Мамину, где нужно было посыпать его. Кроме того, я дал мешочек со снадобьем, приказав ей сунуть в солому у дверей хижины для того, чтобы якобы принести счастье моему дому. И все это сделала Мамина по моей просьбе, не зная, что порошок был ядом и снадобье было заколдовано. Таким образом, мой ребенок умер, как я этого хотел, а я сам захворал, потому что нечаянно дотронулся до порошка. После этого я зашил мешочек с ядом в плащ Мазапо, чтобы обмануть Зикали, и Мазапо был объявлен колдуном и казнен по твоему приказу, о король, а Мамина была отдана мне в жены. Позднее, как я уже говорил, она мне надоела, и, желая угодить Умбулази, я приказал ей отдаться ему, и Мамина это сделала из любви ко мне. Так что

ты видишь, о король, что она не виновна ни в одном пункте.

Садуко кончил говорить и как автомат сел на землю, все еще не спуская своих тусклых глаз с лица Мамины.

— Ты слышал, о король? — сказала Мамина. — Теперь произнеси свой приговор и знай, что если на то твоя воля, я готова умереть ради Садуко.

Но Мпанда вскочил в страшном бешенстве.

— Уберите его! — Крикнул он, указывая на Садуко. — Уберите этого пса, который съел свое собственное дитя и недостоин жить.

Палачи прыгнули вперед. Я не мог вынести этого больше и стал приподниматься, чтобы высказать свое мнение, но не успел я встать, как заговорил Зикали.

— О король, — сказал он, — как оказывается, ты по этому делу осудил несправедливо одного человека, а именно Мазапо. Неужели ты хочешь так же несправедливо осудить и другого? — И он указал на Садуко.

— Что ты хочешь этим сказать? — сердито спросил Мпанда. — Разве ты не слышал, что этот негодяй, которого я сделал предводителем многих племен и которому дал в жены свою дочь, своими собственными устами признался, что он отравил своего ребенка, чтобы сорвать плод, который рос у дороги и от которого всякий мог отгрызть кусочек. — И он презрительно взглянул на Мамину.

— Да, о король, — ответил Зикали, — я слышал, как Садуко это сказал своими собственными устами, но голос, которым он говорил, не был голосом Садуко. Если бы ты был таким искусным иньянгой, как я, то знал бы это так же, как знает это белый человек Макумазан, который также умеет читать в сердцах людей. Слушай, о король, и слушайте вы все, советники короля, что я вам расскажу. Мативаан, отец Садуко, был моим другом, как он был твоим другом, о король. Когда Бангу убил его и все его племя с разрешения Лютого Зверя, я спас его сына, воспитал его в своем доме и полюбил его. Когда он стал мужчиной, я показал ему две дороги: дорогу мудрости, которая ведет к познанию, и дорогу безумия, которая через кровь ведет к смерти, и я предложил ему выбрать, по какой дороге он хочет пойти.

На его дороге уже стояла женщина, та, которая сидит здесь, и, манила его к себе. И он пошел за ней. С самого начала она была ему не верна, взяв в мужья более богатого человека. Затем, когда Садуко сделался знатным и богатым, ей стало жаль, и она пришла ко мне спросить моего совета, как ей отделаться от Мазапо, которого она ненавидела. Я сказал ей, что она может бросить его или ждать, пока судьба не уберет его с ее пути.

Тогда она, никто другой, отравила ребенка Нанди, добилась казни Мазапо и втерлась в хижину Садуко. Здесь она жила некоторое время, пока новая тень не упала на ее дорогу, тень принца, которого уже больше нет в живых. Она обольстила и его, надеясь с его помощью стать первой женщиной в стране, и бросила ради него Садуко.

Тогда в груди Садуко появилась ревность и он только и думал о мщении. В битве при Индондакузуке ему удалось привести свой план в исполнение. Как он уже раньше сговорился с Кетчвайо, — не отрицай, о Кетчвайо, я все знаю, — он перешел со своим полком на сторону узуту, вызвав этим поражение Умбулази и смерть многих тысяч людей. Да, и сделал он это только по одной причине: потому что любил ту женщину, которая довела его до безумия, любил больше всего на свете. А теперь, о король, ты слышал, как этот человек громогласно объявил, что он подлее последнего человека во всей стране, что он умертвил своего ребенка, которого он так любил, для того чтобы заполучить эту женщину, что потом он ее сам отдал своему другу и господину, чтобы купить его милости, и что, наконец, он предал этого господина, надеясь получить от нового господина большие милости. Так ли он говорил, о король?

— Так, — ответил Мпанда, — и поэтому Садуко надлежит бросить на съедение шакалам.

— Подожди немного, о король. Я утверждаю, что Садуко говорил не своим собственным голосом, а голосом Мамины. Я утверждаю, что она величайшая колдунья во всей стране, и что она опоила его зельем своих глаз, и что он сам не знает, что говорит.

— Докажи это! — воскликнул король.

Карлик подошел к Мпанде и шепнул ему на ухо, а Мпанда, в свою очередь, шепнул двум своим советникам, которые немедленно встали и сделали вид, что идут к калитке изгороди. Но, проходя мимо Мамины, один из них внезапно обхватил ее, скрутив ей руки назад, а другой накинул ей свой каросс на голову и завязал его так, чтобы она была вся покрыта им, кроме ног. Мамина не сопротивлялась и не двигалась, но они продолжали ее крепко держать. Затем Зикали заковылял к Садуко, долгое время пристально глядел на него и сделал несколько движений рукой перед его лицом. Садуко глубоко вздохнул, как бы с удивлением, и стал озираться.

— Садуко, — сказал Зикали, — прошу тебя сказать мне, твоему приемному отцу, правду ли говорят люди, что ты продал свою жену Мамину принцу Умбулази для того, чтобы на тебя дождем посыпались его милости?

— Зикали! — вскричал Садуко в припадке ярости. — Будь ты как все

люди, я убил бы тебя, гнусная жаба, за то, что ты осмеливаешься помоями обливать мое имя. Она убежала с принцем, потому что обольстила его чарами своей красоты.

— Не бей меня, Садуко, — продолжал Зикали, — пока не ответишь мне еще на один вопрос. Правду ли говорят, что в битве при Индондакузуке ты перешел со своими полками на сторону узуту, потому что ты думал, что Умбулази будет разбит, и желал быть на стороне победителя?

— Это клевета! — вскричал Садуко. — Я перешел для того, чтобы отомстить Умбулази за то, что он отнял от меня ту, которая была для меня дороже жизни и чести. До моего перехода победа склонялась на сторону Умбулази, а когда я перешел, он проиграл битву и умер, чего я и хотел. Но теперь, — грустно прибавил он, — я сожалею, что довел его до гибели, так как вижу, что он, подобно мне, был только орудием честолюбивых замыслов этой женщины. — О король, — прибавил он, обращаясь к королю, — убей меня, умоляю тебя! Недостоин жить тот, чьи руки обагрены кровью его друга.

— Не слушай, отец мой, — воскликнула Нанди, вскочив с места. — Он сумасшедший! Отдай мне этого несчастного человека на попечение, отец мой, мне, его жене, которая любит его, и позволь нам уйти отсюда в другую страну.

— Молчи, дочь, — сказал король. — И ты, о иньянга Зикали, замолчи тоже.

Они повиновались ему, и, подумав немного, Мпанда движением руки приказал снять с Мамины плащ. Она спокойно огляделась кругом и спросила, что это за детская игра, в которой ее заставляют принимать участие.

— Да, женщина, — ответил Мпанда, — ты вела игру, но не детскую, а игру не на жизнь, а на смерть. Ты слышала, что говорили Зикали Мудрый и Садуко, твой бывший муж, или нужно повторить тебе их слова?

— Не нужно, король. У меня такой острый слух, что я слышу и через меховой плащ, и терять понапрасну время не надо.

— В таком случае, что ты скажешь на все это, женщина?

— Немного, — ответила она, пожав плечами. — Скажу, что я проиграла игру. И еще скажу, что Садуко свою первую историю рассказал не потому, что я заколдовала его, а из любви ко мне, желая меня спасти. Заколдовал же его, как и вас всех, вот этот колдун Зикали — Зикали, враг твоего дома, который поклялся уничтожить весь твой род. Он околдовал Садуко и против его воли силой вырвал правду из его сердца.

Что еще мне вам сказать? Все, в чем меня обвиняют, все это я сделала.

Ставка в моей игре была крупная — я желала стать владычицей зулусов и была на волосок от выигрыша. Мне казалось, что я все рассчитала, однако я не приняла во внимание безумной любви и ревности этого глупца Садуко. Я вижу теперь, что мне следовало убить Садуко перед тем, как бросить его. Три раза я думала об этом. Один раз я всыпала яд в его питье, но он вернулся домой усталый и озабоченный и, прежде чем выпить, поцеловал меня. Сердце мое смягчилось, я опрокинула чашу, которую он поднес уже к губам. Ты помнишь, Садуко?

Из-за одной этой глупости я заслуживаю быть убитой, потому что женщина, стремящаяся к власти, должна обладать сердцем тигрицы. Я же была слишком добра, а потому должна умереть. Но не страшно умереть той, которую в царстве теней встретят тысячи и тысячи воинов под предводительством твоего сына Умбулази, которых я послала туда раньше меня. С окровавленными, поднятыми ассегаями и с королевским салютом встретят они меня как инкосазану смерти.

Я умираю охотно. Вы, мужчины, мне все надоели, и я ненавижу вас. Вы болваны, которых так легко напоить допьяна, а в пьяном виде вы такие противные и грубые! Пфф!

Теперь, король, прежде чем ты спустишь на меня своих цепных собак, я прошу только об одной милости. Я сказала, что ненавижу всех мужчин, но, как ты знаешь, женщина никогда не может говорить правды — всей правды. Есть мужчина, которого я не ненавижу, которого я никогда не ненавидела и которого, я думаю, я люблю, потому что он не захотел полюбить меня. Вот он сидит здесь… — И, к моему крайнему смущению и к удивлению всех присутствующих, она указала на меня, Аллана Квотермейна. — Однажды своими чарами, о которых вы здесь так много говорили, я одержала победу над его сердцем, но опять по доброте душевной отпустила его. Да, я отпустила его, редкую рыбу, которая уже попалась ко мне на крючок. И вот, когда он был у моих ног и я пощадила его, он дал мне обещание — небольшое обещание, но я думаю, что теперь, когда мы с ним расстаемся навсегда, он сдержит его. Макумазан, обещал ли ты мне поцеловать меня еще один раз в губы, когда бы и где бы я ни попросила тебя об этом?

— Обещал, — глухим голосом ответил я, чувствуя, как ее взгляд притягивал меня.

— Подойди тогда ко мне, Макумазан, и поцелуй меня на прощанье. Король позволит это, а так как у меня теперь нет мужа, то некому запретить тебе.

Я встал. Я чувствовал, что не мог поступить иначе. Я подошел к ней, к

этой женщине, которая вела игру на крупную ставку и проиграла ее, но и при проигрыше оставалась с высоко поднятой головой.

Медленно подняла она свои гибкие руки и обвила ими мою шею, медленно наклонила свои алые губы к моим и поцеловала меня, один раз в рот и один раз в лоб. Но между этими двумя поцелуями она сделала такое быстрое движение, что я едва мог уловить глазами, что она сделала. Мне показалось, что она левой рукой провела по своим губам и сделала движение горлом, будто проглотила что-то. Затем она оттолкнула меня от себя и проговорила:

— Прощай, Макумазан, ты никогда не забудешь моего прощального поцелуя. Прощай, Зикали. Надеюсь, что все твои дела увенчаются успехом, так как ты ненавидишь тех, кого и я ненавижу, и я не питаю к тебе злобы за то, что ты раскрыл правду. Прощай, о Кетчвайо. Ты никогда не станешь тем, чем был твой брат, и злая участь ожидает тебя… Прощай, Садуко, глупец, разбивший свое благополучие ради женских глаз. Всепрощающая Нанди будет ухаживать за тобой до твоей смерти. Но что это? Почему Умбулази наклоняется над твоим плечом, Садуко, и смотрит на меня так странно? Прощай, Мпанда, тень короля… Теперь выпусти на меня своих палачей. Выпусти их скорее, иначе они опоздают.

Мпанда поднял руку, и палачи бросились вперед, но прежде чем они достигли Мамины, она вздрогнула всем телом, широко раскинула руки и упала навзничь… мертвой. Яд, который она приняла, подействовал быстро.

Так умерла Мамина, Дитя Бури. Последовала глубокая тишина… тишина, полная благоговейного ужаса. Но внезапно она была прервана взрывом жуткого, страшного смеха. Это смеялся карлик Зикали, Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться.

Глава XVI. Мамина!… Мамина!… Мамина!…

В тот же день король дал мне разрешение покинуть Землю Зулу, и мне показалось величайшим счастьем распрощаться с зулусами.

Вечером, перед закатом солнца, когда я собирался двинуться в путь, я увидел странную фигуру, ковылявшую по склону холма по направлению ко мне и поддерживаемую двумя дюжими молодцами. Это был Зикали.

Он молча прошел мимо меня и только знаками дал мне понять, чтобы я последовал за ним. Он дошел до плоского камня, находившегося в ста метрах выше моего лагеря, где не было ни одного куста, в котором можно было бы спрятаться. Он сел и указал мне на другой камень перед ним, Когда я сел, он отослал обоих молодцов, и мы остались одни.

— Так ты уезжаешь, Макумазан? — спросил он.

— Да, уезжаю, — ответил я. — Будь на то моя воля, я давно уехал бы отсюда.

— Да, да, я знаю, но это было бы жаль, не правда ли? Если бы ты уехал, Макумазан, ты не увидел бы до конца этой странной истории, и ты, который любишь изучать людей, не узнал бы многого, что знаешь теперь.

— И не был бы таким печальным! О Зикали! Подумать только, что эта женщина умерла!

— Я понимаю, Макумазан. Ты всегда любил ее, хотя самолюбие белого человека не допускало того, чтобы черные пальцы дергали нити его сердца. Она была изумительная чаровница, эта Мамина. И этим ты можешь себя утешить — она дергала нити не только твоего сердца, но и других — Мазапо, например, Садуко, Умбулази… и даже моего сердца.

— Если твоя любовь проявляется так, как сегодня к Мамине, то молю тебя, чтобы ты никогда не питал ко мне любви.

Он ответил, с сожалением покачав головой.

— Разве не приходилось тебе любить ягненка, а потом заколоть его, когда ты был голоден, или когда он превратился в большого барана и хотел забодать тебя, или когда он прогонял других твоих овец, так что они попадали в руки воров? Видишь, я, как голодный, жду гибели дома Сензангаконы, а ягненок-Мамина сделалась слишком большой и едва не повалила… меня сегодня. Кроме того, она старалась загнать мою овцу, Садуко, в такую яму, откуда он никогда не мог бы выбраться. Поэтому, хотя

и против моей воли, я вынужден был рассказать о ней всю правду.

— Она умерла, — сказал я, — и к чему теперь говорить о ней?

— Ах, Макумазан, она умерла, но дела ее рук оставили следы. Суди сам: Умбулази, и большинство вождей, и тысячи тысяч зулусов, которых я, потомок Ндвандве, ненавижу, умерли. Это дело рук Мамины. Мпанда обессилен от горя, и глаза его ослепли от слез. Это тоже дело рук Мамины. Кетчвайо взойдет на престол и доведет до гибели дом Сензангаконы. Это тоже дело рук Мамины. О, какие коварные дела! Поистине, она прожила великую и достойную жизнь и умерла великой и достойной смертью. И как она ловко проделала. Успел ты заметить, как она между поцелуями приняла яд, который я ей дал, — хороший яд, не правда ли?

— Все это дело твоих рук, а не ее! — вырвалось у меня. — Ты дергал за нити, ты был тем ветром, которым нагибал траву, пока огонь не охватил ее и не загорелся крааль — крааль твоих врагов,

— Как ты, однако, прозорлив, Макумазан. Да, я знаю, как дергать за веревки, чтобы захлопнулась западня, я знаю, как нагибать траву, чтобы огонь охватил ее, и как раздувать пламя, чтобы в нем погиб род королей. Правда, западня захлопнулась бы и без меня, но она поймала бы в свои сети других крыс, и трава загорелась бы, если бы я не дул на нее, но только тогда огонь мог сжечь и не то, что нужно. Не я создал эти силы, Макумазан, я только направил их куда следует, чтобы достигнуть своей цели — падения дома Сензангаконы.

— Но я не понимаю, почему ты взял на себя труд прийти сюда ко мне? — спросил я.

— О, я хотел попрощаться с тобой, Макумазан. А также рассказать тебе, что Мпанда, или, вернее, Кетчвайо, по просьбе Нанди пощадил жизнь Садуко, но изгнал его из страны, позволив ему взять с собою скот и всех людей, кто захочет пойти с ним в изгнание. По крайней мере, как говорит Кетчвайо, это сделано по просьбе Нанди и по моей и твоей просьбе, но на самом деле после того, что случилось, он считает благоразумнее, если Садуко погибнет от самого себя.

— Ты хочешь сказать, что он лишит себя жизни?

— Нет, нет. Я хочу сказать, что его собственный дух убьет его понемногу. Видишь, Макумазан, ему и теперь уже кажется, что дух Умбулази преследует его.

— Другими словами, он сошел с ума, Зикали.

— Да, да. Называй его сумасшедшим, если хочешь. Сумасшедшие живут всегда с духами, или, вернее, духи вселяются в сумасшедших. Ты понимаешь теперь?

— Понимаю, — ответил я.

— Но смотри, солнце уже село. Тебе следовало бы быть уже в пути, если ты к утру хочешь быть далеко от Нодвенгу. Вот здесь небольшой подарок для тебя, моей собственной работы. Разверни этот пакет, когда снова взойдет солнце. Этот подарок будет напоминать тебе о Мамине, о Мамине с пламенным сердцем. Прощай, Макумазан! О, если бы ты сбежал с Маминой, как все могло бы сложиться иначе!

На следующее утро я раскрыл пакет, данный мне Зикали. Внутри я увидел вырезанную из черной сердцевины дерева *умцимбити* фигурку Мамины, на ней было оставлено немного белой древесины, чтобы обозначить глаза, зубы и ногти. Конечно, исполнение было грубое, но сходство было — или, вернее, есть, потому что я до сих пор храню эту фигурку, — поразительное! Она стоит, слегка наклонившись вперед, с протянутыми руками, с полураскрытыми губами, как бы собираясь поцеловать кого-то; в одной руке она держит человеческое сердце, тоже вырезанное из белой древесины *умцимбити* — я предполагаю, что это сердце Садуко или Умбулази.

Но это было не все. Фигурка была завернута в женские волосы, в которых я сразу признал волосы Мамины, а вокруг волос было обмотано ожерелье из крупных синих бус, то самое, которое она всегда носила на шее.

*** * ***

Прошло около пяти лет, когда однажды я очутился в отдаленной части Наталя, в районе Умвоти, в нескольких милях от холма Иланд.

Однажды мои фургоны застряли посреди брода небольшого притока Тугелы, который очень некстати разлился в это время. Только к наступлению ночи мне удалось вытащить фургоны на берег. Дождь лил как из ведра, и я промок до костей. По-видимому, не было надежды на возможность развести костер и приготовить себе ужин, поэтому я уже собирался идти спать не поужинав. Но при свете вспыхнувшей молнии я увидел в какой-нибудь полумиле от себя большой крааль на склоне горы.

— Кому принадлежит этот крааль? — спросил я одного из кафров, которые из любопытства собрались вокруг нас.

— Тшозе, инкоси, — ответил кафр.

— Тшоза? Тшоза? — повторил я, так как имя мне показалось знакомым. — Кто такой Тшоза?

— Не знаю, инкоси. Он пришел из Земли Зулу несколько лет тому назад вместе с Садуко Сумасшедшим.

Тогда, конечно, я сразу вспомнил его, и вспомнил ту ночь, когда старик Тшоза, дядя Садуко, выпустил из краалей стада Бангу и мы сражались бок о бок с ним в ущелье.

— Вот оно что! — воскликнул я. — Ведите меня в таком случае к Тшозе. Я дам вам за это шиллинг[35].

Соблазненные таким щедрым предложением, кафры повели меня по темной извилистой тропинке. Я был счастлив, когда мы, шлепая по лужам, перешли через последний поток воды и очутились у калитки.

Мы постучали, и среди оглушительного лая собак я попросил впустить меня и провести к Тшозе. В ответ мне сообщили, что Тшоза здесь не живет, а живет в другом месте, что он слишком стар, чтобы видеть кого-либо, что он спит и ему нельзя мешать, что он умер на прошлой неделе и похоронен — и тому подобную ложь.

— Слушай, приятель, — сказал я парню, говорившему мне все эти небылицы, — ступай-ка в могилу и скажи ему, что если он немедленно не выйдет оттуда живым, то Макумазан поступит с его скотом так же, как Тшоза некогда поступил со скотом Бангу.

Пораженный необычностью моих слов, парень отправился передать их, и вскоре при бледном свете луны я увидел маленького сморщенного старичка, бежавшего по направлению ко мне.

— Макумазан! — воскликнул он. — Неужели это ты? Войди, и добро пожаловать!

Я вошел. За сытным ужином, которым он меня угостил, мы разговорились с ним о былых временах.

— А где же Садуко? — спросил я, зажигая трубку.

— Садуко? — ответил он, и лицо его изменилось. — Он здесь. Ты знаешь, я ушел вместе с ним из Земли Зулу. Зачем я ушел? По правде сказать, после той роли, которую мы сыграли в битве при Индондакузуке — против моей воли, Макумазан, — я подумал, что безопаснее будет покинуть страну, где предатели не могли рассчитывать на друзей.

— Правильно! — сказал я. — А где же все-таки Садуко?

— Я тебе не сказал? Он в соседней хижине и умирает.

— Умирает? От чего, Тшоза?

— Не знаю, — ответил он таинственно, — я думаю, его околдовали. Уже больше года, как он почти ничего не ест и не переносит темноты. В

сущности, с тех пор как мы покинули Землю Зулу, он все время был странный.

Тут я вспомнил слова Зикали пять лет тому назад, что Садуко лишился рассудка.

— Он много думает об Умбулази, Тшоза? — спросил я.

— О, Макумазан, он не думает ни о чем другом. Дух Умбулази не покидает его ни днем ни ночью.

— Могу я видеть Садуко? — спросил я.

— Не знаю, Макумазан. Я пойду и спрошу Нанди. Если можно его видеть, то нельзя терять времени. — И он вышел из хижины.

Минут через десять он вернулся с Нанди, такой же спокойной и выдержанной, какой я ее всегда видел и знал, только от забот она выглядела старше своих лет.

— Привет тебе, Макумазан, — сказала она. — Я рада видеть тебя, но странно, очень странно, что ты пришел как раз сегодня. Садуко покидает нас, он отправляется в свой последний путь, Макумазан.

Я с грустью ответил, что уже слышал об этом, и поинтересовался, захочет ли он меня видеть.

— Да, Макумазан, он будет рад, но только приготовься к тому, что ты найдешь Садуко совсем не тем, каким ты его знал. Иди за мной.

Мы вышли из хижины, прошли через двор и вошли в другую большую хижину. Она была освещена лампой европейского изделия, а также ярким огнем, горевшем в очаге, так что в хижине было светло как днем. У стены хижины на циновке лежал человек. Он закрывал глаза рукой и стонал.

— Прогоните его от сюда! Прогоните его! Неужели он не может мне дать умереть спокойно?

— Ты хочешь прогнать своего старого друга Макумазана, Садуко? — мягко спросила его Нанди. — Макумазана, который пришел навестить тебя?

Он присел, одеяло спало с него, и я увидел, что это был просто живой скелет. О! Как он не был похож на гибкого, красивого вождя, которого я знавал прежде! Губы его вздрагивали, глаза были полны ужаса.

— Это действительно ты, Макумазан? — спросил он слабым голосом. — Подойди ко мне и встань как можно ближе, чтобы он не мог встать между нами. — И он протянул свою костлявую руку.

Я взял руку, она была холодна как лед.

— Да, да, это я, Садуко, — сказал я веселым тоном, — и между нами никто не стоит. Здесь только твоя жена Нанди и я.

— О нет, Макумазан, здесь в хижине есть еще один, кого ты не

видишь. Вот он стоит. — И он указал на очаг. — Смотри. Он пронзен ассегаем, и перо его лежит на земле.

— Кто пронзен, Садуко?

— Кто? Разве ты не знаешь? Принц Умбулази, которого я предал ради Мамины.

— Ты говоришь пустые слова, Садуко, — сказал я. — Много лет тому назад я видел, как умер Умбулази.

— Нет, нет. Ты помнишь его последние слова: «До самой твоей смерти я не дам тебе покоя!» И с этого часа я не имел покоя.

Он снова закрыл глаза рукой и застонал.

— Он сумасшедший! — прошептал я Нанди.

— Пусть ярче горит огонь, — снова заговорил Садуко. — Я не так ясно вижу его, когда светло. О Макумазан, он смотрит на тебя и шепчет что-то. Кому он шепчет? Я вижу! Это Мамина. Она тоже смотрит на тебя и улыбается… Они разговаривают… Молчи. Я хочу послушать.

Вид сумасшедшего Садуко действовал мне на нервы, и я хотел выйти, но Нанди не пустила меня.

— Останься со мной до конца, — прошептала она.

Садуко продолжал бредить.

— Какую ловкую яму ты вырыл для Бангу, Макумазан. Но ты не захотел взять своей доли скота, так что кровь амакобов не пала на твою голову… Ах, как сражались ама-вомбы при Индондакузуке. Ты был с ними, Макумазан. Но почему меня не было рядом с тобой? Мы как вихрь смели бы тогда узуту… Почему меня не было?… Ах да, я помню… из-за Дочери Бури. Она изменила мне ради Умбулази, а я изменил Умбулази ради нее. Ах, и все это было напрасно, потому что Мамина ненавидела меня. Я читаю это в ее глазах. Она смеется надо мной и ненавидит меня еще больше, чем ненавидела живой… Но что она говорит? Она говорит, что это не ее вина, потому что она любит… любит…

Удивление отразилось на его измученном лице. Он раскинул руки и простонал слабеющим голосом:

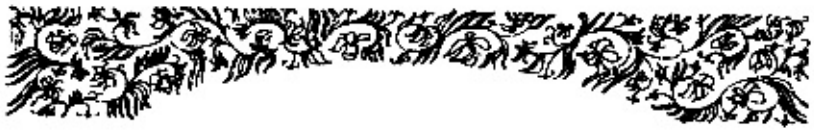
— Все… все было напрасно… О Мамина! Ма-ми-на! Ма-ми-на! — И он замертво упал на циновку.

*** * ***

— Садуко ушел от нас, — сказала Нанди, натягивая каросс на его лицо. — Но мне интересно бы знать, — добавила она с легким истеричным смехом, — кого могла полюбить Мамина?… Бессердечная Мамина…

Я ничего не ответил, потому что в эту минуту я услышал странный звук где-то наверху, над хижиной. Что он напоминал мне? Ах да, я знал. Он был похож на жуткий страшный смех Зикали, Того-Кому-Не-Следовало-Родиться.

Несомненно, однако, это был лишь крик какой-то ночной птицы. Или, быть может, это смеялась гиена — гиена, почуявшая покойника…



Аллан Квотермейн





АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН

ВСТУПЛЕНИЕ

Я похоронил недавно моего мальчика, моего милого мальчика, которым я так гордился. Сердце мое разбито. Так тяжело — иметь одного сына и потерять его. Божья воля! И я не мог ничего поделать. Смею ли я, могу ли жаловаться? Неумолимо вертится колесо судьбы и давит всех нас поочередно — одних раньше, других позже, — и в конце концов уничтожает всех. Мы не падаем ниц пред неумолимым роком, как бедные индийцы, мы пытаемся убежать туда или сюда, мы вопим о пощаде… Но бесполезно! Как гром, разражается над нами мрачный рок и обращает нас в пыль и прах.

Бедный Гарри! Умереть так рано, когда целая жизнь открывалась перед ним! Он так усердно работал в больнице, так блестяще сдал последние экзамены, и я так гордился этим, полагаю, даже больше, чем он сам. Ему нужно было отправиться в другую больницу для изучения инфекции оспы. Он писал мне оттуда, что не боится оспы и что ему необходимо изучить болезнь и набраться опыта. Страшная болезнь унесла его, и я, старый, седой, слабый, остался оплакивать его, совсем одинокий на свете. Нет никого, ни детей, ни близких, чтобы пожалеть и утешить меня. Я мог спасти его, не пускать туда, У меня достаточно средств для нас обоих, — более, чем нужно, копи царя Соломона в изобилии снабжают меня деньгами. Но я говорил себе: нет, пусть мальчик учится жить, пусть работает, чтобы насладиться потом отдыхом! Но этот отдых застал его среди работы. О, мой мальчик, мой дорогой мальчик! Судьба моя похожа на судьбу библейского Иова, который имел много имущества, много житниц с хлебом, — я тоже припас много добра для моего мальчика! Бог прислал за его душой, и я остался один, в полном отчаянии. О, я хотел бы умереть вместо моего милого мальчика! Мы похоронили его после полудня под сенью древней серой церковной башни, в той деревне, где я живу. Это был печальный день. Тяжелые снеговые тучи обложили небо. Как только гроб опустили в могилу, несколько снежных хлопьев упало на него. Чистой девственной белизной сияли они на черных покровах! Перед тем как опустить гроб в могилу, произошло замешательство, — забыли нужные веревки. Мы стояли молча и ждали, наблюдая, как пушистые снежные

хлопья падали на гроб, словно благословение неба, таяли и превращались в слезы над телом бедного Гарри. Это еще не все. Красногрудый снегирь смело спустился, сел на гроб и начал петь. Я испугался и упал на землю с растерзанным сердцем. Сэр Генри Куртис, человек более сильный и смелый, чем я, также упал на колени, а капитан Гуд отвернулся. Как ни велико было мое горе, я не мог не заметить этого.

Эта книга — извлечение из моего дневника, который я вел более двух лет тому назад. Я переписываю его вновь, так как мне кажется, что он может служить началом истории, которую я собираюсь рассказать, если Богу угодно будет дозволить мне окончить ее. Не велика беда, если я не окончу. Этот отрывок из дневника был написан за семь тысяч миль от того места, где я лежу теперь, больной, и пишу это, а красивая девушка стоит около меня и отгоняет мух от моего августейшего лица. Гарри — там, а я здесь, и все же я чувствую, что и я скоро уйду к нему.

В Англии я жил в маленьком красивом доме, — говорю в красивом доме, сравнивая его с домами, к которым я привык в Африке, — не дальше чем в пятистах ярдах от старой церкви, где спит вечным сном мой Гарри. После похорон я вернулся домой и немного поел, но может ли быть хороший аппетит у того, кто похоронил все свои земные надежды! Немного поев, я принялся ходить, вернее, ковылять — я давно уже хромаю благодаря укусу льва — взад и вперед по отделанной под дуб передней комнате, потому что в моем английском доме есть комнаты. На четырех стенах комнаты было размещено около сотни пар рогов. Тут были действительно прекрасные образцы, так как я хранил только лучшие рога. В центре комнаты, над большим камином, находилось пустое пространство, где я повесил свои ружья. Некоторые из них были старинного образца, которых теперь уже не увидишь, я достал их сорок лет тому назад. Одно старое оружие я купил несколько лет назад у бура, который сказал мне, что из этого оружия стрелял его отец в битве у Кровавой реки[36], после того как Дингаан напал на Наталь и убил шестьсот человек, включая женщин и детей. Буры назвали это место — местом палача, и так оно и называется до сих пор. Много слонов убил я из этого старого ружья. Оно вмещает горсть черного пороха и три унции[37] дроби и дает сразу двойной выстрел. Итак, я прохаживался взад и вперед, посматривая на ружья и рога, и великая тревога заползала ко мне в душу. Я должен уехать прочь из этого дома, где живу праздно и спокойно, опять в дикую страну, где я провел лучшую половину своей жизни, где встретил мою дорогую жену, где родился мой бедный Гарри, где случилось со мной

столько хорошего и дурного. Во мне жила жажда пустыни, дикой страны, я не мог выносить более моей жизни здесь, я должен уехать и умереть там, где жил, среди дикарей и диких зверей! Расхаживая по комнате, я размышлял и смотрел на лунный свет, серебристым блеском заливавший небесный свод и таинственное море кустарника, наблюдал за причудливой игрой его на воде. Говорят, господствующая в человеке страсть сильнее всего сказывается перед смертью, а мое сердце умерло в эту ночь. Независимо от моего волнения, понятно, что ни один человек, проживший сорок лет так, как я, не может безнаказанно запереться в Англии, с ее нарядными, отгороженными, возделанными полями, с ее чопорными, образцовыми манерами, с разодетой толпой. Мало-помалу он начнет тосковать о свежем дыхании воздуха пустыни, грезить безбожными зулусами, которые подобно орлам бросаются на врагов со скалы, и сердце его возмутится против узких границ цивилизованной жизни.

И это цивилизация?! Что дает она? Целых сорок лет провел я среди дикарей, изучал их нравы и обычаи, потом несколько лет прожил в Англии и по собственному глупому разумению присматривался к детям цивилизации. И что же я нашел? Огромную пропасть между теми и другими? Нет, небольшое расстояние, которое простодушный человек легко перепрыгнет. Дикарь и цивилизованный человек — очень похожи друг на друга, только последний — изобретательнее и обладает тягой к различным общественным объединениям. Зато дикарь, насколько я узнал его, не знает жадности к деньгам, которые, подобно раку, впиваются в сердце белого человека. В общих чертах, дикарь и дитя цивилизации сходны между собой. Смею думать, что высокообразованная дама, читая эти строки, улыбнется наивности старого глупца охотника, когда подумает о своих черных увешанных бусами сестрах! Улыбнется также высококультурный прожигатель жизни, смакуя свой обед в клубе. Сумма, истраченная на этот обед, позволила бы прокормить целую неделю не одну голодную семью! Моя дорогая барышня! Что за прелестные вещи надеты у вас на шейке? Они имеют странное сходство, особенно когда вы одеваете низко вырезанное платье, с украшениями дикой женщины. Ваша привычка вертеться кругом под звуки музыки, ваше пристрастие к притираниям и пудре, уловки, к которым вы прибегаете, чтобы найти себе богатого завоевателя, который должен сделаться вашим супругом, ловкость, с которой вы убираете себе голову перьями и всякой всячиной — все это приближает вас к вашим черным сестрам! Вспомните, что в основных принципах вашей природы вы совершенно схожи с ними! Вы, сударь, также смеетесь? Пусть дикарь придет и ударит вас по лицу, пока вы

наслаждаетесь удивительно приготовленным блюдом, мы удивимся тогда, не сидит ли в вас самих такой же дикарь?!

Я уеду навсегда отсюда. Что здесь хорошего? Цивилизованные люди — те же дикари, позолоченные сверху! Цивилизация — суетные слова; подобно северному сиянию, она сверкнет и исчезнет, и окружающий мрак сгустится еще сильнее! Она подобна дереву, выросшему на почве варварства, и я уверен: рано или поздно, но она падет, как пала цивилизация Египта, культура эллинов и римлян и много других, которых не перечесть. Не подумайте, что я осуждаю современные учреждения, представляющие из себя экстракт человеческих экспериментов на пользу общую! Цивилизация дала нам большие преимущества, например больницы. Но подумайте, эти больницы наполнены больными людьми, жертвами той же цивилизации! В диких странах больниц нет. Возникает вопрос: на сколько больше эти благословенные люди обязаны христианству, чем цивилизации?

Весы опускаются, поднимаются, — здесь больше, там меньше, — и природа дает средний результат на обеих чашах весов, и общая сумма является главным фактором в этом огромном уравнении, результат равен неизвестному количеству целей и намерений.

Разумеется, на все это можно смотреть только как на вступление молодого народа на путь прогресса. Мне приятно думать, что мы пытаемся иногда понять те или иные границы нашей природы, что серьезность познаний вовсе не пугает нас! Человеческое искусство необъятно и растяжимо, подобно эластичной ленте, но человеческая природа похожа на железное кольцо. Вы можете его обойти кругом, можете отлично отполировать его, сплющить, можете прицепить его к другому кольцу, но никогда, пока существует мир и человек, не сумеете увеличить его постоянную окружность. Это — вещь неизменяемая, как звезды на небе, более прочная, чем горы, неизменная, как пути Вечного. Природа человека — это калейдоскоп Бога, маленькие цветные стекла, в которых отражаются наши страсти, надежды, страхи, радости, стремления к добру и злу. Всемогущая Десница управляет ими, как звездами, уверенно и спокойно составляя их во все новые сочетания и комбинации. Но основные элементы природы остаются неизменными независимо от того, будет ли больше цветных стекол или меньше.

Цивилизация должна осушить человеческие слезы, а мы плачем и не можем утешиться. Война отвратительна ей, а мы деремся ради домашнего очага, ради дома, чести и славы и находим удовлетворение в драке. И так везде и во всем.

Когда сердце убито, а голова лежит во прахе, нам не надо цивилизации. Назад, назад! Мы ползем назад, укладываемся на груди великой Природы, как малютки, и ждем, что она утешит нас, заставит нас забыть пережитое или спасет от жала воспоминаний!

Кто из нас в своем великом горе не чувствовал желания посмотреть в дивное лицо Природы, нашей всеобщей матери? Кто не стремился лежать где-нибудь на горе и следить, как облака плывут по небу, слушать раскаты отдаленного грома, слиться хоть ненадолго своей бедной, жалкой жизнью с жизнью Природы, почувствовать биение ее сердца, забыть все свои печали, погрузиться в ее вечную энергию и жизненную силу! Она создала нас, от нее мы произошли, к ней и вернемся! Она дала нам жизнь и поглотит нас в своих недрах.

Расхаживая по комнатам своего дома в Йоркшире[38], я мечтал о нежных объятиях матери-природы. Не той природы, которую вы знаете и видите — в ровных зеленеющих лесах, в улыбающихся нивах, но дикой Природы, такой, какой она была создана, нетронутой, девственной, не знающей борющегося и мятущегося человечества. Я уйду туда, где на свободе бегают звери, назад, в страну, история которой никому не известна, к дикарям, которых я люблю, хотя некоторые из них так же беспощадны, как политическая экономия. Там я научусь спокойно думать о бедном Гарри, который лежит под сенью старой церкви, и сердце мое не будет разрываться от тоски.

Декабрь, 23.

I. Совет консула

Прошла неделя со времени похорон бедного Гарри. Однажды вечером я ковылял по комнате и раздумывал, как вдруг позвонили у наружной двери. Спустившись по лестнице, я сам открыл дверь. Вошли мои старые друзья — сэр Генри Куртис и капитан Джон Гуд. Они уселись перед камином, где, я хорошо помню это, горел яркий огонь.

— Вы очень добры, что зашли ко мне, — сказал я. — Не очень приятно гулять по такой погоде!

Они ничего не сказали, но сэр Генри молча набил свою трубку и наклонился прикурить ее у камина. В это время большое сосновое полено ярко вспыхнуло и осветило всю его фигуру. Он был удивительно красивый человек. Спокойное, властное лицо, тонкие правильные черты, большие серые глаза, золотистые волосы и борода — великолепный образец утонченного человеческого типа. Его фигура не уступала по красоте лицу. Я никогда не видел таких могучих плеч и такой широкой груди. В сущности, сэр Генри так пропорционально сложен, что, несмотря на свой рост — свыше шести футов, — он не выглядит высоким человеком. Я смотрел на него и не мог не подумать, какой забавный контраст с его лицом и рослой фигурой представляет моя собственная тщедушная особа. Вообразите себе маленького, слабого человека шестидесяти трех лет, с пожелтевшим лицом, тонкими руками, большими темными глазами и коротко остриженными поседевшими волосами на голове, торчащими как щетина, худого, утонувшего в своем платье, — вы будете иметь полное представление об Аллане Квотермейне, которого обыкновенно называют «охотник Квотермейн», а по месту рождения — «Макумазан-англичанин».



Капитан Гуд мало походил на нас. Коротенький, мрачный, очень коренастый человек с мерцающими черными глазами, с вечным моноклем в глазу. Я назвал его коренастым, но это слишком мягко, скорее это дюжий человек. В последнее время, я должен, к сожалению, признаться, Гуд начал

очень некрасиво толстеть. Сэр Генри уверяет, что это происходит от праздности и обжорства. Гуду это не нравится, хотя он не может отрицать этого.

Некоторое время мы сидели молча, потом я зажег лампу, стоявшую на столе, так как печальный полумрак в комнате сильнее нагонял тоску, наполнявшую сердце человека, похоронившего неделю назад все надежды своей жизни. Я открыл шкаф, находившийся в стене, и нашел там бутылку виски, несколько бокалов и воду. Я люблю делать все сам, для меня невыносимо вечно видеть кого-нибудь около себя, под боком.

Куртис и Гуд сидели молча — я полагаю, потому, что им нечего было сказать мне, что они рады были утешить меня своим присутствием, своим молчаливым сочувствием моему горю, так как это был их второй визит после похорон.

И это верно, что иногда, в тяжелые минуты тоски, нас лучше успокаивает молчаливое присутствие людей, чем разговор, который раздражает нас. Мои друзья сидели и курили, пили виски с содовой, я стоял у камина, также курил и смотрел на них. Наконец я заговорил.

— Старые друзья, — сказал я, — как давно мы вернулись из Страны Кукуанов?

— Три года, — сказал Гуд. — Почему вы спрашиваете?

— Я спрашиваю потому, что достаточно отведал цивилизации. Я поеду обратно к дикарям!

Сэр Генри откинул голову на спинку кресла и улыбнулся своей глубокой, загадочной улыбкой.

— Как странно! — сказал он. — А, Гуд?

Гуд таинственно взглянул на меня сквозь свой монокль.

— Да, странно, очень странно!

— Я ничего не понимаю, — произнес я, смотря то на одного, то на другого, — я не люблю загадок!

— Не понимаете, старый дружище? — сказал сэр Генри. — Я объясню вам. Мы с Гудом шли сюда и толковали… Он говорил…

— Если Гуд что-либо и говорил, — возразил я саркастически, — то Гуд ведь мастер болтать. Что же это такое?

— Как вы думаете? — спросил сэр Генри.

Я покачал головой. Откуда я мог знать, что говорил Гуд? Он болтает о массе вещей.

— Это относительно маленького плана, который я составил, — а именно, если вы захотите, мы можем отправиться в Африку в новую экспедицию!

Я подпрыгнул при этих словах.

— Что вы говорите? — воскликнул я.

— Да, я это говорю, и Гуд тоже говорит! Не правда ли, Гуд?

— Верно! — ответил джентльмен.

— Выслушайте, дружище! — продолжал сэр Генри, заметно оживляясь. — Я устал, смертельно устал от безделья, разыгрывая роль сквайра[39]. Больше года я не могу найти себе покоя, как старый слон, почуявший опасность. Я вечно грежу о Стране Кукуанов, о копях царя Соломона и сделался жертвой непреодолимого стремления бежать отсюда, уверяю вас! Мне до смерти надоело убивать фазанов и куропаток, я нуждаюсь в путешествии. Вы поймете это чувство — раз попробовав виски с содовой, молока не возьмешь и в рот! Год, проведенный нами в Стране Кукуанов, кажется мне, стоит всех остальных лет моей жизни, сложенных вместе. Добавлю (может, я глуп), что я страдаю от этого, но помочь ничем не могу. Я скучаю и, более того, только и думаю, как бы убраться отсюда!

Он помолчал и продолжал.

— В конце концов, почему мне не ехать? У меня нет ни жены, ни родных, ни ребят, ни цыплят. Если со мной что-либо случится, то баронетство перейдет к моему брату Джорджу и его сыну, как известно. Мне нечего делать здесь!

— А, я так и думал, что рано или поздно вы придете к этому. Ну, теперь вы, Гуд. Какие у вас причины для путешествия? Есть они?

— Да, — ответил торжественно Гуд, — я ничего не делаю без причины, и если тут замешана дама, то не одна, а несколько!

Я взглянул на него. Гуд удивительно суетный человек.

— Что же у вас? — спросил я.

— Если вы желаете знать, хотя мне не хотелось бы говорить о деликатном и касающемся лично меня деле, — я скажу вам: я начал слишком толстеть!

— Перестаньте, Гуд! — сказал сэр Генри. — Квотермейн, скажите нам, что вы можете предложить?

Я зажег свою трубку, прежде чем ответить.

— Слыхали ли вы, господа, о горе Кения?[40] — спросил я.

— Нет, я не знаю такого места! — ответил Гуд.

— А слыхали ли вы об острове Ламу?[41]

— Нет… Погодите. Не он ли находится почти в трехстах милях к северу от Занзибара?[42]

— Да. Слушайте. Вот, что я предлагаю вам. Отправимся в Ламу и

оттуда надо сделать двести пятьдесят миль, или вроде этого, и там, я уверен, никогда еще не ступала нога белого человека. Затем, если мы пойдем дальше, то вступим в совершенно неизведанную область. Что вы скажете на это, друзья мои?

— Трудный план! — сказал Генри задумчиво.

— Вы правы, — ответил я, — но я решил это, потому что мы все втроем отправимся выполнять этот трудный план. Нам нужна перемена образа жизни, и мы найдем совершенно иную природу, иных людей — полную перемену. Всю мою жизнь я мечтал посетить эти страны, и я надеюсь сделать это раньше, чем умру. Смерть моего мальчика порвала последнюю связь между мной и цивилизованным миром, и я вернулся к своей природной дикости. Теперь я скажу вам другую вещь. В продолжение нескольких лет до меня доходили слухи о великой белой расе, которая, как предполагали, обитает где-то в этом направлении, и я мечтаю увидеть этих людей, если они действительно существуют. Если вы, друзья, желаете отправиться со мной, отлично! Если нет, я поеду один!

— Я с вами, хотя и не верю в вашу белую расу! — сказал сэр Генри Куртис, вставая и кладя руку на мое плечо.

— Я тоже! — заметил Гуд. — Я потащусь за вами! Всеми силами я постараюсь добраться до Кении или в другое место с труднопроизносимым именем и увижу несуществующую белую расу! Вот все, что я скажу!

— Когда вы предполагаете отправиться? — спросил сэр Генри.

— В этом месяце, — отвечал я. — На пароходе «Британская Индия». Вы не уверены в существовании расы, потому что не слышали о ней, Гуд! Вспомните о копях царя Соломона!

Четырнадцать дней прошло со времени этого разговора. После долгих рассуждений и справок мы пришли к заключению, что нашим исходным пунктом для путешествия к горе Кения должна быть не Момбаса[43], а устье реки Таны, на сто миль ближе к Занзибару.

Мы решили это благодаря сведениям, которые дал один немецкий путешественник, встретившийся нам на пароходе в Аден[44]. Я думаю, что это самый грязный немец, которого я когда-либо знавал, но он был добрым малым и дал нам драгоценные сведения.

— Ламу? — сказал он. — Вы едете в Ламу? О, какое это прекрасное место! — он повернул к нам свое жирное лицо и подмигнул с выражением кроткого восхищения. — Полтора года я прожил там и никогда не менял рубашки, совсем никогда!

Прибыв на остров, мы сошли с парохода со всем своим имуществом и,

не зная, куда идти, смело направились к дому консула, где были гостеприимно приняты.

Ламу — занятное местечко, но что больше всего осталось у меня в памяти, так это необычайная грязь и вонь. Это было нечто ужасное. Около консульства тянется взморье, вернее, грязный берег, называемый взморьем. Во время отлива берег совершенно гол и служит местом свалки всяких нечистот, отбросов города. Женщины зарывают в прибрежную грязь кокосы, оставляя их тут, пока верхняя шелуха совершенно не сгниет, тогда их вырывают из грязи и из волокон плетут циновки и разные другие вещи. Это занятие переходит по наследству из поколения в поколение, поэтому трудно описать все ужасное состояние берега. Я изведал много дурных запахов в течение своей жизни, но никогда не ощущал такой ужасающей вони, как здесь, на берегу, когда мы сидели при свете месяца под гостеприимной кровлей нашего друга консула. Неудивительно, что народ здесь умирает от лихорадки. Местечко само по себе не лишено известной прелести, но это впечатление исчезает под гнетом зловония.

— Куда вы думаете отправиться, джентльмены? — спросил нас гостеприимный консул, когда мы закурили наши трубки после обеда.

— Мы предполагаем отправиться к Кении, а оттуда в Лекакизара, — отвечал сэр Генри. — Квотермейн слышал что-то о белой расе людей, живущих в неизведанных землях!

Консул посмотрел на нас, заинтересованный, и ответил, что он также слышал об этом.

— Что вы слышали? — спросил я.

— О, не много. Все, что мне известно, я узнал из письма, полученного мною год тому назад от Макензи, шотландского миссионера, миссия которого находится в самом верховьи реки Тана.

— У вас есть его письмо? — спросил я.

— Нет, я уничтожил его, но помню, что он писал, как один человек явился к нему и заявил, что он путешествовал два месяца, пока добрался до Лекакизара, где не бывал никогда еще белый человек. Там он нашел озеро под названием Лага, затем он пошел дальше к северо-востоку, и странствовал целый месяц через пустыни, целые заросли колючего терновника и огромные горы и наконец достиг страны, где жили белые люди в каменных домах. Сначала его приняли очень гостеприимно, но потом жрецы сочли его дьяволом и народ хотел убить его. Он убежал от них и путешествовал восемь месяцев, добрался наконец до миссионерского дома и умер, как я слышал. Вот все, что я знаю. И если вы спросите меня, я отвечу вам, что все это ложь. Но, быть может, вам нужно узнать об этом

поточнее, тогда поезжайте к миссионеру Макензи на Тану и расспросите его!

Сэр Генри и я переглянулись. Все это было загадочно.

— Я думаю, что нам придется отправиться туда! — сказал я.

— Отлично, — отвечал консул, — это самое лучшее, что вы можете сделать, но я должен предостеречь вас, что это будет очень тяжелое путешествие, потому что я слышал, что масаи[45] бродят неподалеку, а с ними шутки плохи. Лучше всего, если вы наймете нескольких людей в качестве ваших слуг и охотников, а также нескольких носильщиков. Правда, с ними у вас будет немало хлопот, но все же это окажется дешевле и выгоднее, чем нанимать целый караван. Кроме того, у вас будет меньше риска, что они убегут.

К счастью, в Ламу находился в это время отряд аскари[46] племени ваква[47]. Ваква представляют из себя мужественный народ, обладающий многими хорошими качествами зулусов и большой тягой к цивилизации. Все они отличные охотники. Случилось так, что эти люди совершили длинное путешествие с одним англичанином по имени Джадсон, который отправился из Момбасы и обошел вокруг Килиманджаро, одной из высочайших гор Африки. Бедняга, он умер от лихорадки на обратном пути, на расстоянии одного дня от Момбасы. Он перенес массу опасностей и не дожил нескольких часов, которые отделяли его от спасения. Охотники похоронили его и прибыли в Ламу. Наш друг консул убедил нас нанять этих людей. На следующее утро мы отправились повидаться с ними, сопровождаемые переводчиком.

Мы нашли их в грязной лачуге в предместье города. Трое из них сидели у лачуги и выглядели добродушными молодцами более или менее цивилизованного вида. Мы осторожно объяснили им цель нашего посещения, сначала совсем безуспешно. Они прямо заявили, что и говорить не хотят об этом, что они слишком устали и измучились в долгом путешествии, что сильно горюют о смерти своего хозяина. Они думают отправиться домой и отдохнуть.

Все это звучало неутешительно, и чтобы отвлечь их внимание, я спросил, где находятся остальные из них. Мне сказали, что их шестеро, а я видел только троих. Один из них сказал мне, что остальные трое спят в лачуге, отдыхая от трудов.

— Сон отягчил их веки, — добавил он, — и сердце их облегчилось. Самое лучшее — это спать, потому что сон дает забвение! К несчастью, человек должен просыпаться!

Наконец трое остальных мужчин, зевая, вышли из хижины. Первые двое, очевидно, той же самой расы, как те, что стояли передо мной. Но увидя третьего, я готов был выпрыгнуть из собственной кожи. Это был человек чуть ли не саженного роста, но худощавый, с крепкими стальными мускулами. Один взгляд на него сказал мне, что он был не из племени ваква, а чистейшей воды зулус. Он вышел, прикрывая рот тонкой, почти аристократической рукой, чтобы скрыть зевоту. Я сейчас же заметил, что он *кешла*, или человек с кольцом[48]. Он отнял руку от рта, и я увидел энергичное лицо зулуса — с насмешливым ртом, короткой, уже поседевшей бородкой и парой темных соколиных глаз. Я сразу узнал этого человека, хотя и не видел его двенадцать лет.

— Как ты поживаешь, Умслопогас? — спросил я его.

Высокий человек, о происхождении и приключениях которого на его родине ходили целые легенды, известный под именами «Дятла» и «Губителя», взглянул на меня и в удивлении выронил из рук боевой топор. Сейчас же он узнал меня и поклонился.

— Инкоси! — сказал он. — Старый инкоси! Великий инкоси! Баба![49] Макумазан! Старый охотник! Губитель слонов, пожиратель львов! Зоркий, осторожный, смелый, спокойный! Его выстрелы всегда метки, его глаза зорки! Он верен друзьям! Отец! Мудрость говорит голосом нашего народа: гора никогда не встретится с горой, но на рассвете человек встретится с другим человеком! Слушай! Пришел вестник из Наталя. «Макумазан умер! — вскричал он. — Макумазана больше нет на земле!» Это было несколько лет тому назад. Теперь, в этом странном месте, я нахожу Макумазана, моего друга. Тут нечего сомневаться. Старый шакал поседел, но разве глаза его не зорки и зубы не остры? Ха! Ха! Макумазан, помнишь, как ты всадил пулю между глаз буйвола? Помнишь…

Я позволил ему болтать, потому что видел впечатление от его слов на лицах остальных охотников, которые, казалось, поняли его болтовню. Но потом я прервал его, потому что ненавижу эту манеру зулусов чрезмерно восхвалять человека.

— Молчи! — сказал я. — Я удивляюсь, что вижу тебя с этими людьми! Я оставил тебя вождем на твоей родине. Как ты попал сюда вместе с этими чужеземцами?

Умслопогас облокотился на ручку своего длинного топора с прекрасно сделанной роговой рукояткой, и лицо его омрачилось.

— Отец мой! — отвечал он. — Мне надо сказать тебе, но я не могу говорить перед этой сволочью, — он взглянул на ваква, — мои слова годны

только для твоих ушей. Отец мой, я скажу тебе, — лицо его потемнело, — одна женщина смертельно оскорбила и обманула меня, покрыла мое имя позором, моя собственная жена, круглолицая девушка, обманула меня. Но я избежал смерти, убив тех, которые желали убить меня. Вот этим топором я ударил три раза: направо, налево и в лоб — ты помнишь, как я бью — и убил трех человек. Потом я убежал, и хотя я не молод, но мои ноги легки, как ноги антилопы, и никто не поймает меня на бегу. Я бежал из своего собственного крааля, и за мной гнались убийцы и выли, словно собаки на охоте. Спрятавшись, я выследил ту, которая меня обманула, когда она шла за водой к источнику. Подобно тени смерти, я налетел на нее и ударил топором. Ее голова упала в воду. Тогда я бежал к северу. Три месяца блуждал я, не останавливаясь, не отдыхая, все дальше и дальше, пока не встретил белого охотника. Он умер, а я пришел сюда с его слугами. Ничего у меня нет. Я происхожу от высокого рода, от крови Чаки, Великого Владыки — теперь я странник, человек, не имеющий крааля. Ничего у меня нет, кроме топора. Они отняли у меня мой скот, взяли моих жен, мои дети не увидят более моего лица! Вот этим топором, — он вертел вокруг головы своим ужасным оружием, — я пробью себе новую дорогу. Я все сказал!

— Умслопогас, — сказал я, — я давно знаю тебя. Ты самолюбив, родился от королевской крови и, пожалуй, превзошел самого себя теперь. Несколько лет тому назад, когда ты составил заговор против Кетчвайо, я предостерег тебя, и ты послушался. Теперь, когда меня не было с тобой, ты натворил всяких бед. Но что сделано, то сделано. Забудем это! Я знаю тебя, Умслопогас, как великого воина, презирающего смерть. Выслушай меня. Видишь ли ты этого высокого человека, моего друга? — Я показал ему на сэра Генри. — Он такой же великий воин, как ты, и, пожалуй, шире тебя в плечах. Его зовут Инкубу (Слон). А вот другой, видишь, с круглым животом, блестящим глазом и веселым лицом. Его зовут Бугван (Стеклянный глаз), он хороший человек и происходит из старого племени, которое проводит всю жизнь на воде и живет в плавучих краалях. Нас трое, и мы отправляемся путешествовать в глубь страны, пройдем Белую Гору (Кения) и вступим в неизведанные области. Мы не знаем, что будет с нами, мы будем охотиться, искать приключений, новые места, потому что нам надоело сидеть в городе и видеть одно и то же вокруг себя. Хочешь идти с нами? Ты будешь начальником наших слуг, но что с нами будет, я не знаю. Раньше мы уже путешествовали втроем, брали с собой одного человека по имени Амбопа и оставили его правителем великой страны, повелителем убранных перьями воинов, которые повиновались одному его слову. Что

будет теперь — неизвестно. Может быть, смерть ждет нас. Хочешь идти с нами или боишься, Умслопогас?

Старый воин засмеялся.

— Ты не совсем прав, Макумазан, — сказал он, — не самолюбие довело меня до падения, а — позор, и стыд мне! — красивое женское лицо. Но забудем это. Я иду с вами. Жизнь или смерть впереди, что мне за дело, если можно убивать, если кровь потечет рекой. Я старею, старею и все-таки я великий воин среди воинов! Посмотри! — Он показал на бесчисленные рубцы, шрамы, царапины на груди и руках.

— Знаешь, Макумазан, сколько человек убил я в рукопашном бою? Сосчитай, Макумазан! — Он указал мне на пометки, сделанные на роговой рукоятке топора. — Сто три! Я не считаю тех, кому я вскрыл живот[50].

— Довольно, — сказал я, заметив, что его трясет, как в лихорадке,

— замолчи! Ты поистине Губитель. Мы не любим слышать об убийствах. Слушай, нам нужны слуги. Эти люди, — я указал на ваква, которые отошли в сторону во время нашего разговора, — не хотят идти с нами!

— Не хотят идти? — вскричал Умслопогас. — Какая собака не хочет идти, когда мой отец приказывает? Ты, слушай! — одним сильным прыжком он очутился около солдата, с которым я говорил ранее, схватил его за руку и крепко сжал. — Собака! — повторил он, сильно сжимая руку испуганного человека. — Ты сказал, что не пойдешь с моим отцом? Скажи еще раз, и я задушу тебя… — его длинные пальцы впились в горло ваква, — скажи, и те остальные… Разве ты забыл, как я служил твоему брату?

— Нет, мы пойдем с белым человеком! — пробормотал человек.

— Белый человек! — продолжал Умслопогас с притворно усиливающейся яростью. — О ком ты говоришь, дерзкая собака?

— Мы пойдем с великим инкоси!

— То-то! — сказал Умслопогас спокойным голосом и внезапно отнял руку, так что аскари упал назад. — Я так и думал!

— Этот Умслопогас имеет сильное нравственное воздействие на своих спутников! — заметил потом Гуд.

II. Черная рука

Скоро мы покинули Ламу и через десять дней очутились в местечке Чарра на реке Тана, испытав много разных приключений, о которых не стоит и говорить. Между прочим, мы посетили разрушенный город, который, судя по многочисленным развалинам мечетей и каменных домов, некогда был очень населенным местом. Эти разрушенные города, а их тут несколько, относятся к глубокой древности, и, я думаю, были богаты и имели значение во времена Ветхого Завета, когда они служили центром торговли с Индией. Но слава их исчезла, когда прекратилась торговля невольниками. Там, где когда-то богатые торговцы, собравшиеся со всех концов мира, толпились и торговали на площадях, громко ревет лев, охраняя свое логовище, и вместо болтовни невольников и пронзительных голосов барышников по разрушенным проходам и коридорам звучит эхо его ужасного рычанья. Тут, в ограде, где валялся всевозможный мусор, мы нашли два огромных камня удивительной красоты и жалели, что не могли унести их с собой. Нет сомнения, что они украшали собой вход во дворец, от которого не осталось и следа.

Исчезло, все исчезло! Подобно благородным господам и госпожам, в незапамятные времена жившим за этими воротами, города эти кипели когда-то жизнью, а теперь погибли, как Вавилон и Ниневия, как погибнут в свое время Лондон и Париж. Ничто не вечно — таков непреложный закон. Мужчины, женщины, империи, города, троны, власть, могущество, горы, реки, моря, миры, пространства — все это погибнет. В этих заброшенных развалинах моралист увидит символ участи всей вселенной.

В Чарра мы жестоко поссорились с начальником наших носильщиков, которых мы наняли идти дальше. Он вздумал заломить с нас небывалую цену.

В конце концов он пригрозил нам призвать масаев. В ту же ночь он бежал со всеми нашими носильщиками, стащив большую часть нашего имущества, которую им поручено было нести.

К счастью, им не удалось стащить наши винтовки, нашу одежду — разумеется, не из деликатности, а потому, что вся эта поклажа оказалась в руках пятерых ваква.

После этого мы ясно поняли, что нам надо бросить всякую мысль о караванах и носильщиках, да и имущества у нас осталось немного. Куда и как нам отправиться теперь?

Гуд быстро решил эту задачу.

— Здесь вода, — сказал он, указывая на реку, — вчера я видел туземцев, которые в пирогах охотились за гиппопотамами. Я знаю, что дом миссионера Макензи находится на реке Тана. Почему бы не отправиться туда на лодках?

Это блестящее предложение было встречено с радостью. Я сейчас же решил купить нужные нам лодки у туземцев. Через три дня я сумел заполучить две больших пироги, каждая из них была выдолблена из огромного бревна и могла вместить шесть человек с багажом. За эти две пироги мы отдали все оставшиеся у нас деньги и некоторые вещи.

На следующий день мы пустились в путь на двух пирогах. В первой находились Гуд, сэр Генри и трое аскари, во второй сидели я, Умслопогас и двое остальных ваква. Нам пришлось идти вверх по реке, и мы попробовали пустить в дело наши четыре весла и работали все, кроме Гуда, как невольники. Эта была тяжелая, утомительная работа.

Гуд, едва успев войти в лодку, очутился в родной стихии и принял команду над нами. Он знатно командовал. На суше Гуд был вежливым джентльменом, с мягкими манерами, любившим подурачиться. На воде же это был сущий демон. Он знал в совершенстве все, что касалось воды и плавания, от морской торпеды до умения держать весло в африканских пирогах, а мы не знали ровно ничего. Его понятия о дисциплине были очень строги, короче сказать, он оказался нашим повелителем на воде и сторицей отплачивал нам за небрежность, с которой мы относились к нему на суше. Но, с другой стороны, я должен сказать, что он удивительно хорошо правил лодкой.

Через день Гуду удалось с помощью кое-какой одежды приделать парус к каждой пироге, что несколько облегчило наш труд. Течение было очень сильно, и мы с трудом делали по двадцать миль в день.

Мы отправлялись в путь на рассвете и плыли до десяти часов, когда солнце начало жечь так, что грести было невозможно. Тогда мы выходили на берег, съедали наш скромный обед, после которого спали или занимались чем-нибудь до трех часов дня.

В три часа мы снова отправлялись в путь и плыли до заката солнца, когда останавливались на ночлег. Однажды вечером, пристав к берегу, Гуд задумал с помощью аскари устроить ограду из терновых кустов и развести огонь. Я, сэр Генри и Умслопогас отправились подстрелить что-нибудь к ужину. Задача была легкая, потому что на берегах Таны водится много всякого зверья и дичи. Однажды ночью сэр Генри убил самку жирафы, мозговая часть которой — великолепное блюдо.

Мне удалось убить пару косуль. Иногда мы разнообразили наш стол, убивая гвинейских кур или павлинов, которых здесь множество, или ловили прекрасную рыбу, которой изобилует Тана.

Через три дня с нами произошло неприятное приключение. Мы, по обыкновению, пристали к берегу на ночлег, как вдруг заметили невдалеке человеческую фигуру, очевидно поджидавшую нас. Одного взгляда было достаточно, чтобы я узнал молодого воина из племени масаев.

Если бы я даже усомнился в этом, то все сомнения мои рассеялись бы, услышь я испуганный крик наших ваква: «Масаи»!

Какую дикую, воинственную фигуру представлял он собой! Я привык к виду дикарей, но скажу, что никогда не видел лица более свирепого и внушающего ужас. Он был громадного роста, почти как Умслопогас, и красив, но красотой дьявола. В правой руке он держал копье в пять с половиной футов длины, причем только клинок имел два с половиной фута. В его левой руке находился большой щит эллиптической формы из кожи буйвола, на котором были нарисованы странные геральдические надписи. На плечах его лежал капюшон из меха, а вокруг шеи была надета полоса бумажной пестрой материи. Обычная одежда из шкуры козы была завязана узлом, в виде пояса, а на боку торчал меч, который представлял из себя кусок стали, вложенный в деревянные ножны. Самой замечательной принадлежностью во всем его одеянии был головной убор из страусовых перьев, который сходился у подбородка и шел вокруг всего лица, удивительно оттеняя сатанинское выражение физиономии дикаря рамкой пестрых перьев. Вокруг лодыжек болталась черная бахрома, а на ногах были одеты шпоры, из-под которых торчали пучки прекрасного черного обезьяньего меха.

В таком наряде стоял масай, поджидая наши пироги. Я не мог различить всех подробностей его костюма, совершенно подавленный общим впечатлением и мыслью о том, что же мы должны предпринять.

Пока мы размышляли о том, что нам делать, воин двинулся с места, махнул на нас копьем и исчез.

— Ага! — закричал сэр Генри с другой лодки. — Наш друг, начальник каравана, сдержал свое слово и выдал нас масаям. Не опасно ли приставать к берегу?

Я думал, что это небезопасно, но, с другой стороны, мы не могли ничего состряпать в пироге, чтобы поесть, а есть хотелось всем. Наконец Умслопогас ускорил наше решение, заявив, что пойдет на разведку, и пополз в кустарник, как змея, а мы остались ждать его на воде. Через полчаса он вернулся и сказал нам, что мы видели масая, а не просто воина-

дикаря, что он сам выследил место, где они действительно расположились лагерем, и по разным признакам думает, что масаи тронулись не более чем час тому назад. Воин, которого мы видели, был послан донести о нашем появлении. Мы причалили к берегу, расположились кружком, поужинали и принялись обсуждать всю опасность нашего положения. В сущности, возможно, что появление воина вовсе не грозит нам ничем, что он один из шайки, посланной грабить и убивать людей из вражеского племени. Но когда мы вспомнили угрозу наших носильщиков и зловещее помахивание копьем в нашу сторону, дело показалось нам несколько иным. Одно было несомненно: отряд масаев следит за нами и ждет удобного случая, чтобы напасть на нас.

Дело обстояло так, что у нас было два исхода: или идти вперед, или убираться назад. Последнее было отвергнуто всеми, тем более, что, отступая, мы могли наткнуться на еще большие опасности. Поэтому мы решили во чтобы то ни стало отправиться вперед. Рассудив, что спать на берегу небезопасно, мы забрались в пироги и отвели их на середину реки, прикрепив их вместо якоря к большим камням толстыми веревками, сделанными из кокоса.

Здесь москиты усердно накинулись на нас, и это, вместе с боязнью за свою безопасность, отогнало от меня сон, хотя другие спали, не обращая внимания на москитов. Я лежал, курил, размышлял, обдумывая, главным образом, как избежать масаев. Была чудная лунная ночь, и, несмотря на москитов и на опасность заболеть лихорадкой, ночуя на реке, несмотря на судорогу в моей правой ноге от неудобного положения в пироге, на то, что спящие ваква отчаянно храпели, я поистине наслаждался чудной ночью. Лучи месяца играли на поверхности реки, воды которой неуклонно стремились к морю, как человеческая жизнь к могиле. На берегах царил мрак, и ночной ветер печально вздыхал в тростниках. Слева от нас, на берегу реки, находилась песчаная отмель, на которой не было деревьев. Тут я мог различить целое стадо антилоп, подошедших к воде пить. Вдруг раздалось зловещее рычание, и все испуганно убежали. Через несколько минут я увидел массивную фигуру его величества царя зверей, явившегося запивать свой обед. Он медленно двигался в тростниках в пятидесяти шагах от нас, а еще через несколько минут исполинская черная масса выделилась из воды и захрапела.

Это был гиппопотам. Все происходило так близко от меня, что я видел, как он, движимый желанием узнать, что такое представляют из себя наши пироги, открыл свою пасть, посмотрел и широко зевнул, давая возможность полюбоваться своими клыками.

Я хотел всадить ему пулю, но, подумав, оставил его в покое, тем более что он был слишком тяжел для нашей пироги. Скоро он бесшумно исчез из виду. При взгляде вправо, на берег, мне показалось, что я вижу темную фигуру, прячущуюся за деревьями. У меня очень острое зрение, так что я был уверен, что вижу кого-то, но был ли это зверь, птица или человек — я не мог различить.

В это время темное облачко закрыло месяц, лес затих. Вдруг раздался резкий, хорошо мне знакомый крик совы, повторившийся настойчиво несколько раз. После этого наступила полнейшая тишина, только ветер шумел среди деревьев и в тростнике.

Неизвестно почему, меня охватило странное нервное возбуждение. Особых причин для этого пока не было, потому что путешественник в Центральной Африке постоянно окружен опасностями, но тем не менее я не мог успокоиться. Обыкновенно я смеюсь и не верю разным предчувствиям, но теперь помимо моей воли мною овладело гнетущее чувство близкой опасности. Холодный пот выступил у меня на лбу, но мне не хотелось будить других. Я чувствовал, что страх мой возрастает, пульс бился слабо, как у умирающего человека, нервное состояние дошло до крайности. Это ощущение вполне знакомо тому, кто подвержен кошмарам. Но моя воля торжествовала над страхом, я продолжал полулежать в пироге, повернув лицо в сторону Умслопогаса и двоих ваква, спавших около меня.

На некотором расстоянии я слышал всплески гиппопотама, затем крик совы повторился неестественно визгливым звуком[51]. Ветер жалобно тянул душераздирающую песню. Над нашими головами стояло мрачное облако, а под нами — холодная, черная масса воды. И я ощущал дыхание смерти в окружающем мраке! Это было гнетущее ощущение. Вдруг я почувствовал, что кровь застыла в моих жилах и сердце перестало биться. Показалось мне или мы двигаемся? Я повернулся взглянуть на лодку за нами, но заметил худую черную руку, протянутую над пирогой.

Неужели это кошмар? В ту же минуту темное дьявольское лицо показалось из воды. Пирога покачнулась, блеснул нож, раздался ужасный крик одного из спящих ваква, и что-то теплое брызнуло мне в лицо.

В одно мгновение я очнулся, понял, что это не кошмар, а нападение масаев. Схватив первое, что попалось под руку, — это был топор Умслопогаса, — я изо всех сил ударил им в том направлении, где видел руку с ножом. Удар пришелся прямо по руке и отрубил всю кисть. Дикарь не издал ни стона, ни крика. Явившись, как привидение, он исчез так же таинственно, оставив после себя отрубленную руку, все еще сжимающую нож, воткнутый в сердце нашего бедного аскари.

Между дикарями произошло смятение, и мне показалось, — не знаю, верно ли это было, — что несколько голов скользнуло по воде к правому берегу, у которого должна была очутиться наша пирога, так как якорная веревка была перерезана.

Теперь я понял план дикарей. Они перерезали веревку, чтобы пирогу естественным течением реки прибило к берегу, где ждал отряд воинов с копьями, готовый перебить всех нас.

Схватив весло, я велел Умслопогасу взять другое, — оставшийся в живых аскари был ни жив ни мертв от страха, — и мы принялись усердно грести к середине реки. И как раз вовремя, потому что через несколько минут мы оказались бы у берега, и тогда нам всем грозила бы неминуемая смерть.

Как только мы достаточно отдалились от берега, то поспешили узнать, уцелела ли наша вторая пирога.

Тяжелая и опасная это была работа в окружающем мраке! Очевидно, милосердный Бог руководил нами. Наконец, усердно работая веслами, мы натолкнулись на нашу другую пирогу и были рады узнать, что на ней все благополучно.

Несомненно, та же черная рука дикаря, которая перерезала нашу веревку, намеревалась сделать это и с другой пирогой, если бы дикаря не погубила непреодолимая наклонность убивать при всяком удобном случае. И хотя это стоило жизни одному из нас, но зато спасло всех остальных от гибели! Не явись эта черная рука, этот призрак около лодки, — я никогда до смерти не забуду этой минуты, — пирога была бы у берега, прежде чем я смог сообразить, что случилось, и эта история не была бы написана!

III. У миссионера

Мы прикрепили остатки нашей веревки к другой пироге и стали ожидать рассвета, поздравляя друг друга с избавлением от страшной опасности, что скорее было милостью к нам Провидения, чем результатом наших собственных усилий. Наконец начало светать. Редко когда я встречал рассвет с такой радостью. На дне пироги лежал несчастный аскари и около него окровавленная рука дикаря. Я не мог выносить этого зрелища. Взяв камень, который служил якорем для пироги, мы привязали к нему тело убитого человека и бросили его в воду. Он пошел ко дну, и только пузыри остались на воде после него. Ах! Когда придет время, большинство из нас канет в Лету, оставив на поверхности только пузыри — единственный след нашего существования! Руку дикаря мы тоже бросили в реку. Кинжал, который мы вытащили из груди убитого, был очень красивый, очевидно арабской работы, с рукояткой из слоновой кости, отделанной золотом. Я взял его себе вместо охотничьего ножа, и он оказался очень полезным мне. Один из ваква перебрался ко мне в пирогу, и мы снова пустились в путь в невеселом расположении духа, надеясь добраться до миссии только ночью.

Через час после восхода солнца полил сильный дождь, еще более ухудшив наше положение. Мы промокли до костей, так как не могли укрыться от дождя в пирогах. Ветер упал, паруса были бесполезны, и мы ползли потихоньку с помощью весел.

В одиннадцать часов мы пристали к левому берегу; дождь несколько утих, и мы развели огонь, поймали и зажарили рыбу, не смея пойти в лес поохотиться. В два часа мы тронулись в путь, взяв с собой запас жареной рыбы.

Дождь полил еще сильнее. Плыть по реке становилось все труднее, благодаря камням, мелководью и чрезвычайно сильному течению. Очевидно было, что к ночи нам не добраться до гостеприимной кровли миссии — перспектива не особенно приятная! В пять часов пополудни, совершенно измученные, мы могли точно определить, что находимся почти в десяти милях от миссии. Примирившись с этим, нам необходимо было позаботиться о безопасном ночлеге.

Мы не решились пристать к берегу, покрытому густой растительностью, где могли спрятаться масаи. К счастью, мы заметили маленький скалистый островок на середине реки. Мы сейчас же пристали к

нему, крепко привязали пироги и вышли на землю, стараясь устроиться возможно комфортнее, насколько это позволяли обстоятельства. Что касается погоды, то она была просто отвратительна: дождь пронизывал нас до костей, мешая развести огонь. Одно обстоятельство несколько утешило нас. Наши аскари объявили, что ничто не заставит масаев напасть на нас в такую погоду, так как они не любят дождя и ненавидят даже саму мысль о мытье. Мы поели невкусной рыбы (все, за исключением Умслопогаса, который, как истый зулус не выносил ее) и выпили джина, которого у нас, к счастью, осталось несколько бутылок. Эта была самая тяжелая ночь, которую мне пришлось пережить, за исключением, пожалуй, той ночи, когда мы, трое белых людей, приготовились погибнуть от холода во время путешествия в Страну Кукуанов. Ночь тянулась бесконечно, я боялся, что наши ваква умрут от дождя и холода; они наверное умерли бы, если бы я не давал им в несколько приемов спиртного. Даже такой закаленный старый волк, как Умслопогас, живо ощущал все неудобство нашего положения, хотя, в противоположность ваква, которые стонали и жаловались на судьбу, он не произнес ни единой жалобы. Под утро мы услыхали крик совы и начали готовиться к наступлению врага, хотя я не думаю, чтобы мы могли оказать серьезное сопротивление. Но сова на этот раз оказалась настоящей, да и сами масаи, наверное, чувствовали себя так скверно, что и не помышляли о новом нападении.

Наконец первые лучи рассвета скользнули по воде, и дождь перестал. Появилось лучезарное солнце, прогнало туман и обогрело воздух. Измученные, истощенные, мы поднялись и пошли отогреваться в ярких лучах, испытывая горячую благодарность солнцу. Я вполне понимаю, почему древние обряды обоготворяли солнце, которое играло слишком большую роль в первобытной жизни.

Через полчаса мы пустились в путь с помощью попутного ветра. Вместе с солнцем к нам вернулось хорошее расположение духа, и мы готовы были смеяться над опасностями предшествовавшей ночи. В одиннадцать часов, когда мы подумывали, по обыкновению, остановиться на отдых и попытаться подстрелить какую-нибудь дичь на обед, внезапный поворот реки открыл перед нами картину настоящего европейского дома, с верандой вокруг, превосходно расположенного на холме и окруженного высокой каменной стеной и рвом.

Над домом широко разрослась ветвистая сосна, верхушку которой мы видели несколько раз за последние два дня, не подозревая, что она растет в самой миссии. Я первым увидел дом и не мог удержаться от радостного возгласа, к которому присоединись другие. Мы и не подумали

останавливаться теперь на берегу, а усердно принялись грести. Хотя дом казался близко, мы плыли долго и только в час дня причалили к берегу, на котором высился дом миссии. Выйдя на берег, мы заметили три фигуры, спешившие нам навстречу, одетые в обычные английские костюмы.

— Джентльмен, леди и девочка, — воскликнул Гуд, вглядываясь в трио сквозь свое стеклышко, — шествуют самым цивилизованным манером по прекрасному саду нам навстречу. Повесьте меня, если это не самая любопытная вещь, которую мы видели!

Гуд был прав. Странно было видеть здесь этих европейцев; это походило на сон или на сцену из итальянской оперы. Но сон обратился в действительность, когда мы услыхали слова, обращенные к нам на чистейшем шотландском наречии:

— Здоровы ли вы, джентльмены? — сказал мистер Макензи, седовласый угловатый человек с добрым лицом и красными щеками. — Надеюсь, что вижу вас в полном здравии. Туземцы сказали мне, что час тому назад выследили две лодки с белыми людьми, плывущие по реке, и мы поспешили встретить вас!

— Я так рада снова видеть белых людей! — произнесла леди, изящная на вид особа.

Мы сняли шляпы и представились.

— Вы, наверное, устали и проголодались, джентльмены! — сказал мистер Макензи. — Пойдемте! Мы очень рады видеть вас! Последним белым человеком, который приехал к нам год тому назад, был Альфонс — вы его увидите!

Мы пошли по откосу холма, нижняя часть которого была огорожена и представляла из себя сады, полные цветов и овощей. По углам этих садов группировались грибообразные хижины, занимаемые туземцами, которым покровительствовал мистер Макензи. Женщины и дети поливали овощи, пока мы шли мимо них. В центре садов была расположена дорожка, окаймленная по обеим сторонам рядами апельсиновых деревьев; они были посажены не более десяти лет тому назад, но в этом прекрасном климате разрослись до невероятных размеров и были обременены золотистыми плодами. После довольно крутого подъема мы подошли к прекрасной ограде, заключавшей в себе пространство земли в четыре акра[52], где на самой вершине холма находились собственный сад, дом, церковь и другие строения миссии мистера Макензи. И что это был за сад! Я всегда любил хорошие сады и всплеснул руками от восторга, когда увидел сад миссионера. Рядами стояли здесь все лучшие плодовые деревья. На вершине холма климат был такой ровный, что все английские растения,

деревья, цветы произрастали великолепно, были даже некоторые разновидности яблок. Были здесь земляника, томаты — и еще какие! — дыни, огурцы, всевозможные виды растений и плодов…

— Великолепный у вас сад! — сказал я с восхищением и с некоторой завистью.

— Да — отвечал миссионер, — сад хороший и вполне вознаграждает мои труды. И климат здесь благодатный! Если вы посадите в землю персиковую косточку, она принесет вам плод через три года, а черенок розы зацветет через год. Прекрасный климат!

Мы подошли ко рву, наполненному водой, на другой стороне которого возвышалась каменная стена с бойницами в восемь футов высотой.

— Там, — сказал мистер Макензи, указывая на ров и стену, — за стеной «magnum opus»[53], там — церковь, а по другой стороне — дом. Мне потребовалось двадцать человек туземцев, которые два года рыли ров и строили стену, и я не был спокоен, пока работы не были окончены. Теперь я вполне огражден от всех дикарей Африки, потому что поток, наполняющий ров, вытекает из-под стены, струится и летом и зимой, и я всегда держу в доме запас провизии на четыре месяца!

Пройдя по мостику через ров, мы пролезли через узкое отверстие в стене и вошли во владение мистера Макензи — именно, в его чудный сад, красоту которого трудно описать. Я никогда не видел таких роз, гардений, камелий (редкие сорта даже в Англии). Тут была целая коллекция прекрасных луковиц, собранная маленькой дочкой миссионера, мисс Флосси. В середине сада журчал фонтан с очень красиво устроенным каменным бассейном. Дом представлял из себя массивное строение с прелестной верандой и был построен в виде четырехугольника, четвертая сторона которого, вмещавшая в себя кухню, была отделена от жилых помещений. Прекрасный план постройки в такой жаркой стране!

В центре сада находился самый замечательный предмет из всего виденного нами в этом прелестном месте — причудливое дерево, имевшее триста футов в вышину; ствол имел шестнадцать футов в диаметре. Высоко, на семьдесят футов, поднимался прямой прекрасный ствол, без единой ветви, а наверху широко разрослись темно-зеленые сучья, увешенные гигантскими листьями, которые раскинулись над домом и садом, осенили его благодатной тенью и в то же время, благодаря вышине, не препятствовали свету и воздуху проникать в дом.

— Какое замечательное дерево! — воскликнул Генри.

— Да, вы правы, удивительно красивое дерево! Во всей стране, насколько я знаю, нет другого такого! — ответил миссионер. — Я называю

его сторожевой башней. Когда мне нужно, я прикрепляю веревку к нижним сучьям и поднимаюсь на дерево со зрительной трубой. Я могу видеть с дерева на пятнадцать миль кругом. Но я забыл, что вы голодны, а обед готов. Идемте, друзья мои! Я расскажу вам, как мне удалось заполучить французского повара!

Он направился к веранде. Я последовал за ним. В это время дверь, ведущая из дома на веранду, отворилась и появился маленький проворный человек, одетый в синюю бумазейную куртку, в кожаных башмаках, замечательный своим хлопотливым видом и огромными черными усами.

— Мадам, позвольте мне доложить, что обед подан? Господа, приветствую вас! — Внезапно увидев Умслопогаса, который стоял позади нас и играл топором, он всплеснул руками от удивления. — Ах, какой человек! — вскричал он по-французски. — Какой ужасный дикарь! Заметьте, какой у него страшный топорище!

— Что вы там болтаете, Альфонс? — спросил мистер Макензи.

— Болтаю? — возразил маленький француз, не отводя глаз от Умслопогаса, вид которого, казалось, совершенно очаровал его. — Что я болтаю? Я говорю об этом черном мсье!

Все мы засмеялись, а Умслопогас, заметив, что сделался предметом всеобщего внимания, свирепо нахмурился.

— Черт возьми! — вскричал Альфонс. — Он сердится, корчит гримасы. Мне это не нравится. Я исчезаю!

Он быстро убежал. Мистер Макензи присоединился к общему смеху.

— Странный характер у Альфонса! — сказал он. — Как-нибудь я расскажу его историю. А пока пойдемте пробовать его стряпню!

— Скажите мне, — спросил сэр Генри, когда мы принялись за превосходно приготовленный обед, — как вам удалось заполучить французского повара в этой дикой стране?

— Он приехал сюда по своему собственному желанию и просил принять его в услужение. Вы можете попросить его рассказать вам свою историю!

Когда обед был окончен, мы закурили трубки и сэр Генри описал гостеприимному хозяину все наше путешествие.

— Очевидно, — сказал миссионер, — что эти негодные масаи выследили вас, и я очень рад, что вы благополучно добрались до нас. Не думаю, чтобы они решились напасть на вас здесь. К несчастью, почти все мои люди ушли с караваном, около двухсот человек, а здесь осталось не более двух десятков, чтобы отразить внезапное нападение. Во всяком случае, я сейчас отдам кое-какие приказания!

Позвав черного человека, стоявшего у стены сада, он подошел к окну и что-то сказал ему на туземном диалекте. Человек выслушал, поклонился и ушел.

— Смею надеяться, — сказал я, когда он вернулся на свое место, — что мы не причиним вам особых хлопот. Мы уйдем раньше, чем эти кровожадные негодяи осмелятся беспокоить вас!

— Вы не уйдете. Если масаи идут, то придут, и я полагаю, что мы устроим им теплую встречу. Я не способен указать человеку на дверь — даже ради всех дикарей на свете!

— Я помню, — продолжал я, — консул в Ламу говорил мне, что у него есть ваше письмо, в котором вы писали, будто к вам приходил человек, заявивший, что он видел белых людей в глубине материка. Как вы думаете, правда это или вымысел? Я спрашиваю потому, что до меня доходили слухи о существовании этой белой расы!

Вместо ответа миссионер вышел из комнаты и вернулся, держа в руке прелюбопытнейший меч.

Весь клинок его, широкий и острый, был странно разукрашен, но меня удивило более всего, что края меча, остро отточенные, несмотря на древность клинка были великолепно отделаны золотом[54].

— Видели ли вы когда-нибудь такой меч? — спросил мистер Макензи.

Мы осмотрели оружие и покачали головой.

— Хорошо. Я показал вам меч, потому что его мне принес человек, который сказал, что видел белых людей, и оружие более или менее подтверждает правдивость его слов, хотя я принял все его россказни за басню. Я скажу вам все, что знаю об этом!

— Однажды, после полудня, я сидел на веранде, как вдруг вошел бедный, жалкий, усталый человек. Я спросил его, откуда он пришел и что ему надо. Он пустился в длинное повествование о том, что принадлежит к племени, жившему далеко на севере, которое было уничтожено другим, враждебным племенем, что он с немногими оставшимся в живых бежал дальше на север и миновал озеро под названием Лага. Затем, кажется, путь его лежал к другому озеру, находившемуся в горах. «Озеро без дна» — так назвал он его. Здесь его жена и брат умерли от какой-то заразной болезни, вероятно от оспы, и народ прогнал его из своих селений. Десять дней бродил он по горам, наконец очутился в густом лесу, где его нашел белый человек, который охотился там, и привел его к белым людям, жившим в больших каменных домах. Тут он прожил с неделю, пока однажды ночью к нему не пришел человек с белой бородой, «человек, который лечит» — так назвался он, — исследовал и осмотрел его. После этого его отвели опять в

лес, на границу пустыни, дали ему пищи и этот меч и оставили одного.

— Так, — произнес сэр Генри, слушавший с большим интересом, — что же дальше?

— Согласно его словам, он перенес много страданий и лишений, неделями питался только корнями растений, ягодами и тем, что ухитрялся поймать или убить. Наконец он добрался до нас. Я так и не узнал всех подробностей его путешествия, потому что велел ему прийти на другой день и приказал старшему из слуг позаботиться о нем. Слуга увел его. Несчастный страдал чесоткой, и жена моего слуги не хотела пустить его в хижину из боязни заразиться. Ему дали одеяло и велели спать на воздухе. К несчастью, поблизости от нас бродил лев, который заметил беднягу, прыгнул на него и откусил ему голову. Никто из наших людей не подозревал об этом. Так кончилась его жизнь и вся история о белых людях, и я не знаю сам, правда это или вымысел! Как вы думаете, мистер Квотермейн?

— Я тоже не знаю, — отвечал я, — но в этой дикой стране так много загадочного, что мне будет досадно, если вся эта история окажется вымыслом! Во всяком случае, мы попытаемся и поищем. Мы намереваемся отправиться в Лекакизару, а оттуда, если будем живы, к озеру Лага. Если там живет белая раса, мы найдем ее!

— Вы — отважные люди, друзья мои, — сказал миссионере легкой улыбкой.

IV. Альфонс и его Анетта

После обеда мы осмотрели все здание и все строения миссии. Я должен сознаться, что это прекраснейший уголок во всей Африке!

Мы вернулись на веранду, где нашли Умслопогаса за его любимым занятием — он усердно чистил винтовки. Это была единственная работа, которую он признавал, потому что зулусский вождь не мог унизить своего достоинства какой-нибудь другой работой. Забавное зрелище представлял из себя огромный зулус, сидящий на полу, тогда как его боевой топор стоял около него, прислоненный к стене. Его тонкие аристократические руки деликатно и заботливо чистили механизм винтовок. Он придумал имя каждой винтовке. Одну, принадлежавшую сэру Генри, он называл «Громобой», другую, маленькую, но дающую сильный выстрел, прозвал «Малюткой, которая говорит, словно хлещет». «Винчестеры» он называл «Женщины, которые говорят так быстро, что не отличишь одного слова от другого», винтовки Мартини он называл «Обыкновенным народом», и так все до единой. Смешно было слышать, как он во время чистки разговаривал с ними, как с людьми, шутил самым добродушным юмором. Он беседовал также со своим топором, считая его, кажется, задушевным другом, и целыми часами рассказывал ему о своих приключениях. С присущим ему юмором, он называл свой топор «Инкосикази», что значит «супруга вождя» на языке зулусов. Я удивился такому названию и наконец спросил его об этом. Он объяснил мне, что его топор — женского пола, потому что у женщины привычка глубоко проникать во все. Он добавил, что его топор заслуживает названия «Инкосикази», так как все люди падают перед ним, подавленные его силой и красотой. Кроме того, Умслопогас советовался со своим топором при всех затруднениях, потому что этот топор, по его словам, обладает большой мудростью, так как «заглянул в мозги многих людей». Я взял топор и долго рассматривал ужасное оружие. Роговая рукоятка имела около трех футов длины, с шишкой на конце, величиной с апельсин, чтобы не скользила рука. Около набалдашника было сделано много зарубок, обозначавших число людей, убитых топором. Он был изготовлен из прекраснейшей стали и хорошо отшлифован. Умслопогас не знал наверное происхождение этого топора, так как взял его из рук человека, которого убил несколько лет тому назад[55]. Топор не был тяжел, весил всего два с половиной фунта[56], как я думаю, но в руках Умслопогаса был смертоносным орудием. Обыкновенно

он с силой ударял врага несколько раз набалдашником топора, употребляя острие только в особых случаях. Благодаря этой привычке долбить врага, он и получил прозвище «Дятел». Умслопогас дорожил своим замечательным и ужасным оружием больше собственной жизни. Он выпускал его из рук только когда ел, но и тогда топор лежал у него под ногой.

Едва я успел отдать Умслопогасу топор, явилась мисс Флосси и попросила меня осмотреть коллекцию ее цветов, африканских лилий и цветущих кустов.

Некоторые были удивительно красивы, хотя совершенно неизвестны мне. Я спросил, не слыхала ли она о лилии Гойи, чудная красота которой поражала африканских путешественников. Эта лилия цветет только раз в десять лет и любит сухую почву. Позднее мне удалось увидеть этот редкий цветок, и я не сумею описать его красоту и необыкновенно нежное и сладкое благоухание. Цветок выходит из венчика луковицы толстым мясистым стебельком и иногда имеет до четырнадцати дюймов в диаметре. Сначала образуются зеленые ножны, потом появляются цветистые усики и грациозно вьются по стеблю. В конце концов выходит сам цветок, ослепительно белая дуга которого заключает в себе чашечку бархатистого малинового цвета; из середины этой чашечки выглядывает золотистый пестик. Я никогда не видел ничего подобного этому роскошному цветку, который мало кому известен. Смотря на него, я невольно подумал, что в каждом цветке отражается величие и слава Создателя! К моему удовольствию, мисс Флосси заявила мне, что хорошо знает цветок и пыталась вырастить его в своем саду, но безуспешно.

— Впрочем, — добавила она, — теперь такое время, что он цветет, и я постараюсь достать вам один экземпляр!

Затем я спросил ее, не скучает ли она здесь и не чувствует ли себя одинокой среди дикарей, не имея подруг-сверстниц.

— Одинока ли я? — возразила мисс Флосси. — О нет! Я счастлива и занята целый день, у меня есть друзья. Мне противно было бы находиться в толпе белых девочек, таких же, как я! Здесь, — продолжала она, качнув головкой, — я — это я сама! На несколько миль в окружности туземцы хорошо знают «Водяную Лилию», — так называют они меня, — и готовы все делать для меня. А в книжках, которые я читала о маленьких девочках из Англии, нет ничего подобного. Всего они боятся и делают только то, что нравится их учительнице! О, если б меня посадили в клетку — это разбило бы мне сердце! Я свободна теперь, свободна, как воздух!

— Разве вы не любите учиться?

— Я учусь. Отец учит меня латыни, французскому языку и арифметике!

— Вы не боитесь этих дикарей?

— Бояться? О, нет, они не трогают меня. Я думаю, они верят, что я *Нгои* (божество), потому что у меня белая кожа и золотистые волосы. Взгляните! — она сунула свою маленькую ручку за корсаж платья и достала маленький револьвер в виде бочонка. — Я всегда ношу его с собой заряженным, и если кто-нибудь тронет меня, я убью его! Однажды я убила леопарда, который набросился на моего осла. Он перепугал меня, но я выстрелила ему в ухо, и он упал мертвым. Шкура этого леопарда лежит вместо ковра у моей кровати. Посмотрите теперь сюда! — продолжала она изменившимся голосом, указывая вдаль. — Я сказала вам, что у меня есть друзья, вот один из них!

Я взглянул в том направлении, куда она показала, и увидел прекрасную гору Кения. Гора почти всегда скрывалась в тумане, но теперь ее лучезарная вершина сияла издалека, хотя подошва была еще окутана туманом. Вершина, поднимающаяся на двадцать тысяч футов к небу, казалась каким-то видением, висящим между небом и землей. Трудно описать торжественное величие и красоту белой вершины.

Я смотрел на нее вместе с девочкой и чувствовал, что сердце мое усиленно бьется и великие и чудные мысли озаряют мой мозг, подобно тому как лучи солнца искрятся на снегах горы Кения. Туземцы называют гору «Божьим Перстом», и это название, кажется мне, говорит о вечном мире и торжественной тишине, царящих там, в этих снегах. Невольно вспомнились мне слова поэта: красота — это радость каждого человека! И я в первый раз понял всю глубину этой мысли. Разве не чувствует человек, смотря на величественную, покрытую снегом гору — эту белую гробницу истекших столетий, — свое собственное ничтожество, разве не возвеличивает Творца в сердце своем? Да, эта вечная красота радует сердце каждого человека, и я понимаю Флосси, которая называет гору Кения своим другом. Даже Умслопогас, старый дикарь, когда я указал ему на снежную вершину, сказал: «Человек может смотреть на нее тысячу лет и никогда не наглядеться!» Он придал своеобразный колорит своей поэтической мысли, когда добавил протяжно, в виде пения, с трогательным выражением в голосе, что когда он умрет, то желал бы, чтобы его дух вечно находился на снежно-белой вершине, овеянный дыханием свежего ветра, озаренный сиянием света, и мог бы убивать, убивать, убивать!…

— Кого убивать, кровожадный старик? — спросил я.

Он задумался.

— Тени людей! — наконец ответил он.

— Ты хочешь продолжать убивать даже после смерти?

— Я не убиваю просто так, — отвечал он важно, — я бью во время боя. Человек рожден, чтобы убивать. Тот, кто не убивает — женщина, а не мужчина! Народ, который не знает убийства, — племя рабов. Я убиваю людей в битве, а когда я сижу без дела, «в тени», то надеюсь убивать! Пусть будет проклята навеки моя тень, пусть промерзнет до костей, если я перестану убивать людей, подобно бушмену[57], когда у него нет отравленных стрел! — И он ушел, полный собственного достоинства. Я засмеялся ему вслед.

В это время вернулись люди, посланные нашим хозяином еще рано утром разузнать, нет ли в окрестностях следов масаев, и объявили, что обошли на пятнадцать миль все в округе и не видели ни одного дикаря. Они надеялись, что дикари бросили преследование и ушли к себе. Мистер Макензи, видимо, обрадовался, узнав это, так же, как и мы, потому что испытали достаточно забот и тревог от масаев. В общем, мы полагали, что дикари, зная, что мы благополучно достигли миссии, не рискнут нападать на нас здесь и бросят погоню. Как обманчивы были наши догадки, показало нам дальнейшее!

Когда мистер Макензи и Флосси ушли спать, Альфонс, маленький француз, пришел к нам, и сэр Генри попросил его рассказать нам, как он попал в Центральную Африку. Он рассказал нам — таким языком, что я не берусь воспроизвести его.

— Мой дедушка, — начал он, — был солдатом и служил в гвардии еще при Наполеоне. Он был в войсках при отступлении из Москвы и питался целых десять дней голенищами своих сапог — и чужих, которые он украл у товарища. Он любил выпить и умер пьяным. Помню, я барабанил по его гробу… Мой отец…

Здесь мы перебили его, попросив рассказать о себе и оставить предков в покое.

— Хорошо, господа! — ответил маленький смешной человек, учтиво поклонившись. — Я хотел только указать вам, что воинственные наклонности не наследственны. Мой дед был великолепный мужчина, шести футов роста, крепко сложенный и силач. Замечательные были у него усы. Ко мне по наследству перешли только его усы, и больше ничего. Я, господа, повар, и родился я в Марселе. В этом милом городе я провел счастливую юность. Годами я мыл посуду в отеле «Континенталь». То были золотые дни! — прибавил он со вздохом. — Я — француз, и неудивительно, господа, что я поклоняюсь красоте! Я обожаю красоту.

Господа, мы любуемся розами в саду, но срываем одну из них. Я сорвал одну розу, господа, увы! Она больно уколола мне палец. Это была прелестная служанка, Анетта, с восхитительной фигуркой, ангельским личиком, а ее сердце! Увы! Я хотел обладать им, хотя оно черно и жестко, как книга в кожаном переплете. Я любил ее без ума, обожал ее до отчаяния. Она восхищала меня. Никогда я не стряпал так чудесно, как тогда, когда Анетта, дорогая Анетта, улыбалась мне! Никогда, — голос его сорвался в рыданиях, — никогда не буду я так хорошо стряпать!

Он залился горькими слезами.

— Перестаньте! Успокойтесь! — произнес сэр Генри, дружески хлопнув его по спине. — Неизвестно, что может еще случиться. Если судить по сегодняшнему обеду, то вы на пути к выздоровлению!

Альфонс перестал плакать и потер себе спину.

— Мсье думает, конечно, утешить меня, но рука у него тяжелая. Продолжаю. Мы любили друг друга и были счастливы. Птички в своем гнездышке не были счастливее Альфонса и Анетты. И вдруг разразился удар! Господа простят мне, что я плачу. Мое горе было очень тяжелым. Фортуна отомстила мне за обладание сердцем Анетты. Наступила тяжелая минута. Я должен был сделаться солдатом! Я бежал, но был пойман грубыми солдатами, и они колотили меня прикладами ружей до тех пор, пока мои усы от боли не поднялись кверху. У меня был двоюродный брат, торговец тканями, очень некрасивый собой. «Тебе, кузен, — сказал я, — тебе, в жилах которого течет геройская кровь наших предков, я поручаю Анетту. Береги ее, пока я буду завоевывать славу в кровавых боях!» «Будь спокоен! — отвечал он. — Я все сделаю!» И он сделал, как оказалось впоследствии.

Я ушел в солдаты, жил в бараках и питался жидким варевом. Я — образованный человек, поэт по натуре, я много вытерпел от грубости окружающих. Был у нас один сержант и имел тросточку. Ах, эта трость! Никогда я не забуду ее!

Однажды утром пришли новобранцы. Моему батальону приказано было отправиться в Тонкий. В Тонкине жили дикие китайцы, которые вспарывают людям животы. Мои артистические наклонности — потому что я артист — возмутились против мысли, что мне могут вспороть живот. Великие люди принимают великие решения. Я подумал и решил, что не желаю вскрыть себе живот, и дезертировал. Переодетый стариком, я добрался до Марселя, вошел в дом кузена и нашел там Анетту. Это было как раз во время сбора вишен. Они облюбовали себе большой сук вишневого дерева, полный вишен. Мой кузен положил одну вишню в рот.

Анетта съела несколько. Они обрывали сук до тех пор, пока губы их не встретились, и — о ужас! — они поцеловались. Игра была очень интересна, но наполнила мое сердце яростью. Геройская кровь предков закипела во мне. Я бросился на кухню, ударил кузена палкой. Он упал, я убил его. Анетта закричала. Прибежали жандармы. Я убежал, добрался до гавани и спрятался на корабль, который шел в море. Капитан нашел и поколотил меня, но не высадил на берег, потому что я отлично ему стряпал, стряпал всю дорогу до Занзибара. Когда я попросил заплатить мне, он толкнул меня ногой. Геройская кровь деда снова закипела во мне. Я показал ему кулак и поклялся отомстить. Он снова толкнул меня. В Занзибаре нас ожидала телеграмма. Я проклял человека, который изобрел телеграф, и проклинаю до сих пор. Меня арестовали за дезертирство и убийство. Я бежал из тюрьмы, долго скрывался и наконец наткнулся на людей доброго господина кюре. Они привели меня сюда. Я весь переполнен моим горем, но не возвращаюсь во Францию. Лучше рисковать жизнью в этом ужасном месте, чем познакомиться с тюрьмой!

Он замолчал, а мы задыхались от смеха, отвернувшись от него.

— А, вы плачете, господа! — сказал он. — Неудивительно! Это такая печальная история!

— Быть может, геройская кровь ваших предков восторжествует еще раз, — сказал сэр Генри, — быть может, вы еще будете великим человеком! А теперь пора спать! Я устал до смерти. Мы все плохо спали прошлую ночь.

Мы ушли. Как странны казались нам опрятные комнаты и белоснежные простыни после наших недавних приключений!

V. Умслопогас дает обещание

На следующее утро, когда мы собрались к завтраку, я заметил отсутствие Флосси и спросил, где она. — Сегодня утром, — сказала ее мать, — я нашла записку у моей двери… Да вот и записка, вы можете сами прочитать ее!

Она подала мне клочок бумаги, на котором рукой Флосси было написано следующее:

Дорогая мама! Уже светло, и я отправляюсь на холм добыть мистеру Квотермейну цветок лилии, которая ему так нравится. Не ждите меня. Я взяла с собой белого ослика, няню и пару мальчиков, а также немного провизии. Я могу пробыть в лесу долго, целый день, потому что решила достать лилию, хотя бы мне пришлось пройти двадцать миль.

Флосси.

— Надеюсь, что она вернется благополучно, — сказал я с испугом, — я никогда не подумал бы беспокоить ее из-за этого цветка!

— Флосси сама знает, что делает, — отвечала мать, — она часто убегает так, как настоящая дикарка!

Но мистер Макензи, который только что вошел и прочитал записку, нахмурился, хотя ничего не сказал. После завтрака я отвел его в сторону и спросил, нельзя ли послать кого-нибудь за девочкой и вернуть ее домой ввиду того, что поблизости могут скрываться масаи и она попадет прямо к ним в руки.

— Я боюсь, что это бесполезно! — ответил он. — Она, может быть, ушла за пятнадцать миль, и кто может сказать, по какой тропинке она пошла. Повсюду здесь холмы! — указал он на длинный ряд возвышенностей, тянувшихся параллельно течению Таны и постепенно переходивших в покрытую кустарником равнину на расстоянии пяти миль от дома.

Я предложил взобраться на большое дерево и посмотреть на окрестности через зрительную трубу. Мы так и сделали; кроме того, мистер Макензи приказал своим людям пойти поискать следы Флосси. Подъем на дерево был не особенно удобен, даже по веревочной лестнице, но Гуд быстро и ловко, опередив всех, влез туда. Добравшись до вершины дерева, мы без труда взошли на площадку из досок, перекинутых с одного сука на

другой, на которой легко могла поместиться дюжина людей. Вид с площадки был великолепный. По всем направлениям кусты казались огромными волнами, катящимися на целые мили, и далеко, насколько можно было видеть, там и здесь прерывались яркой зеленью возделанных полей или сияющей поверхностью озер. К северо-востоку Кения поднимала свою могучую голову, и мы могли видеть, как река Тана извивалась, как серебристый змей, у ее подошвы и текла дальше к океану. Это — дивная, чудная страна и ждет руки цивилизованного человека, который бы развил ее производство. Но мы не заметили никакого признака Флосси и ее ослика и сошли с дерева опечаленные.

На веранде я нашел Умслопогаса. Он точил свой топор маленьким оселком, который он всегда носил с собой.

— Что ты делаешь, Умслопогас? — спросил я.

— Пахнет кровью, — был ответ, — я тороплюсь наточить его! После обеда мы опять взобрались на дерево и осмотрели все окрестности, но безуспешно.

Когда мы сошли вниз, Умслопогас точил свою *Инкосикази*, хотя та теперь была острой как бритва. Альфонс стоял перед ним и смотрел на него со страхом и восхищением. Действительно, сидя на корточках, по обычаю зулусов, Умслопогас представлял из себя странное зрелище со своим диким, но осмысленным лицом, натачивая непрестанно убийственный топор.

— О, чудовище, ужасный человек! — воскликнул маленький француз, всплеснув руками. — Посмотрите на его голову! Словно у крошечного ребенка! И кто вскормил такого дитятку! — он разразился смехом.

С минуту Умслопогас смотрел на него, и злой огонек загорелся в его глазах,

— Что такое болтает эта Буйволица? — (Так называл Альфонса Умслопогас из-за его усов, женственных движений и маленького роста). — Пусть он будет осторожнее, или я обломаю ему рога. Берегись, ты, маленькая обезьяна, берегись!

К несчастью, Альфонс продолжал смеяться над «смешным черным мсье».

Я только хотел предупредить его, как вдруг зулус вскочил с веранды, подбежал к нему с лицом, искаженным от злобы, и начал вертеть топор над головой француза.

— Перестаньте! — закричал я французу. — Стойте смирно, если вам дорога жизнь! Он убьет вас!

Сомневаюсь, чтобы Альфонс, совершенно перепуганный, слышал

меня. Затем последовали страшные манипуляции с топором. Сначала топор летал над головой Альфонса — с необыкновенной легкостью и силой, все ближе и ближе к голове несчастного, почти касаясь ее. Потом вдруг направление движений изменилось, он начал летать буквально над телом Альфонса, не далее нескольких дюймов, но не задевая его. Страшное зрелище представлял из себя маленький человек, скорчившийся, не смевший двинуться с места из опасения неминуемой смерти. Его черный палач продолжал вертеть около него топором — сверху, справа, слева, вокруг маленького человека. Более минуты продолжалось это, потом я увидел, как что-то блестящее коснулось лица Альфонса, что-то черное упало на землю. Это был кончик щегольских усов маленького француза. Умслопогас облокотился на свой топор и громко захохотал, а Альфонс, подавленный страхом, упал на землю. Мы стояли и смотрели, пораженные этим сверхъестественным искусством владения оружием.

— *Инкосикази* очень остра! — сказал зулус. — Удар, отрубивший Рог Буйволицы, мог бы разрубить человека с головы до пят. Редко кто умеет так ударить, как я. Смотри, маленькая Буйволица! Добрый ли я человек, если смеюсь теперь? Ты был на волосок от смерти. Не смейся опять! Я все сказал!

— Зачем ты выкидываешь такие штуки? — спросил я дикаря с негодованием. — Ты, вероятно, помешан! Ты мог убить человека!

— Нет, Макумазан, я не убью! Трижды, пока топор летал, недобрый дух шептал мне, чтобы я прикончил его, но я не послушал его. Я пошутил, но Буйволица нехорошо поступает, насмехаясь надо мной. Теперь я пойду делать щит, я слышу, что пахнет кровью, Макумазан! Поистине пахнет кровью! Разве ты не замечал перед битвой, как появляются на небе коршуны? Они слышат запах крови, Макумазан, а мое чутье острее. Я иду делать щит!

— Этот ваш дикарь — довольно неприятная личность! — сказал мистер Макензи, бывший свидетелем всей сцены. — Он напугал Альфонса, посмотрите! — миссионер указал на француза, который, весь дрожа, с побелевшим лицом направлялся к дому. — Я не думаю, чтобы он стал еще смеяться над «черным мсье».

— Да, — отвечал я, — он зло шутит! Когда он рассердится, с ним беда, а между тем у него предоброе сердце! Я помню, как несколько лет тому назад он нянчил целую неделю больного ребенка. У него странный характер, но он правдивый и верный товарищ в опасности!

— Он уверяет, что пахнет кровью, — возразил мистер Макензи, — надеюсь, что он ошибается. Я страшно боюсь за мою дочку. Она или ушла

далеко, или сейчас будет дома. Теперь уже больше трех часов!

Я напомнил ему, что Флосси взяла с собой провизии и может вернуться не раньше ночи. В душе я сильно опасался за нее.

Вскоре после этого люди, которых мистер Макензи посылал на поиски Флосси, вернулись и сказали, что они нашли следы ослика за две мили от дома и потом потеряли их на каменистом грунте. Они исходили местность вдоль и поперек, но безуспешно. День прошел очень скучно. К вечеру, когда о Флосси не было и помину, наши опасения дошли до крайнего предела. Бедная мать совершенно растерялась от страха, но отец Флосси еще крепился. Все возможное было сделано. Люди были разосланы по всем направлениям, на большом дереве учредили постоянный наблюдательный пост. Все напрасно. Стемнело. Милая Флосси исчезла.

В восемь часов мы сели ужинать. Тяжелый это был ужин. Миссис Макензи не вышла. Мы сидели молча. Кроме понятного страха за участь ребенка, на нас давила мысль, что мы навлекли столько горя и тревоги на дом гостеприимного хозяина. Наконец я попросил извинения и встал из-за стола. Мне хотелось уйти и подумать обо всем. Я ушел на веранду и, закурив трубку, сел в десяти шагах от конца строения. Как раз напротив меня находилась узкая дверь в стене, огораживающей дом и сад. Я сидел так минут шесть или семь, как вдруг услыхал легкое движение двери. Я взглянул в этом направлении, прислушался и решил, что ошибся. Через минуту что-то круглое мягко упало на каменный пол веранды и покатилось около меня. Я не встал, хотя очень удивился и подумал, что это было какое-нибудь животное. Потом другая мысль пришла мне в голову, я встал и дотронулся рукой до круглого предмета. Он не двигался. Очевидно, это не животное. Что-то мягкое, теплое, легкое. Испуганный, я поднял его, чтобы разглядеть при слабом мерцании звезд. Это была только что отрубленная человеческая голова!

Я стреляный воробей и редко пугаюсь, но при этом зрелище чуть не упал. Как эта голова попала сюда? Что это значит? Я бросил ее и побежал к двери. Все тихо. Я хотел пойти дальше, в темноту, но, вспомнив, что рискую быть убитым, вернулся назад, запер дверь и заложил ее. Затем я пошел на веранду и постарался насколько мог беззаботно позвать Куртиса. Но, вероятно, в моем голосе было нечто особенное, потому что и сэр Генри, и Гуд, и Макензи встали из-за стола и прибежали ко мне.

— Что случилось? — спросил миссионер испуганно.

Я рассказал им. Мистер Макензи повернулся ко мне, бледный как смерть, схватил голову за волосы и поднес к свету, проникавшему сюда из комнаты.

— Это голова одного из моих людей, сопровождавших Флосси! — сказал он дрожащим голосом. — Слава Богу, что это не ее голова!

Мы стояли и смотрели друг на друга. Что делать? Вдруг раздался стук в дверь, которую я запер.

— Открой, отец мой, открой! — кричал чей-то голос.

Дверь открыли. Вошел испуганный человек, один из слуг, которые были посланы на разведку.

— Отец мой! — кричал он. — Масаи близко! Большой отряд обошел вокруг холма и двинулся к каменному краалю, через поток. Отец мой! Укрепи свое сердце! В середине отряда я видел белого осла, и на нем сидела Водяная Лилия. Молодой воин ведет осла, а рядом идет и плачет нянька. Другого человека, который пошел с ними, я не видел.

— Дитя спокойно? — спросил миссионер хриплым голосом.

— Она бела как снег, но спокойна, отец мой! Они прошли около места, где я лежал, спрятавшись, и я хорошо видел лицо Водяной Лилии!

— Помоги ей, Боже! — простонал священник.

— Сколько их всего? — спросил я.

— Больше двухсот, — двести и половина.

Снова мы посмотрели друг на друга. Что делать? В это время из-за стены донесся до нас шум и крики.

— Открой дверь, белый человек, открой дверь! Вестник хочет говорить с тобой! — крикнул чей-то голос.

Умслопогас побежал к стене, взобрался на нее и начал смотреть туда.

— Я вижу одного человека! — сказал он. — Он вооружен и несет в руке корзинку!

— Открой дверь! — сказал я. — Открой. Умслопогас, возьми свой топор и встань около двери. Впусти одного человека. Если за ним последует другой, убей его!

Дверь была открыта. В тени встал Умслопогас с поднятым топором. В это время на небе появился месяц. После минутной паузы показался масай, одетый в полный боевой наряд, с корзинкой в руке. Луч месяца заблестел на его огромном копье. Это был физически мощный человек, лет тридцати пяти, высокий, превосходно сложенный. Я никогда не видел между масаи людей меньше шести футов роста. Остановившись напротив нас, он бросил корзину и воткнул копье в землю.

— Позволь нам говорить! — сказал он. — Первый вестник, которого мы послали, не может говорить! — Он указал на мертвую голову (ужасающее зрелище при свете месяца). — Но я имею слова, чтобы сказать вам их, если у вас есть уши, чтобы слышать их. Я принес вам подарки! —

Он показал нам корзину и засмеялся с небрежным видом, поистине удивительным, так как он был окружен врагами.

— Говори! — сказал мистер Макензи.

— Я — *лигонани* (капитан) из отряда масаев. Мы выследили этих троих белых людей, — он указал на сэра Генри, Гуда и меня, — но они скрылись от нас. Мы поссорились с ними и решили убить их! Следя за этими людьми, сегодня утром мы поймали двух черных людей, одну черную женщину, белого осла и белую девочку. Одного из черных людей мы убили — его голова лежит тут! Другой убежал. Черная женщина, белая девочка и белый осел у нас. Мы взяли их и привели сюда. В доказательство этого я принес вам корзинку. Скажи мне, это корзинка твоей дочери?

Мистер Макензи кивнул головой.

— Хорошо! Мы не ссорились с тобой и твоей дочерью и не желаем беспокоить тебя, хотя мы взяли твой скот — двести сорок голов! Пригодится для наших отцов![58]

Мистер Макензи застонал, так как высоко ценил свой скот, который заботливо хранил и растил.

— Кроме скота мы ничего не тронем, и потом, — добавил он простодушно, поглядывая на стену, — из этого места трудно достать кого-нибудь! Но эти люди — другое дело. Мы следили за ними дни и ночи и должны убить их. Если мы вернемся к себе в крааль, не убив их, все девушки будут смеяться над нами. Они должны умереть. Пусть слышат теперь твои уши мое предложение! Мы не трогали белую девочку. Она слишком красива, и дух ее смел. Отдай нам одного из этих трех людей, — жизнь за жизнь! Мы отдадим тебе девочку и с ней также черную женщину. Прекрасный обмен, белый человек! Мы просим отдать только одного из троих, мы найдем другой случай убить двух других. Я предпочитаю взять этого толстого, — он указал на сэра Генри, — он выглядит силачом и не так скоро умрет!

— А если я скажу, что не выдам ни одного? — сказал мистер Макензи.

— Не говори так, белый человек! — отвечал воин. — Тогда дочь твоя умрет, а черная женщина говорит, что у тебя только одно дитя. Будь она старше, я взял бы ее себе в жены, но она очень мала, и я убью ее своей собственной рукой вот этим копьем! Ты можешь прийти и посмотреть, если хочешь! Вот тебе мое условие! — дикарь громко засмеялся.

Все это время я раздумывал и пришел к заключению, что я должен заменить собой Флосси. Я боялся только недоразумения. В моем решении не было ничего героического. Это было дело простого здравого смысла и справедливости. Моя старая, негодная жизнь никому не нужна, а девочка

только начинала жить. Ее смерть убила бы родителей, а обо мне некому горевать. Напротив, несколько благотворительных учреждений порадовались бы моей смерти.

Тем более, дорогое, милое дитя ради меня попало в это положение! Кроме того, мужчина легче встретит смерть в такой ужасной форме, чем слабое, нежное дитя. Я не трус и от природы смелый человек, но мой план заключался в том, чтобы прежде всего выручить девочку из беды, а затем убить себя, надеясь, что Всемогущий простит мне самоубийство в таких исключительных обстоятельствах. В несколько секунд все эти мысли промелькнули в моей голове.

— Хорошо, Макензи, — сказал я, — скажите дикарю, что я буду выкупом за Флосси, но что я ставлю условием, чтобы она была дома, прежде чем они убьют меня!

— Нет! — вскричали вместе и сэр Генри, и Гуд. — Это невозможно!

— Нет, нет, — возразил миссионер, — я не запачкаю своих рук человеческой кровью! Если Богу угодно, моя дочь умрет, на то Его святая воля. Вы храбрый и благородный человек, Квотермейн, но я не позволю вам сделать это!

— Если другого исхода нет, я сделаю это! — сказал я решительно.

— Это важное дело, — сказал мистер Макензи, обращаясь к лигонани, — мы должны подумать! На рассвете мы дадим ответ!

— Очень хорошо, белый человек! — отвечал небрежно дикарь. — Только помни: если запоздаешь с ответом, твое дитя никогда не расцветет в пышный цветок, я убью ее вот этим копьем! Я мог бы подумать, что ты хочешь сыграть с нами шутку и напасть на нас сегодня ночью, но я знаю, что все твои люди ушли, здесь у тебя только двадцать человек. Где же твоя мудрость, белый человек, оставлять при краале так мало воинов! Ну, доброй ночи, прощай! Доброй ночи вам, белые люди, ваши глаза я скоро закрою навсегда! На заре я буду ждать ответа!

Повернувшись к Умслопогасу, стоявшему позади него, он произнес:

— Открой мне дверь, друг!

Это было чересчур для старого вождя, который терял терпение. Последние десять минут он не мог стоять спокойно и готов был броситься на дикаря. Положив свою длинную руку на плечо воина, он так крутанул его, что тот очутился лицом к лицу с ним.

Приблизив свое свирепое лицо к злобным чертам масая, он сказал тихим голосом:

— Видишь ты меня?

— Да, друг, я вижу тебя!

— А это ты видишь? — он вертел топор перед его глазами.

— Да, друг, я вижу эту игрушку. Что из этого?

— Ты — дикая собака, хвастливый мышонок, захватывающий маленьких девочек! Этой игрушкой я убью тебя! Хорошо, что ты вестник, а то я раздробил бы тебя на мелкие кусочки!

Воин махнул своим длинным копьем и засмеялся.

— Я хотел бы стоять с тобой в бою, как мужчина с мужчиной! Тогда бы мы посмотрели!

Он повернулся, чтобы уйти, все еще смеясь.

— Ты будешь стоять со мной, как мужчина с мужчиной, не бойся! — возразил Умслопогас зловещим голосом. — Ты встанешь лицом к лицу с Умслопогасом, происходящим от царственной крови Чаки, из народа амазулу, и согнешься под ударами *Инкосикази*. Смейся, смейся! Завтра ночью шакалы будут смеяться и грызть твои кости!

Когда воин ушел, один из нас взял корзинку Флосси и открыл ее. В корзине находился чудный цветок лилии Гойи, в полном расцвете и совершенно свежий. Там же лежала записочка Флосси, написанная ее детской рукой, карандашом, на кусочке сырой бумаги, в которую, вероятно, была завернута провизия.

«Дорогие мои папа и мама! — писала она. — Масаи схватили нас, когда мы возвращались домой. Я хотела убежать, но не могла. Они убили Тома, другой слуга убежал. Меня и няню они не трогают, но говорят, что потребуют в обмен за нас одного человека из отряда мистера Квотермейна. Я не хочу ничего подобного. Не позволяйте никому рисковать своей жизнью ради меня. Попытайтесь напасть на них ночью! Они будут пировать и есть трех быков, которых украли и убили. У меня есть револьвер, если помощь не придет, я застрелюсь! Им не удастся убить меня. Вспоминайте обо мне, если я умру, дорогие папа и мама! Я очень испугана, но надеюсь на Бога. Не смею больше писать, они начинают замечать! Прощайте! Флосси.»

С наружной стороны было кое-как начирикано:

Мой привет мистеру Квотермейну! Они обещали отдать вам корзину, и он получит свою лилию!

Я прочитал эти слова, написанные маленькой смелой девочкой в часы тяжелой опасности, когда сильный мужчина мог потерять голову, тихо заплакал и еще раз в душе поклялся, что она не умрет, если моя жизнь может спасти ее!

Долго и серьезно обсуждали мы наше положение. Я снова говорил, что пойду к дикарям, снова миссионер не хотел допустить этого, и Куртис и Гуд как истинные друзья поклялись, что пойдут со мной, чтобы умереть вместе.

— Необходимо на чем-нибудь остановиться, — сказал я, — до наступления утра!

— Тогда нападем на них с теми силами, какие у нас есть, и попытаем счастья! — сказал сэр Генри.

— Да, да, — заворчал Умслопогас на своем языке, — ты говоришь, как муж, Инкубу. Чего бояться? Двести пятьдесят масаев! А нас сколько? Начальник (мистер Макензи) имеет двадцать человек, у тебя, Макумазан, пять человек, еще пятеро белых людей, — всего тридцать человек! Довольно с нас, довольно! Слушай, Макумазан, ты храбрый и старый воин! Что говорит девочка? Масаи будут есть и напьются. Пусть это будет их похоронный пир! Что сказал мне этот пес, которого я убью на рассвете? Что он не боится нападения, потому что нас мало. Знаешь этот старый крааль, где они расположились? Я видел его утром. — Он начертил овал на полу. — Здесь — вход, через терновый кустарник он круто поднимается вверх. Инкубу, ты и я с топорами первыми встанем и начнем бой против сотни человек! Слушай теперь! Это будет славный бой! Как только свет начнет скользить по небу, не раньше, пусть Бугван, твой друг, проскользнет с десятью людьми на верхний конец крааля, где есть узкий вход. Пусть они молча убьют часовых, чтобы не было ни звука, и стоят наготове. Тогда мы двое, Инкубу и я, и один из аскари, с широкой грудью, — он смелый человек, — проползем в отверстие входа, через кусты, убьем часовых и с топорами в руках встанем по сторонам дороги, недалеко от ворот. Потом возьмем шестнадцать человек, разделим их на два отряда! С одним пойдешь ты, Макумазан, с другим — «молитвенный человек» (Макензи), и возьмите винтовки. Пусть одни идут по правой стороне от крааля, другие — по левой. Когда ты, Макумазан, заревешь как бык, все откроют огонь по спящим людям, только осторожно, чтобы не задеть дитя. Тогда Бугван и с ним десять человек издадут воинственный клич, перепрыгнут через стену и перебьют масаев. Если все случится так, то масаи, сытые и сонные, как дикие звери побегут ко входу в кустарник, прямо на тех, кто будет стоять у входа, а я, Инкубу и аскари подождем и перебьем остальных. Вот мой план; у тебя есть лучше, скажи?

Я объяснил остальным все подробности плана, и они присоединились ко мне, выражая величайшее удивление ловко и умно составленным планом атаки. Старый зулус поистине был лучшим командиром из мне

известных. После некоторого обсуждения мы решили принять этот план, представлявший из себя единственный возможный исход, подающий некоторую надежду на успех.

— Ага, старый лев! — сказал я Умслопогасу. — Ты умеешь так же хорошо выжидать добычу, как кусать ее, умеешь ловко хватать ее, где ее слишком много!

— Да, да, Макумазан! — ответил он. — Сорок лет я воюю и много чего видал. Хороший будет бой! Пахнет кровью, я говорил тебе, пахнет кровью!

VI. Рассвет близок

Понятно, что при первом появлении масаев все население миссии высыпало в сад. Мужчины, женщины, дети собрались группами, разговаривая о дикарях, об их обычаях, об участи, которая ждет их, если кровожадным воинам удастся проникнуть за стену.

Мы немедленно принялись за выполнение плана. Мистер Макензи послал привести мальчиков двенадцати — пятнадцати лет и направил их в разные пункты следить за лагерем масаев, с приказанием доносить время от времени, что там происходит. Несколько парней и женщин были поставлены вдоль стен, чтобы предупредить нас в случае неожиданного нападения. Затем двадцать человек, составлявшие наши главные силы, собрались в четырехугольник дома, и наш хозяин обратился к ним и к нашим аскари с речью.

Это была исключительная сцена, оставившая глубокое впечатление на присутствовавших.

Около огромного дерева высилась коренастая фигура миссионера. Он снял шляпу, одна рука его, пока он говорил, была поднята кверху, другая покоилась на гигантском стволе дерева. На добром лице его ясно отражалась душевная скорбь. Близ него на стуле сидела его бедная жена, закрыв лицо руками. Сбоку стоял Альфонс, выглядевший очень печально, а позади него стояли мы трое. За нами Умслопогас, склонив угрюмое лицо и опираясь, по обыкновению, на свой топор. Впереди стояла группа вооруженных людей, — одни с винтовками в руках, другие с копьями и щитами, — следивших с серьезным вниманием за каждым словом миссионера.

Серебристые лучи месяца, проникая через ветки деревьев, освещали бледным светом всю сцену, а заунывная песня ночного ветра придавала еще более тяжелый оттенок грусти всей картине.

— Люди, — произнес мистер Макензи, объяснив всем собравшимся наш план возможно яснее, — много лет я был вашим лучшим другом, защищал вас, учил, берег вас и ваши семьи от всяких тревог, и вы благоденствовали здесь, у меня!

Все вы видели, как мое единственное дитя, Водяная Лилия, как вы ее называете, как моя дочь росла и расцветала, с самого раннего детства до теперешнего времени. Она была товарищем игр ваших детей, она помогала нянчить больных, и вы всегда любили ее!

— Мы любим ее, — ответил чей-то глубокий голос, — мы рады умереть за нее!

— Благодарю вас от всего сердца! Благодарю. Я уверен в этом теперь, в тяжелый час тревоги. Ее молодая жизнь в опасности, дикари хотят убить ее, ибо поистине они сами не знают, что делают!

Вы будете бороться изо всех сил, чтобы спасти ее, я знаю это, чтоб избавить меня и мою жену от отчаяния. Подумайте о ваших женах и детях! Дитя умрет, и за ее смертью последует нападение на нас; если вы сами уцелеете, то ваши дома и сады будут разрушены, а имущество и скот станут добычей врагов. Вы знаете, что я мирный человек. За все эти годы я не пролил ни капли человеческой крови, но теперь я буду бороться во имя Божие. Он поможет нам спасти нашу жизнь и наши дома. Клянитесь, — он продолжал с возрастающим жаром, — клянитесь мне, что пока хотя бы один человек останется в живых, вы будете сражаться рядом со мной и с этими храбрыми людьми, чтобы спасти дитя от ужасной смерти!

— Не говори более, отец мой! — произнес тот же глубокий голос, принадлежавший старейшему из обитателей миссии. — Мы клянемся. Пусть мы умрем собачьей смертью, пусть шакалы грызут наши кости, если мы нарушим нашу клятву! Страшное дело, отец мой, нам бороться со множеством врагов, но мы пойдем сражаться и умрем, если нужно! Клянемся!

— Клянемся все! — повторили за ним другие.

— Все мы обещаем это! — сказал я.

— Хорошо! — продолжал миссионер. — Вы все верные, честные люди, на вас можно положиться! А теперь, друзья мои, и черные, и белые, преклоним колени и вознесем наши смиренные молитвы Всемогущему! Его десница управляет нашей жизнью, Он дает жизнь и смерть. Быть может, Ему угодно будет укрепить нашу руку, чтобы мы одержали верх над врагами сегодня на рассвете!

Он встал на колени.

Мы сделали то же — все, кроме Умслопогаса, который мрачно стоял позади, опираясь на свой топор. У гордого старого зулуса не было ни семьи, ни имущества — ничего, кроме боевого топора!

Хозяин поднялся на ноги. Мы последовали его примеру и начали готовиться к сражению. Люди были заботливо отобраны, им дана была подробная инструкция, что и как делать. После долгого обсуждения мы решили, что десять человек, предводительствуемых Гудом, не возьмут огнестрельного оружия — кроме Гуда, у которого был револьвер и нож, тот самый, который я вытащил из груди убитого аскари. Мы боялись, что их

перекрестные выстрелы могут убить наших собственных людей. Кроме того, мы думали, что они отлично обойдутся и холодным оружием, так же как и Умслопогас, горячий приверженец стали. У нас было четыре «винчестера» и полдюжины винтовок Мартини. Я вооружился своей собственной винтовкой, превосходным оружием. Мистер Макензи тоже взял винтовку. Остальные были розданы двум людям, которые умели хорошо стрелять из них. Винтовки Мартини были вручены тем, кто должен был открыть огонь с разных сторон крааля в спящих масаев и более или менее привык к употреблению ружья. Умслопогас остался со своим топором. Сэр Генри и один из аскари должны были засесть у входа в крааль и перебить дикарей, если бы они думали спасаться бегством, и также просили дать им какое-нибудь холодное оружие. К счастью, у мистера Макензи был выбор великолепнейших топориков английского изделия. Сэр Генри выбрал один из них, аскари взял другой, Умслопогас укрепил рукоятки, сделанные из какого-то туземного дерева, похожего на ясень, потом опустил их на полчаса в ведро с водой, чтобы дерево разбухло и топорики крепче сели на топорища. В это время я ушел в свою комнату и принялся открывать маленький жестяной ящик, содержавший в себе — что вы думаете? — ни больше ни меньше как четыре кольчуги.

В предпоследнем нашем путешествии по Африке этим кольчугам мы были обязаны спасением жизни. Припомнив это, я решил, что мы наденем их, прежде чем отправимся в нашу опасную экспедицию. Работа бирмингемских мастеров была превосходна, кольца сделаны из лучшей стали. Моя кольчуга весила только семь фунтов, я мог носить ее несколько дней, и она не нагревалась. У сэра Генри было целых две кольчуги: одна, сделанная по мерке, облегавшая его тело, как джерси, и другая, изготовленная по его собственному указанию и весившая двенадцать фунтов. Она покрывала все тело до колен, но была не так удобна, так как застегивалась на спине и была несколько тяжела. Немного странно, конечно, говорить о кольчугах в наши дни, так как они совершенно бесполезны против пуль. Но в борьбе с дикарями, которые вооружены копьями и топорами, кольчуги непроницаемы для ударов и оказывают несомненную услугу.

Мы благословляли свою предусмотрительность, так как не забыли захватить их с собой, радуясь, что наши носильщики не успели украсть их, когда бежали со всем нашим имуществом. Так как Куртис имел две кольчуги, то я предложил одолжить одну Умслопогасу, который также подвергался немалой опасности. Он согласился и позвал зулуса, который пришел, неся топор сэра Генри, полностью годный к употреблению. Мы

сказали ему, что ее надо надеть на себя; он сначала заявил, что носит свою собственную кожу в бою сорок лет и не хочет надевать на себя железную. Тогда я взял острое копье, бросил кольчугу на пол и изо всех сил ударил по ней копьем.

Копье отскочило, не оставив даже царапины на стали.

Этот эксперимент, видимо, убедил зулуса. Когда я указал ему на то, что предосторожность необходима, если она может сохранить жизнь человеку, что, одев эту рубашку, он может свободно владеть щитом, так как обе руки будут свободны, он согласился надеть на себя «железную кожу». Рубашка, сделанная для сэра Генри, отлично сидела на зулусе. Оба они были почти одинакового роста, и хотя Куртис выглядел толще, но мне кажется, эта разница существовала только в моем воображении. В сущности, он вовсе не был толст. Руки Умслопогаса были тоньше, но крепки и мускулисты. Когда оба они встали рядом, одетые в кольчуги, облегавшие, как платье, их могучие члены, демонстрируя сильные мускулы и изгибы тела — это была такая пара, что и десять человек могли бы уступить при встрече с ними!

Было около часу пополуночи. Разведчики донесли, что масаи, напившись крови быков и наевшись до отвала, отправились спать вокруг костров. Часовые расставлены у всех отверстий крааля. Флосси, добавили они, сидит недалеко от стены у западной стороны крааля, с ней няня и белый осел, который привязан. Ноги девочки стянуты веревкой, и воины улеглись вокруг нее.

Мы перекусили и пошли поспать пару часов перед вылазкой. Я только удивлялся, когда Умслопогас повалился на пол и сейчас же заснул глубоким сном. Не знаю как другие, но я не мог спать. Обыкновенно в таких случаях (мне досадно в этом сознаваться) я чувствовал некоторый страх. Но теперь я спокойно обдумывал наше предприятие, которое мне совсем не нравилось. Нас было тридцать человек, большая часть наших людей совершенно не умела стрелять, а мы готовились сражаться с сотнями храбрых, свирепейших и ужаснейших дикарей Африки, защищенных каменной стеной. В сущности, это было сумасшедшее предприятие, в особенности потому, что мы должны были занять позиции, не привлекая внимания часовых. Какая-нибудь случайность, шум разрядившегося ружья — и мы пропали, потому что весь лагерь поднимется на ноги, а все наши надежды основывались на неожиданном нападении.

Кровать, на которой я лежал, предаваясь таким печальным размышлениям, стояла близ открытого окна, выходившего на веранду. Вдруг я услыхал странные стоны и плач. Сначала я не мог понять, что это такое, но наконец встал, высунул голову в окно и огляделся. Я увидел на

веранде человеческую фигуру, которая стояла на коленях, била себя в грудь и рыдала. Это был Альфонс. Не разобрав его слов, я позвал его и спросил, что с ним происходит.

— Ах, сударь, — вздохнул он, — я молюсь о душах тех, кого я должен убить сегодня ночью!

— Но я желал бы, — возразил я, — чтобы вы молились немножко потише!

Альфонс ушел, и все стихло. Прошло некоторое время. Наконец мистер Макензи шепотом окликнул меня через окно.

— Три часа, — сказал он, — через полчаса мы должны двинуться!

Я попросил его войти ко мне. Он вошел. Если бы мне не было неудобно, я был бы готов разразиться смехом при виде миссионера, явившегося ко мне в полном вооружении.

На нем были широкая сутана, пояс и широкополая черная шляпа, которую он, по его словам, ценил за ее темный цвет. Он опирался на большую винтовку, которую держал в руке; за резиновый пояс, какой обыкновенно носят английские мальчики, были засунуты огромный разрезной нож с роговой ручкой и десятизарядный револьвер.

— Друг мой, — сказал он, заметив, что я изумленно уставился на пояс, — вы смотрите на мой нож? Я думаю, что он будет удобен, он сделан из превосходной стали, я убил им несколько свиней!

В это время все остальные встали и уже одевались.

Я одел легкий жакет поверх стальной рубашки, чтобы иметь под рукой, в кармане, патроны, и пристегнул револьвер. Гуд сделал то же самое. Но сэр Генри ничего не надел, кроме стальной рубашки и пары мягких башмаков, так что его ноги были обнажены до колен. Револьвер висел на ремне, надетом поверх кольчуги. Между тем Умслопогас собрал всех наших людей под большим деревом и ходил кругом, осматривая их вооружение. В последнюю минуту мы кое-что изменили.

Двое из людей, вооруженных ружьями, не умели стрелять, но отлично владели копьем; мы отобрали у них винтовки, дав щиты и длинные копья, и велели присоединиться к Куртису, Умслопогасу и аскари. Нам было ясно, что три человека, как бы они ни были храбры, не справятся с делом!

VII. Страшная резня

С минуту мы стояли тихо, ожидая момента выступления. Это было тяжелое ожидание, и как долго оно тянулось! Казалось, минуты идут черепашьим шагом. Воцарилось торжественное молчание, еще более угнетавшее душу. Я отвернулся от этого зрелища с ощущением, похожим на мое теперешнее чувство, с той лишь разницей, что в нем преобладал личностный элемент. Торжественные лица людей, которые знали, что, быть может, несколько минут отделяют их от перехода к вечному покою и забвению, странный шепот, постоянное оглядывание сэром Генри своего топора, даже особая манера, с которой Гуд протирал свое стеклышко, — все говорило, что нервы возбуждены до крайности. Один Умслопогас стоял, опираясь на свой топор и держа щепотку нюхательного табака в руке, и был совершенно спокоен и неподвижен.

Трудно было расшатать его железные нервы! Месяц клонился все ближе к горизонту и наконец исчез. Стало темно. Только на востоке небо начало бледнеть, предвещая скорое появление зари.

Мистер Макензи стоял с часами в руке, жена держала его за руку, стараясь подавить рыдания.

— Двадцать минут четвертого, — произнес он, — скоро будет достаточно светло. Капитан Гуд мог бы отправляться, три или четыре минуты уйдет на дорогу!

Гуд кивнул головой и еще раз протер свой монокль. Всегда учтивый, он раскланялся с миссис Макензи и отправился занимать свою позицию у крааля, куда его должны были провести туземцы знакомыми тропинками. Явился мальчик с сообщением, что в лагере масаев все крепко спят, за исключением двух часовых, которые прохаживались у входа. Затем выступили все мы. Сначала шел проводник, за ним — сэр Генри, Умслопогас, аскари, двое туземцев из миссии вооруженные длинными копьями и щитами. Я шел за ними, рядом с Альфонсом и пятью туземцами, которые имели ружья. Миссионер замыкал шествие с остальными шестью слугами.

Крааль, где расположились лагерем масаи, находился у подошвы холма, в восьмистах ярдах от миссии. Первые пятьсот ярдов мы прошли благополучно. Затем поползли — тихо, как леопард за добычей, скользя, как призраки, из куста в куст. Пройдя немного, я оглянулся назад и увидал Альфонса. Он едва держался на ногах, с бледным лицом и дрожавшими

коленями. Его винтовка со взведенным курком почти упиралась в мою спину. Благополучно отняв винтовку у Альфонса, мы продолжали свой путь, пока не очутились в сотне ярдов от крааля. Зубы Альфонса начали стучать самым ужасным образом.

— Перестаньте, или я убью вас! — прошептал я свирепо. Мысль о том, что все может погибнуть из-за этого стука зубов, вовсе не улыбалась мне. Я начал бояться, что повар выдаст всех нас, и искренно желал, чтобы он остался где-нибудь позади.

— Но, сударь, я не могу ничего поделать, — отвечал он, — мне холодно!

Это была трудная задача, но, к счастью, я быстро решил ее. В кармане моем находился маленький кусочек грубой материи, которым я чистил ружье.

— Возьмите ее в рот, — прошептал я, отдавая ему тряпку, — если я услышу еще звук, вы погибли!

Я знал, что тряпка смягчит стук зубов. Альфонс безропотно повиновался мне и вел себя тихо.

Мы снова поползли. Осталось около пятидесяти ярдов до крааля. Между ним и нами находилось пустое пространство, поросшее кустами мимоз и сухим кустарником. Мы спрятались в кустах. Начало светать. Звезды побледнели, и восток заалел. Мы ясно видели очертания крааля и легкий отблеск потухавших костров в лагере масаев. Мы остановились и прислушались, зная, что часовой находится близко. Он появился — высокий, статный человек — и лениво прохаживался в пяти шагах от заросшего кустарником входа. Мы надеялись убить его сонным, но он и не думал спать. Если нам не удастся убить его, убить тихо, без звука, без стона — мы пропали! Мы спрятались и продолжали наблюдать за ним. Умслопогас, находившийся впереди меня, повернулся, сделал мне знак, и в следующую секунду я увидел, что он лег на живот и пополз, как змея, по траве, выжидая случая, когда часовой повернет голову. Часовой беззаботно замурлыкал песню. Умслопогас полз незамеченным, добрался до кустов мимозы и ждал. Часовой расхаживал взад и вперед, потом обернулся и взглянул на стену. Умслопогас проскользнул ближе, прячась позади кустов и не сводя глаз с воина. Глаза часового устремились на дорожку между кустами, и, казалось, что-то удивило его. Он сделал несколько шагов вперед, остановился, зевнул, взял маленький камень и бросил его в кусты. Камень пролетел над головой Умслопогаса, не задев его кольчуги. Если бы он задел ее, то звук непременно выдал бы нас. К счастью, кольчуга была сделана из темного металла и не блестела. Убедившись, что в кустах нет

ничего, воин оперся на свое копье и лениво посмотрел на кусты. Он стоял так минуты три, погруженный в задумчивость, а мы лежали, терзаясь опасениями, каждую минуту ожидая, что будем открыты благодаря какой-нибудь случайности. Я снова услышал, как стучат зубы Альфонса, — даже через тряпку, — повернулся к нему и состроил свирепое лицо. Наконец пытка пришла к концу. Часовой взглянул на восток, видимо довольный, что близится смена, и принялся потирать себе руки и ходить взад и вперед, чтобы согреться.

В ту минуту, когда он повернулся, длинная черная змея скользнула в ближайший кустарник, мимо которого должен был проходить дикарь. Часовой вернулся, двинулся мимо кустов, не подозревая об опасности. Если бы он взглянул вниз, может быть, он избежал бы ее. Умслопогас поднялся и с поднятой рукой пошел по его следам. Как только воин повернулся, зулус сделал прыжок, и при свете зари мы увидели, как его длинные руки вцепились в горло врага. Затем два тела конвульсивно сплелись вместе, потом голова масая откинулась назад, мы слышали, как он захрипел и упал на землю, вздрагивая всеми членами. Зулус пустил вход всю свою силу и сломал дикарю шею. На минуту он придавил коленом грудь своей жертвы, все еще сжимая ему горло, пока не убедился, что враг мертв. Тогда он встал, кивнув нам, чтобы мы шли вперед. И мы шли, на четвереньках, как обезьяны. Добравшись до крааля, мы заметили, что масаи загородили вход, протянув сюда четыре или пять кустов мимозы, несомненно из-за боязни нападения. Здесь мы разделились. Макензи со своим отрядом пополз в тени стены налево, сэр Генри и Умслопогас заняли места по сторонам терновой ограды, а два человека, вооруженные копьями, и двое аскари залегли прямо против входа. Я полз со своими людьми по правую сторону крааля, длина которого была около пятидесяти шагов. Через несколько минут я остановился и разместил моих людей недалеко друг от друга, не отпуская от себя Альфонса. В первый раз я взглянул через стенку во внутренность крааля. Было совсем светло, и первое, что мне бросилось в глаза, был белый ослик, а за ним — бледное личико маленькой Флосси, которая сидела в десяти шагах от стены. Вокруг нее лежали спящие воины. На разных расстояниях, по всему краалю, виднелись остатки костров, вокруг которых спали масаи. Один из них встал, зевнул, посмотрел на восток и снова лег. Я решил подождать еще пять минут.

Нежные лучи рассвета широко разлились над равниной, лесом, рекой и величественной горой Кения, окутанной молчанием вечных снегов, и одели пурпурно-красным отблеском ее величавую вершину, высоко вздымавшуюся к ярко-синему небу, нежному, как улыбка матери. Птицы

громко пели свою утреннюю песнь, легкий ветерок шелестел в кустах. Утро дышало миром и счастьем нарождающейся силы, всюду были тишина и спокойствие, всюду, кроме человеческого сердца!

Вдруг, когда я напряженно ждал сигнала, уже успев выбрать человека, которому поручил открыть огонь, зубы Альфонса снова застучали, как копыта жирафов, нарушая царившую вокруг тишину. Тряпка незаметно выпала из его рта. Масаи, лежавший в краале вблизи от нас, оглянулся вокруг себя, удивляясь этому звуку. Вне себя от ярости, я ударил концом винтовки прямо в живот француза. Это остановило его дрожь. Теперь сигнал не был нужен. С обеих сторон крааля послышались выстрелы, засверкал огонь. Я присоединился к нападающим; с верхнего конца крааля раздался ужасный рев, в котором я различил голос Гуда, резко выделявшийся в общем шуме. Со страшным криком ужаса и ярости черная толпа дикарей вскочила на ноги, многие из них сейчас же упали под выстрелами наших ружей. С минуту они стояли в нерешительности, но, услыхав непрестанные крики и рев на верхнем конце крааля, осаждаемые градом выстрелов, бросились бежать к выходу. Мы открыли огонь им вслед, стреляя прямо в толпу дикарей. Я сделал десять выстрелов из своего ружья, как вдруг вспомнил о маленькой Флосси. Взглянув в ее сторону, я заметил, что белый ослик лежал на земле, вероятно убитый нашими пулями или копьем масая. Поблизости не видно было ни одного дикаря. Черная няня Флосси стояла перед ней и торопливо перерезала копьем веревку, связывавшую их ноги. Затем она быстро побежала к стене крааля и начала карабкаться на нее. Девочка последовала ее примеру, но, видимо, ослабела и с трудом цеплялась за стену. Увидав это, двое дикарей бросились, чтобы убить ее. Первый близко подбежал к бедной девочке, которая после напрасных усилий снова упала на землю. Блеснуло копье, но моя пуля уложила дикаря на месте. Позади его стоял другой, а у меня — увы! — не осталось в магазине ни одного патрона. Флосси вскочила на ноги и встала перед дикарем, который поднял копье. Я отвернулся, чувствуя невыносимую боль в сердце при мысли, что дикарь убьет дорогое дитя. Но, взглянув туда, я с удивлением заметил дымок, копье масая лежало на земле, а дикарь зашатался, обхватив голову руками, и свалился на землю. Я вспомнил, что у Флосси был револьвер, который и спас ей жизнь. Потом девочка собрала все силы, с помощью няни перелезла через стену и таким образом была спасена. Все это заняло не более нескольких секунд. Я наполнил магазин патронами и снова открыл огонь по беглецам, которые карабкались по стене. Я убил нескольких дикарей и наконец добрался до угла крааля, где шел горячий бой. Двести дикарей, — считая, что мы

уничтожили из них пятьдесят, — собрались у входа, заросшего кустарником, представляя из себя значительную силу, в противовес Гуду и десятку человек, которые усердно поражали их копьями. Дикари сдерживали их у изгороди, которая представляла из себя действительно сильное укрепление. Один из них успел перепрыгнуть через загородку, но топор сэра Генри с силой опустился на его украшенную перьями голову, и воин упал в середину кустов.

С криком и ревом начали дикари перескакивать через изгородь; большой топор сэра Генри и *Инкосикази* летали над их головами, и один за другим дикари падали на землю, на трупы товарищей, образуя новую изгородь своими телами.

Те, кто спасся от топоров, падали от руки аскари или двух кафров из миссии.

Я и мистер Макензи стреляли в уцелевших дикарей. Гуд и его люди оказались теперь отгороженными от нас толпой врагов, и мы должны были перестать стрелять в дикарей — из боязни убить своих. (Один из людей Гуда все-таки был убит). Обезумев от ужаса, масаи дружным усилием прорвались через изгородь и, вытолкнув Куртиса, Умслопогаса и аскари перед собой, начали драться у входа. Тут мы принялись стрелять в них.

Наш бедный аскари упал замертво с копьем в спине, за ним упали двое людей, вооруженных копьями, и, умирая, дрались, как львы. Многие из нашего отряда подверглись такой же участи. Я боялся, что битва проиграна, и велел своим людям бросить винтовки и взять копья. Они повиновались, потому что кровь их была разгорячена. Люди миссионера последовали их примеру. Это принесло хорошие результаты, но исход битвы все еще был для нас под сомнением.

Наши люди дрались великолепно, отбивались, кричали, убивали дикарей и падали сами.

В общем хаосе выделялся резкий крик Гуда, его ободряющие возгласы. С регулярностью машины поднимались и опускались два топора, оставляя за собой смерть и разрушение. Но я заметил, что сэр Генри устал от чрезмерного напряжения, побледнел от нескольких ран, его дыхание сделалось прерывистым, и жилы на лбу налились. Даже Умслопогас, этот железный человек, утомился. Он перестал долбить врагов своей *Инкосикази* и пустил в дело клинок. Я не вмешивался в бой, осыпая пулями масаев, когда это было нужно. Я вынужден был поступить так потому, что истратил сорок девять патронов в это утро (и не промахнулся ни разу).

Все-таки бой клонился не в нашу пользу. Нас осталось не более пятнадцати или шестнадцати человек, а дикарей было около пятидесяти.

Если бы они сплотились вместе и дружно принялись за дело, победа была бы на их стороне. Но дикари не сплотились, а многие из них бежали, побросав оружие. Ухудшило положение еще и то, что миссионер бросил свою винтовку и какой-то дикарь погнался за ним с мечом. Миссионер выхватил из-за пояса свой огромный нож. Они вступили в отчаянную борьбу. Миссионер и дикарь катались по земле около стены. Занятый своими делами, помышляя о своем собственном спасении, я не знал, чем окончилась эта борьба.

Бой продолжался. Дело клонилось в дурную для нас сторону. Только счастливый случай спас нас. Умслопогас — нарочно или случайно — вырвался из общей свалки и погнался за одним дикарем. Тогда другой дикарь ударил его большим копьем между плеч. Копье ударилось о стальную рубашку и отскочило. С минуту дикарь стоял как зачарованный, — это дикое племя не имело понятия о кольчугах, — потом побежал, крича диким голосом:

— Это дьяволы, дьяволы! Они заколдованы, заколдованы!

Я послал пулю ему вслед, Умслопогас прикончил своего дикаря. Страшная паника охватила всех воинов.

— Заколдованы, заколдованы! — кричали они и кинулись врассыпную, побросав свои щиты и копья.

Нечего и говорить о конце этого ужасного побоища. Это была ужасная резня, в которой никому не было пощады. Произошел еще инцидент довольно скверного свойства. Я надеялся, что все кончено, как вдруг из-под кучи убитых вылез уцелевший воин и, раскидав трупы, как антилопа прыгнул и ветром понесся в ту сторону, где стоял я. Но Умслопогас шел по его следам с присущей ему ловкостью. Когда они приблизились ко мне, я узнал в дикаре вестника, который приходил в миссию прошедшей ночью. Умслопогас также узнал его.

— А, — крикнул он насмешливо, — это с тобой я разговаривал прошлой ночью. Лигонани! Вестник! Похититель маленьких девочек! Ты хотел убить ребенка! Ты надеялся стать лицом к лицу с Умслопогасом из народа амазулу! Молитва твоя услышана! Я поклялся раскрошить тебя на куски, дерзкая собака! И я сделаю это!

Масай яростно заскрежетал зубами и бросился с копьем на зулуса. Умслопогас отступил, взмахнул топором над его головой и с такой силой всадил топор в плечи дикаря, что пробил кости, мясо и мускулы и отделил голову и руку от туловища.

— О, — воскликнул зулус, смотря на труп своего врага, — я сдержал свое слово. Это был хороший удар!

VIII. Альфонс обнаружен

Побоище окончилось. Отвернувшись от ужасного зрелища, я вспомнил, что не видал Альфонса с того времени, как силой заставил его умолкнуть, ударив по животу. Бой, казалось, тянулся бесконечно, но, в сущности, продолжался недолго. Где был Альфонс? Я боялся, что бедняга погиб, и начал искать его среди убитых, но потом решил, что он, наверное, жив и здоров, и пошел к той стороне крааля, где мы стояли сначала, окликая его по имени. В пятнадцати шагах от каменной стены находилось старинное дерево из породы баньянов.

— Альфонс! — кричал я. — Альфонс!

— Да, мсье! — отвечал голос. — Я здесь!

Я оглянулся кругом. Никого.

— Где вы? — крикнул я.

— Я здесь, мсье, в дереве!

Я взглянул в дупло баньяна и увидел бледное лицо, длинные усы, жалкую фигуру повара, похожего на побитую дворняжку. В первый раз я понял, что мое подозрение справедливо. Альфонс — отъявленный трус! Я подошел к нему.

— Вылезайте оттуда!

— Все кончено, мсье? — спросил он боязливо. — Совсем кончено? Ах, какие ужасы я пережил! Какие молитвы я возносил к небу!

— Ну, вылезай, бездельник! — сказал я не совсем дружелюбно. — Все кончено!

— Значит, мсье, молитвы мои услышаны? Я выхожу!

Мы пошли к другим, которые собрались группой у входа в крааль, похожий теперь на кладбище. Вдруг из кустов выскочил дикарь и яростно бросился на нас. С воплем ужаса Альфонс побежал от него, за ним погнался масай и, наверное, убил бы француза, если бы я не успел всадить дикарю пулю в спину. Альфонс споткнулся и упал, дикарь упал на него, содрогаясь в предсмертной агонии. Затем раздались такие пронзительные вопли, что я испуганно побежал к тому месту, откуда они слышались, отбросил труп дикаря и извлек Альфонса. Он был покрыт кровью и трясся, как гальванизированная лягушка. «Бедняга, — думал я, — дикарь успел прикончить его!» Встав на колени около Альфонса, я начал искать его рану.

— О, моя спина! — вопил он. — Я убит, я умер!

Я долго возился с ним, но не нашел ни одной царапины. Он просто

перепугался и больше ничего.

— Вставайте! — крикнул я. — Вставайте! Не стыдно вам? Вы целехоньки!

Он встал.

— Но, мсье, я думал, что меня убили! — сказал он. — Я не знал, что победил дикаря!

Толкнув труп масая, он вскричал торжествующим голосом.

— А, дикая собака! Ты мертв. Какова победа!

Я оставил Альфонса любоваться своей победой и отошел, но он последовал за мной, как тень. Первое, что мне бросилось в глаза, когда мы присоединились к другим, это миссионер, сидевший на камне; его нога была завязана платком, сквозь который сочилась кровь. Он действительно получил рану в ногу копьем и сидел, держа в руке свой любимый разрезной нож, который был теперь согнут.

— А, Квотермейн, — сказал он дрожащим взволнованным голосом, — мы победили! Но какое ужасное зрелище! Печальное зрелище!

Перейдя на свое родное шотландское наречие и смотря на согнутый нож, он продолжал:

— Мне досадно, что я согнул мой лучший нож в борьбе с дикарем. — Он истерически засмеялся.

Бедный миссионер! Рана и волнение окончательно расшатали его нервы. И неудивительно. Мирному человеку тяжело участвовать в таком убийственном деле. Судьба часто жестоко смеется над людьми!

Странная сцена происходила у входа в крааль.

Резня кончилась, раненые умирали в мучениях. Кусты были затоптаны, и вместо них повсюду лежали трупы людей. Смерть, повсюду смерть! Трупы лежали в разных положениях, одни на других, кучами, в одиночку, некоторые походили на людей, мирно отдыхающих на траве.

Перед входом, где валялись копья и щиты, стояли уцелевшие люди, около них лежало четверо тяжело раненых. Из тридцати сильных, крепких людей едва осталось пятнадцать, и пять из них, включая миссионера, были ранены, двое — смертельно. Куртис и зулус остались невредимыми. Гуд потерял пятерых людей, у меня были убиты двое, Макензи оплакивал пять или шесть человек. Что касается всех уцелевших, то, за исключением меня, все они были в крови с головы до ног — кольчуга сэра Генри казалась выкрашенной в красный цвет — и страшно измучены. Один Умслопогас стоял, озаренный лучами света, около груды трупов, мрачно опираясь на свой топор, и не казался расстроенным и усталым, хотя тяжело дышал.

— Ах, Макумазан, — сказал он, когда я проковылял мимо него,

чувствуя себя разбитым, — я говорил тебе, что будет хороший бой. Так и случилось. Никогда я не видел ничего подобного, не видел такого отчаянного дня! А эта железная рубашка наверняка заколдована, ее не пробьешь. Если бы я не влез в нее, я был бы там! — он кивнул в направлении груды убитых людей.

— Я дарю тебе эту рубашку! Ты — храбрый человек! — сказал сэр Генри.

— Инкоси! — ответил зулус, глубоко обрадованный и подарком, и комплиментом. — Ты, Инкубу, можешь носить такую рубашку, ты храбрый человек, но я должен дать тебе несколько уроков, как владеть топором. Тогда ты покажешь свою силу!

Миссионер спросил о Флосси. Мы все крайне обрадовались, когда один из людей сказал, что видел, как она бежала к дому вместе с нянькой. Захватив с собой раненых, которые могли вынести движение, мы тихо направились к миссии, измученные, покрытые кровью, но с радостным сознанием победы. Мы спасли жизнь ребенка и дали масаям хороший урок, который они долго не забудут! Но чего это стоило!

У ворот стояла, ожидая нас, миссис Макензи. Завидев нас, она вскрикнула и закрыла лицо руками.

— Ужасно, ужасно! — повторяла она, и только увидев своего достойного супруга, несколько успокоилась. В двух словах я поведал ей об исходе борьбы (Флосси, благополучно прибежавшая домой, могла рассказать ей все подробно). Миссис Макензи подошла ко мне и торжественно поцеловала меня в лоб.

— Бог да благословит вас, Квотермейн, — сказала она, — вы спасли жизнь моего ребенка!

Мы отправились к себе переменить платье и перевязать наши раны. Я рад признаться, что остался невредим, а сэр Генри и Гуд благодаря стальным рубашкам получили незначительные ранения, легко излечимые простым пластырем.

Рана миссионера имела серьезный характер, но, к счастью, копье не задело артерии. С наслаждением вымывшись, одев наше обычное платье, мы прошли в столовую, где нас ожидал завтрак. Как-то странно было сидеть в прилично обставленной столовой, пить чай и есть поджаренный хлеб, словно все, что случилось с нами, было сном, словно мы несколько часов тому назад не дрались с дикарями в рукопашной схватке.

Гуд сказал, что все происшедшее кажется ему каким-то кошмаром. Когда мы кончили завтрак, дверь отворилась и вошла Флосси, бледная, измученная, но невредимая. Она поцеловала нас всех и поблагодарила. Я

поздравил ее с находчивостью и смелостью, которую она выказала, убив дикаря ради спасения своей жизни.

— О, не говорите, не вспоминайте! — произнесла она и залилась истерическим плачем. — Я никогда не забуду его лица, когда он повернулся ко мне, никогда! Я не могу!

Я посоветовал ей пойти и уснуть. Она послушалась и вечером проснулась бодрая, со свежими силами. Меня поразило, что девочка, владевшая собой и стрелявшая в дикаря, теперь не могла вынести даже напоминания об этом. Впрочем, это отличительная черта ее пола!

Бедная Флосси! Я боюсь, что нервы ее не скоро успокоятся после этой ужасной ночи, проведенной в лагере дикарей. Позднее она рассказала мне, что было ужасно, невыносимо сидеть долгие часы в эту бесконечную ночь, не зная, как, каким образом будет сделана попытка спасти ее! Она прибавила, что, зная нашу малочисленность, не смела ожидать этого, тем более что масаи не выпускали ее из виду; большинство из них не видело никогда белых людей, они трогали ее за руки, за волосы своими грязными лапами. Она решила, если помощь не явится, с первыми лучами солнца убить себя. Нянька слышала слова лигонани, что их замучат до смерти, если при восходе солнца никто из белых людей не явится заменить ее. Тяжело было ребенку решиться на это, но я не сомневаюсь, что у нее хватило бы мужества застрелиться. Она находилась в том возрасте, когда английские девочки ходят в школу и помышляют о конфетах. Это дикое дитя, эта дикарка выказала больше мужества, ума и силы воли, чем любая взрослая женщина, воспитанная в праздности и роскоши.

Кончив завтрак, мы отправились спать и проспали до обеда. После обеда мы вместе со всеми обитателями миссии — мужчинами, женщинами, юношами, детьми, — пошли к месту побоища, чтобы похоронить наших убитых и бросить трупы дикарей в воды Таны, протекающей в пятидесяти ярдах от крааля.

В торжественном молчании похоронили мы наших мертвецов. Гуд был избран прочесть похоронную службу (за отсутствием миссионера, вынужденного лежать в постели) благодаря звонкому голосу и выразительной манере чтения. Это были тяжелые минуты, но, по словам Гуда, было бы еще тяжелее, если бы нам пришлось хоронить самих себя!

Затем мы принялись нагружать трупами масаев телегу, запряженную быками, собрав сначала все копья, щиты и другое оружие. Пять раз нагружали мы телегу и бросали трупы в реку. Очевидно было, что многие дикари успели бежать. Крокодилам предстоял сытный ужин в эту ночь! В одном из трупов мы узнали часового с верхнего конца крааля. Я спросил

Гуда, каким образом ему удалось убить его. Он рассказал мне, что полз за ним, по примеру Умслопогаса, и ударил ножом. Тот отчаянно стонал, но, к счастью, никто не слыхал этих стонов.

По словам Гуда, ужасная вещь — убивать людей, и отвратительнее всего — это обдуманное, хладнокровное убийство. Последним трупом, брошенным нами в волны Таны, завершили мы инцидент с нашим нападением на лагерь масаев. Щиты, копья, все оружие мы взяли с собой в миссию. Не могу не вспомнить одного случая при этом. Возвращаясь домой, мы проходили мимо дупла, где скрывался Альфонс этим утром. Маленький человек присутствовал при погребении убитых и выглядел совсем другим, чем был тогда, когда масаи сражались с нами. Для каждого трупа он находил какую-нибудь остроту или насмешку. Он был весел, ловок, хлопал в ладоши, пел, когда течение реки уносило трупы воинов за сотни миль. Короче говоря, я подумал, что ему надо преподать урок, и предложил судить его военным судом за постыдное поведение утром.

По уговору мы подвели его к дереву и начали суд. Сэр Генри объяснил ему на прекрасном французском языке весь стыд трусости, весь ужас его поведения, дерзость, с которой он выбросил изо рта тряпку, между тем как он мог, стуча зубами, поднять на ноги лагерь масаев и разрушить все наши планы.

Мы ждали, что Альфонс будет пристыжен, сконфужен, и разочаровались. Он кланялся, улыбался и заявил, что его поведение может показаться странным, но в действительности зубы его стучали вовсе не от страха — о нет, конечно, он удивляется, что господа могли даже подумать это, — но просто от утреннего холода. Относительно тряпочки, если господам угодно попробовать ее ужасный вкус — какая микстура из парафинового масла, сала и пороха! Что-то ужасное! Но он послушался и держал ее во рту, пока желудок его не возмутился… Тряпка вылетела изо рта в припадке невольной болезни.

— Убирайтесь вы вон, паршивая собачонка! — прервал его сэр Генри со смехом и дал Альфонсу такой толчок, что тот отлетел на несколько шагов с кислым лицом.

Вечером я имел разговор с миссионером, который порядочно страдал от своих ран. Гуд, весьма искусный в медицине, лечил его.

Мистер Макензи сказал мне, что столкновение с дикарями дало ему хороший урок и как только он поправится, он передаст дела миссии молодому человеку, который готовится к миссионерской деятельности, и уедет в Англию.

— Видите ли, Квотермейн, — сказал он, — я решил поступить так

сегодня утром, когда мы ползли к лагерю дикарей. Я сказал себе, что если мы останемся живы и спасем Флосси, то я непременно уеду в Англию. Довольно с меня дикарей! Я не смел думать, что мы уцелеем. Благодарение Богу и вам четверым, что мы живы, и я остаюсь при своем решении, иначе будет хуже! Случись еще нечто подобное, и моя жена не выдержит! Между нами, мистер Квотермейн, я богат! У меня есть триста тысяч фунтов, и каждый грош заработан честной торговлей. Деньги лежат в Занзибарском банке, потому что моя жизнь здесь не требует затрат. Хотя мне будет тяжело покинуть эти места и оставить этих людей, которые любят меня, я должен ехать!

— Я рад вашему решению, — отвечал я, — по двум причинам. Первая — у вас есть обязанности по отношению к вашей жене и дочери, в особенности вы не должны забывать о ребенке. Флосси должна получить образование и жить среди таких же детей, как она, иначе она вырастет дикаркой. Другая причина: рано или поздно, но масаи отомстят вам за себя. Несколько человек их успели убежать — результатом будет новое нападение на вас! Ради одного этого я уехал бы непременно! Когда они узнают, что вас здесь нет, они, может быть, не пойдут сюда![59]

IX. В неизвестной стране

Прошла неделя. Однажды вечером мы сидели за ужином в столовой миссии, в невеселом расположении духа, так как назавтра должны были проститься с друзьями и отправиться дальше. О масаях не было ни слуху ни духу. Кроме двух копий, забытых на траве, и пустых патронов, валявшихся у стены, ничто не напоминало, что в старом краале происходила ужасная резня. Макензи, благодаря своему спокойному темпераменту, быстро оправился и ходил теперь с помощью костылей. Из других раненых один умер от гангрены, а остальные понемногу выздоравливали. Люди мистера Макензи, ушедшие с караваном, вернулись, и в миссии теперь был целый гарнизон.

Несмотря на радушные и горячие просьбы остаться еще, мы решили, что пора двинуться в путь, сначала к горе Кения, потом в неизведанные области, искать таинственную белую расу людей. За это время мы смогли оценить достоинства осла, столь полезного в путешествиях, и приобрели их целую дюжину для перевозки нашего имущества и, если понадобится, нас самих. У нас осталось только двое слуг, тех же ваква, и мы сочли невозможным нанимать туземцев и тащить их за собой Бог знает куда.

Мистер Макензи сказал, что ему кажется странным, как мы, трое образованных людей, обладающих всем в жизни — здоровьем, значительными средствами, положением, — для собственного удовольствия отправляемся куда-то в глушь, в погоню за приключениями, откуда можем не вернуться совсем. Но мы — англичане, искатели приключений с головы до пят! Наши великолепные колонии обязаны своим существованием отважным людям и их чрезмерной любви к приключениям, хотя эта любовь, на первый взгляд, кажется чем-то вроде тихой формы помешательства.

«Искатель приключений» идет навстречу всему, что бы ни случилось. Я даже горжусь этим титулом, который говорит о смелом сердце, о горячей вере в Провидение. Кроме того, когда имена Крезов[60], перед которыми преклоняется мир, имена всяких политиков, которые управляют миром, — забывают, имена отважных старых искателей приключений, которые сделали Англию такой, какая она есть теперь, — эти имена будут вспоминаться всегда и с любовью и гордостью передадутся детям! Мы трое, конечно, не можем рассчитывать на это, мы довольствуемся тем, что есть!

В этот вечер, сидя на веранде, покуривая трубки, мы увидели Альфонса, который подошел к нам с изящным поклоном и заявил, что желает переговорить с нами. Мы попросили его объясниться.

Он сказал, что боится присоединиться к нам в нашем путешествии (это вовсе не удивило нас, ввиду его трусости). Мистер Макензи уезжал в Англию, а без него — Альфонс был в этом убежден — его схватят, препроводят во Францию и посадят в тюрьму. Эта мысль преследовала его, и расстроенное воображение придумывало тысячу опасностей. В сущности, его преступление было давно забыто, и он мог беспрепятственно появиться во Франции. Но он не допускал и мысли об этом и просил нас взять его с собой. Трус от природы, Альфонс готов был скорее идти на любой риск, подвергаться всевозможным опасностям в нашей экспедиции, чем обречь себя на столкновение с полицией в родной стране. Выслушав Альфонса, мы стали обсуждать его предложение и согласились взять его с собой.

Мистер Макензи также советовал нам взять француза. Нас было немного, а француз был живым, деятельным парнем, который умел приложить руки ко всему и отлично стряпал. Ах, как он умел стряпать! Я уверен, что он состряпал бы великолепное кушанье из старых штиблет своего героя-дедушки, о которых он так любил говорить. Затем, маленький человек имел прекрасный характер, был весел, как обезьяна, и его смешные, тщеславные рассказы были нескончаемой забавой для нас; кроме того, он был удивительно незлобивым. Даже его трусость не мешала нам, потому что мы знали эту его слабость и могли остерегаться ее. Предупредив француза, что он рискует натолкнуться на опасности, мы сказали, что принимаем его предложение при условии полного повиновения нашим приказаниям. Мы также решили положить ему жалованье по десять фунтов в месяц, чтобы, вернувшись в цивилизованную страну, он мог всегда получить их. На все это он согласился очень охотно и отправился писать письмо Анетте, которое миссионер обещал отослать.

Потом он прочитал нам свое письмо, сэр Генри перевел его, и мы удивлялись этому. В нем было много всего — и преданности, и страданий: «Далеко, далеко от тебя, Анетта, ради которой, обожаемой, дорогой моему сердцу, я обрек себя на страданья!» Все это должно было растрогать сердце жестокосердной прелестной служанки!

Наступило утро. В семь часов ослы были нагружены. Пора отправляться! Печальное было прощание, особенно с маленькой Флосси! Мы были с ней хорошими друзьями, часто беседовали. Но ее нервы всегда

расстраивались при воспоминании об этой ужасной ночи, которую она провела во власти кровожадных масаев.

— О, мистер Квотермейн! — вскричала она, обвивая руками мою шею и заливаясь слезами. — Я не в силах проститься с вами. Когда мы снова увидимся?

— Не знаю, мое дорогое дитя, — сказал я, — я стою на одном конце жизни, а вы — на другом! Мне не много осталось впереди, целая жизнь прожита в прошлом, а вам, я надеюсь, предстоят долгие и счастливые годы жизни и много хорошего в будущем! Мало-помалу вы подрастете и превратитесь в прекрасную женщину, Флосси, и вся эта дикая жизнь будет казаться вам каким-то сном! Если мы никогда более не встретимся, я надеюсь, вы будете вспоминать вашего старого друга и его слова! Старайтесь быть всегда доброй и хорошей, моя дорогая, а главное — правдивой. Доброта и счастье — одно и то же! Будьте сострадательны, помогайте другим, мир полон страдания, моя дорогая, и облегчить его — наш благороднейший долг. Если вы сделаете это, вы будете милой, богобоязненной женщиной, озарите счастьем печальную участь многих людей, и ваша собственная жизнь будет полнее, чем жизнь других женщин. Я даю вам добрый совет по старомодному обычаю. Вы видите этот клочок бумаги, который мы называем чеком? Его надо отдать отцу вместе с этой запиской. Когда-нибудь вы выйдете замуж, моя дорогая Флосси, вам купят свадебный подарок, который будете носить вы, а после вас — ваша дочь, если она будет у вас, в память об охотнике Квотермейне!

Маленькая Флосси долго кричала и плакала и дала мне на память локон своих золотистых волос, который хранится у меня до сих пор. Я подарил ей чек на тысячу фунтов и в записке уполномочивал ее отца положить их под проценты в правительственное учреждение — с тем, чтобы по достижению известного возраста или выхода замуж купить ей лучшее бриллиантовое ожерелье. Я выбрал бриллианты потому, что ценность их не падает и в трудные минуты последующей жизни моя любимица может всегда обратить их в деньги.

Наконец, после долгих прощаний, рукопожатий, приветствий, мы отправились, простившись со всеми обитателями миссии. Альфонс горько плакал, прощаясь с своими хозяевами, у него было мягкое сердце. Я не особенно огорчался, когда мы ушли, так как ненавижу все эти прощания. Тяжелее всего было смотреть на грусть Умслопогаса, когда он прощался с Флосси, к которой он сильно привязался. Он говорил, что она так же мила, как звезда на ночном небе, и никогда не уставал поздравлять себя с тем, что убил лигонани, который посягал на жизнь ребенка. Последний раз

взглянули мы на красивое здание миссии — настоящий оазис в пустыне — и простились с европейской цивилизацией. Но я часто думаю о Макензи, о том, как добрались они до Англии, и если они живы и здоровы, то, вероятно, прочтут эти строки. Дорогая маленькая Флосси! Как поживает она в стране, где нет черных людей, чтобы беспрекословно исполнять ее приказания, где нет снежной вершины величественной горы Кения, на которую она любовалась по утрам? Прощай, моя дорогая Флосси!

Покинув миссию мы пошли вдоль подошвы горы Кения, прошли мимо горного озера Баринго, где один из наших аскари был ужален змеей и умер, несмотря на все наши усилия спасти его. Мы прошли расстояние около ста пятидесяти миль до другой великолепной, покрытой снегом горы Лекакизара, на которую, по моему убеждению, никогда не ступала нога европейца. Тут мы провели две недели, затем вошли в нетронутый густой лес округа Эльгуми. Я никогда не встречал такой массы слонов, как в этом лесу. Нетронутые человеком, звери буквально роились в этом лесу, повинуясь только закону природы, которая регулирует прирост животных сообразно силам сторон. Нечего и говорить, что мы не собирались стрелять слонов, во-первых, потому, что у нас было мало зарядов (запас нашей амуниции значительно уменьшился, так как осел, нагруженный ею, переплывая вброд реку, уплыл вместе с ней от нас), а, во-вторых, потому, что мы не могли нести с собой слоновую кость и не хотели убивать животных только ради удовольствия. В этом лесу слоны, незнакомые с нравами охотников, подпускают людей к себе на двадцать ярдов, стоят, сложив свои огромные уши, похожие на гигантских щенков, и разглядывают необыкновенный для них феномен — человека. Когда исследование оказывается неудовлетворительным, вожак начинает трубить тревогу. Но это случается редко. Кроме слонов, в лесу водится много всякого зверья, дичи, есть даже львы! Я не выношу вида льва — после того, как получил рану на ноге и остался калекой на всю жизнь. Лес Эльгуми изобилует также мухами цеце, укус которых смертелен для животных. Не знаю, благодаря ли плохому корму, или тому, что укусы цеце особенно ядовиты в этой местности, но наши бедные ослы буквально падали и изнемогали. К счастью, эти укусы оказали свое действие не раньше чем через два месяца, когда вдруг, после двух дней холодного дождя, все животные пали; сняв шкуру с некоторых из них, я нашел на мясе полосы, являющиеся характерным признаком смерти от укусов цеце, указывая место, куда насекомое вонзило свой хоботок. Выйдя из леса, мы пошли к северу, согласно указаниям мистера Макензи, и достигли большого озера Лага, в пятьдесят миль длины, о котором говорил несчастный, трагически

погибший путешественник. Здесь мы около месяца странствовали по возвышенностям; местность эта вообще похожа на Трансвааль. Все это время мы поднимались по крайней мере на сотню футов каждые десять миль. Действительно, страна была гориста и заканчивалась массой снеговых гор, в которых находилось еще озеро — по словам путешественника, «озеро, которое не имеет дна». Наконец мы добрались до этого озера на вершине горы, очевидно находившегося на месте погасшего кратера. Заметив деревушки на берегу озера, мы с большим трудом спустились вниз через сосновый лес, разросшийся по бокам кратера, и были гостеприимно приняты простым мирным народом, который никогда не видал белых людей и ничего о них не слыхал. Они обращались к нам очень почтительно и ласково, угощали нас молоком и всем, что у них было. Это чудное, удивительное озеро лежит, согласно указанию нашего анероида[61], на высоте 11.450 футов над уровнем моря; климат страны довольно холодный, похожий на климат Англии. Первые три дня, впрочем, мы ровно ничего не видели благодаря непроницаемому туману. Полил дождь, укусы ядовитой мухи сказались на наших оставшихся ослах, и все они подохли.

Это несчастье поставило нас в сквернейшее положение, так как у нас не было возможности перевозить нашу поклажу, но, с другой стороны, избавляло нас от всяких хлопот. Правда, амуниции у нас было немного: полтораста патронов для винтовок и пятьдесят ружейных зарядов. Как быть с этим немногим имуществом — мы не знали. Нам казалось, что мы достигли конца наших странствований. Если бы мы даже и бросили всякое намерение искать белую расу людей, то было бы смешно возвращаться назад за семьсот миль при нашем теперешнем беспомощном положении. Мы решили, что самое лучшее будет остаться здесь, — благо туземцы отлично относятся к нам, — выжидать и исследовать страну и ее окрестности.

Мы приобрели большую крепкую лодку, довольно просторную, чтобы вместить нас с багажом.

Старейшине поселения, у которого мы достали лодку, мы отдали в уплату за нее три пустых медных гильзы, которыми он был восхищен до крайности. Затем мы решили объехать озеро с целью найти удобное место для лагеря. Не зная, вернемся мы в деревню, мы уложили в лодку все наше имущество и четверть жареной косули — превосходная еда! Когда мы отчалили, туземцы успели уплыть вперед на своих легких лодочках и предупредили обитателей других деревень о нашем приближении. Мы тихо гребли, как вдруг Гуд обратил внимание на необыкновенно ясный голубой

цвет воды и сказал, что туземцы рассказывали ему (все они ярые рыболовы, так как рыба составляет их главную пищу) об удивительной глубине озера, которое имеет на дне глубокое отверстие, куда исчезает вода и откуда выбрасывается иногда огонь.

Я возразил ему, что он, наверное, слышал легенду, сохранившуюся в памяти народа, о действовавших в далекие времена вулканах, которые теперь погасли.

Мы действительно видели на берегах озера следы действий вулкана в период, последовавший за вулканической смертью центрального кратера, превратившегося теперь в дно озера. Приблизившись к отдаленному берегу озера, мы увидели, что он представлял из себя отвесную скалистую стену. Мы поплыли параллельно ей, на расстоянии ста шагов, к концу озера, так как знали, что там находилась большая деревня. Мимо нас неслось большое количество обрубков, сучьев, веток и другого хлама; Гуд полагал, что их несло течением. Пока мы рассуждали об этом, сэр Генри указал нам на больших белых лебедей, которые плавали недалеко от нас. Еще раньше я заметил этих птиц, летавших над озером, и очень хотел заполучить один экземпляр. Я расспрашивал о них туземцев и узнал, что в определенный период года они прилетают сюда рано утром с гор, и тогда их легко поймать, так как они очень истощены. Я спросил туземцев, из какой страны прилетают лебеди, но они пожали плечами и ответили, что на вершине большой черной скалы находится негостеприимная страна, а над ней снеговые горы, где много зверей, где никто не может жить, а за горами на сотни миль тянется густой терновый лес, недоступный не только людям, но и слонам. На мой вопрос, слыхали ли они о белых людях, живущих по ту сторону гор и леса, они засмеялись. Но позднее одна древняя старуха пришла ко мне и сказала, что в детстве она слыхала от своего деда рассказ о том, как его предок в юности прошел горы и пустыню, проник в лес и видел белых людей, живущих в каменных краалях. Эти сведения были очень неопределенны, но когда я услыхал рассказ старухи, во мне выросло и окрепло убеждение, что во всех этих слухах есть доля правды и что необходимо раскрыть эту тайну. Мне не приходило в голову, каким чудесным путем исполнится мое горячее желание!

Мы подъехали к лебедям, мирно покачивающимся на воде. Сэр Генри, выждав минуту, выстрелил и убил двоих. Остальные поднялись, сильно разбрызгивая воду. Снова раздался выстрел. Один лебедь упал с простреленным крылом, и я видел, что у другого ранена нога, хотя он через силу поплыл дальше. Остальные лебеди поднялись и, описав круг, выстроились треугольником и улетели куда-то на северо-восток. Мы

подняли в лодку двух красивых мертвых птиц, из которых каждая весила тридцать фунтов, и принялись ловить раненого лебедя, неподвижной массой плывшего по ясной воде. Так как плывущие по озеру обрубки и сучья мешали движению лодки, то я велел нашему ваква, который отлично плавал, чтобы он прыгнул в воду и поймал лебедя, — я знал, что в озере нет крокодилов, следовательно, опасности не предвиделось никакой. Ваква повиновался и скоро поймал лебедя за крыло, причем постепенно приблизился к скале, о которую с силой билась вода. Вдруг он начал кричать, что его относит куда-то. В самом деле, мы видели, что он плыл изо всех сил, стремясь к нам, но течение несло его к скале. Отчаянно взмахнув веслами, мы рванулись к нему, гребя что было мочи, но чем больше мы старались, тем сильнее тянуло его к скале. Вдруг я заметил, что перед нами, почти на двадцать дюймов над поверхностью озера, возвышается что-то, похожее на арку туннеля. Очевидно, на несколько футов скала была затоплена водой. К этой арке несся с ужасной быстротой наш бедный слуга. Он храбро боролся с течением, и я надеялся спасти его, как вдруг заметил выражение отчаяния на его лице. На наших глазах его втянуло вглубь, и он исчез из виду. В ту же минуту я почувствовал, что словно какая-то сильная рука схватила нашу лодку и с силой швырнула ее к скале.

Мы поняли страшную опасность и принялись яростно работать веслами. Напрасно! Стрелой неслись мы к арке, и я подумал, что спасения нет.

К счастью, я настолько сохранил присутствие духа, что бросился на дно лодки и крикнул:

— Скорее вниз лицом! Ложись!

Остальные последовали моему примеру.

Послышался глухой шум, как будто от трения, лодку потянуло вниз, и вода начала заливать ее. Мы тонули. Вдруг шум прекратился, и мы почувствовали, что лодка плывет. Я немного повернул голову, не смея поднять ее, и взглянул. При слабом свете я увидел нависшую над нашими головами арку скалы. В следующий момент я почти не мог ничего видеть, потому что свет исчез и мы очутились в совершенно непроницаемой темноте.

Около часа лежали мы так на дне лодки, не смея поднять головы, и не могли даже говорить, потому что шум воды заглушал наши голоса. Разумеется, у нас не было особенного желания разговаривать, потому что мы были подавлены ужасом нашего положения, страхом неминуемой смерти, боялись быть придавленными к стене пещеры, или втянутыми вглубь, или опасались просто задохнуться от недостатка воздуха. Мысли о

всевозможных видах смерти лезли мне в голову, пока я лежал на дне лодки, прислушиваясь к реву воды. Я слышал другой звук — непрестанные вопли Альфонса, но они, казалось мне, доносились откуда-то издалека. Я начал думать, что сделался жертвой кошмара.

X. Подземный огонь

Мы плыли. Течение несло нас. Наконец я заметил, что шум воды сделался слабее. Я мог теперь явственно различать вопли Альфонса. Взяв весло, я ткнул им француза, а он, думая, что наступил конец, заревел еще сильнее. Тогда я тихо и осторожно поднялся, встал на колени и постарался нащупать свод, но его не было. Я взял весло, поднял его над головой, насколько смог, наклонял его вправо и влево и ничего не нащупал, кроме воды.

Вспомнив, что у нас имеется с собой маленький фонарь с маслом, я разыскал его, осторожно зажег и, когда светильник разгорелся, огляделся кругом. Первое, что мне бросилось в глаза, это бледное, искаженное лицо Альфонса, который, полагая, что все кончено и он видит сверхъестественное явление, испустил ужасный вопль, за что и получил толчок веслом для успокоения.

Гуд лежал на спине, со своим стеклышком в глазу, и смотрел в темноту, сэр Генри, голова которого покоилась поперек лодки, рукой пытался определить быстроту течения. Когда свет фонаря упал на старого Умслопогаса, я готов был рассмеяться.

Как известно, мы взяли собой часть жареной косули. Случилось так, что, когда мы бросились все на дно лодки, голова Умслопогаса оказалась в близком соседстве с жарким, и как только он очнулся от потрясения, то почувствовал, что голоден. Он отрезал своим топором кусок мяса и теперь уничтожал его с видом полнейшего блаженства. Потом он объяснил мне, что, готовясь к «дальнейшему путешествию», предпочел отправиться туда с сытым желудком.

Как только другие увидели, что я зажег фонарь, все ободрились и оттолкнули Альфонса на дальний конец лодки, с угрозой, если он не замолчит, успокоить его, бросив в воду, вслед за утонувшим ваква и тем предоставив ему возможность поджидать встречи с Анеттой в другом мире. Затем мы начали обсуждать наше положение. Прежде всего, по предложению Гуда, мы привязали оба весла — для того, чтобы они могли предохранить нас от столкновения со скалой или от внезапного понижения свода. Нам было ясно, что мы плывем по подземной реке, вытекавшей из озера. Такие реки существуют во многих частях света, но, к сожалению, путешественникам не приходилось исследовать их. Река была достаточно широка, мы видели это, так как свет фонаря достигал ее берегов. Когда

течение случайно относило нас в сторону, мы могли различить стену туннеля и арку на высоте двадцати пяти футов над нашими головами. К счастью для нас, течение было сильнее на середине реки.

Первое, что мы сделали, это условились, чтобы один из нас с фонарем и шестом в руке находился у весел, готовый предупредить нас о всякой опасности. Умслопогас, плотно перекусивший, сейчас же взялся за дело. Это было все, что мы могли сделать для собственного спасения. Затем другой из нас занял место на корме с веслом в руке, на случай, чтобы сдерживать лодку и не дать ей удариться о бока пещеры. Устроив это, мы поели немного жареного мяса (мы не знали, долго ли останемся в темноте!) и почувствовали себя в лучшем расположении духа. Я заявил, что положение наше очень серьезное, но не безнадежное, хотя бы слова туземцев, уверявших, что река впадает прямо в недра земли, и оказались верными. Очевидно, река куда-нибудь течет, может быть, по ту сторону гор, и мы должны держаться на лодке, пока приедем «туда», но куда — неизвестно! Гуд зловещим голосом возразил мне, что мы можем сделаться жертвами разных неожиданных ужасов или река впадает в конце концов куда-нибудь в пропасть — тогда наша судьба будет очень плачевна.

— Ладно, будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему! — сказал сэр Генри, всегда веселый и остроумный (признак несомненной нравственной силы в тяжелые минуты). — Мы пережили вместе столько опасностей и трудностей, что, мне кажется, благополучно выпутаемся и теперь!

Мы последовали этому превосходному совету, каждый по своему, за исключением Альфонса, который лежал в каком-то оцепенении. Гуд сидел у руля, Умслопогас на веслах, мне и сэру Генри оставалось только лежать в лодке и размышлять. Конечно, наше положение было очень серьезно — плыть по подземной реке, подобно душам грешников, переправляемых Хароном через Стикс[62], как шутил Куртис! Как темно было вокруг нас! Только слабый луч света от нашей лампы озарял темноту. На веслах сидел насторожившийся Умслопогас с шестом в руке, а за ним, в тени, виднелась фигура Гуда, который всматривался в темноту и постоянно погружал весло в воду.

— Отлично, — думал я, — вы хотели приключений, милый Аллан, и допрыгались! Вам надо бы постыдиться, — в ваши-то годы, — но раз уж это случилось, то, как ни ужасно ваше положение, все равно ничего тут не изменишь! И когда все будет кончено, подземная река окажется вовсе недурным местом для вечного успокоения!

Я должен признаться, что мои нервы были напряжены до крайности.

Даже хладнокровному, много испытавшему человеку тяжело привыкать к мысли, что ему, быть может, остается жить не более пяти минут! Но, правду говоря, наши опасения были лишены логики, потому что человек никогда не может быть уверен, что с ним случится в следующую минуту — даже сидя в хорошо устроенном доме, с двумя полицейскими под окном, охраняющими его покой!

Прошло несколько часов с тех пор, как мы плыли в темноте, а Гуд и Умслопогас были на часах. Вахта, как мы условились, продолжалась пять часов. В семь часов я и сэр Генри сменили друзей, которые легли спать. Целых три часа все шло благополучно, хотя сэр Генри находил необходимым отталкивать веслом лодку от боков туннеля. Сильное течение несло нас посредине реки, хотя иногда лодка стремилась к одной или другой стороне. Что меня особенно занимало и интересовало, это вопрос, каким образом поддерживался здесь приток свежего воздуха. Он был тяжелый и сырой, но все-таки удовлетворительный. Единственное, чем я объяснил себе это явление, — что воды озера содержали в себе достаточное количество воздуха, который проникал в туннель и не застаивался здесь. Около трех часов просидел я у руля, как вдруг начал замечать значительное изменение температуры. Сначала я не обратил на это внимание, но через полчаса, когда жара усилилась, я спросил сэра Генри, замечает ли он, что становится жарко, или это игра моего воображения.

— Замечаю ли я? — ответил он. — Я думаю. Мне кажется, что я попал в турецкую баню!

Проснулись Гуд и Умслопогас, задыхаясь от жары. Все мы вынуждены были снять с себя платье. Умслопогас имел преимущество перед нами, так ему нечего было снимать, кроме мучи.

Жара все усиливалась, мы едва могли дышать, обливаясь потом. Через полчаса, хотя и раздевшись донага, мы едва могли выносить жар. Это походило на преддверие ада. Я опустил руку в воду и с криком отдернул ее; вода кипела. Маленький термометр показывал 193°[63]. От поверхности воды клубился пар. Альфонс причитал, что мы попали в ад еще при жизни. Сэр Генри предположил, что мы находимся близ подземного вулкана, и, пожалуй, это предположение было верно. Трудно описать наши страдания! Пот высыхал на нас. Мы лежали на дне лодки, физически неспособные управлять ею, и испытывали то же ощущение, которое испытывает рыба, умирающая на земле от недостатка воздуха. Наша кожа начала лопаться, и кровь приливала к голове, стуча, как паровая машина.

Вдруг река повернула налево, и сэр Генри хриплым, задыхающимся голосом позвал меня и указал на ужасное зрелище. В полумиле впереди нас

с поверхности воды поднимался на пятьдесят футов вверх огромный столб белого пламени и падал назад извилистыми каскадами огня. Ужасное извержение газа походило на большой огненный цветок, выросший на поверхности воды. Над ним и кругом его царил мрак. Кто может описать всю красоту и ужас этого зрелища? Хотя мы находились в пятистах ярдах от него, но в пещере было светло как днем, и мы могли видеть свод ее, возвышающийся на сорок футов над нашими головами.

Скала была совершенно черная, и я мог различить длинные блестящие жилки руды на стенах ее. Но какой это был металл — я не знаю!

Мы неслись прямо к огненному столбу, похожему на горнило печи.

— Держите лодку вправо, Квотермейн, вправо! — вскричал сэр Генри. Через минуту он упал без чувств. Альфонс давно лежал без сознания, Гуд был близок к этому. Остались только мы двое с Умслопогасом. Мы находились теперь в пятидесяти ярдах от огня. Я заметил, что голова Умслопогаса склонилась на руки. Я остался один, не мог дышать и задыхался. Дерево лодки начало загораться. Я видел, как затлели перья одного из убитых лебедей, и понимал, что если мы приблизимся еще на три — четыре ярда к огню, то погибнем безвозвратно.

Я схватил весло, чтобы направлять лодку возможно дальше от огня, и выронил его. Мои глаза готовы были лопнуть, и сквозь опущенные веки я чувствовал страшный жар. Мы очутились как раз напротив огня, вода яростно кипела вокруг. Еще пять секунд… Мы проплыли мимо… Я потерял сознание. Первое, что я ощутил, очнувшись, это воздух, освеживший мое лицо. Мои глаза открылись с большим трудом. Я оглянулся. Вдали, наверху, виднелся свет, кругом царила прежняя темнота. Я припомнил все. Лодка плыла по реке, и на дне лодки я увидал голые фигуры моих спутников. «Живы ли они? — подумал я. — Неужели я остался один в этом ужасном месте?» Я сунул руку в воду и снова с криком отдернул ее. Кожа моя была обожжена, а вода довольно холодна, и прикосновение ее к обожженному месту причиняло нестерпимую боль. Я вспомнил о друзьях и брызнул на них водой. К моей радости, все они пришли в себя, сначала Умслопогас, потом остальные. Они напились воды, поглощая ее в большом количестве, как настоящие губки. Было свежо, и мы поспешили одеть платье. Гуд указал нам на край лодки. Если бы она была выстроена, как обыкновенные европейские лодки, то непременно бы рассохлась и пошла бы ко дну, но, к счастью, она была сделана из какого-то туземного дерева и осталась невредимой. Откуда взялось это пламя, мы так и не узнали. Надо полагать, что вулканические газы вырывались из недр земли.

Одевшись и поговорив немного, мы начали осматриваться. Мы по-прежнему плыли в темноте и решили пристать к берегу реки, состоящему из обломков скалы, непрестанно обмываемых водой. Тут, на пространстве семи или восьми ярдов, мы решили немного отдохнуть и расправить члены. Это было ужасное место, но все же оно давало возможность отдышаться от всех ужасов реки и осмотреть и исправить лодку. Мы выбрали лучшее место, с некоторым затруднением причалили к берегу и вскарабкались на круглые негостеприимные голыши.

— Честное слово, — сказал Гуд, первым вышедший на берег, — вот ужасное место! — Он засмеялся. Сейчас же громовой голос повторил его слова сотню раз. — Мес-то! то… то!… — отвечал другой голос где-то со скалы. — Место! место! место… то… то-то… — гремели голоса, сопровождаемые хохотом, который повторился всюду и наконец замолк, так же неожиданно, как начался.

— О Боже мой! — простонал Альфонс, теряя всякое самообладание.

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! — загремело эхо на все лады и голоса.

— Ах, я вижу, что здесь живут дьяволы! — сказал тихо Умслопогас. — Место так и выглядит!

Я старался объяснить ему, что причина этих криков — замечательное, интересное эхо, но он не хотел верить.

— Я знаю эхо! — возразил он. — Напротив моего крааля в Земле Зулу жило такое эхо, и мы говорили с ним. Но здесь эхо как гром, а у меня эхо походило на голос ребенка. Нет, нет, здесь живут дьяволы. Но мне все равно, я не думаю о них! — добавил он, затягиваясь трубкой. — Пускай они ревут, что хотят: они не смеют показать свои лица!

Он замолчал, считая дьяволов недостойными своего внимания. Мы нашли необходимым разговаривать шепотом, но даже шепот отдавался в скалах каким-то таинственным рокотом и замирал в стонах и вздохах. Эхо — прелестная, романтичная вещь, но мы пресытились им здесь, в этом ужасном месте.

Расположившись кое-как на камнях, мы решили помыть и перевязать, насколько возможно, наши ожоги. У нас было масло для фонаря, но мы пожалели тратить его для этой цели, разрезали одного из лебедей и жиром его смазали нашу обожженную кожу. Затем мы осмотрели лодку, подлатали ее и захотели есть, потому что по нашим часам был полдень. Мы уселись в кружок и начали истреблять наше жаркое. Но я съел мало, так как чувствовал себя больным от страданий предшествовавшей ночи. У меня сильно болела голова. Странный это был обед! Мрак, окружавший нас, был

так глубок, что мы едва видели пищу, которую подносили ко рту. Я нечаянно взглянул назад, так как мое внимание было привлечено каким-то шорохом по камням, и увидел огромных черных крабов. Несколько дюжин этих ужасных животных ползли к нам, вероятно привлекаемые запахом мяса. Краб — отвратительное существо! — обладает блестящими глазами, очень длинными, гибкими щупальцами, гигантскими клешнями. Они окружили нас со всех сторон. Пораженный этим зрелищем, я вскочил и видел, как один из крабов вытянул свои огромные клешни и дал ничего не подозревавшему Гуду такого щипка, что тот с криком подскочил и разбудил стоголосое эхо. Другой огромный краб ущипнул за ногу Альфонса. Можно вообразить последующую сцену. Альфонс орал, за ним ревело эхо, повторяя его крики. Умслопогас взял топор и ударил одного краба, который ужасно завизжал, и эхо повторило его визг на разные лады. Затем, с пеной у рта, краб издох. Из разных углов и щелей вылезли сейчас же сотни его приятелей и, заметив, что животное упало, бросились на него, словно кредиторы на банкрота, и буквально разорвали на клочья своими огромными клещами и сожрали. Схватив что попало под руку — камни, гальку, — мы начали настоящую войну с чудовищами. Как только мы убивали одного из них, другие хватали и пожирал и убитого, с пеной у рта, с отвратительным визгом. Они пытались ущипнуть нас или украсть мясо. Один преогромнейший краб подполз к лебедю и начал пожирать его. Немедленно налетели другие, и началась отвратительная сцена. Чудовища визжали, бесились, деля добычу, и рвали друг друга на части! Это было ужасное, чудовищное зрелище — в непроглядном мраке, при ужасающей музыке раздражающего нервы эха. Странно было смотреть на крабов! Казалось, все худшие человеческие страсти и желания воплотились в этих животных и довели их до бешенства. Вся эта сцена могла бы служить богатым материалом для новой песни Дантова «Ада», как сказал Куртис.

— Я вижу, молодцы, вы добираетесь до мяса, и нам надо убираться отсюда! — тихо сказал Гуд. Мы не стали медлить, отвязали и столкнули лодку, вокруг которой сотнями карабкались ужасные животные, и направились к середине реки, оставив позади себя остатки обеда и визжащую, беснующуюся массу чудищ полными хозяевами ужасного берега.

— Это и есть здешние дьяволы! — сказал Умслопогас с таким видом, как будто решил задачу, и я готов, пожалуй, согласиться с ним.

Замечания Умслопогаса походили на удары его топора — всегда меткие и в нужную точку.

— Что теперь делать? — спросил сэр Генри.

— Плыть, я думаю! — отвечал я, и мы продолжили путь.

Весь день и вечер мы плыли в полной темноте, едва различая, когда кончался день и начиналась ночь, пока Гуд не указал нам на звезду, появившуюся справа от нас, которую мы наблюдали с большим интересом.

Вдруг звезда исчезла, снова воцарился мрак, и знакомый рокочущий звук воды донесся до нас.

— Опять под землей! — сказал я со вздохом, держа фонарь.

Да, не было сомнения — над нами опять был свод туннеля.

Снова началась и потянулась долгая, долгая ночь, полная опасностей и ужаса. Описывать все наши страхи — не стоит труда. Скажу только, что около полуночи мы наткнулись на отмель, кое-как обошли ее и поплыли дальше.

Так шло время до трех часов. Сэр Генри, Гуд и Альфонс спали, Умслопогас сидел на веслах, я правил рулем, как вдруг заметил, что стены туннеля как будто раздвинулись. Потом я услыхал восклицание Умслопогаса и звук ломающихся веток деревьев, как будто лодка продиралась сквозь кустарник и заросли. В следующий момент свежий, живительный воздух повеял мне в лицо, и я почувствовал, что мы выбрались из туннеля и плывем по обыкновенной воде. Я чувствовал, но не видел ничего, потому что темнота была непроницаема, как бывает иногда перед рассветом. Я был счастлив, что мы оставили за собой ужасную реку. Я сидел, вдыхал свежий ночной воздух и ждал рассвета, вооружась всем своим терпением.

XI . Нахмуренный город

Около часа сидел я в молчании и ждал рассвета. Умслопогас ушел спать. Наконец восток засветлел, и туман начал подниматься с поверхности воды навстречу восходящему солнцу. Алая полоска разгоралась на востоке. Наступал день.

Я не мог налюбоваться на чудное синее небо. Вода еще была окутана туманом, но мало-помалу солнце растопило туман, и я увидел, что наша лодка плывет по голубой воде. За восемь или десять миль позади нас остались ряды скал, образовавшие собой как бы стену озера, и я увидел, что через отверстие в скалах подземный поток пробил себе дорогу. Позднее я убедился в этом, и единственным объяснением того, что наша лодка благополучно выбралась из туннеля, может служить необыкновенная сила течения таинственной реки. Теперь мы с проснувшимся Умслопогасом дали лодке иное направление, как оказалось, весьма неприятное для нас. Заметив какой-то предмет в воде, Умслопогас привлек мое внимание и несколькими ударами весла пригнал лодку к тому месту, где находился плавающий предмет, в котором мы узнали труп человека, лежащего лицом вниз. Можно представить себе весь мой ужас, когда я узнал в этих искаженных чертах — кого бы вы думали? Нашего бедного слугу-ваква, который два дня тому назад утонул, плывя за лебедем. Это было ужасно! Я думал, что мы оставили его позади себя, а между тем он плыл за нами и вместе с нами выбрался из подземной реки.

Его вид был страшен, одна рука совершенно скрючена, волосы обожжены, лицо вздулось, на нем запечатлелось трагическое выражение отчаяния, которое я видел в последние минуты его борьбы с течением. Это зрелище очень расстроило меня, и я был очень доволен, когда труп вдруг без всякой видимой причины начал погружаться в воду, словно исполнив свое назначение. Настоящая причина, несомненно, была та, что газы, наполнявшие труп, нашли свободный выход, и тело затонуло. Только пузыри да несколько кругов пошли по воде в том месте, где нашел себе вечный покой наш бедный слуга.

Умслопогас задумчиво наблюдал за трупом.

— Зачем он плыл за нами? — спросил он. — Это предвещает недоброе дело мне и тебе, Макумазан!…

Я сердито обернулся к нему. Терпеть не могу этих нелепых предзнаменований и ненавижу людей, которые носятся с предчувствиями и

рассказывают свои вещие сны.

В это время проснулись наши остальные спутники и чрезвычайно обрадовались, что мы выбрались из ужасного подземелья и плывем под ясным небом.

Начались толки, рассуждения, и кончили мы тем, что захотели есть. Из всей нашей провизии жадные крабы оставили нам только несколько кусочков дичи, и мы решили пристать к берегу. Но возникло новое затруднение. Мы не знали, где был берег, потому что ничего не видели перед собой, кроме широко пространства синеватой воды. Заметив, что птицы, летевшие над водой, направлялись влево, мы заключили, что они стремились к берегу, и поплыли в этом направлении. Подул хороший попутный ветер, мы устроили из одеяла парус, и лодка весело понеслась вперед. Сделав это, мы уничтожили остатки нашей провизии, запили озерной водой и закурили наши трубки.

Прошло около часа. Гуд, смотревший в подзорную трубу, вдруг объявил, что видит землю, и указал на перемену цвета воды, означавшую, что мы приближаемся к устью реки. Скоро мы увидели большой золотой купол, видневшийся издали в тумане, и пока с удивлением глядели на него, Гуд объявил, что маленькая парусная лодка плывет нам навстречу. Мы едва могли верить этому удивительному известию, пока не удостоверились собственными глазами.

Значит, обитатели этой страны и озера имеют понятие о парусных лодках и обладают некоторой долей цивилизованности! Через несколько минут мы ясно увидели, что лодка направляется к нам. Через десять минут она находилась не более чем в сотне ярдов от нас. Это была маленькая лодка, построенная из досок на европейский манер, с широким парусом. Все наше внимание было устремлено, конечно, на пассажиров лодки. Их было двое: мужчина и женщина, почти такие же белые люди, как мы.

Мы переглянулись, думая, что ошибаемся. Нет, мы ясно видели их теперь. Они не были красивы, но, несомненно, принадлежали к белой расе, как испанцы или итальянцы. Итак, случайно и неожиданно мы открыли и нашли белых людей! Я готов был закричать от радости, мы пожимали друг другу руки и поздравляли с неожиданным успехом нашего предприятия. Всю жизнь до меня доходили слухи о белой расе людей, живущих в глубине материка, и теперь я видел их своими собственными глазами! Действительно, как сказал сэр Генри, старый римлянин был прав, говоря: «Ex Africa semper aliquid novi», что значит: «В Африке всегда можно найти новости».

Человек в лодке был крепко, хотя и не изящно сложен, обладал

черными волосами, орлиными чертами и интеллигентным лицом. Он был одет в темное платье, что-то вроде фланелевой рубашки без рукавов и в штаны из той же материи. Руки и ноги были обнажены. Вокруг правой руки и левой ноги были надеты кольца из какого-то металла, который я принял за золото. Женщина имела нежное, застенчивое лицо, большие глаза и темные вьющиеся волосы. Ее платье было сделано из такого же материала, как у мужчины, и состояло из полотняной нижней одежды (это мы разглядели потом), свисавшей до колен, и простого длинного куска ткани, который складками облегал все тело женщины и был перекинут через левое плечо, так что его конец свешивался вперед, оставляя правую руку и часть груди обнаженными. Гуд, у которого на этот счет острые глаза, восхищался ее нарядом. В самом деле, это было и просто, и эффектно.

В то время как мы с удивлением разглядывали неведомых людей, они с неменьшим изумлением смотрели на нас. Казалось, мужчина сильно испугался и не смел подъехать к нам ближе.

Наконец он решился приблизиться и сказал нам что-то на языке, звучавшем нежно и красиво, хотя мы не поняли ни слова. Тогда мы попробовали говорить по-английски, по-французски, на латыни, по-гречески, по-немецки, на языках зулу, суто, кукуана и на многих других языках и диалектах, но безуспешно. Человек в лодке не понимал ничего. Что касается женщины, то она стояла неподвижно, смотря на нас, и Гуд обернулся и разглядывал ее через свое стеклышко, что, казалось, очень забавляло ее. Затем, видя, что от нас не добиться толку, мужчина повернул лодку и направился к берегу.

Лодочка полетела стрелой. Когда она плыла мимо нас, Гуд воспользовался случаем и послал воздушный поцелуй даме. Я испугался, что женщина обидится, но, к моему удовольствию, она не только не обиделась, но, оглянувшись и заметив, что ее супруг или брат, кто бы он ни был, отвернулся, послала Гуду такой же поцелуй.

— Ага! Наконец-то, мы нашли общий язык, который понятен этому народу! — сказал Гуд.

— В данном случае, — добавил сэр Генри, — Гуд неоценимый посредник!

Я нахмурился, потому что решительно не одобрял глупостей Гуда; он знал это и перевел разговор на серьезную тему.

— Для меня ясно, — сказал я, — что этот человек вернется назад с товарищами, и нам надо подумать, как встретить их!

— Весь вопрос в том, как они примут нас? — сказал сэр Генри.

Гуд молчал, но принялся рыться в багаже и вынул маленький

четырехугольный ящичек, сопровождавший нас в путешествии. Мы несколько раз спрашивали Гуда о содержимом ящика, но он отвечал таинственно и уклончиво, что все, что заключается в его ящике, когда-нибудь весьма пригодится нам.

— Ради Бога, что вы собираетесь делать, Гуд? — спросил сэр Генри.

— Одеваться! Не думаете ли вы, что я появлюсь в этой новой стране в таком одеянии? — он указал на свое запачканное и поношенное платье, которое всегда было опрятно, как все вещи Гуда, и чинилось всегда, когда это требовалось.

Мы ничего не возразили ему, но с возрастающим интересом следили за ним. Первое, что он сделал, — попросил у Альфонса, весьма компетентного в подобного рода вещах, получше причесать ему бороду и волосы.

Я уверен, если бы у Гуда была теплая вода и мыло, он побрился бы, но, к сожалению, у него не было ничего подобного. Затем он заявил, что мы должны спустить парус у лодки и под прикрытием его — выкупаться, что мы и сделали, к ужасу и удивлению Альфонса, который воздевал руки к небу и восклицал, что «эти англичане просто удивительный народ»!

Умслопогас, как хорошо воспитанный зулус, был очень чистоплотен, но посмотрел на это купанье как на шутку и с удовольствием наблюдал за нами. Мы вернулись в лодку, освеженные холодной водой, и обсушились на солнце, пока Гуд снова открыл свой таинственный ящик, вытащил оттуда прекраснейшую чистую белую рубашку и начал распаковывать свои наряды, заботливо обернутые сначала в коричневую, потом в белую и, наконец, в серебряную бумагу. Мы продолжали наблюдать за ним с величайшим любопытством. Одну за другой, Гуд вытащил из ящика все свои вещи, бережно разворачивая бумагу.

Перед нами, в блеске золотых эполет, лежала полная форма офицера королевского флота. Тут были и меч, и треуголка, даже кожаные сапоги.

Мы буквально онемели.

— Что это? Неужели вы хотите надеть это, Гуд?

— Разумеется! — отвечал он. — Вы знаете, как много значит первое впечатление, особенно для женщин. Хоть один из нас будет порядочно одет!

Мы замолчали, пораженные ловкостью Гуда, с которой он так искусно скрывал от нас все эти месяцы содержимое ящика. Одно только мы предложили ему — непременно одеть вниз стальную рубашку. Сначала он возразил, что ему неудобно надевать ее под мундир, но потом согласился. Забавнее всего были удивление Умслопогаса и восторг Альфонса при виде

блестящей формы Гуда. Когда же он встал, выпрямился во всем своем блеске, даже с медалями на груди, и залюбовался на свое отражение в спокойной воде озера, старый зулус не смог больше сдерживать своих чувств.

— О, Бугван! — вскричал он, — Бугван! Я всегда думал, что ты не важный, маленький человек, жирный, как корова, которая собирается отелиться, а теперь ты похож на голубого павлина, который распустил свой нарядный хвост. Право, Бугван, глазам больно смотреть на тебя!

Гуд недолюбливал намеков на свою толщину, хотя во время нашего путешествия он достаточно похудел. В общем, он был доволен восхищением зулуса. Что касается Альфонса, то тот был совсем очарован.

— А, мсье прекрасно выглядит — блестящий вид военного! О, дамы будут в восторге, там, на берегу. Мсье удивительно хорошо выглядит! Он напоминает мне моего героя-дедушку…

Тут мы прервали излияния Альфонса. Любуясь на Гуда, мы почувствовали дух соревнования и принялись, насколько это было возможно, приводить себя в приличный вид. Мы одели на себя охотничьи куртки, а под них — стальные рубашки. Что касается моей наружности, то никакая самая изысканная одежда не могла сделать ее лучше, но сэр Генри выглядел красавцем в своей куртке и в сапогах. Альфонс также прихорошился, как-то особенно накрутив свои огромные усищи. Даже старый Умслопогас, который ровно ничего не понимал в нарядах, взял масла из фонаря и натер им кожу, так что она блестела не хуже кожаных сапог Гуда. Потом он надел на себя стальную рубашку, которую сэр Генри подарил ему, и мучу и, вычистив свою Инкосикази, стоял как при полном параде.

В это время мы снова подняли парус и быстро плыли к берегу, или, вернее, к устью большой реки. Через полтора часа после того как от нас уплыла маленькая лодка, мы увидели на реке большое количество лодок. Некоторые из них шли на двадцати четырех веслах, другие под парусом. Мы скоро различили среди них большой флагманский корабль. Люди, находившиеся на корабле, были одеты в какое-то подобие формы. На палубе, лицом к нам, стоял старик почтенного вида с развивающейся белой бородой, с мечом на боку, очевидно командир корабля. Остальные лодки были наполнены любопытными и кружились около нас.

— Что это значит? — сказал я. — Хотят ли они дружелюбно встретить нас или покончить с нами?

Никто не мог ответить на этот вопрос. В это время Гуд заметил в воде, в двухстах ярдах от нас, бегемотов и решил, что неплохо бы произвести

впечатление на туземцев стрельбой. К несчастью, мы ухватились за эту мысль, вытащили наши винтовки, хотя патронов у нас осталось немного, и приготовились действовать. Бегемотов было четыре, два старых и два помоложе.

Когда лодки находились в пятистах ярдах от нас, сэр Генри открыл огонь. Пуля засела между глаз молодого бегемота, он погрузился в воду, оставив за собой кровавый след. В тот же момент я выстрелил в другого, а Гуд — в третьего бегемота. Мой выстрел был не совсем удачен, бегемот, разбрызгивая воду, уплыл дальше и яростно захрюкал. Я сейчас же добил его новым выстрелом. Гуд, плохой стрелок, промахнулся, и пуля задела только морду животного. Оглянувшись на туземцев, я заметил, что они, очевидно, не имели понятия о стрельбе, потому что были поражены и изумлены в высшей степени. Сидевшие в лодках начали кричать от страха, некоторые удирали от нас изо всех сил, даже старый джентльмен заметно встревожился и остановил свой корабль.

Но у нас не было времени наблюдать, потому что старый бегемот, раздраженный раной, появился вблизи, грозно поглядывая на нас. Мы выстрелили все разом и тяжело ранили его. Между тем любопытство превозмогло страх зрителей. Некоторые лодки подъехали к нам, и между ними находилась лодка, где сидели мужчина и женщина, которых мы видели два часа тому назад. Огромное разъяренное животное вдруг выплыло около их суденышка и с яростным ревом разинуло пасть. Женщина закричала, мужчина пытался дать лодке другое направление, но безуспешно.

В следующую секунду я увидел огромные красные челюсти и клыки бегемота, вонзившиеся в бок лодки. Лодка опрокинулась, и люди оказались в воде.

Прежде чем мы успели опомниться, страшное чудовище разинуло пасть, чтобы проглотить женщину, которая барахталась в воде. Я выстрелил поверх ее головы в горло бегемота. Он отплыл в сторону и начал кружиться, а ручьи крови текли из его ноздрей. Не давая ему опомниться, я снова выстрелил и прикончил его. Нашей первой мыслью было спасти девушку, пока мужчина плыл к другой лодке.

Нам это удалось. Под шум и крики зрителей мы посадили ее в нашу лодку.

Теперь все лодки туземцев собрались вместе на некотором расстоянии от нас, очевидно для совещания. Мы немедленно схватили весла и двинулись к ним.

Гуд стоял в лодке и, держа треуголку, вежливо раскланивался во все

стороны с веселой улыбкой. Главная лодка направилась нам навстречу. Я увидел, что наш вид — в особенности форма Гуда и фигура Умслопогаса — преисполнили удивлением почтенного старика.

Он был одет так же, как все, но рубашка его была сделана из чистого белого полотна, с пурпурной каймой. Золотые кольца были надеты на руку и на левое колено. Гуд махнул шляпой старому джентльмену и осведомился о его здоровье на чистейшем английском языке. Старик в ответ на это приложил два пальца правой руки к губам, что мы приняли за приветствие с его стороны. Затем он сказал нам несколько слов на том же языке, что и первый наш собеседник. Мы опять ровно ничего не поняли, закивали головами и пожимали плечами. После некоторого молчания я, чувствуя сильный голод, начал показывать на свой рот и похлопывать себя по животу. Эти сигналы старик, видимо, отлично понял, потому что энергично закивал головой и указал на гавань.

Один из его людей бросил нам веревку, которую мы крепко привязали к лодке, шедшей к гавани и поведшей нас на буксире, в сопровождении других лодок. Через двадцать минут мы вошли в гавань, переполненную народом, собравшимся посмотреть на нас. Мы заметили, что обитатели города принадлежали к одной расе, некоторые были очень красивы. Между зрителями мы увидели дам, обладающих очень белой кожей.

На повороте реки открылся город. Крик восхищения и удивления сорвался с наших губ, когда мы увидели его. Позднее мы узнали, что город называется Милозис, или Нахмуренный Город (*ми* — город, *лозис* — нахмуренная бровь).

На расстоянии пятисот ярдов от берега реки возвышалась гранитная скала в двести футов вышиной.

На самой вершине скалы находилось здание, выстроенное из гранита; у подошвы его — зубчатая стена с маленькой пробитой в ней дверью.

Потом мы узнали, что это здание было королевским дворцом. От дворца город поднимался вверх, к великолепному зданию из белого мрамора, увенчанному золотым куполом, который мы уже заметили издалека. За исключением этого здания, все дома города были выстроены из красного гранита и окружены садами, которые смягчали несколько суровое, однообразное впечатление от гранитных построек.

Наконец мы увидели чудо и гордость Милозиса — большое крыльцо и лестницу дворца, от великолепия которых дух захватывало.

Вообразите себе великолепную лестницу с балюстрадой, в два яруса; каждый ярус, в сто двадцать пять ступеней, заканчивается красивой площадкой. Лестница спускается от дворцовой стены к краю скалы, где по

каналу проведена вода из реки. Чудеснейшее крыльцо поддерживается огромной гранитной аркой, увенчанной красивой площадкой между двумя ярусами. От этой арки отделяется другая летучая арка, красота которой затмевает все, что мы видели до сих пор.

Это крыльцо было тем редким произведением искусства, которым человек мог поистине гордиться. Нам рассказывали потом, что крыльцо, постройка которого была начата еще в древности, обваливалось четыре раза и три столетия простояло неоконченным, пока за него не взялся молодой архитектор Радемес, который заявил, что или окончит работу, или пожертвует своей жизнью! Если ему не удастся окончить работу, он бросится с скалы вниз, а если работа будет окончена, наградой ему будет рука королевской дочери! Пять лет возился он с работой, которая поглотила невероятное количество труда и материалов. Три раза падала арка, пока архитектор, видя, что его труды напрасны, не решил покончить с собой. Ночью во сне ему явилась прекрасная женщина, дотронулась до его лба, и он увидел здание законченным и понял, что, несмотря на массу затруднений, его гений преодолеет все. Он проснулся и снова принялся за работу, но уже по другому плану, и закончил ее. Через пять лет труда и терпения Радемес повел прекрасную дочь короля по лестнице во дворец, сделался королем-супругом и положил начало теперешней королевской династии Зу-венди, которую называют до сих пор *Домом Лестницы,* в память о могучей энергии и таланте строителя, которые послужили ступенями к его величию.

В честь своего торжества и успеха король-супруг Радемес изваял статую, изображавшую его спящим, а над ним — прекрасную женщину, которая прикасается к его лбу, и поставил ее в большом зале дворца, где она стоит и теперь.

Таково происхождение великолепной лестницы дворца в Милозисе. Неудивительно, что его называют «Нахмуренным Городом». Могучие гранитные здания глядят сурово и хмурятся на человечество в своем мрачном величии.

Мы увидели Милозис, когда он был залит лучами солнца, но когда грозные тучи собираются над царственной вершиной города, он выглядит каким-то сверхъестественным обиталищем, мечтой поэтической фантазии!

XII. Сестры-королевы

Большая лодка скользнула по каналу к подножию лестницы и остановилась. Старик вышел из лодки и пригласил нас следовать за ним. Усталые, мы без колебания пошли за ним, конечно захватив с собой винтовки. Наш проводник снова приложил пальцы к губам, низко поклонился и приказал людям в лодках, собравшимся, чтобы посмотреть на нас, отправляться по домам. Последней вышла из нашей лодки девушка, которую мы вытащили из воды. Она поцеловала мою руку, вероятно из благодарности за спасение от бегемота. Мне казалось, что она совершенно забыла свой страх перед нами и вовсе не торопилась уйти к своим. Она подошла поцеловать руку Гуда, когда молодой человек, ее спутник, вмешался и увел ее. Как только мы очутились на берегу, несколько человек сейчас же завладели нашим имуществом и пожитками и отправились с ними на великолепное крыльцо, а наш проводник всеми способами старался объяснить нам, что наши вещи останутся целы и невредимы. Затем он повернул вправо и повел нас к маленькому дому, — как я позже узнал, представляющему из себя гостиницу. Мы вошли в красивую комнату и увидели деревянный стол, уставленный всякими яствами, очевидно приготовленными для нас. Наш проводник пригласил нас сесть на скамейку около стола. Мы не стали ждать вторичного приглашения и накинулись на закуску. Она была подана на деревянных блюдах и состояла из холодного козьего мяса, завернутого в какие-то листья, придавшие ему восхитительный вкус, из зелени, вроде латука, коричневого хлеба и красного вина, наливаемого в роговые чашки. Вино имело нежный и прекрасный вкус, напоминавший бургундское.

Через двадцать минут мы встали из-за стола, чувствуя себя совсем другими людьми. После всего, что мы пережили, мы нуждались в двух вещах: в пище и в отдыхе. Две красивые девушки, совершенно так же одетые, как та, которую мы видели в лодке, стояли около нас, пока мы ели, и были очень деликатны. Я узнал позднее, что национальный костюм туземной женщины — белая полотняная юбка до колен и платье в виде тоги из коричневой ткани, причем часть груди и правая рука остаются обнаженными. Если юбка была совершенно белая, это означало, что обладательница ее — девушка, белая юбка с пурпурной каймой на конце — обозначало замужнюю женщину и первую законную жену. Если кайма на юбке была волнистая — женщина была второй или третьей женой; юбка с

черной каймой указывала на вдову.

Тога, или *кеф*, как ее называют здесь, могла быть различного цвета, от белого до темно-коричневого, согласно общественному положению женщины, и вышитой внизу различными шелками. Рубашки или туники мужчин различались лишь цветом и материалом. Одно только национальное украшение неизменно носили и мужчины, и женщины — золотые обручи на правой руке, около локтя, и на левой ноге, ниже колена. Люди высокопоставленные надевали обруч на шею, я заметил такой обруч на шее нашего почтенного проводника.

Как только мы кончили есть, этот старик, стоявший около нас и беспокойно поглядывавший на наши ружья, низко поклонился Гуду, которого, очевидно, считал предводителем отряда благодаря его блестящей форме, и повел нас к большому крыльцу. Здесь мы остановились полюбоваться двумя колоссальными львами, изваянными из черного мрамора и стоявшими на конце широкой балюстрады крыльца. Эти львы были великолепно сделаны — как говорят, самим Радемесом, который, судя по его работам, был одним из величайших скульпторов в мире. С чувством удивления и восхищения мы поднимались по лестнице, этому чудному произведению человеческого гения, которым, несомненно, через многие тысячи лет будут любоваться еще не существующие поколения! Даже старый Умслопогас, считавший недостойным себя чему-то удивляться, был поражен и спросил, был ли мост выстроен людьми или дьяволами, так как любил все приписывать сверхъестественной силе. Только Альфонс ничего не понимал и не заботился об этом. Суровая красота лестницы была непонятна легкомысленному французу, который сказал: «Все это очень красиво, но печально, ах, как печально!» — И добавил, что «ему больше было бы по душе, если бы лестница была вызолочена».

Мы прошли первый ярус в сто двадцать ступеней и вступили на площадку, соединявшую его со вторым, где залюбовались великолепным видом на страну, окаймленную горами и голубыми водами озера. Пройдя лестницу, мы очутились на открытой площадке, откуда шло три выхода. Два из них вели в узкие галереи, вырытые в скале, которая шла вокруг всей дворцовой стены до главных ворот города, сделанных из бронзы. Как я узнал после, можно было запереть все эти входы и выходы и сделать их совершенно недоступными неприятелю. Третий выход вел через десять черных мраморных ступеней прямо к двери в дворцовой стене. К этой двери и повел нас проводник. Она была массивна, сделана из какого-то прочного дерева и защищена бронзовой решеткой. Как только мы подошли к ней, дверь широко распахнулась. Нас встретил часовой, вооруженный

копьем и мечом. На груди у него была надета искусно выделанная кожа бегемота, в руке он держал круглый щит из той же кожи. Особенно привлек наше внимание его меч. Он был совершенно схож с тем, который имелся у мистера Макензи, получившим его от неизвестного путешественника. Значит, этот неизвестный человек говорил правду! Наш проводник сказал пароль, и солдат опустил свое копье, которое зазвенело, ударившись об пол. Мы прошли во двор дворца, представлявший из себя четырехугольник, убранный цветами, кустами и растениями, большая часть которых была нам неизвестна. В центре садика шла широкая аллея, окаймленная большими раковинами, принесенными сюда с озера. По аллее мы дошли до другого входа под круглой аркой, на которой висел полотняный занавес, заменявший двери. Затем мы очутились в большом зале дворца и остановились в удивлении перед грандиозным зрелищем.

Зал был огромный, с великолепным дугообразным сводом из резного дерева. На расстоянии двадцати футов от стены высились стройные колонны из черного мрамора. В конце зала, поддерживаемого этими колоннами, находилась мраморная группа, выполненная королем Радемесом в память сооружения им крыльца.

Красота группы поражала взор. На черном мраморе цоколя выделялась великолепно изваянная фигура из белого мрамора, представлявшая молодого человека с благородным лицом, спящего на ложе. Одна рука его бессильно опущена на край ложа, а на другой покоится голова, наполовину закрытая локонами. Склонившись над ним, положив руку на его лоб, стоит закутанная фигура женщины с лицом поразительной красоты. Я не в силах описать все спокойное величие прекрасного лица, на котором сияет отблеск нежной, ангельской улыбки! И в ней, в этой улыбке, все — могущество, любовь и божественная красота! Глаза женщины устремлены на спящего юношу. Самая замечательная вещь в этой группе, особенно удавшаяся художнику, это внезапный подъем творческого духа, отразившийся на усталом и измученном лице спящего. Вы видите, как вдохновение проникает в темноту человеческой души и озаряет ее новым светом, подобно лучу рассвета, разбивающему мрак ночи! Это — дивное создание рук человеческих, и только гений мог создать что-либо подобное! Между черными мраморными колоннами стоят другие мраморные группы, изображающие различные аллегории или бюсты великих людей работы того же Радемеса, но ни один из них, по моему мнению, не может сравниться с вышеописанной группой.

В центре зала находится священный камень. На нем монархи после церемонии коронования клянутся соблюдать интересы страны, ее

традиции, законы и обычаи. Этот камень, очевидно, принадлежал к глубокой древности, бока его были покрыты заметками и линиями, что, по мнению сэра Генри, служило доказательством его существования в отдаленный период времени.

Относительно этого камня существовало курьезное предсказание: камень этот, по народному поверью, упал с солнца, и когда он будет раздроблен в куски, тогда король чужеземной расы будет править всей страной. Но камень выглядел пока очень прочным, и династия имела много шансов править страной еще долгие годы.

В конце зала на богатых коврах стояли два трона в виде больших кресел, сделанных из золота и богато украшенных. Над каждым троном виднелась эмблема солнца, посылающего свои лучи по всем направлениям. Подножиями обоих тронов служили спящие львы, с большими топазами вместо глаз.

Свет проходил в зал через узкие отверстия наверху, в виде замковых бойниц, но без стекол, которые, очевидно, были неизвестны здесь.

У нас не было времени, чтобы хорошенько рассмотреть зал, потому что при входе в него мы заметили большое количество людей, собравшихся перед тронами, оставшимися незанятыми. Знатнейшие из присутствовавших людей сидели на резных деревянных креслах, поставленных справа и слева около тронов, и были одеты в белые туники, богато расшитые, с разноцветной каймой, и держали в руках отделанные золотом мечи. Судя по достоинству их осанки, это были весьма высокопоставленные особы. Позади каждого из них стояла кучка слуг и приверженцев.

Налево от тронов сидела маленькая группа людей — шесть человек, которые заметно отличались от других; на них была одета длинная белая одежда с изображением солнца, перевязанная у пояса чем-то вроде золотой цепи, от которой свисали вниз длинные золотые дощечки эллиптической формы, сделанные в виде рыбьей чешуи, так что при каждом движении знатных особ они звенели и блестели. Все эти люди находились в почтенном возрасте, имели суровый вид и длинные бороды.

Один из них в особенности производил странное впечатление. Он был очень стар, — около восьмидесяти лет, — чрезвычайно высок, с белоснежной бородой, которая свисала до пояса. Черты лица его были строги и суровы, серые глаза смотрели холодным, пронизывающим взглядом. Головы других были непокрыты, а у высокого старика на голове была надета вышитая золотом шапочка, указывающая, что обладатель ее — персона особой важности. Позднее мы узнали, что это был Эгон, великий

жрец страны. Когда мы подошли ближе, все эти люди, включая жрецов, встали и весьма учтиво поклонились нам, прикладывая два пальца к губам, в знак приветствия. Из-за колонн вышли слуги и принесли кресла, на которые мы втроем сели, лицом к тронам, а Умслопогас и Альфонс встали позади нас. Едва мы успели сесть, как справа и слева раздались звуки труб. Затем вошел человек, встал против трона с правой стороны и провозгласил что-то громким голосом, причем повторил три раза слово «Нилепта». Другой человек прокричал что-то перед левым троном, повторив три раза слово «Зорайя».

С каждой стороны появились вооруженные люди, встали по обеим сторонам тронов и опустили вниз копья, зазвенев ими по мраморному полу. Снова звуки труб, и с разных сторон появились обе королевы, сопровождаемые шестью дамами.

Все присутствовавшие в зале замерли, приветствуя их.

Я видал на своем веку красивых женщин и более не прихожу в восторг от прекрасного лица, но красота сестер-королев превосходит всякое описание! Обе были молоды — около двадцати пяти лет; обе высоки и изящно сложены. Но на этом сходство их кончалось. Нилепта была женщина ослепительной красоты, ее правая рука и часть груди, согласно обычаю, были обнажены и сияли белизной из-под складок белой, расшитой золотом тоги, или кеф. Ее лицо было так прекрасно, что, раз увидев его, трудно было забыть. Волосы золотистого цвета, собранные короткими локонами вокруг головы, осеняли чистый, прекрасный, как слоновая кость, лоб, глубокие, искристые серые глаза сияли нежностью и царственным величием. Рот был удивительно нежно очерчен. Все ее лицо поражало прелестью и красотой очертаний, вместе с легким оттенком юмора, приютившимся в уголках губ, подобно серебристой капле росы на розовом бутоне. На ней не было никаких драгоценностей, кроме золотых обручей на шее, руке и колене, изготовленных в виде змеек. Ее тога была сделана из снежно-белого полотна, богато расшита и украшена эмблемой солнца.

Другая сестра, Зорайя, представляла несколько иной, мрачный характер красоты. Волосы Зорайи, волнистые, как у Нилепты, были иссиня-черного цвета и падали локонами на плечи. Цвет лица оливковый; большие темные глаза, мрачные и блестящие, я сказал бы, жесткие губы! Это лицо, спокойное и холодное, говорило о затаенной страстности и заставило меня подумать о том, как будет это спокойствие нарушено и страсть вырвется наружу. Я смотрел на лицо Зорайи, и мне припомнились спокойные и глубокие воды моря, которое я ясные дни ничем не проявляет своей могучей силы, и только в сонном рокоте его слышится затаенный дух

бури! Фигура Зорайи была прекрасна по своим линиям и очертаниям, хотя несколько полнее, чем у Нилепты. Одета она была совершенно одинаково с сестрой.

Когда прекрасные королевы спокойно уселись на своих тронах при глубоком молчании всего двора, я подумал, что обе сестры в точности воплощают в себе мое понятие о царственности. Эта царственность сказывалась в их формах, грации, достоинстве, даже в варварской пышности окружающей обстановки. Быть может, они вовсе не нуждались в воинах и золоте, чтобы утвердить свою власть, чтобы подчинить своей воле упрямых людей! Достаточно было одного взгляда блестящих глаз, одной улыбки прекрасных уст, чтобы заставить подданных идти на смерть ради них!



Но королевы были прежде всего женщинами и потому не чуждались любопытства. Проходя к своим тронам, они бросили быстрый взгляд на нас. Я видел, как их глаза скользнули по мне, не найдя ничего интересного в незначительном седом старике. С явным удивлением перевели они свой

взор на мрачную фигуру старого Умслопогаса, который поднял свой топор в знак приветствия, потом пристально вгляделись в Гуда, привлеченные блеском его мундира, и, наконец, остановили свой взор на лице сэра Генри. Солнечные лучи играли на его светлых волосах и бороде, выставляя в выгодном свете красивые линии его массивной фигуры. Он поднял глаза и встретил взгляд прекрасной Нилепты. Я не знаю, почему, но кровь прилила к нежной коже королевы, ее прекрасное лицо вспыхнуло, покраснели даже прекрасная грудь, рука и лебединая шея. Щеки зарделись, как лепестки розы. Потом она успокоилась и снова побледнела. Я взглянул на сэра Генри, он покраснел до самых глаз. «Честное слово, — подумал я, — на сцене появились дамы — следовательно, прощай мир и спокойствие!»

Я вздохнул и покачал головой, потому что знал, что красота женщины подобна красоте молнии и несет за собой разрушение и отчаяние! Пока я размышлял, обе королевы сидели на тронах. Еще раз зазвучали трубы. Придворные сели на свои места. Королева Зорайя указала на нас.

Из толпы вышел наш проводник, держа за руку девушку, которую мы спасли из воды. Поклонившись, он обратился к королевам — очевидно, рассказывая им о нас. Забавно было видеть выражение удивления и страха на их лицах, пока они слушали рассказ. Ясно было, что они не могут понять, каким образом мы очутились на озере, и готовы приписать наше появление сверхъестественной силе. Рассказ продолжался, и я заключил по частым обращениям рассказчика к девушке, что он говорил о бегемотах, которых мы застрелили; затем мы подумали, что он врет что-нибудь относительно бегемотов, потому что его рассказ часто прерывался негодующими восклицаниями жрецов и придворных, в то время как королевы слушали с изумлением, особенно когда рассказчик указал на наши винтовки как на орудия разрушения и смерти. Я должен пояснить теперь, что обитатели Страны Зу-венди были солнцепоклонниками и бегемот считался у них священным животным. В определенное время года они убивают бегемотов тысячами — бегемоты нарочно оберегаются для этого в озере страны, так как их кожа идет на солдатскую амуницию, но это нисколько не мешает туземцам считать бегемота священным животным[64].

Те бегемоты, которых мы застрелили, принадлежали к священным животным, и специальной обязанностью жрецов было заботиться о них. Таким образом, сами не зная того, мы совершили святотатство самого ужасного толка.

Когда наш проводник закончил рассказ, высокий старик с длинной бородой и в круглой шапочке, великий жрец Эгон, встал и начал бесстрастным тоном говорить что-то королевам. Мне не понравился

холодный взгляд его серых глаз, устремленных на нас. Вероятно, он нравился бы мне еще меньше, если бы я понимал его речь и знал, что во имя оскорбленного божества жрец требовал, чтобы мы были принесены в жертву и сожжены. Когда он договорил, королева Зорайя заговорила нежным, мелодичным голосом, и, судя по ее жестам, разбирала другую сторону вопроса. Затем Нилепта сказала что-то жрецу. Мы, конечно, и не подозревали, что она заступалась за нас и просила о помиловании. В конце концов она обернулась к высокому человеку средних лет, с черной бородой и длинным мечом в руке, которого звали (это мы узнали потом) Настой и который был важным лицом в стране. Очевидно, она ждала от него поддержки. Но кода она переглянулась с сэром Генри — еще при входе в зал — и покраснела, как роза, я заметил, что это было неприятно высокому человеку, потому что он закусил губу и схватился за меч. Потом нам сказали, что он жаждал получить руку королевы и вступить с ней в брак. Нилепта не могла бы сделать худшего выбора, когда обратилась у нему за помощью. Он тихо заговорил с ней, соглашаясь с доводами великого жреца. Во время этого разговора Зорайя положила локоть на колено, уперлась подбородком в руки и смотрела на Насту с презрительной улыбкой на губах, как будто видела насквозь его мысли и планы. Нилепта, очевидно, рассердилась. Ее щеки покраснели, глаза заблестели, и она стала еще красивее. Наконец она повернулась к Эгону и, казалось, дала ему согласие, потому что тот низко поклонился ей. Все это время Зорайя сидела спокойно и улыбалась. Вдруг Нилепта сделала знак. Раздался звук трубы. Все встали и покинули зал, кроме стражи, которой она приказала остаться на месте.

Когда все ушли, Нилепта поклонилась, нежно улыбаясь, и с помощью знаков и восклицаний дала нам понять, что желала бы узнать, как мы попали сюда. Очень трудно было объяснить ей это. Но вдруг меня осенила мысль. В кармане у меня имелись записная книжка и карандаш. Я набросал на бумаге чертеж подземной реки и озера, подошел к ступеням трона и подал книжку Нилепте. Она поняла сразу, радостно захлопала в ладоши, сошла с трона и подала чертеж Зорайе, которая также сразу поняла его. Нилепта взяла карандаш у меня, с любопытством посмотрела на него и сделала несколько прелестных рисунков. Первый изображал ее, радостно приветствующую обеими руками человека, весьма похожего на сэра Генри. На втором рисунке она изобразила бегемота, умирающего на воде, и на берегу человека, в ужасе поднявшего руки при виде этого ужасного зрелища. В этом человеке мы без труда узнали великого жреца. Затем был рисунок, представляющий ужасную огненную печь, в которую Эгон толкал нас своим посохом.

Этот рисунок ужаснул меня, но я несколько успокоился, когда она ласково кивнула мне и принялась за следующий рисунок. Она опять нарисовала человека, похожего на сэра Генри, и двух женщин, себя и Зорайю, которые стояли, обняв его и держа над ним меч, в знак защиты и покровительства.

Зорайя, которая все это время смотрела на нас, особенно на сэра Генри, одобрила рисунки легким кивком головы. Наконец Нилепта набросала чертеж восходящего солнца, пояснив, что должна уйти и что мы встретимся на следующее утро. Сэр Генри глядел так печально, что, вероятно, желая утешить его, Нилепта протянула ему свою руку для поцелуя, что он сделал с благоговением. Зорайя, с которой Гуд все время не сводил глаз и своего монокля, вознаградила его, также протянув ему руку для поцелуя, хотя глаза ее были устремлены на сэра Генри. Я рад сознаться, что не участвовал в этой церемонии — ни одна из королев не протянула мне руки для поцелуя.

Потом Нилепта подозвала к себе человека, вероятно начальника телохранителей, и отдала ему строгое и точное приказание, улыбаясь, кокетливо кивнула нам головой и вышла из зала, сопровождаемая Зорайей и стражей. Когда обе королевы ушли, офицер, которому Нилепта отдала приказание, с видом глубокого почтения повел нас из зала через многочисленные коридоры и целый ряд пышных апартаментов в большую комнату, освещенную висячими лампами (уже стемнело), устланную богатыми коврами, уставленную ложами. На столе, в центре комнаты, были приготовлены закуска, плоды и много цветов.

Тут было восхитительное вино в древних глиняных фляжках, красивые кубки из золота и слоновой кости.

Слуги, мужчины и женщины, были готовы служить нам, и пока мы ели, до нас откуда-то донеслось чудное пение. «Серебряная лютня говорила, пока не раздался властный звук трубы!» — пел чей-то нежный голос. Нам казалось, что мы находимся в земном раю, если бы мысль об отвратительном великом жреце не отравляла нашего удовольствия. Но мы так устали, что едва могли сидеть за столом и скоро начали пояснять знаками, что страшно хотим спать. Нас повели куда-то и хотели положить каждого в отдельную комнату, но мы дали понять, что хотим спать вдвоем в одной комнате. Ради предосторожности мы положили спать Умслопогаса с его топором в проходной комнате, близ занавешенной двери, которая вела в наше помещение. Гуд и я легли в одной комнате, сэр Генри и Альфонс — в другой. Сбросив с себя все платье, за исключением стальной рубашки, мы бросились на наши роскошные ложа и накрылись богатыми, вышитыми

шелком одеялами.

Через две минуты я задремал, как вдруг был разбужен голосом Гуда.

— Квотермейн! — сказал он. — Видели ли вы такие глаза?

— Глаза? — спросил я сквозь сон. — Какие глаза?

— Конечно, глаза королевы Зорайи — так, мне кажется, ее зовут!

— О, я право не знаю! — зевнул я. — Я не заметил! Думаю, что у них обеих добрые глаза!

Я снова задремал. Гуд разбудил меня через пять минут.

— Квотермейн, послушайте!

— Ну что еще там?

— Заметили вы, какая у нее нога?

Этого я не мог вынести. Около моей постели на столе лежала моя шляпа. Почти невольно я схватил ее и бросил прямо в голову Гуда.

После этого я заснул сном праведника. Что касается Гуда, не знаю, спал ли он или мечтал о прелестной Зорайе — я об этом не заботился!

XIII. Народ Зу-венди

На несколько часов опускается занавес, и актеры новой драмы погружены в глубокий сон; все спят, быть может за исключением Нилепты, которая дала волю своим поэтическим наклонностям и, лежа в постели, не может заснуть, думая об иностранцах, которые посетили ее страну, никогда не видавшую подобных гостей, размышляя о том, кто они, что таится в их прошлом, сравнивая их с туземными мужчинами. У меня нет поэтических наклонностей, я хочу просто собраться с мыслями и дать себе отчет о том народе, среди которого мы находимся, сообразно собранным сведениям.

Название страны Зу-венди происходит от слов *зу* — желтый и *венди* — страна или место. Я никогда не мог понять, отчего она так называется, даже сами обитатели не знают этого. По моему мнению, существуют три основания для такого названия страны. Во-первых, название это произошло от громадного количества золота в стране. В этом отношении Зу-венди — настоящее Эльдорадо.

На расстоянии одного дня езды от Милозиса находятся целые залежи золота. Я сам видел массу золотоносного кварца. В Стране Зу-венди золото — самый заурядный металл, и серебро ценится выше.

Другим источником происхождения названия может быть следующее: в определенное время года туземные травы, весьма жирные и обильные, сильно желтеют, так же как и хлебное зерно.

Третье основание названия страны происходит от поверья, что прежде здесь жил народ, имевший желтую кожу, а затем, через многие поколения, он превратился в белокожих людей.

Зу-венди — страна гористая, имеет форму овала и окружена безграничными терновыми лесами, болотами, которые тянутся на сотни миль, пустынями и горами.

Она занимает центральное место на континенте. Милозис лежит, согласно показаниям моего анероида, на высоте 9.000 футов над уровнем моря, но остальная часть страны еще возвышеннее и, я думаю, достигает 11.000 футов. Климат скорее прохладный, похожий на климат Южной Англии, хотя несколько теплее и не так дождлив. Страна чрезвычайно плодородна. Здесь растут и хлебные растения, и фрукты, и великолепный строевой лес. Южная часть страны производит много сахарного тростника. Каменный уголь здесь имеется в большом изобилии, много мрамора, черного и белого. Много здесь всевозможных металлов, кроме серебра,

которое встречается редко и находится только в горах на севере страны. Зу-венди — красивая и живописная страна. На рубеже ее тянутся два ряда снеговых гор, которые с западной стороны заканчиваются непроходимым терновым лесом, пересекают страну с севера на юг и проходят на расстоянии восьмидесяти миль от Милозиса. В стране три больших озера, одно называется также Милозис, по имени города.

Народонаселение этой цветущей страны, сравнительно говоря, очень значительно, от десяти до двенадцати миллионов. Это — земледельческая раса людей, разделяющаяся по классам.

Средний класс состоит главным образом из купцов и офицеров армии; простой народ — трудолюбивые крестьяне живут на землях господ, у которых состоят как бы в феодальной зависимости.

Высший класс в стране обладает совершенно белой кожей, с примесью южного типа в лице, но у простого народа темная кожа, хотя он вовсе не походит на негров или других африканских дикарей. Происхождение народа Зу-венди затерялось во мраке времен. Архитектура и скульптура в стране напоминают египетскую — или, вернее, ассирийскую. Известно, что замечательный стиль теперешних построек появился не более восьмисот лет и совершенно потерял всякие следы влияния Египта.

Наружность и привычки народа скорее напоминают евреев, быть может он представляет из себя потомков одного из двенадцати племен, рассеянных по всему миру[65].

Кроме того, я слышал одну легенду от арабов на восточном берегу Африки. Легенда эта говорит, что более двух тысяч лет тому назад в стране, известной под именем Вавилонии, происходили смуты, и большая группа парсов[66] бежал оттуда на корабле и пристала к северо-восточному берегу Африки, где, согласно легенде, жили люди, поклонявшиеся солнцу и огню. Они поссорились с новыми поселенцами и ушли в глубь материка, где все следы их совершенно затерялись. Разве не возможно, что народ Зу-венди представляет из себя потомков этих огнепоклонников? Есть что-то в его характерных чертах и обычаях, что смутно напоминает парсов. Сэр Генри говорит, что если память не изменяет ему, то действительно в Вавилоне были смуты, вследствие которых множество людей ушло из страны. Установлен факт, что существовало несколько отдельных миграций парсов от берегов Персидского залива к восточному берегу Африки.

Зу-венди, будучи земледельческим народом, отличаются воинственными наклонностями и при всяком удобном случае начинают войну с другими народами, результатом чего является то обстоятельство,

что скорость прироста населения никогда не превышает темпов прироста производительности страны. Политическое положение страны также способствует этому. Монархическое правление несколько ограничено властью жрецов и советом из высших сановников страны. Но слово короля является законом.

В сущности, система управления напоминает феодализм, хотя рабства, в настоящем значении этого слова, здесь не существует. Все высшие сановники страны только номинально считаются подданными короля, но в действительности совершенно независимы, распоряжаются жизнью и смертью своих подчиненных, воюют и мирятся с соседями сообразно своим интересам, а иногда открыто восстают против короля и королевы и спокойно прячутся в своих замках, не обращая внимания на правительство.

Восемь различных династий владели троном за последнее тысячелетие, захватывая власть после кровопролитной борьбы.

Когда мы приехали в страну, дела обстояли лучше, потому что последний король, отец Нилепты и Зорайи, был чрезвычайно способный и энергичный правитель и умел держать в руках и жрецов, и сановников.

Два года прошло после его смерти. Две сестры, его дочери, наследовали трон, так как всякая попытка отстранить их от власти вызывала бы кровопролитную войну. Но разнообразные интриги честолюбивых сановников, претендующих на руку одной из королев, сильно беспокоили страну. Все склонялись к тому, что без кровопролития не обойдется.

Народ поклонялся солнцу, в самом высшем понятии этого слова. Вокруг этого почитания солнца группировалась целая социальная система Зу-венди.

От ничтожных мелочей до серьезных событий — солнце играло главенствующую роль в жизни народа. Новорожденного держали под лучами солнца и посвящали солнцу, «символу добра, власти, надежды на вечность» — эта церемония соответствовала таинству крещения. Родители указывали малютке на величественное светило, как на видимую причину и благотворную силу, и он, едва держась на ножонках, учился почитать и боготворить его. Держась за тогу матери, ребенок шел в Храм Солнца, и здесь, когда полуденные лучи горели над центральным алтарем и озаряли лучезарным светом весь храм, он слушал, как одетые в белые одежды жрецы торжественно пели хвалебный гимн солнцу, видел, как народ с горячей мольбой падал на ниц перед алтарем, как при звуках золотых труб приносились жертвы, брошенные в огненную печь под алтарем. Здесь же, в храме, жрецы объявляли, что он «взрослый муж» и благословляли его на

войну и добрые дела; здесь, перед алтарем, будет он стоять с избранной невестой; здесь же, если брак несчастлив, может развестись с женой.

Так проходит вся жизнь человека, пока его не приносят сюда мертвым и не кладут его прах перед восточным алтарем. Когда последний луч заходящего солнца озарит его бледное мертвое лицо, он исчезает в раскаленной печи под алтарем… и все кончено!

Жрецы солнца не женятся и набираются из числа молодых людей, специально предназначенных для этой цели родителями. Посвящение в сан жреца зависит от царской власти, но раз назначенный жрец не может уклониться от своих обязанностей. Я не ошибусь, если скажу, что именно жрецы правят страной. Приказание великого жреца в Милозисе сейчас же и безропотно выполняется всеми жрецами, живущими за три или четыре сотни миль от него. Они являются главными судьями в стране и по уголовным, и по общественным делам, хотя допускается апелляция в совете сановников и от них — к королю. Жрецам дана огромная власть в делах нравственного и религиозного характера, с правом отлучения от церкви. И это серьезное и опасное оружие в их руках! В сущности, власть и права жрецов неограничены, но я должен сознаться, что жрецы солнца мудры и осторожны в своих поступках. Весьма редко случается, чтобы они выказали излишнее рвение, преследуя кого-нибудь. Напротив, они склонны к пощаде и милосердию, во избежание риска раздразнить сильный, но добродушный народ, который кротко несет их ярмо на своей спине, но способен восстать и сбросить его с себя.

Одним из источников неограниченного могущества жрецов является монополия их грамотности, познаний в астрономии, что помогает им держать народ в руках, предсказывая ему затмения и появление комет. В Стране Зу-венди только немногие жрецы обязательно грамотны и выглядят учеными людьми. Законы страны, в общем-то, мягки и справедливы и разнятся во многом от наших цивилизованных законов.

Например, в Англии закон карает очень сурово всякое покушение на чужую собственность — более строго, чем покушение на жизнь человека. Это вполне понятно у народа, первенствующая страсть которого — деньги и деньги!

Любой человек может поколотить свою жену или допустить самое жестокое обращение со своими детьми, и это обойдется ему дешевле, чем если бы он покусился украсть пару старых сапог. В Зу-венди на это смотрят иначе. Убийство наказывается смертью, предательство, ограбление сирот или вдов, святотатство, попытка нарушить спокойствие страны — все это грозит виновнику смертью.

Его бросают в огненную печь перед алтарем бога солнца. За другие проступки, включая и праздность, виновный осуждается на работу на каких-либо общенациональных постройках — сообразно значимости проступка.

Социальная система Зу-венди предоставляет полную свободу всякой отдельной личности, если она не нарушит законов и обычаев страны. Существует здесь и полигамия, но большинство мужчин имеет только по одной жене, во избежание лишних расходов. По закону, если мужчина имеет несколько жен, он обязан каждой из них предоставить отдельное помещение. Первая жена — законная жена, и ее дети принадлежат к «дому отца».

Дети других жен принадлежат к дому своих почтенных матерей. Но первая жена, вступив в супружество, может поставить условие, чтобы ее супруг не имел других жен. Впрочем, это случается крайне редко, и женщины держатся за полигамию, которая дает большие преимущества первой жене, являющейся, таким образом, главой нескольких хозяйств. На брак здесь смотрят как на гражданский договор, и подчиняться известным условиям является обязательным для обеих договаривающихся сторон; развод здесь совершается со всеми формальностями и церемониями. В общем, зу-венди — добрый, веселый, мягкосердечный народ. Между ними нет ярых торговцев, нет особой любви к деньгам. Они стараются заработать столько, чтобы хватало на жизнь. Все они чрезвычайно консервативны и с недоверием смотрят на всякие нововведения и реформы. Денежная система их — серебряная, золото употребляется только на декоративные украшения. Торговля здесь производится главным образом в виде менового торга. Земледелие — главное занятие жителей, и работают они усердно. Большое внимание обращается на разведение скота и лошадей. Лошади замечательные, таких я никогда не встречал в Европе или в Африке.

Система податей крайне проста: государство берет третью часть заработка земледельцев, жрецы получают пять процентов от остатков. Но если человек впадет в нищету, то правительство поддерживает его и помогает. Если он ленив, его отсылают работать на правительственных постройках и государство берет заботу о его женах и детях. Государство ведет все постройки дорог и городских домов и делает это очень заботливо. Оно содержит армию в двадцать тысяч человек, сторожей и т.д.

За свои пять процентов жрецы несут службу при храмах, совершают все различные религиозные церемонии, содержат школы, в которых обучают чему хотят. Некоторые храмы имеют свое отдельное имущество,

но жрецы как отдельные личности не имеют права собственности.

Возникает вопрос, но который я с трудом могу ответить: принадлежит ли народ Зу-венди к цивилизованной или варварской расе? В некоторых видах искусства они достигли высокой степени процветания, например в архитектуре или скульптуре. Я не думаю, что какая-либо страна в мире могла бы сравниться в этом с ними. Но в других вещах они совершенно несведущи. Сэр Генри, кое-что понимающий в этом, показал им, как смешать кремнезем и известь, а они признались, что никогда не видели кусочка стекла, и их глиняная посуда крайне примитивна. Наши карманные часы чрезвычайно восхищали их. Они не имели понятия об электричестве, паре, порохе, книгопечатании, почте. Они избежали благодаря этому многих несчастий, потому что старая мудрая поговорка гласит: «Кто прибавляет себе познаний, тот прибавляет себе и горя!»

Относительно религии: в ней нет ничего ни спиритуалистического, ни возвышенного. Правда, некоторые из зу-венди говорят, что солнце есть «одеяние духа», но это слишком общее и туманное выражение; многие верят в будущую жизнь, но это какая-то первобытная вера, а вовсе не сущность религии.

В общем, я не могу сказать, чтобы я узрел в религии солнцепоклонников определенную религию цивилизованной расы, — как ни великолепны их обряды, как ни возвышенны правила, — хотя, я уверен, они имеют свое особое мнение об этом предмете. Мне остается сказать теперь только о языке зу-венди и их каллиграфии. Язык их очень звучен, очень богат и гибок. Сэр Генри уверяет, что он походит на новогреческий язык, с которым я, к сожалению, вовсе не знаком. Язык зу-венди очень прост в конструкции, его легко изучить. Особенность его заключается в созвучии слов и в применении их к значению того, что они выражают собой. Мы скоро поняли язык, так как он постоянно был на слуху у нас. Он удивительно хорошо звучит в поэтических декламациях, которые очень любит этот замечательный народ. Алфавит зу-венди, по словам сэра Генри, происходит от финикийского и, может быть, несколько заимствован от египетского гиератического письма[67]. Этого я не знаю, так как мало смыслю в подобных вопросах. Я знаю только, что алфавит зу-венди состоит из двадцати двух букв, из которых буквы *Б*, *Е* и *О* несколько походят на наши. В общем, каллиграфия их довольно груба и трудна. Но так как народ Зу-венди не пишет новелл — ничего, кроме деловых бумаг и документов, то вполне доволен своим алфавитом.

XIV. Храм Солнца

Была половина восьмого на моих часах, когда я проснулся утром, на другой день после нашего приезда в Милозис, проспав ровно двенадцать часов и чувствуя себя несравненно лучше. Благодатная вещь сон! Эти двенадцать часов крепкого сна так освежили нас после многих дней и ночей труда и опасности. Легли мы в постель усталыми, измученными, а проснулись совсем другими людьми!

Я сел на шелковое ложе, — никогда в жизни я не спал на такой постели, — и первое, что мне бросилось в глаза, это стеклышко Гуда, устремленное на меня с его постели. Я не видел ничего, кроме этого монокля в глазу Гуда, но по его взгляду понял, что он ждал моего пробуждения.

— Квотермейн, — начал он, — заметили вы ее ногу, особенно лодыжку? Она «гладка и блестяща, как оборотная сторона рогового гребня!

— Лучше взгляните, Гуд, что там! — вместо ответа я указал на занавес, за которым появился человек, показывая нам знаками, что готов вести нас в ванную. Мы с удовольствием согласились и были приведены в восхитительную мраморную комнату, посредине которой находился пруд с кристально чистой водой, куда мы с наслаждением погрузились. Выкупавшись, мы вернулись в свои комнаты, оделись и отправились в центральную комнату, где для нас был приготовлен завтрак. После завтрака мы долго прохаживались по комнате, любуясь обивкой стен, коврами и статуями и поджидая, что будет дальше. В самом деле, за это время мы так привыкли удивляться, что теперь были готовы ко всему. В это время явился наш друг стражник и любезно пояснил нам знаками, что мы должны следовать за ним. Мы повиновались не без колебания и со стесненным сердцем, потому что догадывались, что наш знакомый с холодным взглядом, Эгон, великий жрец, не простил нам убитого бегемота. Но помочь тут было нечем, и лично я надеялся только на защиту королев, зная, что если женщина захочет что-либо сделать, то изыщет возможность для этого. Минутная прогулка через коридоры и двор, и мы очутились у больших ворот дворца, которые ведут на холм к Храму Солнца.

Эти ворота очень широки, массивны и удивительно красивы. Перед ними ров, наполненный водой, с перекинутым через него подъемным мостом. Как только мы подошли, половина ворот широко распахнулась, мы прошли через мост и остановились, смотря на чудеснейшую в мире дорогу,

ведущую к храму. По обеим сторонам дороги величественно возвышались красивые здания из красного гранита — жилище придворных и сановников двора, — тянувшиеся на расстояние в милю, до холма, увенчанного великолепным Храмом Солнца, господствовавшим над всей дорогой. Пока мы любовались этим грандиозным зрелищем, к воротам подъехали четыре кабриолета, запряженные белыми как снег лошадьми. Это были двухколесные деревянные кабриолеты, посаженные на крепкую ось, прочность которой поддерживалась кожаными подпругами в виде шор. Колеса с четырьмя спицами были обтянуты железом. В передней части кабриолета, над осью, устроено было сиденье для кучера, с поручнями, чтобы он мог удержаться на месте при тряске. Внутри экипажа находились три низких сиденья — два по бокам кабриолета и одно спиной к лошадям, напротив дверцы. Экипаж был легок, прочно сделан и довольно неуклюж.

Если кабриолет оставлял желать лучшего, то про лошадей этого нельзя было сказать!

Кони были великолепны, не очень велики, но крепки, с маленькой головой, удивительно широкими и круглыми копытами, очень быстрые и горячие. Первый и последний из кабриолетов были заняты стражей, но в середине оставалось два пустых места. Альфонс и я сели в один экипаж, сэр Генри, Гуд и Умслопогас — в другой, и мы двинулись в путь.

В Стране Зу-венди принято пускать лошадей рысью, но если путешествие не длинно, то их пускают галопом. Боже ты мой! И как только мы доехали! Едва мы успели сесть, кучер закричал, лошади понесли, и мы помчались с такой быстротой, что едва могли дышать. Я привык к быстрой езде, но сильно испугался. Что касается несчастного Альфонса, то он откинулся с отчаянным лицом на бок экипажа «дьявольского фиакра», как он сказал, считая себя погибшим. Когда он спросил меня, куда мы едем, я ответил, что нас везут, чтобы бросить в огонь для жертвоприношения. Надо было видеть его лицо, когда он вцепился в поручни экипажа и начал отчаянно вопить.

Но кабриолет несся вперед; ветер, свистя у нас в ушах, заглушал крики Альфонса.

Наконец перед нами во всем удивительном блеске и пышной красоте показался Храм Солнца, гордость народа Зу-венди, для которого он то же, что Храм Соломона для иудеев. Масса богатства, масса искусства и труда целых поколений была положена на постройку этого дивного здания, которая закончилась только в последние пятьдесят лет. Не было забыто ни малейшее достижение страны. И результат получился удивительный, не только по размерам, а это огромнейший храм во всем мире, но и по

совершенству постройки, богатству и красоте материала и по удивительной работе людей. Здание занимает пространство в восемь акров на вершине холма, вокруг которого находятся жилища жрецов. Оно имеет форму большого цветка, с центральной залой, над которой высится купол. От купола, в виде лучей, идут двенадцать лепесткообразных портиков; каждый из них посвящен одному из двенадцати месяцев и служит хранилищем статуй, воздвигнутых в честь знаменитых усопших. Высота купола равняется четыремстам футам, длина лучей — ста пятидесяти футам. Они сходятся в центральном куполе, как лепестки цветка в его сердцевине.

Здание выстроено из чистого белого мрамора, представляющего разительный контраст с красным гранитом городских домов и подобно царственной диадеме, что сияет на челе мрачной королевы. Наружная сторона купола и портиков покрыта листовым золотом. На краю свода каждого из двенадцати портиков находится золотая фигура ангела с трубой в руке и с распростертыми крыльями.

Могу себе представить, как поразительно красивы эти золотые своды, сияющие в лучах солнца, словно тысячи огней, на мраморной горе; они сверкают так ярко, что видны с вершин гор, за сотни миль отсюда.

Эффект зрелища еще усиливается великолепными туземными цветами, которые опоясывают мраморную стену храма и сияют красотой своих золотых чашечек и лепестков.

Главный вход в храм — между двумя обращенными к северу дворами — защищен бронзовыми воротами и дверями из прочного мрамора, великолепно украшенными различными аллегориями и золотом. За этими дверями находится стена и опять дверь из белого мрамора, ведущая вовнутрь храма. Вы оказываетесь наконец в главной зале, под куполом, и идете к центральному алтарю, поражаясь дивным зрелищем, которое открывается вашему взору! Вас охватывает тишина священного места, над вашей головой мраморный купол с воздушными арками, немного напоминающий купол собора святого Павла в Лондоне, фигура летающего ангела и целое море солнечных лучей, льющихся на золотой алтарь! На восточной и западной стороне находятся два других алтаря, также озаренные лучами солнца, которые льются в священный полумрак святыни. Повсюду белизна мрамора, таинственность, красота!

На центральном золотом алтаре горит бледное пламя, увенчанное легким голубым дымком. Алтарь сделан из мрамора, украшен золотом и имеет круглую форму в виде солнца. К основанию алтаря приделаны двенадцать больших лепестков чистого золота. Всю ночь и весь день эти лепестки закрыты над алтарем, подобно тому как лепестки лилии

закрываются в ненастную погоду. Но когда полуденные лучи солнца скользнут через купол и озарят золотые цветы, лепестки таинственным образом раскрываются.

Десять золотых ангелов стерегут покой святыни. Эти фигуры — с благоговейно склоненными головами, с лицами, закрытыми крыльями, — поражают удивительной красотой.

К востоку от главного алтаря пол сделан не из белого мрамора, как везде, а из прочной меди, и это обстоятельство обратило на себя мое внимание. Восточный и западный алтари не так богаты и красивы, хотя также сделаны из золота, и крылатые фигуры золотых ангелов стоят по бокам этих алтарей. В стене позади восточного алтаря сделано отверстие в виде бойницы. В это отверстие врывается первый луч восходящего солнца, нежно касается лепестков большого золотого цветка-алтаря и падает на западный алтарь. Вечером последние лучи заходящего солнца долго покоятся на восточном алтаре, пока не погаснут во мраке ночи. Это нежное прощание вечера с зарей.

За исключением этих трех алтарей и крылатых фигур над ними, остальное пространство храма под белым куполом совершенно пусто и лишено всяких украшений, что, мне кажется, усиливает грандиозное впечатление, которое производит Храм Солнца.

Когда я сравниваю это гениальное произведение искусства с пестрыми постройками и жалкими орнаментами, которыми архитекторы украшают европейские города, я чувствую, что им бы следовало поучиться у мастеров Зу-венди! Когда мои глаза привыкли к мрачному освещению великолепного здания, к его мраморной красоте, к совершенству его линий и очертаний, с моих губ сорвалось невольное восклицание: «Здесь и собака научилась бы религиозному чувству!» Это восклицание вульгарно, но яснее выражает мою мысль, чем вежливая похвала.

У ворот храма нас встретила стража и солдаты, находившиеся в подчинении жрецов. Они повели нас в один из портиков и оставили здесь на полчаса. Мы успели в это время переговорить, не скрывая, что находимся в большой опасности, и решили, если будет сделана попытка схватить нас, защищаться до последнего. Умслопогас немедленно заявил, что раздробит почтенную голову великого жреца своим топором. С того места, где мы стояли, можно было видеть несметную толпу народа, наполнявшую храм, очевидно в ожидании необычайных событий. Каждый день, когда полуденные лучи солнца озаряют центральный алтарь, при звуке труб совершается жертвоприношение богу солнца, состоящее иногда из трупа барана или быка, иногда фруктов и зерна. Случается это и после

полудня, так как Зу-венди лежит недалеко от экватора и очень высоко над уровнем моря, так что солнце и после полудня бросает на землю свои горячие лучи вертикально. Сегодня жертвоприношение должно было совершиться в восемь минут первого.

Ровно в полдень появился жрец, подал знак, и стража пригласила нас пройти вперед, что мы и сделали все, кроме Альфонса, лицо которого выражало ужас. Через несколько минут мы стояли вне портика и смотрели на море человеческих голов, окружавших центральный алтарь и жадно разглядывавших иностранцев, которые совершили святотатство, — первых иностранцев, которых им удалось увидать в своей стране.

При нашем появлении ропот пробежал по толпе. Мы прошли через нее и остановились с восточной стороны, там, где пол был сделан из меди, лицом к алтарю. Пространство вокруг золотых крылатых фигур было огорожено веревкой, и народ толпился за ней. Одетые в белые одежды жрецы, держа в руках золотые трубы, встали кругом, и впереди всех — Эгон, великий жрец, со смешной шапочкой на голове. Мы стояли на медном полу, не подозревая, что готовится нам, хотя я слышал какой-то странный звук шипения под полом. Я оглянулся по сторонам, желая узнать, появились ли сестры-королевы в храме, но их не было. Мы ждали. Снова раздался звук трубы, и обе королевы вошли рядом, сопровождаемые сановниками, между которыми я узнал Насту. Позади следовал отряд телохранителей. Я был очень рад появлению королев. Обе они встали впереди, слева и справа встали сановники, а позади, полукругом, расположилась стража.

Наступило молчание. Нилепта взглянула на нас и поймала мой взгляд. Мне показалось, что она хотела на что-то указать глазами. С моего лица ее взгляд скользнул на медный пол, который был под нашими ногами. Затем последовало едва заметное движение головы. Сначала я не понял, но она повторила. Тогда я догадался, что надо подвинуться назад от медного пола. Еще взгляд, и моя догадка перешла в уверенность — опасность была в том, что мы стояли на медном полу! Сэр Генри стоял рядом со мной с одной стороны, Умслопогас — с другой. Не поворачивая головы, я шепнул им, чтобы они отодвинулись назад — медленно, шаг за шагом, пока их ноги не наступят на мраморный пол, там, где кончается медный.

Сэр Генри шепнул Гуду и Альфонсу. Мы начали пятиться, медленно, незаметно, так незаметно, что только Нилепта и Зорайя приметили это. Я снова взглянул на Нилепту, она слегка кивнула головой в знак одобрения. Пока глаза Эгона были в молитвенном экстазе обращены к алтарю, мои тоже, в некоторого рода экстазе, устремились на его спину. Вдруг он поднял

свои длинные руки и торжественным голосом запел гимн солнцу. Это было воззвание к солнцу, и состояло оно в следующем:

Молчанием скованы недра глубокого мрака!
Только в небесном пространстве звезда говорит со звездой!
Земля скорбит и обливается слезами желания,
Усеянная звездами ночь обнимает ее, но не может утешить.
Она одевается туманом, словно траурным платьем,
И протягивает свои бледные руки к востоку!
Там, на далеком востоке, виднеется полоска света;
Земля смотрит туда, с надеждой воздевая руки.
Тогда ангелы слетаются из священного места, о солнце,
И разгоняют темноту своими огненными мечами,
Взбираются на небо и гонят изменчивые звезды
Снова на лоно мрачной уходящей ночи!
Месяц бледнеет, как лицо умирающего человека!
Ты, о солнце светлое, появляешься во всей славе своей!
О ты, лучезарное солнце, одетое огненной мантией!
Ты шествуешь по небу в своей огненной колеснице!
Земля — твоя невеста! Ты возьмешь ее в свои объятия,
И она родит тебе детей! Ты любишь ее, она принадлежит тебе!
Ты отец мира, источник света, о солнце!
Твои дети протягивают к тебе руки и греются в лучах твоих!
Старики тянутся к тебе и вспоминают былую силу и удаль!
Только смерть забывает о тебе, лучезарное солнце!
Когда ты гневаешься, ты прячешь лик свой от нас,
Темная завеса облаков скрывает тебя,
Земля дрожит от холода, и небеса плачут,
Плачут под ударами зловещего грома,
И слезы их дождем падают на землю!
Небеса вздыхают, и эти вздохи слышатся в порывах ветра,
Цветы умирают, плодоносные поля скудеют, бледнеют,
Старики и дети прячутся и тоскуют
По твоему живописному телу и свету, о солнце!
Скажи, кто ты, о вечное солнце?
Кто утвердил тебя на этой высоте, о ты, вечное пламя!
Когда появилось ты и когда окончишь свой путь по небу?
Ты воплощение живущего духа!
Ты неизменно и вечно, потому что ты — начало всего,

И тебе не будет конца, когда дети твои будут забыты!
Да, ты вечно и бесконечно! Ты восседаешь в вышине
На своем золотом троне и ведешь счет векам!
Отец жизни! Лучезарное, животворное солнце!

Эгон закончил гимн, весьма красивый и оригинальный, и после минутной паузы взглянул вверх, к куполу, и произнес: «О солнце, сойди на свой алтарь!»

И вдруг случилась удивительная вещь!

С высоты, подобно огненному мечу, блеснул яркий луч света… Он озарил лепестки золотого алтаря-цветка, и дивный цветок раскрылся под лучезарным дыханием. Медленно раскрывались большие лепестки и открыли золотой алтарь, на котором горел огонь. Жрецы затрубили в трубы… Громкий крик пронесся в толпе, поднялся к золоченому куполу и вызвал ответное эхо в мраморных стенах храма. Солнечный луч упал на золотой алтарь, на священное пламя, которое заволновалось, закачалось и исчезло. Снова раздались звуки труб. Снова жрецы подняли руки, восклицая:

— Прими жертву нашу, о священное солнце!

Я снова поискал взор Нилепты, глаза ее были устремлены на медный пол.

— Берегись! — произнес я громко. — Берегись!

Я видел, как Эгон наклонился и коснулся алтаря. Лица в толпе вокруг нас покраснели, потом побелели… Словно глубокий вздох пронесся над нами! Нилепта наклонилась вперед и невольным движением прикрыла глаза рукой. Зорайя обернулась и что-то шепнула начальнику телохранителей. Вдруг с резким шумом медный пол двинулся перед нами и открыл ужаснейшую печь перед алтарем, огромную и раскаленную до такой степени, что в ней могло расплавиться железо.

С криком ужаса мы отскочили назад, кроме несчастного Альфонса, который помертвел от ужаса и наверняка упал бы в огонь, если бы сильная рука сэра Генри не схватила его и не оттащила назад.

Ужасный ропот поднялся в толпе. Мы пятеро попятились назад (Альфонс посредине, прячась за наши спины). С нами были револьверы, хотя ружья у нас вежливо отняли при выходе из дворца, так как здесь не имеют понятия о револьверах.

Умслопогас принес с собой топор, потому что никто не решался отнять его, и теперь с вызывающим видом завертел им над головой и ударил в мраморные стены храма. Вдруг жрецы выхватили мечи из-под своего

белого одеяния и бросились на нас. Надо было действовать или погибать. Первый жрец, который бросился на нас, был здоровый и рослый детина. Я пустил в него пулю, он упал и с ужасающим криком скатился в огонь, приготовленный для нас.

Не знаю, что подействовало на жрецов, ужасный ли крик или звук неожиданного выстрела, но они остановились, совершенно парализованные страхом. Прежде чем они опомнились, Зорайя что-то сказала, и целая стена вооруженных людей окружила нас, обеих королев и придворных. Все это произошло в один момент, жрецы колебались, народ стоял в ожидании. Последний вопль сгоревшего жреца замер вдали. Воцарилась мертвая тишина.

Великий жрец Эгон повернул свое злое, дьявольское лицо.

— Прикажите докончить жертвоприношение! — закричал он королевам. — Разве эти чужеземцы не совершили святотатства? Разве наш жрец не умер, убитый волшебством этих чужеземцев? Как ветер с небес, прилетели они сюда, откуда — никто не знает, и кто они — мы не знаем! Берегитесь, королевы, оскорблять величие бога перед священным алтарем! Его власть выше вашей власти! Его суд справедливее вашего суда! Берегитесь поднять против него нечестивую руку! Пусть жертвоприношение совершится, о королевы!

Тогда Зорайя заговорила нежным голосом, и как ни серьезна была ее речь, мне слышалась в ней насмешка.

— О Эгон, ты выразил свое желание и ты говорил правду! Но ты сам хочешь поднять нечестивую руку против правосудия бога. Подумай, полуденная жертва принесена, солнце удостоило принять в жертву своего жреца! — она выразила совершенно новую мысль, и народ одобрил ее восклицаниями. — Подумай об этих людях! Они — чужеземцы, приплывшие сюда по озеру. Кто привел их сюда? Как добрались они? Откуда ты знаешь, что они не поклоняются солнцу так же, как мы? Разве оказывать гостеприимство тем, кто приехал в нашу землю — значит бросить их в огонь? Стыдись! Стыдись! Разве это гостеприимство? Нас учили принять чужеземца и обласкать его, перевязать ему раны, успокоить и накормить! Ты хотел успокоить их в огненной печи и накормить дымом? Стыд тебе, стыд!

Она замолчала, следя за действием своих слов на толпу, и, видя, что народ одобряет ее, переменила тон.

— На место! — крикнула она резко. — На место, говорю вам. Дайте дорогу королевам и тем, кого они покрыли своей царской мантией!

— А если я не хочу, королева? — процедил сквозь зубы Эгон.

— Стража проложит нам дорогу, — был гордый ответ, — даже здесь, в святилище, через трупы жрецов!

Эгон побледнел от ярости и взглянул на толпу. Ясно было, что все симпатии народа на стороне королевы. Зу-венди — любопытный и общительный народ. Как ни чудовищно было в их глазах наше святотатство, они вовсе не радовались мысли бросить в огненную печь живых чужеземцев, которых они видели в первый раз, стремились разглядеть, разузнать и удовлетворить свою любознательность. Эгон видел это и колебался. Тогда своим музыкальным голосом заговорила Нилепта:

— Подумай, Эгон, — сказала она, — по словам моей сестры, чужеземцы, может быть, также служители солнца! Они не могут говорить. Оставь это, пока они не научатся нашему языку! Разве можно осуждать, не выслушав оправдания? Когда эти люди будут в состоянии говорить за себя, тогда можно будет допросить их и выяснить все!

Эта была отличная уловка для Эгона, и старый мстительный жрец ухватился за нее.

— Пусть будет так, о королевы! — сказал он. — Отпустим этих людей с миром и, когда они научатся нашему языку, допросим их! Я же вознесу мою смиренную молитву перед алтарем божества, чтобы отвратить от страны бедствие, посланное в наказание за святотатство!

Ропот одобрения был ответом на слова жреца. Окруженные королевской стражей, мы направились из храма домой.

Долго потом обсуждали мы все, что произошло, ту опасность, которой подвергались мы благодаря жрецам. Даже королева бессильна против их могущества! Если бы не защита королев, мы были бы давно убиты — раньше, чем увидели знаменитый Храм Солнца.

Попытка бросить нас в огонь, когда мы не подозревали опасности, была последней уловкой жрецов, чтобы покончить с нами!

XV. Песня Зорайи

Мы вернулись во дворец и отлично проводили время. Обе королевы, сановники, народ — все старались засвидетельствовать нам свое почтение и осыпали нас подарками. Что касается печального инцидента с бегемотом, его предали забвению, что нас очень порадовало. Каждый день являлись отдельные лица и целые делегации, рассматривали наши ружья и платье, наши стальные рубашки, наши инструменты, особенно карманные часы, которые их восхищали. Но мы пришли в ярость, когда модные франты зу-венди вздумали скопировать наше платье, а именно жакет сэра Генри.

Однажды, когда мы проснулись, нас ожидала целая депутация, и Гуд, по обыкновению, дал рассмотреть им свою морскую форму.

Но эта депутация, казалось, состояла из людей иного класса, чем те, которые приходили к нам раньше. Эти были какие-то чрезвычайно учтивые, но все их внимание было обращено на разные подробности формы Гуда, с которой они сняли мерку.

Гуд был очень польщен, не подозревая, что имеет дело с шестью лучшими портными города Милозиса. Через день он имел удовольствие увидеть семь или восемь человек франтов, щеголявших в полной морской форме. Я никогда не забуду удивления и досады на его лице!

Вследствие этого, чтобы избежать подражания, мы решили надеть национальное платье зу-венди, тем более что наша одежда порядочно поизносилась. И как удобно было это платье, хотя я должен сознаться, что выглядел в нем очень смешно, так же как и Альфонс!

Только один Умслопогас отказался надеть на себя что-либо. Когда его муча износилась, старый зулус сделал себе новую и продолжал ходить голым, как его собственный топор.

Все это время мы изучали язык зу-венди л добились в этом значительных успехов. На другое утро после нашего приключения к нам явились трое важных и почтенных сеньоров, вооруженных манускриптами, книгами, чернилами, перьями, и объяснили нам, что посланы обучать нас.

Все мы, за исключением Умслопогаса, охотно засели за уроки, посвятив им четыре часа в день. Что касается Умслопогаса, он не хотел и слышать об ученье, не желая учиться «женскому языку». Когда один из наставников подошел к нему с книгой и развернул ее перед ним самым убедительным образом, с улыбкой на устах, подобно церковному старосте, который подобострастно подносит кружку для пожертвований богатому, но

скупому прихожанину, — Умслопогас вскочил со страшными ругательствами и завертел топором перед глазами испуганного наставника. Тем и кончилась попытка научить его языку зу-венди.

Целое утро мы проводили в этом полезном занятии, которое становилось все интереснее для нас, а после полудня мы наслаждались полной свободой.

Иногда мы ходили гулять, осматривая золотые прииски или мраморные каменоломни, иногда охотились с собаками. Это прекраснейший спорт, и наши лошади были великолепны. Королевские конюшни были к нашим услугам, кроме того, Нилепта подарила нам четырех великолепных коней.

Случалось нам бывать на ястребиной охоте — она в большой фаворе у зу-венди. Ястребов выпускают здесь на птицу вроде куропатки, замечательную быстротой и силой полета. Отбиваясь от нападения ястреба, птица теряет голову, взлетает высоко в воздух и представляет прекрасное зрелище! Иногда разнообразят охоту, выпуская прирученного орла на животное, напоминающее антилопу. Огромная птица удивительно красиво парит в воздухе, поднимаясь все выше и выше, пока не делается едва заметной черной точкой, и вдруг камнем падает вниз, на животное, скрытое густой травой от всех, кроме его глаз.

В другие дни мы наносили ответные визиты, посещая красивые замки сановников и деревушки под стенами этих замков. Мы видели виноградники, хлебные поля, великолепно содержащиеся парки с роскошной растительностью, которая приводила меня в восхищение. Огромные деревья стоят, как сильные, могучие великаны! Как гордо они поднимают свою голову навстречу бурям и непогодам, как радуются наступлению животворной весны! Как громко разговаривают они с ветром! Пение тысячи золотых арф не может сравниться с этими вздохами огромных деревьев, с шелестом их листвы! Проходят века. Дерево стоит, любуясь восходом и закатом солнца, любуясь звездами ночи, бесстрастное, спокойное, под ревом бури, под дождем, под снегом, тянет оно соки из недр матери-земли и, следя за течением веков, изучает великую тайну рождения и смерти. Целые поколения проходят перед ним, люди, династии, обычаи, пока в назначенный день свирепая буря не разыграется над ним и не нанесет ему последний удар.

По вечерам у сэра Генри, Гуда и у меня вошло в привычку ужинать с их величествами, конечно не всегда, но раза четыре в неделю, когда они были одни и не занимались государственными делами. Я должен признаться, что эти маленькие ужины были прелестны, Я думаю, что

особая прелесть Нилепты заключалась в ее простоте, в ее наивном интересе ко всяким пустякам. Это была самая простая и милая женщина, какую я когда-либо знал, и, когда ее страсти были спокойны, удивительно кроткая и нежная. Но она умела быть гордой королевой, когда ей было нужно, и пламенной дикаркой, если ее раздражали.

Никогда я не забуду сцены, когда я в первый раз убедился, что она любит Куртиса. Все это произошло благодаря пристрастию Гуда к венскому обществу. Прошло три месяца в изучении языка зу-венди, как вдруг капитан Гуд решил, что ему страшно надоел старый наставник, и, не говоря никому ни слова, заявил старику, что мы не можем делать дальнейших успехов в языке, если нас не будут учить женщины, молодые женщины, озабоченно добавил он. «На моей родине, — пояснил Гуд, — существует обычай выбирать прелестнейших девушек, чтобы учить языку чужестранцев».

Старые джентльмены слушали, разинув рот. Они поверили его словам, допуская по своему философскому суждению, что созерцание красоты благодетельно действует на развитие ума, подобно тому как солнце и свежий воздух оживляют физическое существо человека. Было решено, что мы несравненно скорее и легче изучим язык зу-венди, если найдутся учительницы. Так как женский пол болтлив, то мы таким образом скоро приобретем нужную нам практику в языке.

Ученые джентльмены ушли, уверяя Гуда, что его приказание вполне согласуется с их собственным желанием!

Можно себе представить мое удивление и ужас (думаю, так же как и сэра Генри), когда, войдя на следующее утро в комнату, где мы обыкновенно занимались, мы увидели вместо наших почтенных стариков трех прехорошеньких молодых женщин, которые краснели, улыбались, приседали, поясняя нам знаками, что присланы обучать нас. Тогда Гуд, пока мы удивленно поглядывали друг на друга, начал объяснять, что старые джентльмены сказали ему накануне вечером о необходимости найти учительниц для нашего дальнейшего изучения языка. Я был поражен и спросил сэра Генри, как быть при таких критических обстоятельствах.

— Ладно, — сказал он, — ведь дамы уже здесь! Если мы отошлем их назад, то это может оскорбить их чувства. Не надо быть грубыми с ними, вы видите, как они покраснели и смутились!

В это время Гуд начал уроки с самой хорошенькой из всех трех. Я со вздохом последовал его примеру. День прошел хорошо. Молодые дамы были очень снисходительны и только смеялись, когда мы коверкали слова. Я никогда не видел Гуда таким внимательным к урокам, даже сэр Генри,

казалось, с новым рвением принялся за изучение языка.

— Неужели всегда будет так? — подумал я.

На следующий день мы были несколько любезнее с дамами, наши уроки прерывались их вопросами о нашей родине, мы отвечали, как умели, на языке зу-венди. Я слышал, как Гуд уверял свою учительницу, что ее красота превосходит красоту целой Европы, как солнце — красоту месяца. Она отвечала легким кивком головы и возразила, что она «только учительница и ничего больше» и что «нельзя говорить такие вещи бедной девушке!» Затем дамы пропели нам кое-что, очень естественно и просто. Любовные песни зу-венди весьма трогательны. На третий день мы были уже близкими друзьями. Гуд рассказывал хорошенькой учительнице о своих любовных приключениях и так растрогал ее, что они оба начали томно вздыхать. Я толковал с моей учительницей, веселой голубоглазой девушкой, об искусстве зу-венди, а она, пользуясь всяким удобным случаем, сажала мне на спину и затылок какое-то насекомое, похожее на таракана. В другом углу сэр Генри с своей гувернанткой углубились, насколько я мог судить, в изучение слов и их значения на языке зу-венди. Дама нежно произносила слово, означающее «рука», и сэр Генри брал ее за руку, произносила слово «глаза», и он заглядывал в ее глубокие глаза, затем послышалось слово «губы»… Но в этот момент моя молодая дама ухитрилась засунуть мне за ворот таракана и, громко смеясь, убежала. Я не выношу тараканов и сейчас же начал отряхиваться, смеясь над дерзостью моей учительницы. Потом я схватил подушку, на которой она сидела, и бросил ей вслед. Вообразите мой стыд, мой ужас, мое отчаяние, когда дверь внезапно отворилась и в сопровождении двух воинов вошла к нам Нилепта. Подушка, брошенная мной, попала прямо в голову воина. Я сейчас же сделал вид, будто бы ничего не знаю о подушке. Гуд перестал вздыхать, а сэр Генри принялся что-то насвистывать. Что касается бедных девушек, они были совершенно озадачены и растерялись.

А Нилепта! Она выпрямилась во весь рост, лицо ее покраснело, потом побледнело как смерть.

— Убить эту женщину! — приказала она воинам взволнованным голосом, указывая на прекрасную учительницу сэра Генри.

Воины стояли в нерешительности.

— Слышали вы мое приказание или нет? — произнесла она опять.

Стража двинулась к девушке с поднятыми копьями.

Сэр Генри опомнился, заметив, что комедия грозит обратиться в трагедию.

— Стойте! — произнес он сердито, становясь перед испуганной

девушкой. — Стыдись, королева! Стыдись! Ты не убьешь ее!

— Видно, у тебя есть достаточно причин, чтобы защищать ее? — ответила рассерженная королева. — Она умрет, умрет! — Нилепта топнула ногой.

— Хорошо, — отвечал баронет, — тогда я умру вместе с ней! Я твой слуга, королева, делай со мной что тебе угодно! — сэр Генри склонился перед ней и устремил свои ясные глаза на ее лицо.

— Я хотела бы убить и тебя, потому что ты смеешься надо мной! — отвечала Нилепта и, чувствуя, что не владеет собой, не зная, что делать дальше, она неожиданно разразилась целым потоком слез и была так хороша в своем страстном отчаянии, что я, старик, позавидовал сэру Генри, который бросился утешать ее.

Курьезно было смотреть, как он держал ее в своих объятиях, объясняя ей все, что произошло у нас, и, казалось, эти объяснения утешили ее, потому что она скоро оправилась и ушла, оставив нас расстроенными.

Сейчас же к нам вернулся один из воинов и объявил девушкам, что они, под страхом смерти, должны немедленно уехать из города и вернуться домой и тогда никто их не тронет. Они сейчас же ушли, причем одна из девушек философски заметила, что тут ничего не поделаешь и она довольна тем, что могла хоть немного помочь нам в изучении языка зувенди. Моя учительница была весьма милая девушка, и, забыв о таракане, я подарил ей сохранившуюся у меня шестипенсовую монету. Затем к нам вернулись наши почтенные наставники — сознаюсь, к моему великому облегчению.

В этот вечер мы ожидали ужина со страхом и трепетом, но нам сказали, что у королевы Нилепты сильно разболелась голова. Эта головная боль продолжалась целых три дня, на четвертый Нилепта появилась за ужином и с нежной улыбкой протянула сэру Генри руку, чтобы он вел ее к ужину.

Ни малейшего намека не было сделано на историю с девицами. С невинным видом Нилепта заметила нам, что в тот день, когда она пришла навестить нас и застала за уроками, у нее сделалось такое сильное головокружение, что она оправилась от него только теперь. Она добавила с легким, присущим ей оттенком юмора, что, вероятно, вид учащихся людей подействовал на нее так ужасно.

Сэр Генри возразил на это, что королева действительно не походила на себя в этот день; тут она бросила на него такой взгляд, который мог уколоть не хуже ножа!

Инцидент был исчерпан. После ужина Нилепта пожелала устроить

нам экзамен и осталась довольна результатом. Она предложила дать нам урок, особенно сэру Генри, и мы нашли этот урок очень интересным.

Все время, пока мы разговаривали, или, вернее, учились разговаривать и смеялись, Зорайя сидела в своем резном кресле, смотрела на нас и читала на наших лицах, как в книге, время от времени вставляя несколько слов и улыбаясь своей загадочной улыбкой, похожей на луч солнца, подкравшийся сквозь мрачное облако. Близ Зорайи сидел Гуд, благоговейно взирая на нее сквозь монокль, потому что он серьезно влюбился в эту мрачную красоту, тогда как я всегда побаивался ее. Я часто наблюдал за ней и решил, что под видимой бесстрастностью в душе она глубоко завидовала Нилепте. Я открыл еще, и это открытие испугало меня, что Зорайя также влюбилась в сэра Генри. Конечно, в этом я не был уверен. Нелегко прочесть что-либо в сердце холодной и надменной женщины, но я почуял кое-что, как охотник чует, в какую сторону подует ветер.

Прошло еще три месяца, в это время мы достигли значительных успехов в языке зу-венди.

Мы приобрели также любовь населения и придворных, завоевав себе репутацию людей ученых.

Сэр Генри показывал им, как приготовлять стекло, в котором они нуждались; с помощью старого альманаха, который был у нас с собой, мы предсказывали разные изменения погоды и неба, совершенно неизвестные туземным астрономам. Мы объяснили собравшимся около нас людям устройство паровой машины и много разных вещей, которые приводили их в удивление. За это мы удостоились больших почестей и были назначены начальниками отряда телохранителей сестер-королев, причем нам было отведено специальное помещение во дворце и дано было право голоса в вопросах национальной политики.

Как ни ясно было над нами небо, на горизонте собиралась большая туча. Конечно, никто не упоминал теперь об убитых бегемотах, но трудно было предположить, чтобы жрецы забыли наше святотатство. Наоборот, подавленная ненависть жрецов разгорелась сильнее, и то, что было начато из простой нетерпимости и изуверства — закончилось ненавистью, вытекавшей из зависти. В Стране Зу-венди жрецы пользовались большим почетом. Наш приезд, наши познания, наше оружие, наконец, все то, что мы объясняли и рассказывали народу, произвели глубокое впечатление на образованных людей в Милозисе и значительно понизили престиж жрецов. К большому их огорчению, нас очень полюбили здесь и очень нам доверяли.

Это доверие сильно восстановило против нас всех жрецов.

Кроме того, Наста сумел настроить против нас некоторых сановников, неприязнь которых готова была разгореться опасным пламенем. Наста много лет считался кандидатом на руку Нилепты, и хотя шансов у него было мало, но все же он не отчаивался.

С нашим появлением все изменилось. Нилепта перестала улыбаться ему, и он скоро отгадал причину. Обозленный и возмущенный, он обратил все свое внимание на Зорайю, но решил, что легче взобраться на отвесный склон горы, чем заслужить благосклонность мрачной красавицы.

Две-три ядовитых насмешки над его ветренностью, и Зорайя окончательно отвернулась от него. Тогда Наста вспомнил о тридцати тысячах диких, вооруженных мечами людей, которые по его приказанию готовы пройти через северные горы и, без сомнения, с удовольствием, украсят ворота Милозиса нашими головами. Но сначала он пожелал еще раз просить руки Нилепты — перед всем двором, после торжественной ежегодной церемонии провозглашения законов, изданных королевами в течение года.

Нилепта узнала это и отнеслась довольно небрежно, но за ужином накануне церемонии дрожащим голосом сообщила нам об этом.

Сэр Генри закусил губу и насколько мог старался подавить свое волнение.

— Какой ответ будет угодно королеве дать великому Насте? — спросил я шутя.

— Какой ответ? — ответила Нилепта, грациозно пожав плечами.

— О Макумазан! — Она заимствовала у старого зулуса наши имена.

— Я сама не знаю, что делать бедной женщине, когда жених грозит мечом завоевать ее любовь! — Из-под своих длинных ресниц она бросила быстрый взгляд на Куртиса. Затем мы встали из-за стола и перешли в другую комнату.

— Квотермейн, одно слово! — сказал сэр Генри. — Послушайте! Я никогда не говорил об этом, но вы, наверное, догадались. Я люблю Нилепту. Что мне делать?

К счастью, я раньше более или менее задумывался над этим вопросом и был готов дать нужный ответ.

— Вы, Куртис, должны поговорить с Нилептой сегодня ночью! — сказал я. — Подойдите к ней и шепните, что просите прийти в полночь к статуе Радемеса, в конце большого зала. Я буду сторожить. Теперь или никогда, Куртис!

Когда мы вошли в комнату, Нилепта сидела, сложив руки, с выражением печали на милом лице. Несколько в стороне от нее Зорайя и

Гуд тихо разговаривали между собой.

Было поздно. Я знал, что скоро, согласно своей привычке, королевы уйдут к себе, а сэру Генри не удавалось сказать Нилепте ни одного слова. Хотя мы часто видели царственных сестер, но они постоянно были вместе. Я ломал голову, придумывая, что бы сделать, Как вдруг меня осенила блестящая мысль.

— Угодно ли будет королеве, — сказал я, низко склонившись перед Зорайей, — что-нибудь спеть нам? Наши сердца жаждут послушать твое пение! Спой нам, Царица Ночи! — (Царицей Ночи прозвал Зорайю народ).

— Мои песни, Макумазан, не облегчат сердца! — ответила Зорайя. — Но если ты хочешь, я буду петь!

Она встала, подошла к столу, на котором лежал инструмент, что-то вроде лютни, и взяла несколько аккордов. Вдруг, словно из горла птицы, полились звуки ее глубокого голоса, полные дикой нежности, страсти и печали, с таким тоскливым припевом, что кровь застыла в моих жилах. Серебристые ноты лились и таяли вдали и снова нарастали и оживали, тоскуя мировой печалью, оплакивая потерянное счастье. Это было чудное пение; хотя мне некогда было слушать его, я все-таки запомнил слова и перевел их, насколько можно перевести эту своеобразную песню.

Песня Зорайи

Горемычная птица, потерявшая дорогу во мраке,
Рука, бессильно поднятая перед лицом смерти.
Такова жизнь! Жизнь, страстью ее дышит моя песня!
Песнь соловья, звучащая несказанной нежностью,
Дух, перед которым открыты небесные ворота,
Такова любовь! Любовь, которая умрет, если ее крылья разбиты!
Грозны шаги легионов, когда звуки труб сзывают их,
Гнев бога бури, когда молнии бороздят мрачное небо,
Такова власть! Власть, которая в конце концов обращается в прах!
Жизнь коротка! Она скоро пройдет и покинет нас!
Горькое заблуждение, сон, от которого мы не сможем проснуться,
Пока тихо крадется смерть и застигнет нас утром или ночью!

Припев

Ах, мир так прекрасен на заре, на заре, на заре!…
Но красное солнце утопает в крови… утопает в крови!

— Скорее, Куртис! — прошептал я, когда Зорайя начала второй куплет.

— Нилепта, — произнес сэр Генри (мои нервы были так возбуждены, что я слышал каждое слово), — я должен поговорить с вами сегодня ночью. Не откажите мне, прошу вас!

— Как я могу говорить с тобой? — отвечала она, смотря на него. — Королевы не свободны, как обыкновенные люди! Я окружена, за мной наблюдают!

— Выслушайте меня, Нилепта! В полночь я буду в большом зале, у статуи Радемеса, у меня есть пропуск! Макумазан и зулус будут сторожить. О, приди, моя королева, не откажи мне!

— Не знаю, — пробормотала она, — завтра…

Музыка кончилась, и Зорайя повернула голову.

— Я приду! — быстро сказала Нилепта. — Ради спасения жизни твоей, смотри, не обмани меня!

XVI. У статуи Радемеса

Была ночь. Глубокая тишина царила над городом. Тайком, словно злоумышленники, сэр Генри, Умслопогас и я пробирались ко входу в тронный зал. Часовой загородил нам дорогу. Я показал ему пропуск. Воин опустил копье и пропустил нас.

Так как мы числись начальниками королевских телохранителей, то имели право свободного входа и выхода. Благополучно достигли мы зала. В нем было пусто и тихо, и звук наших шагов разбудил эхо уснувших стен. Словно призраки умерших, скользили мы по огромному залу. Меня подавляла эта мертвящая тишина. Через высокие отверстия в стене светили лучи полного месяца и ложились причудливыми узорами на черный мрамор пола. Серебристый луч упал на статую спящего Радемеса и на склоненного над ним ангела, озарив прекрасные черты его мраморного лица. Мы остановились у статуи и стали ждать. Сэр Генри и я стояли вместе, Умслопогас — в нескольких шагах от нас, в темноте, так что я мог различить только очертания его фигуры, опиравшейся на топор.

Мы ждали так долго, что я задремал и проснулся от звука, доносившегося откуда-то издалека, словно статуи, стоявшие вдоль стены, начали шептаться между собой. Это был шелест женской одежды, который все приближался. Мы могли видеть человеческую фигуру, крадущуюся в лучах месяца, слышали мягкий звук сандалий. Черный силуэт зулуса поднял руку кверху в знак приветствия, и Нилепта очутилась перед нами.

Как прекрасна она была, озаренная лучами месяца! Рука ее была прижата к сердцу, и белая грудь тяжело дышала. На голову ее был наброшен вышитый шарф, скрывавший ее прелестное лицо. Как известно, красота становится еще обаятельнее, если она наполовину скрыта! Она стояла в нерешительности, кроткая и тихая, и скорее походила на ангела, чем на живую любящую женщину! Мы низко поклонились перед ней.

— Я пришла, — прошептала она, — но это большой риск! Вы знаете, как меня стерегут! Жрецы следят за мной, Зорайя следит за мной своими большими глазами. Даже моя стража шпионит за мной. Наста также сторожит меня! Пусть сторожит, пусть! — она топнула ногой. — Пусть! Я — женщина и сумею провести его. Да, я — королева и могу отомстить за себя! Пусть следит! Вместо того, чтобы отдать ему мою руку, я возьму его голову! — она закончила свою речь легким Рыданием, потом очаровательно улыбнулась нам и засмеялась.

— Ты велел мне придти сюда, мой лорд Инкубу, — (Куртис научил ее называть его так). — Вероятно, у тебя какое-нибудь государственное дело, я знаю, у тебя в голове великие идеи и планы на благо моего народа. Как королева, я должна была прийти к тебе, хотя боюсь темноты! — Она снова засмеялась и бросила кокетливый взгляд на сэра Генри.

Я подумал, что государственное дело неудобно слушать непосвященным и хотел отойти подальше, но Нилепта не позволила мне далеко уйти, боясь неожиданности, так что я невольно слышал каждое слово.

— Нилепта! — сказал сэр Генри. — Вы знаете, о чем я хотел говорить с вами здесь! Нилепта, не время шутить. Выслушайте меня. Я люблю вас!

Когда он произнес эти слова, я видел, как изменилось ее лицо. Кокетство исчезло с него, и любовь озарила его новым светом и сделала похожим на лицо мраморного ангела. Я невольно подумал, что, быть может, пророческий инстинкт Радемеса внушил ему сделать черты ангела схожими с лицом его преемницы, королевы Нилепты! Вероятно, сэр Генри также подметил это сходство и был поражен им, потому что, взглянув на лицо Нилепты, он перевел взгляд на озаренную лунным светом статую.

— Ты говоришь, что любишь меня! — сказала тихо Нилепта. — Твой голос звучит искренно, но как я могу знать, что ты говоришь правду? Хотя я — ничто в глазах лорда, — продолжала она с гордым смирением, приседая перед ним, — лорд происходит от чудесного народа, перед которым мой народ — глупые дети, а я его глупая королева! Но если я начну биться, то сотни тысяч копий сверкнут за мной, как звезды в небе! Хотя в глазах лорда моя красота не особенно велика, — она подняла свой вышитый шарф, и снова присела, — но среди моего народа меня считают красивой, и многие знатные лорды ссорились из-за меня! Они гонялись за мной, как голодные волки за оленем… Пусть лорд Инкубу простит, если я надоедаю ему, но ему было угодно сказать, что он любит меня, Нилепту, королеву зу-венди! На это я скажу ему, что моя любовь и моя рука не имеют большой ценности в глазах лорда Инкубу, но их не так легко получить! О, как я могу знать, что не надоем тебе и ты не уедешь домой, оставив меня в отчаянии? Кто скажет мне, что ты не любишь другую, прекрасную, неизвестную мне женщину, на которую также льет свои лучи серебристый месяц? Скажи мне, как я могу узнать это? — она сжала свои руки, протянула их вперед и вопросительно смотрела в лицо сэра Генри.

— Нилепта! — заговорил сэр Генри. — Я сказал тебе, что люблю тебя! Как могу я сказать, насколько сильна любовь моя к тебе? Разве любовь можно измерить? Я постараюсь объяснить. Я не уверяю тебя, что никогда

не любил других женщин, но говорю, что люблю тебя всем своим существом, всей своей силой. Я люблю тебя теперь и буду любить до самой смерти, думаю, и после смерти, и всегда. Твой голос — лучшая музыка для моих ушей, твое прикосновение — вода для жаждущей страны! Когда я вижу тебя — мир кажется мне прекрасным, когда тебя нет, то свет меркнет для меня! О Нилепта, я никогда не покину тебя! Для тебя, дорогая моя, я забуду мою родину, мой народ, отчий дом, я отказываюсь от всего! Около тебя хочу я жить, Нилепта, около тебя и умереть! — он замолчал и серьезно смотрел на нее. Нилепта поникла головой, как лилия, и молчала. — Посмотри! — продолжал сэр Генри, указывая на статую, озаренную лучами месяца. — Ты видишь эту женщину с ангельским лицом? Ее рука покоится на челе спящего человека, и от этого прикосновения душа его загорается, как фитиль лампы от огня. Так и мы с тобой, Нилепта! Ты разбудила мою душу и зажгла ее, Нилепта, и теперь эта душа принадлежит тебе, одной тебе! Мне нечего больше говорить. Моя жизнь в твоих руках! — он оперся на пьедестал статуи, очень бледный, с горящими глазами, но гордый и красивый.

Нилепта медленно подняла голову и устремила свои чудесные глаза, в которых светилась страсть, на его лицо, словно хотела прочитать в его сердце.

— Я слабая женщина, я верю тебе! — заговорила она серебристым голосом, сначала медленно, потом быстрее. — Страшный будет день для тебя и для меня, когда судьба покажет мне, что я поверила лживому человеку! Теперь выслушай, человек, приехавший издалека, чтобы украсть мое сердце и сделать меня своей собственностью! Вот тебе моя рука! Мои губы, которые никогда не целовали мужчину, коснутся твоего лба. Клянусь тебе моей рукой, этим первым поцелуем, благоденствием народа, моим троном, именем моей династии, священным камнем и вечным величием солнца, — клянусь, что для тебя одного буду жить и с тобой хочу умереть. Клянусь, что буду любить тебя, тебя одного, до самой смерти! Твои слова будут законом для меня, твоя воля — моей волей, твое дело — моим делом! О, мой господин! Ты видишь, как смиренна моя любовь! Я, королева, преклоняю колено перед тобой, к твоим ногам я приношу дань моей любви, мою веру в тебя, мое уважение!

Страстное, любящее создание бросилось на колени перед своим возлюбленным, на холодный мрамор пола. Я не знаю, что случилось дальше, потому что не слушал более, а отошел к старому зулусу и оставил их вдвоем.

Я нашел старого воина в углу. Он опирался на свой топор и наблюдал

сцену с мрачной улыбкой.

— Ах, Макумазан! — сказал он. — Я становлюсь старым, но не думаю, что когда-нибудь научусь понимать вас, белых людей! Посмотри на них! Прекрасная пара голубей. Но зачем это все? Ему нужна жена, ей нужен муж, почему он не хочет заплатить выкуп за нее и покончить дело? Было бы меньше хлопот, и мы бы отлично спали теперь. Они все говорят, говорят и целуются, целуются, целуются, словно безумные!

Через три четверти часа «пара голубей» присоединились к нам. Куртис выглядел совсем блаженным, а Нилепта удивительно спокойной. Грациозным жестом она взяла мою руку и сказала, что я лучший друг ее «господина» и дороже всех для нее. Потом она взяла топор Умслопогаса и с любопытством разглядывала его, заметив, что он может быть очень полезен, защищая ее.

Потом она кокетливо кивнула нам головой и, бросив нежный взгляд на сэра Генри, скользнула в темноту и исчезла, как прекрасное видение.

Благополучно, без всяких приключений, добрались мы до своих комнат. Куртис спросил меня шутливо, что я думаю обо всем этом.

— Удивляюсь, — отвечал я, — каким образом некоторые люди находят прекрасных королев и влюбляются в них, в то время как другие вовсе не находят никого, или еще хуже! Думаю также, сколько человеческих жизней погибнет после сегодняшней ночи!

Это было гадко с моей стороны, я знаю; к сожалению; не все чувства замерли во мне с годами, я не мог подавить в себе зависти к моему старому другу. Суета, дети мои, суета сует!

На следующее утро Гуду рассказали о счастливом происшествии, и он весь засиял улыбками. Начиная со рта, эта улыбка расползлась по всему его лицу, до стеклышка в глазу. Дело в том, что Гуд сильно обрадовался известию, но из своих личных интересов. Он обожал Зорайю так же глубоко, как сэр Генри Нилепту. Но мне казалось, что «клеопатроподобной» королеве Куртис нравится больше, чем Гуд. Все-таки Гуду было очень приятно узнать, что его невольный соперник совершенно отвлечен в другую сторону. В это утро мы опять стояли в тронном зале. Я невольно улыбнулся, сравнивая наш визит с последним посещением, и думал, что, если бы стены могли говорить, сколько странных вещей могли бы рассказать они! Женщины — удивительные актрисы! Высоко, на своем золотом троне, в белоснежном царском одеянии сидела прекрасная Нилепта. Когда сэр Генри вошел в зал, несколько запоздав, одетый в форму начальника королевской стражи, и смиренно поклонился ей, она ответила ему небрежным кивком головы и отвернулась. Двор был в полном составе.

Не только церемония провозглашения законов привлекла такую массу сановных людей, но, главное, слух, что Наста будет публично просить руки королевы. Зал был переполнен. Тут были жрецы с Эгоном во главе, которые смотрели на нас злыми глазами, большое количество знатных людей, с бриллиантовыми украшениями на одежде, и среди них Наста, задумчиво поглаживавший свою черную бороду.

Это было блестящее зрелище! Когда офицер читал вслух новый закон, по знаку, поданному королевами, громко звучали трубы, и королевская стража отдавала салют, звеня копьями по полу. Вся процедура тянулась долго, но наконец окончилась. Последний закон касался «некоторых знатных чужестранцев» и т.д. и жаловал их чинами «сановников страны», — вместе с военными почестями и огромными правами и преимуществами, дарованными нам королевами. Когда этот закон был прочитан, снова загремели трубы, копья зазвенели о мраморный пол, и я видел, что некоторые сановники отвернулись и начали шептаться, а Наста стиснул зубы. Им, очевидно, не нравились оказанные нам милости, которые, собственно говоря, сыпались на нас неожиданно и были не совсем естественны.

После короткой паузы Наста выступил вперед и смиренно, хотя глаза его вовсе не выражали смирения, просил руку королевы Нилепты. Нилепта повернулась к нему, несколько побледнев, грациозно поклонилась и уже хотела ответить ему, как великий жрец Эгон выступил вперед и сильным и красноречивым языком указал на массу выгод, связанных с этим предполагаемым браком. Этот брак укрепит королевство, говорил Эгон, потому что владения Насты, в которых он был настоящим королем, по отношению к Зу-венди представляли из себя то же, что Шотландия по отношению к Англии. Как приятно исполнить желание горцев, быть популярной королевой среди солдат, так как Наста был заслуженным генералом! Как прочно утвердится династия на троне и призовет на себя благословение солнца (в лице его смиренного служителя Эгона).

Некоторые из аргументов жреца были несомненно справедливы, и с точки зрения политики многое говорило за этот брак. Но, к несчастью, трудно вести политическую игру с молодыми и красивыми королевами, хотя бы они были только хорошенькими костяными шахматами в руках жрецов! Лицо Нилепты, пока Эгон говорил речь, было достойно изучения. Она улыбалась, но под улыбкой чувствовалась каменная холодность и глаза ее горели зловещим огоньком.

Наконец он замолчал. Нилепта приготовилась отвечать, как вдруг Зорайя наклонилась к ней и достаточно громко сказала ей:

— Подумай хорошенько, сестра, прежде чем ответить. Мне кажется, прочность нашего трона зависит от твоих слов!

Нилепта молчала. Зорайя пожала плечами и с улыбкой откинулась назад.

— Поистине, большая честь выпала на мою долю, — произнесла Нилепта, — мне не только предлагают замужество, но Эгон был так добр, что обещал ниспослать благословение солнца на мой брак! Может быть, в другое время я и согласилась бы… Наста, благодарю тебя! Я буду помнить о твоих словах, но теперь я не помышляю о замужестве, как о кубке с вином, вкус которого никто не знает, пока не испробует. Еще раз благодарю тебя, Наста!

Она сделала движение, словно хотела встать.

Лицо Насты побледнело от ярости, так как он понял, что слова королевы были окончательным отказом.

— Благодарю тебя, королева, за твои милостивые слова! — произнес он, с трудом сдерживаясь. — Мое сердце будет свято хранить их! Теперь я обращаюсь с другой просьбой: позволь мне оставить королевство и отправиться к себе, в мою бедную страну, на север, до тех пор, пока королева не скажет мне — да или нет! Может быть, — прибавил он с насмешкой, — королеве угодно будет навестить меня и привести с собой этих иностранцев! — он кивнул на нас. — Правда, наша страна бедна и груба, но наши горцы — отважная раса! Тридцать тысяч людей, вооруженных мечами, явятся приветствовать королеву!

Эти вызывающие слова Насты были встречены полным молчанием. Нилепта вспыхнула.

— О, я наверное приду, Наста, и со мной иностранные лорды! — гордо ответила она. — И для каждого из твоих горцев, которые зовут тебя князем, я — законная королева! Тогда увидим, кто из нас сильнее! Пока прощай!

Зазвучали трубы. Королевы встали, и собрание разошлось в смущении. Я шел домой с тяжелым сердцем.

Несколько недель прошли спокойно. Куртис и Нилепта встречались редко и принимали всякие предосторожности, чтобы скрыть свою любовь. Но, несмотря на это, молва уже началась и жужжала повсюду, как муха, попавшая в темную комнату.

XVII. Поднимается буря

Маленькое облачко на нашем горизонте превратилось в тяжелую мрачную тучу — Зорайя любила сэра Генри! Я знал, что буря приближается, бедный сэр Генри также понимал это. Любовь прекрасной высокопоставленной женщины не такая вещь, которую легко скрыть, а в положении сэра Генри она являлась тяжелым бременем.

Начать с того, что Нилепта, несмотря на всю обаятельность, имела довольно ревнивый характер и была способна излить свое негодование на голову своего возлюбленного. Наконец вся эта таинственность отношений к Нилепте, усиленные предостережения надоели сэру Генри и побудили положить конец фальшивому положению дел и сказать Зорайе — конечно, в приватной беседе, — что он будет супругом ее сестры. Счастье сэра Генри было отравлено сознанием, что Гуд честно и глубоко привязался к прекрасной, но зловещей королеве. В самом деле, наш Бугван исхудал и походил на тень прежнего толстого капитана, его лицо так вытянулось, что монокль едва держался у него в глазу. Зорайя небрежно кокетничала с ним, ободряла его, держала при себе, несомненно видя в нем только жертву своей красоты. Я пытался предостеречь его, насколько возможно деликатно, но он избегал встреч со мной и не хотел меня выслушать. Бедный Гуд был просто смешон в своей любви и проделывал всевозможные глупости, надеясь завоевать благосклонность Зорайи. Однажды он написал, — конечно, с помощью наших почтенных наставников, — длинные любовные стихи, припев которых: «Я хочу целовать тебя, я хочу целовать тебя!» повторял беспрестанно. Среди народа Зу-венди существует обычай, в силу которого молодые люди поют ночью дамам серенады! Серенады могут быть в шутливом тоне, но даже женщины высшего сословия не обижаются на это и принимают подобные вещи так же, как английские девушки любезный комплимент. Гуд решил дать серенаду Зорайе, комнаты которой находились как раз напротив наших, в отдаленном конце узкого двора, разделявшего дворец на две половины. Вооружившись чем-то вроде лютни, на которой он научился играть благодаря умению играть на гитаре, он дождался ночи — самый подходящий час для кошачьих концертов и любовных серенад, — и отправился под окна Зорайи. Я уже начал засыпать, но скоро проснулся — у Гуда ужаснейший голос и ни малейшего понятия о пении — и побежал к окну узнать, в чем дело. Озаренный лучами месяца, стоял Гуд — с

огромным страусовым пером на шляпе, в развевающемся шелковом плащ — и пел свои ужасные стихи с потрясающим аккомпанементом. Из помещений прислужниц Зорайи донеслось хихиканье, но в покоях Зорайи, — я искренне пожалел бы ее, если бы ей пришлось выслушать эту серенаду, — царила тишина. Ужасное пение продолжалось без конца. Наконец мы, я и сэр Генри, которого я позвал любоваться зрелищем, не смогли выносить более эту пытку. Я высунул голову в окно и крикнул:

— Ради Неба, Гуд, оставьте, поцелуйте ее и дайте нам спать!

Мои слова подействовали, и серенада прекратилась.

Это был единственный смехотворный инцидент в нашей трагедии! Юмор — весьма ценная вещь и действует очень благотворно на человека в тяжелые минуты его жизни!

Чем дальше старался держаться сэр Генри, тем благосклоннее относилась к нему Зорайя. По какой-то странной случайности она не знала о настоящем положении дел, и я со страхом ожидал момента ее прозрения. Зорайя была опасная женщина, с ней шутить было плохо. Наконец этот ужасный момент настал. В один прекрасный день Гуд уехал на охоту, а я и сэр Генри сидели и беседовали, как вдруг появился слуга с запиской, которую мы с трудом разобрали. Записка гласила, что королева Зорайя требует к себе лорда Инкубу, которого податель записки проведет в ее апартаменты.

— Честное слово, это ужасно! — простонал, сэр Генри. — Не можете ли вы пойти вместо меня, дружище?

— Нет, не могу! — ответил я. — Я с большим удовольствием пойду навстречу раненому слону. Позаботьтесь сами о своих делах, мой милый! Любите кататься, любите и саночки возить! Я не хотел бы быть на вашем месте за целое королевство!

— Это напоминает мне школьное время, когда я шел ложиться под розгу, а мальчики утешали меня! — произнес сэр Генри мрачно. — Желал бы я знать, какое право имеет королева требовать меня к себе? Мне не хочется идти!

— Но вы должны идти! Вы — королевский офицер и обязаны повиноваться ей! Она отлично знает это. Потом, все скоро встанет на свои места!

— Вот это вы должны были сказать, прежде всего! Надеюсь, что она не зарежет меня. Я уверен, что она способна на все!

Он ушел нехотя и весьма недовольный.

Я сидел и ждал. Он вернулся через сорок пять минут и выглядел очень печально.

— Дайте мне выпить чего-нибудь! — сказал он мне хриплым голосом.

Я налил ему вина и спросил, в чем дело.

— В чем дело? Я отправился прямо в комнаты Зорайи. Чудесные комнаты! Она сидела одна, на шелковом ложе, играя на своей лютне. Я остановился перед ней и стоял долго, пока она обратила на меня внимание, так как продолжала играть и напевать. Как хорошо она поет! Наконец она взглянула на меня и улыбнулась.

— Ты пришел? — произнесла она. — Я думала, что ты хлопочешь по делам Нилепты. У тебя всегда какие-то дела с ней, и я не сомневаюсь, что ты — верный и честный слуга!

Я поклонился и сказал, что явился по приказанию королевы.

— Да, я хотела поболтать с тобой. Садись! Мне надоедает смотреть вверх — ты так высок!

Она указала мне место подле себя и села так, чтобы видеть мое лицо.

— Мне не годится сидеть рядом с королевой! — сказал я.

— Я сказала садись! — был ее ответ. Я сел, и она принялась смотреть на меня своими темными глазами. Зорайя сидела неподвижно, тихо роняя слова, и все время смотрела на меня. Она походила на прекрасный белый цветок! Черные волосы оттеняли ее красивое бледное лицо! Наконец, не знаю от чего, от ее ли взгляда, или от благоухания ее волос, я почувствовал себя точно в гипнозе. Голова у меня начала кружиться.

Вдруг она встала.

— Инкубу, — произнесла она, — любишь ли ты власть?

Я отвечал, что все люди любят власть.

— У тебя будет эта власть! Инкубу, любишь ли ты богатство?

Я ответил, что люблю богатство, потому что оно делает человека сильным.

— У тебя будет богатство! Инкубу, любишь ли ты красоту?

На это я ответил, что люблю прекрасные статуи, прекрасные здания, картины! Она нахмурилась и замолчала. Нервы мои были так возбуждены, что я дрожал как лист. Я чувствовал, что должно случиться нечто ужасное, и был беспомощен!

— Инкубу! — произнесла она. — Хочешь ли ты быть королем? Выслушай меня. Хочешь ли ты быть королем? Чужестранец! Я хочу сделать тебя королем Зу-венди и супругом королевы Зорайи! Слушай! Никогда, ни одному мужчине не открывала я моего сердца, а тебе, иностранцу, говорю это без стыда, и готова все отдать тебе, и знаю, что тебе трудно самому говорить об этом! У твоих ног лежит корона, мой Инкубу, и женщина, которую многие желали бы назвать своей! Отвечай

мне, избранник мой! Пусть слова твои ласкают мой слух!

— О Зорайя! — сказал я. — Не говори так, прошу тебя! Это невозможно! Я обручился с твоей сестрой Нилептой, Зорайя, и люблю ее, ее одну!

Пока я говорил, Зорайя закрыла лицо руками. Когда она отняла руки от лица, я отскочил назад. Это лицо было бело как мел, а глаза ее метали молнии. Она встала и, что ужаснее всего, казалась почти спокойной на вид. Один раз она взглянула на кинжал, лежавший на столе, словно собиралась убить меня, но не тронула его. Одно только слово вырвалось у нее:

— Уходи!

Я ушел, довольный, что дешево отделался. Дайте мне еще вина; вино — хороший товарищ! И скажите, что мне делать? Я покачал головой. Дело было серьезно.

— Нужно сказать обо всем Нилепте, — сказал я. — И я лучше вас расскажу ей. Она может заподозрить вас! Кто из нас будет стоять на страже сегодня ночью?

— Гуд!

— Отлично! Тем меньше шансов, что Нилепта узнает что-либо! Не глядите так удивленно! Я думаю, что Гуду надо сказать о случившемся!

— Не знаю! — сказал сэр Генри. — Это оскорбит его чувства. Бедняга! Он глубоко увлечен Зорайей!

— Это правда! Пожалуй, пока не будем говорить ему! Он скоро узнает всю правду. Теперь запомните мои слова. Зорайя соединится с Настой, и у нас будет такая война, какой давно не было здесь! Посмотрите, — я указал сэру Генри на двух придворных вестников, которые вышли из комнат Зорайи. — Идите за мной! — Я побежал по лестнице на верхнюю башню, взяв с собой зрительную трубу, и начал смотреть через стену дворца. Я увидел одного вестника, направлявшегося к храму, очевидно с посланием Зорайи к жрецу Эгону, другой сел на коня и поскакал к северу.

— Зорайя умная женщина! — сказал я. — Она сразу начала действовать. Вы оскорбили ее, мой милый, и человеческая кровь польется рекой, пока это оскорбление не смоется! Ну, я иду к Нилепте! Останьтесь здесь, мой друг, и успокойте свои нервы! Вам они будут нужны, уверяю вас, не зря же я пятьдесят лет наблюдал человеческую натуру!

Я пошел и получил аудиенцию у королевы.

Она поджидала Куртиса и не особенно обрадовалась, увидев меня.

— Что-нибудь случилось с Инкубу, Макумазан? Он болен?

Я ответил, что он здоров, и не медля рассказал ей всю историю от начала до конца. О, в какую ярость пришла она! Надо было только видеть

ее!

— Как смеешь ты рассказывать мне сказки? — вскричала она. — Эта ложь. Я не верю, что мой Инкубу высказал любовь к Зорайе, моей сестре!

— Прости, королева, — ответил я, — я сказал, что Зорайя любит лорда Инкубу!

— Не шути словами! Разве это не одно и то же! Один отдает свою любовь, другой берет! Зорайя! Я ненавижу ее, хотя она — королева и моя сестра! Она не упала бы так низко, если бы он не показал ей путь! Правду говорит поэт: человек подобен змее, прикосновение к нему — ядовито!

— Замечание твое, королева, прекрасно, но ты неверно истолковала слова поэта! Нилепта, — продолжал я, — ты знаешь, что говоришь вздор, а у нас нет времени для глупостей!

— Как ты смеешь? — прервала она, топнув ногой. — Разве мой лживый Инкубу прислал тебя, чтобы ты нанес мне оскорбление? Кто ты, чужестранец, что осмеливаешься так говорить со мной, с королевой? Как ты осмелился?

— Да, осмелился. Выслушай меня, Нилепта. За эти минуты ненужного гнева ты можешь заплатить короной и нашими жизнями! Посол Зорайи поскакал к северу призвать к оружию горцев! Через три дня Наста явится сюда, как лев за добычей, и рев этого льва разнесется по всему северу. У Царицы Ночи нежный голос, и она не напрасно пела свои песни. Ее знамя поднимется над рядами войск, а воины понесутся, как пыль под ветром, и повторят ее победный клич. В каждом городе жрецы восстанут против чужестранцев и возбудят народ! Я все сказал, королева!

Нилепта была теперь почти спокойна, ее ревнивый гнев прошел. Она снова была любящей женщиной — и королевой, умной, обладающей сильной волей, думающей о своем народе.

Превращение было внезапное, но полное.

— Твои слова справедливы, Макумазан, прости мне мое безумие! О, какой королевой была бы я, если бы не имела сердца! Не иметь сердца — значит победить все и всех! Страсть подобна молнии, она прекрасна и превращает землю в небесный рай, но она ослепляет!

Ты думаешь, что моя сестра Зорайя начнет войну против меня? Пусть! У меня есть друзья и защитники! Их много, с криком «Нилепта!» они пойдут за мной, когда начнется война, когда огни заблестят на утесах гор! Я разобью ее силы и уничтожу ее войско. Вечная ночь будет уделом Зорайи! Дай мне этот пергамент и чернила. Так. Теперь пошли мне офицера из той комнаты! Это верный человек!

Я сделал то, что мне было приказано. Вошел человек, ветеран по

имени Кара, и низко склонился перед королевой.

— Возьми этот пергамент! — сказала Нилепта. — Это приказ! Встань на страже у комнат моей сестры Зорайи, королевы Зу-венди, не позволяй никому выходить оттуда и входить туда! Или ты заплатишь жизнью своей за это!

Человек был, очевидно, удивлен.

— Приказание королевы будет исполнено! — сказал он и ушел. Нилепта послала за сэром Генри, который явился очень опечаленным и расстроенным. Я думал, что между ними вспыхнет ссора, но женщины — удивительный народ! Нилепта не обмолвилась ни словом о Зорайе, дружески кивнула ему головой и сказала, что послала за ним, чтобы посоветоваться о важном деле.

В то же время в ее взгляде на него, в ее обращение было что-то, что заставило меня думать, что Нилепта не забыла своего гнева, но отложила объяснение до удобного случая.

Скоро вернулся офицер и доложил, что Зорайя ушла. Птичка улетела в храм. Среди зу-венди существовал обычай, чтобы знатные дамы проводили ночь в храме, перед алтарем, размышляя и обдумывая свои дела. Мы многозначительно посмотрели друг на друга.

Удар был нанесен слишком скоро.

Затем мы принялись за дело. Сейчас же собрались начальники и генералы, которым даны были нужные инструкции. То же самое было сказано сановникам, державшим сторону Нилепты. Несколько приказаний было разослано в отдаленные города, и двадцать послов поспешно отправились к предводителям отдельных кланов с письмами. Разведчики были разосланы повсюду.

Весь день и вечер мы работали сообща, с помощью доверенных писцов, и Нилепта выказала много ума и энергии, которые удивили меня.

Было восемь часов, когда мы вернулись к себе.

Здесь мы узнали от Альфонса, который был очень огорчен нашим поздним возвращением, так как приготовленный им обед перепрел, что Гуд вернулся с охоты и отправился на свой пост. Страже и часовым отданы были все нужные распоряжения, и так как неминуемой опасности не предвиделось, то мы мельком сообщили Гуду о происшедшем и, немного поев, вернулись к прерванной работе. Куртис сказал старому зулусу, чтобы он находился где-нибудь по соседству с комнатами Нилепты. Умслопогас хорошо знал дворец, так как по приказу королевы ему дозволено было входить и выходить из дворца когда ему хотелось. Этим позволением королевы он часто пользовался и ночью целыми часами бродил по залам

дворца. Зулус, не возразив ни слова, взял свой топор и ушел, а мы легли спать. Я заснул, но вдруг проснулся от какого-то странного ощущения, чувствуя, что в комнате кто-то был и смотрел на меня. Какое же было мое удивление, когда при свете зари я увидел мрачную фигуру Умслопогаса, стоявшего у моего ложа.

— Давно ли ты здесь? — спросил я резко, потому что не очень приятно просыпаться таким образом.

— Может быть, около получаса, Макумазан. Мне надо сказать тебе!

— Говори!

— Когда мне велели ночью сторожить комнаты Белой Королевы, я спрятался за столб во второй комнате, около спальни. Бугван был в первой комнате, а около занавески стоял часовой. Я прокрался туда, и меня никто не видел. Прождал я много часов, как вдруг увидал темную фигуру, тихо двигающуюся ко мне. Эта была женщина, и в руке держала кинжал. За женщиной крался другой человек, которого она не заметила. Это был Бугван. Он снял башмаки и шел по ее следам. Женщина прошла мимо меня, и я видел ее лицо.

— Кто же это был? — спросил я.

— Лицо принадлежало Царице Ночи! Справедливое название — настоящая царица ночи! Я ждал. Бугван также прошел мимо меня! Я последовал за ним. Мы шли тихо, беззвучно, друг за другом, сначала женщина, потом Бугван, потом я. Женщина не видела Бугвана, а Бугван не видел меня. Наконец Царица Ночи остановилась у входа, ведущего в спальную комнату Белой Королевы, и вошла туда. За ней — Бугван и я. В дальнем углу комнаты тихо и крепко спала Белая Королева. Я слышал ее дыхание и видел белую как снег, руку, лежавшую около головы. Царица Ночи подняла свой нож и подкралась к постели. Ей не пришло в голову обернуться назад. Но Бугван дотронулся до ее руки, она повернулась, и я видел, как блеснул нож. Хорошо, что Бугван надел железную рубашку, а то был бы убит. Когда Бугван разглядел женщину, она молча отскочила назад. Она также была удивлена и не сказала ни слова, но вдруг приложила палец к губам и вышла из спальни вместе с Бугваном. Она прошла так близко, что ее платье коснулось меня, и мне хотелось убить ее. В первой комнате она что-то говорила Бугвану шепотом, сжав руки, — я не знаю, что.

Потом они прошли во вторую комнату и все говорили. Мне показалось, что он хотел позвать стражу, но она остановила его и глядела на него своими большими глазами, и он был околдован ее красотой.

Потом она протянула руку и он поцеловал ее, а я собирался схватить ее, заметив, что Бугван ослабел, как женщина, и не знает, где добро и зло,

как вдруг она вышла!

— Ушла? — вскричал я.

— Да, ушла, а Бугван стоял у стены, как сонный человек, а потом ушел. Я подождал немного и пошел сюда!

— Уверен ли ты, Умслопогас, что не видел это все во сне?

В ответ он поднял руку и показал мне кинжал из тончайшей стали.

— Если я спал, Макумазан, то сон оставил мне этот нож. Он сломался о железную рубашку Бугвана, и я подобрал его в спальне Белой Королевы!

XVIII. Война

Я велел Умслопогасу подождать, кое-как оделся и пошел с ним в комнату сэра Генри, где зулус от слова до слова повторил свою историю. Как исказилось лицо сэра Генри, когда он услышал.

— Святые небеса! — воскликнул он. — Я спал, а Нилепту едва не убили — и все из-за меня! Зорайя — опасный враг! Лучше было бы, если бы Умслопогас убил ее на месте!

— Да, да! — произнес зулус. — Не бойся. Я еще убью ее. Я ждал удобной минуты!

Я ничего не сказал, но невольно подумал о том, сколько было бы спасено человеческих жизней, если бы Зорайю постигла судьба, которую она готовила своей сестре! Дальнейшее показало, что я был прав.

Умслопогас ушел завтракать, а я и сэр Генри начали разговор. Он был очень раздражен против Гуда, которому, по его мнению, нельзя больше доверять, так как он выпустил из рук Зорайю вместо того, чтобы отдать ее в руки правосудия. Он говорил, отзываясь о Гуде очень резко.

Я молчал, думая про себя, что мы умеем жестоко осуждать слабости других и с нежностью относимся к своим собственным.

— Действительно, дружище, — сказал я ему, — слушая вас теперь, трудно подумать, что вчера вы вели разговор с этой дамой, которую осуждаете, и сами находили почти невозможным устоять против ее очарования, несмотря на то, что любите я любимы прекраснейшей и нежнейшей женщиной в целом мире! Предположите, что Нилепта пыталась убить Зорайю, и вы поймали ее, и она просила бы вас не выдавать ее. Могли бы вы с легким сердцем навлечь на нее публичный позор, предать сожжению? Посмотрите на дело глазами Гуда, прежде чем называть старого друга подлецом!

Сэр Генри выслушал мои слова и откровенно сознался, что был жесток по отношению к Гуду. Прекрасная черта в характере Куртиса, — он всегда готов сознаться, если был не справедлив!

Хотя я защищал Гуда, но все же отлично понимал, как обстоят дела и знал, что он попал в весьма неприятное и неловкое положение!

Была дикая, безумная попытка убийства, и он выпустил из рук убийцу, позволив ей обезоружить себя. Он легко мог сделаться ее орудием, а что могло быть ужаснее этого? Но конец должен быть один: Гуд оказал ей услугу, она, конечно, отвернулась от него, и он бросится снова завоевывать

потерянное самоуважение! Пока я обдумывал все это, я услыхал крик во дворе, различил голоса Умслопогаса и Альфонса. Один яростно ругался, другой вопил. Я побежал туда и увидел смешное зрелище. Маленький француз бегал по двору, а за ним, как охотничья собака, гонялся зулус… Когда я подошел к ним, Умслопогас успел поймать Альфонса, поднял его за ноги и пронес несколько шагов, прямо к густому цветущему кустарнику, покрытому шипами, цветы которого несколько походили на гардению. Несмотря на крики и вопли француза, зулус спокойно бросил его в кустарник, так что на виду остались только икры да пятки ног. Довольный своим поступком, зулус сложил руки и стоял, мрачно созерцая трепыхание Альфонса и слушая его вопли.

— Что ты делаешь? — сказал я. — Ты хочешь убить его? Вытащи его сейчас же из кустарника!

Зулус повиновался, схватил несчастного Альфонса за лодыжки ног так сильно, что я боялся, не вывихнул ли он их, и одним толчком освободил его из чащи кустарника. Смешно было смотреть на Альфонса! Все платье его было усеяно колючками, он был до крови исцарапан шипами, лежал на траве, вопил и катался по ней. Наконец он встал, проклиная Умслопогаса, клялся геройской смертью своего деда, что отравит его и отомстит за себя. Потом я узнал суть дела. Обыкновенно Альфонс готовил похлебку Умслопогасу, которую он съедал вместо завтрака в углу двора. Эта похлебка, по обычаю родины зулуса, приготовлялась из тыквы, и он ел ее деревянной ложкой. Но Умслопогас, как все зулусы, не выносит рыбы, считая ее водяной змеей. Альфонс, подвижный как обезьяна и любивший проказы и шутки, будучи отличным поваром, решил заставить его съесть рыбу. Он мелко накрошил рыбы и смешал ее с похлебкой зулуса, который и съел ее всю, не заметив рыбы. К несчастью, Альфонс не сумел сдержать своей радости и принялся скакать и прыгать вокруг дикаря, пока Умслопогас не заподозрил нечто и после внимательного изучения остатков похлебки не открыл «новую проказу Буйволицы» и не рассчитался с французом по-своему.

Хорошо, что Альфонс не сломал себе шею при падении в кустарник! Я удивлялся, что он позволил себе новую шутку, хотя знал по опыту, что «черный мсье» не любит шутить.

Инцидент сам по себе был не так важен, но я рассказываю его потому, что он повлек за собой весьма серьезные последствия.

Вытерев кровь и помывшись, Альфонс ушел, проклиная Умслопогаса, чтобы опомниться и вернуть обычное веселое расположение духа. Когда он ушел, я прочитал зулусу целую нотацию и сказал, что мне стыдно за него.

— Ах, Макумазан, — возразил он, — ты не должен сердиться на меня, потому что здесь мне не место! Я соскучился до смерти, соскучился пить, есть, спать и слушать про любовь! Я не люблю эту жизнь в каменных домах, которая отнимает у человека силу и превращает кровь в воду, а тело в жир. Я не люблю белые одежды изнеженных женщин, звуки труб и ястребиные охоты!

Когда мы дрались с масаями в краале, тогда стоило жить, а здесь не с кем и драться. Я начинаю думать, что умру от скуки и не подниму больше *Инкосикази*!

Он взял топор и долго и печально смотрел на него.

— Ты жалуешься? — сказал я. — Ты хочешь крови? Дятлу нужно дерево, чтоб долбить! В твои-то годы. Стыдись, Умслопогас! Стыдись!

— Макумазан, я не жалею крови, и это лучше и честнее вашего! Лучше убить человека в честном бою, чем высосать его кровь в купле, продаже и ростовщичестве, по обычаю белых людей! Многих людей я убил в бою, и никому не боюсь взглянуть в лицо, многие из этих людей были друзьями, с которыми я охотно покурил бы трубку. Ты — другое дело. У тебя своя дорога, у меня — своя! Каждый идет к своему народу, в свое родное место! Дикий бык хочет умереть в лесистой стране, так и я, Макумазан! Я груб и знаю это, и когда кровь разгорячится, я не помню, что делаю! Мрак охватывает меня, и я тоскую! Ты любишь меня, Макумазан, отец мой, хотя я ничтожная зулусская собака, вождь без крааля, бродяга и пришелец! И я люблю тебя, Макумазан, потому что мы вместе состарились, между нами есть что-то, что крепко связывает нас! — Он взял свою табакерку, сделанную из старого медного патрона, и предложил мне табаку.

С волнением я взял щепоть табаку. Это правда — я был очень привязан к кровожадному дикарю! Я не могу точно определить, в чем состояла его привлекательность, быть может его честность и прямота или удивительная ловкость и сила подкупали меня. Это было крайне своеобразное существо. Откровенно говоря, среди массы дикарей, которых я знал, я не встречал ни одного, подобного Умслопогасу. Он был очень умен и наивен, как дитя, и обладал очень добрым сердцем. Во всяком случае, я очень любил его, хотя никогда не высказывал этого ему.

— Да, старый волк! — отвечал я. — Твоя любовь — странная вещь! Завтра ты был бы способен расколоть мне череп, если бы я встал на твоем пути!

— Ты говоришь правду, Макумазан, я сделал бы это, если бы долг велел мне, но все же не перестал бы любить тебя! Разве здесь можно драться, Макумазан? — продолжал он насмешливым голосом. — Мне

кажется только, что обе королевы сердятся друг на друга! Я сужу по тому, что видел ночью! Царица Ночи даже бросила свой кинжал!

Я объяснил ему, что королевы серьезно поссорились из-за Инкубу и растолковал положение дел.

— Ах, так! — воскликнул он в восторге. — Значит, у нас будет война! Женщины любят нанести последний удар и сказать последнее слово, и если начнут войну из-за любви, то не знают пощады, как раненая буйволица! Женщина любит проливать кровь по своей прихоти. Собственными глазами я дважды убедился в этом. О, Макумазан! Мы увидим, как будут гореть эти красивые дома, и боевой клич раздастся на улице! Ну, я не напрасно пришел сюда! Как ты думаешь, умеет этот народ сражаться?

В это время к нам подошел сэр Генри, а с другой стороны появился Гуд, бледный, со впалыми глазами. Минуту Умслопогас смотрел на него, потом поклонился ему.

— А, Бугван! — закричал он. — Инкоси приветствует тебя! Ты плохо выглядишь! Разве ты много охотился вчера? — Не дожидаясь ответа, он подошел к Гуду. — Слушай, Бугван, я расскажу тебе историю об одной женщине! Будешь слушать или нет?

— Жил один человек, у которого был брат. Одна женщина любила его брата, но была любима им самим. У брата была любимая жена, и он не хотел смотреть на эту женщину и смеялся над ней! Тогда женщина, имевшая горячее сердце, захотела отомстить и сказала тому, кто любил ее: «Я люблю тебя! Начни войну против своего брата, и я стану твоей женой!» Он знал, что это ложь, но благодаря великой любви к прекрасной женщине послушался ее и начал войну. Много людей было убито. Тогда брат послал к этому человеку вестника со словами: «За что ты хочешь убить меня? Что я сделал тебе? Разве не любил я тебя с самого детства? Разве я не утешал тебя в горе, разве мы не ходили вместе на войну, не делили поровну добычу, скот, девушек, быков, коров? За что ты хочешь убить меня, мой любезный брат?» Тяжело стало на сердце у человека, он понял, что поступил дурно, прекратил войну к мирно жил вместе в одном краале с братом. Через некоторое время к нему пришла любимая женщина и сказала: «Я забыла прошлое и хочу быть твоей женой!»

— Его сердце знало, что это опять ложь и что женщина задумала дурное дело, но он любил ее и взял ее в жены.

— В ту же ночь, когда они обвенчались, пока ее муж спал глубоким сном, женщина встала, взяла топор мужа, поползла к месту, где спал его брат и убила его топором. Потом она проскользнула назад, как насытившаяся кровью львица, и положила топор около мужа. На рассвете

послышался крик: «Лусте убит сегодня ночью!» Народ вбежал к спящему человеку, и все увидели, что он спит, а около него лежит окровавленный топор. «Это он убил своего брата!» — закричали все, хотели схватить его и убить. Но он проснулся и убежал, и, встретив по дороге жену, которая была виновата во всем, убил ее.

Но смерть не стерла с лица земли всех ее злодеяний, и на мужа легла вся тяжесть ее греха!

Он был великий инкоси, славный вождь, а когда бежал, то стал беглецом, бродягой без крааля, без жены, имя его с гневом произносится на родине! Он умрет, как затравленный олень, далеко от родины. От поколения к поколению перейдет рассказ о том, как низкий предатель в темную ночь убил своего брата Лусте!

Зулус умолк, и я видел, что он глубоко взволнован своим рассказом. Он поднял свою опущенную голову и взглянул на Гуда.

— Этот человек — я, Бугван! Да, я — этот беглец, бродяга, погубленный злой женщиной! Как было со мной, так и ты будешь орудием, игрушкой женщины, на тебя падет тяжесть чужих злодеяний. Слушай! Когда ты крался за Царицей Ночи, я шел по твоим следам! Когда она ударила тебя ножом в спальне Белой Королевы, я был там! Когда ты позволил ей ускользнуть, как ускользает змея в камнях, я видел тебя, знал, что она околдовала тебя, что верный человек забыл все, забыл прямой путь и пошел по кривой дорожке. Прости мне, отец мой, если мои слова остры, но они сказаны от чистого сердца! Не встречайся с ней больше — и с честью пройдешь свой путь до могилы! Красота женщины изнашивается, как платья из меха, и ты можешь попасть из-за нее в беду, как было со мной! Я все сказал!

Во время его длинного и красноречивого рассказа Гуд молчал, но когда разговор коснулся его собственной истории, он покраснел, а узнав, что зулус был свидетелем того, что произошло между ним и Зорайей, был очень расстроен. Потом он заговорил подавленным голосом.

— Признаюсь, — сказал он с горькой усмешкой, — я никогда не думал, что зулус будет учить меня исполнению долга. Но, вероятно, я заслужил и этого! Вы понимаете, друзья, что я заслужил этого! Да, я должен был отдать Зорайю в руки правосудия, но не мог. Это — факт! Я отпустил ее и обещал молчать. Она заверяла меня, что если я примкну к ее партии, то она обвенчается со мной и сделает меня королем. Слава Богу, у меня хватило сил сказать ей, что даже ради ее любви я не оставлю моих друзей. Делайте что хотите, я заслужил это. Скажу еще, что надеюсь, что вы не попадете в такое положение, как я, — любить женщину всем сердцем

и отказаться от искушения овладеть ею!

Он повернулся, чтобы уйти.

— Погоди, старый дружище, — сказал сэр Генри, — погоди минуту! Я скажу тебе кое-что!

Он отошел в сторону и рассказал Гуду все, что произошло между ним самим и Зорайей накануне. Это был последний удар для бедного Гуда. Неприятно человеку сознавать, что он был игрушкой в руках женщины, но при теперешних обстоятельствах для Гуда это было вдвойне горько и обидно!

— Знаете ли, — произнес он, — я думаю, что мы все околдованы!

Он повернулся и ушел. Мне было очень жаль его. Если бы мотыльки, порхающие около огня, заботливо избегали его, их крылья наверняка были бы целы!

В этот день был прием при дворе, когда королевы обыкновенно восседали на троне, в большом зале принимали жалобы, разбирали законы, жаловали награды. Мы отправились в тронный зал. К нам присоединился Гуд, выглядевший очень печально.

Когда мы вошли, Нилепта сидела на троне и, по обыкновению, занималась делами, окруженная советниками, придворными, жрецами и сильной стражей. Очевидно было по общему волнению, по ожиданию, написанному на всех лицах, что никто не обращал особого внимания на обычные дела, все знали, что война неизбежна. Мы поклонились Нилепте и заняли обычные места. Некоторое время все шло обычным чередом, как вдруг раздались звуки труб и большая толпа, собравшаяся за стеной дворца, принялась кричать: «Зорайя, Зорайя!»

Послышался стук колес. Большой занавес в конце зала откинулся, и вошла Царица Ночи, но она была не одна. Около нее шествовал великий жрец Эгон, одетый в лучшие одеяния, и другие жрецы следовали за ними.

Ясно было, зачем Зорайя привела с собой жрецов! В их присутствии задержать ее — было святотатством! Позади шли сановники и небольшая вооруженная стража. Одного взгляда на лицо Зорайи было достаточно, чтобы увидеть, что она явилась не с миролюбивой целью. Вместо обычной вышитой золотом кеф на ней была одета блестящая туника, сделанная из золотых чешуек, а на голове золотой маленький шлем. В руке она держала острое копье, великолепно сделанное из серебра. Она вошла в зал, как разъяренная львица, в гордом сознании своей красоты! Зрители низко поклонились и дали ей дорогу. Зорайя остановилась у священного камня и положила на него руку.

— Привет тебе, королева! — вскричала она громко.

— Приветствую тебя, моя царственная сестра! — ответила Нилепта. — Подойди ближе. Не бойся. Я позволяю подойти!

Зорайя ответила надменным взглядом, прошла через зал и остановилась перед тронами.

— Просьба к тебе, королева! — вскричала она.

— Просьба? О чем ты можешь просить меня, сестра, ты, владеющая, подобно мне, половиной королевства?

— Ты должна сказать мне правду — мне и моему народу! Правда ли, что ты хочешь взять этого чужестранного волка в мужья и разделить с ним трон и ложе?

Куртис сделал движение и, повернувшись к Зорайе, сказал тихо:

— Мне кажется, вчера у тебя нашлось более нежное имя для этого волка, о королева!

Я видел, что Зорайя закусила губу и кровь прилила к ее щекам. Что касается Нилепты, она, понимая, что теперь больше нет смысла скрывать положение дел, ответила на вопрос Зорайи новым, весьма эффектным жестом, который, я твердо убежден в этом, был внушен ей кокетством и желанием восторжествовать над соперницей.

Она встала с трона и во всем блеске царственной красоты и грации прошла к месту, где стоял ее возлюбленный. Остановившись около него, она велела ему опуститься на колени и отстегнула золотую змею с своей руки. Куртис встал перед ней на колени, на мраморный пол; Нилепта, держа золотую змею обеими руками, надела ее на его шею и застегнула, потом поцеловала его в лоб и назвала «дорогим господином».

— Ты видишь, — сказала она, обращаясь к Зорайе, когда стих Ропот изумления толпы, — я надела ошейник на шею «волка»! Он будет моей сторожевой собакой! Вот тебе мой ответ, королева Зорайя, и всем, кто пришел с тобой! Не бойся, — продолжала она, нежно улыбаясь Куртису и указывая на золотую змею, обвивавшую его массивное горло, — что мое ярмо будет тяжело. Хотя оно сделано из чистого золота, оно не причинит тебе вреда!

— Да, Царица Ночи, сановники, жрецы и народ, собравшийся здесь, — продолжала Нилепта спокойным, гордым тоном, обращаясь к окружающим, — перед лицом всего народа я беру в мужья этого иностранца! Разве я, королева, не свободна избрать себе в мужья человека, которого я люблю? Я имею на это такое же право, как всякая девушка в моей стране. Да, он завоевал мое сердце, мою руку и трон, и даже если бы он не был знатным лордом, красивейшим и лучшим из всех, не имел бы столько мудрости и познаний, если бы он был простым нищим, я отдала бы

ему все, что у меня есть, все!

Она взяла руку Куртиса и с гордостью взглянула на него, и так, держа его за руку, спокойно стояла лицом к присутствующим. Нилепта была так прекрасна, стоя рядом с своим возлюбленным! Она была так уверена в себе и в нем и, видимо, была готова на любой риск ради него, на любые жертвы! Так велико было обаяние ее царственной прелести, силы и достоинства, что большинство зрителей, уловив огонь в ее глазах и счастливый румянец на лице, начало восторженно рукоплескать ей и кричать. Это был смелый поступок со стороны Нилепты, а народ Зу-венди любит смелость и мужество — даже если они нарушают традиции, но сумеют затронуть его поэтическую струнку.

Народ кричал, приветствуя Нилепту. Зорайя стояла, опустив глаза, дрожа в припадке ревнивого гнева, отвернув бледное как смерть лицо. Ей было невыносимо тяжело видеть торжество сестры, которая отняла у нее любимого человека.

Я уже говорил, что лицо Зорайи напоминало мне спокойные воды моря в ясную погоду, когда в нем дремлют затаенные силы! Теперь это море проснулось, затаенная сила вырвалась наружу и испугала и очаровала меня. Действительно, прекрасная женщина в своем царственном гневе всегда представляет интересное зрелище, но никогда в жизни я не видел такой красоты и ярости, соединенных воедино.

Обе королевы вместе производили потрясающее впечатление. Зорайя подняла свое бледное лицо, зубы ее были крепко стиснуты, а под горевшими глазами залегли красные круги. Трижды пыталась она говорить, и трижды голос изменял ей. Наконец она заговорила и, подняв свое серебряное копье, взмахнула им. Сверкнуло копье, сверкнули золотые чешуйки туники и мрачные глаза Зорайи!

— Ты думаешь, Нилепта, — произнесла она зазвеневшим голосом, — ты думаешь, что я, Зорайя, королева Зу-венди, допущу, чтобы чужестранец сел на трон моего отца, чтобы его потомство наследовало Дому Лестницы? Никогда! Никогда, пока в моей груди бьется жизнь, пока у меня есть воины и есть копья, чтобы наносить удары! Кто на моей стороне? Кто за мной? Кто? Или передай этого чужестранного волка и его приятелей в руки жрецов, потому что они совершили кощунство, или… Или, Нилепта, я объявляю войну, кровавую войну! Твоя страсть приведет к пожарам городов наших, омоет землю кровью твоих приверженцев! На твою голову падет смерть этих людей, в твоих ушах будут звучать стоны умирающих, вопли вдов и сирот!

Я хочу столкнуть тебя с трона, Нилепта, Белая Королева, сбросить к

подножию нашей лестницы, потому что ты покрыла стыдом я позором славное имя нашей династии! А вы, иноземцы, все, кроме Бугвана, который оказал мне услугу, — и я спасу его, если он оставит своих друзей (бедный Гуд покачал головой и пробормотал по-английски: «Это невозможно!»), — вас я заверну в золотые листы и повешу на цепях у колонн храма, чтобы вы служили предостережением для других! А ты, Инкубу, умрешь другой смертью, об этом поговорим после!

Она умолкла, прерывисто дыша, потому что ее страсть походила на бурю. Ропот удивления и ужаса пронесся по залу.

— Говорить так, как говорила ты, сестра, угрожать, как ты, я считаю недостойным моего сана и моей гордости! — произнесла Нилепта спокойным, уверенным голосом. — Если ты хочешь начать войну, начинай, Зорайя, я не боюсь тебя! Моя рука нежна, но сумеет отразить твою армию! Мне жаль народ, жаль тебя, но ты мне не страшна, повторяю тебе! Вчера ты пыталась отбить у меня возлюбленного и господина, того, кого сегодня ты назвала «чужеземным волком», ты хотела, чтобы он был твоим возлюбленным, твоим господином! (Эти слова произвели сенсацию в зале). Ты прошлой ночью, как я узнала, прокралась, как змея, тайным путем в мою спальню и хотела убить меня, свою родную сестру, пока я крепко спала…

— Это ложь, ложь! — раздались голоса, среди которых выделялся голос великого жреца Эгона.

— Это правда! — сказал я, держа в руке и показывая присутствующим лезвие кинжала. — Где же рукоятка этого кинжала, Зорайя?

— Это правда! — вскричал Гуд, решившийся действовать открыто. — Я застал Царицу Ночи у постели Белой Королевы, и этот кинжал сломался о мою грудь!

— Кто за мной? — крикнула Зорайя, размахивая копьем, заметив, что общие симпатии склонялись на сторону Нилепты. — Бугван, и ты против меня? — обратилась она к Гуду тихим, сдержанным голосом. — Ты, низкая душа, ты отворачиваешься от меня, а мог бы стать моим супругом и королем страны! О, я закую тебя в крепкие цепи!

— Война! Война! — крикнула Зорайя. — Здесь, положа руку на священный камень, который, по предсказанию, будет существовать, пока народ Зу-венди не склонится под чужеземным ярмом, я объявляю войну, войну до конца! Не на жизнь, а на смерть! Кто последует за Зорайей, Царицей Ночи, к победе и триумфу?

Произошло неописуемое смятение. Многие поспешили присоединиться к Зорайе, другие последовали за нами.

Среди приверженцев Зорайи оказался один воин из отряда телохранителей Нилепты. Он внезапно повернулся к нам спиной и бросился к двери, через которую выходили сторонники Зорайи. Умслопогас, присутствовавший при этой сцене и обладавший удивительным присутствием духа, сейчас же смекнул, что если этот солдат уйдет от нас, то его примеру последуют и другие, и бросился на воина. Тот поднял свой меч. Зулус с диким криком отпрыгнул назад, ударил врага своим ужасным топором и принялся долбить ему голову, пока воин не упал мертвым на мраморный пол. Это была первая пролитая кровь!

— Запереть ворота! — приказал я, надеясь, что мы успеем схватить Зорайю, но было уже поздно. Стража прошла в ворота за королевой, и улицы огласились стуком колес и бешеным топотом лошадей.

Зорайя, сопровождаемая своими приверженцами, вихрем пронеслась по городу, по направлению к своим военным квартирам, в М'Арступа, крепости, расположенной в ста тридцати милях к северу от Милозиса.

Затем город занялся приготовлениями к войне, и старый Умслопогас сидел и, любуясь закатом солнца, натачивал свой топор!

XIX. Свадьба

Один человек, однако, не успел пройти ворота, пока их не закрыли. Это был великий жрец Эгон, который, как мы были уверены, являлся главным советником и помощником Зорайи, душой ее партии. Свирепый старик не забыл нашего святотатства. Он знал также, что у нас существует несколько религиозных конфессий и, несомненно, очень боялся, чтобы мы не вздумали вводить свою религию в стране (однажды он спросил меня, есть ли религия в нашей стране, и я ответил ему, что у нас имеется, насколько я знаю, девяносто пять различных конфессий).

Это страшно поразило его; действительно, положение его, великого жреца национального культа, было незавидно. Он с часу на час боялся водворения новой религии. Когда мы узнали, что Эгон у нас, Нилепта, сэр Генри и я долго обсуждали, что с ним делать. Я предложил посадить его в тюрьму, но Нилепта покачала головой и заметила, что подобный поступок вызовет толки и возмущение в стране.

— О, если я выиграю игру и буду настоящей королевой, я уничтожу все могущество этих жрецов, их обряды и мрачные тайны! — добавила Нилепта, топнув ногой.

Я желал бы, чтобы старый Эгон слышал эти слова — он наверняка испугался бы.

— Если мы не посадим его в тюрьму, — сказал сэр Генри, — то я думаю, лучше всего отпустить его! Он не нужен нам!

Нилепта посмотрела на него странным взглядом.

— Ты так думаешь, господин мой? — спросила она сухо.

— Да, — ответил Куртис, — я не вижу, зачем он нужен нам?

Нилепта молчала и продолжала смотреть на него нежным и застенчивым взглядом. Наконец Куртис понял.

— Прости меня, Нилепта, — сказал он, — ты хочешь теперь же обвенчаться со мной?

— Я не знаю, как угодно моему господину! — был быстрый ответ.

— Но если господин мой желает, то жрец — здесь, и алтарь недалеко! — добавила она, указывая на вход в молельню. — Я готова исполнить желание моего господина! Слушай, Инкубу! Через восемь дней, даже меньше, ты должен покинуть меня и идти на войну, потому что ты будешь командовать моим войском. На войне люди умирают, и если это случится, ты недолго будешь моим, о Инкубу, и будешь вечно жить только в моем

сердце и памяти…

Слезы вдруг хлынули из ее прекрасных глаз и оросили нежное лицо, подобно каплям росы на прекрасном цветке.

— Быть может, — продолжала она, — я потеряю корону, и с ней — мою жизнь и твою. Зорайя сильна и мстительна, от нее нельзя ждать пощады. Кто может знать будущее? Счастье — это белая птица, которая летает быстро и часто скрывается в облаках! Мы должны крепко держать ее, раз она попала нам в руки! Мудрость не велит пренебрегать настоящим ради будущего, мой Инкубу!

Она подняла к Куртису свое лицо и улыбнулась ему.

Снова я почувствовал странное чувство ревности, повернулся и ушел от них. Они, конечно, не обратили внимания на мой уход, считая меня, вероятно, старым дураком, и, пожалуй, были правы!

Я прошел в наше помещение и нашел Умслопогаса у окна; он точил топор, подобно коршуну, который оттачивает свой острый клюв близ умирающего быка.

Через час к нам пришел сэр Генри, веселый, сияющий, возбужденный, и, застав всех нас вместе, Гуда, меня и Умслопогаса, спросил нас, согласны ли мы присутствовать на его свадьбе?

Конечно, мы согласились и отправились в молельню, где уже находился Эгон, смотревший на нас злыми глазами. Очевидно, он и Нилепта составили себе совершенно различное мнение о предстоящей церемонии. Эгон решительно отказывался венчать королеву или дозволить это другому жрецу. Нилепта сильно рассердилась и заявила Эгону, что она, королева, считается главой церкви и потому желает, чтобы ей повиновались, и настаивает, чтобы он венчал ее![68]

Эгон отказался пойти на церемонию, но Нилепта заставила его сделать это следующим аргументом.

— Конечно, я не могу казнить великого жреца, — сказала она, — потому что в народе существует нелепый предрассудок. Я не могу даже посадить тебя в тюрьму, потому что подчиненные тебе жрецы поднимут крик и рев по всей стране, но я могу заставить тебя стоять и созерцать алтарь солнца и не давать тебе есть, пока ты не обвенчаешь нас! О Эгон! Ты будешь стоять перед алтарем и не получишь ничего, кроме воды, пока не одумаешься!

Между тем в это утро Эгон не успел позавтракать и был очень голоден. Из личных интересов он согласился наконец повенчать влюбленных, заявив, что умывает руки и снимает с себя всякую ответственность за это.

В сопровождении двух прислужниц явилась королева Нилепта, со

счастливым румяным лицом и опущенными глазами, одетая в белое одеяние, без всяких украшений и вышивок. Она не одела даже золотых обручей, и мне показалось, что без них она выглядит еще прекраснее, как всякая действительно прекрасная женщина.

Она низко присела перед Куртисом, взяла его за руку и повела к алтарю. После минутного молчания она произнесла ясным, громким голосом фразу, употребляемую в Стране Зу-венди при совершении браков.

— Клянись солнцем, что ты не возьмешь другую женщину себе в жены, если я сама не пожелаю этого и не прикажу ей придти к тебе!

— Клянусь! — отвечал сэр Генри и добавил по-английски. — С меня за глаза довольно и одной!

Тогда Эгон, стоявший у алтаря, вышел вперед и забормотал что-то себе под нос, так быстро, что я не мог разобрать. Очевидно, это было воззвание к солнцу, чтобы оно благословило союз и наградило его потомством. Я заметил, что Нилепта внимательно слушала каждое слово. Потом она призналась, что боялась Эгона, который мог сыграть с ней злую шутку и проделать все обряды, необходимые при разводе супругов, в обратном виде. В конце концов Эгон спросил у брачащихся, добровольно ли они избирают друг друга, затем они поцеловались перед алтарем, и свадьба была кончена, все обряды соблюдены. Но мне казалось, что чего-то не хватает, и я достал молитвенник, который часто читал во время бессонницы и всюду возил с собой. Несколько лет тому назад я отдал его моему бедному Гарри, а после смерти сына взял его обратно.

— Куртис, — сказал я, — я, конечно, не духовное лицо, и не знаю, как вам покажется мое предложение, но если королева согласна, я прочту вам английскую службу при бракосочетании. Ведь это торжественный шаг в вашей жизни, и я думаю, что его необходимо освятить по канонам вашей собственной религии!

— Я думал уже об этом, — возразил он, — и очень хочу этого! Мне кажется, что я обвенчан наполовину!

Нилепта не возразила ни слова, понимая, что ее муж хочет совершить бракосочетание по обычаям своей родины. Я принялся за дело и прочитал службу, как умел. Дойдя до слов: «Я, Генрих, беру тебя, Нилепта!» и «Я, Нилепта, беру тебя, Генрих!» — я привел эти слова, и Нилепта очень ясно повторила их за мной.

Сэр Генри снял свое гладкое золотое кольцо с мизинца и надел на ее палец. Это кольцо принадлежало еще покойной матери Куртиса, и я невольно подумал, как удивилась бы почтенная старая леди из Йоркшира, если бы предвидела, что ее обручальное кольцо будет надето на руку

Нилепты, королевы Зу-венди.

Что касается Эгона, он с трудом сдерживался во время церемонии и, несомненно, с ужасом помышлял о девяносто пяти религиях, которые зловеще мелькали перед его глазами. В самом деле, он считал меня своим соперником и ненавидел меня! В конце концов он с негодованием ушел, и я знал, что мы можем ожидать от него всего худшего.

Потом мы с Гудом также ушли, с нами Умслопогас, и счастливая парочка осталась наедине. Мы чувствовали себя очень скверно. Считается, что свадьба — веселая и приятная вещь, но мой опыт показал мне, что часто она отзывается тяжело на всех, кроме двух заинтересованных лиц! Свадьба часто ломает старые устои, порывает старые узы; тяжело нарушать старые порядки! Вот пример: сэр Генри, милейший человек и лучший товарищ во всем мире, совершенно изменился со времени своей свадьбы. Вечно — Нилепта, тут Нилепта, там Нилепта, с утра до ночи все одна Нилепта, только она одна в голове и в сердце. Что касается старых друзей, то конечно, они остались друзьями, но молодая жена предусмотрительно заботится оттеснить их на второй план! Как ни печально, но это факт! Сэр Генри изменился. Нилепта — прекрасное, очаровательное создание, но я думаю, ей хотелось дать нам понять, что она вышла замуж за Куртиса, а не за Квотермейна, Гуда и К°. Но что пользы жаловаться и ворчать? Это вполне естественно, и всякая замужняя женщина не затруднится объяснить это, а я — самолюбивый, завистливый старик, хотя, надеюсь, никогда не показал им своего неудовольствия.

Мы с Гудом пошли и молча пообедали, стараясь подкрепить себя добрым старым вином, как вдруг явился один человек из числа приверженцев Нилепты и рассказал нам историю, которая заставила нас призадуматься.

После ссоры с Умслопогасом Альфонс ушел очень раздраженный. Очевидно, он отправился прямо к Храму Солнца и прошел в парк, или, вернее, в сад, окружавший наружную стену храма. Побродив там, он хотел вернуться, но встретил кортеж Зорайи, отчаянно летевший по северной дороге. Когда она заметила Альфонса, то остановила свиту и подозвала его.

Он подошел, его схватили, бросили в один из экипажей и увезли, хотя он отчаянно кричал, как объяснил нам человек, который пришел уведомить нас обо всем.

Сначала я затруднялся понять, зачем Зорайе маленький француз. С ее характером она в состоянии дойти до того, чтобы выместить свою ярость на нашем слуге. В конце концов мне пришла в голову другая мысль. Народ Зу-венди очень уважал и любил нас троих, во-первых, потому, что мы были

первыми иностранцами, которых они видели, а во-вторых, потому, что мы, по их мнению, обладали сверхъестественной мудростью. Хотя гнев Зорайи против «чужеземных волков» вполне разделялся сановниками и жрецами, но народ относился к нам по-прежнему очень почтительно. Подобно древним афинянам, народ Зу-венди жаждал новизны, и потом, красивая наружность сэра Генри произвела глубокое впечатление на расу, которая горячо поклонялась всякой красоте. Красота ценится во всем земном шаре, но в Стране Зу-венди ее боготворят. На рыночных площадях шла молва, что во всей стране не было человека красивее Куртиса и ни одной женщины, кроме Зорайи, которая могла бы сравниться с Нилептой, что Солнце послало Куртиса — быть супругом королевы! Очевидно, возмущение против нас было искусственно, и Зорайя лучше всех знала это. Мне пришло в голову, что она решила выставить иную причину размолвки с сестрой, чем брак Нилепты с иностранцем, и нашла довольно серьезный повод. Для этого ей необходимо было иметь при себе одного чужестранца, который был бы так убежден в правоте ее дела, что оставил бы своих товарищей и перешел на ее сторону. Так как Гуд отвернулся от нее, она воспользовалась случаем схватить Альфонса, который был, как и Гуд, небольшого роста, и показать его народу и стране как великого Бугвана.

Я высказал Гуду мою мысль, и надо было видеть его лицо! Он просто испугался.

— Как! — вскричал он. — Этот бездельник будет изображать меня! Я уйду из страны! Моя репутация погибнет навсегда!

Я утешал его, как умел, потому что вполне разделял его опасения.

Эту ночь мы провели в уединении и чувствовали тоску, словно вернулись с похорон старого друга. На следующее утро мы принялись за работу. Послы, разосланные Нилептой повсюду с ее приказаниями, уже сделали свое дело, и масса вооруженных людей стекалась в город.

Мы с Гудом мельком видели Нилепту и Куртиса в продолжение двух дней, но вместе заседали на совете военачальников и сановников, намечали план действий, назначение командиров и делали массу дел. Люди шли к нам охотно, и целый день дорога, ведущая к Милозису, чернела толпами людей, стекавшихся по всем направлениям к королеве Нилепте.

Скоро нам стало ясно, что мы имеем в своем распоряжении сорок тысяч пехоты и тридцать тысяч кавалерии, весьма значительную силу, если принять во внимание короткое время, за которое мы успели собрать ее, и то обстоятельство, что половина регулярной армии последовала за Зорайей.

Войско Зорайи, по донесениям наших разведчиков, было сильнее. Она остановилась в городе М'Арступа, и вся окрестная знать стеклась под ее

знамена. Наста явился с севера, приведя с собой двадцать пять тысяч горцев. Другой вельможа по имени Белюша, обитатель степного округа, привел двенадцать тысяч кавалерии. Очевидно было, что в расположении Зорайи имелось не менее сотни тысяч войска.

Мы получили известие, что Зорайя предполагает выступить и идти на Милозис, опустошив страну. У нас возник вопрос; встретить ли ее в стенах города или выйти из города и дать ей сражение. Гуд и я высказались за движение вперед и за битву. Если же мы будем сидеть в городе и ждать нападения, это могут счесть признаками нерешительности и страха.

В подобных случаях малейший пустяк может изменить мнение людей и направить его в другую сторону. Сэр Генри согласился с нашим мнением, так же как и Нилепта. Сейчас же принесена была большая карта и разложена перед нами. В тридцати милях от М'Арступа, где расположилась Зорайя, дорога шла по крутому холму и, окаймленная с одной стороны лесом, была неудобна для перехода войск. Нилепта серьезно посмотрела на карту и положила палец на обозначенный холм.

— Здесь ты должен встретить армию Зорайи! — сказала она мужу, улыбаясь и доверчиво смотря на него. — Я знаю эту местность. Ты встретишь здесь ее войско и развеешь его по ветру, как буря разгоняет пыль!

Но Куртис был серьезен и молчал.

XX. На поле битвы

Через три дня мы с Куртисом отправились в путь.

Все войско, за исключением маленького отряда телохранителей королевы, выступило еще накануне ночью.

Нахмуренный Город опустел и затих. Кроме личной стражи королевы, осталось еще около тысячи человек, которые, в силу болезней или других причин, были неспособны следовать за армией. Но это было не важно, потому что стены Милозиса были неприступны и неприятель находился не в тылу у нас.

Гуд и Умслопогас ушли с войском. Нилепта проводила сэра Генри до городских ворот, верхом на великолепной белой лошади по имени Дневной Луч, которая слыла самой быстрой и выносливой лошадью во всей стране. Лицо королевы носило следы недавних слез, но теперь она не плакала, мужественно вынося горькое испытание, посланное ей судьбой.

У ворот она простилась с нами. Накануне этого дня она обратилась с красноречивыми, прочувствованными словами к военачальникам, выразив полную уверенность в их ратной доблести и в победе над врагами.

Она сумела тронуть их, и они ответили громкими криками и изъявлениями готовности умереть за нее.

— Прощай, Макумазан! — сказала она. — Помни, я верю тебе, верю в твою мудрость, которая для защиты от Зорайи нам так же необходима, как острые копья. Я знаю, что ты исполнишь свой долг!

Я поклонился и объяснил, что боюсь сражения и могу потерять голову от страха. Нилепта улыбнулась и повернулась к Куртису.

— Прощай, мой господин! — сказала она. — Вернись ко мне королем, на лаврах победы или на копьях солдат![69]

Сэр Генри молчал и повернул лошадь, чтобы ехать. Он не в силах был говорить. Тяжело человеку идти на войну, но если он женат только одну неделю, то это становится уже совсем тягостным испытанием!

— Здесь, — прибавила Нилепта, — я буду приветствовать вас, когда вы вернетесь победителями! А теперь — еще раз прощайте!

Мы пустились в путь, но, отъехав около сотни ярдов, обернулись и увидели Нилепту, которая, сидя на лошади, смотрела нам вслед. Проехав еще с милю, мы услыхали позади себя стук копыт и увидали подъехавшего всадника — солдата, который привел нам лошадь королевы — Дневной Луч.

— Королева посылает белого коня как прощальный дар лорду Инкубу, и приказывает мне сказать ему, что этот конь самый быстрый и выносливый во всей стране! — произнес солдат, низко склоняясь перед нами.

Сначала сэр Генри не хотел взять лошади, говоря, что животное слишком красиво для такого грубого дела, но я убедил его взять ее, опасаясь, что Нилепта жестоко обидится. Мне и в голову не приходило тогда, какую серьезную услугу окажет нам благородное животное! Куртис взял лошадь, послал с солдатом свою благодарность и приветствия Нилепте, и мы поехали дальше.

Около полудня мы нагнали арьергард войска, и сэр Генри официально принял командование всей армией. Это была тяжелая ответственность, которая угнетала его, но он должен был уступить настояниям королевы.

Мы продвигались вперед, не встретив никого, потому что население городов и деревень разбежалось в разные стороны, боясь очутиться между двумя враждебными армиями. Вечером четвертого дня — войско наше двигалось медленно — мы расположились лагерем на вершине холма, и наши разведчики донесли нам, что Зорайя со всем своим войском уже выступила против нас и расположилась на ночь в десяти милях.

Перед рассветом мы выслали небольшой отряд кавалерии занять позицию. Едва они успели сделать это, как были атакованы отрядом Зорайи и потеряли тридцать человек. Когда с нашей стороны явилось подкрепление, войско Зорайи отступило, унося своих раненых и умирающих.

Около полудня мы достигли указанного нам Нилептой места. Она не ошиблась. Место было очень удобно для битвы, особенно против превосходящей нас силы. На узком перешейке холма Куртис расположился лагерем и после долгого совещания с генералами и с нами решил вступить здесь в бой с войском Зорайи. В центре расположилась пехота, вооруженная копьями, мечами и щитами, в резерве у нас находились пешие и конные солдаты. С боков стояли эскадроны, а перед ними два корпуса войск в семь тысяч пятьсот человек, образуя правое и левое крыло армии, под защитой кавалерии. Куртис командовал всей армией, Гуд — правым крылом ее, я принял под свое начало семь тысяч всадников, стоявших между пехотой и правым крылом, остальные батальоны и эскадроны были вверены генералам Зу-венди.

Едва мы успели занять позицию, огромная армия Зорайи начала надвигаться на нас, и вся местность покрылась множеством блестящих копий; земля тряслась под топотом ее батальонов. Разведчики не

преувеличили. Войско Зорайи превосходило нас количеством.

Мы ждали нападения, но день прошел спокойно.

Как раз напротив нашего правого крыла, образуя левое крыло армии Зорайи, находился батальон мрачных, дикого вида людей. Это были, как я узнал, горцы, приведенные Настой.

— Честное слово, Гуд, — сказал я, — их надо всех перебить завтра!

Гуд как-то странно взглянул на меня, но ничего не ответил. Весь день мы ждали, однако ничего не случилось. Наконец настала ночь, и тысячи огней зажглись на склонах холмов, мерцая и потухая, как звезды. Время шло, мертвая тишина царила в стане Зорайи. Это была долгая, томительная ночь. Предстоящая битва, все ужасы кровопролития тяжелым гнетом ложились на сердце. Когда я размышлял обо всем этом, то чувствовал себя больным, мне было тяжело подумать, что все это мощное войско собрано здесь для истребления, чтобы утолить дикую ревность женщины!

Долго, до глубокой ночи сидели мы — с тяжелым сердцем, совещаясь между собой. Мерно шагали взад и вперед часовые, мрачно, с нахмуренными лицами, приходили и уходили командиры разных частей.

Наконец я лег, но не мог спать при мысли о завтрашнем дне. Кто мог сказать, что принесет нам утро?

Сознаюсь, я боялся. Вопрошать будущее, этот вечный сфинкс, бесполезно! Наконец я несколько успокоился и предоставил Провидению решать загадку завтрашнего дня.

Взошло солнце. Лагери проснулись с шумом и грохотом и начали готовиться к сражению.

Это было прекрасное зрелище, и старый Умслопогас, опираясь на свой топор, созерцал его в восхищении.

— Никогда я не видал ничего подобного, Макумазан! — сказал он. — Битвы моего народа — детская игра перед этим! Как ты думаешь, скоро начнется бой?

— Да, — отвечал я печально, — это будет смертельный бой. Утешься, Дятел, еще раз ты можешь пролить людскую кровь!

Время шло, но атаки не было. Люди позавтракали и ждали. Около полудня, едва они успели пообедать, — потому что, по нашему мнению, с полным желудком веселее сражаться, — со стороны неприятельского лагеря раздался громовой клич: «Зорайя, Зорайя!» Я взял подзорную трубу и ясно различил фигуру Царицы Ночи, объезжающую на лошади ряды батальонов. Пока она медленно ехала, вокруг нее раскатывались громовые крики, словно рокот бушующего океана. Земля и воздух сотрясались от этих криков.

Догадавшись, что это прелюдия к битве, мы приготовились — и ждали недолго. Внезапно два отряда кавалерии противника направились к маленькому ручью, сначала тихо, потом все быстрее. Я получил приказ от сэра Генри, который боялся, что стремительный натиск кавалерии может сразу смять нашу пехоту, выслать пять тысяч людей навстречу кавалерии, в тот момент, когда она появится на возвышенности холма, в ста ярдах от нас.

Я исполнил приказание.

Пятитысячный отряд всадников, выстроившись клином, понесся галопом на вершину холма. Вдруг отряд свернул вправо, развернулся и, прежде чем враги могли опомниться, ударил в кавалерию со страшным шумом, подобным обвалу ледяных глыб, и врезался в середину строя. Напрасно отбивались враги, стараясь окружить отряд кольцом и защитить центр.

Слава Богу! С громким криком наши рубили направо и налево, пока среди ржанья лошадей, сверканья мечей и победных криков наших войск неприятельский отряд не повернулся и галопом пустился назад, спасая свою жизнь. Все это произошло в какие-нибудь десять минут. Затем мои люди вернулись, потеряв пятьсот человек — немного, конечно, принимая во внимание стремительность атаки. В это время плотные массы неприятельского левого фланга, состоявшего главным образом из горцев, переправились через ручей и с диким криком — «Наста!» «Зорайя!» — блестя мечами и щитами, бросились на нас.

Снова я получил приказание отбить атаку и постарался это сделать, как умел, выслав несколько эскадронов в тысячу человек против неприятеля. На этот раз наши эскадроны нанесли большой урон неприятелю. Удивительное это было зрелище, когда мечи засверкали на склоне холма и наши люди врезались в самое сердце врага. Мы потеряли много людей, умерших в центре войска Насты. Враги не хотели повторять попытки отдельных атак, но решили пробиться натиском сквозь наши ряды и бросились на регулярный отряд Гуда, который выстроился тремя плотными четырехугольниками. Страшный рев подсказал мне, что главное побоище происходило в центре и на левом фланге. Я взглянул влево. Повсюду, куда достигал глаз, сверкали мечи, копья, слышались глухие удары.

Дикие горцы, составлявшие войско Насты, словно волна хлынули на стройные, твердо сплотившиеся четырехугольники. Время от времени они испускали дикий воинственный клич и кидались на устремленные против них острые копья, которые отбрасывали их назад.

Долгих четыре часа тянулся яростный бой. Мы ничего не выиграли, но ничего и не потеряли. Две попытки неприятеля окружить наш левый фланг, пробиваясь через лес, были отбиты, и горцы, несмотря на отчаянные усилия, ничего не могли поделать с отрядом Гуда, хотя далеко превосходили его численностью.

Что касается центра армии, где находились сэр Генри и Умслопогас, то он понес большие потери, но держался стойко и с честью.

Наконец битва прекратилась, и войско Зорайи, казалось, удовольствовалось происшедшим. Но скоро я убедился в своей ошибке. Неприятельская кавалерия, разделилась на эскадроны, которые яростно бросились на нас по всему фронту, сверкая мечами и копьями. Сама Зорайя руководила движением войск, бесстрашная, как львица, потерявшая детенышей. Словно ливень, неслись на нас неприятельские войска! Я видел золотой шлем Зорайи, мелькавший среди войск.

Когда они обрушились на нас, наш центр заколебался под их натиском, и, не будь у нас в резерве десяти тысяч человек, он был бы полностью уничтожен!

Отряд Гуда был отброшен назад, и большая часть его погибла. Битва дошла до апогея, и на минуту или на две воцарилась тишина.

Потом сражающиеся двинулись к лагерю Зорайи.

Пылкие и непобедимые горцы Насты были отбиты, и остатки людей Гуда, оставив позицию, с радостным криком бросились им вслед к холму, где горцы еще раз пытались напасть на них и вынуждены были в конце концов бежать. Первый четырехугольник отряда Гуда был уничтожен, во втором — я заметил Гуда верхом на большой лошади. В следующий момент все смешалось в одну кучу, в сплошные реки крови, и я потерял Гуда из виду. Вскоре красивая серая лошадь с белоснежной гривой пробежала мимо меня без всадника, и я узнал в ней лошадь Гуда. Я не колебался и, взяв с собой половину моего отряда, принял на себя командование и бросился прямо на горцев. Завидев мое приближение, они повернулись и устроили нам теплую встречу. Напрасно мы пытались отбиваться и рубить их, число их, казалось, все возрастало, и мечи их убивали наших лошадей. Моя лошадь была убита подо мной, но, к счастью, у меня была другая, моя любимая черная кобыла, подаренная мне Нилептой. Я продолжал отбиваться, хотя давно потерял из виду моих людей в минуту смятения. Моего голоса не было слышно в общем шуме, яростных криках и воплях. Я очутился среди людей Гуда, которые окружили его плотным кольцом и отчаянно дрались, споткнулся о кого-то и увидел блеснувшее стеклышко Гуда. Он упал на колени. Над ним с

поднятым мечом стоял огромный детина. Я ударил его мечом и он, падая, нанес мне страшный удар в левый бок и грудь. Хотя моя кольчуга спасла мне жизнь, но все же я был серьезно ранен. На минуту я упал на колени прямо на кучу убитых и умирающих людей и почувствовал себя очень дурно. Когда я очнулся, то увидел, что войско Насты, или, вернее, его остатки, отступили и ушли за ручей, а Гуд стоял около меня и улыбался.

— Отступили! — воскликнул он. — Все хорошо, что хорошо кончается!

Я не думаю, чтобы для меня все хорошо кончилось, потому что рана моя была серьезна. Мы увидели небольшие отряды кавалерии на нашем правом и левом фланге, к которым явилось на подмогу подкрепление из трех тысяч человек, находившихся в резерве. Стрелой полетели они на беспорядочные ряды войск Зорайи. И этот натиск решил конечный исход сражения. Неприятель быстро отступил за ручей, где выстроился в новом порядке. Я получил от сэра Генри приказание двинуться вперед. С угрожающим ревом, колыхая знаменами, медленно, но неудержимо устремились мы на врага, оставив позиции, на которых победоносно держались целый день.

Теперь была наша очередь нападать. Мы шли через массы убитых и умирающих и подошли уже к ручью, когда вдруг мне представилось необыкновенное зрелище. К нам стрелой несся человек в полной генеральской форме Зу-венди, со стягом Зорайи, уцепившись руками за шею лошади и прижавшись к ней. Когда он подъехал ближе, я узнал в нем Альфонса. Ошибиться было трудно, увидя огромные черные усы. Через минуту он был сброшен и лежал на земле, счастливо избежав ударов, пока кто-то из наших не схватил его лошадь под уздцы и не привел его ко мне.

— Это вы, мсье, — произнес Альфонс голосом, прерывающимся от страха, — слава Богу, это вы! Ах, что я вынес! Победа за вами, за вами! Они бегут, подлые трусы! Но выслушайте меня, мсье, а то я забуду. Королеву хотят убить завтра на рассвете, во дворце Милозиса! Стража ее покинет свой пост, и жрецы убьют ее! Да, они не знают, что я подслушал их, спрятавшись под знаменем!

— Что такое? — произнес я, пораженный ужасом. — Что это значит?

— Я говорю вам, мсье, что этот дьявол Наста вместе с верховным жрецом решили убить ее. Стража оставит открытыми маленькие ворота, ведущие на лестницу, и уйдет. Тогда Наста и жрецы войдут во дворец и убьют королеву!

— Пойдем со мной! — сказал я, приказав штаб-офицеру принять на себя командование отрядом, и галопом поскакал, ведя за собой лошадь

Альфонса, туда, где я думал найти Куртиса. Наши лошади топтали тела убитых, шлепали по лужам крови, пока мы не увидали сэра Генри, верхом на белой лошади, окруженного генералами.

Как только мы приблизились к нему, войска двинулись. Голова Куртиса была обвязана окровавленной тряпкой, но взор его был ясен, как всегда. Около него находился Умслопогас, с окровавленным топором в руках, свежий и довольный.

— Что случилось, Квотермейн? — крикнул он.

— Скверная вещь! Открыт заговор — убить королеву завтра на заре! Альфонс здесь, он убежал от Зорайи и подслушал разговор Насты со жрецами!

Я повторил ему слова Альфонса.

Куртис побледнел как смерть, и челюсть его затряслась.

— На рассвете! — пробормотал он. — Сейчас вечер. Светает раньше четырех часов, а мы находимся за сотню миль от Милозиса. Что делать?

Меня осенила внезапная мысль.

— Ваша лошадь не устала? — спросил я.

— Нет, я сел на нее недавно, когда первую лошадь убили подо мной.

— Моя тоже. Сойдите с лошади, пусть Умслопогас сядет на нее! Он отлично ездит верхом. Мы должны быть в Милозисе до рассвета, а если не будем… ну ладно, попытаемся! Нет, нет, вам нельзя бросать сражения! Увидят, что вы уехали, и это решит судьбу сражения! Победа еще не одержана. Останьтесь здесь!

Он сейчас же слез с коня, и Умслопогас вскочил в седло.

— Прощайте! — сказал я. — Пошлите тысячу верховых вслед за нами, через час, если будет возможно! Постойте, отправьте кого-нибудь из ваших генералов на левый фланг, чтобы принять командование войском и объяснить людям мое отсутствие!

— Вы сделаете все возможное, чтобы спасти ее, Квотермейн? — спросил он разбитым голосом.

— Да, будьте уверены в этом. Поезжайте с Богом!

Он бросил последний взгляд на нас и, сопровождаемый штабом, галопом поскакал вперед, к войску.

Мы с Умслопогасом оставили поле сражения и, как стрелы, пущенные из лука, полетели по равнине и через несколько минут были уже далеко от зрелища убийств и запаха крови. Шум сражения, крики и рев долетали до наших ушей, как звуки отдаленной бури.

XXI. Вперед! Вперед!

На вершине холма мы остановились на одну секунду, чтобы дать передышку лошадям, и взглянули на поле битвы, которое расстилалось перед нами, озаренное красноватыми лучами заходящего солнца. Особенный эффект этой картине придавал отблеск сверкающих на солнце мечей и копий на зеленом поле равнины. Все ужасное в этой картине казалось незначительным, когда мы смотрели на нее издалека.

— Мы выиграли день, Макумазан! — сказал старый зулус, оценивая положение наших дел. — Войска Царицы Ночи рассеяны, они гнутся, как раскаленное железо, хотя дерутся, как безумные! Но, увы, неизвестно, чем закончится битва. Темнота собирается на небе, и полки войск не могут в темноте преследовать и убивать врагов! — он печально покачал головой.

— Но я не думаю, — добавил он, — что они захотят снова драться, мы хорошо угостили их! Хорошо быть живым! Наконец-то я видел настоящее сражение и настоящее войско!

В это время мы ехали вперед, рядом, и я рассказал ему, куда и зачем мы едем, и добавил, что если дело не удастся нам, то вся война эта бесцельна и сотни жизней, погибших в сражении, погибли напрасно!

— А, сотня миль и только две лошади! Надо приехать на место раньше зари! — сказал зулус. — Ладно! Вперед, вперед, Макумазан! Человек должен попытаться сделать! Может быть, мы успеем хорошенько поколотить старого колдуна! Он хотел сжечь нас! Старый волшебник! А теперь он хочет убить мою мать! — (Нилепту). — Хорошо! Это так же верно, как то, что меня зовут Дятлом: жива или мертва будет моя мать, но я оторву ему бороду! Клянусь головой Чаки!

Он помахал топором и поскакал галопом. Темнота сгустилась над нами, но, к счастью, светил полный месяц и дорога была хороша.

Мы торопливо ехали в сумерках. Наши великолепные лошади неслись вперед, как ветер, миля за милей. Мы проезжали по склонам холмов, через широкие равнины. Ближе и ближе вырастали голубоватые холмы, мимо которых мы пронеслись, как призраки, в окружающей темноте. Мы не останавливались теперь ни на минуту. Тишина ночи нарушалась стуком копыт наших лошадей. Вот мелькнули пустынные деревушки, погруженные в сон, сонные собаки встретили нас меланхоличным лаем, вот покинутые людьми дома, целые селения. Мы неслись по белой, озаренной лучами месяца дороге час за часом, целую вечность! Мы почти не

говорили, пригнувшись к шеям лошадей, прислушиваясь к их глубокому дыханию и к равномерному стуку копыт. Около меня, словно мрачное изваяние, верхом на белой лошади мчался Умслопогас, смотря на дорогу и лишь изредка указывая своим топором на холмы и дома.

Все дальше и дальше неслись мы в окружающем мраке и тишине.

Наконец я почувствовал, что моя превосходная лошадь начала уставать. Я взглянул на часы. Было около полуночи, и мы успели проехать половину пути. На вершине ближайшего холма протекал маленький ручей, который я хорошо запомнил. Здесь мы остановились, решив дать лошадям десять минут отдыха. Мы спешились с коней, Умслопогас помог мне, потому что от усталости и волнения рана моя разболелась и я не мог пошевелиться. Лошади обрадовались передышке и отдыхали. Пот лил с них крупными каплями, пар валил столбом.

Оставив Умслопогаса с лошадьми, я поспешил к ручью напиться воды. С начала битвы я не брал в рот ничего, кроме глотка вина, и усталость моя была так сильна, что я не чувствовал голода. Освежив водой мою горевшую голову и руки, я вернулся. Зулус пошел к ручью пить. Потом мы позволили лошадям сделать несколько глотков воды — не больше. Силой пришлось увести бедных животных от воды! Оставалось еще две минуты отдыха, и я употребил их на то, чтобы расправить застывшие члены и осмотреть лошадей. Моя кобылка, видимо, измучилась, повесила голову и смотрела печально. Но Дневной Луч, великолепная лошадь Нилепты, была относительно свежа, хотя всадник ее был тяжелее меня. Правда, она устала, но глаза ее были ясны и блестящи. Прекрасная лошадь гордо держала свою красивую голову и смотрела в темноту, словно говоря нам, что, хотя бы ей пришлось умереть, она пробежит эти сорок — пятьдесят миль, что остались до Милозиса. Умслопогас помог мне сесть в седло — милый дикарь! — вскочил на свое, не касаясь стремян, и мы поехали, сначала медленно, потом быстрее. Так пролетели еще десять миль. Начался длинный, утомительный подъем… Моя бедная лошадь спотыкалась три раза и готова была упасть на землю вместе со мной. На вершине, куда мы наконец поднялись, она собрала последние силы и побежала конвульсивной поступью, тяжело дыша. Еще три, четыре мили… Вдруг бедная лошадь подпрыгнула, споткнулась и упала прямо на голову, а я покатился в сторону. Пока я боролся, мужественное животное подняло голову, посмотрело на меня жалкими, налитыми кровью глазами, потом уронило голову и испустило дух. Сердце лошади не выдержало. Умслопогас остановился у трупа лошади, и я с отчаяньем смотрел на него. Нам нужно было сделать более двадцати миль до рассвета: как ехать на одной лошади?

Зулус молча спрыгнул с коня и помог мне сесть в седло.

— Что ты хочешь делать? — спросил я.

— Бежать! — ответил он, ухватившись за мое кожаное стремя. Мы отправились дальше, я — верхом, он — бегом. Но как заметна была перемена лошади! Лошадь Нилепты бежала подо мной размашистым галопом, оставляя с каждым шагом бегущего зулуса позади себя. Странно было видеть, как Умслопогас бежал вперед, миля за милей, со сжатыми губами и раздувающимися, как у лошади, ноздрями. Каждые пять миль мы останавливались на несколько минут, чтобы дать ему передохнуть, затем снова мчались вперед.

— Можешь ли ты бежать дальше, — спросил я на третьей остановке, — или сядешь со мной на лошадь?

Он указал своим топором на черневшую перед нами массу. Это был Храм Солнца, до которого оставалось не более пяти миль.

— Добегу или умру! — пробормотал зулус.

О эти последние пять миль! Ноги мои горели, каждое движение лошади причиняло мне сильную боль. Я был истощен усталостью, голодом, жаждой и невыносимо страдал от раны. Мне казалось, что кусок кости или что-то острое воткнулось мне в легкое. Бедная лошадь едва дышала. Но в воздухе уже чувствовалась заря, и мы не могли ждать, хотя бы все трое умерли на дороге, а должны были двигаться вперед, пока в нас теплилась хоть искра жизни. Воздух был удушлив, как часто бывает перед рассветом. Были и другие признаки близкого солнечного восхода: сотни маленьких пауков на тоненьких паутинах, которые реяли над нами. Эти маленькие создания окутали лошадь и нас самих своей паутиной, и так как нам некогда было возиться и сбрасывать их, то мы оказались покрыты целой сеткой длинных серых паутин, которые более чем на ярд тянулись за нами. Курьезный вид мы имели, вероятно!

Наконец мы увидели перед собой бронзовые ворота наружной стены Милозиса. Новое сомнение обуяло меня: вдруг нас не захотят впустить?!

— Откройте! Откройте! — закричал я властным тоном, сказав королевский пароль. — Откройте! Откройте! Вестник с известиями о битве!

— Какие новости? — закричал стражник. — Кто ты, что прискакал, как безумный? Кто это бежал за тобой с высунутым языком, словно собака за экипажем?

— Это я, Макумазан, и со мной моя черная собака. Открывай, открывай ворота! Я принес известия!

Ворота широко распахнулись, заскрипев на блоках, и мы быстро

прошли в них.

— Какие новости, господин, какие новости? — кричал стражник.

— Инкубу рассеял войско Зорайи, как ветер тучу! — отвечал я, спеша вперед.

Последнее усилие, мой верный друг, мой мужественный зулус! Держись, Дневной Луч, собери все силы, еще пятнадцать минут! Старый зулус, крепись, беги! Еще немного, и вы будете увековечены в истории страны!

Мы проскакали по спящим затихшим улицам мимо храма. Еще миля, одна маленькая миля! Держитесь, соберите все силы! Дома проносятся мимо… Вперед, моя добрая лошадка, вперед, нам осталось только пятьдесят ярдов! А! Ты почуяла конюшню и стремишься к ней! Слава Богу! Вот и дворец! Первые лучи заиграли на золотом куполе храма. Что, если все кончено и дорога закрыта?

Снова произнес я пароль и закричал: «Откройте! Откройте!» Ответа не было. Сердце у меня упало!

Снова я крикнул, и на этот раз мне отозвался голос, который я узнал. Это был голос Кары, одного из воинов личной стражи королевы, человека честного и верного.

— Это ты, Кара? — крикнул я. — Это Макумазан! Прикажи страже опустить мост и открыть ворота! Скорее, только скорее!

Прошло несколько минут, которые показались мне бесконечными. Наконец мост опустили, и ворота открылись. Мы очутились во дворе, и бедная лошадь моя зашаталась и упала. Я кое-как освободился от стремян и оглянулся кругом. Кроме Кары, никого не было, да и он выглядел странно, вся его одежда была изорвана. Он сам открыл ворота, опустил мост, потом снова запер их; благодаря остроумно приспособленным рычагам и блокам сделать все это было не трудно даже одному человеку!

— Где же стража? — спросил я, заранее пугаясь его ответа.

— Я не знаю, — ответил он. — Часа два тому назад, когда я спал, меня схватили, связали, и только сейчас я разгрыз зубами веревку и освободился. Я боюсь, страшно боюсь, что нас предали!

Его слова придали мне энергии. Схватив его за руку, я пошел, в сопровождении Умслопогаса, который брел позади, как пьяный, прямо через тронный зал, где было пусто и тихо, в покои королевы.

Когда мы вошли в первую комнату, стражи не было, во второй — тоже никого! О, вероятно, все кончено! Мы опоздали! Тишина и безмолвие комнат производили подавляющее впечатление. Мы подошли к спальне Нилепты, шатаясь, с болью в сердце, опасаясь всего худшего, но заметили

там свет. О, слава Богу, Белая Королева жива и невредима! Вот она стоит, в ночном платье, разбуженная нашим приходом, в глазах ее еще следы сна, лицо залито румянцем страха и стыда!

— Кто там? — кричит она. — Что это значит? Макумазан, это ты? Что с тобой? Ты принес дурные вести… Мой господин? О, говори же, мой господин не умер? Нет? — она зашаталась и всплеснула своими белыми руками.

— Я оставил Инкубу раненого, но бодрого! Он выступил со своим войском против Зорайи еще на закате солнца! Пусть сердце твое успокоится! Зорайя разбита, победа за тобой!

— Я знала это! — вскричала она с торжеством. — Я знала, что он победит. Они называли его чужеземцем и качали головами, когда я поручила ему командование войсками. На закате солнца, говоришь ты, а теперь уже светает! Вероятно…

— Набрось на себя плащ, Нилепта, — прервал я ее, — и дай нам вина, потом позови прислужниц, если хочешь спасти свою жизнь! Не медли!

Она сейчас же побежала к занавеси и крикнула своих служанок, поспешно надела сандалии, набросила плащ. В это время около дюжины полуодетых женщин вбежали в комнату.

— Следуйте за нами и молчите! — сказал я им, пока они глядели на нас изумленными глазами. Мы вышли в первую переднюю.

— Теперь, — сказал я, — дайте нам пить и есть. Мы умираем!

Комната эта служила обыкновенно столовой для начальников стражи. Из шкафа для нас сейчас же извлекли вино и холодное мясо. Мы с Умслопогасом поели и выпили вина, чувствуя, что жизнь возвращается к нам и кровь быстрее течет в жилах.

— Слушай, Нилепта! — сказал я. — Можешь ли ты довериться вполне хотя бы двум из всех твоих прислужниц?

— Конечно! — ответила она.

— Тогда прикажи им пройти боковым входом в город и позвать горожан, которые верны тебе. Пусть они придут сюда вооруженные и приведут с собой всех храбрых людей, чтобы защищать тебя и спасти от смерти. Не спрашивай, делай то, что я говорю тебе, и не медли! Кара выпустит женщин из дворца!

Нилепта выбрала двух женщин из толпы прислужниц и повторила им мои слова, дав им список тех людей, к которым они должны были идти.

— Идите скорей и тайком! Ради спасения вашей собственной жизни! — добавил я.

Они ушли вместе с Карой, которому я велел вернуться к нам, как

только он выпустит женщин. Затем мы с Умслопогасом пошли дальше, сопровождаемые королевой и ее свитой. На ходу мы доедали свою пищу и я рассказывал Нилепте все, что знал об угрожающей ей опасности — как мы нашли Кару, как вся стража и слуги разбежались и она осталась одна во дворце со своими женщинами. Она сказала мне, что в городе разнесся слух, будто наше войско уничтожено и Зорайя с триумфом идет к Милозису. Поэтому все ее слуги и воины разбежались.

Мы провели во дворце не более шести — семи минут. Несмотря на то что купол храма был озарен лучами восходящего солнца, так как находился на огромной высоте, рассвет едва начинался. Мы вышли во двор, и здесь рана моя так разболелась, что я должен был опереться на руку Нилепты. Умслопогас следовал за нами, не переставая жевать на ходу.

Пройдя двор, мы достигли узкой двери в дворцовой стене, которая вела на великолепную дворцовую лестницу.

Я взглянул и остолбенел. Двери не было, так же как и бронзовых ворот. Они были сняты с петель, как мы узнали потом, и сброшены с лестницы на землю.

Перед нами находилось полукруглое пространство и десять черных мраморных ступеней, которые вели на лестницу.

XXII. Умслопогас защищает лестницу

Мы переглянулись.

— Ты видишь, — сказал я, — они сняли ворота и дверь. Чем бы заделать проем? Скажи скорее, потому что они скоро должны быть здесь! Я сказал это, зная, что мы должны защищать площадку — других дверей во дворце не было, так как комнаты отделялись занавесками. Я знал, что если мы сумеем защитить этот проход, то убийцам не попасть во дворец, который совершенно неприступен, с тех пор как потайная дверь, в которую вошла Зорайя в ту памятную ночь, когда хотела убить сестру, была заделана по приказанию Нилепты.

— Найдем! — сказала Нилепта, к которой вернулись ее обычные бодрость и энергия. — На дальнем конце двора есть глыбы и обломки мрамора. Рабочие принесли его сюда для пьедестала к новой статуе Инкубу, моего господина. Завалим ими дверь!

Я обрадовался этой мысли и послал одну из девушек на большую лестницу посмотреть, не может ли она получить помощь с набережной, где находился дом ее отца, богатого торговца, а другую поставил сторожить дверь. Затем мы пошли назад через двор, к тому месту, где лежали глыбы мрамора, обломки, куски в шесть дюймов толщиной и пара носилок, на которых рабочие таскали мрамор. Не медля ни минуты, мы принялись за работу. Четыре женщины таскали мрамор к двери.

— Слушай, Макумазан! — сказал Умслопогас. — Если эти негодяи придут, я буду защищать лестницу от них! Да, я знаю, это будет моя смерть. Не останавливай меня, старый друг; один давно умерший человек предсказал мне такую смерть! У меня был хороший день, пусть будет и хорошая ночь! Я пойду отдохну! Как только ты услышишь их шаги, разбуди меня! Мне нужна моя сила!

Он отошел в сторону, бросился на мраморный пол и моментально заснул.

Я совершенно ослабел и должен был сесть и наблюдать за ходом работ. Женщины носили мрамор, в то время как Кара и Нилепта закладывали дверь. Надо было пройти сорок ярдов, чтобы взять мрамор, и опять сорок ярдов, чтобы нести его к двери, и, хотя женщины работали очень усердно, работа двигалась медленно.

Стало совсем светло. Вдруг среди окружающей тишины, мы услышали движение на лестнице и слабое бряцанье оружия. Стена была заложена

только на два фута вышины, и работали мы над ней только восемь минут. Они пришли — Альфонс сказал правду.

Звуки все приближались, и в прозрачном сумраке утра мы увидели длинную вереницу людей, около пятидесяти человек, медленно взбиравшихся по лестнице. Они остановились на полпути у большой арки и, заметив, что кто-то помешал им, выждали три — четыре минуты, совещаясь между собой, потом медленно и осторожно двинулись вперед.

Я разбудил Умслопогаса. Зулус встал, вытянулся и завертел топором вокруг своей головы.

— Хорошо! — произнес он. — Я словно помолодел. Моя сила вернулась ко мне. Светильник вспыхивает сильнее, перед тем как окончательно погаснуть. Не бойся… Я буду хорошо драться. Вино и сон освежили меня и укрепили мое сердце! Макумазан, я видел сон! Ты и я, мы оба стояли вместе на звезде и смотрели вниз на мир. Ты был, как дух, Макумазан, свет исходил от тебя, но своего лица я не видел. Последний час настал для нас с тобой, старый охотник! Пусть! Мы прожили свое время, но все же я никогда не видал такого сражения, как вчера. Вели похоронить меня по обычаям моего народа, Макумазан, пусть мои глаза смотрят туда, на мою родину!

Он взял мою руку, крепко пожал ее и повернулся к врагам. Я очень удивился, заметив, что Кара вскарабкался на стену и встал рядом с зулусом, подняв свой меч.

— Ты пришел сюда? — засмеялся Умслопогас. — Добро пожаловать, смелое сердце! Мужчина должен умереть достойной смертью! О, смерть схватит нас при звоне стали! Мы готовы. Как орлы, мы наточили наши клювы, наши копья сверкают на солнце, мы жаждем боя! Кто первый явится приветствовать *Инкосикази?* Я — Дятел, убийца, Легконогий! Я — Умслопогас, владелец топора, из царского рода Чаки, я — победитель Непобедимого, я — человек с кольцом, я — волк-человек, я призываю вас, ожидаю вас! Идите!

Пока он говорил или, вернее, пел свою дикую воинственную песнь, по лестнице шли вооруженные люди, среди которых я заметил Насту и великого жреца Эгона. Огромный детина, вооруженный тяжелым копьем, бросился на зулуса. Умслопогас ловко увернулся, и удар не попал в него.

Зато Инкосикази обрушилась на голову нападающего, и труп его полетел вниз с лестницы. Падая, воин уронил щит из кожи бегемота, зулус поднял его и схватил. В следующий момент смелый Кара убил еще одного человека. Началась схватка, какой мне никогда не приходилось видеть.

Лестница была полна осаждающими, топор летал туда и сюда, меч

сверкал над головами. Раз, два, три, четыре… без конца! По ступенькам катились вниз мертвые и умирающие. Бой становился ожесточеннее, взор зулуса суровее и рука — сильнее. Он испускал временами воинственный клич, и его ужасный топор рубил прямо, направо и налево. Он не думал, не размышлял, не имея времени на это, он упивался битвой. Каждый удар его сопровождался смертью, и трупы людей обагряли кровью великолепные мраморные ступени.

Враги наскакивали на него с мечами и копьями, ранили его по крайней мере в двенадцати местах, кровь лилась из его ран, но щит защищал его голову и кольчуга — его грудь. Минуты проходили за минутами, и с помощью смелого Кары Умслопогас все еще держался на лестнице.

Наконец меч Кары сломался, он боролся с каким-то человеком, и оба покатились вниз. Разрубленный в куски, он умер как герой!

Умслопогас не взглянул, не обернулся.

— Галаци! Ты со мной, мой брат Галаци! — вскричал он, убивая врагов — одного, другого, третьего, пока они не отхлынули вниз по залитым кровью ступеням, с ужасом смотря на него и думая, что перед ними не простой смертный человек. Мраморная стена выросла теперь на четыре фута высоты, и вместе с ней выросла надежда в моем сердце. Кое-как, стиснув зубы от боли, я поднялся и наблюдал за битвой.

Я не мог принять в ней участие, потому что потерял свой револьвер.

Старый Умслопогас, весь израненный, стоял, опираясь на свой топор, и смеялся над врагами, называя их «женщинами», старый воин, боровшийся один против многих! Никто не решался подступиться к нему, несмотря на увещания Насты, пока наконец старый Эгон, действительно храбрый человек, побуждаемый яростью, видя, что стена скоро будет готова и все планы его рушатся, не бросился с копьем в руке к Умслопогасу.

— Ага! — закричал зулус, узнав великого жреца. — Это ты, старый колдун? Иди, иди! Я жду тебя, белобородый волшебник! Иди скорей сюда! Я поклялся убить тебя и сдержу свою клятву!



Эгон с такой силой ударил зулуса своим тяжелым копьем, что оно проткнуло щит и воткнулось в шею Умслопогаса.

Зулус бросил негодный щит и, прежде чем Эгон собрался ударить еще раз, он с криком: «вот тебе колдун!» — схватил топор обеими руками и с

силой ударил им по голове жреца. Эгон покатился с лестницы через трупы убитых. Он закончил свою жизнь и все свои злодеяния!

Когда он упал, страшный крик раздался у подножия лестницы. Мы увидели вооруженных людей, которые побежали прочь, думая о своем спасении. С ними побежали и жрецы. Но бежать было некуда, они толкались и убивали друг друга. Только один человек остался у лестницы. Это был Наста, душа всего заговора. Секунду чернобородый Наста стоял, склонив лицо, опираясь на свой длинный меч, потом со страшным криком бросился на зулуса и нанес ему такой ужасный удар, что острый клинок проткнул его кольчугу и воткнулся в бок Умслопогаса, на минуту совершенно ошеломив его. Снова подняв меч, Наста прыгнул вперед, надеясь прикончить врага, но он мало знал силу и ловкость дикаря. С яростным криком Умслопогас собрал все свои силы и вцепился в горло Насты, как делает раненый лев. Через минуту все было кончено. Я видел, как шатался зулус на ногах. Сделав над собой огромное усилие, он с торжествующим криком перебросил Насту через перила моста, где тот вдребезги разбился о скалу.

Между тем явилась помощь. Громкие крики, раздававшиеся за наружными воротами, подсказали нам, что город проснулся и люди, разбуженные женщинами, прибежали защитить королеву. Некоторые из смелых прислужниц Нилепты, в своей ночной одежде, с распущенными волосами, так усердно работали, закладывая дверь, что она была почти готова, другие с помощью прибывших горожан сталкивали вниз и уносили ненужный мрамор.

Скоро через боковой вход в сопровождении толпы вошел, шатаясь, Умслопогас — с ужасным, но победоносным видом. Один взгляд на него сказал мне, что он близок к смерти. Все лицо его и шея были в крови, левая рука тяжело ранена, и в правом боку зияла рана в шесть дюймов глубиной, сделанная мечом Насты.

Он шел шатаясь, страшный и великолепный в своем величии, и женщины начали громко кричать и приветствовать его. Зулус шел не останавливаясь, с протянутыми руками, прямо через двор, через аркообразную дверь, откинул толстый занавес и вошел в тронный зал, наполненный вооруженными людьми. Он шел, оставляя за собой кровавый след на мраморном полу, пока не добрался до священного камня. Здесь силы покинули его, и он должен был опереться на свой топор.

— Я умираю, умираю! — крикнул он громким голосом. — Но это был королевский бой. Где же те, что пришли по большой лестнице? Я не вижу их. Где ты, Макумазан, или ты ушел раньше меня и поджидаешь меня в

царстве вечного мрака?… Кровь застилает мне глаза… все вертится вокруг меня, я слышу голос… Галаци зовет меня![70]

Вдруг какая-то новая мысль осенила его, он поднял свой окровавленный топор и поцеловал его.

— Прощай, *Инкосикази!* — кричал он. — Нет, нет, мы уйдем вместе, мы не можем расстаться. Мы слишком долго жили вместе. Ничья другая рука не возьмет тебя! Еще один удар, только один! Хороший, сильный удар!

Зулус выпрямился во весь рост и с диким криком начал вращать топор вокруг головы. Потом вдруг с ужасающей силой ударил им по священному камню. Сила нечеловеческого удара была так велика, что полетели искры, мраморный камень с треском раскололся на куски, и на пол упали обломки топора и его роговой рукоятки. Священный камень рассыпался на куски, и около него, сжимая в руке кусок топора, упал честный старый Умслопогас — и умер.

Это была смерть героя.

Ропот удивления и восхищения послышался в толпе людей, которые были свидетелями необычного зрелища.

— Пророчество исполнилось! — крикнул кто-то. — Он расколол священный камень!

— Да, — сказала Нилепта с присущим ей самообладанием, — да, мой народ, он расколол священный камень, и пророчество исполнилось, так как чужеземный король правит Зу-венди. Инкубу, мой супруг, разбил войско Зорайи, и я не боюсь ее больше. Корона принадлежит тому, кто спас ее! Этот человек, — добавила она, повернувшись и положив руку на мое плечо, — приехал сюда, несмотря на то что тяжело ранен, вместе со старым зулусом, который лежит там; они проехали сотню миль, чтобы вырвать меня из рук заговорщиков. За эти геройские поступки, за эти великие деяния, беспримерные в истории нашего народа, говорю вам, имя Макумазана, имя усопшего Умслопогаса и имя Кары, моего слуги, который помогал защищать лестницу, будут написаны золотыми буквами над моим троном и вечно будут предметом поклонения и почитания в нашей стране! Я, королева, говорю это!

Эта горячая, прочувствованная речь была встречена громкими криками. Я сказал, что мы только исполнили свой долг и вовсе не заслуживаем такого восторга. Народ стал кричать еще громче. Потом меня понесли через наружный двор в мою комнату, чтобы уложить в постель.

Когда меня несли, я увидал мою верную лошадь Дневной Луч, которая беспомощно лежала, и ее белая голова распростерлась по земле. Я велел тем, которые несли меня, подойти к ней, чтобы я мог взглянуть на доброе

животное.

К моему удивлению, лошадь открыла глаза и, подняв голову, слабо заржала. Я готов был вскрикнуть от радости, видя, что она жива, но был не в силах пошевелиться. Сейчас же прислали конюхов, подняли лошадь, влили ей вина в горло, и к ночи она совсем оправилась и была сильна и свежа, как всегда!

Милозис гордился этим животным. Горожане указывали своим детям на лошадь, которая спасла жизнь Белой Королевы.

Меня уложили в постель, обмыли мою рану и сняли с меня кольчугу. Я сильно страдал, потому что в груди и в левом боку у меня была рана величиной с чайное блюдечко.

Я помню, что услыхал топот лошадей за дворцовой стеной. Это было много времени спустя. Я поднялся и спросил о новостях. Мне сказали, что Куртис послал отряд на помощь королеве и что он уехал с поля битвы через два часа после заката солнца. Войско Зорайи отступило в М'Арступа, преследуемое кавалерией. Сэр Генри расположился лагерем с остатками своего войска на том холме, где в прошлую ночь стояла Зорайя (такова фортуна войны!), и предполагал утром двинуться на М'Арступа.

Услыхав это, я почувствовал, что могу умереть с легким сердцем и впал в забытье.

Когда я снова очнулся, первое, что мне бросилось в глаза, это симпатичное стеклышко в глазу Гуда.

— Ну, как вы себя чувствуете, дружище? — спросил он меня ласковым голосом.

— Что вы здесь делаете? — возразил я ему. — Вы должны быть в М'Арступа. Разве вы убежали оттуда?

— М'Арступа взята на прошлой неделе, — ответил он весело. — Вы были без памяти с той ночи. Были всякие военные почести… Трубы звучали, флаги развевались повсюду… Но каково той, Зорайе? Скажу вам, никогда ничего подобно я не видел в своей жизни!

— А Зорайя? — спросил я.

— Зорайя… О, Зорайя в плену! Они покинули ее, мошенники, — добавил он, меняя тон, — пожертвовали королевой, чтобы спасти свою шкуру. Зорайю доставили сюда, и я не знаю, что будет с ней! Бедная душа!

Он тяжело вздохнул.

— Где Куртис? — спросил я.

— С Нилептой. Она встретила нас сегодня, и какое это было свидание, скажу вам! Куртис придет повидать вас завтра. Доктора думают, что ему надо поберечься!

Я ничего не сказал, хотя подумал про себя, что, несмотря на запрещение докторов, он мог бы повидаться со мной. Конечно, если человек недавно женился и выиграл битву, он должен слушаться совета докторов!

Потом я услыхал знакомый голос, который осведомился у меня: «Может ли мсье теперь лечь в постель сам?» — и увидал огромные черные усы Альфонса.

— Вы здесь? — спросил я.

— Да, мсье, война кончилась, мои воинственные инстинкты удовлетворены, и я вернулся, чтобы стряпать для вас!

Я засмеялся или, вернее, попытался засмеяться. Как ни плох был Альфонс в роли воина, — я боюсь сказать правду, — он был самой лучшей сиделкой, которую я знал. Бедный Альфонс! Надеюсь, он будет так же любовно вспоминать обо мне, как я думаю о нем!

На другое утро я увидел Куртиса и Нилепту. Он рассказал мне все, что случилось с тех пор, как мы с Умслопогасом умчались с поля битвы.

Мне кажется, он вел войну отлично и проявил недюжинные способности военачальника. В общем, хотя потери наши были очень велики, — страшно подумать, сколько людей погибло в бою, — я знаю, что население страны не порицало нашей войны. Куртис был очень рад видеть меня и со слезами на глазах благодарил за то малое, что я мог сделать для королевы. Я видел, что он был поражен, когда увидал мое лицо.

Что касается Нилепты, она положительно сияла теперь, когда ее дорогой супруг вернулся к ней совсем здоровым, с небольшой царапиной на голове. Я уверен, что вся эта убийственная война, все эти погибшие люди почти не уменьшили ее радости, ее счастья, и не могу порицать ее за это, понимая, что такова натура любящей женщины, которая смотрит на все сквозь призму своей любви и забывает о несчастье других, если любимый человек жив и невредим.

— Что вы будете делать с Зорайей? — спросил я.

Светлое лицо Нилепты омрачилось.

— Зорайя! — произнесла она, топнув ногой. — Опять Зорайя!

Сэр Генри поспешил переменить разговор.

— Скоро вы поправитесь и будете совсем здоровы, старый друг! — сказал мне Куртис.

Я покачал головой и засмеялся.

— Не обманывайте себя! — сказал я. — Я могу немного оправиться, но никогда не буду здоров. Я — умирающий человек, Куртис! Может быть, я буду умирать медленно, но безвозвратно. Знаете ли вы, что у меня

началось кровохаркание? Что-то скверное случилось с моими легкими! Я чувствую это. Не огорчайтесь так! Жизнь прожита, пора уходить! Дайте мне, пожалуйста, зеркало, я хочу посмотреть на себя!

Куртис извинился, отказываясь дать мне зеркало, но я настоял на своем. Наконец он подал мне диск из полированного серебра в деревянной рамке, который заменял здесь зеркало. Я взглянул на себя и отложил зеркало в сторону.

— Я так и думал! — произнес я. — А вы говорите, что я буду здоров!

Я не хотел показать им, как поразило меня мое собственное лицо. Мои седые волосы стали снежно-белыми, лицо было изрыто морщинами, как у старухи, и глубокие красные круги залегли под впалыми глазами. Нилепта заплакала, а сэр Генри опять переменил тему разговора. Она сказала мне, что художник снял слепок с мертвого тела старого Умслопогаса и с него будет вылеплена черная мраморная статуя, запечатлеющая тот момент, когда он разбивал священный камень. Камень будет заменен белой статуей, которая изобразит меня и Дневной Луч. Я видел потом эти статуи, законченные через шесть месяцев, они прекрасны, особенно статуя Умслопогаса, который удивительно похож. Что касается меня, художник идеализировал мою некрасивую физиономию, хотя статуя очень хороша. Целые столетия простоит эта статуя, и народ будет смотреть на нее, и я думаю, вовсе неинтересно смотреть на такое незначительное, жалкое лицо!

Затем они рассказали мне, что последним желанием Умслопогаса было, чтобы его похоронили, а не сожгли, согласно местному обычаю, как сожгут меня после смерти. Желание его исполнено. Зулус похоронен, по обычаю своей родины, в сидячем положении, с коленями под подбородком, завернутый в толстый золотой лист, и погребен в нише стены на верхушке лестницы, которую он защищал, с лицом, обращенным в сторону своей родины. Так сидит он там и будет сидеть всегда, потому что труп его набальзамирован и помещен в узкий каменный гроб, куда нет доступа воздуха.

Народ говорит, что ночью дух старого зулуса выходит из гроба и угрожает призрачным топором призрачным врагам! Разумеется, ночью никто не решается проходить мимо того места, где похоронен герой!

Между тем непостижимым путем в народе уже создалась новая легенда или пророчество. Эта легенда говорит, что пока старый зулус будет сидеть там и смотреть на лестницу, которую он один геройски защищал против полсотни человек, до тех пор будет процветать новая династия, которая произойдет от брака англичанина с королевой Нилептой. Но когда с годами кости его рассыплются и обратятся в прах, тогда падет династия,

падет лестница и перестанет существовать народ Зу-венди!

XXIII. Я все сказал

Прошла неделя. Я чувствовал себя несколько лучше. В один теплый день ко мне вдруг явился вестник от сэра Генри и сказал, что Зорайю приведут в полдень в первую комнату королевы и что Куртис просит меня присутствовать при этом. Мне хотелось взглянуть еще раз на несчастную королеву, и я отправился, с помощью Альфонса (он — настоящее сокровище в моем положении) и другого слуги, в покои королевы. Я пришел раньше других, хотя несколько официальных придворных лиц уже находилось там, так как им приказано было явиться. Но едва я успел сесть, как, сопровождаемая отрядом королевских телохранителей, явилась Зорайя, такая же прекрасная и надменная, как всегда, но с выражением горечи на гордом и мрачном лице. Она была одета, по обыкновению, в королевскую кеф и держала в правой руке серебряное копье. Чувство восхищения и жалости охватило меня, когда я взглянул на нее. Я поднялся на ноги, низко поклонился ей, выразив сожаление, что не могу стоять перед ней, сообразно моему положению.

Она немного покраснела и горько засмеялась.

— Ты забываешь, Макумазан, — сказала она, — я больше не королева, я — пленница, над которой всякий человек может смеяться!

— Но ты женщина, — возразил я, — следовательно, тебе нужно выказать почтение, кроме того, ты находишься в тяжелом положении, значит, вдвойне заслуживаешь уважения!

— Ты забыл, — ответила она с усмешкой, — что я хотела завернуть тебя в золотой лист и повесить на колонне храма!

— Нет, — сказал я, — я уверяю тебя, я не забыл этого. Я часто думал об этом, когда мне казалось, что битва проиграна нами. Но колонна на своем месте, а я остался здесь, хотя и ненадолго, зачем говорить об этом?

— Ах, эта битва, битва! — продолжала она. — Я хотела бы снова быть королевой, хоть на один час, чтобы отомстить проклятым шакалам, которые бросили меня в нужде. Эти бабы, эти люди с птичьими сердцами дали победить себя!

Зорайя задыхалась в своем гневе.

— А этот маленький трус около тебя! — продолжала она, указывая серебряным копьем на Альфонса. — Он убежал и выдал мои планы. Я хотела сделать его командующим войском и показать солдатам, сказав, что это великий Бугван! — (Альфонс вздохнул и погрузился в невеселые

размышления). — Всюду была неудача! Он сбежал с моим знаменем и раскрыл все мои планы. Я хотела убить его, но — увы! — не могу!

А ты, Макумазан, я слышала, что ты совершил! Ты — храбрый человек, у тебя честное сердце! И твой черный дикарь! Он был настоящий мужчина. Я желала бы взглянуть, как он боролся с Настой на лестнице!

— Ты странная женщина, Зорайя! — сказал я. — Прошу тебя, вымоли прощения у королевы Нилепты, быть может, она пощадит тебя!

Она громко засмеялась.

— Я буду просить пощады? — сказала она. — Никогда!

В эту минуту вошла Нилепта, в сопровождении Куртиса и Гуда, и села. Лицо ее было бесстрастно. Что касается Гуда, он выглядел совсем больным.

— Приветствую тебя, Зорайя! — сказала Нилепта после долгого молчания. — Ты навлекла горе и печаль на мое королевство, из-за тебя тысячи человек погибли в бою, ты дважды покушалась убить меня, ты поклялась убить моего господина и его спутников и сбросить меня с трона! Говори, Зорайя!

— Вероятно, королева, сестра моя, забыла главный пункт обвинения! — ответила Зорайя своим мелодичным голосом. — Он гласит следующее: «Ты пыталась отбить у меня любовь моего Инкубу!» За это преступление сестра моя хочет убить меня, а не за то, что я начала войну! Счастье твое, Нилепта, что я слишком поздно обратила внимание на его любовь к тебе! Слушай, — продолжала она, возвысив голос, — мне нечего сказать вам, кроме того, что сказала бы я, если бы выиграла битву! Делай со мной что угодно, королева, пусть Инкубу будет королем, потому что он — причина всего зла, пусть будет и концом его! — Зорайя выпрямилась, бросила гневный взгляд своих глубоких глаз на сэра Генри и начала играть своим копьем. Сэр Генри наклонился к Нилепте и шепнул ей что-то.

— Зорайя! — заговорила Нилепта. — Я всегда была доброй сестрой для тебя! Когда наш отец умер и в нашей стране возникли сомнения и толки о том, должна ли ты сесть на трон рядом со мной и быть королевой, я, старшая сестра, подала голос за тебя. «Пусть Зорайя будет королевой так же, как и я. Мы — близнецы с ней, мы росли вместе от рождения, почему же предпочитать меня ей?» — говорила я. Мы всегда были вместе, сестра моя! Теперь ты знаешь, что виновна передо мной и твоя жизнь в опасности! Но я помню, что ты — моя сестра, что мы вместе играли детьми и любили друг друга, вместе спали, обняв друг друга, поэтому сердце мое рвется к тебе, Зорайя! Но оскорбление, которое ты мне нанесла, очень серьезно, я не пощадила бы твою жизнь. Пока ты будешь жить, в нашей Стране не будет

мира и тишины! Но ты не умрешь, Зорайя, потому что мой дорогой супруг просил меня как милости пощадить твою жизнь! Я дарю ему твою жизнь, как мой свадебный подарок, пусть он делает с ней все что хочет. Я знаю, что ты любишь его, но он не любит тебя, Зорайя, несмотря на всю твою красоту! Хотя ты прекрасна, как звездная ночь, о Зорайя, но он любит меня, а не тебя, он — мой супруг, и я дарю ему твою жизнь!

Зорайя сверкнула глазами и ничего не сказала. На Куртиса жаль было смотреть. Манера Нилепты и ее слова, хотя они дышали правдой и силой, вовсе не нравились мне.

— Я понимаю, — пробормотал Куртис, смотря на Гуда, — я понимаю, что вы обе были привязаны друг к другу, ваши чувства естественны, но, во всяком случае, можно найти какой-нибудь выход из неприятного положения, покончить с этим! У Зорайи есть свои владения, где она может жить свободно, как ей захочется! Не правда ли, Нилепта? Впрочем, я могу только советовать!

— Я хотел бы забыть все происшедшее, — добавил Гуд, сильно краснея, — если Царица Ночи считает достойным меня ее руки, я готов завтра же обвенчаться с ней — или когда ей угодно — и постараюсь быть для нее добрым мужем.

Все взоры устремились на Зорайю, которая стояла неподвижно, с той загадочной улыбкой на прекрасном лице, которую я часто замечал и раньше. Она помолчала немного, потом трижды присела перед Нилептой, Куртисом и Гудом.

— Благодарю тебя, прекраснейшая королева, моя царственная сестра, — заговорила она спокойным тоном, — за твою любовь ко мне с детских лет, а особенно за то, что ты отдаешь мою особу и мою судьбу в руки лорда Инкубу, который будет королем! Пусть счастье, мир и благоденствие распустятся чудными цветами на твоем жизненном пути, нежная добросердечная королева! Царствуй долго, победоносная королева, и держи обеими руками любовь твоего супруга. Пусть процветает твое потомство, сыновья и дочери твоей дивной красоты! Благодарю тебя, лорд Инкубу, будущий король, тысячу раз благодарю тебя, что тебе угодно было принять в дар от королевы мою бедную жизнь и судьбу и передать ее твоему товарищу по оружию и приключениям, лорду Бугвану! Этот поступок достоин тебя, Инкубу! Наконец, благодарю также и тебя, лорд Бугван, за то, что ты, в свою очередь, удостоил меня своим вниманием и не отказался от моей жалкой красоты! Благодарю тебя тысячу раз и добавлю, что ты — добрый и честный человек, и клянусь, положа руку на сердце, что сказала бы тебе «да», если бы могла! Теперь, когда я поблагодарила всех, — она

улыбнулась, — я добавлю только несколько слов. Для меня нет середины! Я смеюсь над вашей жалостью и ненавижу вас! Я не нуждаюсь в вашем прощении — для меня это жало змеи! Я стою здесь перед вами, обманутая, покинутая, оскорбленная, и все же торжествую над вами, смеюсь и презираю вас всех! Вот вам мой ответ!

Вдруг, прежде чем кто-нибудь мог догадаться о ее намерении, она подняла серебряное копье, которое держала в руке, и нанесла себе такой сильный удар в бок, что конец копья прошел насквозь, и упала на пол.

Нилепта вскрикнула,

Гуд лишился чувств, остальные бросились к Зорайе. Царица Ночи подняла свою прекрасную голову и взглянула своими дивными глазами в лицо Куртиса, словно прощаясь с ним. Потом голова ее откинулась назад, раздался вздох, похожий на рыдание, и мрачная, но прекрасная душа Зорайи отлетела.

Ее похоронили с царской пышностью, и все было кончено.

Прошел месяц со времени трагической кончины Зорайи. В Храме Солнца совершилась торжественная церемония, и Куртис был официально объявлен королем-супругом в Стране Зу-венди. Я был болен и не пошел на церемонию. В самом деле, я ненавижу этого рода вещи, толпы народа, звуки труб, развевающиеся знамена. Гуд, присутствовавший на церемонии в полной морской форме, вернулся и рассказал мне, что Нилепта выглядела очень красивой, а Куртис держал себя так, словно родился королем, и был встречен громкими приветственными кликами, подтверждавшими его огромную популярность в стране. Потом, рассказывал он, когда в процессии вели королевскую лошадь Дневной Луч, народ начал громко, до хрипоты кричать: «Макумазан! Макумазан!» Они кричали так, что он, Гуд, должен был встать во весь рост в экипаже и объявить им, что я болен и не могу участвовать в церемонии.

Потом сэр Генри, вернее, король, пришел навестить меня. Выглядел он очень утомленным и клялся, что никогда так не скучал в своей жизни. Но думаю, что он несколько преувеличивал. Человеческой натуре не свойственно, чтобы человек соскучился в таких необыкновенных обстоятельствах. В самом деле, не удивительная ли вещь, что человек, который за год до этого времени приехал в страну никому не известным пришельцем, теперь женился на прекраснейшей и любимой всеми королеве и сделался королем страны! Я попытался прочитать ему наставление, чтобы он не возгордился и не увлекся блеском и силой своей власти, но помнил всегда, что был простым английским джентльменом и призван Провидением к великим и ответственным делам.

Куртис был так любезен, что терпеливо выслушал мои увещевания и даже поблагодарил меня за них.

Сейчас же после церемонии меня перенесли в домик, где я теперь пишу эти строки. Это прелестный уголок в двух милях от Милозиса. Здесь в продолжение пяти месяцев, не сходя с моего ложа, я употреблял свой досуг, набрасывая эти записки, историю наших странствований. Быть может, никто никогда не прочтет их, но это не важно. Во всяком случае, составление этих записок помогло мне коротать мое время, часы тяжелых страданий. Я очень страдал тогда. Слава Богу, скоро конец моим страданиям.

*** * ***

Прошла неделя с тех пор, как я написал последние строки. Теперь я снова берусь за перо, в последний раз, потому что конец мой уже близок.

Моя голова свежа, и я могу писать, хотя с трудом держу перо. За последнюю неделю боль в легких усилилась, но теперь совершенно прекратилась, я чувствую полное онемение членов и не обманываю себя надеждами.

Боль исчезла, а с ней исчез и страх смерти, и я чувствую и ощущаю близость вечного, нерушимого покоя и отдыха. Радостно, с тем же чувством покоя, с каким дитя лежит на груди у матери, я готов упасть в объятия ангела смерти! Всякая робость, все страхи, посещавшие меня при жизни, отлетели от меня, бури прошли, и звезда Вечной Надежды, блестевшая передо мной на далеком горизонте, теперь приблизилась ко мне. Много раз был я близок к смерти, многие друзья умерли на моих глазах, теперь — моя очередь! Еще двадцать четыре часа, и мир будет далек от меня, со всеми страхами и надеждами. Меня не станет, и мир забудет обо мне! Так было и будет со всеми! Тысячи веков тому назад умирающие люди думали свои думы и были забыты! Пройдет еще тысяча веков, и потомки будут умирать и, в свою очередь, также будут забыты.

«Человеческая жизнь, — дыхание быка зимой, звезда, блуждающая по небу, легкая тень, исчезающая с закатом солнца!» — так выразился однажды зулус в разговоре со мной.

Нет, наш мир не хорош! Кто может не согласиться с этим, кроме тех, кто ослеплен собой?

Как может быть хорош мир, в котором первенствующее значение имеют деньги, где путеводной звездой является эгоизм и себялюбие?

Но теперь, когда жизнь кончена, я рад, что жил, что узнал нежное дыхание женской любви и верную дружбу, которая пережила любовь женщины, рад, что слышал звонкий смех детей, любовался на солнце, месяц и звезды, чувствовал соленое дыхание моря на своем лице и плавал по озаренной лучами месяца воде, охотясь за зверями. Но я не желал бы снова начать жизнь! Нет, нет!

Во мне все изменилось. Свет исчезает из глаз, и темнота приближается. Мне чудятся сквозь этот мрак знакомые лица дорогих умерших… Там мой Гарри и другие, и лучшая и совершеннейшая из женщин, которая когда-либо жила на земле.

Зачем говорить о ней теперь! Зачем говорить после долгого молчания, теперь, когда она так близка от меня, когда я иду туда, куда ушла она давным-давно.

Заходящее солнце горит пламенем на золотом куполе храма. Пальцы мои устали.

Всем, кто знал меня или слышал обо мне, всем, кто захочет иногда вспомнить старого охотника, я протягиваю руку на прощанье и посылаю последнее *прости!*

В руки Всемогущего Бога, Творца жизни и смерти, предаю дух мой!

«Я все сказал!» — это было любимое выражение покойного зулуса.

XXIV. Другой рукой

Минул год со дня смерти нашего незабвенного Аллана Квотермейна, когда он написал последнюю главу своих записок, которую назвал «Я все сказал!» По странной случайности, у нас появилась возможность переслать эти записки в Англию. Правда, эта возможность не обольщала нас надеждами, но мы с Гудом решили попытать счастья. В продолжение последних шести месяцев исследовательские группы усердно принялись за работу на рубежах Страны Зу-венди, с намерением во что бы то ни стало отыскать или проложить удобный путь сообщения с соседними странами. Результатом работ было открытие соединительного канала, который приобщал страну ко всему остальному миру. Я уверен, что по этому самому каналу туземный путешественник добрался сюда и до миссии мистера Макензи, хотя прибытие его за три года до нас в эту страну и изгнание из нее держится в строгой тайне! Пока производились исследования границ, на континент отправили посла с депешей. Мы вручили ему рукопись, два письма Гуда к его друзьям и письмо от меня к моему брату Джорджу. Мне больно думать, что я никогда не увижу его, и я уведомлял его, как ближайшего моего наследника в Англии, что он может владеть всеми родовыми поместьями, так как я не думаю, что когда-нибудь вернусь на родину. Мы не могли бы покинуть Страну Зу-венди, если бы даже желали! Этим послом был Альфонс, дай Бог ему счастья в его жизни! Он до смерти соскучился здесь!

— Да, да, здесь хорошо! — говорил он. — Но мне скучно, скучно! — Он жаловался на отсутствие всяких кафе и театров и стонал о своей Анетте. Но мне кажется, что весь секрет его отвращения к стране и тоски заключается в том, что народ смеялся над ним по поводу поведения в битве, происходившей восемнадцать месяцев тому назад, когда он спрятался под знаменем Зорайи, чтобы избежать сражения.

Каждый мальчишка бегал за ним по улицам и насмехался, оскорбляя его гордость и делая жизнь невыносимой. Во всяком случае, Альфонс решил, что лучше уж перенести все ужасы длинного путешествия, опасности, труды, даже готов был рискнуть на столкновение с французской полицией, чем оставаться «в этой печальной стране».

Бедный Альфонс! Мы были очень огорчены разлукой с ним, но я искренне желаю ему скорейшего прибытия на родину. Если он доберется благополучно и довезет с собой драгоценную рукопись, которую мы

вручили ему вместе с солидной суммой золота, он будет там, у себя, богатым человеком и сможет жениться на своей Анетте, если она жива и одарит его согласием!

Теперь пользуюсь случаем, чтобы сказать несколько слов о дорогом умершем Квотермейне.

Он умер на рассвете следующего дня, дописав последние строки главы. Нилепта, Гуд и я были около него. Это была трогательная и прекрасная сцена. За час до наступления утра мы заметили, что он умирает, и наше горе было очень сильно. Гуд залился слезами, и эти слезы вызвали последнюю милую шутку на уста умирающего друга, потому что он мог шутить даже в последние минуты своей жизни. Гуд взволновался, плакал, и монокль его постоянно выпадал со своего обычного места. Квотермейн заметил это.

— Наконец-то, — пробормотал он, пытаясь улыбаться, — я увидел Гуда без стеклышка в глазу!

Потом он замолчал до утра и при первых лучах рассвета попросил поднять его, чтобы в последний раз видеть восход солнца.

— Через несколько минут, — сказал он, — я должен буду пройти через его золотые ворота!

Десять минут спустя он приподнялся и посмотрел на нас.

— Я отправляюсь в долгое путешествие, более страшное, чем то, которое мы совершили все вместе. Вспоминайте иногда обо мне! — пробормотал Квотермейн. — Бог да благословит вас! Я буду ожидать вас там!

Он вздохнул, упал на подушки и умер!

Так ушел он нас навсегда прекраснейший человек! Нежный, постоянный, обладавший большим запасом юмора и поэтическими наклонностями, он был неоценим как человек дела и гражданин. Я не знал никого, кто бы был так компетентен в обсуждении людей и их поступков.

— Всю мою жизнь я изучал человеческую натуру, — говорил часто Квотермейн, — и думаю, что знаю ее!

Действительно, он знал людей. У него было два недостатка: его чрезмерная скромность и наклонность к ревности в отношении людей, на которых он сосредотачивал свою привязанность.

Читатели, вероятно, помнят, что он часто говорил о себе как о боязливом, робком человеке. В сущности же, он обладал неустрашимой душой и никогда не терял головы. В сражении с войском Зорайи он получил серьезную рану, от которой и умер, но эта рана вовсе не была случайностью, как можно было судить по его словам. Он был Ранен, спасая

жизнь Гуда, рискуя своей жизнью ради другого человека. Гуд лежал на земле, и один из воинов Насты готов был убить его, Но Квотермейн бросился защищать товарища и получил сильный удар в бок, хотя убил противника.

Относительно его ревности — я могу легко оправдаться. В своих записках он несколько раз упоминает о том, что Нилепта совершенно овладела мной и оба мы стали относиться к нему холоднее. Нилепта и теперь имеет свои недостатки, как и всякая другая женщина, она бывает временами слишком требовательна, но, в общем, наше мнимое охлаждение к нему — это плод его фантазии.

Он жалуется, что я не хотел прийти повидать его, когда он болен, но доктора решительно запретили мне это. Когда я прочитал эти слова в его записках, они больно кольнули меня, потому что я глубоко любил Квотермейна, уважал его, как отца, и никогда не допустил бы мысли, чтобы мой брак с Нилептой мог отодвинуть на задний план мою привязанность к старому другу. Теперь все это прошло. Эти маленькие слабости делают еще дороже для меня незабвенный образ усопшего друга!

Квотермейн умер. Гуд прочитал над ним похоронную службу, на которой присутствовали мы с Нилептой. Потом его останки при торжественных криках народа были преданы сожжению. Когда я шел с длинной и пышной процессией за телом моего друга, я думал про себя, что, если бы Квотермейн видел эту церемонию, он был бы возмущен, потому что ненавидел тщеславие и роскошь.

Но я не мог ничего поделать с этим!

За несколько минут до заката солнца, на третью ночь после смерти, его принесли и положили на медный пол храма, перед алтарем. Когда последний луч заходящего солнца упал на его лицо и озарил бледное благородное чело усопшего, зазвучали трубы, пол раздвинулся, и труп Квотермейна упал в огонь. Никогда мы не увидим его, даже если проживем еще сто лет. Это был даровитый человек, настоящий джентльмен, вернейший друг, искуснейший спортсмен и лучший стрелок во всей Африке!

Так закончилась замечательная, полная приключений жизнь охотника Аллана Квотермейна.

*** * ***

Время шло. Наша жизнь текла хорошо. Гуд занялся устройством флота на озере Милозис и других окрестных озерах и с его помощью мы надеемся развить торговлю и промышленность страны и покорить беспокойные и воинственные племена, обитающие по берегам озер. Бедный Гуд! Он начал немного забывать трагическую смерть бедной красавицы королевы Зорайи. Но это был тяжелый удар для него, потому что он серьезно привязался к ней! Надеюсь, что со временем он женится и выкинет совсем из головы свою несчастную любовь. Нилепте прислуживают две молодые девушки, одна — дочь Насты (он был вдовцом), красивая девушка, с царственным видом, но слишком похожая на своего отца и очень надменная. Что касается меня, я удовольствуюсь, сказав, что чувствую себя очень хорошо в моем курьезном положении короля-супруга, лучше даже, чем я мог ожидать! Но я нахожу, что ответственность очень тяжела. Все-таки, я надеюсь сделать что-нибудь доброе и намереваюсь довести до конца два дела. Во-первых, объединить различные племена, составляющие народ Зу-венди, под одним центральным управлением и уничтожить власть жрецов. Первая реформа положит конец гражданским войнам, которые в течение целых столетий опустошали страну, вторая — устранит источник политической опасности и проложит путь новой, истинной религии. Я надеюсь увидеть крест Христов на золотом куполе храма! Если я не увижу этого, то увидят мои наследники!

Еще об одной вещи я позабочусь. Я считаю необходимым воспретить иностранцам доступ в Страну Зу-венди — и не потому, чтобы я был негостеприимен, а по моему твердому убеждению, что священный долг обязывает меня оберечь великодушный и сердечный народ от нашествия варваров. Что станет с моим храбрым войском, если какие-нибудь пришельцы вздумают стрелять в нас из револьверов и ружей? Я не желаю вводить здесь порох, телеграфное сообщение, паровые машины, газеты, потому что твердо уверен, что все эти нововведения несут всякие бедствия и несчастья. Я не хочу наводнить прекрасную страну толпами спекулянтов, туристов, политиков, учителей, которые принесут с собой суету и ненависть остального мира, отдать ее на растерзание жадным аферистам, которые похожи на крабов — этих чудовищ подземной реки, терзающих труп прекрасного лебедя. Я не желаю развивать в стране жадность, пьянство, новые болезни и всеобщую деморализацию, являющуюся первым признаком цивилизации у неиспорченного народа. Если Провидению угодно будет присоединить Страну Зу-венди к остальному

миру — это другое дело, но я не хочу брать на себя ответственности и Гуд вполне одобряет мое решение! Прощайте!

Генри Куртис.

PS. Я совершенно забыл сказать, что девять месяцев тому назад Нилепта, которая, по моему, еще похорошела, одарила меня сыном и наследником. Это — прелестный кудрявый мальчик, настоящий голубоглазый англичанин, и, хотя он должен наследовать трон Зу-венди, я надеюсь сделать из него прежде всего настоящего джентльмена и честного человека, что, по моему мнению, выше и дороже, чем наследовать королевский престол, и составляет величайшее счастье, какое человек может обрести на земле.

Г. К.

*** * ***

Примечания Джорджа Куртиса, эсквайра.

Мы считали умершим моего родного брата Генри Куртиса, как вдруг я получил рукопись, адресованную мне рукой моего брата. На конверте была почтовая марка Адена, и рукопись благополучно дошла до меня двадцатого декабря текущего года, через два года после ее отправки из Центральной Африки. Удивительную историю прочитал я в этих записках! Конечно, мне приятно было узнать, что Генри и Гуд благоденствуют на чужбине, но для меня и для моих друзей — они давно умерли, потому что мы потеряли всякую надежду увидеть их.

Они порвали всякую связь со старой Англией, со своим домом, с родными, и, может быть, по-своему правы и поступают мудро.

Но я никак не могу понять, каким образом они переслали рукопись! Полагаю лишь, что маленький француз, Альфонс, благополучно совершил свое путешествие.

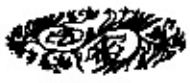
Я наводил справки о нем в Марселе и в других местах, стараясь открыть его местопребывание, но безуспешно. Быть может, он умер и пакет был послан мне кем-нибудь другим, или, может быть, он благополучно обвенчался с своей Анеттой и, боясь полиции, предпочитает жить инкогнито. Я не знаю этого. Я долго надеялся разыскать его, но должен

сознаться, что моя надежда слабеет с каждым днем. Большим препятствием является то, что в своих записках м-р Квотермейн нигде не упоминает его прозвища. Он говорит об Альфонсе, а в мире так много Альфонсов! Письма Гуда, которые брат Генри, по его словам, послал вместе с рукописью, не дошли по назначению. Я предполагаю, что они потеряны или уничтожены.

Джордж Куртис.



Жена Аллана





ЖЕНА АЛЛАНА

Артуру Г. Д. Кокрейну, эксвайру

Дорогой Макумазан!

Я дал ваше туземное прозвище моему Аллану, который стал мне теперь близким другом. Поэтому-то последние рассказы Аллана Куотермэна, повествующие о его жене и о приключениях, которые мне довелось пережить, я решил посвятить вам. Они напомнят вам многие истории, случившиеся в Африке. Та, например, что относится к бабуинам, произошла с вами, и як ней не причастен. Быть может, они напомнят вам и многое другое, воскресят в вашей душе померкшую романтику давно минувших дней. Страна, о которой рассказывает Аллан Куотермэн, теперь исследована и известна почти так же хорошо, как поля Норфолка. Там, где мы стреляли дичь, где бродили по дебрям и скакали во весь опор, теперь строятся города золотоискателей. Британский флаг на время перестал развеваться над равнинами Трансвааля; в велде перевелась дичь. Очарование туманного утра сменилось палящим зноем дня. Все стало другим. Камедные деревья, которые мы посадили в саду «Палэшл», теперь, верно, разрослись, а сам «Палэшл» больше не существует.

Для нас с вами, как и для страны, которую мы любили, таинственность и надежды утра жизни ушли в прошлое. Солнце стоит в зените, путь порою становится утомительным. Немногие из тех, кого мы знали, уцелели, иные погибли в бою или стали жертвами убийц, и кости их белеют в велде. С другими смерть обошлась милостивее. Третьи исчезли неведомо куда. Страшно вернуться в эту страну, где на каждом шагу и меня и вас подстерегают призраки. И хотя сейчас наши дороги пролегли врозь, прошлое глядит на нас обоих неизменившимся взглядом. Мы оба можем припомнить сколько угодно мальчишеских затей и приключений, в которые бросались очертя голову, хотя сейчас они показались бы нам просто безумными. Мы помним привычный ровный строй Преторийского конного отряда, лицо войны, ее победы и поражения, утомительное ночное патрулирование; и мы слышим еще гром орудий, доносимый эхом с Холма позора[71].

В память о богатых приключениями годах молодости, которые мы провели вместе в африканских городах и велде, я и посвящаю эти страницы вам, подписываясь ныне, коки прежде:

Ваш искренний друг Инданда

Глава I. Ранние воспоминания

Читатель, может быть, не забыл, что на последних страницах дневника, написанного перед самой смертью, Аллан Куотермэн[72] упоминает о своей давно умершей жене и говорит, что подробно рассказал о ней в другом месте.

Когда пришло известие о смерти Аллана, его бумаги передали мне как его литературному душеприказчику. Среди них я обнаружил две рукописи. Одну вы и прочтете сейчас. Вторая представляет собой изложение событий, к которым м-р Куотермэн не имел прямого отношения: это роман из жизни зулусов. Герой книги рассказывает Аллану о трагедии, происшедшей много лет назад. Впрочем, сейчас нам незачем об этом говорить.

Я часто думал о том (так начинается рукопись м-ра Куотермэна), что надо доверить бумаге все, что связано с моей женитьбой и смертью моей обожаемой жены. Много лет прошло с того времени, и годы, конечно, смягчили боль утраты, хотя, видит Бог, она постоянно дает о себе знать, словно старая рана. Неоднократно я брался за перо, чтобы описать, как это было. В первый раз я отказался от своего намерения, ибо горе было еще слишком свежо. Во второй — потому что мне пришлось срочно уехать. Ну, а в третий раз слуга-кафр не нашел ничего лучшего, как разжечь исписанными страницами кухонную плиту.

Теперь, когда я живу в Англии и времени у меня достаточно, я решил предпринять четвертую попытку. Если она удастся, рассказ мой, быть может, привлечет чье-нибудь внимание. Но это будет уже после моей смерти, потому что при жизни я не намерен его публиковать. Это достаточно странная история, способная навести на размышления.

Я сын миссионера. Раньше мой отец был священником в небольшом приходе Оксфордшира! Он отправился туда через несколько лет после женитьбы на моей дорогой матушке. У них было четверо детей, из которых я младший. Смутно вспоминаю наш старый серый дом у дороги, вытянутый в длину. В саду росло большое дерево. В его стволе было огромное дупло, и мы в нем играли, отламывая куски коры. Мы спали в комнате под самой крышей, и каждый вечер мама поднималась по лестнице, чтобы поцеловать нас на ночь. Помню, я часто просыпался и видел ее, склонившуюся со свечой в руке над моим изголовьем. Из стены

над моей кроватью торчала какая-то полка, и однажды я страшно испугался, потому что старший брат подсадил меня и оставил висеть на ней на руках. Вот и все, что я помню о нашем доме. Его снесли много лет назад. Не то я бы съездил поглядеть на него.

Немного дальше, близ той же дороги, стоял большой дом с чугунными воротами. С их столбов взирали вниз два каменных льва; они были так безобразны, что наводили на меня страх. Быть может, чувство это было пророческим. Сквозь решетку ворот виднелся дом — мрачное строение, окруженное высокой тисовой изгородью. Летом на газоне вокруг солнечных часов пестрели цветы. Тут жил сквайр Керсон, здешний помещик, и потому дом называли усадьбой. Однажды на рождество — видимо, последнее, которое мой отец провел в Англии, иначе бы я его не запомнил, — мы, дети, отправились в усадьбу на праздник. Обстановка была торжественная, у дверей стояли лакеи в красных ливреях. В столовой, обшитой черным дубом, высилась рождественская елка. Перед нею стоял сам Керсон. Это был высокий брюнет со спокойными манерами, жилет его украшали брелоки. Нам он казался старым, на самом же деле ему было тогда не больше сорока. Как я потом узнал, в молодости он много путешествовал и лет шесть-семь назад женился на полуиспанке — папистке, как называл ее мой отец. Я хорошо помню эту очень красивую женщину, маленькую, довольно полную, с большими черными глазами и блестящими зубами. По-английски она говорила со странным акцентом. Я, вероятно, показался ей смешным, потому что тогда, как, впрочем, и сейчас, мои вихры стояли на голове торчком. У меня сохранился карандашный набросок, сделанный с меня матерью. На нем эта особенность запечатлена весьма четко. Помню, что, когда мы пришли в усадьбу на елку, миссис Керсон повернулась к стоявшему рядом высокому мужчине, похожему на иностранца, и нежно коснувшись его плеча золотым лорнетом, сказала:

— Посмотрите, кузен, на этого смешного мальчугана с большими карими глазами; его волосы похожи на… как это называется… жесткую щетку. О, какой забавный малыш!

Высокий мужчина потрогал свои усы и, взяв руку миссис Керсон в свою, стал приглаживать ею мои волосы, пока она не прошептала:

— Оставьте мою руку, кузен. Томас стал похож на… на грозу. Томасом звали м-ра Керсона, ее мужа.

Я поспешил спрятаться за стулом, потому что был ужасно застенчив, и следил оттуда, как Стелла Керсон, единственная дочь помещика, раздавала детям подарки с елки. Она была одета Дедом Морозом, ее шейку укутывал воротник из какой-то мягкой ткани. На хорошеньком личике сияли большие

черные глаза, которые показались мне прекрасными. Наконец пришел мой черед получать подарок. Это была большая игрушечная обезьяна. Если взглянуть далеко вперед, на события грядущих лет, подарок оказался знаменательным. Стелла сняла обезьяну с нижней ветки елки и подала мне со словами:

— Это мой рождественский подарок тебе, маленький Аллан Куотермэн.

В этот момент рукав ее ватной шубки, покрытой блестками, коснулся свечи и загорелся. Пламя метнулось по рукаву вверх к горлу. Девочка словно застыла, очевидно, парализованная страхом. Женщины вокруг принялись вопить, но ни одна не сдвинулась с места. Тут меня будто что-то толкнуло. Я был еще совсем ребенок и действовал, повинуясь какому-то инстинкту. Я кинулся к девочке и стал руками сбивать пламя. Мне удалось потушить огонь, прежде чем он набрал силу. Кисти мои покрылись пузырями, и я долго ходил с забинтованными руками, но маленькая Стелла Керсон почти не пострадала, если не считать небольшого ожога на шее.

Вот все, что я помню о рождественской елке в усадьбе. Не знаю, чем кончился праздник, но я и поныне иногда вижу во сне прелестное личико маленькой девочки и выражение ужаса в черных глазах в тот миг, когда пламя устремилось вверх по ее руке. Это, впрочем, и не удивительно, ибо я, можно сказать, спас жизнь той, которой суждено было стать моей женой.

Следующее событие, которое я хорошо запомнил, — это тяжелая болезнь моей матери и трех братьев. Потом я узнал, что они отравились водой из нашего колодца, куда какой-то негодяй бросил дохлую овцу.

Вероятно, именно тогда к нам в пасторский домик пришел помещик Керсон. Погода стояла еще холодная, в кабинете отца горел камин. Я сидел перед огнем и писал карандашом буквы на листке бумаги, а отец вышагивал по комнате и говорил сам с собой. Впоследствии я понял, что он молился о сохранении жизни жены и детей. Тут в дверях показалась служанка и доложила, что его спрашивают.

— Это сквайр, сэр, — сказала горничная. — Он говорит, что ему очень нужно повидать вас.

— Хорошо, — ответил отец усталым голосом.

Через минуту в кабинет вошел Керсон. Лицо его было бледным и взволнованным, а глаза смотрели так свирепо, что я испугался.

— Простите, что я тревожу вас в такое время, Куотермэн, — сказал он хрипло, — но завтра я навсегда уезжаю отсюда, и мне нужно, даже необходимо поговорить с вами до отъезда.

— Вы хотите, чтобы Аллан оставил нас вдвоем? — спросил отец,

кивнув на меня.

— Пускай остается. Он не поймет.

В то время я действительно ничего не понял, но запомнил каждое слово и через несколько лет постиг смысл разговора.

— Прежде всего скажите мне, как здоровье ваших, — начал гость, подняв к потолку палец.

— Жена и двое мальчиков безнадежны, — со стоном ответил отец. — Не знаю, что ждет третьего. Да будет воля Божья!

— Да будет воля Божья! — торжественно повторил помещик. — А теперь послушайте, Куотермэн. От меня ушла жена.

— Ушла? — переспросил отец. — Но с кем?

— С этим ее иностранным кузеном. Из письма, которое она оставила, ясно, что она всегда любила его. За меня она вышла замуж потому, что считала богатым английским милордом. Теперь она растратила мое состояние, во всяком случае — большую его часть, и ушла. Не знаю куда. К счастью, она не пожелала обременять свою жизнь ребенком. Стеллу она оставила мне.

— Вот к чему приводит женитьба на папистке, Керсон, — сказал мой отец. Это было, конечно, бестактно. Мир не видел более доброго и отзывчивого человека, чем отец, но ему была свойственна известная ограниченность. — Что вы намерены делать — следовать за ней?

Керсон горько рассмеялся в ответ.

— Следовать за ней! — сказал он. — А зачем? Если бы я настиг ее, я мог бы убить его, или ее, или их обоих, ибо они навлекли позор на голову моего ребенка. Нет, я больше не хочу ее видеть. Я верил ей, говорю вам, а она меня обманула. Пусть идет навстречу своей собственной судьбе. Но я тоже ухожу. Мне надоела жизнь.

— Что вы, Керсон, — сказал мой отец, — не хотите же вы сказать…

— Нет, нет, не то. Смерть и так приходит слишком рано. Но я покину этот лживый цивилизованный мир. Я отправлюсь с моим ребенком в дикие дебри, где мы скроем свой позор. Куда? Я еще не знаю. Куда угодно, лишь бы не видеть белых лиц, не слышать гладких фраз людей, которые считают себя образованными.

— Вы сошли с ума, Керсон! — возразил мой отец. — Как вы будете жить? Где станете учить Стеллу? Держитесь в горе настоящим мужчиной.

— Я и буду мужчиной и переживу горе, но не здесь, Куотермэн. Учить дочь! А разве женщина, которая называлась моей женой, не получила прекрасного образования, не считалась самой умной в нашем графстве? Слишком умной для меня, Куотермэн, даже чересчур умной. Нет, нет,

Стелла будет учиться в иной школе. Если это будет возможно, она забудет даже свое имя. Прощайте, старый друг, прощайте навсегда. Не пытайтесь разыскивать меня, с этого дня я все равно что умер для вас и для всех, кого я знал.

— Безумец, — сказал ему вслед отец, тяжело вздохнув. — Беда лишила его рассудка. Но он еще передумает.

В этот момент поспешно вошла сиделка и что-то прошептала отцу на ухо. Лицо отца покрылось мертвенной бледностью. Он схватился за стол, чтобы удержаться на ногах, затем, шатаясь, вышел из комнаты. Моя мать умирала.

Через два или три дня, не помню точно, отец взял меня за руку и повел наверх в большую комнату, которая раньше была спальней матери. Она лежала в гробу, с цветами в руках. Вдоль стены комнаты были поставлены три белые кроватки, и на них лежали мои братья. Все они казались спящими, и у всех в руках были цветы. Отец велел мне поцеловать их, сказав, что больше я их никогда не увижу. Я повиновался, но испытывал ужас, сам не зная почему. Потом отец обнял меня и поцеловал.

— Господь дал и Господь взял, — сказал он, — да будет благословенно имя Его.

Я горько зарыдал, и он повел меня вниз. О том, что было потом, у меня остались лишь смутные воспоминания: люди, одетые в черное, несли тяжелые ноши к серому кладбищу.

Затем передо мной встают видения большого судна и безбрежных, неспокойных вод. После потери, постигшей отца, он не мог больше оставаться в Англии и решил уехать в Южную Африку. В то время мы были бедны, — должно быть, после смерти матери отец лишился большей части нашего дохода[73]. Во всяком случае, мы ехали палубными пассажирами, и в моей памяти запечатлелись лишения, которые мы испытали в пути, и грубость ехавших с нами эмигрантов. Наконец плавание окончилось и мы достигли берегов Африки, в которой мне было суждено провести много-много лет.

Успехи цивилизации в Южной Африке были еще невелики. Отец отправился в глубь страны и стал миссионером. Мы поселились поблизости от того места, где сейчас стоит город Крадок. Там я и вырос. По соседству жило несколько бурских семейств, а со временем вокруг нашей миссии вырос небольшой поселок белых. Пожалуй, наиболее интересным его жителем был вечно пьяный шотландец — кузнец и колесный мастер. В трезвом виде он мог без конца читать наизусть стихи шотландского поэта Бернса и декламировать страницу за страницей только что опубликованные

«Легенды Инголдсби»[74]. Он пристрастил меня к этому забавному произведению, любовь к которому я сохранил навсегда. Бернс мне никогда так не нравился, вероятно, потому, что мне не по душе шотландский диалект.

Свой небольшой запас знаний я получил от отца. Особой склонности к чтению я не испытывал, да и у отца не было времени учить меня по книгам. Зато я внимательно наблюдал обычаи людей и природу. К двадцати годам я свободно говорил по-голландски и на трех-четырех кафрских диалектах. Вряд ли кто-нибудь в Южной Африке лучше меня разбирался в мыслях и поступках туземцев. Кроме того, я отлично стрелял и ездил верхом. Наверное, — и жизнь это потом доказала — я был очень крепкий парень, крепче большинства людей. Хотя я был невелик ростом и мало весил, ничто, казалось, не могло меня утомить. Я легко переносил любые тяготы и лишения и был куда выносливее любого туземца. Разумеется, теперь все изменилось, я говорю о своей молодости.

Вы можете удивиться, как это я не одичал окончательно в подобных условиях. Меня спасло общество отца. Он был одним из самых милых и утонченных людей, каких мне доводилось встречать. Себя он считал неудачником. Побольше бы таких неудачников! Каждый вечер после рабочего дня он брал молитвенник и, сидя на небольшой веранде нашего дома, читал вечерние псалмы. Иногда он читал и в сумерках, ему это не мешало, ибо он знал псалмы наизусть. Потом он откладывал молитвенник и устремлял взгляд вдаль — туда, где за обработанными полями стояли хижины обращенных в христианство кафров.

Но я знал, что он видит не эти хижины, а серую церковь в Англии и могилы под тисом, что рос у входа на кладбище.

На этой веранде отец и умер. Однажды вечером ему нездоровилось, но мы сидели и разговаривали. Все мысли его были обращены к Оксфордширу и моей матери. Он вспоминал ее, говорил, что за все эти годы не было дня, когда бы он не думал о ней, что он счастлив, чувствуя, что скоро будет в той обители, куда она ушла. Потом он вдруг спросил, помню ли я тот вечер, когда сквайр Керсон пришел к нам и рассказал, что его покинула жена и что сам он решил переменить имя и скрыться в какой-нибудь далекой стране.

Я ответил, что отлично помню.

— Интересно, куда он направился, — сказал отец, — и живы ли они оба — он и его дочь Стелла. Да, да! Я-то уж никогда их не встречу. Но жизнь — странная штука, Аллан, и ты, может быть, свидишься с ними. Если так, передай им мой самый теплый привет.

Потом я оставил его одного. В последнее время нам наносили

большой ущерб воры, кравшие по ночам овец. В эту ночь я решил стеречь крааль[75], чтобы изловить воров. И я раньше неоднократно это делал — впрочем, совершенно безуспешно. Именно из-за моей привычки к ночным бдениям туземцы прозвали меня Макумазан. Итак, я прихватил винтовку и собрался идти. Но отец подозвал меня и поцеловал в лоб со словами: «Благослови тебя Бог, Аллан! Будешь иногда вспоминать своего старого отца?! Надеюсь, ты проживешь хорошую и счастливую жизнь».

Меня немного встревожило его поведение, но я объяснил его подавленным настроением, в которое отец с годами впадал все чаще. Я спустился к краалю и бодрствовал всю ночь. До рассвета оставался всего час, а воры так и не появились. Я решил вернуться. Еще издали я с удивлением увидел, что в кресле отца на веранде кто-то сидит. Сначала я подумал, что туда забрался пьяный кафр, но потом разглядел, что это спит мой отец.

И он действительно заснул — навеки. Я нашел его мертвым!

Глава II. Огненный поединок

Похоронив отца, я дождался, пока прибыл его преемник, поскольку пост принадлежал Обществу[76], и решил наконец осуществить давно задуманный план. До сих пор я не мог его выполнить из-за того, что не хотел расставаться с отцом. Коротко говоря, план состоял в том, чтобы организовать торговую и одновременно исследовательскую экспедицию в области, где ныне находятся Свободное государство[77] и Трансвааль, и проникнуть как можно дальше на север. Довольно рискованное предприятие: хотя бурские переселенцы тогда уже начали оседать на этих землях, огромные территории оставались практически совершенно неизученными. Но я был теперь одинок, никого не интересовало, что станет со мной. Я решился на это путешествие, движимый неодолимой страстью к приключениям, от которой не избавился и теперь, в старости, и которая, вероятно, станет причиной моей смерти.

Собираясь в путь, я распродал все имущество, все пожитки, какие у нас были, и оставил себе только два лучших фургона с лучшими упряжками волов. На вырученные деньги я купил самые ходкие товары, оружие и боеприпасы. Мое вооружение вызвало бы веселый смех у любого современного путешественника, но я неплохо с ним поохотился. Начну с гладкоствольной капсюльной одностволки «рура». Она заряжалась щепоткой черного пороха грубого помола и выпаливала пулей весом в целых три унции. Из этого «рура» я убил много слонов, хотя отдача буквально отшвыривала меня назад, так что я пользовался им только в крайнем случае. Лучшим в моей коллекции оружия было, вероятно, двуствольное охотничье ружье двенадцатого калибра, к сожалению кремневое. Кроме того, я взял с собой несколько старых мушкетов с сошками, из которых с равными шансами можно было попасть или не попасть в цель с расстояния семидесяти ярдов. Я купил трех хороших лошадей, которые считались «просоленными», то есть невосприимчивыми к болезням.

Меня сопровождали шестеро кафров. Среди них выделялся старик по имени Индаба-Зимби, что в переводе означает Железный Язык. Думаю, что он получил свое прозвище за резкий голос и неистощимое красноречие. В некотором смысле это был человек весьма значительный, в свое время пользовавшийся известностью как колдун соседнего племени. Пожалуй, стоит рассказать, при каких обстоятельствах Индаба-Зимби явился в

миссию, тем более что он играет значительную роль в моем рассказе.

Как-то года за два до смерти отца я бродил по окрестностям, разыскивая двух пропавших волов. После долгих и безрезультатных поисков мне пришло в голову отправиться к вождю кафров (не помню уж, как его звали), у которого было много волов. Его крааль находился примерно в пятидесяти милях от нашей миссии. Там я вскоре обнаружил свою пропажу. Вождь гостеприимно встретил меня, и на следующее утро, перед уходом, я пошел к нему, чтобы выразить на прощание свое почтение. К моему удивлению, он был окружен несколькими сотнями мужчин и женщин. Все они тревожно вглядывались в небо, где сгущались зловещие грозовые тучи.

— Подожди, белый человек, — сказал вождь, — погляди, как колдуны, вызывающие дождь, станут бороться с молнией.

В ответ на мои расспросы он рассказал, что положение главного кудесника уже несколько лет занимал человек по имени Индаба-Зимби, не принадлежавший к этому племени. Он родился в стране, называемой ныне Зулулендом. Однако в последнее время у него появился соперник в оккультных науках. Это был один из сыновей вождя, лет под тридцать. Индаба-Зимби возмутился, и между двумя колдунами возникла вражда. В результате один из них предложил сопернику пройти испытание молнией, и тот принял вызов. Условия испытания были такие: дождавшись очень сильной грозы, — обычная не годилась, — колдуны, вооруженные ассегаями, становились в пятидесяти шагах друг от друга в том месте, куда часто ударяет молния. Тут они и должны показать свои сверхъестественные способности, чтобы заклинаниями отвратить смерть от себя и направить молнию на соперника. Условия своеобразной дуэли были согласованы еще месяц назад, но за это время не случилось ни одной достаточно сильной грозы. Теперь же местные знатоки погоды считали, что приближающаяся гроза будет в самый раз.

Я спросил, что произойдет, если молния не поразит ни одного колдуна. Мне ответили, что в таком случае придется дожидаться следующей грозы. Если же колдуны избегнут молнии и во второй раз, значит, они одинаково могущественны и в важных случаях племя будет советоваться с обоими.

Я решил отложить уход и посмотреть небывалое зрелище. К полудню я начал сожалеть, что остался: хотя на западе небо все темнело и темнело, а неподвижный воздух был, казалось, насыщен грозой, буря все не разыгрывалась. Однако часам к четырем стало ясно, что теперь ждать недолго — до заката солнца, как сказал старый вождь. Вместе со всеми я направился к месту поединка. Крааль стоял на вершине холма, полого

спускавшегося к реке, протекавшей в полумиле. На берегу и находился участок, который, как утверждали туземцы, «любила молния». Кудесники заняли там свои места, зрители же расселись на склоне холма, ярдах в двухстах от них. Как мне показалось, слишком близко: если молния упала бы, амфитеатр мог оказаться малоприятным местечком. Через некоторое время меня одолело любопытство, и я спросил вождя, нельзя ли мне осмотреть арену боя. Он сказал, что я могу это сделать, но только на свой риск. Я заверил его, что небесный огонь не поражает белых людей, спустился к кудесникам и увидел, что под ногами у них на поверхность земли выходят залежи железной руды, кое-где поросшие травой. Потому-то, конечно, земля здесь как бы притягивала молнии. Противники стояли спиной друг к другу на противоположных концах месторождения руды: Индаба-Зимби — лицом к востоку, второй — к западу. Перед каждым горел костерчик, сложенный из веток пахучего кустарника. Они разоделись, как подобало представителям их профессии: на них были змеиные кожи, рыбьи пузыри и Бог знает что еще. На шеях красовались ожерелья из зубов бабуина и косточек кисти руки человека. Сначала я отправился на западный конец, где стоял сын вождя. Он протянул ассегай к приближающейся грозовой туче, взволнованно заклиная ее:

Ударь, молния, уничтожь Индаба-Зимби!
Слушай меня, Демон бури, слизни Индаба-Зимби своим
красным языком!
Плюнь на него дождем своим!
Преврати его в ничто, сделай жижей мозг костей его!
Сотри его дыханием своим!
Проткни его сердце и выжги там ложь!
Покажи всем, кто истинный ловец колдунов![78]
Не опозорь меня на глазах у белого человека!

Так этот красивый мужчина приговаривал или, вернее, пел, все время натирая свою широкую грудь какой-то грязной смесью из разных снадобий, или *моути*.

Скоро пение колдуна наскучило мне, и я направился по железняку к Индаба-Зимби, сидевшему у своего костерчика. Он не пел, но действия его были куда более впечатляющими. Индаба-Зимби пристально глядел на восточную половину неба, совершенно еще свободную от туч, время от времени указывал туда пальцем, а затем поворачивался и направлял свой ассегай в сторону соперника. Я долго его разглядывал. Это был странный,

как будто высохший человек, на вид лет пятидесяти с небольшим. Тонкие руки его казались крепкими, как железный трос. Нос у него был гораздо тоньше, чем у большинства людей его расы. Странная привычка почти при каждом слове по-птичьи наклонять голову набок и насмешливое выражение глаз придавали ему довольно комичный вид. Другой его особенностью была совершенно белая прядь, резко выделявшаяся в шапке черных волос. Я заговорил с ним.

— Друг мой, Индаба-Зимби, — сказал я, — может, ты и хороший знахарь, но, несомненно, глупец. Какой смысл тыкать пальцем в голубое небо, когда твой противник опередил тебя и к нему приближается гроза.

— Может, ты и умен, но не думай, что знаешь все, белый человек! — ответил старик дребезжащим голосом и зловеще осклабился.

— Тебя, я слышал, называют Железным Языком, — продолжал я. — Пусти его в ход, не то Демон бури тебя не услышит.

— Небесный огонь спускается по железу, — ответил он, — поэтому я придерживаю язык. Пускай проклинает, скоро я с ним покончу. А теперь гляди, белый человек!

На восточной половине неба появилась туча. Небольшая, очень черная, она росла с необычайной быстротой.

Я наблюдал такие явления и раньше, а потому не очень удивился. В Африке нередко две грозовые тучи идут с разных сторон навстречу друг другу.

— Лучше уходи, Индаба-Зимби, — сказал я, указывая на запад. — Скоро придет большая гроза и живо пожрет твоего младенца.

— Из младенцев иногда вырастают великаны, белый человек, — ответил Индаба-Зимби и погрозил пальцем. — Взгляни-ка теперь на мою тучу-младенца.

Я взглянул. Грозовая туча на востоке протянулась от земли до зенита и походила на огромного мужчину. Вот голова, плечи, ноги… Она напоминала гиганта, шествующего по небосводу. Из-под нижнего края западной грозовой тучи выбивались лучи заходящего солнца и заливали ярким светом часть неба, остававшуюся свободной. Освещая тучу-великана, они окрашивали ее среднюю часть в цвета и оттенки, не поддающиеся описанию. Но ноги и голова великана оставались смоляно-черными. Вдруг в передней части тучи произошел как бы взрыв, ослепительная вспышка света увенчала голову гиганта короной из живого огня и исчезла.

— Ага, — захихикал Индаба-Зимби, — мой мальчуган надевает головное кольцо мужчины, — и он постучал пальцем по кольцу из латекса

на своей голове; туземцы получают право носить такие кольца, лишь достигнув определенного возраста и положения. — Ну, а теперь, белый человек, если только ты не больший кудесник, чем мы, тебе лучше убраться отсюда. Сейчас начнется огненный поединок.

Совет показался мне разумным.

— Желаю тебе удачи, черный дядюшка, — сказал я. — Надеюсь, в конце твоей понапрасну прожитой жизни грехи не окажутся слишком тяжким бременем.

— Заботься о себе и думай о своих грехах, молодой человек, — ответил он с сардонической улыбкой и понюхал щепотку табаку.

В тот же миг молния из тучи (я не видел, из какой именно) ударила в землю шагах в тридцати от нас. Я поспешил убраться подобру-поздорову. Удирая, я услышал, как Индаба-Зимби сухо рассмеялся.

Я поднялся на холм, где сидел вождь в окружении своих индун, или старейшин, и уселся поблизости. Вглядевшись в его лицо, я заметил, что он очень тревожится за сына и, видно, не верит, что тот способен противостоять чарам Индаба-Зимби. Вождь что-то тихо говорил сидевшему рядом. Я сделал вид, что поглощен увлекательным зрелищем и не прислушиваюсь. Но в те дни у меня был чрезвычайно острый слух, и я уловил содержание разговора.

— Слушай! — говорил вождь. — Если Индаба-Зимби возьмет верх над моим сыном, я не стану больше терпеть. Если ему удастся убить сына, знаю, он и меня убьет, чтобы самому стать вождем. Я боюсь Индаба-Зимби. О-о!

— Кудесник может издохнуть, как пес, — ответил индуна, — а дохлые псы не кусаются.

— Да, мертвые кудесники больше не колдуют, — согласился вождь и, наклонившись к самому уху индуны, что-то прошептал, не сводя глаз со своего ассегая.

— Хорошо, отец мой, хорошо! — с готовностью ответил индуна. — Сегодня ночью. Если меня не опередит молния.

«Плохо дело старины Индаба-Зимби, — подумал я. — Они собираются его убить».

Но тотчас же отвлекся от этой мысли, настолько величественная картина развертывалась перед моими глазами.

Грозовые тучи быстро сближались, между ними оставалась узкая полоска голубого неба. То и дело от тучи к туче перебегали вспышки ослепительного света. Я вспомнил языческого бога — Юпитера-громовержца. Туча, похожая на великана в короне из лучей заходящего

солнца, могла сойти за Юпитера. Сверкавшие в ней молнии были под стать мифологическому метателю огненных стрел. Как ни странно, за молниями не следовали раскаты грома. Кругом была мертвая тишина: скот неподвижно стоял на склоне холма, туземцы испуганно молчали. Темные тени наползали на холмы, реку справа и слева от нас окутали клубы тумана, но перед нами она блистала серебряной лентой под становящейся все уже полоской голубого неба. Вспышки нестерпимо яркого света пронизывали западную тучу, а чернильно-черная голова облачного великана на востоке внезапно освещалась мертвенно-бледным сиянием, которое то усиливалось, то меркло, как бы пульсируя. Казалось, что сердце бури нагнетает в тучи огненную кровь.

Молчание становилось все более зловещим, тени все чернели и чернели, и вдруг природа застонала под дыханием ледяного ветра. Проносясь порывами над рекой, он поднимал мелкую зыбь на ее ровной раньше поверхности. Высокая трава наклонялась до земли. К шуму ветра присоединились шипящие звуки ливня.

Ага! Вот тучи и сошлись! Из обеих вырвались языки ужасающе яркого пламени, холм, на котором мы сидели, содрогнулся от раскатов грома. Потом небесный свет померк — и нас окутал мрак, но ненадолго. Вскоре все вокруг высветилось непрерывно чередующимися вспышками. При их свете можно было различить детали пейзажа за несколько миль от нас. А через миг даже людей, сидевших рядом со мной, поглотила тьма. Гром гремел и грохотал, словно труба, зовущая на страшный суд. То тут, то там высоко в воздух вздымались смерчи, крутившие пыль и даже камни. И все это сопровождалось шумом низвергающегося ливня.

Я прикрыл глаза рукой, чтобы защититься от яростного света, и смотрел в ту сторону, где железняк выходил на поверхность. При вспышках молнии я видел прорицателей. Они медленно сходились, направив ассегаи друг на друга. Я различал каждое их движение, и мне казалось, что молнии, ударяясь в породу, окружили их огненным кольцом.

Вдруг гром и молния разом прекратились, воцарились мрак и тишина, слышался лишь шум дождя.

— Что ж, вождь! — крикнул я в темноту. — Поединок окончен!

— Погоди, белый человек, погоди, — ответил вождь, и в голосе его звучали тревога и страх.

Не успел он произнести эти слова, как небо охватило яркое пламя. Мы увидели обоих кудесников — их разделяло не более десяти шагов. Огромная молния ударила в землю между ними, и они зашатались. Индаба-Зимби первым пришел в себя, — во всяком случае, при свете следующей

молнии он стоял уже совершенно прямо, направив ассегай на противника. Сын вождя тоже держался на ногах, но шатался, словно пьяный, и ассегай выпал у него из рук.

Мрак! И снова вспышка, еще более ужасная (если это только возможно), чем все предшествующие. Мне показалось, что молния ударила с востока и пронеслась над головой Индаба-Зимби. В следующий миг она как бы заключила в себя сына вождя, он оказался в самой ее сердцевине. Затем оглушительно прогрохотал гром, на нас низверглись потоки дождя, и больше ничего не было видно.

Буря постепенно ослабевала, но в беспросветном мраке никто не решался двинуться с места. К тому же, я не спешил покинуть безопасный склон холма, куда молния никогда не ударяла, и спуститься вниз. Иногда еще вспыхивали зарницы, но кудесников не было видно. Я не сомневался, что оба погибли. Тучи медленно уплывали в сторону низовий реки, дождь прекратился. В небе засверкали звезды.

— Пойдем посмотрим, — сказал старый вождь, поднимаясь с земли и стряхивая воду с волос. — Огненный поединок закончен. Узнаем, кто победил.

Я встал и пошел за ним. На мне не осталось сухой нитки, будто я проплыл сотню ярдов не раздеваясь. За мной следовали все жители крааля.

Мы подошли к арене состязания. Даже при слабом свете звезд я различал места, где молния расщепила и оплавила железняк. Пока я осматривался по сторонам, справа от меня глухо застонал вождь, вокруг него столпился народ. Я приблизился. На земле лежал труп его сына. Страшное зрелище! Волосы на голове сгорели, медные браслеты, украшавшие руки, расплавились, древко ассегая, валявшееся поблизости, разлетелось в щепки. Я взял мертвого за руку, и мне показалось, что в ней раздроблены все кости.

Мужчины, окружавшие вождя, стояли молча, женщины рыдали.

— Индаба-Зимби — великий колдун, — сказал наконец один мужчина.

Вождь повернулся и с размаху ударил его палицей.

— Великий или нет, пес ты этакий, — вскричал вождь, — но он умрет! И ты тоже, если будешь его прославлять.

Я промолчал, так как думал, что Индаба-Зимби постигла судьба его противника. Однако, осмотрев все кругом, я нигде не нашел и следа его. Наконец, продрогнув насквозь в мокрой одежде, я отправился к своему фургону, чтобы переодеться. Там я, к своему удивлению, увидел на облучке кафра, завернувшегося в одеяло.

— Эй! Слезай отсюда! — сказал я.

Человек медленно развернул одеяло и неторопливо заложил в нос понюшку табаку.

— Недурной огненный поединок?! А, белый человек?! — произнес Индаба-Зимби своим громким дребезжащим голосом. — Только где ему было выстоять против меня. Бедный мальчик! Ничего он в этих делах не смыслил. Печально, очень печально, но я навлек на него молнию, не так ли? Видишь, белый человек, к чему приводит самонадеянность юности.

— Старый обманщик, — сказал я. — Если не будешь осторожнее, скоро узнаешь, к чему приводит самонадеянность старости. Вождь разыскивает тебя, и понадобится все твое колдовство, чтобы отклонить удар его ассегая.

— Неужели? — сказал Индаба-Зимби, поспешно слезая с облучка. — И все из-за этого несчастного самозванца! Вот что такое людская благодарность, белый человек! Я его вывел на чистую воду, а они хотят меня убить. Что ж, спасибо за предупреждение. Мы с тобой еще встретимся.

И он исчез с быстротой пули. Как раз вовремя, потому что к фургону уже подходили люди вождя.

На следующее утро я отправился домой. Первый, кого я увидел в миссии, был Индаба-Зимби.

— Как поживаешь, Макумазан? — сказал он, наклонив голову набок и тряся своей белой прядью. — Слышал, вы тут все христиане, а я хочу испробовать новую веру. Моя старая, видно, никуда не годится, раз люди хотели убить меня за то, что я открыл обман.

Глава III. На север

Я не извиняюсь ни перед собой, ни перед будущими читателями этого повествования за то, что рассказал о встрече с Индаба-Зимби. Во-первых, история эта любопытна сама по себе, а во-вторых, колдун сыграл немалую роль в последующих событиях. Если старик и был обманщиком, то очень ловким. Не буду говорить о том (хотя, может, и составил мнение на этот счет), действительно ли он обладал сверхъестественными способностями, как утверждал. Несомненно одно: он оказывал исключительное влияние на других туземцев. К тому же, ловкач сумел обвести вокруг пальца моего бедного отца. Сначала старый джентльмен отказался допустить его в миссию, поскольку терпеть не мог кафрских кудесников, этих ловцов колдунов. Но Индаба-Зимби убедил его, что хочет постичь истины христианства, и вызвал на дискуссию. Полемика продолжалась целых два года — до самой смерти отца. В конце каждого диспута Индаба-Зимби повторял белому проповеднику слова римского правителя: «Ты убедил меня стать христианином», но на деле так им и не стал. Думаю, у него такого намерения никогда и не было. Именно ему адресовал отец «Письма неверующему туземцу». Этот труд, к сожалению, так и оставшийся в рукописи, изобилует мудрыми изречениями и ссылками на ученые сочинения. Хорошо бы его опубликовать вместе с кратким изложением устных ответов неверующего.

Спор не прекращался ни на день. Думаю, что если бы отец оставался в живых, он продолжался бы и поныне, поскольку у обоих полемистов был неистощимый запас аргументов. Индаба-Зимби получил тем временем разрешение жить у нас, в миссии. Отец поставил ему лишь одно условие — не заниматься колдовством, которое он причислял к козням дьявола. Зулус охотно дал обещание, но не было случая, чтобы заинтересованные лица не получали у него консультации, если, например, пропадал вол или кого-либо постигала внезапная смерть.

После того как он уже прожил с нами год, к нему явилась депутация племени, которое он покинул. Они просили его вернуться. Со времени его ухода, говорили они, дела их пошли плохо, а его враг — старый вождь — недавно скончался. Старый Индаба-Зимби молча слушал, пальцами ног сгребая песок в кучку. Когда они кончили, он сказал, разбросав кучку:

— Вот что произойдет с вашим племенем раньше, чем кончатся три месяца. Ничего от вас не останется. Вы прогнали меня. Но когда вас будут

убивать, вспомните мои слова.

Посланцы ушли. Месяца три спустя до меня дошла весть, что все племя уничтожено воинами пондо.

Закончив наконец приготовления к экспедиции, я отправился попрощаться с Индаба-Зимби. К моему удивлению, он увязывал в одеяла свои зелья, ассегаи и другие пожитки.

— До свидания, Индаба-Зимби, — сказал я. — Ухожу на север.

— Да, Макумазан, — ответил он, склонив голову набок. — И я тоже. Хочу побывать в тех местах. Пойдем вместе.

— Вот как! — сказал я. — Подожди, пока тебя пригласят, старый обманщик.

— Тогда лучше пригласи меня, Макумазан, а не то ты никогда не вернешься назад. Теперь, когда старый вождь (это о моем отце) ушел туда, откуда приходят грозы, — он показал на небо, — я чувствую, что возвращаюсь к прежним привычкам. Вот, к примеру, прошлой ночью я бросил гадальные кости, чтобы разузнать кое-что о твоем путешествии. Могу заверить тебя: если не возьмешь меня, то погибнешь. А главное, самым удивительным образом потеряешь того, кто станет тебе дороже жизни. Два года назад ты предупредил меня об опасности, только потому я и решил отправиться с тобой.

— Не болтай чушь, — сказал я.

— Что ж, отлично, Макумазан, отлично! Но ты слышал, что сталось с моим племенем шесть месяцев назад? И что я предсказал это посланцам? Они прогнали меня — их нет больше. Если ты прогонишь меня, тебя тоже скоро не станет. — Он тряхнул своей белой прядью и улыбнулся.

Я суеверен не больше, чем другие люди, но должен признаться: старый Индаба-Зимби произвел на меня довольно сильное впечатление. К тому же, я знал, каким необычайным авторитетом он пользуется среди туземцев, независимо от занимаемого ими положения, и решил, что хотя бы поэтому он сможет быть мне полезен.

— Хорошо, — сказал я. — Назначаю тебя ловцом колдунов в экспедиции, но без жалованья.

— Правильно, — кивнул он. — Сначала послужи, потом требуй платы. Рад за тебя: ты наделен воображением и не оказался поэтому безнадежным глупцом, как большинство белых людей, Макумазан. Да, да, именно недостаток воображения делает людей глупцами: они не верят в то, чего не понимают. Вы не можете постичь мои пророчества, совершенно так же как тот дурачок в краале не мог понять, что я превосхожу его в умении обращаться с молниями. Что ж, пора отправляться. Но будь я на твоем

месте, Макумазан, я двинулся бы в путь с одним фургоном, а не с двумя.

— Почему? — спросил я.

— Потому что ты потеряешь свои фургоны. Так уж лучше потерять один, чем два.

— Что за глупости! — сказал я.

— Прекрасно, Макумазан, поживем — увидим.

Не сказав больше ни слова, он направился к переднему фургону, положил в него свой тючок и уселся впереди.

Я же тепло попрощался с моими белыми друзьями, включая старого шотландца, который по этому случаю напился и цитировал Бернса, пока слезы не закапали у него из глаз. После этого я наконец отправился в путь и медленно двинулся на север.

В первые три недели не произошло ничего примечательного. Встречавшиеся нам кафры вели себя дружелюбно, дичи было великое множество. Никто из тех, кто живет ныне в этой части Южной Африки, не может даже представить себе, каким был велд всего тридцать лет назад.

Часто на рассвете, дрожа от холода, я вылезал на козлы фургона и оглядывался вокруг. Сначала передо мной расстилался только белый туман, окрашенный на востоке трепетным золотистым свечением. Над этой завесой, словно гигантские маяки, возвышались вершины каменных холмов. В море тумана раздавались странные звуки — храп, ворчание, рев, топот бесчисленных копыт… Постепенно непроницаемая пелена становилась тоньше, таяла в воздухе, как дым из трубы. Миля за милей взору открывалась неровная местность, кое-где поросшая кустарником. Но она не была пустынной, как теперь. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, стояли или переходили с места на место различные животные, земля казалась из-за них черной.

Вот справа от меня стадо антилоп гну, насчитывающее не менее двух тысяч голов. Одни пасутся, другие резвятся, подкидывая в воздух белые хвосты. А на холмиках застыли старые самцы, подозрительно нюхая воздух. Впереди, по крайней мере в тысяче ярдов от меня — неопытному глазу из-за поразительной прозрачности воздуха расстояние показалось бы гораздо меньшим, — вереницей движется целое стадо горных козлов. Ага, они подошли к следам, оставленным нашим фургоном, и те им явно не понравились. Что теперь? Пойдут назад? Вот еще! От одной колеи до другой чуть ли не тридцать футов, но разве это препятствие для горных козлов? Вот первый взметнулся в воздух, словно мяч. Как красива его золотистая шкура, освещенная солнцем! Он делает прыжок, за ним следуют его многочисленные товарищи. Только сосунки, у которых еще не

хватает сил прыгнуть так далеко, перебираются через сомнительный след, испуганно мыча. А это что за животные там, в лощинке у подножия холма, поднимающие головы выше верхушек мимозы? Клянусь святым Георгом, это жирафы. Их трое. Сегодня на ужин у нас будут мозговые кости. Чу! За нами задрожала земля, и через гребень высотки перемахнуло большое стадо антилоп бубалов. Похожие на бородатых козлов, они несутся галопом, низко опустив крупные головы. Так я и думал — их преследует стая диких собак. Дикие собаки бегут с громким лаем, шерсть взъерошена, языки высунуты. Вспугнутые жирафы мчатся прочь. Когда они огибают холм, они напоминают мне судно при сильной качке. Увы, мы все же останемся без мозговых костей. Взгляните! Передние дикие собаки приближаются к самцу-бубалу. Он долго скакал галопом и изрядно утомлен. Одна прыгает на него сбоку, но бубал успевает отскочить в сторону. Он издает нечто вроде стона, дико озирается и замечает фургон. Какое-то мгновение животное, видимо, колеблется, потом в отчаянии бросается к фургону и падает среди волов. Дикие собаки, тяжело дыша, останавливаются шагах в тридцати и злобно рычат. Бери ружье, мальчик, нет, не винтовку, а охотничье ружье, заряженное картечью.

Бах! Бах! Итак, друзья мои, двое из вас никогда больше не будут охотиться за антилопами. А мы антилопу не тронем, она искала у нас убежища и найдет его.

О! Как прекрасна природа, пока не приходит человек, чтобы испоганить ее!

Такое я наблюдал сотни раз, и надеюсь увидеть еще раз до того, как настанет мой срок умереть.

Первое настоящее приключение в этом путешествии связано со слонами. О нем стоит рассказать, так как завершилось оно самым любопытным образом. Недалеко от реки Оранжевой мы очутились в лесу, тянувшемся вдоль берега полосой шириной около двадцати миль. В лесу мы заночевали, выбрав восхитительную открытую лужайку. В нескольких ярдах от нас начинались заросли травы тамбоуки высотой в рост человека. Вернее, они были когда-то такой высоты, потому что теперь лишь кое-где виднелось несколько уцелевших стеблей, остальные же были вытоптаны. Мы разбили лагерь уже в сумерках, но когда поднялась луна, я отошел от костра, чтобы оглядеться. С одного взгляда я понял, что тут случилось: несколькими часами раньше по высокой траве проходило большое стадо слонов. Их следы меня очень обрадовали. Я неоднократно и раньше видел диких слонов, но ни разу мне не удавалось подстрелить хоть одного. Да и вообще для африканского охотника след слона то же, что для

золотоискателя золотая крупинка в лотке. Он живет слоновой костью. Добыча ее — охотой ли она получена или путем обмена на товары — главная цель его жизни. Я быстро решил оставить пока фургоны в лесу, а сам преследовать слонов верхом на лошади.

О своем намерении я сказал Индаба-Зимби и другим кафрам. Они не прочь были отправиться со мною. Кафры любят поохотиться. Это способ провести время и добыть много мяса. Индаба-Зимби вел себя таинственно. Он отошел в сторону, развел костерчик и приступил к таинственным манипуляциям с костями и глиной, в которую подмешал пепел. Остальные кафры с величайшим интересом следили за его действиями. Наконец он поднялся, подошел ко мне и сообщил, что все в порядке: я поступаю правильно, собираясь на охоту за слонами, и добуду много слоновой кости. Однако он посоветовал мне охотиться пешим. Я ответил, что слышать об этом не желаю, поскольку твердо решил ехать на лошади. С тех пор я стал умнее. То был первый и последний раз, когда я пытался охотиться верхом на слонов.

Мы покинули лагерь на рассвете. Нас было пятеро: Индаба-Зимби, я и еще трое кафров. Остальных я оставил в лагере с фургонами. Я ехал верхом. По моему примеру сел на коня и погонщик волов — хороший наездник и неплохой для кафра стрелок. Индаба-Зимби и двое других шли пешком. С рассвета до полудня мы двигались по следам стада. Впрочем, след скорее напоминал проезжую дорогу. Затем мы расседлали коней, чтобы дать им отдохнуть и попастись, а около трех часов пополудни снова тронулись в путь. Прошло около часа, а слонов мы все не видели. Стадо, верно, двигалось быстро и успело уйти далеко. Я уже готов был отказаться от погони, как вдруг заметил вдали что-то коричневатое, движущееся через заросли колючего кустарника на склоне холма. Нас разделяло расстояние примерно в четверть мили. Мне показалось, что сердце мое сейчас выпрыгнет из груди. Покажите мне охотника, который не почувствовал бы того же при виде своего первого слона.

Я велел спутникам остановиться. Ветер был встречным, и мы попытались перехватить слона. Сдерживая лошадь, я тихо съехал по склону холма к подножию, окруженному густым кустарником. Здесь только что паслись слоны — повсюду валялись сломанные сучья и вырванные с корнем деревья. Однако это скользнуло мимо моего сознания, все мои мысли были заняты слоном, которого я преследовал. Вдруг лошадь подо мной шарахнулась так, что я чуть не вылетел из седла. В то же мгновение передо мной что-то шумно поднялось с земли. Ярдах в четырех от себя я увидел зад другого слона. На мгновение стали видны и его огромные

оттопыренные уши. Слон, чей сон я потревожил, бросился бежать.

Разумнее всего, конечно, было оставить его в покое, но в те времена я был молод и глуп. Повинуясь мгновенному побуждению, я вскинул мое ружье для охоты на слонов и поверх головы лошади выпалил в великана. Отдача тяжелого ружья едва не сбросила меня с коня. Я тут же увидел, что животное сделало рывок вперед: пуля в три унции весом, попавшая в бок, способна дать здоровенный толчок даже слону. Я уже понимал, какой глупостью был мой выстрел, и надеялся только на то, что слон не обратит на меня внимания. Но гигант поступил иначе. Он замедлил бег, приседая к земле, потом повернулся и, издавая трубные звуки, с поднятыми ушами и хоботом ринулся на меня. Я был совершенно беззащитен, поскольку не успел перезарядить ружье, и решил спасаться бегством. Крепко сдавил я пятками бока коня, но конь не стронулся с места и на дюйм. Бедное животное было парализовано ужасом и стояло неподвижно, выставив передние ноги и дрожа как осиновый лист.

Слон продолжал нестись на меня, и вид его был страшен. Я еще раз попытался образумить лошадь, но тут над моей головой взвился хобот огромного слона. Опасность подстегнула мысль. Со скоростью молнии я скатился с коня. Рядом лежало упавшее дерево в обхват, пожалуй, с туловище взрослого мужчины. Сломанные ветви, принявшие на себя тяжесть дерева при его падении, поддерживали ствол над землей. Одним движением, так быстро, как этого требовали обстоятельства, я бросился под дерево. И тут же услышал, как хобот слона с глухим стуком опустился на спину коня. Несчастное животное свалилось с переломанным хребтом поперек ствола, под которым я скрючился. В моем убежище сразу стало темно. Через каких-нибудь десять секунд слон обмотал хоботом шею своей жертвы и одним могучим рывком отбросил мертвую лошадь от дерева. Я отполз назад, как можно ближе к переплетенным корням. Мне уже было ясно, чего именно добивается слон. И верно — красный кончик хобота стал приближаться ко мне. Если б ему удалось обвить мою руку или ногу, мне пришел бы конец. Но я так вжался в корни, что слон не мог этого сделать, хотя встал на колени, чтобы удобнее было действовать хоботом, напоминавшим большую змею с разверстой пастью. И все-таки он умудрился сорвать с меня шляпу, вытащил ее и куда-то забросил. Потом яростно затрубил и снова принялся шарить под деревом. Мне показалось, что его и без того длинный хобот еще удлиняется. Вот он уже в четырех дюймах от моей головы. О Небо! Он схватил меня за волосы! К счастью, я был довольно коротко острижен. Но и это не помогло, еще миг — и он выдрал волосы с корнем, сорвав при этом четверть квадратного дюйма

кожи с моего черепа. Теперь настала моя очередь кричать. Меня ощипывали заживо, как подчас ощипывают еще трепещущую птицу жестокие поварята.

Однако слону этого было мало.

Разочарованный незначительными успехами своих стараний, он изменил тактику: обмотал хоботом упавшее дерево и попытался приподнять его. Ствол немного сдвинулся с места, но, к моей великой радости, его удерживали сломанные ветви, застрявшие в болотистой почве, и часть корней, вырванных не до конца из земли. Перевернуть дерево слону не удалось, однако оно приподнялось настолько, что будь мой преследователь поумнее, он теперь легко вытащил бы меня хоботом. Слон же, напрягаясь изо всех сил, упрямо продолжал поднимать дерево. Тут я понял, что в конце концов он его поднимет, и громко завопил, призывая на помощь. В ответ поблизости раздалось несколько выстрелов. Конечно, ни одна пуля не попала в слона, а если бы и попала, то только подстегнула бы его. Мне было ясно, что через несколько секунд я лишусь убежища и буду уничтожен. При мысли о неминуемой гибели я весь покрылся холодным потом. И вдруг я вспомнил: ведь у меня есть пистолет, которым я часто пользовался, чтобы прикончить раненую дичь. Он лежал в чехле, подвешенном к поясу, и был заряжен. К этому времени слон успел приподнять дерево настолько, что я легко дотянулся до пояса, вытащил пистолет и взвел курок. Между тем ствол поднимался все выше, и вот в каких-нибудь трех футах от моей головы я увидел огромный коричневый хобот. Приставив дуло пистолета чуть ли не к самому хоботу, я выстрелил. Ствол мгновенно свалился на землю, придавив мою ногу, и тут же послышался сильный треск и топот. Слон убежал.

Страх, который я испытал, и неравное единоборство лишили меня последних сил. Не помню, как я выбрался из-под тяжелого дерева, не знаю, что было дальше. Очнулся я, почувствовав приятный вкус во рту. Оказалось, что я уже сижу на земле, потягивая персиковую водку из фляжки, а напротив меня расположился старый Индаба-Зимби. С мудрым видом он кивал своей белой прядью и предавался рассуждениям: если бы я послушался его совета и охотился на слона пешим, я не потерял бы коня и не очутился бы сам на волосок от гибели.

Я встал и отправился посмотреть на лошадь. Удар хобота обрушился на седло, разломал его, сделав совершенно непригодным, и перебил хребет коню. Помедли я хоть секунду, тот же хобот обрушился бы на меня! Я позвал Индаба-Зимби и спросил, куда ушли слоны.

— Туда! — сказал он, махнув рукой в сторону лощины. — Пойдем-ка

за ними, Макумазан. До сих пор нам не везло, пусть же повезет теперь.

В его словах имелось рациональное зерно, хотя, говоря по правде, в тот момент я отнюдь не горел желанием продолжать охоту на слонов. Мне казалось, что с меня уже хватит. Однако достоинство мое не позволяло поднимать белый флаг в присутствии слуг, и я с деланной готовностью согласился. Мы отправились в путь: я — верхом на второй лошади, остальные — пешком. Так мы двигались по долине около часа. И вдруг увидели все стадо, в котором можно было насчитать больше восьмидесяти голов. Впереди стада темнели заросли кустарника, такие густые, что слоны, видимо, не решались в них войти, а взобраться наверх они не могли — слишком круто обрывались в этом месте скалистые склоны долины.

Слоны заметили нас в тот же миг, когда мы увидели их. Я испугался: а вдруг им вздумается повернуть назад по лощине и атаковать нас. Но они этого не сделали: громко трубя, слоны бросились в чащу, кустарник валился под их натиском, как кукуруза под ударами серпа. За всю свою жизнь я, наверное, не слышал такого шума и треска, какой производили слоны, продираясь сквозь кусты и деревья. За кустарником простиралась полоса частого леса шириной от ста до ста пятидесяти футов. Стадо крушило на своем пути все, что ни попадалось, оставляя за собой дорогу, заваленную вырванными деревьями и сломанными ветвями. Лишь кое-где среди этого хаоса уцелевало одинокое дерево, слишком прочное даже для слонов. Они ломились все вперед и вперед, и, несмотря на препятствия, которые им приходилось преодолевать, расстояние между нами не уменьшалось. Так продолжалось на протяжении мили или даже больше, потом лес поредел, и я увидел, что вся долина за ним на протяжении пяти-шести акров поросла камышом и травой; дальше снова начинался густой лес.

У края этого травянистого участка стадо остановилось в нерешительности, — очевидно, слоны чего-то опасались. Мои люди закричали так громко, как могут кричать только кафры, и это решило дело. Во главе с раненым самцом, чей воинственный пыл, равно как и мой, видимо, поостыл, они развернулись и бросились в предательское болото. Потому что смутивший их участок местности представлял собой именно болото, хотя вода не проступала на поверхность. Первые несколько ярдов они преодолели без осложнений, впрочем, было видно, что двигаться им не так-то легко. Затем большой самец внезапно погряз в липкой торфянистой почве по самое брюхо и застрял в болоте. Он отчаянно трубил и барахтался, но остальные, не обращая на него внимания, обезумев от страха, лезли дальше, пока их не постигла та же участь. Пять минут спустя

все стадо безнадежно увязло. Чем больше старались слоны выкарабкаться из трясины, тем глубже в нее погружались. Только одной слонихе удалось выбраться на твердое место; подняв хобот, она приготовилась атаковать нас, но тут услыхала крик своего слоненка, бросилась ему на помощь и увязла вместе со всеми.

Я никогда не видел ничего подобного — ни раньше, ни позднее. Болото было покрыто огромными телами слонов, воздух заполнился криками ярости и ужаса, которые они издавали, размахивая хоботами. Время от времени ценой огромных усилий одному из чудовищ удавалось вытащить свое тело из трясины, но, сделав шаг, оно вновь застревало столь же прочно. У меня это зрелище вызывало глубокую жалость, но мои люди веселились от всего сердца.

Ну так вот, дальше нам стало много легче. Болотистая почва, в которую провалились слоны, хорошо выдерживала наш вес. К тому времени взошла луна, и мы стреляли в слонов при лунном свете. К полуночи все они были мертвы. Я бы охотно пощадил слонят и некоторых слоних, но это значило бы только обречь их на голодную смерть; прикончить их сразу было великодушнее. Раненого самца я застрелил сам, и не стану утверждать, что испытывал при этом угрызения совести. Он узнал меня и предпринял отчаянные усилия, чтобы до меня добраться. Но, к счастью, торф не выпустил его из своих объятий.

Когда взошло солнце, котловина представляла собой странную картину. Почва так цепко держала мертвых слонов, что лишь немногие упали на бок, остальные продолжали стоять, словно во сне.

Я послал за фургонами. На следующий день они прибыли, и мы разбили лагерь примерно в миле от котловины. Затем мы принялись вырезать у слонов бивни. На это ушла целая неделя. Отвратительная работа! Мы, пожалуй, не справились бы с ней, если б нам не помогли бродячие бушмены, которым мы заплатили слоновьим мясом.

Наконец и этот тяжелый труд был закончен. Слоновая кость слишком громоздка, чтобы нести ее на себе, поэтому, как только ушли наши помощники, бушмены, мы закопали бивни в землю. Мои ребята хотели, чтобы я вернулся в Капскую колонию и продал добычу, но я был полон решимости продолжать путешествие. Бивни пролежали в земле пять лет. И все же, когда я снова пришел к этому месту и вырыл их, оказалось, что они мало пострадали. Потом я продал слоновую кость за тысячу фунтов — неплохой заработок за один день стрельбы.

Так началась моя карьера охотника за слонами. С тех пор я перестрелял их несколько сотен, но никогда больше не пытался охотиться

верхом на слона.

Глава IV. Зулусские воины

Закопав бивни, я постарался получше запомнить координаты и приметы местности, чтобы отыскать слоновую кость, когда понадобится. Потом отправился дальше. Около месяца я бродил по местности, где ныне проходит граница, которая отделяет Оранжевое Свободное государство от Гриквaленд Уэста и Трансвааль от Бечуаналенда. Конечно, на моем пути встречались трудности, но это были обычные тяготы, хорошо известные всем путешественникам по Африке: частенько не хватало воды, каждая переправа через реку сулила беду. Помню, как-то я распряг волов в том месте, где сейчас стоит Кимберли, но вскоре был вынужден покинуть стоянку, потому что поблизости не оказалось ни ручейка, ни источника. Тогда я и представить себе не мог, что еще при моей жизни здесь вырастет большой город, в окрестностях которого станут добывать алмазы на миллионы фунтов в год. Очевидно, старый Индаба-Зимби был не так уж всеведущ, в его предсказаниях ничего об этом не говорилось.

Сейчас местность была совершенно безлюдной. А незадолго до этого по ней прошел, направляясь в нынешний Матабелеленд, Моселекатсе Лев, один из полководцев Чаки[79].

Однажды, когда мы двигались параллельно реке Колонг, наш путь пересекло большое стадо антилоп импала. Я выстрелил в одну и ранил ее в круп. Животное пронеслось галопом вместе со всем стадом еще около тысячи ярдов, потом легло на землю. К тому времени мы уже несколько дней не пробовали мяса, ибо ни одно четвероногое не попалось нам навстречу. Я вскочил на лошадь и, крикнув Индаба-Зимби, что догоню фургоны или перехвачу их по ту сторону холма, до которого оставалось около часа езды, поскакал к раненой антилопе.

Я успел приблизиться к ней ярдов на сто, но тут она вскочила на ноги и бросилась бежать с такой скоростью, будто пуля даже не задела ее. Однако вскоре ей снова пришлось опуститься на траву. Подумав, что силы совсем оставили ее, я спокойно направился к антилопе. Но не тут-то было — все повторилось сначала. На третий раз она скрылась за высоткой, словно испытывая мое терпение. Я прямо выходил из себя, но все же решил подняться на эту высотку и, прицелившись с вершины, послать в антилопу вторую пулю.

Так я и сделал. Достигнув гребня высотки, сплошь заваленной камнями, я взглянул на местность, расстилавшуюся за нею, и увидел…

зулусский полк!

В удивлении я протер глаза и взглянул снова. Да, сомнений не было. Воины остановились на привал у водоема примерно в тысяче ярдов от меня. Одни лежали на земле, другие что-то стряпали на кострах, третьи ходили взад и вперед с копьями и щитами в руках. Всего их могло быть около двух тысяч…

Я повернул лошадь и уперся пятками ей в бока. Спустившись по склону высотки, я взял немного вправо, чтобы перехватить мои фургоны раньше, чем их заметят зулусы. Не успел я проехать и трехсот ярдов в этом направлении, как очутился на тропе, на которой, к крайнему своему удивлению, увидел следы колес каких-то фургонов и отпечатки копыт волов. Фургонов было не менее восьми, а скота — несколько сот голов. По четкости следов я определил, что они проходили здесь часов двенадцать назад, не больше. Тогда я понял: зулусский полк преследует фургоны, принадлежащие, вероятно, бурам-переселенцам.

Следы вели в ту сторону, куда я как раз направлялся. Пришлось подниматься еще на один холм, зато с его вершины я увидел и фургоны, ставшие лагерем, и мои повозки, спускавшиеся по склону возвышенности. Лагерь был разбит на берегу реки, примерно в пяти фарлонгах[80], и через несколько минут я подъехал к нему. Буры — а это были они — вышли из своего маленького лагеря и наблюдали за приближением двух моих повозок. Я окликнул их, они повернулись и заметили меня. Одного я узнал. Звали его Ганс Бота, когда-то я был хорошо с ним знаком. Неплохой человек, но очень беспокойный, он ненавидел любую власть. Как он выражался, его одолевала «любовь к свободе». Несколькими годами ранее Ганс Бота присоединился к группе буров-переселенцев, но потом я узнал, что он поссорился с ее вожаком, и теперь снова направлялся в дикие дебри, чтобы основать собственную колонию. Бедный парень! Этот трек[81] был для него последним.

— Как поживаете, менеер[82] Бота? — спросил я по-голландски. Он взглянул на меня, потом еще раз, а затем, выйдя из своей голландской невозмутимости, закричал жене, сидевшей на облучке фургона:

— Пойди сюда, фрау, пойди сюда. Здесь Аллан Куотермэн, англичанин, сын предиканта[83]. Как живете, хеер[84] Куотермэн, что нового там, в Капской колонии?

— Не знаю, что нового в Капской колонии, Ганс, — торжественно ответил я, — а о здешних новостях расскажу: по вашему следу идет полк зулусов, и находится он сейчас в двух милях от фургонов…

На мгновение воцарилось молчание. Я заметил, как под загаром побледнели коричневые лица пораженных людей. Одна-две женщины вскрикнули, дети прильнули к ним.

— Боже всемогущий! — воскликнул Ганс. — Это не иначе как полк мтетва[85], который Дингаан послал воевать с басуто. Болота преградили им путь, а вернуться в страну зулусов они боятся. Вот и повернули на север, чтобы присоединиться к Моселекатсе…

Тут как раз подошли мои повозки. На козлах первого фургона сидел Индаба-Зимби, завернутый в одеяло. Я окликнул его и сообщил новости.

— Это дурные вести, Макумазан, — сказал он. — Завтра утром здесь будут мертвые буры. Однако до рассвета зулусы не нападут на нас. Зато они сметут лагерь с лица земли — вот так! — он провел рукой перед ртом.

— Перестань каркать, белоголовая ворона, — проворчал я, хотя знал, что он прав…

— Макумазан, последуешь ли ты на этот раз моему совету? — спросил Индаба-Зимби.

— А в чем он состоит?

— Вот в чем. Оставь здесь фургоны и садись на лошадь. Уедем отсюда как можно скорее. Зулусы не последуют за нами, они займутся бурами.

Я разыскал Ганса Боту и посоветовал ему бросить фургоны и спасаться бегством.

— Это невозможно, — ответил он. — Две наши женщины так толсты, что не пройдут и мили, третья на сносях. К тому же, у нас только шесть лошадей. А если мы и убежим, что ждет нас в пустыне? Мы погибнем там от голода. Нет, хеер Аллан, мы должны дать бой дикарям, и да поможет нам Бог!

— И правда, да поможет нам Бог. Подумай о детях, Ганс!

— Не могу думать, — ответил он прерывающимся голосом, глядя на свою дочку — чудесного кудрявого синеглазого ребенка лет шести. Ее звали Тота. Я часто возился с ней, когда она была младенцем. — О хеер Аллан, твой отец, миссионер, всегда отговаривал меня от переселения на север, но я его не слушал, считая проклятым англичанином. Теперь я вижу, что поступил как безумец. Хеер Аллан, постарайся спасти мое дитя, если проживешь дольше меня, а если не сможешь, убей ее.

И он пожал мне руку.

— До этого еще не дошло, Ганс, — сказал я.

Мы занялись приведением лагеря в боевой порядок. Фургоны — с моими двумя их стало десять — расположили квадратом. Дышло одного фургона привязали поводьями к нижней части второго и так далее. Крепко

сцепили и колеса. Потом забили свободное пространство от земли до дна фургонов ветвями колючего кустарника, известного под названием «погоди минутку». К счастью, он рос поблизости в большом количестве. Таким образом мы превратили наш маленький лагерь в достаточно сильную крепость для борьбы с противником, не имеющим огнестрельного оружия. Для наших винтовок мы оставили узкие амбразуры. За час с небольшим было сделано все, что можно было сделать. Теперь возник спор, как быть со скотом, который тем временем подогнали к лагерю. Кое-кто из буров предлагал укрыть скот в лагере, хотя он был очень мал, ну если не весь, так столько волов, сколько поместится. Я решительно возражал против этой затеи. Волов может охватить паника, как только начнется стрельба, и тогда они затопчут защитников. Я предложил другой план: поручить стадо нескольким туземным слугам, пусть гонят его по долине реки, пока не встретят дружественное племя или не окажутся в безопасном месте. Разумеется, если зулусы их заметят, беды не миновать, всех захватят. Однако в такой холмистой местности слугам скорее всего удастся спасти и себя и волов. Нельзя только медлить, надо сейчас же двигаться в путь. Мое предложение было тут же принято; более того, решили также отправить из лагеря женщин и детей, способных проделать такое путешествие, а для присмотра за ними послать одного голландца. Полчаса спустя двенадцать женщин и детей вышли из лагеря вместе с туземцами, буром, поставленным во главе группы, и скотом.

О душераздирающей сцене прощания мне даже не хочется говорить. Женщины плакали, мужчины тяжело вздыхали, бледные и испуганные дети жались к взрослым. Наконец они тронулись в дорогу, я этому только обрадовался. В лагере осталось семнадцать белых, четыре туземца, две бурские женщины, слишком тучные для длительного перехода, и дочка Ганса — Тота, с которой он не решился расстаться. Родная мать ее, к счастью, давно умерла. Тут, забегая далеко вперед, могу сообщить, что женщины и дети, а также половина скота были спасены. Зулусские воины так и не увидели их, а на третий день трудного пути беженцы достигли укрепленной ставки одного из вождей гриква, который предоставил им убежище, взяв в уплату половину скота. Оттуда путники отправились в Капскую колонию. Путешествие это было долгим, до цивилизованных мест они добрались через год с лишним после нападения на лагерь.

День клонился к вечеру, но зулусские воины все еще не подавали признаков жизни. Мы уже начали надеяться — правда, без больших на то оснований, — что они ушли дальше.

Индаба-Зимби все это время молчал. Он погрузился в глубокое

размышление, как только услышал, что полк зулусов состоит, видимо, из воинов племени мтетва. Но вот он встал, подошел ко мне и предложил отправиться в разведку. Сначала Ганс Бота решительно воспротивился: ведь Индаба-Зимби — *фердомде свартсел* — проклятый черный, кто поручится, что он не выдаст нас. Я возразил, что выдавать тут нечего, ибо зулусам и так известно, где находятся фургоны, а вот нам необходимо знать обо всех их передвижениях. В конце концов Ганс согласился отпустить Индаба-Зимби. Я сообщил ему об этом. Он кивнул своей седой головой, сказал: «Хорошо, Макумазан!» — и отправился в путь. Не без удивления я заметил, что перед выходом из лагеря он влез в фургон, чтобы захватить *моути* — зелье, которое всегда носил в кожаном мешке вместе с другими колдовскими снадобьями. Я спросил, зачем ему зелье. Он ответил: надо, теперь он неуязвим для копий зулусов…

Проходил час за часом, а мы все ждали нашествия зулусов. Но я хорошо знал обычаи туземцев: ночью они никогда не нападали, можно было не бояться, хотя в темноте им наверняка удалось бы уничтожить нас без больших потерь для себя. Однако зулусы не изменяют своим привычкам, сражаться они любят при дневном свете, предпочтительно на утренней заре.

Около одиннадцати часов — я уже стал клевать носом — раздался тихий свист. Сон мгновенно слетел с меня, и я услышал, как по всему лагерю буры защелкали затворами ружей.

— Маку мазан, — позвал меня тихий голос — голос Индаба-Зимби, — ты здесь?

— Да, — ответил я.

— Тогда посвети мне, чтобы я смог войти в лагерь, — сказал он.

— Ладно, посветим ему, — вмешался один из буров. — Не нравится мне этот ваш черный схепсел[86], хеер Куотермэн. Может, он привел с собой земляков?

Бур принес фонарь и направил свет в ту сторону, откуда раздался голос. Индаба-Зимби пришел один. Мы впустили его в лагерь и спросили, что нового.

— Новости такие, белые люди, — ответил он. — Я ждал, пока совсем не стемнело, потом подполз к лагерю зулусов, спрятался за камнем и стал слушать. Там целый полк мтетва, как и думал баас Бота. Три дня назад они напали на след фургонов и пошли за ними. Сегодня они спят, не выпуская копий из рук, а завтра на рассвете нападут на лагерь и всех перебьют. Они очень злы на буров из-за битвы у реки Блад и других сражений. Потому-то они и последовали за фургонами, вместо того чтобы идти прямо на север,

на соединение с Моселекатсе.



Среди слушавших его голландцев раздались испуганные возгласы, кто-то даже застонал.

Мы вернулись на свои посты. Мучительная ночь тянулась долго, а рассвет все не наступал. Только тот, кому приходилось стоять перед лицом неминуемой и жестокой смерти, может представить себе это томительное ожидание, длившееся часами. Но часы эти как-то прошли, и наконец далеко на востоке появилась светлая полоса. Холодное дыхание зари колыхало навесы фургонов и пронизывало меня до костей. Толстая голландка позади меня проснулась, зевнула. Но, вспомнив обо всем, громко застонала, зубы ее застучали от холода и страха. Ганс Бота подошел к своему фургону, достал бутылку персиковой водки и, наполнив жестяную кружку, дал каждому отведать крепкого напитка. Он бодрился, старался выглядеть повеселее. Однако его напускная веселость, казалось, только усиливала уныние товарищей. О себе я могу сказать это совершенно точно.

Понемногу светлело, уже можно было кое-что различить в тумане, все еще густо висевшем над рекою. И вот началось! С противоположной стороны возвышенности, ярдов за тысячу, а то и больше от лагеря, послышалось нечто вроде слабого гудения. Постепенно оно становилось все громче и наконец превратилось в пение — в устрашающую военную песнь зулусов. Вскоре я смог уже разобрать слова. Они были достаточно просты:

Будем убивать, убивать! Не так ли, братья мои?
Наши копья окрасятся кровью. Не так ли, братья мои?
Ибо нас вскормил Чака, кровь — наше молоко, братья мои!
Проснитесь, дети Мтетвы, проснитесь!
Стервятник парит, шакал принюхивается.
Про снитесь, дети Мтетвы[87], проснитесь! Кричите громче,
мужчины с кольцами на голове!
Вот враги, убьем их. Не так ли, братья мои?
Хе! Хе! Хе![88]

Таков приблизительно перевод этой ужасающей песни, которая и по сей день раздается у меня в ушах. Записанная на бумагу, она производит не такое уж жуткое впечатление. Но если бы читатель сам слышал, как отчетливо и ритмично она разносится в тихом воздухе, вырвавшись из глоток почти трех тысяч воинов, он изменил бы свое мнение.

И вот над гребнем возвышенности появились щиты. Воины шли ротами, по девяносто человек в каждой. Всего тридцать одна рота. Я сам пересчитал их. Перевалив через гребень, зулусы построились в тройную

линию и начали спускаться по склону к нашему лагерю. В полутораста ярдах, еще за пределами досягаемости наших ружей, они остановились и опять запели:

Вот крааль белых людей, маленький крааль, братья мои!
Мы его съедим, мы его вытопчем, братья мои!
Но где же скот белых людей? Где их волы, братья мои?

Последний вопрос они задавали неспроста — наш скот, конечно, очень их интересовал. Поэтому они снова и снова повторяли свою песню. Наконец вперед выступил вестник — мужчина громадного роста, с браслетами из слоновой кости на руках. Приставив ладони ко рту, он громко спросил, куда мы дели волов.

Ганс Бота взобрался на крышу фургона и проревел:

— Нечего спрашивать, сами знаете.

Тогда вестник снова прокричал:

— Да, мы видели, как угоняли скот. Мы пойдем и найдем его. А потом вернемся и убьем вас, потому что без волов вам не сдвинуться с места. Мы убили бы вас сейчас, но не можем задерживаться: скот угонят слишком далеко. А если вы попытаетесь удрать, мы все равно поймаем вас, белые люди!

Мне это показалось странным, ибо обычно зулусы сначала атакуют врага, а затем уже забирают его скот. Все же слова вестника были не лишены правдоподобия. Пока я соображал, что это может означать, зулусы, по-прежнему поротно, пробежали мимо нас к реке. Радостный крик возвестил, что они напали на след скота, и весь их полк ринулся вниз по реке и вскоре скрылся за грядой холмов, поднимавшейся примерно в четверти мили от лагеря.

Мы прождали с полчаса, даже больше. Зулусы не появлялись.

— Интересно, действительно ли ушли эти дьяволы, — сказал Ганс Бота. — Очень странно.

— Пойду посмотрю, — сказал Индаба-Зимби. — Иди и ты со мной, Макумазан. Мы подползем к гребню высотки и посмотрим, что за ней.

Я заколебался, но любопытство оказалось сильнее. В те дни я был молод, и ожидание измучило меня.

— Отлично, — сказал я, — пойдем вместе.

И мы отправились. Со мной было ружье для охоты на слонов и боеприпасы. Индаба-Зимби захватил свой мешок со снадобьями и ассегай. Мы подобрались к гребню возвышенности бесшумно и осторожно, как

охотники, выслеживающие дичь. Противоположный склон был усеян камнями, среди которых росли кусты и высокая трава.

— Они, верно, пошли вниз по течению, — сказал я. — Я никого не вижу.

Не успел я договорить, как со всех сторон раздался рев. Из-за каждого камня, из-за каждого пучка травы поднялся зулусский воин. Я взялся за ружье, но не тут-то было — меня крепко схватили и бросили на землю.

— Держите его! Крепко держите Белого духа! — кричал чей-то голос. — Держите его, а не то он ускользнет, как змея. Не причиняйте ему вреда, но держите хорошенько. Пусть Индаба-Зимби идет рядом с ним.

Я повернулся к Индаба-Зимби и воскликнул:

— Ты предал меня, черный дьявол!

— Погоди, увидишь сам, что будет, — холодно ответил он. — Сейчас начнется бой.

Глава V. Конец лагеря

Я задыхался от удивления и ярости. Что имел в виду этот негодяй Индаба-Зимби? Зачем меня выманили из лагеря и захватили, а захватив, не убили тут же? Дальнейшие мои размышления были прерваны. Воины толпами поднимались из оврага и с берега реки, где прятались. Военная хитрость удалась, и теперь полк снова построился на склоне возвышенности. Меня отвели на гребень и поместили в центре резервной линии, отдав под надзор огромного зулуса по имени Бомбиан — того самого, который играл роль вестника. Он посматривал на меня с ласковым любопытством и время от времени тыкал мне в ребра древком своего копья, вероятно, для того, чтобы убедиться, что я сделан не из воздуха.

Раза три он настойчиво умолял меня сказать, сколько зулусов будет убито, прежде чем *амабуну*, как они называли буров, окажутся «съеденными».

Тут зулусы снова запели:

Мы поймали Белого духа, о брат мой, о брат мой!
Железный язык шепнул про него, он вынюхал его, брат мой…
Теперь *амабуну* — наши, они уже мертвы, о брат мой!

Итак, этот вероломный негодяй Индаба-Зимби предал меня! Вдруг командир полка, седоволосый мужчина по имени Сусуса, поднял свой ассегай. Мгновенно воцарилось молчание. Потом он повернулся к индунам, стоявшим подле него, и отдал им короткий приказ. Те тотчас же побежали вправо и влево вдоль передней линии, что-то: передавая по пути каждому ротному. Достигнув противоположных, концов линии, они разом подняли копья. И вот вся линия — около тысячи человек — со страшным криком: «Булала *амабуну!*» («Бей буров!»), словно зверь, потревоженный в своем логове, ринулась на маленький лагерь. Великолепное зрелище! Ассегай сверкали на солнце, поднимаясь и опускаясь над черными щитами, ветер отбрасывал назад перья головных украшений, свирепые лица были обращены к врагу, земля сотрясалась от топота ног. «Бедные мои друзья-голландцы! — горестно подумал я. — Разве устоять им перед столь многочисленным врагом?»

Между тем зулусы, построившись на бегу дугой, чтобы окружить лагерь с трех сторон, быстро приближались к нашему укреплению. Вот они

уже ярдах в семидесяти от него. Тут из каждого фургона сверкнули огни выстрелов. Многие мтетва покатились по земле, но остальные, даже не взглянув на раненых и убитых, неслись прямо на лагерь, пробиваясь вперед под выстрелами буров. Залп за залпом! Ружья для охоты на слонов, заряженные картечью и дробью, сеяли смерть в плотном боевом порядке зулусов. Только одному мтетва удалось подойти к фургону вплотную, но бурская женщина ударила его топором по голове, и он упал. Зулусы дрогнули и отступили, осыпаемые насмешками воинов двух резервных линий, стоявших на склоне холма.

— Теперь веди нас, отец! — кричали своему вождю эти воины, среди которых под зорким присмотром находился и я. — Ты послал в бой маленьких девочек, вот они и перепугались. Покажем им путь!

— Нет, нет! — смеясь, отвечал вождь Сусуса. — Погодите минутку, и маленькие девочки вырастут в женщин, а женщины вполне справятся.

Зулусы, ходившие в атаку, услышали насмешки своих товарищей и с ревом бросились вперед. Однако буры успели перезарядить свои ружья и оказали им горячий прием. Они выждали, пока зулусы не сгрудились, как овцы в краале, и принялись в упор разряжать свои «руры»… Груды тел выросли на земле. Но воинами мтетва овладело бешенство; я хорошо видел это издали. На этот раз они не собирались отступать. Несчастные буры — конец был уже близок. Вот шестеро воинов вскарабкались на фургон, убили укрывшегося за ним бура и спрыгнули в лагерь. Все шестеро были тут же убиты, но за ними сейчас же последовали другие. Я отвернулся. Заткнуть бы и уши, чтобы не слышать крики ярости, предсмертные стоны и это страшное «Хе! Хе!». Только раз я взглянул в сторону лагеря и увидел бедного Ганса Боту. Он стоял на крыше фургона, отбиваясь прикладом от ассегаев, которые тянулись к нему, словно стальные языки. Я закрыл глаза, а когда открыл их снова, его уже не было.

Я опять отвернулся. Мне стало дурно от страха и бешенства. Увы! Что мог я сделать? Буры погибли, теперь, верно, наступила моя очередь, только вряд ли я мог рассчитывать на быструю смерть.

Бой окончился, воины, стоявшие двумя линиями на склоне холма, разбрелись и толпами стали спускаться к лагерю. Он представлял собой ужасное зрелище. По крайней мере пятьдесят из атаковавших лагерь зулусов были убиты и не менее полутораста ранены, многие смертельно. По приказанию вождя Сусусы мертвых сложили в кучу, а легкораненые отправились искать кого-нибудь, кто мог перевязать им раны.

Уцелевшие забирались в фургоны и растаскивали добро; не избежали этой участи, конечно, и мои повозки. Убитых буров тоже сложили вместе.

Я посмотрел на груду мертвых: все они там… не было только одного тельца дочери Ганса Боты, маленькой Тоты. Мне пришла в голову безумная мысль: а вдруг ей удалось бежать? Но нет, это невозможно.

И как раз в эту минуту огромный зулус Бомбиан с громким криком вышел из фургона:

— Глядите, глядите, я нашел маленькую белую!

Я быстро обернулся и увидел, что он несет Тоту, ухватив ее за платье огромной черной рукой.

Этого я уже не мог перенести. Я подскочил к нему и изо всей силы ударил по лицу. А теперь пусть проткнет меня копьем, мне все равно! Бомбиан выронил Тоту.

Тотчас же меня окружили воины, перед глазами замелькали свирепые лица, засверкали копья. Я скрестил руки на груди и спокойно стоял, ожидая конца… Но тут сквозь шум и яростные вопли услышал громкий, дребезжащий голос Индаба-Зимби.

— Назад, глупцы! — кричал он. — Разве духа можно убить?

— Копьями его, копьями! — в бешенстве орали зулусы. — Посмотрим, какой он дух… Проткни его копьем, ты, вызывающий дождь, а мы поглядим, что станется.

— Назад! — снова закричал Индаба-Зимби. — Хорошо, я сам покажу вам, можно ли его умертвить. Убью его своей рукой и тут же верну к жизни у вас на глазах.

— Доверься мне, Макумазан, — прошептал он мне на ухо, переходя на сесото, которого зулусы не понимали. — Доверься мне: встань на колени в траву передо мной и, когда я нанесу удар копьем, падай словно мертвый. А когда снова услышишь мой голос, поднимись с земли. Доверься мне — это твоя единственная надежда.

Выбора у меня не было, я кивнул в знак согласия, хотя не имел ни малейшего понятия, что он намерен сделать. Шум немного стих, и воины снова отошли от меня.

— Великий Белый дух, Дух победы, — торжественно и громко обратился ко мне Индаба-Зимби, прикрыв глаза рукой, — выслушай меня и прости. Эти дети ослеплены безумием и думают, что ты смертный… Соблаговоли опуститься передо мной на колени и разреши проткнуть твое сердце этим копьем, а потом, когда я снова окликну тебя, встань невредимым.

Я опустился на колени. Иного выхода у меня не было. Индаба-Зимби я не особенно доверял и вполне допускал, что он и в самом деле прикончит меня. Но я был до того измучен страхами и ужасами последних суток, что

не очень тревожился о своей судьбе. Через полминуты Индаба-Зимби снова заговорил.

— Люди Мтетвы, дети Чаки, — сказал он, — отойдите немного, чтобы вас не постигло зло, ибо воздух сейчас полон призраков.

Они немного отодвинулись, оставив нас в центре круга диаметром около двенадцати ярдов.

— Посмотрите на того, кто стоит перед вами на коленях, — продолжал старик, — и слушайте меня, слушайте Индаба-Зимби — того, кто выискивает колдунов и вызывает дождь, кто прославлен по всем племенам. Дух кажется молодым человеком, не так ли? А я говорю вам, дети Мтетвы, что он не человек. Он — тот дух, который приносит победу белым людям, кто дал им гремящие ассегаи и научил убивать. Почему полки Дингаана были отброшены у реки Блад? Потому что он был там. Почему *амабуну* уничтожили тысячи воинов Моселекатсе? Потому что он был там. И если бы я не выманил его колдовством из лагеря три часа назад, вы потерпели бы поражение, да, говорю вам, вы были бы развеяны, как пыль ветром, сгорели бы, как сухая трава зимой, когда ее пожирает огонь. Да, только оттого, что он был среди *амабуну*, многие храбрейшие из вас пали в бою с горстью врагов, которых можно было пересчитать по пальцам. Но потому, что я люблю вас, потому, что вождь ваш Сусуса приходится мне единокровным братом — не один ли у нас отец? — я пришел к вам и предупредил. Тогда вы стали просить меня, и я выманил духа из лагеря. Но вы не удовлетворились своей победой, и когда из всего, что вы забрали, дух захотел взять одного лишь белого ребенка, чтобы принести в жертву самому себе и сделать из него колдовское зелье…

Мне стоило большого труда сдержаться, но я превозмог себя.

— …вы сказали ему «нет». А теперь я покажу вам, дух ли он или просто человек. Я убью его у вас на глазах и потом снова призову к жизни. Но вы сами накликали на себя эту беду. Если бы вы поверили мне и не оскорбили духа, он остался бы с вами и сделал вас непобедимыми. Теперь же он восстанет и покинет вас, и горе вам, если вы попытаетесь удержать его. Воины, — продолжал он, — смотрите все на ассегай в моей руке.

Все взоры устремились на широкий блестящий клинок. Какое-то время он держал его высоко над головой, чтобы вся толпа могла разглядеть ассегай. Потом стал описывать им круги, что-то бормоча; глаза воинов продолжали следовать за клинком. Я же следил за движениями старика с величайшей тревогой… Да, я отнюдь не был уверен, что Индаба-Зимби не собирается убить меня. Поступки его оставались совершенно непонятными, и меня нисколько не увлекала перспектива стать объектом

его магических опытов.

— Глядите! Глядите! Глядите! — закричал он.

И вдруг громадное копье, направленное прямо в мою грудь, сверкнуло на солнце. Я ничего не почувствовал, но мне показалось, что оно прошло сквозь меня.

— Видите! — загремели зулусы. — Индаба-Зимби проткнул его копьем. Ассегай стал красным и торчит из его спины.

— Падай, Макумазан, — прошептал мне на ухо Индаба-Зимби. — Падай и притворись мертвым. Быстрей, быстрей!

Не теряя времени, я последовал этим странным указаниям: упал на бок, раскинул руки, задрыгал ногами и умер так артистически, как только сумел. Затем дернулся, как полагается на сцене, и затих.

— Видите! — заговорили зулусы. — Он умер. Дух умер. Посмотрите на окровавленный ассегай.

— Назад! Назад! — закричал Индаба-Зимби. — Не то призрак бросится на вас. Да, он умер, а теперь я снова призову его к жизни. Глядите!

Опустив руку, он вытащил копье и поднял вверх.

— Копье красное, не так ли? Следите за мной, воины, следите! *Оно белеет!*

— Да, белеет, — повторили они. — О, оно становится белым!

— Оно белеет потому, что кровь возвращается туда, откуда вытекла, — сказал Индаба-Зимби. — А теперь, Великий дух, выслушай меня. Ты умер, дыхание покинуло твои уста. И все же услышь меня и восстань. Восстань, Великий дух, восстань и покажи свою мощь. Восстань! Восстань невредимым.

Я с удовольствием отозвался на это торжественное заклинание.

— Не так быстро, Макумазан, — прошептал Индаба-Зимби.

Я внял его предостережению и сначала поднял руку, потом голову, но сейчас же опустил ее.

— Он жив! Клянемся головой Чаки, он жив! — заревели воины, объятые смертельным страхом.

Тут я медленно и с величайшим достоинством поднялся во весь рост, вытянул руку, зевнул, словно только что проснулся, и равнодушно взглянул на толпу. А Индаба-Зимби — я хорошо это видел — буквально падал с ног от усталости. На лбу у него выступили капли пота, руки и ноги дрожали, грудь вздымалась.

Ужас охватил зулусов. С громкими воплями весь полк повернулся и бросился бежать. Вскоре они скрылись за гребнем, и мы остались одни с

мертвыми и ребенком, находившимся в глубоком обмороке.

— Как ты это проделал, Индаба-Зимби? — с удивлением спросил я.

— Не спрашивай, Макумазан, — с трудом проговорил он. — Вы, белые, очень умны, но знаете не все. На свете есть люди, которые умеют внушить другим, будто те видят то, чего на самом деле не видят. Уйдем, пока не поздно, ибо мтетва могут вернуться, когда преодолеют свой страх, и, чего доброго, станут задавать вопросы, на которые я не в силах ответить.

Замечу, кстати, что я никогда так и не получил от Индаба-Зимби дополнительных объяснений того, что произошло. Но у меня есть своя теория, и я изложу ее в нескольких словах. Я полагаю, что Индаба-Зимби загипнотизировал всю толпу зрителей, включая и меня, внушив, что они видят, как ассегай вонзается в мое сердце и как кровь стекает с клинка. Читатель может улыбнуться и сказать: «Это невозможно», но тогда я задам ему вопрос: каким образом проделывают индийские фокусники свои удивительные штуки, если не прибегают к гипнозу? Зрителям *кажется*, что они видят, как мальчик скрывается под корзиной, а фокусник пронзает ее кинжалами, им кажется, что они видят женщину, висящую в воздухе и опирающуюся только на острие меча. Подобные явления невозможны, они нарушают законы природы, насколько эти законы нам известны, и, значит, порождаются иллюзией. Вот и воинам зулусского полка показалось по воле Индаба-Зимби, что меня насквозь проткнул ассегай, который даже не прикасался ко мне. Такова по крайней мере моя теория. Если у кого есть лучшая, пусть он ее и придерживается. Объяснение лежит где-то между внушением и колдовством. Я предпочитаю первое.

Глава VI. Стелла

Я не замедлил последовать совету Индаба-Зимби. Ярдах в полутораста слева от лагеря была маленькая лощинка, где я укрыл свою лошадь и еще одну, принадлежавшую бурам, а также седло и уздечку. Туда-то мы и направились. Я нес на руках бесчувственную Тоту. К великой нашей радости, лошади оказались на месте: зулусы их не заметили. Теперь они стали для нас единственным средством передвижения, так как волов угнали; впрочем, будь они здесь, у нас все равно не было бы времени, чтобы их запрячь. Я положил Тоту на землю, поймал лошадь, отвязал повод и оседлал ее. Тут я спохватился, что без оружия в пути нам придется плохо, ведь при мне был только мой «рур» для охоты на слонов да совсем мало пороха и пуль — всего на несколько выстрелов. Я сказал Индаба-Зимби, чтобы он скорее шел назад, в лагерь, — может, ему удастся отыскать мою двустволку, — и прихватил побольше пороха и дроби.

Пока Индаба-Зимби ходил в лагерь, к бедной маленькой Тоте вернулось сознание. Она не сразу узнала меня и заплакала.

— Ах, мне приснился такой плохой сон, — сказала она по-голландски. — Мне снилось, что черные кафры хотели меня убить. Где мой папа?

Тяжело было ответить на такой вопрос.

— Твой папа отправился в путешествие, — сказал я, — и поручил мне заботиться о тебе. Когда-нибудь мы его разыщем. Ты согласна ехать с хеером Алланом, да?

— Нет, — сказала она с сомнением в голосе и опять заплакала. Тут она вспомнила, что хочет пить, и попросила воды. Я свел ее к реке.

Между тем вернулся Индаба-Зимби. Ружей он не нашел — зулусы забрали их вместе с порохом, — но раздобыл кое-какие нужные вещи и принес их в мешке. Там оказались толстое одеяло, около двадцати фунтов *билтонга* — мяса, высушенного на солнце, сухари, правда, всего несколько горстей, две бутылки для воды, жестяная кружка, немного спичек и разные мелочи.

— А теперь, Макумазан, — сказал он, — нам лучше уходить, потому что мтетва возвращаются. Я видел одного на вершине холма.

Для меня этого было достаточно.

Я положил Тоту на луку своего седла, сам вскочил в него и поскакал, крепко придерживая девочку. Индаба-Зимби всунул уздечку в рот лошади буров, закинул ей на спину мешок с вещами и тоже вскочил на коня. В руке

он сжимал ружье для охоты на слонов. Мы молча проехали восемьсот-девятьсот ярдов, пока фургоны, стоявшие в низине, не скрылись из глаз… Но куда нам направиться? Я задал этот вопрос Индаба-Зимби, спросил, не думает ли он, что нам надо последовать за скотом, который мы отправили накануне ночью вместе с кафрами и женщинами. Он покачал головой.

— Мтетва погонятся теперь за скотом, — отвечал он, — а мы на них достаточно насмотрелись.

— Вполне достаточно, — воскликнул я. — Не хочу больше видеть никого из них. Но куда ехать? Что нам делать с одним ружьем в безлюдном велде, да еще с маленькой девочкой на руках? Куда повернуть?

— До встречи с зулусами лица наши были обращены на север, — ответил Индаба-Зимби. — Пусть так и будет. Едем, Макумазан! Сегодня вечером, когда мы расседлаем коней, я придумаю, как быть дальше.

Мы ехали вдоль реки, по ее течению, и весь остаток этого длинного дня не слезали с коней. Неровная местность не позволяла двигаться быстро, но еще до захода солнца я с удовлетворением установил, что мы удалились не менее чем на двадцать пять миль. Маленькая Тота почти все время спала: она устала до изнеможения, а поступь коня была легкой.

Наконец наступил закат, и мы расседлали лошадей в долине подле реки. Запасов у нас почти не было. Я размочил в воде немного сухарей для Тоты, а для нас приготовил с помощью Индаба-Зимби скромный ужин из провяленного мяса, нарезанного узкими полосками. После ужина я раздел Тоту, завернул в одеяло, уложил у костра и закурил трубку.

Тут я заметил, что старый Индаба-Зимби, тоже примостившийся у огня, вытащил из мешка пожелтевшие кости и, смешав их с пеплом, смоченным водой, совершает какое-то таинство, одному ему понятное. Я спросил, чем это он занялся. Он ответил, что намечает наш дальнейший маршрут. «Чепуха!» — чуть не вырвалось у меня, но, вспомнив некоторые весьма замечательные проявления его оккультных способностей, я попридержал язык. Прижав к себе Тоту, до предела утомленную перенесенными тяготами, опасностями и волнениями, я закрыл глаза и скоро заснул.

Проснулся я, когда на небе появились бледно-желтые и золотистые блики рассвета. Вернее, меня разбудила маленькая Тота, она поцеловала меня и шепнула: «Папа». Она назвала меня «папой»! Несчастная сиротка, сердце мое готово было разорваться от жалости. Я встал, умыл и одел ее непривычными к такому делу руками. Позавтракали мы тем же вяленым мясом и сухарями, которыми ужинали вчера. Тота попросила молока, но откуда же его было взять?! Затем мы поймали лошадей и оседлали мою.

— Ну, Индаба-Зимби, — сказал я, — какой путь указывают нам твои кости?

— Прямо на север, — сказал он. — Путь будет тяжелым, но примерно через четверо суток мы достигнем крааля белого человека — англичанина, а не бура. Крааль этот находится в чудесном месте, а позади него стоит высокая гора, где водится много бабуинов.

Я посмотрел на него с недоверием и сказал:

— Ты говоришь глупости, Индаба-Зимби. Где это слыхано, чтоб англичанин построил себе дом в таких дебрях? И откуда тебе знать об этом? Думаю, нам лучше взять направление на восток, к Порт-Наталю.

— Как знаешь, Макумазан, — ответил он. — Но до Порт-Наталя три месяца пути, если мы вообще туда доберемся. За такую долгую дорогу ребенок может умереть. Скажи, Макумазан, разве до сих пор мои предсказания не сбывались? Разве я не говорил тебе, чтоб ты верхом не охотился на слонов? Разве я не говорил тебе, чтоб ты взял один фургон вместо двух, ибо лучше потерять один, чем два?

— Ты говорил все это, — согласился я.

— А теперь я говорю тебе, что надо ехать на север, Макумазан. Там ты найдешь великое счастье. И великое горе тоже. Однако ни один мужчина не должен бежать от счастья, убоявшись горя. Что ж, поступай как знаешь, да, как знаешь!

Я снова взглянул на него. В его чары я не верил, но хорошо понимал: он говорит правду, которая каким-то образом стала ему известна. Мне пришло в голову, что он мог прослышать о белом, жившем почему-то отшельником в дебрях, но, чтобы поддержать свою репутацию пророка, не хочет говорить об этом.

— Хорошо, Индаба-Зимби, — сказал я, — поедем на север.

Мы отправились в путь. Вскоре река, течению которой мы следовали, повернула на запад, и мы покинули ее долину. Весь этот день мы ехали по неровной, возвышенной местности и примерно за час до заката остановились у ручейка, стекавшего с гряды холмов. Мне уже порядком надоело вяленое мясо, а потому, взяв ружье для охоты на слонов — другого оружия у меня не было, — я оставил Тоту под присмотром Индаба-Зимби и отправился на поиски дичи. Как ни странно, накануне мы не встретили ни одного животного, да и теперь мне не везло. По какой-то причине все звери покинули эти места. Я пересек ручей, надеясь обнаружить в чаще антилопу, и вдруг увидел на песчаном берегу следы двух львов. Разумеется, я сильно встревожился, но, решив, что вряд ли львы поджидают меня где-нибудь по соседству, подошел к зарослям колючего кустарника. Долго

бродил я там в поисках добычи. Правда, на глаза мне попалась антилопа дукер, но она тут же с шумом спрыгнула с каменистого выступа и исчезла, не дав мне времени даже прицелиться. Уже в сумерках я приметил карликовую антилопу — грациозное маленькое существо, размером не больше крупного зайца. Она стояла на камне, ярдах в сорока от меня. Разумеется, я никогда не стал бы стрелять в такую крошку, особенно из ружья для охоты на слонов, но мы были голодны. Поэтому я сел, упершись спиной в скалу, и тщательно прицелился ей в голову — угоди трехунцевая пуля в туловище, антилопу разорвало бы на куски. Наконец я нажал курок; ружье выстрелило с таким грохотом, словно это была небольшая пушка. Антилопа исчезла. Я бросился к тому месту, где она только что стояла, с таким волнением, какого никогда не испытывал, охотясь на антилоп куду или эланд. Попал! Маленькое существо лежало на земле — огромная пуля снесла ему голову. Пожалуй, это был самый удачный выстрел за всю мою жизнь охотника. Кто сомневается в этом, пусть попробует попасть за пятьдесят ярдов в голову кролика, стреляя трехунцевой пулей из ружья для охоты на слонов.

Я с торжеством подобрал карликовую антилопу и вернулся в лагерь. Там мы освежевали ее и поджарили мясо на костре. Нам хватило его на хороший ужин, а задние ноги даже остались на завтра.

Эта ночь была безлунной. Вспомнив о львиных следах, я предложил Индаба-Зимби привязать лошадей поближе к нам, хотя они и так паслись неподалеку, всего в пятидесяти ярдах. Потом мы разожгли костер поярче. Больше мы ничего не смогли сделать, осталось лишь положиться на волю случая. Вскоре я заснул, обняв обеими руками маленькую Тоту. Разбудило меня жалобное ржание лошади где-то поблизости, почти у самого костра, горевшего по-прежнему ярко. В следующее мгновение — я даже не успел вскочить — раздался топот копыт, и мой бедный конь появился в круге, освещенном огнем. Словно при вспышке молнии, я увидел его глаза, чуть не вылезшие из орбит, и раздувавшиеся ноздри. Повод, которым он был стреножен, бился в воздухе. Увидел я еще кое-что: на спине лошади сидел большой темный зверь, он глухо ворчал, глаза его сверкали. Это был лев.

Лошадь скакала во весь опор. В ужасе она пронеслась через костер, к счастью, не задев нас, и скрылась в ночи. Топот копыт слышался еще некоторое время, верно, она пробежала ярдов сто или больше. Потом наступила тишина, нарушаемая иногда отдаленным ворчанием. Нетрудно понять, что в ту ночь мы уже не спали. До восхода солнца оставалось часа два, и мы с тревогой ожидали рассвета.

Как только стало достаточно светло, мы поднялись и, стараясь не

разбудить Тоту, со всяческими предосторожностями направились в ту сторону, куда убежала лошадь. Ярдов через пятьдесят мы увидели в велде ее растерзанную тушу. Два больших, похожих на кошек зверя отскочили от нее и исчезли в сероватой дымке.

Идти дальше было бесполезно. Мы знали все. Теперь надо было поспешить ко второй лошади. Оказалось, что мы испили чашу бедствий не до дна: коня нигде не было видно. Вскоре мы напали на его след и поняли, что произошло. Почуяв львов, конь отчаянным усилием порвал повод, которым его стреножили, и ускакал прочь. Я сел на землю, чувствуя, что сейчас заплачу, как женщина. Ведь мы остались одни в этой пустынной местности без конца и без начала. Лошадей больше нет, а такая маленькая девочка не пройдет и двух сотен шагов.

Но отчаиваться тоже не следовало. Молча вернулись мы в лагерь. Тота горько плакала у потухшего костра: она проснулась и, никого не увидев подле себя, испугалась. Перекусив, мы принялись готовиться в дорогу. Прежде всего разделили на две равные части самые необходимые вещи; то, без чего можно было хоть как-то обойтись, мы безжалостно выбросили. Затем наполнили водой фляги. Правда, я сначала возражал против этого, боясь лишнего груза, но, к счастью для всех троих, Индаба-Зимби переубедил меня. Я решил, что на первом отрезке пути поведу Тоту, а ружье для охоты на слонов понесет Индаба-Зимби. Наконец все было готово, и мы пошли. С моей помощью (в трудных местах я брал ее на руки) Тота сумела подняться по тому склону холма, где я застрелил карликовую антилопу. Но вот мы достигли вершины. Оглядев местность, простиравшуюся перед нами, я издал вопль отчаяния. Она была непохожа на обычную пустыню и напоминала скорее Кару в Капской колонии — обширное песчаное плато, по которому там и сям разбросаны низкорослые кусты и глыбы камня. И ничего больше, насколько хватал глаз. Далеко впереди эту пустыню окаймляла гряда пурпурных холмов, в центре которой поднимался высокий пик.

— Индаба-Зимби, — сказал я, — мы не доберемся до горы и за шесть дней.

— Поступай как знаешь, Макумазан, — ответил он, — но я говорю тебе, что белый человек живет именно там. — Он указал на пик. — Поворачивай куда хочешь, но куда бы ты ни повернул, тебя ждет гибель.

Я задумался. Наши возможности были бесконечно малы. В этом безнадежном положении действительно не имело значения, в какую сторону мы пойдем. Одни, почти без пищи, без средств передвижения, да еще с ребенком, которого нужно нести на руках! Не все ли равно, где

погибать — на песчаном плато или в велде, среди деревьев на склоне холма…

— Пойдем, — сказал я, посадив Тоту на плечи — она уже успела устать. — Все дороги ведут к отдыху.

Как описать бедствия следующих четырех дней? Мы тащились по страшной пустыне, голодные, изнемогая от жажды. Ни один ручей не попался нам по пути, а воду из фляжек мы берегли для ребенка. Все это вспоминается как кошмар. Даже сейчас мне тяжело рассказывать о нашем походе. Днем мы по очереди несли девочку по глубоким пескам, а вечером, добравшись до каких-нибудь кустов, ложились на землю, жевали листья и слизывали росу с редкой травы. Нигде ни источника, ни озерка, ни какой-либо дичи. В третью ночь мы буквально сходили с ума от жажды. Тота была без чувств. У Индаба-Зимби еще сохранилось во фляжке немного воды — может, с рюмку. Мы смочили губы и почерневшие языки, остаток отдали ребенку. Вода оживила девочку. Она очнулась от обморока и тут же уснула.

Наступил рассвет. До холмов оставалось миль восемь или около того. Мы видели, что они покрыты зеленью. Там должна быть вода!

— Идем, — сказал я.

Индаба-Зимби посадил спящую Тоту в своего рода заплечный мешок, который мы соорудили из одеяла, и мы еще около часа пробирались вперед по песку. Тота проснулась, заплакала, попросила пить.



Увы! Воды нет ни капли. Язык чуть не вываливается изо рта, мы едва говорим.

Когда мы сделали привал, Тота, к счастью, снова потеряла сознание. Потом мы поднялись с земли, и Индаба-Зимби опять посадил ее себе на

спину. Несмотря на худобу, старик отличался необыкновенной выносливостью.

Еще час. Теперь до склона высокой горы оставалось две мили. В двух сотнях ярдов от нас рос большой баобаб. Добредем ли мы до него? Мы уже прошли половину расстояния, и тут Индаба-Зимби в изнеможении упал. Однако, полежав немного, он поднялся. Мы оба так ослабели, что не могли уже нести девочку. Мы взяли ее за ручки и потащили к баобабу. Еще пятьдесят ярдов — они показались нам; пятьюдесятью милями, — и мы наконец все-таки добрались до дерева. После зноя пустыни сумрак и прохлада под его густой листвой напомнили нам склеп. В голове даже промелькнула мысль: хорошо бы здесь умереть. Больше я ничего не помню.

Проснулся я с таким ощущением, будто мне на лицо, на голову льется благословенный дождь. Медленно, с большим трудом я раскрыл глаза и тут же закрыл их, ибо увидел призрак. Некоторое время я лежал так, а дождь все лил и лил. Верно, я все еще сплю и вижу сон, а может, сошел с ума от жажды и жары… Иначе я не увидел бы прекрасную черноглазую девушку, склонившуюся надо мной. Белую девушку, а не кафрскую женщину. Вода освежала лицо, видение не исчезало.

— Гендрика, — сказал по-английски сладчайший из всех слышанных мною голосов, похожий на шелест листвы под ночным ветром. — Гендрика, боюсь, что он умирает. В моем седельном вьюке есть фляжка с бренди.

— Ага! Ага! — послышался в ответ грубый голос. — Пусть его умирает, мисс Стелла. Он навлечет на вас беду. Говорю вам — пусть умирает.

Я почувствовал над собой легкое движение воздуха, будто девушка из моего видения быстро обернулась. Тут я снова открыл глаза. Та, что привиделась мне, поднялась с земли. Теперь я мог разглядеть, что она высока и грациозна, как стебель камыша. Черные глаза ее гневно сверкали, рука вытянулась к женщине, стоявшей рядом, к существу, в одежде не то мужской, не то женской. Женщина эта была молодой и тоже белой. В глаза бросались ее малый рост, кривые ноги и огромные плечи. Лоб был вдавлен, а подбородок и уши, наоборот, выступали вперед. И все же лицо ее нельзя было назвать безобразным. Больше всего она походила на красивую обезьяну. Быть может, она-то и представляла собой недостающее звено[89].

— Как ты смеешь? — крикнула девушка, взмахнув рукой. — Ты опять

меня не слушаешься! Ты уже забыла, что я тебе сказала, Бабиан[90].

— Нет, нет! — проворчала женщина и словно сжалась в комок под гневным взглядом девушки. — Не сердись на меня, мисс Стелла, ведь ты знаешь, что я не могу этого перенести. Я только сказала правду. Сейчас принесу бренди.

Было это все сном или явью, но я решился заговорить.

— Не надо бренди, — пробормотал я по-английски, стараясь как можно более внятно произносить слова своим распухшим языком. — Дайте воды.

— О, он жив! — воскликнула прекрасная девушка. И говорит по-английски. Взгляните, сэр, ваша фляжка полна воды. Вы находитесь почти у самого источника, он выходит из-под земли по ту сторону дерева.

Я с трудом приподнялся, сел, поднес фляжку к губам и стал пить! О, эта холодная, чистая вода! Никогда не пил ничего восхитительнее! С первым же глотком жизнь начала возвращаться ко мне. Но девушка поступила мудро и не дала мне напиться вдосталь.

— Довольно! Довольно! — сказала она и чуть ли не силой отняла фляжку.

— А ребенок? — спросил я. — Умер?

— Еще не знаю, — ответила она. — Мы только что нашли вас всех, и я прежде всего занялась вами.

Я повернулся и подполз к Тоте, лежавшей рядом с Индаба-Зимби. Невозможно было понять, мертвы ли они или находятся в глубоком обмороке. Девушка брызнула водой в лицо Тоты. Я жадно следил за ней, ибо все еще чувствовал страшную жажду. Тем временем женщина, которую девушка звала Гендрикой, занялась Индаба-Зимби. Вскоре, к моему восторгу, Тота открыла глаза и попыталась заплакать. Но бедняжка даже всхлипнуть не смогла, так распухли ее губы и язык. Девушке все же удалось влить немного воды в рот ребенка. Как и со мной, вода совершила прямо волшебство. Мы дали Тоте выпить с четверть пинты[91], не больше, хотя она горько плакала и просила еще. Тут со стоном пришел в себя и Индаба-Зимби. Он открыл глаза, огляделся и сразу все понял.

— Что я говорил тебе, Макумазан? — невнятно пробормотал он и, схватив фляжку, сделал долгий глоток.

Я оперся спиной о ствол огромного дерева и посмотрел кругом, стараясь представить себе, что же произошло. Слева я увидел двух добрых коней, одного неоседланного, другого — под грубо сработанным дамским седлом. Рядом с лошадьми сидели две большие собаки из породы борзых,

не спускавшие с нас глаз, а неподалеку от собак лежала мертвая антилопа ориби, которую они, верно, затравили.

— Гендрика, — сказала девушка, — им пока нельзя есть мясо. Обойди дерево и взгляни, нет ли на нем зрелых плодов.

Женщина сейчас же повиновалась. Вскоре она вернулась.

— Я видела зрелые плоды, — сказала она, — но высоко, почти на макушке.

— Достань их, — сказала девушка.

«Это легче сказать, чем сделать», — подумал я.

Однако я ошибся. Женщина вдруг подпрыгнула, по крайней мере фута на три, и схватилась своими большими плоскими ладонями за нижний сук. Потом подтянулась с ловкостью, которой позавидовал бы акробат, и, сделав сальто, уселась на сук верхом.

«Ну, дальше-то ей не взобраться», — снова подумал я, потому что следующая ветка находилась вне пределов ее досягаемости. И опять ошибся. Она встала на сук, уцепилась за него голыми ступнями, а затем перепрыгнула на другой, повыше, уцепилась руками за следующий и перебросила на него свое тело.

Я был поражен, и девушка, верно, это заметила.

— Не удивляйтесь, сэр, — сказала она. — Гендрика не такая, как все. Она не упадет.

Я ничего не ответил и с величайшим интересом следил за акробатическими упражнениями необыкновенного существа. А Гендрика поднималась все выше и выше, перепрыгивая с сука на сук и бегая по ним, словно обезьяна. Наконец она достигла макушки и поползла по тонкой ветви к спелым плодам. Подобравшись поближе, она принялась энергично трясти ветку. Раздался треск, сначала слабый, потом посильнее, и ветвь обломилась. Я невольно зажмурился — вот сейчас женщина упадет на землю рядом со мной и разобьется.

— Не бойтесь, — снова сказала девушка, ласково усмехнувшись.

— Смотрите, она уже в полной безопасности.

Я глянул и убедился, что это так. Падая, женщина успела схватиться за сук, удержалась и теперь спокойно спускалась на нижний. Старый Индаба-Зимби тоже с интересом следил за ней, но не выказывал особого удивления.

— Женщина-бабуин, — сказал он так, будто подобные существа — самое обычное явление. Потом повернулся к Тоте, все еще выпрашивавшей воду, и стал ее утешать. А Гендрика между тем быстро спускалась все ниже и ниже и наконец, уцепившись одной рукой за сук, спрыгнула на землю с высоты восьми футов.

Еще две минуты — и вот мы уже сосем мясистые плоды. В иных условиях они показались бы нам безвкусными. Но сейчас это было самое восхитительное из всех яств, которые мне доводилось пробовать. После трех суток, проведенных в пустыне без пищи и питья, становишься неразборчивым. Пока мы ели плоды, девушка, представшая предо мной подобно сновидению, велела своей спутнице освежевать ориби, затравленного собаками, а сама собрала валежник и разожгла костер. Как только огонь разгорелся достаточно ярко, она поджарила нарезанное тонкими полосами мясо антилопы и подала нам его на листьях. Мы поели, и лишь после этого нам позволили еще понемногу выпить воды. Потом девушка повела Тоту к источнику и вымыла бедного ребенка, который очень в этом нуждался. Теперь наступил «наш черед мыться. О, какая это была радость!

Я возвратился к дереву, еще с трудом переставляя ноги, но совсем другим человеком. Прекрасная девушка сидела под деревом, держа на коленях Тоту. Она убаюкивала ребенка и подняла палец, призывая меня к молчанию. Наконец девочка уснула крепким естественным сном, и я охотно последовал бы ее примеру, если б не снедавшее меня любопытство.

— Можно спросить, как вас зовут? — спросил я.

— Стелла, — ответила она.

— А фамилия?

— Просто Стелла, — ответила она с некоторым раздражением. — Мое имя — Стелла. Оно короткое и по крайней мере легко запоминается. Моего отца зовут Томас. Мы живем вон у той горы, — она показала на подножие высокого пика.

Я взглянул на нее с удивлением.

— И давно вы живете здесь? — спросил я.

— С семи лет. Мы приехали сюда в фургоне. А до этого жили в Англии — в Оксфордшире. Я могу вам показать это местечко на большой карте. Оно называется Гарсингем.

Я снова подумал, что девушка привиделась мне во сне.

— Знаете, мисс Стелла, — сказал я, — все это очень странно, настолько странно, что кажется почти невероятным. Дело в том, что много лет назад я тоже приехал из Гарсингема в Оксфордшире.

Она встрепенулась.

— Так вы английский джентльмен? — сказала она. — О, я так давно мечтала увидеть английского джентльмена. С тех пор как мы живем здесь, я видела только одного англичанина, а он, конечно, не был джентльменом. Да я и вообще почти не встречала белых людей, если не считать нескольких

бродячих буров… Но я читала об англичанах, читала во многих книгах — поэмах и романах. Пожалуйста, скажите, как вас зовут. Негр назвал вас Макумазаном, но ведь белые обращаются к вам по имени.

— Мое имя — Аллан Куотермэн, — сказал я.

Девушка побледнела, ее розовые губы в удивлении приоткрылись, и она пристально посмотрела на меня своими прекрасными черными глазами.

— Как ни странно, — сказала она, — но я часто слышала это имя. Отец рассказывал мне, как однажды маленький мальчик по имени Аллан Куотермэн спас мне жизнь, потушив пламя на моем загоревшемся платье. Глядите! — и она указала на бледно-розовую метку на своей шее. — Это след ожога.

— Помню, — сказал я. — Вы были одеты Дедом Морозом. Действительно я потушил огонь. И при этом обжег себе ладони.

Некоторое время мы сидели молча, глядя друг на друга. Стелла медленно обмахивалась своей широкой фетровой шляпой, украшенной страусовыми перьями.

— Тут видна рука Божья, — сказала она наконец. — Вы спасли мою жизнь, когда я была ребенком. А теперь я спасла жизнь вам и маленькой девочке. Это ваша дочка? — торопливо спросила она.

— Нет, — ответил я. — Сейчас я вам все расскажу.

— Да, — сказала она, — вы расскажете мне все по дороге домой. Пора отправляться в путь, отсюда до дома добрых три часа. Гендрика, Гендрика, приведи лошадей!

Глава VII. Женщина-бабуин

Гендрика повиновалась и подвела лошадей к стволу дерева.

— Теперь, мистер Аллан, — сказала Стелла, — вам придется ехать на моей лошади, а старому негру — на другой. Я пойду пешком, а Гендрика понесет ребенка. Да не бойтесь, она очень сильная и могла бы нести даже вас или меня.

В подтверждение этих слов Гендрика что-то проворчала. Жаль, что я не могу найти более вежливого слова, чтобы охарактеризовать ее способ выражать свои мысли. Она то ворчала, как обезьяна, то цокала, как бушмен, а случалось, делала то и другое одновременно, и тогда понять ее было вовсе невозможно.

Я пытался возражать против предложения Стеллы, сказав, что мы тоже можем идти пешком, хотя это была совершенная неправда: я вряд ли прошел бы больше мили. Но Стелла и слушать не хотела и, не разрешив мне даже нести ружье, потащила его сама. Мы не без труда взобрались в седла, а Гендрика взяла спящую Тоту на руки — они у нее были длинные и мускулистые.

— Последи за бабуинкой, чтоб она не убежала в горы с маленькой, — сказал мне Индаба-Зимби на языке кафров, взбираясь на коня. К сожалению, Гендрика поняла его слова. Ярость исказила ее черты, лицо стало мертвенно-бледным, и она буквально прыгнула на Индаба-Зимби, как это делают обезьяны. Но старый джентльмен, хотя и был измучен, оказался проворнее. Испуганно вскрикнув, он спрыгнул с лошади. Результат был несколько комичный: в мгновение ока Гендрика оказалась на том месте, которое он только что занимал. Тут только Стелла поняла, что произошло.

— Слезай с лошади, дикарка, слезай сейчас же! — приказала она, топнув ногой.

Удивительное существо тут же соскочило с лошади, буквально распростерлось у ног своей хозяйки и залилось слезами.

— Простите, мисс Стелла, — лепетала она на отвратительном английском языке, — он назвал меня бабуинкой.

— Скажите вашему слуге, что он не должен называть так Гендрику, мистер Аллан, — обратилась ко мне Стелла. — А если он не послушается, — добавила она шепотом, — Гендрика, без сомнения, убьет его.

Я объяснил это Индаба-Зимби, который очень испугался и даже соблаговолил извиниться. Но с того часа их разделила ненависть, иногда

переходившая в открытую войну.

Восстановив спокойствие, мы двинулись в путь, собаки следовали за нами. От склона горы нас отделял участок пустыни шириной мили в две. Перейдя его, мы достигли сочного луга, через который протекал поток, спускавшийся с холмов. Пустынный участок он не орошал, русло его находилось восточнее — у подножия холмов. Через этот поток нам пришлось переправляться вброд. Гендрика с Тотой на руках смело вошла в воду. Стелла прыгала с камня на камень, словно газель. Я подумал, что никогда не встречал такого грациозного существа. Выйдя на берег, мы последовали дальше по тропе, которая вилась вокруг отрога горы, красиво поросшего лесом. Как я узнал, гору называли Бабиан Кап, или Голова Бабуина. Разумеется, мы могли ехать только шагом, а потому продвигались вперед медленно. Стелла некоторое время шла молча, а потом заговорила.

— Скажите, мистер Аллан, — спросила она, — как получилось, что я нашла вас умирающим в пустыне?

Я рассказал ей обо всем с самого начала. На это ушло около часа, и она все время внимательно слушала, изредка прерывая меня вопросами.

— Удивительно, — сказала она, когда я кончил. — Просто удивительно. А я, знаете ли, утром отправилась с Гендрикой на прогулку верхом, взяв с собой собак. Мы собирались вернуться домой к полудню, потому что мой отец болен и я не хотела оставлять его надолго. Но когда я собралась повернуть назад — мы находились тогда примерно в том же месте, что и сейчас, да, вон у того кустарника, — оттуда выскочила антилопа ориби, и собаки бросились за нею. Я пустилась за ними вскачь, и когда мы достигли реки, ориби не повернула налево, как делают обычно антилопы, а переплыла поток и очутилась на противоположном берегу, где тянутся Негодные земли. Я последовала за ней, и собаки прикончили ее в сотне ярдов от большого дерева. Гендрика хотела сразу ехать домой, но я предложила отдохнуть в тени дерева, так как знала, что поблизости есть источник. Мы направились к дереву и там нашли всех вас, лежащих словно мертвые. Но Гендрика, которая кое в чем очень умна, сказала, что это не так. Остальное вы знаете. Это совершенно поразительный случай.

— Да, действительно. А теперь скажите мне, мисс Стелла, кто такая Гендрика?

Она оглянулась, чтобы удостовериться, что женщины нет поблизости.

— Это странная история, мистер Аллан. Вы, конечно, знаете, что эти горы и местность за ними кишат бабуинами. Когда мне было лет десять, я много гуляла одна по холмам и долинам и наблюдала за бабуинами, которые играли среди скал. Особенно внимательно я следила за одной

семьей — она жила в лощине в миле от нашего дома. Старик бабуин был очень крупный, у одной из самок было серое лицо. Я так часто наблюдала за ними потому, что среди них находилось существо, похожее на девочку. У нее была совсем белая кожа, и, что еще важнее, в холодную погоду она окутывала шею чем-то вроде мехового шарфа. Старые бабуины, видимо, были особенно привязаны к ней и любили сидеть, обняв ее руками за шею.

Почти целое лето я наблюдала за белокожей бабуинкой, пока любопытство не взяло во мне верх. Я заметила, что, хотя она лазала по скалам вместе с другими бабуинами, в определенный час, незадолго до захода солнца, взрослые помещали ее вместе с одной или двумя обезьянками поменьше в небольшую пещеру, и только тогда все семейство отправлялось добывать пищу — вероятно, на кукурузные поля. Тогда мне пришло в голову, что я могу поймать эту белую бабуинку и притащить домой. Но, разумеется, я не могла сделать это без помощи и потому посвятила в свой план одного готтентота, который жил в нашем поселке, весьма умного человека, когда он не был пьян. Его звали Гендрик, и он очень любил меня. Однако долгое время он и слышать не хотел о моем плане, говоря, что бабуины убьют нас. Наконец я подкупила его ножом с четырьмя лезвиями, и однажды после полудня мы двинулись в путь. Гендрик нес прочный мешок из звериной шкуры. В него была вдета веревка, так что верх можно было в случае надобности затянуть.

Итак, мы тщательно спрятались среди деревьев, росших у подножия холма, и стали следить за бабуинами, которые, ворча, играли друг с другом. Наконец они взяли белого и трех других младенцев и посадили, как всегда, в пещерку. Затем старик вышел, внимательно осмотрел местность, что-то крикнул своему семейству и вскоре перевалил с ним через гребень холма. После этого мы медленно и очень осторожно поползли по скалам, достигли входа в пещеру и заглянули внутрь. Малыши крепко спали, обняв друг друга за шею, белый посередине. Все благоприятствовало нашей затее. Гендрик, который к этому времени хорошо усвоил, что от него требуется, пополз по пещере, как змея, и внезапно напялил мешок на голову белого бабуина. Бедный младенец проснулся, подскочил и исчез в мешке. Тогда Гендрик затянул веревку, и мы вместе завязали ее так, что наш пленник никак не мог освободиться. Остальные маленькие бабуины с криками выбежали из пещеры, и когда мы вышли, их уже нигде не было видно.

— Идем, мисси! — сказал Гендрик. — Бабуины скоро вернутся. Он закинул на плечо мешок, в котором отчаянно бился белый бабуин, кричавший, как ребенок. Крики эти были ужасны.

Мы поспешно спустились по склону лощины и во всю прыть

побежали домой. Поблизости от водопада, когда до стены сада оставалось не больше трехсот ярдов, мы услышали позади чей-то голос и, обернувшись, увидели, что все семейство бабуинов во главе со стариком бежит по траве, прыгая с камня на камень.

— Беги, мисси, беги! — задыхаясь, бросил мне Гендрик, и я полетела вперед, как ветер, оставив его далеко позади. Я ворвалась в сад, где работали несколько кафров, крича: «Бабуины! Бабуины!» К счастью, у работников были с собой палки и копья. Они выбежали из сада как раз вовремя, чтобы спасти Гендрика, которого едва не настигли бабуины. Однако бабуины вступили с ними в бой, хорошо дрались и бежали только после того, как старика убили ассегаем.

В краале, находящемся на территории нашего поселка, есть каменная хижина, куда по решению моего отца иногда запирают провинившихся туземцев. Она очень прочная и имеет зарешеченное окно. Гендрик снес туда свой мешок и, развязав веревку, поставил на пол и убежал, прикрыв за собой дверь. Через мгновение бедная малютка выбралась из мешка и принялась метаться как безумная по хижине. Подпрыгнула к окну, схватилась за прутья решетки, повисла и билась о них головой, пока не показалась кровь. Затем свалилась на пол, уселась и заплакала, раскачиваясь, как ребенок. Зрелище было настолько грустное, что я тоже стала плакать.

Тут пришел мой отец и спросил, из-за чего столько шума. Я объяснила, что мы поймали маленького белого бабуина. Отец рассердился и велел отпустить его. Но, посмотрев на пленника через окошко, едва не свалился с карниза от удивления.

— Да ведь это не бабуин, а белый ребенок, которого бабуины украли и вырастили, — сказал он.

— Судите сами, мистер Аллан, прав ли мой отец. Вы видите Гендрику — мы дали ей имя Гендрика, поймавшего ее, — это женщина, а не обезьяна, но у нее обезьяньи повадки и такая же наружность. Вы видели, как она лазает по деревьям, а теперь слышите, как она разговаривает. Кроме того, у нее очень свирепый нрав, а когда она рассердится или приревнует, то буквально сходит с ума. Ее, должно быть, украли бабуины, когда она была совсем маленькая, а потом вырастили. Потому она так на них похожа.

Но я хочу продолжить свой рассказ. Отец сказал, что наш долг сохранить Гендрику, чего бы это ни стоило. Хуже всего было то, что целых три дня она ничего не ела, и я боялась, что она умрет. Все это время она неподвижно сидела и хныкала. На третий день я подошла к окну и

протянула через решетку чашку молока и несколько плодов. Она долго смотрела на них, затем подползла, стеная, к окну, взяла из моих рук чашку с молоком, жадно его выпила, а потом съела и плоды. С тех пор она охотно брала пищу, но только из моих рук.

А теперь я должна рассказать вам об ужасном конце Гендрика. С того дня, как мы захватили Гендрику, наша местность заполнилась бабуинами, которые, видимо, следили за краалями. Как-то раз Гендрик отправился один к холмам, чтобы собрать лекарственные травы. Назад он не вернулся, и на следующий день были организованы поиски. У большой скалы, которую я могу показать вам, были найдены его останки, разорванные на куски, с переломанными костями, обломки его ассегая и четверо мертвых бабуинов.

Отец мой очень встревожился, но все же не отпустил Гендрику, говоря, что она человек и что мы обязаны вернуть ее людям. В известной степени нам это удалось. После убийства Гендрика бабуины исчезли из нашей округи и возвратились совсем недавно. После ухода бабуинов мы наконец решились выпустить Гендрику на свободу. К этому времени она очень ко мне привязалась. И все же при первой же возможности убежала. Но к вечеру возвратилась. Она искала бабуинов и не нашла. Вскоре после этого она начала говорить — я ее научила, — и с того времени полюбила меня так, что не оставляет одну. Мне кажется, она бы умерла, если б я уехала. День-деньской она глядит на меня, а ночью спит на полу моей хижины. Однажды она даже спасла мне жизнь, когда я тонула в разлившейся реке. Но она ревнива и ненавидит всех остальных людей. Заметьте, как сверкает она на вас глазами, потому что я говорю с вами!

Я взглянул на Гендрику. Она шла с ребенком на руках и искоса зло на меня посматривала.

Пока я размышлял над странной историей женщины-бабуинки, я думал, что лучше держаться от нее подальше, тропа сделала внезапный поворот.

— Посмотрите! — сказала Стелла. — Вот наш дом. Правда, он прекрасен?

Он действительно был прекрасен. Здесь, на западном склоне высокой горы, образовалось большое углубление, имевшее в поперечнике восемьсот — тысячу ярдов. Оно простиралось на три четверти мили. За ним шла отвесная стена высотой в несколько сот футов, а еще дальше высилась, уходя в поднебесье, большая гора Бабиан. Пространство, находившееся как бы в объятиях горы, состояло из трех террас, расположенных одна над другой, как если бы их распланировала рука человека. Справа и слева от верхней террасы зияли пропасти, в которые стекали потоки. Водопады

были довольно большие, хотя низвергались с незначительной высоты. Эти два потока текли по обе стороны замкнутого пространства: один — на север, а другой, по течению которого мы следовали, — вокруг подножия горы. Стекая с террас, они превращались в каскады, так что взору приближающегося путника представлялось сразу восемь водопадов. На берегу ручья слева от нас располагались краали кафров. Хижины, стоявшие правильными группами, имели веранды, как у построек басуто. Значительная часть всего участка была возделана. Я сразу заметил все это, так же как и необыкновенное плодородие почвы, залегавшей глубоким слоем: она смывалась с горных вершин на протяжении многих веков. Затем, следуя вдоль прекрасной проезжей дороги, по которой мы теперь ехали (она извивалась между террасами), мой взор остановился на главном чуде этого пейзажа. В центре верхней платформы, или террасы, площадью в восемь-десять акров, в роще апельсиновых деревьев, сверкали белизной постройки, каких мне еще не доводилось видеть. Они располагались тремя группами — одна в центре и две по бокам, немного позади. Но, как я узнал впоследствии, все они были сооружены по одному плану. В центре находилось здание, построенное как обыкновенная зулусская хижина, то есть в виде улья. Но только она была раз в пять крупнее самой большой из виденных мною хижин, материалом для ее постройки послужили глыбы обтесанного белого мрамора, сложили их люди, которые обладали недюжинными познаниями и опытом в деле возведения сводчатых зданий. Глыбы были соединены с такой точностью и искусством, что было трудно определить места стыков. От центральной хижины отходили три крытые галереи, которые вели в другие здания, совершенно такой же формы, только поменьше. Каждое окружала мраморная стена высотой около четырех футов.

Разумеется, мы находились еще слишком далеко от строений, чтобы разглядеть все эти подробности, но я сразу же получил общее представление о них и был поражен увиденным. Даже старый Индаба-Зимби, на которого не произвела впечатления женщина-бабуин, соизволил выразить удивление.

— Ого! — сказал он. — Тут полно чудес. Кто и когда видел краали, построенные из белого камня?

Стелла весело поглядела на нас, но ничего не сказала.

— Краали построил ваш отец? — наконец выдавил я из себя.

— Мой отец? Конечно, нет, — ответила она, — разве один белый человек смог бы возвести такие постройки, да еще проложить эту дорогу? Он нашел их готовыми.

— Кто же тогда построил их? — снова поинтересовался я.

— Не знаю. Отец думает, что они очень древние, ибо нынешние жители этих мест не знают, как уложить один камень на другой, а хижины построены так замечательно, что хотя им, видимо, уже несколько веков, ни один камень не сдвинулся с места. Я могу показать вам карьер, где добывался мрамор; он находится поблизости, а позади него — вход в древний рудник, где, как полагает мой отец, добывали серебро. Быть может, рудокопы и построили мраморные хижины. Мир стар, и несомненно, что многие из живших прежде народов теперь забыты[92].

Дальше мы ехали молча. Я видел в Африке много прекрасного, и в подобных случаях всякие сравнения пошлы и бесполезны. Думаю, однако, что никогда прежде не видал столь прекрасного пейзажа. Восхищала меня не какая-либо деталь его, а весь вид в целом. Могучая гора над бескрайними равнинами, огромные скалы, водопады, переливавшиеся всеми цветами радуги, реки, прорезавшие возделанные плодородные земли, тронутая золотом зелень апельсиновых деревьев, блестящие купола мраморных хижин… А над всем этим царила тишина вечера и бесконечное великолепие солнечного заката, который окрасил небосвод сверкающими красками и окутал гору и утесы пурпурно-золотистой мантией, отражаясь в спокойном лике вод, словно улыбка божества.

Возможно, что контраст с ужасными днями и ночами, проведенными в безнадежной пустыне, еще усиливал впечатление, а красота девушки, шедшей рядом, довершала очарование. Ибо я уверен в том, что из всего милого и прекрасного, что предстало тогда моему взору, она была всего милее и прекраснее.

Да, я быстро нашел свою судьбу. Но как долго придется мне ждать, чтобы найти ее вновь?

Глава VIII. Мраморные краали

Наконец мы достигли последней платформы, или террасы, и придержали лошадей у стены, окружавшей центральную группу мраморных хижин — мне приходится называть их так, за неимением лучшего названия. Наше приближение было замечено туземцами. Их этническую принадлежность мне так и не удалось точно установить. Они скорее относились к басуто и вообще к миролюбивой части народов банту, чем к зулусам и иным воинственным племенам. Несколько человек подбежали, чтобы отвести лошадей. На нас они взирали с удивлением и даже со страхом. Мы спешились. Мне это удалось с большим трудом, и если бы не помощь Стеллы, я не удержался бы на ногах.

— Теперь вам следует повидать моего отца, — сказала она. — Не знаю, что он подумает, все это так странно. Гендрика, отнеси девочку в мою хижину, дай ей молока и положи в мою постель. Я скоро приду.

Гендрика, криво улыбаясь, ушла выполнять приказание хозяйки, а Стелла повела меня через узкие ворота к мраморной стене, окружавшей участок почти в три четверти акра. На нем был разбит чудесный сад, где росло много европейских овощей и цветов, а также неизвестных мне растений. Вскоре мы пришли к центральной хижине, и тут я заметил необыкновенную красоту каменной кладки и прекрасную ее обработку. В хижину напротив ворот вела дверь современного типа, вытесанная довольно грубо из красноватого дерева, выглядевшего так, словно его разрисовали иглой. Стелла открыла дверь, и мы вошли в просторную комнату с высоким потолком и стенами из гладкого полированного мрамора. Она была освещена не ярко, но достаточно: свет падал через особые отверстия в крыше, с которой дождевая вода скатывалась по свесам. Мраморный пол устилали циновки местного производства и шкуры животных. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, в центре стоял стол, а вокруг него располагались стулья с сиденьями из римпи — полос, вырезанных из шкур. Позади стола находилась кушетка, а на ней лежал с книжкой в руках мужчина.

— Это ты, Стелла? — спросил голос, который и через столько лет показался мне знакомым. — Где ты была, дорогая? Я уже начал думать, что ты опять заблудилась.

— Нет, дорогой папа, я не только не заблудилась, а сама кое-кого нашла.

В этот момент я выступил вперед, так что свет упал на мое лицо. Старый джентльмен не без труда приподнялся с кушетки и довольно учтиво поклонился. Это был красивый старик с длинной седой бородой, глубоко сидевшими темными глазами и бледным лицом, на котором сохранились следы физических и духовных страданий.

— Добро пожаловать, сэр, — сказал он. — В этих дебрях я давно уже не видел белого лица, а ваше лицо, к тому же, если не ошибаюсь, выдает в вас англичанина. За двенадцать лет здесь побывал только один наш соотечественник, да и тот, к сожалению, оказался отщепенцем, бежавшим от правосудия.

Тут он снова поклонился и протянул мне руку.

Я взглянул на него и внезапно вспомнил его фамилию.

— Как вы поживаете, мистер Керсон? — спросил я, пожимая ему руку.

Он отшатнулся, словно ужаленный.

— Кто сказал вам мою фамилию?! — вскричал он. — Это мертвое имя. Стелла, ты сказала? Я запретил тебе произносить его.

— Я и не произносила, отец. Никогда не произносила, — ответила она.

— Сэр, — вмешался я. — Если позволите, я объясню, откуда мне известна ваша фамилия. Помните ли, как много лет назад вы вошли в дом одного священника в Оксфордшире, чтобы сообщить ему о вашем решении навсегда покинуть Англию?

Он кивнул головой.

— А помните вы маленького мальчика, который сидел на коврике перед камином и рисовал?

— Помню, — сказал он.

— Этим мальчиком был я, сэр. Мое имя — Аллан Куотермэн. Мои братья и мать, которые были тогда больны, все умерли, мой отец, — ваш старый друг — тоже. Как и вы, он эмигрировал и в прошлом году скончался в Капской колонии. Но это еще не конец рассказа. Мы с кафром и маленькой девочкой, пережив множество приключений, много дней блуждали без воды по Негодным землям. Совершенно обессилев, мы лежали без сознания и, несомненно, погибли бы там, если б не ваша дочь, мисс…

— Зовите ее Стеллой, — поспешно сказал он. — Я не выношу этой фамилии. Я отрекся от нее.

— Мисс Стелла случайно нашла нас и спасла нам жизнь.

— Вы сказали «случайно», Аллан Куотермэн? Игра случая не имела здесь большого значения. Подобные случаи происходят не по нашей, а по иной воле. Добро пожаловать, Аллан Куотермэн, сын моего старого друга.

Мы живем здесь отшельниками, единственный наш друг — природа, но все, что мы имеем, — ваше, на столько времени, на сколько вы пожелаете. Но вы, вероятно, умираете с голоду. Прекратим пока этот разговор. Стелла, пора подавать на стол. Поговорим завтра.

По правде говоря, я не помню почти ничего из событий того вечера. Я впал в какое-то оцепенение. Знаю, что сидел за столом рядом со Стеллой и ел с аппетитом. Что было потом — совершенно не помню.

Проснулся я в удобной постели, в хижине, построенной и спланированной по типу центральной. Пока я размышлял о том, который теперь час, явился туземец с чистой одеждой и — о блаженство! — принес ванну, выдолбленную из дерева. Я встал и почувствовал, что силы вернулись ко мне, что я совсем другой человек. Затем я оделся и по крытому проходу направился в центральную хижину. Там уже был подан завтрак, на столе я увидел обилие вкусных вещей, каких не пробовал уже много месяцев. Я принялся рассматривать их со здоровым аппетитом. Подняв затем глаза, я увидел куда более восхитительное зрелище: в одной из дверей, которые вели в спальные помещения, стояла Стелла, держа за руку маленькую Тоту.

Она была очень просто одета, в свободное голубое платье с белым воротником, перехваченное в талии кожаным пояском. На груди был приколот букетик цветов апельсинового дерева, а волнистые волосы были собраны на изящной головке в узел. Она приветливо улыбнулась мне, спросила, как я спал, а затем подвела Тоту, чтобы я поцеловал ребенка. Благодаря ее нежным заботам девочка совершенно преобразилась. На ней было опрятное платье из той же голубой материи, что и у Стеллы, белокурые волосы были причесаны. Если б не ожоги от солнца на лице и руках, было бы трудно поверить, что это тот самый ребенок, которого мы с Индаба-Зимби тащили час за часом по раскаленной, безводной пустыне.

— Нам придется завтракать одним, мистер Аллан, — сказала Стелла. — Ваш приезд так взволновал отца, что он еще не встал. О, вы знаете, как я благодарна за то, что вы пришли к нам. Последнее время я так за него тревожилась. Он становится все слабее и слабее; силы словно вытекают из него. Он теперь почти не выходит из крааля, о ферме приходится заботиться мне одной; он ничего не в силах делать — только читает и размышляет.

В этот момент вошла Гендрика, неся в одной руке кувшин с кофе, а в другой — с молоком. Оба кувшина она поставила на стол, бросив на меня не очень-то приветливый взгляд.

— Осторожнее, Гендрика, ты проливаешь кофе, — сказала Стелла. —

Вас не удивляет, мистер Аллан, что мы пьем здесь кофе? Я скажу вам, откуда он, — мы сами его выращиваем. Это моя идея. О, нам есть что показать вам. Вы и не представляете, чего только мы не переделали за то время, что живем здесь. Рабочей силы у нас здесь хватает, тем более что окрестные жители считают отца своим вождем.

— Да, — сказал я, — но как вы получаете все эти предметы цивилизации? — тут я показал на книги, посуду, ножи и вилки.

— Очень просто. Большую часть книг отец взял с собой, когда мы впервые отправились в дебри Африки. Их был почти полный фургон. Кроме того, каждые несколько лет мы отправляем караван из трех фургонов в Порт-Наталь. Фургоны загружаются слоновой костью и другими товарами, а возвращаются с предметами, которые мы выписываем для себя из Англии. Поэтому мы, хотя и живем в столь диких местах, не совсем отрезаны от мира. Гонцы, посылаемые в Наталь, возвращаются через три месяца, а фургоны — через год. Месяца три назад благополучно вернулась последняя такая экспедиция. Слуги очень нам преданы и некоторые говорят по-голландски.

— А вы когда-нибудь ездили с фургонами? — спросил я.

— С детских лет я не удалялась от горы Бабиан больше чем на тридцать миль, — ответила она. — За одним исключением, вы, мистер Аллан, первый англичанин, с которым я познакомилась, если не считать книжных героев. Вероятно, я показалась вам очень дикой и невоспитанной, но у меня есть одно преимущество — хорошее образование. Отец сам учил меня, и, быть может, я знаю и то, что осталось вам неизвестным. Например, я читаю по-французски и по-немецки. Мне кажется, что сначала у отца было намерение предоставить меня самой себе, но потом он от него отказался.

— И у вас нет желания увидеть мир? — спросил я.

— Иногда, когда я чувствую себя одинокой, мне этого хочется, — сказала она. — Но, вероятно, мой отец прав: этот мир может напугать и ошеломить меня. Отец, во всяком случае, никогда не вернется в цивилизованную страну. Он вбил себе в голову — не знаю уж почему, — что нашу фамилию нельзя произносить, и не терпит, когда ее все-таки произносят. Короче говоря, мистер Куотермэн, человек не волен устраивать свою жизнь сам, а принимает ее такой, какая она есть. Вы позавтракали? Тогда пойдемте, я покажу вам дом.

Я встал и отправился за шляпой в хижину, где спал. К тому времени, когда я вернулся, мистер Керсон — ибо такова была его фамилия, хотя он не разрешал произносить ее, — уже пришел завтракать. Он сказал, что

теперь чувствует себя лучше и пойдет с нами, если Стелла возьмет его под руку.

Так мы двинулись в путь, а за нами шли Гендрика с Тотой и старый Индаба-Зимби, который, свежий как огурчик, ожидал меня снаружи. Ничто не могло утомить этого старика. Пейзаж, открывшийся с террасы, почти не уступал по красоте виду снизу на гору. Как я уже сказал, мраморные краали были обращены на запад, а потому вся верхняя терраса почти до одиннадцати часов утра находилась в тени высокой горы — большое преимущество в этом жарком климате. Сначала мы прошлись по прекрасно обработанному саду, который поразил меня своим плодородием. Там работали трое или четверо туземцев, и все они приветствовали моего хозяина словом «баба», что означает «отец». Затем мы посетили две другие группы мраморных хижин. В одной помещались конюшни и службы, другая использовалась как склад, а центральная была превращена в часовню. Мистер Керсон не был рукоположен, но он искренне стремился обратить в христианство туземцев (большинство их бежали к нему, спасаясь от врагов) и так давно совершал простейшие церковные обряды, что стал считать себя священником. Он, например, всегда венчал тех из своих людей, которые соглашались соблюдать единобрачие, и крестил их детей.

Осмотрев мраморные хижины, эти замечательные памятники древности, и полюбовавшись на апельсиновые и другие фруктовые деревья и виноградники, благодаря замечательной почве и климату не требовавшие особого ухода, мы спустились на следующую террасу, где вовсю шли полевые работы. Мне кажется, это была лучшая ферма из виденных мной в Африке. Воды для орошения хватало, луга, расстилавшиеся внизу, стали пастбищами для сотен голов крупного рогатого скота и лошадей. Население было очень трудолюбиво. Мистер Керсон организовал ферму на кооперативных началах; себе он забирал только десятую часть продукции, да и на что ему больше в этой стране полного изобилия? Поэтому туземцы, которые, кстати сказать, звали себя детьми Томаса, порядком разбогатели. Они выносили все свои споры на рассмотрение «отца», он же был судьей и по уголовным делам. Наказаниями за проступки служили заключение, конфискация имущества, а за наиболее тяжкие — изгнание из общины, которое воспринималось этими обласканными судьбою туземцами с таким же ужасом, с каким Адам воспринял приказ покинуть рай.

Опершись на руку дочери, старый мистер Керсон с гордостью смотрел вокруг себя.

— Все это дело моих рук, Аллан Куотермэн, — сказал он. —

Отрекшись от цивилизации, я случайно забрел сюда. Мне хотелось поселиться в самых отдаленных местах — и вот я попал в эти дебри. Зелень все заглушила, кроме террас, куполов мраморных хижин да водопада. Я использовал хижины, расчистил участок для сада и посадил апельсиновые деревья. В то время со мной было только шестеро туземцев, но мало-помалу мое племя росло и теперь насчитывает тысячу душ. Здесь царят мир и изобилие. Я имею все необходимое, а большего мне не нужно. Небо благоволило ко мне — пусть будет так до самого конца, который уже близок. А теперь я устал и хочу вернуться. Если желаете посмотреть старый карьер и спуск в рудник, Стелла покажет их вам. Нет, любовь моя, тебе незачем идти со мной — я доберусь и один. Смотри, вон несколько старейшин дожидаются меня.

Он ушел, мы же по берегу одной из речек прошли позади хижин и достигли карьера, где когда-то добывался мрамор для их строительства. Тут мы увидели толстый пласт белейшего и красивейшего мрамора. Ничего подобного я в Натале не встречал. Не могу сказать, кто именно разрабатывал этот пласт… Кстати, от этих строителей осталась только отлично обработанная бронзовая кирка, которую Стелла нашла однажды в карьере.

Затем мы взобрались вверх по склону горы к входу в. древние рудники, расположенные в ущелье. В них скорее всего добывали серебро. Ущелье было длинным и узким. Как только мы вошли в него, со всех сторон послышались лай и ворчание, почти оглушившее нас. Я сразу понял: в ущелье полно бабуинов. Они со всех сторон спускались к нам по скалам, проявляя бесстрашие, показавшееся мне неестественным. Стелла немного побледнела и ухватилась за мою руку.

— Это очень глупо с моей стороны, — прошептала она. — Я не пуглива, но с тех пор как они убили Гендрика, я не выношу вида этих животных. Мне всегда кажется, что в них есть что-то человеческое.

Между тем бабуины приближались, переговариваясь между собой. Тота заплакала и прижалась к Стелле. Стелла прижалась ко мне, я же и Индаба-Зимби приняли возможно более хладнокровный вид. Одна лишь Гендрика сохраняла на своем обезьяньем лице спокойную улыбку. Когда большие обезьяны подошли совсем близко, она вдруг что-то крикнула. Словно по команде, они мгновенно прекратили свою отвратительную трескотню. Тогда Гендрика с ними заговорила — другого выражения я не нахожу. Она стала издавать такие же звуки, как бабуины, когда обращаются друг к другу. Я знавал готтентотов и бушменов, которые утверждали, что могут говорить с бабуинами и понимают их язык, но признаюсь, ни до, ни

после не был сам свидетелем такого разговора.

Гендрика стонала, ворчала, пищала, цокала и издавала множество других ужасающих звуков, которые в совокупности походили на увещевания. Как бы то ни было, бабуины слушали ее. Один что-то проворчал в ответ, и все стадо поднялось на скалы.

Это поразило меня. Не произнеся ни слова, мы повернули к краалю. Гендрика находилась слишком близко, чтобы я мог заговорить. Когда мы достигли столовой, Стелла вошла внутрь, а за нею и Гендрика. Тут Индаба-Зимби потянул меня за рукав.

— Макумазан, — сказал он. — Женщина-бабуинка — чертовка. Будь осторожен, Макумазан. Она любит ту Звезду (такое прозвище дали Стелле туземцы) и ревнует ее. Будь осторожен, Макумазан, не то Звезда зайдет.

Глава IX. «Пойдем, Аллан!»

Мне очень трудно описать период между моим появлением у горы Бабиан и женитьбой на Стелле. В моих воспоминаниях это время благоухает ароматом цветов и как бы подернуто сладостной дымкой летник вечеров. Сквозь нее пробивается столь же сладостный звук голоса Стеллы, светятся звездным светом ее глаза. Мне кажется, что мы полюбили друг друга с первого взгляда, хотя долгое время не произносили ни единого слова любви. Каждый день я обходил ферму в сопровождении Гендрики и Тоты, Стелла же занималась тысячью дел, которые легли на нее из-за того, что отец ее становился все слабее. Впрочем, со временем всеми делами стал заниматься я, она же только сопровождала меня. Мы проводили вместе весь день. После ужина, когда спускалась ночь, мы вместе гуляли по саду, потом наконец входили в дом, и некоторое время ее отец читал нам вслух какого-нибудь поэта или историка. Если он чувствовал себя плохо, читала Стелла. После этого мистер Керсон произносил краткую молитву, и мы расходились до утра, которое приносило с собой счастливый миг новой встречи.

Так шли недели, и я все лучше узнавал свою любимую. Часто я задумывался над тем, не обманывает ли меня нежное чувство к ней и бывают ли на самом деле женщины столь милые и очаровательные, как она. Быть может, одиночество научило ее такой глубине чувства, такому благородству? А долгие годы жизни наедине с природой придали особое изящество, то самое, какое мы находим в раскрывающихся цветах и расцветающих деревьях? Не у потоков ли, непрерывно стекающих со скал у ее дома, заимствовала она свой журчащий голосок? А нежность вечернего неба, под которым она так любила гулять, — не она ли легла тенью на ее лице? И не свет ли вечерних звезд отражался в ее спокойных очах? Во всяком случае, для меня она была воплощением грез, которые посещают во сне нас, грешных. Такой рисует ее моя память, такой надеюсь я снова увидеть ее, когда отлетит сон и придет пора исполнения желаний.

Наконец наступил день, — самый благословенный в моей жизни, — когда мы признались друг другу в любви. Все это утро мы были вместе, но после обеда мистер Керсон почувствовал себя так плохо, что Стелла осталась с ним. За ужином мы встретились снова, а после ужина она уложила спать маленькую Тоту, к которой очень привязалась, и мы вышли в сад, оставив мистера Херсона дремать на кушетке.

Ночь была теплая, и мы молча прошли по саду к апельсиновой роще и уселись на скале. Легкий ветерок осыпал нас дождем цветочных лепестков и далеко разносил их нежный аромат. Кругом царило молчание, прерываемое только шумом водопадов, который то затихал до слабого шепота, то громко звучал у нас в ушах, когда ветер менял направление. Луна еще не показывалась, но темные тучи, плывшие по небу над нами после недавнего дождя, блестели серебром. Это означало, что она уже ярко светит за вершиной горы. Стелла тихим нежным голосом заговорила о своей жизни в Африке, о том, как она ее полюбила, как в уме ее одни идеи сменяли другие, какое представление составила она по прочитанным книгам о большом, вечно спешащем мире. Оно было достаточно странным; в нем были нарушены все пропорции, оно напоминало скорее мечту, чем действительность, мираж, а не реальный облик вещей. Большие города, и особенно Лондон, возбуждали ее воображение. Ей было трудно представить себе толчею, шум и спешку, густые толпы мужчин и женщин, чуждых друг другу и лихорадочно гоняющихся под пасмурным небом за богатством и наслаждениями, топчущих друг друга в лихорадке конкуренции…

— К чему все это? — серьезно спросила она. — Чего они ищут? Жизнь так коротка, зачем же они тратят годы попусту?

Я сказал, что в большинстве случаев их подгоняет суровая необходимость, но ей было трудно понять меня. Живя среди полного изобилия, на плодородной земле, она, видимо, не могла осознать, что миллионы людей не в состоянии изо дня в день утолять свой голод.

— Никогда не захочу туда поехать, — продолжала она. — Я бы до смерти удивилась и испугалась. Жить так — противоестественно. Бог поселил Адама и Еву в саду и хотел, чтобы дети их жили так же в мире, в любви к прекрасному. Вот как я понимаю идеальную жизнь. Другой мне не надо.

— Однажды вы как будто сказали мне, что иногда чувствуете себя одинокой… — сказал я.

— Да, — простодушно ответила она, — но то было до вашего приезда. Теперь я больше не чувствую себя одинокой, моя жизнь идеальна — идеальна, как эта ночь.

В этот миг из-за вершины горы вышла полная луна, и лучи ее далеко осветили туманную долину. Они сверкали в воде, переливались на равнине, забирались в потаенные расщелины между скалами, словно окутывая прекрасные формы природы серебряной фатой, сквозь которую таинственно просвечивала ее красота.

Стелла взглянула на уходившие вниз террасы долины. Потом повернула голову и посмотрела на исчерченный шрамами лик серебристо светившей луны. И наконец обратила свой взор ко мне. На лице ее лежала красота этой ночи, аромат этой ночи был в ее волосах, тайна этой ночи сверкала в ее прикрытых ресницами очах.

Она взглянула на меня, я взглянул на нее, и в наших сердцах расцвела любовь. Мы не проронили ни слова, слов у нас не было, но мы медленно приблизились друг к другу, пока губы не прижались к губам в знак вечной любви.

Она первая нарушила священное молчание и заговорила изменившимся голосом, тихим и идущим от самого сердца. Он действовал на меня, как негромкие аккорды арфы.

— О, теперь я понимаю, — сказала она, — теперь я знаю, почему мы одиноки и как можем избавиться от своего одиночества. Теперь я знаю, что вызывают в нас красота неба, журчание воды и аромат цветов. Во всем звучит голос Любви, хотя мы этого не понимаем, пока услышим его. Но стоит его услышать, как загадка разгадана и врата наших сердец раскрываются…

Пойдем домой, Аллан. Пойдем, прежде чем рассеются чары, чтобы в любой беде, которая может на нас обрушиться, будь то скорбь, смерть или разлука, нас всегда спасало от отчаяния воспоминание об этом чудном миге. Пойдем, дорогой, пойдем!

Я поднялся как во сне, все еще держа ее за руку. При этом мой взгляд упал на что-то белое в листве апельсинового дерева подле меня. Я ничего не сказал, но всмотрелся попристальнее. Ветерок шевелил листья, свет луны на мгновение ярко осветил белый предмет.

То было лицо Гендрики — женщины-бабуинки, как называл ее Индаба-Зимби. На нем была написана такая ненависть, что я вздрогнул.

Я ничего не сказал. Лицо исчезло, и тотчас же я услышал, как в скалах за нами залаял бабуин.

Мы пересекли сад, и Стелла вошла в центральную хижину. Я увидел Гендрику, стоявшую в тени подле двери, и подошел к ней.

— Гендрика, — сказал я, — зачем ты следила в саду за мной и мисс Стеллой?

Она оскалилась так, что зубы ее засверкали в лунном свете.

— Разве я не следила за ней все эти годы, Макумазан? И неужели перестану из-за того, что белый бродяга пришел ее украсть? Зачем ты целовал ее в саду, Макумазан? Как смеешь ты целовать ту, кого мы почитаем как Звезду?

— Я поцеловал ее потому, что люблю ее и она любит меня, — сказал я в ответ. — Какое тебе дело до этого, Гендрика?

— Потому что любишь ее… — прошипела она. — А я не люблю мою спасительницу от бабуинов? Я такая же женщина, как и она, а ты — мужчина. В краалях говорят, что мужчины любят женщин сильнее, чем женщины женщин. Но это ложь, хотя и верно, что когда женщина любит мужчину, она забывает про другую любовь. Разве я этого не видела? Я собираю для нее цветы — прекрасные цветы, забираюсь за ними на скалы, куда ты никогда не решился бы за мной последовать. Ты же срываешь цветок апельсинового дерева в саду и подаешь ей. А она что делает? Берет цветок, прячет его на груди, а моим цветам дает увянуть. Я окликаю ее — она не слышит меня, занятая своими мыслями. Но вот ты что-то шепнул вдалеке от нее, она услыхала и улыбнулась. Прежде она иногда целовала меня. Теперь целует эту белую пискуху, которую ты принес, — потому что… — принес ее ты. О, я все вижу, все. Ты крадешь ее у нас, крадешь для себя, а те, кто любил ее до твоего прихода, уже забыты. Берегись, Макумазан, берегись, а не то я отомщу тебе. Ты ненавидишь меня, считаешь полуобезьяной. Что ж, я жила с бабуинами, а они умны — да, они горазды на всякие штуки и умеют делать такое, чего не можешь ты; я же умнее их, ибо восприняла мудрость белых людей, и я говорю тебе: «Ступай осторожнее, Макумазан, не то упадешь в яму».

Бросив на меня еще один злобный взгляд, она удалилась.

Я остался на месте, размышляя. Меня пугало это странное существо, в котором, казалось, хитрость воспитавших ее обезьян соединилась со страстностью людей. Я предчувствовал, что она причинит мне зло. И все же в ее свирепой ревности было что-то трогательное. Обычно считают, что это чувство бывает сильным только тогда, когда предмет любви принадлежит к другому полу. Сознаюсь, однако, что и в этом, и во многих других случаях, с которыми мне приходилось сталкиваться, все обстояло иначе. Я знавал мужчин, особенно из числа нецивилизованных, которые ревновали друга или хозяина не менее сильно, чем любовник любовницу. А кто не наблюдал проявления этого чувства в отношениях между родителями и детьми?

Чем ниже спускаешься по лестнице жизни, тем пышнее расцветает эта страсть. Можно сказать, что она достигает своего апогея у зверей. Женщины ревнивее мужчин, слабодушные мужчины ревнивее тех, которые сильны духом и умом, а всего ревнивее животные. Гендрика в известном смысле недалеко ушла от животных, чем, возможно, и объясняется та свирепая ревность, которую вызывало в ней увлечение хозяйки.

Стряхнув с себя зловещие предчувствия, я вошел в центральную хижину. Мистер Керсон лежал на кушетке, а рядом с ним стояла на коленях Стелла, держа его руку и положив голову ему на грудь. Я сразу же понял, что она рассказала ему о происшедшем между нами, и не жалел об этом, ибо всякий кандидат в зятья охотно передоверяет это тягостное объяснение.

— Идите сюда, Аллан Куотермэн, — сказал мистер Керсон почти сурово. Сердце у меня упало, я испугался, как бы он не предложил мне уйти восвояси. Но я все-таки приблизился к нему.

— Стелла сказала мне, — продолжал он, — что вы решили пожениться. Она сказала, что любит вас и что вы тоже признались ей в любви.

— Я действительно люблю ее, сэр, — прервал я его. — Люблю по-настоящему. Никто на свете не любил женщину сильнее.

— Благодарение небу, — сказал старик. — Слушайте, дети мои. Много лет назад на меня обрушились беда и позор. Беда настолько страшная, что, как мне иногда кажется, у меня помутился от нее разум. Во всяком случае, я решился на поступок, который в глазах других людей говорил о моем безумии, и отправился со своим единственным ребенком в дикие дебри, чтобы жить подальше от цивилизации и ее зол. Я открыл это место, и здесь мы провели много лет — достаточно счастливо и даже делая добро, но избрав образ жизни, неестественный для людей нашей расы и общественного положения. Сначала я намеревался предоставить дочери расти в состоянии полнейшего неведения, превратить ее в дитя природы, но со временем понял, что план мой безумен и порочен. Я не имел права низвести ее до уровня окружавших нас дикарей, так как, хотя плод познания горек, он дает возможность отличать добро от зла. Поэтому я дал ей наилучшее образование, какое мог, и теперь знаю, что и умом она никак не уступает своим сестрам-детям цивилизованного мира. Она выросла, стала взрослой девушкой, и тут мне пришло в голову, что я поступаю с ней очень дурно, изолируя в дебрях от соплеменников, где она не может найти ни друга, ни спутника жизни. Тем не менее я не мог решиться на то, чтобы возвратиться к активной жизни: мне полюбились эти места. Я страшился вернуться в мир, от которого отрекся. Снова и снова я откладывал окончательное решение. В начале этого года я заболел. Некоторое время я надеялся, что мне станет лучше, но наконец понял, что этому не бывать, что надо мной простерта длань смерти.

— О нет, папа, только не это! — воскликнула Стелла.

— Да, дорогая, это так. Теперь ты сможешь позабыть нашу разлуку, окунувшись в счастье новой встречи, — тут он взглянул на меня и

улыбнулся. — Итак, осознав все это, я решился оставить дом и отправиться к побережью, хотя хорошо знал, что путешествие убьет меня. Сам я никогда до побережья не добрался бы, но Стелла в конце концов достигла бы его, и это все же лучше, чем оставить ее одну в дебрях. В тот самый день, когда я принял это решение, Стелла нашла вас умирающим на Негодных землях, Аллан Куотермэн, и привела сюда. Из всех людей она привела именно вас — сына моего близкого друга. Когда-то, еще младенческими руками, вы спасли ее жизнь, чтобы она потом смогла спасти вашу. В то время я ничего не сказал, но усмотрел в этом перст Божий и решил подождать и посмотреть, что у вас получится. В худшем случае я смог бы доверить вам после моей смерти доставить ее невредимой на побережье. Но уже давно понял я, как обстоит дело, а теперь все вышло так, как я желал, о чем молился. Бог да благословит вас обоих, дети мои. Будьте счастливы в вашей любви. Да продлится она до самой смерти и после нее. Бог да благословит вас обоих! — повторил он, протянув мне руку.

Я пожал ее, а Стелла поцеловала отца. Затем он снова заговорил.

— Если вы оба согласны, — сказал он, — я обвенчаю вас в ближайшее воскресенье. Мне хочется сделать это поскорее, ибо я не знаю, сколько мне еще отпущено жить. Полагаю, что этот обряд, совершенный в торжественной обстановке и в присутствии свидетелей, будет совершенно законным; но вам, разумеется, при первой же возможности придется повторить его со всеми формальностями. А теперь мне осталось сказать вот что: когда я покидал Англию, мое состояние было совершенно расстроено. За эти годы дела мои поправились, и, как я узнал, когда фургоны последний раз вернулись из Порт-Наталя, накопившиеся доходы позволили погасить всю задолженность. Поэтому вы женитесь не без приданого, но, разумеется, наследницей моей будет Стелла, и я хочу поставить одно условие: как только я умру, вы уедете отсюда и вернетесь в Англию. Я не требую, чтобы вы всегда жили там. Это может оказаться невозможным для людей, которые, подобно вам, выросли в диких дебрях. Но я прошу вас избрать там место постоянного жительства. Согласны ли вы? Обещаете ли выполнить мое желание?

— Согласен, — ответил я.

— Я тоже, — сказала Стелла.

— Отлично, — ответил он. — Я очень устал. Бог да благословит вас обоих. Доброй ночи!

Глава X. Гендрика злоумышляет

На следующий день у меня был разговор с Индаба-Зимби. Прежде всего я сообщил ему, что собираюсь жениться на Стелле.

— О! — сказал он. — Так я и думал, Макумазан. разве я не говорил тебе, что ты найдешь счастье в этом путешествии? Большинству людей приходится довольствоваться тем, чтобы глядеть на Звезду издалека, тебе же дано прижать ее к своему сердцу. Но запомни, Макумазан, что и звезды заходят.

— Неужели ты не можешь перестать каркать хоть на один день? — сердито ответил я, потому что от его слов меня пронзил страх.

— Истинный пророк должен говорить и о плохом, и о хорошем, Макумазан. Я говорю только то, что думаю. Но что из того? Что есть жизнь человека, как не потери, следующие одна за другой, пока он сам не утратит жизнь? Но в смерти мы можем найти все то, что потеряли. О! Я не верю в смерть. Это только перемена — вот и все, Макумазан. Подумай, вот идет дождь. Дождевые капли, которые составляли воду в облаках, падают одна возле другой. Они уходят в землю. Потом показывается солнце, почва высыхает, капли исчезают. Глупец, взглянув на землю, говорит, что капли мертвы, они никогда больше не будут вместе, не станут снова падать подле друг друга. Но я умею вызывать дождь и знаю его повадки. Капли снова поднимутся к небу в утреннем тумане, снова станут тем, чем были прежде. Мы — капли дождя, Макумазан. Падение — это наша жизнь. Когда мы уходим в землю — это смерть, а когда снова поднимаемся к небу — что это, Макумазан? Нет! Нет! Находя, мы теряем, а когда нам кажется, что теряем, то на самом деле находим. Я не христианин, Макумазан, но я стар, много наблюдал и видел такое, чего, быть может, не замечают христиане. Итак, я сказал. Будь счастлив со своей Звездой, а если она зайдет, потерпи, Макумазан, и она взойдет снова. Ждать придется недолго. Наступит день, когда ты уснешь, а открыв снова глаза, увидишь другое небо, и на нем будет сиять твоя звезда, Макумазан.

В то время я ничего не ответил. Я не мог говорить о подобных вещах. Но как часто в последующие годы я думал об Индаба-Зимби и его пленительной улыбке и находил в этом утешение.

— Индаба-Зимби, — сказал я, переходя на другую тему. — Мне нужно что-то сказать тебе.

И я рассказал ему об угрозах Гендрики.

Он слушал меня с каменным лицом, время от времени качая своей белой прядью. Но я заметил, что мой рассказ встревожил его.

— Макумазан, — сказал он наконец. — Я уже говорил тебе, что это дурная женщина. Она вскормлена молоком бабуинки, и бабуинский характер у нее в крови. Таких надо убивать, а не держать подле себя. Она сделает тебе зло, если сможет. Но я буду следить за ней, Макумазан. Гляди, Звезда дожидается тебя; иди, а не то она возненавидит меня, как Гендрика ненавидит тебя.

Я послушался его с охотой, потому что, как ни привлекательна выла мудрость Индаба-Зимби, находил более глубокий смысл в самых простых словах Стеллы. Весь остаток дня я провел в ее обществе, так же как и большую часть следующих двух дней. Наконец наступил субботний вечер — канун нашей свадьбы. Лил дождь, поэтому мы не вышли в сад и провели вечер в хижине. Мы сидели, держась за руки, и говорили мало, а мистер Керсон, напротив, много рассказывал о своей молодости и о тех странах, где побывал. Потом он еще почитал вслух Библию и пожелал нам доброй ночи. Я поцеловал Стеллу и пошел спать. В свою хижину я попал через крытый проход и, прежде чем раздеться, открыл дверь, чтобы посмотреть, какая погода. Было очень темно, дождь не прекращался, но когда свет из хижины заставил мрак отступить, мне показалось, что я заметил темную фигуру, которая скрылась во мгле. Я тотчас же подумал о Гендрике — не она ли бродит возле хижины? Кстати, я ничего не сказал о Гендрике и ее угрозах ни мистеру Керсону, ни Стелле, не желая их тревожить. К тому же, я знал, что Стелла привязана к этому странному существу, и не хотел без крайней надобности колебать ее доверие к Гендрике. Минуту или две я простоял в нерешительности, а затем подумал, что если это Гендрика, то пусть она остается там, где находится. Зайдя в хижину, я задвинул на двери тяжелый деревянный засов. Последние несколько ночей Индаба-Зимби спал в крытом проходе — втором пути в хижину. Направляясь в постель, я перешагнул через него. Он завернулся в одеяло и, по-видимому, крепко спал. Убедившись, что мне нечего бояться, я перестал думать о Гендрике, тем более что был поглощен совсем иными мыслями.

Я лег в постель и некоторое время думал о великом счастье, ожидающем меня, и о поразительном ходе событий, которые сделали его возможным. Несколько недель назад я брел по пустыне с умирающим ребенком, сам умирал от жажды. У меня не осталось почти ничего, кроме зарытой в землю слоновой кости, которую я не чаял когда-либо увидеть вновь. А теперь мне предстояло жениться на одной из самых очаровательных женщин на земле — женщине, которую я любил больше,

чем полагал возможным, и которая любила меня. К тому же, как будто одной этой удачи было недостаточно, я приобретал весьма значительные владения, и благодаря этому мы сможем жить так, как сочтем нужным. Думая об этом, я испугался своего везения. Вспомнил грустные пророчества старого Индаба-Зимби. До сих пор он всегда предсказывал правильно. А что если и эти его пророчества сбудутся? При этой мысли я похолодел и стал молить небо сохранить нас, чтобы мы могли жить и любить друг друга. Никогда еще я так не нуждался в молитве. С молитвой на устах я уснул и увидел страшный сон.

Мне приснилось, что я и Стелла стоим рядом и нас собираются венчать. Она вся в белом и блещет красотой, но красота эта дикая и пугает меня. Глаза ее сверкают, как звезды, бледный свет играет на ее лице, а ветер не шевелит ее волос. Но это еще не все: ее белое платье — это саван, а алтарь, у которого мы стоим, насыпан из земли, вынутой из могилы, что зияет между нами. Мы стоим, ожидая, чтобы нас обвенчали, но никто не приходит. Вдруг из разверстой могилы выпрыгивает Гендрика. В руке у нее нож, и им она ударяет меня, не пронзает сердце Стеллы; без единого крика моя невеста падает в могилу, продолжая глядеть на меня. За нею в могилу прыгает Гендрика. Я слышу, как ударяются о дно ее ноги.

— Проснись, Макумазан, проснись! — раздался голос Индаба-Зимби.

Я проснулся и вскочил с постели, обливаясь холодным потом. В темноте я услышал с другой стороны хижины шум ожесточенной схватки. К счастью, я не растерялся. Возле меня на стуле лежали спички и тонкая сальная свеча. Я зажег спичку и поднес к свече. Она разгорелась, и я увидел два тела, перекатывавшихся друг через друга на полу, и блеск стали между ними. Сало растопилось, свет погас. Боролись Индаба-Зимби и Гендрика, причем женщина одолевала мужчину, несмотря на всю его силу. Я бросился к ним. Она вырвалась из его мертвой хватки и, оказавшись наверху, занесла над ним большой нож, который держала в руке.

Но я подскочил сзади, схватил ее под мышки и изо всей силы рванул к себе. Она упала навзничь и, к счастью, выронила нож. Тогда мы кинулись на нее. Боже, какая сила была у этой чертовки! Те, кто не испытал ее на себе, мне бы не поверили. Она дралась, царапалась и кусалась, был момент, когда она едва не одолела нас обоих. Во всяком случае, ей удалось вырваться. Она бросилась к постели, вскочила на нее, а оттуда подпрыгнула прямо до крыши хижины. Я никогда не видал такого прыжка и не понимал, что она задумала. В крыше имелись специальные отверстия, о которых я уже говорил. Через них проходил свет, прикрывались они свесами. Гендрика прыгнула с ловкостью обезьяны и, ухватившись за край

отверстия, попыталась пролезть в него. Но тут силы, истощенные долгой борьбой, изменили ей. На мгновение она повисла на руках, потом упала на пол и потеряла сознание.

— Эге! — задыхаясь, вымолвил Индаба-Зимби. — Надо связать чертовку, прежде чем она придет в себя.

Я решил, что это хороший совет. Мы взяли ремень, лежавший в углу комнаты, и связали ей руки и ноги так, чтобы она не смогла освободиться от пут. Затем мы отнесли ее в проход, и Индаба-Зимби уселся на нее с ножом в руке. Я не хотел поднимать тревогу в этот час ночи.

— Знаешь, как я поймал ее, Макумазан? — спросил он. — Несколько ночей я проспал здесь, держа один глаз открытым, ибо решил, что у нее есть свой план. Сегодня ночью я вовсе не смыкал глаз, хотя притворился спящим. Примерно через час после того, как ты залез под одеяло, взошла луна и через отверстие в крыше в хижину проник луч света. Но вдруг он исчез. Сначала я решил, что луну закрыло облако, но, прислушавшись, услышал шорох, как если бы кто-то протискивался в узкое отверстие. Вскоре этот кто-то повис под потолком на руках. Тут снова в хижину проник луч света, и я увидел, что поперек этого луча висит бабуинка, собираясь спрыгнуть вниз. Она держалась за край обеими руками, а во рту у нее был нож. Не успела она соскочить, как я бросился вперед и обхватил ее у пояса. Она услышала мое приближение и хотела меня ударить ножом, но в темноте промахнулась. Тут мы начали бороться, остальное ты знаешь. Ты был на волосок от смерти, Макумазан.

— Это верно, на волосок, — ответил я, еще задыхаясь и стараясь прикрыть наготу клочьями своей ночной рубашки. Тут на память мне пришел страшный сон. Несомненно, он был вызван шумом, который произвела Гендрика, падая на пол, — в моем сне она свалилась в могилу. Значит, все мое сновидение продолжалось одну секунду. Что ж, сны скоротечны. Быть может, и само Время только сон, и события, которые кажутся разделенными им, на самом деле происходят одновременно.

Остаток ночи мы сторожили Гендрику. Она пришла в себя и принялась отчаянно биться, чтобы разорвать ремень. Но недубленая буйволовая кожа оказалась слишком крепкой даже для Гендрики, и, к тому же, Индаба-Зимби снова бесцеремонно уселся на нее, чтобы утихомирить. Наконец она затихла.

В должный час наступил день — день моей свадьбы. Я вызвал из конюшен несколько туземцев и с их помощью отнес Гендрику в тюремную хижину, где она уже сидела, когда ее маленькой принесли с гор. Там мы ее заперли. Индаба-Зимби остался сторожить ее снаружи, а я вернулся в свою

спальню и оделся во все лучшее, что можно было достать в поселке Бабиан краальс. Но, взглянув в зеркало на свое лицо, я ужаснулся. Оно было покрыто царапинами от ногтей Гендрики. Я, как умел, замаскировал эти царапины и пошел пройтись, чтобы успокоиться после событий минувшей ночи и в ожидании тех, которые должны были произойти днем.

Вернулся я к завтраку. В хижине-столовой Стелла дожидалась меня, одетая в простое белое платье с цветами апельсинового дерева на груди. Очень робко она подошла ко мне, но, вглядевшись в мое лицо, отпрянула.

— Аллан! Что ты с собой сделал? — спросила она.

Я не успел ответить, так как в хижину вошел, опираясь на палку, ее отец. Увидев меня, он тотчас же повторил вопрос.

Тогда я рассказал об угрозах Гендрики и ее яростной попытке привести их в исполнение. Только об ужасном сне я умолчал.

Стелла побледнела, лицо отца приняло суровое выражение.

— Вам следовало сказать об этом раньше, Аллан, — сказал он. — Теперь я вижу, что поступал неправильно, стараясь цивилизовать это злобное и мстительное существо. Если оно и осталось человеком, то восприняло все дурные страсти воспитавших ее зверей. Что ж, я сегодня же положу этому конец.

— О папа, — сказала Стелла. — Не надо ее убивать. Все это ужасно, но убить ее было бы еще ужаснее. Я очень привязалась к ней, и она, какой бы дурной ни оказалась, любила меня. Не надо убивать ее в день моей свадьбы.

— Нет, — ответил ее отец, — она не будет убита, хотя заслужила смерть. Я не хочу обагрять свои руки ее кровью. Это зверь, который и ведет себя как зверь. Она возвратится туда, откуда пришла.

Больше об этом ничего не было сказано, но, когда кончился завтрак, или, вернее, подобие завтрака, мистер Керсон послал за старейшиной и отдал ему некоторые приказания.

Мы должны были обвенчаться после богослужения, которое мистер Керсон совершал каждое воскресное утро в большой мраморной хижине, предназначенной для этой цели. Служба началась в десять часов, но задолго до этого стали подходить с песнями туземцы, желавшие присутствовать на свадьбе Звезды. Это было красивое зрелище — мужчины во всем параде, со щитами и палками в руках, женщины и дети с зелеными ветками, папоротником и цветами. Наконец около половины девятого Стелла встала, пожала мне руку и оставила меня наедине с моими мыслями. Около десяти она снова появилась в сопровождении отца, в белой фате, с венком из цветов апельсинового дерева на вьющихся темных

волосах и букетом таких же цветов в руках. Мне она показалась прекрасной грезой. Ее сопровождала маленькая Тота, веселая и взволнованная. Она была у Стеллы единственной подружкой. Затем мы все отправились в хижину, служившую церковью. Площадка перед нею была заполнена сотнями туземцев, которые при нашем появлении запели. В хижине также толпились туземцы, они молились. Мистер Керсон отслужил службу как обычно, хотя для этого ему пришлось сесть. Когда молебен закончился, — мне казалось, что он не кончится никогда, — мистер Керсон шепотом сказал, что хочет обвенчать нас при всех. Мы вышли наружу и встали в тени большого дерева, росшего у хижины.

Мистер Керсон поднял руку, требуя молчания. Затем он объявил на местном наречии, что намерен обвенчать нас по христианскому обряду и на глазах у всех. После этого он совершил свадебный обряд — необычайно торжественно и красиво. Мы произнесли обет, я надел на палец Стеллы кольцо, служившее печаткой ее отцу, — другого у нас не было, — и венчание закончилось.

Затем заговорил мистер Керсон.

— Аллан и Стелла, — сказал он, — я верю, что этот обряд сделал вас мужем и женой перед лицом Бога и людей. Чтобы брак был законным, он должен быть совершен по обычаям той страны, где живут брачащиеся. Согласно обычаю, действующему здесь не менее пятнадцати лет, вы были обвенчаны на виду у всех, в доказательство чего распишитесь сейчас в книге, где я регистрирую браки христиан. Все же во избежание осложнений юридического характера я снова требую от вас торжественного обещания при первой возможности повторить обряд в цивилизованной стране. Обещаете?

— Обещаем, — ответили мы.

Тогда принесли книгу, и мы в ней расписались. Сначала моя жена написала только «Стелла», но отец велел ей в первый и последний раз в жизни подписаться именем «Стелла Керсон». После этого несколько индун, то есть старейшин, включая Индаба-Зимби, приложили руку в качестве свидетелей. Индаба-Зимби нарисовал звездочку — то был юмористический намек на туземное имя Стеллы. Эта книга с вложенным в нее локоном моей любимой и сейчас лежит передо мной, когда я пишу. Это самое ценное из всего, что у меня есть.

Сохранились все подписи и закорючки, поставленные много лет назад в тени дерева, росшего в поселке Бабиан краальс, далеко в дебрях Африки, — но, увы, где те, кто их вписал?

— Люди, — сказал мистер Керсон, когда все кончили подписываться и

мы при всех поцеловались. — Макумазан и дочь моя Звезда стали теперь мужем и женой, будут жить в одном краале и есть из одной чаши, деля горести и радости до самой могилы. Слушайте, люди, вы знаете эту женщину, — продолжал он и, повернувшись, указал на Гендрику, которую незаметно для нас вывели из тюремной хижины.

— Да, да, мы знаем ее, — раздалось из небольшой группы индун, которые составили первобытный суд и, по туземному обычаю, уселись на корточках в круг прямо на земле перед нами. — Мы знаем ее, это белая женщина-бабуинка, Гендрика, служанка Звезды.

— Вы знаете ее, — сказал мистер Керсон, — но не до конца. Выступи вперед, Индаба-Зимби, и расскажи людям, что произошло прошлой ночью в хижине Маку мазана.

Индаба-Зимби повиновался и, сев на корточки, с большой выразительностью и множеством жестов поведал волнующую историю, а в заключение представил большой нож, от которого меня спасла его бдительность.

После этого вызвали меня. В нескольких словах я подтвердил его рассказ. Состояние моего лица, видимо, о многом сказало присутствующим.

Затем мистер Керсон повернулся к Гендрике, которая хранила угрюмое молчание, вперив взгляд в землю, и спросил ее, имеет ли она что-нибудь сказать.

Она смело взглянула на него и сказала:

— Макумазан украл у меня любовь моей госпожи. А я хотела украсть у него жизнь — мелочь по сравнению с тем, чего я лишилась из-за него. Мне это не удалось, и я жалею о своей неудаче, потому что, если бы я его убила, не оставив следа, Звезда забыла бы его и снова стала сиять мне.

— Никогда, — прошептала мне на ухо Стелла.

Мистер Керсон побледнел от гнева.

— Люди, — сказал он, — вы слышали слова этой женщины. Вы слышали, чем она отплатила мне и моей дочери, в любви к которой клянется. Она хотела убить человека, который не причинил ей зла, мужа моей дочери. Мы спасли ее от бабуинов, кормили, обучали, и как она отплатила за все. Скажите, люди, что она заслужила?

— Смерть, — раздалось из круга индун, которые повернули к земле большие пальцы рук. Толпа, стоявшая за ними, повторила, как эхо: «Смерть».

— Смерть, — повторил еще раз главный индуна, добавив: — Если ты спасешь ее, отец мой, мы убьем ее своими руками. Эта женщина-бабуинка

— чертовка; о, мы уже слыхали о таких. Надо убить ее, прежде чем она натворит еще больше зла.

Тут выступила вперед Стелла и в трогательных выражениях стала просить сохранить Гендрике жизнь. Она говорила о дикой натуре этой женщины, о ее долгой службе, о том, что она неизменно проявляла к ней привязанность. Сказала, что я простил Гендрику, она, жена моя, едва не сделавшаяся вдовой до венца, — тоже; пусть и они простят ее, пусть изгонят, но только не убивают, чтобы день ее свадьбы не был запятнан кровью.

Отец слушал очень внимательно. У него не было намерения убить Гендрику — он уже обещал этого не делать. Но туземцы были настроены иначе. Они считали Гендрику чертовкой и, дай им волю, растерзали бы ее на месте. А тут еще подлил масла в огонь Индаба-Зимби, завоевавший в поселке репутацию мудреца и колдуна. Он вдруг поднялся и произнес страстную речь, призывая убить Гендрику на месте, чтобы избежать зла.

Двое индун хотели уже тащить ее на казнь. Только горькие слезы Стеллы, приказания мистера Керсона и мои доводы спасли Гендрику.

Она стояла с совершенно безучастным видом. Наконец шум улегся, и главный индуна велел ей уходить, добавив, что если ее заметят поблизости от крааля, то прикончат, как шакала. Тогда Гендрика тихо сказала Стелле:

— Пусть они убьют меня, госпожа, так будет лучше для всех. Если я не смогу любить тебя, я сойду с ума и снова стану бабуинкой.

Стелла ничего не ответила, и Гендрику развязали. Она сделала несколько шагов вперед и окинула туземцев взором, полным ненависти. Потом повернулась и прошла мимо меня. Мне на ухо она шепнула на языке туземцев:

— До следующей луны, — что соответствует нашему «До свидания».

Это испугало меня. Я понял, что она собирается свести со мной счеты и что напрасно мы проявили милосердие. Увидев, что выражение моего лица изменилось, она быстро побежала. Поравнявшись с Индаба-Зимби, она внезапно вырвала у него из рук свой нож. Шагах в двадцати от нас она остановилась, долго и серьезно смотрела на Стеллу, потом испустила громкий вопль страдания и убежала. Несколько минут спустя мы увидели ее вдалеке: она взбиралась по почти отвесной скале, вершины которой не смог бы достичь никто, кроме нее и бабуинов.

— Гляди, — сказал мне на ухо Индаба-Зимби. — Гляди, вон где бабуинка. Но, Макумазан, она вернется. Ах, зачем ты меня не послушал? Разве все, что я говорил тебе, не сбывалось, Макумазан?

Он пожал плечами и отвернулся.

Я был очень встревожен, но Гендрика все-таки убралась хоть на время, а рядом со мной была Стелла, моя дорогая, прелестная жена. Ее улыбка заставила меня забыть все страхи.

Наконец-то, пусть ненадолго, я обрел покой и идеальную радость. Мы вечно стремимся к ним, но так редко их находим.

Глава XI. Исчезла!

Не знаю, многие ли супруги бывают так счастливы, как были мы со Стеллой. Циники, число которых все растет, утверждают, что лишь немногочисленные иллюзии переживают медовый месяц. Не берусь об этом судить, так как был женат только раз и могу основываться лишь на собственном ограниченном опыте. Но несомненно, что наша иллюзия или, вернее, великая истина, тенью которой она является, сохранилась, ибо по сей день живет она в моем сердце, несмотря на мрачную пропасть разлуки, уже столько лет разделяющую нас. Но полного счастья не бывает на этом свете даже на час. Как день нашей свадьбы был омрачен описанной сценой, так и нашу супружескую жизнь омрачила печаль.

Через три дня после нашей свадьбы с мистером Керсоном случился удар. Приближение его чувствовалось уже давно. И вот теперь, придя обедать в центральную хижину, мы нашли его лежащим молча на кушетке. Сначала я подумал, что он умирает, но это было не так. Четыре дня спустя у него восстановилась речь, он стал даже немного двигаться. Память, однако, так и не вернулась к нему, хотя он узнавал Стеллу, а иногда и меня. Любопытно, что Тоту он помнил лучше нас всех, но принимал ее иногда за свою родную дочь в детстве; тогда он спрашивал ее, где мама. В таком состоянии он пробыл около семи месяцев. Старик становился все слабее. Разумеется, состояние его полностью исключало для нас возможность покинуть Бабиан краальс. Это было тем более неприятно, что меня угнетало предчувствие опасности, угрожавшей Стелле, да и состояние ее здоровья требовало скорейшего переселения в цивилизованные края. Однако ничего нельзя было поделать.

Конец пришел внезапно. Однажды вечером мы сидели у постели мистера Керсона в его хижине. К нашему удивлению, он вдруг приподнялся, сел и проговорил громким голосом:

— Я слышу тебя. Да, да, я прощаю тебя. Бедная женщина, ты тоже страдала.

С этими словами он откинулся назад и умер.

Я почти не сомневаюсь в том, что он обращался к своей жене, представшей вдруг перед его мысленным взором.

Стелла была вне себя от горя. До моего приезда отец был ее единственным другом, и понятно, что они были привязаны друг к другу сильнее, чем обычно отец и дочь. Она так сильно горевала, что я боялся за

нее.

Мы были не одиноки в нашем горе: туземцы звали мистера Керсона отцом и теперь оплакивали его, как отца. Всюду слышался женский плач, мужчины ходили с опущенными головами и сетовали, что солнце зашло на небе и теперь осталась только Звезда. Один Индаба-Зимби не горевал. Он говорил, что для инкоси было лучше умереть. К чему жизнь, когда лежишь бревном. Он утверждал даже, что для всех было бы лучше, если бы мистер Керсон умер раньше.

На следующий день мы похоронили его на маленьком кладбище у водопада. Нам было очень тяжело, и Стелла горько плакала, как я ни старался ее утешить.

В тот вечер было жарко. Я сидел и курил подле хижины, а Стелла лежала в доме. Тут ко мне подошел Индаба-Зимби, поздоровался и уселся на корточках у моих ног.

— Что тебе, Индаба-Зимби? — спросил я.

— Вот что, Макумазан, — ответил он. — Когда ты собираешься отправиться к побережью?

— Не знаю, — ответил я. — Звезда сейчас не в состоянии путешествовать, придется обождать.

— Нет, Макумазан, ждать нельзя, ты должен ехать, а Звезда должна рискнуть. Она сильная. Это пустяки. Все будет хорошо.

— Почему ты говоришь так? Почему мы должны уехать?

— Вот по какой причине, Макумазан, — он настороженно оглянулся и понизил голос. — Бабуины вернулись — их тысячи. Гора кишит ими.

— А я и не знал, что они ушли, — сказал я.

— Да, — ответил он, — они ушли после свадьбы, остался только один или двое. Но теперь они вернулись. По-моему, здесь собрались бабуины со всего света. Я видел, что скала черна от них.

— Это все? — спросил я, почувствовав, что у него еще что-то на уме. — Я не боюсь бабуинов.

— Нет, Макумазан, это не все. С ними бабуинка Гендрика. Гендрики мы не видели и не слышали со дня ее изгнания, и, хотя я долго не забывал ее угроз, воспоминание о них постепенно сгладилось, ибо мои мысли были полностью заняты Стеллой и болезнью тестя. Я вздрогнул.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Я видел ее, Макумазан. Она изменила свой облик, напялила на себя шкуры бабуинов и вымазала лицо. Но хотя она была далеко, я узнал ее по росту, а когда шкура соскользнула, заметил белую кожу у нее на руке. Она вернулась, Макумазан, и с нею все бабуины, какие есть на свете, а

возвратилась она для того, чтобы делать зло. Теперь ты понял, почему тебе надо уходить?

— Да, — сказал я, — и хотя не вижу, каким образом она и бабуины могут нам повредить, думаю, что все же лучше уйти. Если потребуется, мы сможем остановить фургоны в пути и стать лагерем. Послушай, Индаба-Зимби, не говори ничего Звезде, я не хочу ее пугать. А теперь слушай дальше. Попроси старейшин, чтобы они поставили караульных у хижин и садов и чтобы охрана не снималась ни днем, ни ночью. Завтра мы приготовим фургоны, а на следующий день отправимся в путь.

Он кивнул своей белой прядью и пошел выполнять мою просьбу. Я же остался в сильной тревоге, хотя для этого как будто не было особой причины. Да, странная история. Я знал, что эта женщина может говорить с бабуинами[93]. Это не столь уж поразительно, ведь и бушмены разговаривают с бабуинами, а она выросла среди этих обезьян. Но организовать их силой своей человеческой воли и разума, организовать для мести нам… Нет, это невероятно! Поразмыслив, я решил, что мне нечего особенно бояться, но что все же лучше уйти. В конечном счете путешествие в фургоне, запряженном волами, не такое уж страшное испытание для сильной женщины, привыкшей к трудностям, каково бы ни было состояние ее здоровья. Все-таки мне очень не нравилась вся эта история с появлением Гендрики и бесчисленного количества бабуинов.

Я пошел к Стелле и, ни слова не сказав про бабуинов, сообщил, что долг повелевает нам буквально выполнить указания ее отца и немедленно покинуть Бабиан краальс. Не стану подробно передавать наш разговор, скажу только, что в конце концов она согласилась и сказала, что отлично перенесет путешествие. Теперь, когда любимый отец ее скончался, она и сама охотно уедет отсюда.

В эту ночь ничто нас не тревожило, а утром я поднялся рано и взялся за приготовления к отъезду. Узнав, что мы уезжаем, жители так расстроились, что на них было жалко смотреть. Я утешил их тем, что мы отправляемся только путешествовать и в будущем году вернемся.

— Мы жили в тени нашего отца, который теперь умер, — говорили они.

Так было с их детства. Он принял их, когда они были отверженными странниками, не имели ни циновки для подстилки, ни одеяла, чтобы укрыться ночью, а в его тени они стали тучными. Потом он умер. Звезда, дочь их отца, вышла замуж за меня, Макумазана, и они были уверены, что я займу место их отца и позволю им жить в моей тени. Что ждет их теперь, когда они остались без защиты? Только страх перед белым человеком

удерживает другие племена от нападения на них. Если мы уедем, их съедят. Увы! Их страхи были обоснованными.

В полдень я вернулся к хижинам, чтобы перекусить. Стелла сказала, что займется упаковкой вещей во второй половине дня. Я не счел нужным предупредить ее, чтобы она не выходила одна. Мне не хотелось без крайней надобности говорить о Гендрике и бабуинах. Я обещал вернуться и помочь ей, как только освобожусь. Затем я правился в туземные краали, чтобы отделить скот мистера Керсона, который намеревался угнать с собой. Стадо оказалось большое, отбор скота длился бесконечно долго. Наконец уже перед самым заходом солнца я поручил Индаба-Зимби довести это дело до конца, сел на коня и поехал домой.

Там я передал лошадь конюху и вошел в центральную хижину. Стеллы не было видно, а вещи, которые она укладывала, лежали еще на полу. Я прошел сначала в хижину, служившую нам спальней, а оттуда — в остальные, но Стеллы нигде не было. Тогда я вышел наружу, окликнул кафра, работавшего в саду, и спросил, не видел ли он хозяйку.

Тот ответил, что видел, как она направилась с цветами к кладбищу, держа за руку маленькую белую девочку — мою дочь, как назвал он Тоту. В то время солнце стояло «там» — он показал на горизонте точку, где оно находилось часа полтора назад. «С ними были две собаки», — добавил он. Я побежал к кладбищу, расположенному в четверти мили от хижины. Разумеется, для тревоги не было оснований: Стелла, очевидно, отправилась на могилу отца. И все же я был встревожен.

У кладбища я встретил туземца, который по моему приказанию был назначен караульным, и заметил, что он трет глаза и зевает. Ясно было, что он спал. Я спросил, видел ли он госпожу, но он, конечно, ответил отрицательно. Я не стал тратить время на упреки, приказал ему следовать за мной и пошел к могиле мистера Керсона, там лежали уже осыпающиеся цветы, которые принесла Стелла. На мягком грунте остался след кожаной туфельки Тоты. Но где же они сами?

Я выбежал с кладбища и закричал во всю мочь, но ответа не последовало. Между тем туземец пошел по следам. Ярдов через сто он очутился у группы мимоз, расположенной между потоком и древними каменоломнями над самым водопадом, у начала ущелья. Там он остановился, и я услышал его удивленный возглас. Я бросился к нему, продираясь сквозь кусты, и вот что я увидел. В центре большой поляны, куда вели следы трех пар человеческих ног, двух обутых и одной босой, — следы Стеллы, Тоты и Гендрики, — незадолго до нас явно происходила борьба. Рядом валялись клочья, именно клочья, оставшиеся от двух собак,

и тело издыхающего бабуина, которому они перегрызли горло. Кругом виднелись бесчисленные следы бабуинов. Тут только я осознал весь ужас происшедшего.

Мою жену и Тоту утащили бабуины. Они еще не были убиты — раз я нигде не нашел их останков. Значит, их похитили. Под главенством женщины-обезьяны Гендрики эти звери утащили их в тайное убежище, чтобы держать там до самой смерти или убить!

В первый момент я буквально зашатался от ужаса. Потом, овладев собой и поборов отчаяние, велел туземцу бежать в краали и поднять людей. Пусть они вооружатся сами и принесут мне ружья и боеприпасы. Он полетел как ветер, а я стал изучать следы. На протяжении нескольких ярдов все было ясно — Стеллу тащили силой. Я нашел места, где она цеплялась каблуками за землю. Девочку, видимо, несли на руках, — во всяком случае, нигде не было отпечатков ее ног. На берегу ручья следы пропали. Ручей был неглубоким, можно было идти по его дну, и Гендрика так и поступила со своими жертвами, чтобы не оставить следов. Я заметил, что поросший мхом камень, лежавший в русле, перевернут. Я бросился по берегу вдоль ущелья в тщетной надежде увидеть их. И вдруг услышал лай наверху, в скалах. Раздался ответный лай, и я заметил по обеим сторонам ущелья десятки бабуинов, которые медленно спускались, чтобы преградить мне путь. Идти вперед безоружным было бесполезно. Меня только разорвали бы на куски, как собак Стеллы. Поэтому я повернул назад и побежал к хижинам. За это время мой гонец поднял на ноги жителей поселка, и туземцы с копьями и палицами в руках бежали ко мне. Войдя в хижину, я встретил Индаба-Зимби. Лицо у него было очень озабоченное.

— Итак, пришла беда, Макумазан, — сказал он.

— Пришла, — ответил я.

— Не падай духом, Макумазан, — продолжал он. — Она не умерла, и девочка тоже; мы найдем их, прежде чем они умрут. Помни: Гендрика любит ее. Она не причинит ей вреда и бабуинам не позволит. Она попытается спрятать ее от тебя, вот и все.

— Молю Бога, чтобы мы нашли ее, — простонал я. — Уже темнеет.

— Через три часа взойдет луна, — ответил он. — Мы будем искать ее при свете. Пускаться в путь сейчас бесполезно: видишь, солнце заходит. Соберем людей, поедим и приготовимся. Поспешай медленно, Макумазан.

Делать было нечего, я последовал его совету. Есть я не мог, но взял с собой еду на дорогу, приготовил веревки и простейшие носилки. Ведь если мы их найдем, вряд ли они смогут идти самостоятельно. О, только бы найти их! Как медленно тянется время! Казалось, прошли целые часы, пока

взошла луна. Но наконец она показалась.

Тогда мы пустились в путь. Всего нас собралось около ста человек, но у нас были только мой «рур» для охоты на слонов и четыре ружья мистера Керсона.

Мы достигли места у ручья, где была захвачена Стелла. Глядя на разбросанные останки собак и следы насилия, туземцы поклялись, что, жива Звезда или нет, они не успокоятся, пока не уничтожат всех бабуинов на горе Бабиан. Я повторил эту клятву, и, как увидите, мы ее выполнили.

Идя вдоль ручья, мы старались не потерять следы бабуинов. Но в самом ручье их, естественно, не было, да и на скалистых берегах оставалось очень немного. И все же мы двигались вперед… Когда мы прошли около мили вверх по течению, Индаба-Зимби вдруг повернул направо в один из бесчисленных оврагов, которые проходили у подножия высокой горы.

Так мы шли, минуя овраг за оврагом. Индаба-Зимби, который вел нас, ни разу не растерялся. Он обходил овраги и переваливал через гребни холмов с уверенностью собаки, идущей по горячему следу. После трехчасового марша мы достигли большой тихой долины на северном склоне высокой горы. С одной стороны долины тянулась гряда холмов, с другой — возвышалась отвесная каменная стена. Мы прошли вдоль нее около двух миль. Тут Индаба-Зимби вдруг остановился.

— Здесь, — сказал он, указывая на отверстие овальной формы в стене.

Оно находилось в сорока футах от земли. Высота его не превышала двадцати футов, ширина — десяти. Его частично скрывали папоротники и кусты, росшие на каменной стене. Как ни зорки были мои глаза, я бы, вероятно, не заметил его, тем более что на склоне горы было много таких трещин и углублений.

Мы подошли ближе и тщательно осмотрели это место. Прежде всего я заметил, что скала не совсем отвесная и поверхность ее истерта постоянно лазавшими по ней бабуинами; далее, мне бросилось в глаза, что на кусте, росшем у вершины скалы, висел какой-то белый предмет.

Это был носовой платок.

Сомнений больше не оставалось. С бьющимся сердцем я начал восхождение. Первые двадцать футов подъем облегчали уступы в скале. Следующие десять футов оказались очень трудными, но все же доступными для ловкого человека, и я преодолел их, как и Индаба-Зимби. Но последние десять-пятнадцать футов можно было одолеть, только забросив веревку на ствол чахлого дерева, которое росло внизу отверстия. Это удалось нам не без труда, остальное оказалось значительно легче. На

высоте в один-два фута над моей головой качался на ветру носовой платок. Уцепившись за веревку, я схватил его. Это был носовой платок моей жены. Тут я заметил, что через край на меня смотрит бабуин. То был первый бабуин, замеченный нами после утренней встречи. Зверь тявкнул и исчез. Сунув носовой платок себе за пазуху, я уперся ногами в скалу и изо всех сил полез вверх. Я понимал, что мы не можем терять времени, ибо этот бабуин быстро поднимет на ноги остальных. Вскоре я добрался до отверстия. Это был всего-навсего сводчатый туннель, пробитый водой. Он заканчивался ущельем, которое вело к обширной площадке. Я заглянул в туннель и увидел, что ущелье черно от заполнивших его бабуинов. Их были сотни. Я снял с плеча ружье для охоты на слонов и стал ждать, крикнув людям, находившимся внизу, чтобы они поднимались как можно быстрее. Звери приближались по мрачному туннелю, ворча и показывая огромные зубы. Я подпустил их на пятнадцать ярдов и тогда выстрелил из ружья, заряженного картечью, в самую гущу бабуинов. В этом узком месте эхо прозвучало как после орудийного выстрела, но звук быстро потонул в пронзительных, похожих на человеческие криках и стонах обезьян. Картечь, как я и хотел, попала в скопление бабуинов, и целая дюжина их полегла в туннеле. Остальные на мгновение заколебались, но потом снова бросились ко мне, испуская отвратительные крики. К счастью, к этому времени подле меня уже стоял Индаба-Зимби, тоже с ружьем; без него я был бы разорван в клочья, прежде чем успел бы перезарядить свое. Он выстрелил из обоих стволов и снова остановил натиск обезьян. Но они опять ринулись на нас; несмотря на появление еще двух туземцев, которые не без успеха разрядили свои ружья в бабуинов, большие и свирепые животные взяли бы верх над нами, если б я не успел перезарядить ружье для охоты на слонов. Когда они приблизились вплотную, я выстрелил. Этот выстрел оказался для обезьян еще более гибельным, чем предыдущие, потому что на такой близкой дистанции каждая пуля нашла цель. Неописуемые вопли, крики боли и ярости наполнили ущелье. Можно было подумать, что мы ведем бой с легионом демонов. Во мраке — от нависавшего над нами каменного свода в туннеле было почти темно — скрежетавшие зубами и сверкавшие глазами обезьяны действительно напоминали демонов. Но они не выдержали последнего залпа и отступили, унося с собой часть раненых. Это дало возможность всем нашим людям взобраться на скалу. На подъем ушло всего несколько минут, потом мы двинулись вперед по туннелю, который вскоре перешел в скалистое ущелье с уступчатыми стенами. На дне ущелья протекал ручей длиной около ста ярдов. С обеих сторон его высились крутые утесы. Они были буквально

усеяны бабуинами, которые ворчали, лаяли, кричали и в ярости били себя в грудь длинными руками. Я посмотрел вниз. Вдоль потока в сопровождении толпы или, так сказать, охраны из бабуинов неслась Гендрика. Ее длинные волосы развевались, на лице было написано безумие. На руках она несла безжизненное тело маленькой Тоты.

При виде нас на губах Гендрики появилась пена ярости, и она громко крикнула. Мне этот крик ничего не сказал, но бабуины определенно поняли ее и начали сбрасывать на нас камни. Один чуть не попал в меня и уложил кафра, шедшего позади. Другой убил моего спутника, находившегося рядом со мной. Индаба-Зимби поднял ружье, чтобы застрелить Гендрику, но я толкнул ствол вверх, испугавшись, что он убьет ребенка. Затем я велел своим людям построиться в линию и перегородить ущелье. Разъяренные гибелью двух товарищей, они послушались меня. Я двинулся вперед по руслу потока в сопровождении Индаба-Зимби и других туземцев с ружьями, а остальным подал сигнал к атаке.

Тут начался настоящий бой. Трудно сказать, кто бился с большим ожесточением — туземцы или бабуины. Кафры кинулись вдоль стен ущелья, а бабуины устремились им навстречу, ободряемые криками Гендрики, которая носилась взад и вперед, прикрываясь вместо щита несчастной Тотой. Десятки обезьян были заколоты ассегаями, другие полегли под нашими выстрелами. Но это не остановило тех, кто был жив. У нас тоже не обошлось без потерь. Иногда кто-нибудь падал, поскользнувшись или от удара бабуина. Тогда бабуины кидались на него, как псы на крысу, и тут же приканчивали. Мы потеряли таким образом пять человек, а мне самому бабуин прокусил мясистую часть предплечья. К счастью, прежде чем он сумел свалить меня с ног, его пронзил ассегай находившегося подле меня туземца.

Совершенно внезапно бабуины прекратили бой. Их, видимо, охватила паника. Несмотря на крики Гендрики, они думали теперь не о борьбе, а о бегстве. Некоторые даже не пытались спастись от ассегаев кафров. Спрятав в лапы отвратительные морды и жалобно стеная, они ждали смерти.

Гендрика поняла, что бой проигран. Выпустив из рук ребенка, она бросилась прямо на нас — это было ужасающее зрелище безумия. Я поднял ружье, но не смог заставить себя выстрелить в эту полуобезьяну-полуженщину, лишившуюся рассудка. Поэтому я отскочил в сторону, и она со всего размаха налетела на Индаба-Зимби, сбив его с ног и даже этого не заметив. Страшно крича, она пробежала ущелье и туннель с немногими уцелевшими бабуинами и скрылась из виду.

Глава XII. Что произошло со Стеллой

Бой кончился. Всего мы потеряли семь человек убитыми, многие были искусаны, и мало у кого не осталось следов от зубов и когтей бабуинов. Не знаю, сколько именно мы убили зверей, — мы не считали, но, во всяком случае, много. Думаю, что стадо бабуинов, жившее в окрестностях горы Бабиан, долгие годы оставалось немногочисленным. Однако с того дня и посейчас я избегаю бабуинов и боюсь их больше всех других зверей.

Путь был расчищен, и мы бросились вперед. Прежде всего подобрали маленькую Тоту. Девочка не потеряла сознания, как я думал, а была парализована ужасом и едва могла говорить. Никакого другого вреда ей не причинили, однако только через несколько недель она пришла в себя.

Не уверен, что она поправилась бы, если бы была старше или не знала Гендрику раньше. Меня она сразу узнала, обняла ручонками за шею и так прижалась, что я не решился передать ее кому-либо другому, опасаясь напугать еще больше. Нетрудно представить себе, какой страх я испытывал. Найду я Стеллу живой или мертвой? Найду ли вообще? Между тем ущелье кончилось, и глазам нашим представилось необычайное зрелище. Мы находились в большом естественном амфитеатре, раза в три больше любого амфитеатра, построенного руками человека. Стены его состояли из отвесных утесов высотой от ста до двухсот футов. На окаймленном ими ровном участке росли деревья, напоминавшие парковые, сверкали цветы. Посередине протекал ручей, который, как я потом установил, питался водами источника, выходившего из-под земли у края ровного участка.

Мы построились в линию и прочесали местность в поисках Стеллы. Тота была слишком потрясена, чтобы показать нам, где она находится. Почти полчаса мы тщательно осматривали скалистые стены, разыскивая отверстие или пещеру. Но все было напрасно, мы ничего не находили. Я обратился к старому Индаба-Зимби, но и его способности имели предел… Наконец мы достигли вершины амфитеатра. Перед нами высилась стена, заросшая внизу травой, лишайниками и ползучими растениями. Я стал ходить вдоль нее, крича во весь голос.

Вдруг сердце мое замерло — мне показалось, что я слышу тихий отклик. Я подошел ближе к тому месту, откуда он как будто раздался, и снова закричал. Да, в ответ послышался голос моей жены. Казалось, он идет из скалы. Я подошел к ней и стал искать расселины среди ползучих

растений, но никакого отверстия не нашел.

— Отодвинь камень, — раздался голос Стеллы. — Вход в пещеру закрыт камнем.

Я ткнул копьем туда, откуда звучал голос, и оно внезапно ушло через лишайники в почву. Я отодвинул их и увидел камень, закрывавший отверстие в скале и замаскированный лишайниками так удачно, что оно оставалось незаметным даже для самого зоркого глаза. Вдвоем мы отвалили камень. За ним открылся узкий проход, пробитый водой. С бьющимся сердцем я вступил в него. Он привел нас в пещерку в форме бутылки из-под уксуса, дальний конец которой был горлышком. Мы миновали ее и очутились в другой, гораздо большей пещере… Она освещалась сверху — как именно, не знаю. При этом освещении я заметил в дальнем конце пещеры фигуру женщины, которая полулежала на шкурах. Я бросился к ней. То была Стелла! Стелла, связанная полосками кожи, вся в ссадинах, оборванная, но все же живая.



Она увидела меня, вскрикнула и потеряла сознание в тот самый миг, как я заключил ее в объятия. Какое счастье, что она не упала в обморок раньше: ведь если бы не звук ее голоса, мы вряд ли нашли бы эту тщательно замаскированную пещеру…

Мы вынесли ее на воздух, положили в тени дерева и разрезали путы на лодыжках. Выходя, я окинул взглядом пещеру. Там горел огонь, лежали грубые деревянные сосуды, один был до половины налит водой…

Теперь я мог разглядеть Стеллу. Лицо ее было исцарапано, осунулось от страха и слез, одежда почти сорвана с тела, прекрасные волосы распущены и всклокочены. Я велел принести воды, и ей слегка побрызгали в лицо. Затем я влил ей в рот немного персиковой водки, которую мы гнали в поселке. Она открыла глаза и, обняв меня, прижалась, как маленькая Тота, повторяя с рыданиями: «Благодарение Богу! Благодарение Богу!»

Потом она немного успокоилась, и я дал ей и Тоте поесть из того запаса, который мы захватили с собой. Я тоже поел с удовольствием: если не считать кукурузных лепешек, у меня целые сутки ничего не было во рту. После этого Стелла вымыла руки и лицо и, как могла, почистила обрывки своего платья. Постепенно она рассказала, что произошло.

Накануне, во второй половине дня, она устала паковать вещи и отправилась с Тотой на могилу отца. Ее сопровождали две собаки. Стелла хотела положить на могилу цветы и проститься с прахом отца. Она не была уверена, что ей удастся сделать это позднее, так как мы собирались выехать рано утром следующего дня. Проходя по саду, они срывали цветы с апельсиновых деревьев и собирали их по пути, а затем отправились на маленькое кладбище. Там она положила цветы на могилу, а сама уселась рядом и впала в глубокое грустное раздумье. Тота, шаловливая, как котенок, незаметно ушла. С ней отправились и собаки. Через некоторое время Стелла услышала ярдах в полутораста бешеный лай собак. Потом Тота вскрикнула, а собаки завыли от страха и боли. Стелла со всех ног кинулась на шум. Вскоре она увидела на поляне фигуру, в которой, несмотря на маскировку с помощью бабуиновых шкур и краски, без труда узнала Гендрику. Та держала на руках Тоту, а вокруг нее катались по земле бабуины, образовавшие две отвратительные кучи. В центре их Стелла различила несчастных псов: бабуины рвали их в куски.

— Гендрика, — вскричала Стелла, — что это значит? Что ты делаешь с Тотой и этими зверями?

Женщина взглянула на нее, и тут Стелла поняла, что та сошла с ума: глаза ее сверкали безумием. Гендрика опустила на землю Тоту, которая побежала к Стелле. Стелла подхватила ее, но тут же сама была схвачена Гендрикой. Она отчаянно сопротивлялась, но все было бесполезно: бабуинка не уступала в силе десятерым мужчинам. Она подняла ее и Тоту, как будто они ничего не весили, и убежала с ними по руслу потока, чтобы не оставлять следов. Но бабуины не желали лезть в воду и шли по берегу,

не отставая от Гендрики.

Следующая ночь походила скорее на кошмар, чем на действительность. Стелла так и не смогла рассказать, что именно происходило с ней. Смутно помнила только, что ее несли по скалам и ущельям, а вокруг раздавались ужасные крики и стоны бабуинов. Она заговаривала с Гендрикой по-английски и на языке кафров. Но женщина, если ее можно назвать так, в своем безумии, видимо, совершенно забыла эти языки.

Стоило Стелле сказать слово, как Гендрика принималась целовать ее и гладить по голове, но, видимо, не понимала мою жену. Зато она могла объясняться с бабуинами, и они беспрекословно ей подчинялись. Она не разрешала им прикоснуться к Стелле или к ребенку, которого держала на руках. Когда один из них попытался нарушить запрет, Гендрика с такой силой ударила его сухой палкой по голове, что он упал без сознания. Стелла трижды пыталась убежать, когда, несмотря на свою гигантскую силу, похитительница уставала и опускала ее и девочку наземь. Но всякий раз Гендрика ловила их и одолевала Стеллу в борьбе. Незадолго до рассвета они достигли утеса, и с первыми лучами солнца начался подъем. На первых порах Гендрика тащила их вверх. Когда же они достигли обрыва, она продела Стелле под мышки полосы шкуры, обмотанные у нее вокруг пояса. Бабуины легко преодолевали крутой подъем, прыгая с уступа скалы на ствол дерева, росшего у края пропасти. Гендрика следовала за ними, держа в зубах конец ремня из шкуры. При этом один из бабуинов помогал ей, свесившись с дерева. Вот во время подъема Стелла и решила уронить носовой платок, питая слабую надежду, что кто-нибудь из разыскивающих увидит его.

Гендрика оседлала дерево и, ворча, стала отдавать приказания бабуинам, столпившимся внизу вокруг Стеллы. Внезапно обезьяны схватили мою жену и маленькую Тоту, которую она держала на руках, и подняли с земли. После этого Гендрика, находившаяся наверху, напряглась и с помощью бабуинов подтянула их к себе. Стелла дважды сильно ударилась о скалу. После второго удара она почувствовала, что теряет сознание, и пришла в ужас, боясь уронить Тоту. Но ей удалось не выпустить ребенка из рук, и они вместе достигли верхушки скалы.

— С этого времени, — продолжала Стелла, — я ничего больше не помню до того момента, пока не очнулась в мрачной пещере на ложе из шкур. Ноги мои были связаны, а рядом сидела сторожившая меня Гендрика. Между тем толпа этих ужасных бабуинов собралась у входа в пещеру, и они просовывали головы внутрь. Тота все еще была у меня на

руках, полумертвая от страха. Она издавала жалобные стоны. Я заговорила с Гендрикой, умоляя отпустить нас. Но она либо совершенно перестала понимать человеческую речь, либо притворялась, что перестала. Она только и делала, что ласкала меня и целовала мои руки и платье с выражением величайшей преданности. Тота прижималась ко мне все сильнее. Гендрика заметила это и стала глядеть на девочку с такой ненавистью, что я испугалась, как бы она не убила ее. Тогда я отвлекла ее внимание, показав знаками, что хочу пить, и она напоила меня из деревянной чаши… Эта пещера, судя по запасам фруктов и сушеного мяса, была, очевидно, жилищем Гендрики. Она накормила меня и дала немного пищи Тоте, которую я заставила поесть. Ты не можешь себе представить, что я пережила, Аллан. Я убедилась, что Гендрика совершенно безумна и недалеко ушла от зверей, на которых похожа, но при этом обладает над ними огромной властью и употребляет ее во зло. Человеческой в ней осталась только привязанность ко мне. Очевидно, она хотела держать меня при себе и подальше от тебя. Ради этого она была готова на любую хитрость, любую уловку. В этом отношении она была вполне нормальна, но во всех остальных — совершенно безумна. К тому же, она не забыла своей ужасной ревности. Я заметила, с какой ненавистью она смотрела на Тоту, и понимала, что убийство ребенка только вопрос времени. Вероятно, через несколько часов Тота была бы убита у меня на глазах. Шансов на побег не было никаких, даже если бы у меня хватило сил. Мало надежды было и на то, что меня найдут. Нам предстояло оставаться в плену у безумного существа — полуобезьяны, полуженщины, — пока мы не погибнем самым жалким образом. Тут я подумала о тебе, дорогой, о страданиях, которые ты испытываешь, и сердце у меня едва не разорвалось. Я только молила Бога, чтобы он скорее послал мне спасение или смерть.

Во время молитвы я от усталости впала в забытье, и тут мне приснился странный сон. Мне снилось, что надо мной склонился Индаба-Зимби, покачивая своей белой прядью, и говорит мне на языке кафров, чтобы я не боялась, ибо скоро ты будешь со мной, а пока что надо угождать Гендрике и притворяться, что мне приятно ее общество. Сон был как наяву, мне казалось, что я вижу и слышу его, как сейчас.

Тут я поднял глаза и взглянул на старого Индаба-Зимби, сидевшего поблизости…

— Проснувшись, — продолжала она, — я решила последовать совету, полученному во сне. Я взяла руку Гендрики и пожала ее. Она хотя и дико, но радостно захохотала и положила голову мне на колени. Тут я знаками дала понять, что хочу есть. Она подбросила дров в огонь и занялась

приготовлением похлебки, которую раньше готовила очень хорошо. Очевидно, она не все забыла: похлебка получилась довольно вкусной, но от страха и усталости ни я, ни Тота не смогли съесть много.

После еды — а я старалась продлить наш обед возможно дольше — я заметила, что Гендрика начинает снова ревновать меня к Тоте. Опять она смотрела на нее с ненавистью, поглядывая на большой нож, висевший у нее на поясе. Я сразу узнала этот нож: им она хотела убить тебя, дорогой. В конце концов она схватила нож. Страх парализовал меня, но тут я вдруг вспомнила, что, будучи нашей служанкой, она часто выходила из себя, но мне всегда удавалось успокоить ее пением. И я запела гимны. Она немедленно забыла о ревности и вложила нож обратно в ножны. Эти звуки были ей знакомы, и она слушала меня с восхищением. Бабуины тоже столпились у входа в пещеру и слушали. Около часа или даже больше я пела все гимны, которые только могла припомнить. Было странно и страшно сидеть там и петь для безумной Гендрики, видеть, как отвратительные человекообразные обезьяны закрывают глаза и покачивают головами, слушая меня. Это напоминало кошмар…

Я уже стала терять голос, как вдруг услышала, что снаружи бабуины подняли страшный шум, как если бы они сердились. А потом, дорогой, до меня донесся звук выстрела твоего ружья, и он показался мне сладчайшим из слышанных звуков. Уловила его и Гендрика. Она вскочила, мгновение колебалась, потом, к моему ужасу, схватила на руки Тоту и бросилась к выходу из пещеры. Я, разумеется, не могла следовать за ней, потому что ноги мои были связаны. В следующее мгновение я услышала, как привалили камень ко входу в пещеру, в ней стало темнее, и я поняла, что заперта. Теперь даже выстрелы едва доносились до меня, а потом я и вовсе перестала что-либо слышать, сколько ни напрягала слух.

И все же через каменную стену проник слабый зов. В ответ я закричала во весь голос. Остальное тебе известно. О дорогой муж мой, благодарение Богу, благодарение Богу!

С этими словами она, плача, упала мне в объятия.

Глава XIII. Пятнадцать лет спустя

Стелла и Тота были слишком утомлены, чтобы двинуться в путь, и мы провели ночь в становище бабуинов, но обезьяны нас не тревожили. Стелла не захотела спать в пещере: это место пугало ее. Я устроил ей нечто вроде постели под кустом терновника; окруженная скалами долина была одним из самых жарких мест, где я бывал, и я решил, что для Стеллы это не опасно. Но утром, когда взошло солнце, я заметил, что над местностью висит облако тумана, полного миазмов. Однако ни Стелла, ни Тота не чувствовали себя хуже, и мы направились домой. Я еще накануне послал несколько человек в крааль за лестницей, и, когда мы добрались до вершины утеса, они уже ждали нас внизу. Спуститься по лестнице было легко. Стелла сошла на вершине утеса со своих примитивных носилок, а после спуска снова улеглась в них.

Так мы благополучно добрались до крааля и больше не видели Гендрики. Если бы все это было сказкой, я, без сомнения закончил бы ее здесь словами: «Стали жить-поживать да добра наживать». Но — увы! — вышло не так. Как мне написать об этом?

Теперь, когда опасность миновала, силы Стеллы совершенно иссякли, и уже через несколько часов после возвращения я понял, что при ее состоянии мы не можем в ближайшее время уехать из Бабиан краальс. Физическое напряжение, душевные страдания и ужасы страшной ночи совершенно подорвали ее здоровье. К тому же, она заболела лихорадкой, которую, несомненно, схватила в нездоровой атмосфере той проклятой долины. Правда, лихорадка вскоре прошла, но Стелла ослабела еще больше.

Мне кажется, она сознавала, что скоро умрет; во всяком случае, она говорила о моем будущем, но никогда о нашем. Не нахожу слов, чтобы рассказать, какой милой она была, какой кроткой, терпеливой, безропотной… Да мне и не хочется говорить об этом — слишком это грустно. Скажу одно: если когда-нибудь женщина приближалась к идеалу, еще живя на земле, то это была Стелла Куотермэн.

Роковой час приближался. Родился мой сын Гарри, и мать успела поцеловать и благословить его. Потом она впала в забытье. Мы сделали все, что могли, но нам не хватало умения. Я провел у ее изголовья целую ночь, и сердце мое разрывалось от тоски.

Наступил рассвет, взошло солнце. Лучи его, падавшие на гору за нами,

отразились во всем великолепии на западной стороне неба. Стелла очнулась, увидела свет, шепотом попросила открыть дверь и обратила свой угасающий взор на лучезарное утреннее небо. Потом посмотрела на меня, улыбнулась, последним усилием подняла руку и, указывая на ослепительно блестевшее небо, прошептала: «Там, Аллан, там!».

С этими словами она скончалась. Мое сердце разбито навсегда. Те, кто пережил такую же потерю, сумеют понять мое горе, описать его невозможно. Пусть и я умру в такой час, и да пребудет мир со мной…

Я похоронил Звезду рядом с могилой отца, и рыдания людей, которые ее любили, поднялись к небесам. Плакал даже Индаба-Зимби, только у меня уже не было слез.

На вторую ночь после похорон ее я не мог заснуть. Встал, оделся и вышел. Луна светила ярко, и при свете ее я без труда добрался до кладбища. В ночной тишине мне показалось, что с дальнего конца его слышится стон. Я заглянул через стену. У могилы Стеллы, скорчившись, разрывая руками дерн, словно стараясь откопать ее тело, сидела Гендрика. Вид у нее был измученный, глаза смотрели дико. Она настолько похудела, что когда шкуры, в которые она была закутана, распахнулись, стало заметно, что ее лопатки туго обтянуты кожей. Вдруг она подняла глаза и увидела меня. Со страшным смехом маньяка она поднесла руку к поясу и обнажила свой большой нож. Я подумал, что она собирается напасть на меня, и приготовился защищаться как смогу, ибо был безоружен. Но она вместо этого высоко подняла нож, засверкавший в свете луны, и воткнула его себе в грудь; тут же она упала на землю.

Я перепрыгнул через стену и подбежал к ней. Она была еще жива. Когда она открыла глаза, я заметил, что взгляд ее больше не безумен.

— Макумазан, — сказала она по-английски, запинаясь, как человек, наполовину забывший язык. — Макумазан, теперь я вспомнила. Я потеряла разум. Она действительно умерла, Макумазан?

— Да, — сказал я, — она умерла, и это ты ее убила.

— Я ее убила! — дрожащим голосом воскликнула умирающая женщина. — А ведь я любила ее. Да, да, теперь я знаю. Я снова стала зверем и утащила ее к зверям, а теперь я опять женщина, но она мертва, и это я ее убила — потому что так сильно любила. Я убила ту, кто спас меня от зверей. Я еще жива, Макумазан. Пытай меня, пока я не умру, только медленно, очень медленно. Я сошла с ума из ревности к тебе и убила ее, и теперь она никогда мне не простит.

— Проси прощения у Неба, — сказал я. Гендрика была христианкой, и

сила ее раскаяния тронула меня.

— Ни у кого не прошу прощения, — ответила она. — Пусть Бог вечно меня пытает за то, что я ее убила. Да стану я навеки зверем, пока она сама не разыщет меня и не простит. Мне нужно только ее прощение.

Испустив страдальческий вопль, шедший из глубины души, и словно позабыв в муках совести свои физические страдания, Гендрика, женщина-бабуин, скончалась.

Я вернулся в крааль, разбудил Индаба-Зимби и велел послать кого-нибудь посторожить мертвое тело, которое я намеревался похоронить. Но к утру оно исчезло: туземцы забрали труп и, полные ненависти, бросили на съедение стервятникам. Таков был конец Гендрики.

Через неделю после смерти Гендрики я покинул Бабиан краальс. Полный призраков, он стал мне ненавистен. Я послал за старым Индаба-Зимби и сообщил, что уезжаю. Он ответил, что я поступаю правильно.

— Это место послужило тебе, — сказал он. — Здесь ты познал радость, которую тебе было на роду написано испытать, и пережил страдания, которые уготовил тебе рок. Сейчас ты этого еще не понимаешь, но радость и страдания, как затишье и буря, — одно и то же. Они найдут наконец успокоение на небе, откуда явились. А теперь ступай, Макумазан.

Я спросил его, пойдет ли он со мной.

— Нет, — ответил Индаба-Зимби. — Пути наши расходятся, Макумазан. То, ради чего мы встретились, свершилось. А теперь каждый пойдет своей дорогой. Ты проживешь еще много лет, Макумазан, я же — мало. Пожмем друг другу руки, но это будет в последний раз. Быть может, мы еще и встретимся, но только не на этом свете. Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше.

— Грустные слова, — сказал я.

— Правдивые слова, — ответил он.

Мне тяжело рассказывать о том, что было потом. Я ушел, оставив Индаба-Зимби ферму, часть скота и ненужных мне вещей.

Тоту я, разумеется, взял с собой. К счастью, она уже почти оправилась от пережитого потрясения. Маленький Гарри оказался очень здоровым ребенком. Мне повезло и в другом: достойная туземка, муж которой погиб в схватке с бабуинами, согласилась быть его кормилицей и сопровождать меня.

Медленно удалялся я от Бабиан краальс. Все его жители провожали меня часть пути. Дорога в Наталь шла вдоль Негодных земель, и в первую ночь мы заночевали под тем самым деревом, где умирали от жажды, когда нас нашла Стелла.

Я мало спал. Все же я был рад тому, что не умер в пустыне за одиннадцать месяцев до того… Я завоевал любовь моей дорогой Стеллы, и хоть недолго — мы были счастливы. Счастье наше было слишком полным, чтобы длиться долго…

Утром я простился у дерева с Индаба-Зимби.

— До свидания, Макумазан, — сказал он, качая своей белой прядью. — До свидания, но не прощай. Я не христианин. Твой отец не смог обратить меня в свою веру. Но он был мудрый человек и не лгал, когда говорил, что те, кто расстается, встретятся вновь. По-своему я тоже мудрый человек, Макумазан, и говорю тебе: правда, что мы встретимся вновь. Все мои предсказания тебе, Макумазан, подтвердились — подтвердится и это, последнее. Говорю тебе, что ты вернешься в Бабиан краальс и не застанешь меня. Говорю тебе, что ты попадешь в более далекую страну, чем Бабиан краальс, и найдешь меня там. До свидания.

С этими словами он взял щепотку табаку, понюхал его, повернулся и ушел.

О моем путешествии в Наталь много не расскажешь. Я пережил немало приключений, но все они были довольно обычными, и в конце концов благополучно добрался до Дурбана, где никогда прежде не бывал. И Тота, и мой малыш хорошо перенесли путешествие.

Тут, пожалуй, кстати рассказать о дальнейшей судьбе Тоты. Один год она находилась со мной. Потом ее удочерила жена английского полковника, служившего в Капской колонии. Новые родители увезли ее в Англию, там она выросла очаровательной, красивой девушкой и в дальнейшем вышла замуж за священника в Норфолке. Но я больше никогда ее не видел, хотя мы переписывались.

Прежде чем я возвратился на родину, Тота ушла в страну теней, оставив трех сирот. Увы! Все это произошло давно, я был тогда молод, а теперь стар.

Быть может, читателю будет интересно узнать о судьбе имения мистера Керсона, которое, разумеется, должен был унаследовать его внук Гарри. Я написал в Англию о правах моего сына на это имение, но юрист, занимавшийся делом, решил, что с точки зрения английского права брак мой со Стеллой не является законным, ибо обряд венчания был совершен не священником. По этой причине Гарри не может наследовать имение. У меня хватило глупости согласиться с ним, и имение отошло к двоюродному брату моего тестя. Однако в Англии я узнал, что правильность заключения юриста вызывает большие сомнения и что суд, по всей вероятности,

признал бы совершенно законным мой брак, заключенный в торжественной обстановке и по обычаям того места, где происходило венчание. Но я сейчас настолько богат, что мне не стоит ворошить это дело. Двоюродный брат тестя умер, имением владеет его сын, и пусть он пользуется наследством.

Однажды, только однажды, я снова побывал в Бабиан краальс. Лет через пятнадцать после смерти моей любимой, уже человеком среднего возраста, я предпринял экспедицию в Замбези. Как-то вечером я распряг волов у начала хорошо знакомой долины в тени высокой горы. Сев на коня, я один, без спутников, поехал вверх по долине. Со странным предчувствием беды я заметил, что дорога заросла и, если не считать мелодичного журчания воды, повсюду царит молчание смерти. Краали, стоявшие слева от реки, исчезли. Я направился к тому месту, где они прежде находились. Кукурузные поля заросли сорняками, тропы — травой. От краалей остался только пепел, тоже заросший травой, среди которой блестели в свете луны белые человеческие кости. Я понял все: поселок подвергся нападению сильных врагов, жителей его перебили. Предчувствия туземцев оправдались: теперь Бабиан краальс был населен только воспоминаниями.

Я поднялся на террасы. Крыши мраморных хижин блестели как встарь. Эти хижины не сгорели и были слишком прочны, чтобы их могли снести без труда. Я вошел в одну — то была наша спальня — и зажег свечу, которую привез с собой. Хижины оказались разграбленными. Повсюду валялись листы, вырванные из книг, и полусгнившие обломки мебели. Тут я вспомнил, что в полу был устроен прикрытый камнем тайник, где Стелла прятала свои маленькие сокровища. Я подошел к камню и приподнял его. В тайнике лежал сверток, завернутый в ветхую ткань. Я развернул ее. Внутри оказалось подвенечное платье моей жены. В складках платья лежали увядшие венки и цветы, которые украшали ее в день свадьбы, и маленький бумажный пакетик. Я развернул его: в нем оказалась прядь моих волос!

Я вспомнил, что перед отъездом искал это платье, но не нашел, ибо забыл о тайнике в полу.

Я взял платье и в последний раз покинул хижину. Затем привязал лошадь к дереву и через опустошенный сад отправился на кладбище. Оно заросло сорняками, но на могиле моей любимой выросло апельсиновое дерево, и ароматные лепестки его цветов падали на могильный холм. Когда я подошел ближе, раздался шум и треск. Большой бабуин выскочил из глубины кладбища и скрылся между деревьев.

Я ненадолго задержался, погрузившись в мысли, которые не берусь

описать. Потом, оставив мою покойную жену спать мертвым сном там, где слышится грустная музыка воды, струящейся в тени вечной горы, я повернулся и стал искать место, где мы впервые признались друг другу в любви. Апельсиновая роща превратилась в непроходимую чащу. Многие деревья погибли, задушенные ползучими растениями, но некоторые еще цвели. Я узнал то, под которым мы тогда сидели на камне. А на камне я увидел призрак Стеллы, той Стеллы, на которой я женился! Да, она сидела там, и на поднятом кверху лице было такое же выражение счастья, как в тот миг, когда мы впервые поцеловались. Луна сияла в ее темных глазах, ветерок играл вьющимися волосами, грудь поднималась и опускалась, нежная улыбка играла на полуоткрытых устах. Я стоял, исполненный страха и радости, и глядел на тень прелестного создания, которое некогда принадлежало мне. Я не мог говорить, а она не сказала ни слова. Казалось даже, что она не замечает меня. Я подошел ближе. Она опустила глаза. На мгновение наши взоры встретились, и я всем своим существом понял, что она хотела мне сказать.

Потом она исчезла. Исчезла. Остались только яркий свет луны, освещавший место, где она сидела, грустная музыка вод, тень вечной горы и в сердце моем — скорбь и надежда.

Хоу-Хоу,
или
Чудовище



ХОУ-ХОУ, ИЛИ ЧУДОВИЩЕ

Глава I. Буря

[94]

Мне, издателю этих записок, выпало на долю, в качестве душеприказчика покойного, познакомить мир с приключениями моего дорогого друга Аллана Квотермейна, Бодрствующего В Ночи, как называли его туземцы Африки; ныне я приступаю к самому любопытному и необычайному из этих приключений. Аллан рассказал мне о нем много лет тому назад, когда я гостил в его доме в Йоркшире, незадолго до его отъезда с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом в его последнюю экспедицию в сердце Африки, откуда он больше не вернулся.

В свое время я подробно записал поразивший меня рассказ, но должен сознаться, что впоследствии я потерял свои заметки и, не доверяя своей памяти, не мог восстановить хотя бы их сущности с точностью, желательной моему усопшему другу.

Но вот на днях, роясь у себя в кладовой, я наткнулся на портфель, сохранившийся от моего далекого прошлого, когда я практиковался в качестве юриста. С некоторым волнением, какое охватывает нас, когда на склоне лет мы вдруг соприкасаемся с предметами, напоминающими нам о давно минувших событиях юности, поднес я его к окну и не без труда отпер ржавый замочек. В портфеле оказалась небольшая коллекция всякого хлама: бумаги, относящиеся к одному процессу, на котором я некогда работал, как черт, для одного своего друга — выдающегося ученого, ставшего впоследствии судьей, синий карандаш со сломанным грифелем и тому подобное.

Я просмотрел бумаги, перечел мои собственные пометки на полях и со вздохом разорвал их и бросил на пол. Затем вывернул портфель, чтобы выколотить из него пыль, и при этом из внутреннего кармана выскользнула очень толстая записная книжка в черном клеенчатом переплете. Я открыл ее, и в глаза мне бросился подзаголовок:

Конспект необычайного рассказа Ал. К-на о боге-чудовище, или фетише, Хоу-Хоу, которого он и готтентот Ханс открыли в центральных

областях Южной Африки.

Мгновенно все всплыло в моей памяти. Я увидел себя, в те дни еще юношу, наскоро составляющим эти заметки под свежим впечатлением рассказа Аллана — поздно ночью в его доме и потом на утро в поезде, чтобы после, на досуге, связно и подробно их переложить в своем кабинете на Ильм Корт в Темпле[95].

Вспомнил я также свое огорчение при открытии, что записная книжка бесследно пропала, хотя я отлично знал, что спрятал ее в надежном месте. Еще вижу себя мечущимся в поисках ее по своей комнате в предместье Лондона; наконец, отчаявшись разыскать, я примирился с пропажей. Годы шли, и новые события стерли из моей памяти и записки, и самый рассказ. И вот теперь они всплыли из пыли минувшего, всколыхнули ожившие воспоминания, и ныне я приступаю к изложению этой замечательной главы из столь богатой приключениями жизни моего возлюбленного друга Аллана Квотермейна, который так давно ждет меня в царстве теней.

Однажды вечером мы, то есть старик Аллан, сэр Генри Куртис, капитан Гуд и я, собрались в кабинете в домике у Квотермейна, куря и беседуя о различных вещах.

Я упомянул в разговоре, что как-то мне попалась на глаза перепечатка из американской газеты о том, что в бассейне Замбези какие-то охотники видели будто бы огромное допотопное пресмыкающееся, и спросил у Аллана, можно ли этому верить. Аллан покачал головой и осторожно ответил, что Африка велика — возможно, что в ее глубинах еще водятся доисторические животные.

— Я столкнулся однажды, — поспешно прибавил он, уклоняясь от более широкого обсуждения этой темы, — с огромной змеей, величиной с южноамериканскую анаконду[96], которая, говорят, достигает шестидесяти футов в длину. Мы ее убили, то есть не я, а мой слуга, готтентот Ханс. Туземцы почитали эту змею как божество. Она могла дать повод к разговорам о допотопных пресмыкающихся. А раз я видел слона, настолько превышавшего обычные размеры, что, вероятно, он принадлежал к доисторической эре. Он был известен несколько столетий и звался Джаной.

— Вы его убили? — поинтересовался Гуд.

У Аллана краска выступила на лице сквозь загар и морщины, и он ответил резко, изменяя своему обычному добродушию:

— У охотника не спрашивают об исходе охоты, раз он сам не рассказывает. Но, если вам угодно знать, — нет, я не убил этого слона.

А убил его Ханс и этим спас мне жизнь. Я же промахнулся в него

обоими зарядами с расстояния нескольких шагов.

— Ну, Квотермейн! — воскликнул неугомонный Гуд. — Это вы-то промахнулись в большого слона с расстояния в несколько шагов? Значит, вы были уж очень перепуганы.

— Разве я не сказал, что промахнулся, Гуд? Впрочем, вы, может быть, правы, и я был испуган — ибо, как вы знаете, я никогда не мог похвастаться особенной храбростью. При встрече с этим Джаной каждый бы струсил — даже вы, Гуд. Однако, при некотором великодушии, вы согласились бы, что у меня имеются и другие причины, по которым я не могу равнодушно вспоминать об этом гнусном — да, именно гнусном — зрелище: встреча с Джаной привела к смерти старого Ханса, которого я любил.

Гуд опять приготовился возражать, но сэр Генри протянул свою длинную ногу и пнул его, после чего капитан замолчал.

— Зато, — поспешно прибавил Аллан, меняя неприятную тему, — я встретился раз, правда, не с допотопным пресмыкающимся, но с племенем, поклонявшимся богу-чудовищу, или фетишу, который являлся, вероятно, пережитком древнего мира.

Он замолчал, показывая, что вопрос исчерпан, но я жадно спросил:

— Что же это был за фетиш, Аллан?

— Это длинная история, друг мой, — возразил он, — и такая, что если ее рассказать, то Гуд, конечно, не поверит. К тому же поздно, и я боюсь вам надоесть. Я и в правду бы не кончил рассказ за одну ночь.

— Для Гуда и Куртиса тут имеются виски, сода и табак; я же займу пост между вами и дверьми и не сойду с места, пока вы мне всего не расскажете, Аллан. Невежливо идти спать раньше своих гостей, так что, пожалуйста, начинайте, — прибавил я со смехом.

Старик заворчал, но мы в торжественном молчании сгрудились вокруг него, и он наконец начал свой рассказ:

— Ладно, если вам непременно хочется. Много лет тому назад, когда я был сравнительно молодым человеком, я однажды остановился на привал в Драконовых горах[97]. Ехал я в Преторию с товаром, который надеялся распродать среди туземцев, чтобы потом отправиться к северу поохотиться за крупной дичью. В широкой долине, между двух гор, нас настигла сильнейшая гроза. Если не ошибаюсь, дело было в январе, а вы, мои друзья, знаете, что такое натальские грозы в жаркое время года. Гроза надвигалась на нас сразу с двух противоположных сторон.

Воздух словно сгустился, потом налетел ледяной ветер и стало почти темно, хотя было около часу дня. Над вершинами окружающих гор стали

загораться молнии. Кроме возчика и погонщика, со мной был Ханс, о котором я только что говорил, — маленький сморщенный готтентот, мой верный товарищ по путешествиям и по приключениям, неопределенного возраста и в своем роде один из умнейших людей в Африке. В преследовании дичи ему не было равных, однако у него, как у всякого готтентота, были свои недостатки, — при каждом удобном случае он напивался, как выдра. Были у него и свои готтентотские добродетели — ибо он был верен, как пес, — да, он любил меня, как собака любит своего хозяина, который взял ее слепым щенком и вырастил при себе. Для меня он сделал бы все: солгал, украл, убил бы — и счел бы это своим священным долгом. Да, в любой день он был готов умереть за меня, как это и случилось в конце концов.

Аллан замолчал, делая вид, что выколачивает трубку, в чем совершенно не представлялось надобности, так как он ее только что набил. Я думаю, он просто хотел стать спиной к свету, чтобы скрыть свое волнение. Затем своим характерным легким движением он быстро повернулся на каблуках и продолжал:

— Я шел перед фургоном, высматривая ухабы и камни, по горной тропинке, из приличия называвшейся дорогой, а за мной, как тень, верный своему посту, шел Ханс. И вот я услышал его глухое покашливание, означавшее, что он хочет привлечь мое внимание, и спросил через плечо:

— Что такое, Ханс?

— Ничего, баас, — ответил готтентот. — Вот разве что большая буря надвигается. Две бури, баас, не одна. А когда они столкнутся, произойдет битва — по небу будут летать копья, и обе тучи будут плакать дождем и градом.

— Да, — сказал я. — Но я не вижу никакой возможности укрыться, значит, ничего не поделаешь.

Ханс поравнялся со мной и опять кашлянул, комкая в костлявых пальцах грязную тряпку, которую он величал шляпой.

— Много лет тому назад, баас, — сказал он, указывая подбородком на груду камней под склоном горы в миле от нас, — там была пещера. Мальчиком я в ней укрывался с несколькими бушменами. Это было после набега зулусов, когда в Натале нечего стало есть и люди пожирали друг друга.

— А чем жили твои бушмены?

— По большей части слизняками и кузнечиками, баас, а иногда удавалось подстрелить отравленной стрелой антилопу. За неимением лучшего, баас, жареные гусеницы бывают очень недурны — и саранча

тоже. Помню, я умирал с голоду, а на них я разжирел.

— Итак, Ханс, ты считаешь, что нам лучше укрыться в этой пещере, если только она там есть?

— Да, баас, пещера не может убежать, а я не забыл места, где прожил два месяца.

Я взглянул на тучи — они были необычайно черны. Собиралась дьявольская гроза. Положение было тем более неприятно, что под нашими ногами простирались пласты железной руды, привлекающей электричество.

Пока я раздумывал, нас догнала толпа кафров, бежавших со всех ног, по-видимому в надежде найти убежище от грозы. Судя по наряду, они, вероятно, отправлялись на свадьбу. Пробегая мимо нас, один из них крикнул мне:

— Скорей, скорей, Макумазан, молнии любят это место.

Это разрешило мои колебания. Я велел возчику погонять быков, а погонщику следовать за Хансом, который в совершенстве помнил местность.

В воздухе стояла великая тишина, а мрак так сгустился, что передний вол казался призраком. Вдобавок стало очень холодно, над гребнями гор плясали зарницы, но грома еще не было слышно. В природе творилось нечто странное и неестественное — даже волы это чувствовали и рвались из упряжи, так что их не приходилось подгонять. Нервы мои были натянуты. Я с нетерпением ждал, когда же мы наконец достигнем пещеры.

Моя тревога усилилась, когда тучи встретились и края их, соприкоснувшись как бы в поцелуе, вспыхнули огнем, и земля затряслась — должно быть, от громового удара. Молния ударила в пятидесяти ярдах от фургона — как раз в то место, где мы находились за минуту перед тем. Одновременно разразившийся раскат грома показывал, что гроза висит над самой головой.

Это было открытие бала — первый неожиданный гром оркестра. Потом начался танец; огненные ленты и полотнища плясали по паркету неба.

Трудно описать эту адскую бурю. Но вы, мои друзья, видели натальские грозы и знаете, что они сильнее всяких описаний. Молнии, всюду молнии, самых различных видов. Одна, я помню, была похожа на огненную корону, венчающую чело гигантской тучи. Казалось, они не только падают с неба, но и прыгают в небо с земли под непрерывный аккомпанемент сплошного громового раската.

— Да где же, черт возьми, твоя пещера? — проревел я в ухо Хансу.

Он что-то крикнул в ответ, чего я не мог расслышать за грохотом грозы, и указал на подножие горного склона, теперь находившегося уже в двухстах ярдах от нас. Волы понеслись вскачь, едва не опрокидывая фургон. К счастью, они бежали в нужном направлении.

Погонщик работал бичом, не давая волам разбегаться в стороны, и, судя по движениям губ, бешено ругался по-голландски и по-зулусски. Наконец у крутого склона горы животные остановились и сбились в кучу, как обычно и поступают перепуганные волы, которые почему-либо не могут везти вперед свою поклажу.

Мы выскочили из фургона и принялись как можно скорее их распрягать — не легкая, доложу вам, работа, тем более что ее приходилось исполнять буквально под огнем. Молнии так и падали вокруг нас, и каждую секунду я ждал, что одна из них ударит в фургон и положит конец нашему приключению. Я так трусил, что испытывал сильнейшее искушение бросить волов на произвол судьбы и бежать к пещере, если там таковая имелась — ибо я никакой пещеры не видел.

Однако гордость удержала меня от бегства. Бойтесь сколько вам угодно, но не показывайте своего страха туземцу. Иначе конец вашему влиянию на него. Тогда вы уже не Великий Белый Вождь некоей высшей породы; вы такой же простой смертный, как и он, — даже, может быть, ниже его, если он случайно выделяется смелостью среди этого и вообще-то смелого народа.

Итак, я делал вид, что молнии мне нипочем — даже тогда, когда одна из них ударила в терновый куст в тридцати шагах от нас. Куст вспыхнул, и через минуту на его месте стоял только столб пыли. Одна щепка попала мне в лицо.

Наконец упряжь была распутана и волы пущены на волю. Они разбежались, ища инстинктивно укрытия среди окрестных скал. Двух последних, очень ценных дышловых волов было особенно трудно выпрячь, так как они рвались за другими, и пришлось в конце концов обрезать постромки. Тогда они помчались за остальными, но слишком поздно: у меня на глазах оба вола грохнулись наземь, точно подстреленные. Один не двигался. Другой некоторое время брыкался, лежа на спине, и наконец затих, как и его товарищ.

— Что же вы на это сказали? — недоверчиво спросил Гуд.

— А что бы вы, Гуд, сказали на моем месте? — сердито ответил Аллан. — Все мы знаем, как крепко вы умеете выражаться, а посему, думается, я не нуждаюсь в ответе.

— Я сказал бы… — начал Гуд, обрадовавшись подвернувшемуся

случаю, но Аллан жестом остановил его и продолжал:

— Без сомнения, что-нибудь о Юпитере-Громовержце. Ну, а мои слова услышал разве что какой-нибудь досужий ангел, хотя Ханс, вероятно, угадал их, ибо он заворчал на меня и заметил:

— Могло бы ударить в нас, баас. Когда небо сердится, ему надо сорвать на ком-нибудь свой гнев. Лучше на быках, чем на нас, баас.

— В пещеру, идиот! — заорал я. — Заткни глотку и веди нас в пещеру. Начинается град!

Ханс усмехнулся и, подгоняемый градом, с изумительной быстротой полез по склону, приглашая нас за собой. Ощупью пробирались мы за ним в сгустившейся темноте. Вдруг за огромным утесом он нырнул в кусты и протащил меня между двух камней, образующих нечто вроде естественных ворот, в открывшееся за ними углубление.

— Сюда, баас, — сказал он, отирая кровь, струившуюся по его лбу из ранки, нанесенной крупной градиной.

Яркая вспышка молнии осветила зев пещеры неопределенных размеров. Однако о большой ее величине можно было догадаться по длительному эху, многократно повторившему последовавший за молнией раскат грома. Казалось, на него отозвались неизмеримые недра гор.

Глава II. Изображение в пещере

Мы достигли пещеры как раз вовремя. Не успели мои зулусы войти в «ворота» вслед за мной и Хансом, как град зарядил всерьез — а вы, друзья мои, знаете, что такое африканский град, в особенности же в Драконовых горах. Мне случалось видеть, как градины, словно пули, пробивали листы гальванизированного железа. Если попадешь под такой град среди открытого поля, не имея ни фургона, под который можно бы заползти; ни седла, чтобы прикрыть голову, то уже никогда не увидишь вновь ясного неба.

Погонщик, и так уже чуть не плакавший над потерей Капитана и Немца (так звали дышловых быков), совсем обезумел, опасаясь, что град убьет остальных, и собирался выбежать из пещеры в нелепой надежде загнать животных в какое-нибудь защищенное место. Я приказал ему сидеть тихо и не быть дураком — все равно беде не поможешь. Ханс, становившийся во время грозы религиозным, поучительно заметил, что «Великий-Великий» в небесах, несомненно, позаботится о скоте, ибо «преподобный отец бааса» (обративший его в некую смешанную веру, которая у Ханса сходила за христианство) говорил ему, что у Господа скот пасется на тысяче холмов — а не по тысяче ли холмов разбрелись наши волы? Но погонщик-зулус, который еще не «обрел истины» и был простым дикарем, язвительно возразил, что в таком случае «Великому-Великому» не мешало бы оказать свое высокое покровительство Капитану и Немцу, чего он, однако, не сделал. Потом, чтобы отвести душу, зулус, как вздорная шавка, накинулся на Ханса. Он назвал его желтым шакалом и прибавил, что готтентот со всеми своими потрохами не стоит бычьего хвоста и что лучше бы град пробил его никчемную шкуру вместо кожи благородных животных.

Этот дерзкий намек на его внешность рассердил Ханса. Он оскалил зубы, точно злая собака, и в не совсем почтительных выражениях отозвался о родне зулуса, в частности же о его мамаше. Не вмешайся я в эту ссору, дело дошло бы до ножей. Но я решительно заявил, что тот, кто скажет еще хоть одно слово, будет вышвырнут из пещеры под град и молнии, и после этого заявления воцарился мир.

Долго длилась гроза. Град сменился ливнем. Было ясно, что придется заночевать в пещере, тем более что ребята, отправленные разыскивать волов, вернулись ни с чем. Это было весьма неутешительно, так как в

пещере было очень холодно, а ночевать в насквозь промокшем фургоне нечего было и думать.

Но опять нас выручила память Ханса. Одолжив у меня спички, он пополз в глубь пещеры и вернулся, волоча за собой несколько поленьев — пыльных, источенных червями, но вполне пригодных для костра.

— Где ты раздобыл дрова? — спросил я.

— Баас, — ответил готтентот, — давным-давно, когда я тут жил с бушменами, а эти чернокожие мальчишки (сие оскорбление относилось к моим зулусам, Мавуну и Индуке) даже еще не были зачаты своими неизвестными отцами, я заготовил большой запас дров. Думал, пригодится на зиму или же на тот случай, если опять когда-нибудь придется поселиться в этой пещере. И вот запас этот уцелел под камнями и песком. Так муравьи, ползающие по земле, запасают пищу для своего потомства. Так что теперь, если эти кафры помогут мне притащить дрова, у нас будет огонь и мы согреемся.

Поражаясь предусмотрительности мальчика-готтентота, я приказал зулусам пойти с Хансом в «погреб», на что они охотно согласились, согретые мыслью о костре. Затем я достал из фургона бутылку грога и кусок свежей баранины, который мы поджарили на угольях и вскоре занялись уничтожением превосходного обеда. Многие восстают против спаивания туземцев спиртными напитками, но лично я нахожу, что, если зулус замерз и устал, глоток джина не принесет ему вреда и даже, напротив, удивительно поднимет настроение. Но чтобы Ханс не выпил лишнего, мне пришлось лечь спать с бутылкой.

Насытившись, я закурил трубку и начал беседу с Хансом, который после грога сделался очень разговорчивым и, тем самым, интересным. Он спросил меня, много ли лет нашей пещере, и я ответил, что она так же стара, как Драконовы горы. Ханс сказал, что он и сам того же мнения, так как видел в глубине пещеры отпечатки следов, которые не могло оставить ни одно известное ему животное. Кроме того, там валяются странные окаменелые кости, принадлежавшие, вероятно, великанам. Ханс полагал, что рано утром, когда солнце заглянет в пещеру, он сумеет их найти.



Тогда я объяснил Хансу и кафрам, что тысячи тысяч лет тому назад, когда людей еще не было на свете, Земля была заселена крупными тварями — огромными слонами и гадами, такими большими, как сто крокодилов вместе, а также, по мнению некоторых ученых, громадными обезьянами —

гораздо крупнее гориллы. Дикари внимательно слушали, а Ханс заявил, что насчет обезьян он готов поверить, так как сам видел такое изображение — не то гигантская обезьяна, не то обезьяноподобный великан.

— Где, — спросил я, — в книге?

— Нет, баас, здесь, в пещере. Его сделали бушмены десять тысяч лет тому назад. — (На языке Ханса это означало неопределенно давнее прошлое).

Я вспомнил о легендарном животном по имени Нголоко, которое будто бы водится где-то в болотах Восточного Берега[98]. Это животное, в существование которого я, кстати сказать, не верил, обладает ростом в восемь футов, покрыто серыми волосами и вместо пальцев имеет когти. Один мой знакомый португалец, старый чудак, охотник, клялся, что видел на иле следы этого животного и что оно свернуло голову одному его спутнику. Я спросил Ханса, слышал ли он о Нголоко. Ханс ответил, что слышал, только под другим именем — Мульхоу, — но что бес, нарисованный в пещере, гораздо больше.

Решив, что Ханс, по обыкновению туземцев, кормит меня баснями, я предложил немедленно показать мне картину.

— Лучше подождать до восхода солнца, баас, — возразил тот. — Когда будет хороший свет. К тому же на этого дьявола не годится смотреть перед сном.

— Покажи мне его сейчас, — строго сказал я. — У нас есть фонари от фургона.

Ханс неохотно пошел вперед с фонарем в руках; я взял второй фонарь, а зулусы вооружились свечами. По пути я замечал на стенах много бушменских рисунков, а также рельефы, принадлежавшие резцу мастеров этого любопытного народа. Некоторые рисунки казались совсем свежими, другие уже выцвели, или, может быть, стерлась охра, употребляемая первобытными художниками. Рисунки большей частью изображали охоту.

Один, сохранившийся, как ни странно, чрезвычайно взволновал меня. На нем изображены были белолицые люди в чем-то вроде панцирей и в остроконечных головных уборах, кажется, известных под названием фригийского колпака; воины нападали на туземный крааль; тростниковый забор и круглые хижины за ним были тщательно вырисованы. Слева несколько человек тащили женщин — по-видимому, к морю, которое было грубо обозначено рядом волнистых линий.

Я замер от удивления: передо мной было, несомненно, изображение финикийцев, совершающих один из тех набегов с целью похищения женщин, о которых мы читаем у древних авторов. Рисунок был сделан

бушменом, жившим две тысячи лет тому назад, а может быть, и раньше. Было чему изумляться. Но Ханс торопился вперед, словно желая поскорее покончить с неприятным поручением, и я из опасения заблудиться был вынужден последовать за ним.

Вдруг Ханс остановился перед одной расселиной, ничем не отличавшейся от многих других.

— Сюда, баас, следуйте за мной, — сказал он, — смотрите под ноги, тут есть трещины в полу.

Я протиснулся в узенький проход, в котором человек потолще не смог бы пройти. Это был тесный туннель высотою в восемь — девять футов, может быть, промытый водой, но скорее образовавшийся вследствие взрыва газов сотни лет тому назад. Пол был совершенно гладкий, словно в течение многих поколений его утаптывали человеческие ноги, в чем я нисколько не сомневался.

Не прошли мы и двадцати шагов по туннелю, как Ханс приказал мне остановиться и ни в коем случае не двигаться. Я в недоумении повиновался, а мой проводник, повесив фонарь на шею, за спину, прижался к каменной стене прохода, словно не желая видеть, что делается за ним, и осторожно, боком, стал пробираться вперед, цепляясь за выступы. Проползши таким способом двадцать или тридцать футов, он обернулся и сказал:

— Теперь, баас, сделайте то же, что я.

— Зачем? — спросил я.

— Опустите фонарь, и вы увидите, баас.

В двухстах шагах передо мной зияла пропасть неведомой глубины — свет фонаря не достигал ее дна. Ширина выступа, послужившего Хансу мостом, не превышала двенадцати дюймов, а местами не достигала и шести.

— Здесь глубоко? — спросил я.

Вместо ответа Ханс бросил в пропасть осколок камня. Я долго прислушивался, пока до меня не донесся звук его удара о дно.

— Я говорил баасу, — заметил Ханс наставительным тоном, — что лучше ему подождать до рассвета, но баас не стал меня слушать, и, несомненно, ему виднее. Не угодно ли теперь баасу пойти спать, а сюда вернуться наутро, что я считаю самым мудрым?

По правде сказать, это было моим сильнейшим желанием, ибо место было весьма непривлекательное. Но я был так зол на Ханса, разыгравшего со мной комедию, что скорее готов был сломать себе шею, чем доставить ему удовольствие посмеяться надо мной.

— Нет, — спокойно ответил я. — Я пойду спать, когда увижу твою картину, и никак не раньше.

Тут Ханс не на шутку встревожился и начал меня упрашивать не переходить через пропасть.

— Как я понимаю, — возразил я ему, — никакой картины здесь нет, и это просто твоя обезьянья выходка. Хорошо, я пойду посмотрю, и если окажется, что ты солгал, ты у меня пожалеешь, что родился.

— Картина есть — или, по крайней мере, была в дни моей молодости, — упрямо сказал Ханс, — а насчет остального баасу лучше знать. Если он переломает все кости, пусть на меня не пеняет и пусть расскажет правду своему преподобному отцу на небесах, который оставил бааса на мое попечение. Пусть баас расскажет ему, что Ханс просил бааса не ходить, а баас назло не послушался. Кстати, лучше пусть баас снимет сапоги, так как дорога очень скользкая. Бушмены много ходили по ней.

Я молча сел и снял сапоги, думая про себя, что я с радостью отдал бы все свои сбережения в Дурбанском банке, лишь бы избавиться от предстоящего испытания. Странная вещь — самолюбие белого человека, в особенности же англосакса! Что заставляло меня подвергать свою жизнь такому риску? Только боязнь насмешек Ханса и двух моих кафров. В глубине души я проклинал и готтентота, и пещеру, и яму, и картину, и грозу, которая завела меня сюда, и все, что только мог припомнить. Однако, взяв в зубы оловянную ручку своего фонаря, я пошел по мостику, словно мне очень нравилась моя затея.

Признаться, я плохо помню, как совершил переход. Помню только, что эти несколько секунд показались мне часами. И еще помню жалобно доносившиеся голоса моих зулусов, трогательно прощавшихся со мной и, среди прочих проявлений нежности, называвших меня своими отцом и матерью, и всеми предками за четыре поколения.

Я кое-как одолел проклятый мостик, и когда уже благополучно добрался до самого края, вдруг поскользнулся и открыл рот, желая что-то сказать. В результате фонарь полетел в бездну, увлекая за собой шатавшийся передний зуб. Но Ханс протянул свою шершавую руку и, думая схватить меня за ворот, вцепился мне в левое ухо, и при этой поддержке я наконец выбрался на твердую почву, ругая его на все лады. Многим мой язык показался бы слишком грубым, но Ханс не почувствовал обиды, слишком радуясь моему благополучному прибытию.

— О зубе не горюйте, баас, — сказал он, — так даже лучше, теперь вы сможете есть сухари и жесткие коренья. Другое дело — фонарь. Впрочем, мы, может быть, достанем новый в Претории, или куда мы там

отправляемся.

Совладав с собой, я заглянул в пропасть. Далеко-далеко внизу виднелся мой фонарь. Лампа разбилась, и масло пылало, разлившись по какой-то белой поверхности.

— Что там за белое вещество? — спросил я. — Известь?

— Нет, баас, это обломки человеческих костей. Когда я был молод, я однажды свил канат из камыша и шкур и с помощью бушменов спустился туда на дно — просто чтобы посмотреть, баас. Там внизу еще одна пещера, но я в нее не пошел, потому что побоялся.

— А как туда попали скелеты, Ханс? Их там целые сотни!

— Да, баас, много сотен, и попали они вот как: с начала мира в пещере жили бушмены, и они устраивали здесь ловушку, прикрывая яму ветками, так что она казалась скалой, — совсем как делают западню для дичи, баас, — да, бушмены это делали, пока их не перебили всех до последнего буры и зулусы, у которых они воровали овец и быков. Когда на них нападали враги, — что случалось очень часто, потому что убить бушмена считалось добрым делом, — они убегали в глубь пещеры по этому проходу и ползли по узкому краю скалы, что они всегда могли проделать с закрытыми глазами. А глупые кафры, преследовавшие их, чтобы убить, проваливались сквозь ветки в пропасть и сами убивались насмерть. Это случалось часто, баас, потому что там масса черепов и многие совершенно почернели от древности и превратились в камни.

— Но кафры могли бы поумнеть, Ханс.

— Да, баас, но только мертвые хранят при себе свою мудрость; потому что, я думаю, когда все нападавшие входили в проход, то остальные бушмены, прятавшиеся в пещере, заходили в тыл и стреляли в них отравленными стрелами, так что ни один не возвращался назад. А если и удавалось кому-нибудь спастись, все равно через два поколения урок забывался и случалось опять то же самое, потому что, баас, на свете всегда множество дураков и новый дурак ничуть не умнее прежнего. Смерть льет воду мудрости на песок, а песок жадный и быстро высыхает. Будь это иначе, баас, мужчины скоро перестали бы влюбляться в женщин, а между тем даже такие великие, как вы, баас, влюбляются.

Изрекши эту историю, Ханс стал переругиваться через пропасть с Мавуном и Индукой.

— Живей переходите, эй вы там, храбрые зулусы, — сказал он, — вы задерживаете вашего господина — и меня тоже.

Зулусы, приподняв свечи, заглянули вниз в зияющую пропасть.

— Ой, — крикнул один из них, — что мы, летучие мыши, чтобы

летать через такие ямы, или павианы, чтобы лезть по выступу не шире копья, или мухи, чтобы ползти по стене? Ой! Мы не пойдем, мы подождем вас здесь. Эта дорога только для такой желтой обезьяны, как ты, или же для такого волшебника, как инкоси Макумазан.

— Нет, — рассудительно ответил Ханс, — вы не можете назваться ни одним их этих славных созданий. Вы только пара низкородных трусливых кафров — черные шкуры, надутые по человеческому подобию. Я — желтый шакал — перешел через пропасть, а вы, дутые пузыри, даже перелететь через нее не можете, из страха, как бы не лопнуть на полпути. Ладно, дутые пузыри, летите обратно к фургону и достаньте связку веревок. Они нам могут понадобиться.

Зулусы проворчали, что готтентот над ними не хозяин, на что я возразил:

— Ступайте, достаньте веревку и скорее возвращайтесь.

Они ушли, удрученные мыслью, что опять последнее слово осталось за Хансом. В действительности они оба были очень смелы, но в подземелье ни один зулус ничего не стоит, в особенности же в темноте, да еще в таком месте, где водится нечистая сила.

— Теперь, баас, — сказал Ханс, — мы пойдем смотреть картину. Вы, впрочем, уверены, что я вру и никакой картины нет и не было, так что не стоит трудиться и тратить время, и лучше вам сесть здесь и заняться стрижкой сломанных ногтей, пока Мавун и Индука не вернутся с веревками.

— Ах ты, маленькая ехидна! — воскликнул я в раздражении, сопровождая свои слова грозным пинком.

Тут, однако, я допустил большую оплошность, ибо я совершенно забыл, что был без сапог. Не знаю, носил ли Ханс в своих штанах целую коллекцию твердых предметов, или же зад у него был каменный, только я пребольно ушиб палец, а ему не причинил ни малейшего вреда.

— Ах, баас, — сказал Ханс со сладкой улыбкой, — запишите, чему учил меня ваш покойный отец: не надев башмаков, не суй ноги в колючки. У меня в кармане шило и несколько гвоздей, которыми я нынче утром чинил ваш сундук.

Тут он стремглав побежал вперед, чтобы я не испробовал также на его голове — нет ли там гвоздей, а так как единственный фонарь был у него, мне пришлось галопом последовать за ним.

Утоптанный тысячами ног коридор шел сперва прямо на десять шагов, а потом сворачивал направо. На повороте я заметил над головой свет и убедился, что стою как бы на дне воронки, начинающейся на поверхности

горы футов на сто над нами и имеющей в поперечнике около тридцати футов. Не знаю, как она могла образоваться — в точности такой же формы, как воронки для разливания пива по бочкам, причем мы, конечно, стояли в узком ее конце. Чистое, омытое грозой небо было усеяно звездами.

— Прекрасно, Ханс, — сказал я, осмотревшись в этой странной естественной западне, — где же твоя картина? Я что-то ее не вижу.

— Подождите немного, баас, месяц выйдет из облака, тогда вы увидите картину, если только ее никто не стер со времени моей молодости.

Я смотрел на облако, наблюдая зрелище, которое мне никогда не могло бы надоесть — восход великолепной африканской луны из потаенных чертогов мрака. Уже серебряные стрелы света пробивали небесную твердь, затмевая звезды. И вдруг выплыл загнутый край месяца и начал расти с необычайной быстротой, пока весь блестящий шар не встал со своего чернильного ложа. С минуту он еще покоился на краю тучи — дивный, совершенный! В одно мгновение наша яма наполнилась таким сильным и ярким светом, что при нем можно было прочесть письмо.

Я все забыл, поглощенный красотой этого зрелища. Наконец Ханс хрипло кашлянул и сказал:

— Теперь, баас, обернитесь и полюбуйтесь этой милой картинкой. Его протянутая рука указывала на обращенный к востоку склон скалы. Скажу без преувеличения, друзья мои, я чуть не упал. Случалось ли вам в кошмарном сне увидеть себя в аду и вдруг столкнуться en tete a tete[99] с дьяволом? Так вот, передо мной был дьявол, какого не могло бы выдумать самое буйное, самое безумное воображение.

Представьте себе чудовище вдвое выше человеческого роста, то есть десяти — двенадцати футов, блистательно написанное той замечательной охрой, что составляет тайну художников-бушменов — белой, красной, черной и желтой. Глаза были сделаны из отшлифованного горного хрусталя. Представьте себе существо, подобное огромной обезьяне, перед которой самая крупная горилла показалась бы просто ребенком.

И все-таки это была не обезьяна, а человек — и не человек, а бес.

Как и обезьяна, оно было покрыто длинными серыми волосами, которые росли пучками. У него была красная косматая борода, как у человека. Самым ужасным были его конечности. Руки были ненормально длинны — как у гориллы. Пальцы были как бы соединены перепонками, и только на месте большого торчал огромный коготь.

Впоследствии мне пришло в голову, что эта картина могла изображать существо в беспалых перчатках, какие употребляются в этой местности при срезании тростника для заборов. Однако ноги, изображенные босыми,

имели то же строение и также снабжены были когтем на месте большого пальца. Туловище было громадно. Если оно было срисовано с натуры, оригинал должен был весить не менее четырехсот фунтов. Мощная грудная клетка указывала на гигантскую силу. Живот был выпуклый, и кожа на нем собиралась в складки.

Однако — одна из человеческих черт — чудовище было опоясано вокруг чресел чем-то вроде негритянской мучи.

Таково было чудовище. Теперь о голове и лице. Не знаю, как их описать, однако попробую: на бычьей шее сидела отвратительная маленькая голова, которая, несмотря на растущую на подбородке длинную рыжую бороду и большой рот с торчащими на верхней челюсти павианьими клыками, имела странно женский вид. Это было лицо старой-престарой чертовки с орлиным носом; массивный, нависший, неинтеллектуальный лоб был непропорционально велик, а под ним горели жуткие, неестественно широко расставленные хрустальные глаза.

Это еще не все, ибо чудовище жестоко смеялось, и художник показал причину этого смеха: одной ногой оно попирало тело человека, огромный коготь глубоко впился в мясо. В одной руке оно держало мужскую голову, по-видимому только что оторванную от туловища. А другая рука волокла за волосы живую нагую девушку, нарисованную небрежно, как будто это деталь мало интересовала художника.

— Хорошенькая картинка, баас? — ухмыльнулся Ханс. — Теперь баас не скажет, что я лгу, целую неделю не скажет.

Глава III. Открывающий Пути

Я смотрел и смотрел, пока в изнеможении, почти в обмороке не опустился наземь.

— Вы смеетесь надо мной, молодой человек (это обращение относилось ко мне, пишущему эти строки), так как, без сомнения, вы уже решили, что картина была работой какого-нибудь бушмена с пылким воображением, который сошел с ума и увековечил адское видение своего больного мозга. Конечно, на следующее утро я и сам пришел к этому заключению, хотя впоследствии отказался от него.

Место было дикое и одинокое — ужасное место, рядом с ямой, полной человеческих костей; мертвая тишина нарушалась лишь отдаленным воем гиены и шакала, а я перенес в этот день столько испытаний. К тому же, как, быть может, вы заметили, лунный свет отличается от дневного, то есть некоторые из нас ночью больше подвержены страху перед таинственным, нежели днем. Как бы то ни было, я почувствовал дурноту и сел. Мне показалось, что меня сейчас стошнит.

— Что это, баас? — спросил наблюдательный Ханс, все еще посмеиваясь. — Если бааса тошнит на меня, то пусть он не обращает внимания — я повернусь спиной. Меня самого стошнило, когда я в первый раз увидел Хоу-Хоу — вот как раз здесь, — добавил он, указывая пальцем на какой-то камень.

— Почему ты называешь эту тварь Хоу-Хоу, Ханс? — спросил я, стараясь совладать с естественным рефлексом своего кишечника.

— Потому что это ласкательное имя, баас, данное, вероятно, его мамашей, когда он был маленьким.

Тут меня всерьез чуть не вырвало — мысль о том, что у этой твари была мать, доконала меня, как вид и запах куска жирной свинины во время морской качки.

— Откуда ты знаешь? — буркнул я.

— Потому что мне говорили бушмены, баас. Их отцы тысячу лет назад видели издали этого Хоу-Хоу, и они из-за него оставили эту местность, так как не могли по ночам спокойно спать — совсем как какой-нибудь бур, когда приходит другой бур и селится в шести милях от него, баас. Бушмены говорили, что праотцы их даже слышали Хоу-Хоу — он бил себя в грудь и разговаривал, за несколько миль было слышно. Но думаю, они лгали; вероятно, они ничего не знали о Хоу-Хоу и не знали, кто нарисовал на скале

его портрет, баас.

— Ты совершенно прав, Ханс, — ответил я. — А теперь на этот вечер с меня довольно твоего приятеля Хоу-Хоу — идем спать.

— Да, баас, но все-таки взгляните на него еще разок на прощание, баас. Не каждую ночь увидишь такую картину, а вы сами, баас, захотели прийти посмотреть.

Мне опять захотелось дать Хансу пинка, однако я вовремя вспомнил о гвоздях в его кармане. Я встал и дал знак вести меня назад.

Больше я не видел этого «портрета» Хоу-Хоу или Вельзевула — назовите его как угодно. Правда, я собирался вернуться еще раз; чтобы подробнее рассмотреть чудовище при дневном свете. Однако наутро при мысли о переходе через пропасть я решил удовлетвориться воспоминаниями о первом впечатлении. Оно, говорят, всегда самое лучшее — подобно первому поцелую, как заметил Ханс, когда я привел ему эти соображения.

Но я не мог забыть Хоу-Хоу, это исчадие ада преследовало меня. Я не мог объяснить возникновение картины только полетом расстроенного дикарского воображения. По сотне признаков я считал ее (ошибочно, как я убежден теперь) произведением бушменского искусства; и я не сомневался, что ни один бушмен, даже в белой горячке, не мог бы извлечь такое чудовище из недр собственной души — если только есть душа у бушмена. Нет, кто бы он ни был, художник изобразил то, что он видел в действительности.

На это указывало много деталей. Так, у Хоу-Хоу на правом локте была опухоль, как от ушиба. Один коготь на руке — кажется, на левой — был сломан и расщеплен на конце. Далее, на виске был рубец, и как раз над ним — пучок ржаво-серых волос был раздвоен посередине и свешивался по обе стороны дьявольского женского лица. Художник, должно быть, заметил этот изъян и изобразил его, верный оригиналу. Конечно, думал я, он не мог выдумать сам эти детали.

Что же тогда послужило ему моделью? Я упоминал о Нголоко, которые, если допустить их существование, были страшными обезьянами неизвестного зоологам вида. Тогда Хоу-Хоу мог бы быть наиболее развитой и совершенной особью этих обезьян. Но едва ли, потому что это чудовище было скорее человеком, чем гориллой, несмотря на когти. Или, может быть, мне следовало бы сказать, что скорее всего это был бес.

Новая мысль осенила меня: может быть, это был бог бушменов, только я никогда не слышал, чтобы бушмены поклонялись иному богу кроме собственного желудка. Впоследствии я спросил об этом у Ханса, но он не

смог ответить, так как бушмены, с которыми он жил в пещере, ничего ему на этот счет не говорили. Однако к картине они приближались, лишь укрываясь от неприятеля, и не любили ни зря о ней говорить, ни смотреть на нее. Однако, — добавил Ханс с обычной своей проницательностью, — Хоу-Хоу мог быть богом какого-нибудь другого народа, не имеющего ничего общего с бушменами.

Еще вопрос: к какому времени относится это произведение? Краски прекрасно сохранились, но все же оно могло быть очень древним. Бушмены не знали, кто нарисовал картину и что она изображает, и только утверждали, что она существует «давно-давно-давно!» Но у народа, не имеющего письменности, происшедшее пять-шесть поколений назад считается глубокой древностью. Одно было несомненно: что картина, изображавшая финикийский набег на крааль, нарисована до Рождества Христова, в этом я уверен, так как наутро внимательно ее рассмотрел. А краски на ней были столь же свежи, как на «Чудовище».

Далее, на его изображении над левым коленом обломился осколок камня, и я заметил, что вновь образовавшаяся поверхность была так же выветрена, как и скалы, окружавшие картину.

С другой стороны, картина с финикийцами находилась в более закрытом помещении и была меньше подвержена влиянию воздуха, чем Хоу-Хоу, который, таким образом, должен был состариться быстрее.

Всю ночь я видел во сне ужасного Хоу-Хоу. Мне снилось, что он жив и вызывает меня на бой; снилось, что кто-то умоляет меня освободить ее (именно ее, а не его) от власти зверя; снилось, что я сражаюсь с чудовищем и оно повергло меня и должно оторвать мне голову. Но тут что-то произошло — не знаю что… и я проснулся в холодном поту.

Надо сказать, что находился я в то время недалеко от зулусских границ, совершая свою обычную торговую экспедицию. До грозы я собирался оставить Землю Зулу в стороне и отправиться на север от Претории, к менее искушенным дикарям, которые не раздумывая дали бы за мои товары более высокую цену. Однако после визита к Хоу-Хоу я изменил свои планы, изменил по двум причинам. Во-первых, молния убила двух моих лучших быков и я хотел приобрести на их место новых без лишних расходов, в счет старых долгов среди зулусов.

Вторая же причина находилась в связи с проклятым наваждением — с этим Хоу-Хоу. Я был убежден, что только один человек мог бы сообщить мне что-либо о нем (если только вообще это было возможно), а именно старый Зикали, колдун Черного ущелья, Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться, как называл его Чака, великий зулусский вождь.

Это был величайший, могущественнейший знахарь в Земле Зулу. Никто не знал, когда он родился; он был, несомненно, очень стар. Его имя Открывающего Пути в течение нескольких поколений наводило страх на туземцев. Много лет, чуть ли не с моей молодости, мы с ним были друзьями, хотя, конечно, я понимал, что он пользуется мною в личных своих целях, как это выяснилось, когда все было сделано и колдун восторжествовал над зулусским королевским домом и привел его к гибели.

Однако Зикали, как мудрый купец, всегда той или иной монетой щедро расплачивался с теми, кто ему служил (как и с теми, кого он ненавидел). Мне он платил историческими справками и сведениями, касающимися тайн этой страны, которую мы, белые, со всей нашей наукой, так мало знаем. Итак, я решил отправиться к Зикали за сведениями о картине в пещере и о ее происхождении. Я, как вы догадываетесь, всегда грешил любопытством к такого рода вещам.

С большим трудом нам удалось собрать четырнадцать наших быков, разбредшихся в поисках укрытия от грозы. Наконец все они были найдены — целые и невредимые, не считая нескольких ранений от града. Удивительно, как эти животные, предоставленные самим себе, инстинктивно находят защиту против враждебных сил природы.

Итак, мы запрягли быков и поехали прочь от этой замечательной пещеры. Много лет спустя, когда Ханса уже не было в живых, я пробовал опять отыскать ее и не нашел. Может быть, горный обвал завалил устье воронки, где была картина, а возможно, что я ошибся и искал не на том склоне горы — в этой местности множество совершенно одинаковых склонов.

К сожалению, я не располагал временем. И никого я не встретил, кто бы знал эту пещеру. Возможно, что она была известна только бушменам и Хансу, которые уже все умерли, и это очень обидно, принимая во внимание замечательные рисунки, которые в ней находились.

Помните, я говорил вам, что перед самой грозой мы повстречали толпу кафров, отправлявшихся на какое-то торжество. Проехав около полумили, мы нашли труп одного из этих кафров, убитого молнией, а может быть градом — не знаю. Очевидно, спутники его были так напуганы, что бросили товарища без погребения. Так что пещера сослужила нам добрую службу, укрыв нас от грозы.

Я опущу подробности моей поездки по Земле Зулу — от обычных поездок она отличалась только медленностью, так как мои четырнадцать быков едва тащили тяжело нагруженный фургон. Однажды мы застряли, переправляясь через реку Уайт-Умфолози, около Нонгельской скалы,

подымающейся над заводью. Я никогда не забуду случая, сделавшего меня невольным свидетелем ужасного зрелища.

Застряв среди брода, мы вдруг увидели на вершине Нонгельской скалы толпу мужчин, человек двести, которые тащили двух молодых женщин. Я навел на них бинокль и пришел к заключению, что женщины были слепы или, скорее, ослеплены.

Не успел я ничего предпринять, как палачи схватили женщин за руки и столкнули их с утеса. С жалобным стоном несчастные скатились по обрыву в глубокий омут, где их схватили крокодилы. Я ясно видел выскользнувших гадов, которые всегда сторожат здесь добычу, так как эта скала — излюбленное место казни у зулусских правителей.

Исполнив свое ужасное дело, палачи — их было пятнадцать человек — спустились к броду мне навстречу. Признаться, я даже обрадовался возможности столкновения, ибо зрелище этого зверства возмутило меня. Однако, узнав, что фургон принадлежит мне, Макумазану, они стали олицетворенной любезностью, вошли в воду и, уцепившись за колеса, благополучно вытащили нас на другой берег.

Я спросил их главаря, кто были казненные девушки. Он уверял, что это были дочери Мпанды, самого царя. Я не стал спорить, хотя, зная благодушие Мпанды, не поверил, что он мог так обойтись со своими детьми. Затем я спросил, за что их ослепили. Вожак ответил, что это было сделано по велению принца Кетчвайо, фактического правителя зулусов, за то что преступницы «смотрели, куда не должно».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что несчастные девушки влюбились в двух юношей и бежали с ними вопреки приказу короля — или, вернее, Кетчвайо. Их поймали, прежде чем они успели достичь границы Наталя, где они были бы спасены; юношей убили на месте, а девушек предали суду с вышеописанным результатом. Так кончился их медовый месяц!

Главарь весело рассказывал мне, что выслан отряд убить отца и мать провинившихся юношей со всеми, кого найдут в их краале. Надо положить конец подобным соблазнам «свободной любви», — прибавил он, — просто непонятно, что сделалось с зулусской молодежью — они становятся слишком независимыми, развращаемые примером натальских зулусов, которым белые позволяют безнаказанно делать что угодно.

Итак, вздохнув над современным вырождением, этот закоренелый старый консерватор, взяв понюшку табаку, сердечно со мной распрощался и ушел, напевая песенку, вероятно собственного сочинения, так как в ней говорилось о дочерней любви. Я удовольствием всадил бы ему пару пуль в

спину, но это было небезопасно. К тому же он был только исполнителем-чиновником, типичным порождением железного режима зулусских правителей того времени.

У зулусов мне никак не удавалось достать выхолощенных быков. Слышал я, будто один белый торговец обменял свою упряжку на молодых быков, так как его животные стали хромать или заболели — не помню. По слухам, они скоро оправились; но никто не знал, где они теперь. Наконец знакомый вождь посоветовал мне обратиться к Открывающему Пути, то есть к Зикали, так как он был всеведущ, а волы проданы были в его краях.

Все еще находясь под наваждением Хоу-Хоу, я к тому времени оставил было мысль посетить старого знахаря; я заметил, что каждый раз он мне непременно навязывал какое-нибудь трудное и неприятное приключение. Однако последняя новость заставила меня вернуться к первоначальному плану, тем более что и у остальных моих быков показались признаки болезни. Итак, посоветовавшись с Хансом, я потащился к Черному ущелью, куда было два дня езды.

Подъехав к устью этого пустынного ущелья, я оставил скот на попечение Мавуна и Индуки, а сам в сопровождении Ханса отправился к хижине колдуна.

Ущелье, конечно, нисколько не изменилось, и все же оно, как всегда, поразило меня, точно я увидел его впервые. Едва ли во всей Африке найдется более дикая и мрачная лощина. Древние верили, что каждая местность имеет своего гения или духа; в Черном ущелье мне всегда вспоминалось это поверье. Но какой же гений обитает в этой страшной расселине? Мне думается, некое воплощение — нет, неосязаемая сущность Трагедии, окаянная душа, чьи крылья поникли под тяжестью неискупленного, неисповедимого преступления.

Но что прибегать к мифам и воображать невидимого обитателя, когда Зикали, Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться, был жителем этой подобной могиле пропасти. Конечно, он был олицетворенной Трагедией и его седая голова была увенчана «неисповедимыми преступлениями». Многих этот отвратительный карлик довел до гибели и многих еще обречет на смерть, из года в год оплетая врагов своей паутиной. И все же этот грешник только мстил, только воздавал за перенесенные страдания; жены и дети его были убиты, племя его раздавлено жестокой пятой Чаки, и он поставил своей жизненной целью сокрушить ненавистную ему династию. Даже для Зикали можно было найти оправдание.

Размышляя таким образом, я шел вверх по ущелью. За мной следовал мой верный Ханс, еще более, чем я, подавленный окружающей

обстановкой.

— Баас, — сказал он вдруг глухим шепотом, — баас, не кажется ли вам, что Открывающий Пути и есть Хоу-Хоу, съежившийся от старости до размеров карлика, или что в него переселился дух Хоу-Хоу?

— Нет, не думаю, — ответил я, — потому что у Зикали пальцы как у всех людей, но думаю, что он один может указать, где найти Хоу-Хоу — он или никто.

— Тогда, баас, я буду надеяться, что и он это позабыл или что Хоу-Хоу отошел на небо, где костры горят без дров. Потому что, баас, мне очень не хочется повстречаться с Хоу-Хоу; от одной мысли о нем у меня холодеет в животе.

— Да, ты охотнее поехал бы в Дурбан и повстречался там с бутылкой джина, которая согрела бы тебе внутренности, Ханс, а также и голову, и отправила бы тебя на недельку в царство хмеля, — заметил я к случаю.

Тут мы повернули за угол и подошли к краалю старого Зикали. Как всегда, оказалось, что он меня ждал, ибо на страже стоял его высокий телохранитель, который отдал мне честь поднятием копья. Мне думается, Зикали рассылал по окрестностям разведчиков: он всегда был прекрасно осведомлен, когда, откуда и зачем прихожу я к нему.

— Отец Духов ожидает тебя, инкоси Макумазан, — сказал телохранитель. — Он приглашает желтого человека, носящего имя Свет-Во-Мраке, сопровождать тебя, и примет вас немедленно.

Я кивнул головой в знак согласия, и человек повел меня к воротам в ограде, окружавшей большую хижину Зикали. Он тронул их древком копья, и они отворились, словно сами собой. Мы вошли во двор. Из мрака выскочила какая-то тень, закрыла за нами ворота и исчезла. Перед дверьми хижины, скорчившись у костра, сидел карлик. Он укутался в кросс. Его большая голова с висящими по обеим сторонам седыми космами волос — совсем как изображение Хоу-Хоу — наклонена была вперед; огонь, на который он пристально смотрел, отражался в его впалых глазах. С полминуты колдун не замечал нашего присутствия. Наконец, не подымая глаз, он заговорил глухим, ему одному свойственным голосом.

— Почему ты всегда так поздно приходишь, Макумазан, когда солнце уже покинуло хижину и становится холодно в тени. Ты знаешь, я не переношу холода, как и все старики, и я хотел даже не принимать тебя.

— Я не мог прийти раньше, Зикали, — ответил я.

— Ты должен был подождать до утра; или, может быть, ты боялся, что я умру за ночь — но я этого не сделаю. Я проживу еще много ночей, Макумазан. Итак, ты здесь, маленький белый скиталец, непоседливый,

точно блоха.

— Да, я здесь, — ответил я в раздражении, — у тебя, Зикали, сидящего на одном месте, словно жаба на камне.

— Хо-хо-хо! — засмеялся карлик тем глухим, отзывающимся в скалах хохотом, от которого меня всегда пробирал мороз по коже. — Хо-хо-хо! Как легко тебя раздразнить. Сдерживай свою злобу, чтобы она не понесла тебя, как твои быки на днях под грозой. Что нужно тебе? Ты всегда приходишь, когда тебе что-нибудь нужно от того, кого ты назвал однажды старым мошенником. Значит, я сижу на месте, как жаба на камне? Откуда ты знаешь? Разве блуждает только тело? Разве дух не может блуждать далеко-далеко — даже на всевышнем небе и в той подземной стране, где, говорят, можно снова встретить умерших? Прекрасно, чего же тебе надобно? Стой, я сам скажу тебе, Макумазан, о ты, который так дурно объясняешься, воображая, что говоришь по-зулусски не хуже туземца. Чтобы говорить на этом языке, надо думать на нем, а не на вашей глупой тарабарщине, на которой нет слов для многих понятий. Человек, мои снадобья!

Из хижины вынырнула чья-то фигура, поставила перед карликом мешок из кошачьей шкуры и удалилась опять. Зикали опустил в мешок свои когтевидные пальцы, вытащил несколько пожелтевших от старости костей, небрежно кинул их перед собой на землю и только тогда взглянул на них.

— Ха! — сказал он. — Я вижу что-то насчет скота; да, тебе нужны быки, леченные, не дикие, и ты надеешься достать их здесь. Какой же ты принес мне подарок? Фунт сладкого заморского табака? — (Табак я действительно принес, но только четвертинку, а не фунт.) — Теперь — прав я насчет быков?

— Да, — сказал я в изумлении.

— Это тебя удивляет? Хорошо, я тебя объясню, откуда старый мошенник знает все, что тебе нужно. Ведь у тебя двух волов убило молнией. Естественно, что ты желаешь раздобыть новых, тем более что оставшиеся, — тут он бросил взгляд на кости, — ранены градом и больны — кажется, красной водянкой. Да, старому мошеннику нетрудно догадаться, что ты хочешь достать быков. Только глупые зулусы объясняют такие догадки колдовством. А табак ты мне всегда приносишь. Опять — никакого колдовства.

— Никакого, Зикали. Но как ты узнал, что молния убила волов?

— Как узнал я, что молния убила твоих дышловых волов, Капитана и Немца? Разве ты не великий человек, о котором все говорят? Перед грозой ты встретил толпу свадебных гостей, а потом нашел одного из них

мертвым. Кстати, он умер не от молнии и не от града. Молния его оглушила, а умер он ночью от холода. Ведь ты любопытный, тебе, верно, хотелось это узнать. Конечно, кафры все мне сказали. Опять — никакого волшебства… Вот как мы, знахари, достигаем славы — надо только уметь видеть и слышать. К старости, Макумазан, ты можешь стать искусным знахарем — говорят, по ночам ты занимаешься нашим ремеслом.

Посмеиваясь надо мной таким образом, колдун сгреб кости, взглянул на них и сказал:

— Что напоминают мне эти вещицы? (Это, Макумазан, орудия моего ремесла; ими мы, знахари, отвлекаем внимание приходящих дураков, чтобы легче было читать в их сердцах). Они напоминают мне нагромождение скал, горный склон — смотри! — вот тут, посредине, яма, словно зев пещеры. Ты укрылся от бури в пещере. О да! Как ловко я это угадал! Никакого волшебства — простая догадка! Но что же ты увидел в пещере? Что-нибудь необычное, должно быть. Этого кости мне не скажут. Я должен догадаться как-нибудь иначе. Постараюсь угадать, чтобы преподать большому мудрецу урок нашего искусства — показать, как мы, пройдохи, знахари, морочим дураков. Но, может быть, ты сам скажешь мне, Макумазан?

— Не скажу, — обрезал я, понимая, что старый карлик издевается надо мной.

— Что же, догадаюсь сам. Подойди сюда, ты, желтая мартышка. Садись между мной и костром, чтобы свет проходил насквозь, — я буду читать, что происходит в твоей крепкой голове. О Свет-Во-Мраке, пролей луч света в мою темноту.

Ханс неохотно подошел и сел на корточки, тщательно избегая касаться колдовских костей. Свою изодранную шляпу он прижал к животу, словно защищаясь от сверлящего взгляда Зикали, под которым он беспокойно ерзал и даже покраснел сквозь морщины, как молодая женщина под испытывающим взглядом будущего супруга, желающего удостовериться, годится ли она ему в жены.

— Хо-хо! Мне кажется, что ты и до грозы знал эту пещеру — впрочем, это понятно, иначе как бы вы нашли ее впопыхах — и она имеет какое-то отношение к бушменам, как все пещеры этой страны.

Что оказалось в пещере — вот в чем вопрос. Не говори, я сам узнаю. Странно, мне пришла в голову мысль о картинах. Впрочем, ничего странного — бушмены часто разрисовывают стены пещер. Не кивай головой, желтый человечек, это слишком облегчает задачу. Смотри мне в глаза и ни о чем не думай. Много картин и одна главная, да. К ней трудно

пробраться… даже опасно… Твое собственное изображение, сделанное бушменом давно-давно, когда ты был молод и красив, желтый человек?

Опять ты качаешь головой. Держи ее тихо, чтобы мысли не перемутились, как вода на ветру. Во всяком случае, это было изображение чего-то отвратительного, о, гораздо более крупного чем ты. Ах, оно растет, растет! Теперь я овладел этим. Макумазан, стань рядом со мной, а ты, желтый человечек, повернись спиной к огню. Ба-а! Он, плохо горит, а в воздухе холодно! Я его раздую ярче.

С этими словами он вынул из мешка щепотку какого-то порошка и высыпал его на золу. Потом он протянул свои костлявые пальцы!! словно грея их над огнем, и медленно поднял руки. Огонь вспыхнул, подпрыгнул на три — четыре фута. Карлик опустил руки, и пламя спало. Опять он поднял руки, и пламя вспыхнуло, на этот раз гораздо выше. Это манипуляцию он проделал три раза. Огонь поднялся столбом на пятнадцать футов и так остался гореть, ровно, как в лампе.

— Теперь смотри на огонь, Макумазан, и ты тоже, желтый человечек, — сказал Зикали новым, незнакомым голосом, словно во сне, — и скажи, что ты в нем видишь, ибо я ничего не могу разглядеть. Мне; ничего не видно.

Я смотрел и в первую минуту ничего не видел. Затем из огня вырос какой-то смутный образ. Он колыхался, менялся, принимая все более определенные очертания, четкие и реальные. И вот перед собой, вытравленного в огне, я увидел Хоу-Хоу — таким, каким он был изображен на пещерной скале, только, как мне показалось, живым, потому что глаза его сверкали. Хоу-Хоу, глядящего, как демон в аду. У меня сперло дыхание, однако я выстоял твердо. Но Ханс вскрикнул на своем исковерканном голландском языке:

— Всемогущий! Это же уродливый старый бес! — и с этими словами упал навзничь и лежал тихо, онемев от ужаса.

— Хо-хо-хо! — засмеялся Зикали. — Хо-хо-хо! — И двенадцати раз стены ущелья отозвались: «Хо-хо-хо!»

Глава IV. Легенда о Хоу-Хоу

Зикали замолчал и смотрел на нас своими впалыми глазами.

— Кто первый сказал, что все мужчины дураки? — спросил он. — Вероятно, красивая женщина, которая ими играла и убедилась в их глупости. Я прибавлю: каждый мужчина в каком-нибудь отношении трус, как бы он ни был смел в остальном. Мало того, все мужчины одинаковы. Какая разница между тобой, Макумазан, белый мудрец, сотни раз смотревший в глаза смертельной опасности, и вот этой желтой обезьянкой? — тут он указал на Ханса, который лежал на спине, выкатив глаза и бормоча молитвы всевозможным богам. — Оба одинаково испугались; но только белый владыка старается скрыть свой страх, а желтая обезьяна стучит зубами, по обычаю всех обезьян.

Ты испугался простого фокуса: я показал вам картину, о которой вы оба думали. Заметь — опять не волшебство, а простой фокус, доступный любому ребенку. Надеюсь, ты будешь вести себя приличнее при встрече с самим Хоу-Хоу — иначе я разочаруюсь в тебе и скоро в пещере чудовища прибавится еще два черепа. Но, может быть, у тебя достанет храбрости. Да, конечно. Ведь ты не захочешь умереть, зная, как долго и громко я буду смеяться, услышав эту весть.

Чтобы выиграть время для размышления, старый колдун взял понюшку принесенного мною табака, ощупывая нас взглядом до самых костей.

— Ты прав, Зикали, утверждая, что все мужчины дураки, ибо ты сам первейший и величайший глупец.

— Я часто сам это думал, Макумазан, по причинам, которые оставляю при себе. Но мне интересно знать, почему ты это говоришь — совпадают ли твои основания с моими?

— Во-первых, потому, что ты утверждаешь, будто бы Хоу-Хоу на самом деле существует; во-вторых, ты сказал, что Ханс и я встретимся с ним лицом к лицу — чего мы никогда не сделаем. Итак, оставь эти нелепицы и покажи нам, как делать картины в огне. Ты сказал, каждый ребенок может овладеть этим искусством.

— Если его научить, Макумазан. Но все-таки я не настолько глуп. Я не хочу создавать себе соперников. Нет, пусть каждый оставляет при себе свои познания, а то никто не станет платить за них. Но почему ты думаешь, что никогда не встретишься с живым Хоу-Хоу?

— Потому что его не существует, — злобно ответил я, — а если и существует, то, надо полагать, его жилище далеко отсюда и мне туда не добраться без новых волов.

— Ах, — сказал Зикали, — я знал, что ты поспешишь к Хоу-Хоу, как жених к невесте, и все приготовил. Завтра ты получишь волов белого купца здоровыми и жирными.

— У меня нет денег уплатить за новых волов, — возразил я.

— Слово Макумазана дороже денег. Это знает вся страна. Более того, — прибавил старик, понижая голос, — из поездки к Хоу-Хоу ты вернешься с большими деньгами, вернее с алмазами, что одно и то же. Если это неправда, я обязуюсь сам уплатить за волов.

При слове «алмазы» я навострил уши, так как тогда вся Африка бредила этими камнями; даже Ханс поднялся с земли и снова начал проявлять интерес к земным делам.

— Это прекрасное предложение, — сказал я, — но брось вздувать» пыль (то есть говорить чепуху), а лучше, пока не стемнело, скажи прямо, к чему ты клонишь. Я не люблю этого ущелья ночью. Кто такой Хоу-Хоу? Если он (или оно) существует, то где он живет? И почему ты, Зикали, хочешь, чтобы я встретился с ним?

— Я отвечу сперва на последний вопрос, Макумазан.

Зикали хлопнул в ладоши, и мгновенно из хижины появился рослый слуга, которому он отдал какие-то приказания. Человек кинулся прочь и тотчас вернулся с несколькими кожаными мешочками. Зикали развязал один из них и показал мне, что он почти пуст — лишь на самом дне была щепотка бурого порошка.

— Это вещество, Макумазан, чудеснейшее зелье — оно чудеснее даже травы *тамбоуки*, открывающей стези прошлого. Посредством вот этого порошка я проделываю большинство моих фокусов; например, только что благодаря ему я сумел показать тебе и твоей желтой обезьяне изображение Хоу-Хоу в огне.

— Это, стало быть, яд.

— Да, между прочим, подмешав к нему другой порошок, можно получить смертельный яд, такой смертельный, что одной пылинки его на острие шипа довольно, чтобы бесследно убить сильнейшего человека. Но этот порошок обладает и другими свойствами: он дает власть над волей и духом человека; я объяснил бы, но ты не поймешь. Так вот, Древо Видений, из листьев которого приготавливают снадобье, растет только в саду Хоу-Хоу, и больше нигде во всей Африке; между тем последний мой запас сделан много лет назад, когда тебя еще не было на свете, Макумазан.

Теперь мне надо еще листьев — или Открывающий Пути утратит свою силу колдуна и зулусы станут искать другого иньянгу.

— Почему же ты не пошлешь кого-нибудь за листьями, Зикали?

— Кого мне послать? Кто осмелится проникнуть в страну Хоу-Хоу и ограбить его сад? Только ты, Макумазан. Ах, я читаю в твоих мыслях. Ты удивляешься, почему я не прикажу, чтобы листья мне доставил кто-нибудь из уроженцев страны Хоу-Хоу? А вот почему, Макумазан: тамошние жители не смеют покидать своей потаенной страны — таков их закон. А если бы и могли, то за горсточку этого порошка они потребовали бы очень высокую цену. Однажды, сто лет тому назад (то есть очень давно), я заплатил эту цену. Но это старая история, я не буду тебе ею докучать. Ах, многие отправлялись к Хоу-Хоу, но только двое вернулись, да и то сошли с ума; то же произойдет с каждым, кто, увидев Хоу-Хоу, оставит его в живых. И ты, Макумазан, если увидишь Хоу-Хоу, убей его со всеми его приснымиа, иначе его проклятие будет тяготеть над тобой до конца твоих дней. Павший, он бессилен; но пока он стоит, сильна его ненависть и далеко простирается его власть — или власть его жрецов, что одно и то же.

— Вздор! — сказал я. — Хоу-Хоу, если он существует, просто большая обезьяна, а я не боюсь обезьян, ни живых, ни мертвых.

— Рад слышать, Макумазан, и надеюсь, что ты не переменишь своего мнения. Несомненно, только его изображение на скале или в огне пугает тебя, как часто сон бывает страшнее действительности. Когда-нибудь ты мне поведаешь, Макумазан, что хуже — изображение Хоу-Хоу или он сам. Но ты спрашивал у меня еще одну вещь: кто такой Хоу-Хоу?

Этого я не знаю. Предание говорит, что некогда, в начале мира, далеко на севере жил бедный народ. Этим народом управлял тиран, жестокий и грозный, и к тому же великий колдун или, как ты выражаешься, мошенник. Такой жестокий и грозный, что народ восстал против него, и как он ни был силен, вынудил его бежать на юг с горстью приверженцев или же тех, кто не мог освободиться от его чар.

Он шел все на юг и на юг — тысячи миль, пока не нашел укромного места, подходящего для поселения. Место это осенено горой из тех, что извергали огонь, когда мир был молод; еще и теперь над ней иногда курится дым. Там этот народ, именующийся Вэллу, построил себе город по северному образцу, из черного камня, изверженного горой в минувшие века. Но их царь, великий колдун, продолжал свои жестокости и заставлял их денно и нощно работать на себя и на свой Великий Двор. Наконец народ не выдержал — однажды ночью тиран был убит. Но умер не сразу, и перед смертью смеялся над своими убийцами и сказал, что этим путем они от

него не избавятся, ибо он вернется в новом образе и будет властвовать над ними из поколения в поколение. И он предрек проклятие и гибель каждому, кто попытается выйти за горное кольцо и покинуть страну. Это пророчество оправдалось. В страну можно попасть только по реке со стороны пустыни. И каждый, кто осмеливался спуститься вниз по реке и вступить в пустыню, погибал от внезапной болезни или же от зубов диких зверей, обитающих в пустыне и в болоте, обрамленном рекой там, где она входит в пустыню; звери сходятся туда на водопой.

— Несчастных, вероятно, убивает болотная лихорадка?

— Может быть. А может быть — яд или проклятие. Словом, рано или поздно они умирают, и теперь никто не покидает страны.

— А что сталось с этими вэллосами, после того как они покончили со своим милым царем? — спросил я, заинтересованный романтической повестью знахаря. Я знал, что в туземных преданиях всегда скрывается зерно истины. К тому же Африка велика, и много в ней странных мест и народов.

— Им пришлось очень худо, Макумазан. Едва умер их царь, как гора стала изрыгать огонь и пепел. Многие погибли, остальные переправились на лодках через озеро, превращающее гору в остров, и поселились в окружающих озеро лесах. Там живут они до сих пор, на берегу реки, той самой, что протекает через горный проход, образуя за ним болото и далее теряясь в песках пустыни. Так сказали мне сто лет назад мои посланцы, принесшие мне зелье из сада Хоу-Хоу.

— Вэллосы, верно, побоялись вернуться в свой город на острове?

— Да; и неудивительно. Чад из горы убил множество из них и обратил их в камни. Да, Макумазан, по сей день сидят они там, обращенные в камни, и с ними их собаки и скот.

Тут я громко рассмеялся, и даже Ханс усмехнулся.

— Я заметил, Макумазан, — сказал Зикали, — что сначала всегда ты смеешься надо мной, но последним смеюсь я. Говорю тебе, они там сидят, обращенные в камни, а если это ложь — ты не платишь мне за волов, сколько бы ты не принес оттуда алмазов.

Я вспомнил судьбу Помпеи и перестал смеяться. В этом не было ничего невозможного.

— Гора уснула, но они больше не вернулись на пепелище, ибо была у них и другая сильнейшая причина. На остров явились гости.

— Гости? Кто же? Каменные люди?

— Нет, те спят достаточно крепко. Явился убитый царь, обернувшийся гигантской обезьяной — Хоу-Хоу.

Я знал, что туземцы верят в оборотней. Не было ничего странного, если вэллосы вообразили, будто над их страной тяготеет проклятие легендарного тирана, обернувшегося чудовищем.

Но в само чудовище я не верил, допуская мысль, что на остров пробралась какая-нибудь крупная обезьяна, хотя бы горилла.

— А что делает дух? — недоверчиво спросил я карлика. — Швыряет в народ орехами и камнями?

— Нет, Макумазан. По временам он навещает материк, перебираясь через озеро, одни говорят — на стволе, другие — вплавь, а кто говорит — той дорогой, что доступна только духам. На берегу всем встречным он сворачивает голову. — (Тут я вспомнил картину в пещере). — Женщин, если они стары и некрасивы, постигает та же участь; если же они молоды и хороши собой, то он утаскивает их к себе. Остров полон подобных пленниц, возделывающих сад Хоу-Хоу. Говорят даже, у них есть дети, которые переплывают озеро и селятся в лесу — страшные волосатые существа, полуобезьяны-полулюди. Они умеют добывать огонь и владеют оружием: палкой и луком со стрелами. Это дикое племя зовется Хоу-хойа. Они живут в лесах, и между ними и племенем Вэллу идет постоянная война.

— И это все? — спросил я.

— Нет, не все. В определенное время года вэллосы должны выбрать прекраснейшую и знатнейшую девушку и в ночь полнолуния привязать ее к некоей скале на берегу острова. Потом они должны уплыть, оставив ее одну, а на рассвете вернуться.

— А что дальше?

— Одно из двух, Макумазан: если девушка не показывается, значит жертва принята, и вэллосы ликуют. Хоу-Хоу со своими жрецами на этот год оставляет их в покое, и посевы их процветают. Или же жертва отвергнута, и девушку находят растерзанной на куски. Тогда вэллосы плачут и стенают — но не по ней: Хоу-Хоу и слуги будут их преследовать весь год, похищая других женщин и насылая на народ болезни и голод. Поэтому Жертва Девы у них — великое торжество.

— Веселая религия, Зикали! Скажи, она нравится этим вэллосам?

— А разве какая-нибудь религия нравится хоть одному человеку, Макумазан? Разве слезы, нужда, мор, грабеж и смерть нравятся тем, кто рожден на земле? Я слышал, например, что и вы, белые, терпите то же самое, у вас есть ваш собственный Хоу-Хоу, или дьявол, отвергающий жертвы и мстящий вам. Нравится он вам или нет — а вы ему в угоду устраиваете войны и льете кровь, чините беззакония, утверждая таким

образом его владычество над землей. Мы поступаем так же, как и вы. Но если вы и все мы за вами восстали бы против дьявола, власть его была бы низвергнута и он был бы убит. А мы продолжаем приносить ему в жертву наших чистых девушек — так чем же мы лучше почитателей Хоу-Хоу, которые делают то же самое, спасая свою жизнь?

Отдавая должное этому возражению, я смиренно ответил:

— Я совсем не считаю, что мы лучше их. — И чтобы перевести разговор на более конкретную тему, прибавил: — А как же алмазы?

— Алмазы? Ага! Алмазы, которые кстати сказать, я считаю одним из предметов вашего жертвоприношения своему Хоу-Хоу. Прекрасно, у Вэллу очень много алмазов. Но этот народ не занимается торговлей и потому не знает им цены. Женщины употребляют их для украшений, вплетают их в волосы и вмазывают их в глиняную утварь, составляя красивые узоры. Кажется, эти камни, и еще другие, красные, наносятся рекой. Дети собирают их в прибрежном песке. Постой, я тебе сейчас покажу их — много лет тому назад мой посланец принес мне их пару горстей, — и Зикали хлопнул в ладоши.

Тотчас, как и прежде, появился слуга и по приказанию карлика принес потертый мешочек из сморщенной кожи, очевидно от старой перчатки. Зикали развязал его и подал мне.

В нем действительно были алмазы, некрупные, но, судя по цвету, самой чистой воды. Попадались среди них и другие камни, должно быть рубины. На глаз я оценил их стоимость в двести — триста фунтов. Рассмотрев камни, я предложил их обратно Зикали, но он замахал рукой и сказал:

— Оставь их себе, Макумазан, — мне они не нужны. А когда ты будешь в стране Хоу-Хоу — сравни их с туземными и ты убедишься, что я не солгал.

— Когда я буду в стране Хоу-Хоу?! — с негодованием переспросил я. — Где же эта страна и как мне ее достичь?

— Это я скажу тебе завтра, Макумазан, не сегодня, ибо, прежде чем тратить впустую время и слова, я должен предварительно выяснить две вещи: во-первых, согласен ли ты туда отправиться и, во-вторых, примут ли тебя вэллосы?

— Когда я получу ответ на второй вопрос, мы поговорим о первом, Зикали. Но что ты дурачишь меня, Зикали? Эти вэллосы, как я понимаю, живут далеко. Как же ты к утру получишь ответ?

— Есть пути, есть пути, — ответил он как бы во сне. Его тяжелая голова опустилась на грудь, и он погрузился в дремоту.

Я смотрел на него, пока это занятие не надоело мне, и тогда, оглянувшись вокруг, заметил, что уже совсем стемнело.

В это время мне послышался в воздухе писк, резкий, тонкий писк, какой производят крысы.

— Смотри, баас, — прошептал Ханс испуганным голосом, — летят его духи, — и он указал наверх.

Высоко над моей головой, точно спускаясь с неба, парили какие-то твари. Их было три. Они спускались кругами, очень быстро, и вскоре я разглядел, что это были летучие мыши — огромные зловещие мыши. Они уже кружились над нами так низко, что дважды задели крылом мое лицо. Дрожь отвращения охватывала меня при этих прикосновениях. Они пронзительно пищали над самым моим ухом. Я стиснул зубы.

Ханс пробовал отбиваться от прикосновения одной из них, но она укусила его за палец, он вскрикнул, напялил шляпу на голову и засунул руки в карманы. Тогда мыши перенесли свое внимание на Зикали. Стремительной спиралью закружили над ним, сужая круги полета, и наконец две опустились ему на плечи и стали пищать что-то ему в уши, а третья подвесилась к его подбородку и прижалась своей отвратительной головой к его губам.

Зикали очнулся. Глаза его горели. Костлявой рукой он гладил летучих мышей, словно маленьких птичек. И мне почудилось, что с тварью, повисшей на его подбородке, он разговаривает на каком-то непонятном языке, а она чирикает односложные ответы.

Вдруг карлик взмахнул руками, и все мыши закружили вверх и исчезли во мраке.

— Я приручаю летучих мышей, они очень ко мне привязаны, — объяснил он и прибавил: — Приходи завтра утром, Макумазан, может быть, я смогу сообщить тебе, согласны ли вэллосы на твой приезд; если да, то я покажу тебе путь в их страну.

Когда мы пробирались в темноте по мрачному ущелью, Ханс спросил:

— Что это за твари висели у Зикали на плечах и на подбородке?

— Летучие мыши — очень крупные. А что, — спросил я в свою очередь.

— О, баас, я думаю, что это его слуги, которых он посылает к племени Вэллу.

— Значит, ты веришь в Вэллу и Хоу-хойа, Ханс?

— Да, баас, и больше того — я верю, что мы отправимся к ним, потому что Зикали этого хочет, а кто может противиться воле Того-Кому-Не-Следовало-Родиться?

Глава V. Аллан дает обещание

Мне не спалось всю эту ночь. Час за часом в ночной тишине, лишь изредка прерываемой случайным криком ночного ястреба или гулким лаем павиана, я думал о чудесном рассказе о Вэллу и Хоу-Хоу. Он был нелеп. И все-таки… все-таки в тайниках Африки скрывается так много странных народов, и многие придерживаются самых диких религий и суеверий. Право, почему бы не допустить возможность, что вековые суеверия породили нечто конкретное?

А если Хоу-Хоу существует — хотел ли я встретиться с ним лицом к лицу? И да и нет. Я всегда отличался любопытством, и мне предоставлялось заманчивым увидеть нечто такое, чего не видывал глаз ни одного белого человека, и еще заманчивее — сразиться с чудовищем и убить его.

В моем воображении вставало чучело Хоу-Хоу, выставленное в Британском музее, с надписью на пьедестале:

Застрелен в Центральной Африке

Алланом Квотермейном, эксвайром.

Из скромного безвестного охотника я сразу превращусь в знаменитость. В «Грэфике»[100] будет помещен мой портрет. Я стою во весь рост, поставив ногу на грудь поверженного Хоу-Хоу.

Вот это слава! Но только, кажется, не всегда бывает приятно повстречаться с Хоу-Хоу, и дело может принять другой оборот: его нога может оказаться на моей груди и он оторвет мне голову — как на картине в пещере. Что же, в таком случае иллюстрированные издания ничего не напечатают на этот счет.

Ох, о чем я думаю? Зикали попросту все сочинил. Однако рассказ колдуна смутно напомнил мне о чем-то слышанном в детстве. И вдруг я сразу вспомнил. У моего ученого отца была книга греческих мифов. Там была одна легенда об одной даме по имени Андромеда, дочери царя, который под давлением народа, ради предотвращения бедствия, привязал ее к скале в жертву морскому чудовищу. Но в критический момент явился Персей, которому помогали волшебные силы, и убил чудовище, а царевну взял себе в жены.

Этот рассказ о Хоу-Хоу был совершенно тождествен с этим мифом. Девушку привязывают к скале; из моря — или, вернее, из озера — появляется чудовище, увлекает ее, и бедствия предотвращены. Быть может, думал я, древний миф проник как-нибудь в Африку. Только здесь еще не было Персея, и роль героя, очевидно, предназначалась мне. Если так, что же мне делать с девушкой? Вернуть благодарным родственникам, потому что женитьба на ней отнюдь не входит в мои намерения. Ах, я совсем одурел от глупых мыслей! Надо спать, сп…

Через две минуты (или мне так показалось) я опять проснулся, думая уже не об Андромеде, а о пророке Самуиле, недоумевая, почему мне пришел на ум этот суровый патриарх и священник? Однако, хорошо зная Ветхий Завет, я вспомнил негодование державного провидца, когда он услышал рев амаликитянских быков, которых Саул пожалел отдать на съедение народу. Как бы описали это происшествие зулусы?

В ушах моих тоже раздавался рев быков, что и послужило связующим звеном. Я высунул голову и увидел восемнадцать великолепных упряжных быков, пригоняемых к моему становищу двумя незнакомыми кафрами. Тут, конечно, я вспомнил обещание Зикали продать мне животных на льготных условиях (и даже при некоторых обстоятельствах подарить их мне) и подумал про себя, что пока колдун верен своему слову.

Натянув штаны, я вылез из фургона освидетельствовать быков и остался вполне удовлетворен. От прежней болезни они совершенно оправились, и даже такой строгий критик, как Ханс, выразил полное свое одобрение.

Я завтракал в прекрасном настроении духа: теперь, когда у мен» были упряжные животные, можно было подумать о заманчивом предприятии, и я решил тотчас отправиться к Зикали. Ханс под предлогом присмотра за новыми быками пробовал уклониться от неприятной обязанности сопровождать меня, однако я взял его с собой, так как, когда имеешь дело с Зикали, четыре уха лучше двух.

Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться сидел перед хижиной у горящего костра, который он неизменно поддерживал, даже в самую сильную жару.

— Как ты находишь волов, Макумазан? — сразу спросил он.

Я осторожно сказал, что отвечу ему, когда испытаю их.

— Хитрый, как всегда, — сказал Зикали. — Хорошо, Макумазан, бери их и можешь, как я говорил, уплатить за них, когда вернешься назад.

— Вернусь — откуда? — спросил я.

— Да куда бы ты ни поехал. Но ты сам знаешь, куда поедешь.

— Не знаю, — сказал я и замолчал.

Он тоже долго молчал, так долго, что терпение мое иссякло, и я саркастически спросил, получил ли он новости о своем приятеле Хоу-Хоу через своих посланцев — летучих мышей.

— Да, получил, только не через летучих мышей. Я скажу тебе правду. Не так я общаюсь с теми, кто далеко; им я посылаю свою мысль, и она летит на край земли, так что вся земля ее может читать. Но лишь один из миллиона понимает это. А для непосвященных, даже для Белого Мудреца, это непостижимо, и для них остается символ летучей мыши-посланницы. Неужели ты вечно будешь объяснять естественное волшебством, Макумазан?

Я подумал, что у меня и у Зикали несколько различные взгляды на естественное, но зная, что он, по обыкновению, просто дразнит меня, я сказал, не желая ввязываться в недостойный спор:

— Все это так просто, что не стоит на это тратить слов. Я только хочу знать, получил ли ты ответ на свой запрос, как бы ни был он послан, и если да, то каков этот ответ.

— Да, Макумазан, получил. И вот его смысл: вождь вэллосов, с которым говорило мое сердце, будет рад приветствовать тебя в своей стране, но жрецы Хоу-Хоу, полагает он, не будут рады. Если ты придешь, вождь даст тебе алмазов, сколько ты сможешь увезти, и снадобье, нужное мне. Но за эти дары он требует платы.

— Какой платы, Зикали?

— Ты должен собственной рукой низвергнуть Хоу-Хоу.

— А если я не смогу его победить?

— Тогда, конечно, Хоу-Хоу победит тебя, и делу конец.

— Вот как? Хорошо, Зикали, скажи, если я поеду, то буду убит?

— Кто я, чтобы распоряжаться жизнью и смертью, Макумазан? Но, — тихо прибавил он, — я думаю, что ты убит не будешь. Иначе бы я не отдал тебе в долг моих быков. И я верю, что тебе предстоит исполнить много задач, Макумазан, моих задач. А раз это так, я не стал бы посылать тебя на смерть.

Я подумал, что это, пожалуй, правда. Старый колдун часто намекал о каких-то будущих великих предприятиях, в которых мне отводилась видная роль, к тому же я знал, что он по-своему уважает меня и потому не желает мне зла. К тому же мною вдруг овладела жажда приключений и новизны. Однако я это скрыл, если только можно что-нибудь скрыть от Зикали, и спросил деловым тоном:

— Куда ты хочешь послать меня, далеко ли это и как туда добраться?

— Теперь мы переходим к делу, Макумазан. Слушай, что я буду тебе

говорить.

Говорил он целый час, но я не стану докучать вам утомительными географическими подробностями. Достаточно будет сказать, что ехать надо было триста миль на север, затем переправиться через Замбези и потом ехать еще триста миль на запад. Потом надо было взять на северо-запад и ехать неопределенное расстояние до некоего горного ущелья. Там надо было оставить фургон и идти два дня по безводной пустыне до болота и теряющейся в песках реки, откуда в ясный день виден дым вулкана, о котором Зикали говорил накануне. Перейдя через болото или обогнув его, я должен был найти второе ущелье, через которое река из страны Хоу-Хоу вырывается в пустыню. Здесь, по словам Зикали, меня должен был встретить отряд вэллосов с лодками и отвезти в свою страну, а там все пойдет, как предначертано судьбой.

— Так вот какая поездка, — сказал я, когда Зикали кончил. — Отлично. Скажу тебе прямо: по незнакомой стране я не поеду. Как я найду дорогу без проводника? Я еду в Преторию — на твоих волах или без них.

— Так ли это, Макумазан? Я начинаю считать себя очень умным. Я предвидел, что ты это скажешь, и уже нашел проводника, который доставит тебя прямо к дому Хоу-Хоу. Проводник здесь. Я сейчас пошлю за ним. — И своим обычным способом Зикали вызвал слугу.

— Откуда он, кто он и как давно он здесь? — спросил я.

— Я не совсем точно знаю, кто он, Макумазан, потому что он не любит рассказывать много о себе, знаю, что откуда-то из тех краев, а здесь он уже довольно давно, так что я успел его немного научить зулусскому языку — это, впрочем, не важно, раз ты понимаешь по-арабски, ведь понимаешь?

— Да, я немного говорю по-арабски, Зикали, и Ханс тоже.

— Прекрасно, Макумазан, это облегчает задачу. Предупреждаю тебя, что он очень странный человек, в чем ты сам сейчас убедишься. Кстати, его зовут Иссикор.

Я ничего не сказал, а Ханс шепнул мне, что проводник, несомненно, один из сыновей Хоу-Хоу и, верно, похож на большую обезьяну. Он сказал это очень тихо, однако Зикали услышал и заметил:

— Значит, ты будешь чувствовать, словно встретил нового брата, Свет-Во-Мраке?

Ханс замолчал, не желая показывать Открывающему Пути, что обижен этим сравнением с обезьяной. Я тоже замолчал, занятый своими размышлениями. Теперь завеса мистики спала, и фокус открылся: к Зикали пришел посланец из какой-то далекой земли просить у него помощи на

неизвестных мне условиях.

Зикали решил воспользоваться для этого мной. История с волами была подстроена, составляя часть его плана. Но не мог же Зикали подстроить грозу или сделать, чтобы я укрылся в нужной пещере.

Как бы то ни было, я служил его неведомым целям. Я понимал, что дело не в одних листьях для его зелья.

Быть может, далекий, таинственный народ возбуждал любознательность карлика, а может быть, Хоу-Хоу был его соперником и стоял у него на дороге.

Пока я размышлял таким образом, а Зикали читал мои мысли, вернулся слуга и ввел высокого незнакомца, живописно завернувшегося с головой в меховой плащ. Он подошел, скинул плащ и поклонился в знак приветствия сначала карлику, потом мне и в своей учтивости почтил также и Ханса — правда, более легким поклоном.

Я смотрел на него и дивился — было на что: передо мной стоял такой красивый человек, какого я еще в жизни не видывал. Он был высок — шести футов с лишним — и превосходно сложен. Широкая грудь, округлые линии тела, руки и ноги, которые сделали бы честь греческой статуе.

Несколько грустное лицо, почти белое, с большими темными глазами, было выточено с дивным совершенством, и было в нем что-то, что говорило о благородной и древней крови. Казалось, он явился прямо из минувших веков. Он мог быть жителем погибшей Атлантиды или загоревшим на солнце древним греком. Каштановые волосы крупными кольцами спадали на плечи, но на подбородке и над изогнутыми тонкими губами растительности не было. Может быть, он был выбрит. Словом, это был великолепнейший образец вида *homo sapiens*, отличающийся от всех когда-либо виденных мною.

Одежда его также была необычна и поражала взгляд, хотя и висела лохмотьями. Она могла быть похищена с тела египетского фараона. Стан его был обвит холстом, который по краям был вышит блеклым пурпуром, а на голове возвышалось какое-то сооружение из холста, в виде опрокинутой и заостренной нижней половины сифона для сельтерской воды. К коленям спускался узкий, книзу расширяющийся кожаный фартук, тоже вышитый; сандалии из того же материала довершали костюм.

В изумлении смотрел я на него, не зная, принадлежит ли он к какому-нибудь неизвестному мне народу или это новое созданное карликом видение. А у Ханса глаза на лоб полезли, и он спросил шепотом:

— Это человек, баас, или дух?

На шее у незнакомца было простое золотое ожерелье, и он был

опоясан мечом с крестовидной рукоятью слоновой кости и красными ножнами.

Некоторое время этот замечательный человек стоял перед нами, сложив руки и смиренно склонив голову, хотя склониться следовало бы мне, принимая во внимание физический контраст между нами. По-видимому, он считал неприличным самому начать разговор, а между тем Зикали сидел угрюмо, поджав под себя ноги, и не приходил мне на помощь. Наконец я встал со своего места и протянул руку. После минутного колебания великолепный незнакомец взял ее, но не пожал, а почтительно коснулся моих пальцев губами, словно он был французский придворный, а я — красивая дама. Я еще раз поклонился насколько мог изящнее, сунул руку в карман и сказал по-английски:

— How do you do?[101]

— О Макумазан, — ответил он по-арабски, — приди, заклинаю тебя, и спаси Сабилу Прекрасную.

— Почему вы так заинтересованы в этой даме? — спросил я.

— Господин, она любит меня, не как брата — и я ее люблю. Сабила, великая владычица моей земли и моя троюродная сестра, помолвлена со мной. Но если бог не будет побежден, моя нареченная, как прекраснейшая из наших дев, будет отдана богу. — Он склонил голову в неподдельном волнении, и слезы наполнили его темные глаза.

— Слушай, господин, — продолжал он, — живет в нашей стране древнее пророчество, что бог наш, в чьей безобразной оболочке скрывается дух давно убитого вождя, может быть побежден только человеком иной расы, видящим ночью, мужем великой доблести. Через наших ясновидцев обратился я к Властителю Духов по имени Зикали, ибо я был в отчаянии. От него узнал я, что есть на юге такой человек, о котором говорит пророчество, и что имя его Бодрствующий В Ночи. Тогда я презрел проклятие, оставил свою родину и пустился тебя искать — и вот я нашел тебя.

— Да, — ответил я, — вы нашли такого человека, но он не отважный герой, а простой торговец и охотник на диких зверей. И я вам говорю, мистер Иссикор, что не хочу впутываться в дела вашего племени, ваших богов и жрецов или вступать в поединок с какой-то крупной обезьяной, если она существует, ради горсти блестящих камешков или пучка листьев, нужных этому знахарю. Ищите лучше другого белого человека, с кошачьими глазами и более сильного и храброго, Иссикор.

— Как могу я искать другого, когда ты избранный, о Макумазан! Если ты не пойдешь, я вернусь и умру вместе с Сабилой, и все будет кончено.

Он замолчал и через минуту заговорил снова:

— Владыка, не много могу я тебе предложить — но благородное деяние таит награду в себе самом, и воспоминание о нем питает сердце в жизни и в смерти. Я обращаюсь к тебе, потому что ты благороден: сделай это, не ради награды, но ради доблести твоей.

— Почему ты сам не принес Зикали его проклятых листьев? — спросил я в бешенстве.

— Владыка, я не могу войти в сад Хоу-Хоу, где растет Древо Видений, и я не знал, что Властитель Духов нуждается в листьях его. Владыка, поступай, как велит твое доблестное сердце, слава о котором проникла в далекие края.

Сознаюсь, друзья, я был польщен. В тот момент мне не пришло в голову, что этот обаятельный сын Хама, представлявшийся мне переодетым принцем, обладающим даром читать в сердцах, просто повторял урок, преподанный ему карликом, который тоже умел читать в сердцах.

К тому же предлагаемая авантюра манила меня, как магнит, своей необычайностью. Каково мне будет в старости, подумал я, оглядываться на прошлое с сознанием, что пропустил такой блестящий случай, и сойти в могилу, так и не узнав, существует ли Хоу-Хоу, гроза прелестных Андромед, или Сабил — Хоу-Хоу, соединяющий в своем отвратительном облике качества бога-фетиша, привидения, демона и сверхгориллы?

Вправе ли я был зарывать в землю два своих таланта — искателя приключений и меткого стрелка? Конечно, нет. Как иначе сумел бы я смотреть в лицо моей совести? Но, с другой стороны, столько имелось возражений, о которых не стоит распространяться. В конце концов, не в состоянии остановиться на чем-нибудь определенном, я решил положиться на судьбу. Да, я решил прибегнуть к гаданию, употребив Ханса вместо пробной монеты.

— Ханс, — сказал я по-голландски (кроме нас двоих, никто не понимал этого языка), — отправимся ли мы в страну этого человека или останемся у себя? Ты все слышал; говори, и я подчинюсь твоему приговору. Понимаешь?

— Да, баас, — сказал Ханс, комкая шляпу. — Понимаю. Баас, по обыкновению, попав в яму, ищет помощи у Ханса, который воспитал его с детских лет и которому он обязан почти всеми своими знаниями; у Ханса, на которого отец бааса, преподобный проповедник, любил опираться, как на посох — конечно после того, как сделал из него доброго христианина. Но дело это серьезное, и, прежде чем вынести свое решение, я должен задать несколько вопросов.

Он крутанулся волчком и, обратившись к терпеливо ожидавшему Иссикору на своем жалком подобии арабского языка, сказал:

— Длинный баас — Горбатый Нос, скажи, знаешь ли ты обратную дорогу в свою страну, и если да — докуда туда можно проехать на волах?

— Дорогу я знаю, — ответил Иссикор, — а на волах можно проехать до первого горного прохода. Дичи и воды будет вдоволь всю дорогу — кроме пустыни, о которой я упоминал. Все путешествие будет продолжаться три луны — хотя один я совершил его за две.

— Хорошо, а если мой баас Макумазан явится в вашу страну, как он будет принят?

— Большинством народа благожелательно, а жрецами Хоу-Хоу враждебно, если они узнают, что явился он убить их бога. И, конечно, он должен приготовиться к войне с Волосатым Народом, что живет в лесах. Впрочем, пророчество говорит, что Белый Вождь их победит.

— А еды достаточно в вашей стране? Есть ли у вас табак и что-нибудь поинтереснее воды, для питья, длинный баас?

— Всех благ у нас в изобилии, о советник Белого Вождя, и все они будут предоставлены ему и тебе. Впрочем, — многозначительно прибавил он, — кто имеет дело со жрецами, тому лучше пить простую воду, дабы не застигли его спящим.

— Есть ли у вас ружья? — спросил Ханс, указывая на мой «экспресс».

— Нет, наше оружие — мечи и копья, а Волосатый Народ владеет лишь луками и стрелами.

Ханс зевнул, словно ему наскучил этот допрос, и уставился на небо, где парило несколько ястребов.

— Баас, — сказал он, — сколько там ястребов: семь или восемь? Я не считал, но думаю, что семь.

— Нет, Ханс, восемь: один залетел выше всех, за облако.

— Вы уверены, что восемь, баас?

— Уверен? — ответил я сердито. — Почему ты спрашиваешь такие глупости — не можешь сосчитать сам?

Ханс опять зевнул и сказал:

— В таком случае, мы едем с этим прекрасным горбоносым баасом в страну Хоу-Хоу. Решено.

— Что за чертовщина, Ханс? Причем тут число ястребов?

— Очень даже причем, баас. Тяжесть выбора давила мне на плечи, и я воздел руки к небу, вознося молитву к вашему преподобному отцу, и вот увидел ястребов. Это преподобный отец бааса послал мне ответ: «Если четное число ястребов, Ханс, тогда ступай; если нечетное — оставайся. Но

ты, Ханс, сам не считай ястребов, а пусть их сосчитает мой сын, баас Аллан, дабы он не ругал тебя за последствия, утверждая, что ты ошибся при счете». А теперь, баас, с меня довольно — я лучше пойду займусь волами.

От негодования у меня отнялся язык. В своей трусости я прибег к гаданию, взвалив на Ханса выбор, — а этот плутишка, в свою очередь, загадал чет и нечет, да еще меня же заставил подсчитывать! Я так разозлился, что угрожающе поднял ногу, но Ханс вовремя отскочил и не попадался мне на глаза до самого моего возвращения в становище.

— Охо! Охо! — смеялся Зикали. — Охо! — между тем как величавый Иссикор с достоинством и кротким изумлением наблюдал эту сцену.

Затем я повернулся к Зикали и сказал:

— Как я раньше называл тебя мошенником, так и теперь скажу, что ты мошенник, со всеми твоими россказнями. Вот она, твоя летучая мышь, приносящая вести, она все время пряталась под твоей крышей. — И я указал на Иссикора. — Запутали меня, заставили дать обещание отправиться в это дурацкое путешествие, и теперь, так как я не могу отступиться от слова, мне приходится ехать.

— Ты дал слово, Макумазан? — наивно спросил Зикали. Ты говорил со Светом-Во-Мраке по-голландски — так что ни я, ни этот человек не поняли твоих слов. Но по благородству сердца твоего ты нам объяснил их, и мы, конечно, знаем, как это знает каждый, что твое слово значит больше, чем все письменные обязательства всех белых людей, вместе взятых, и что только смерть или болезнь могут теперь удержать тебя от поездки с Иссикором на его родину. Охо-хо. Все идет, как я хотел — по причинам, которыми я не стану докучать тебе, Макумазан.

Тут я понял, что вдвойне одурачен — и Хансом, и старым знахарем. По правде сказать, я совсем позабыл, что Зикали не понимает по-голландски. Но, во всяком случае, карлик знал человеческую натуру и умел читать мысли, так как он продолжал:

— Не кипятись, как прикрытый камнем горшок, Макумазан, из-за того, что немощная твоя нога поскользнулась и ты открыто повторил на одном языке сказанное тайно на другом — и таким образом дал обещание нам обоим. Все равно, Макумазан, обещание ты дал, и твое белое сердце не позволило бы взять его назад — именно потому не позволило бы, что мы не поняли его. Нет, это великое белое сердце поднялось бы и стало бы тебе поперек горла. Итак, вынь горящие головни из-под кипящего котла твоего гнева и отправляйся в путь, как ты обещал. Ты увидишь чудесные вещи, совершишь чудесные подвиги и вырвешь невинность из рук злых богов или

людей.

— Да, и обожгу пальцы, загребая для тебя жар, Зикали, — фыркнул я.

— Может быть, Макумазан, может быть, ибо как же иначе заварил бы я всю эту кашу? Но что тебе до моей каши, Макумазан, Белый Вождь, жаждущий истины, как жаждет вражеского сердца брошенное копье? Ты откроешь новые истины, Макумазан, и не беда, если копье слегка окрасится красным, проникнув в сердце вещей. Его можно очистить, Макумазан, а ты окажешь еще одну услугу своему старому Другу» мошеннику Зикали.

Тут Аллан взглянул на часы и остановился.

— А вы знаете, который час? — сказал он. — Двадцать минут второго, клянусь головой Чаки. Если вам, друзья мои, хочется закончить рассказ сегодня же, досказывайте сами, по собственному вкусу. С меня довольно, а то завтра на охоте я и в стог сена не попаду.

Глава VI. Черная река

На следующий вечер, в приятной усталости после целого дня охоты и превосходного обеда, мы четверо, то есть Куртис, Гуд, я (издатель этих записок) и старый Аллан, собрались у камина в его уютной берлоге. — А теперь, Аллан, — сказал я, — продолжайте ваш рассказ.

— Какой рассказ? — спросил Квотермейн, притворяясь, что забыл. Его всегда было трудно раскачать, когда дело касалось его личных воспоминаний.

— О человеке-обезьяне и аполлоноподобном незнакомце, — ответил Гуд. — Они мне снились всю ночь: я спас даму — смуглую красавицу в голубом — и только приготовился получить в награду заслуженный поцелуй, как она закапризничала и превратилась в камень.

— Так ей и следовало поступить относительно вас, если она не дура, — сердито перебил Аллан и прибавил: — Это вы из-за сна стреляли сегодня еще хуже, чем всегда? Я заметил, что вы промахнулись по восьми фазанам подряд.

— А я видел, как вы подстрелили восемнадцать подряд, — бойко возразил Гуд, — так что общий итог не пострадал. Итак, приступайте к вашей романтической повести. Вечерком, после изрядной дозы грубой повседневной действительности, я люблю немного романтики в образе немыслимого фазана.

— Романтика! — вознегодовал Аллан. — Это я романтик? Пожалуйста, не судите обо мне по себе самому, Гуд.

Тут вмешался я, умоляя Аллана не тратить время на споры с Гудом, который недостоин его внимания. Наконец старик смилостивился и начал:

— Мне придется поторопиться, чтобы поскорее покончить с этим занятием, которое сушит мне глотку (я долго жил в одиночестве и не привык говорить, как политик) и заставляет выпивать лишнее» Вы тоже все торопитесь, в особенности Гуд, которому хочется поскорее добраться до конца рассказа, чтобы высказать, как поступил бы он на моем месте, а вы, мой друг, завтра утром уезжаете и вам нужно упаковаться перед отходом ко сну. Поэтому я многое буду пропускать — пропущу, например, всю нашу поездку, хоть это было интереснейшее путешествие, и начну рассказ с нашего благополучного прибытия к первой горной цепи, за которой, по словам Зикали, начиналась пустыня. Здесь нам следовало оставить фургон, так как невозможно было переправляться на волах через горы и пески.

К счастью, мы смогли это сделать в мирном поселке, очаровательно расположенном около воды. Я оставил свой фургон на попечение Мавуна и Индуки, которым вполне доверял, и посулил местному вождю хороший подарок, если по возвращении мы найдем все в целости.

Тот обещал сделать все, что от него зависит, но печально прибавил, что если мы отправляемся в страну Хоу-Хоу, то никогда не вернемся, потому что это земля бесов. И он спросил, как в этом случае поступить с моим добром. Я ответил, что приказал моим зулусам, в случае если я не вернусь через год, отправляться обратно — туда, откуда мы приехали, — и огласить, что я погиб, но что ему, мол, нечего опасаться, так как я великий волшебник и знаю, что вернусь задолго до назначенного срока.

Он пожал плечами, с сомнением глядя на Иссикора, и на этом беседа кончилась. Все-таки мне удалось уговорить его дать нам трех человек в качестве проводников и водоносов, при условии, что мы их отпустим, как только завидим вдали болото. Ничто не могло бы их заставить подойти ближе к стране Хоу-Хоу.

Итак, в положенное время мы тронулись в путь, оставив Мавуна и Индуку почти в слезах, ибо мрачные предчувствия вождя заразили их, и они уже не надеялись увидеться с нами вновь. О Хансе, правда, они не пожалели бы, потому что ненавидели его так же, как он ненавидел их, но меня они по-своему любили.

Поклажа наша была тяжела: ружья (я взял двуствольный «экспресс»), кое-какие лекарства, одеяла, несколько смен белья для меня, пара револьверов и всевозможная посуда для воды. Захватили мы также табак, спички, свечу и связку сушеных кореньев — на случай, если не встретим дичи. Как будто бы немного, но еще не добравшись до пустыни, я готов был половину бросить. Не знаю, как бы мы перевалили со всем этим через горы, не будь с нами наших троих водоносов.

Подъем и переход через гребень горы отнял у нас двенадцать часов. Мы остановились здесь на ночь, а на следующий день спуск занял еще шесть часов. У подножия гор росли тощая трава и редкий кустарник, постепенно исчезавшие, по мере того как голая равнина переходила в настоящую пустыню. Последний наш привал у воды пришелся на вторую ночь; наутро, наполнив все свои сосуды, мы вступили в область бесплодных песков.

Три дня шли мы по проклятой знойной пустыне. К счастью, благодаря экономии и воздержанию нам хватило воды до полудня третьих суток, когда, измученные жарой, с гребня песчаной дюны мы увидели вдали густую зелень, обозначавшую начало болота. Здесь, согласно уговору, наши

проводники могли повернуть домой, и мы сберегли для них воду на обратный путь.

Однако после короткого совещания они решили пойти дальше, и когда я спросил, почему, обернулись и указали на густые облака, собиравшиеся позади нас на горизонте. Эти облака, объяснили они, предвещали песчаную бурю, при которой в пустыне не выживет ни один человек. И они убеждали нас двигаться вперед как можно быстрее. Мы собрали остаток сил и последние три мили, отделявшие нас от болота, проделали бегом. Едва мы достигли зарослей тростника, как разразилась буря; однако мы продолжали бежать, пока не добрались до места, где тростник рос особенно густо и где, раскапывая руками ил, можно было черпать из ямок воду, которую мы жадно пили, не обращая внимания на муть. Здесь мы просидели на корточках несколько часов, пока неистовствовал ураган.

Зрелище было ужасное. Пустыни не было видно за густыми клубами взметенного песка, который даже сквозь тростник садился на нас густыми слоями, так что временами приходилось вставать и стряхивать с себя его тяжесть. Он душил нас, раздражал кожу. В пустыне мы были бы заживо погребены. Тростник оказался нашим спасением.

Так просидели мы всю ночь. К рассвету буря унялась, солнце всходило на безоблачном небе. Напившись вдосталь, мы повернули обратно к краю болота и с гребня песчаного холма стали осматривать местность. Иссикор протянул руку к северу, и тронул меня за плечо. Вдали темным пятном на нежной синеве неба рисовалось грибовидное дымное облако.

— Опять туча, — сказал я. — Ураган возвращается?

— Нет, господин, — сказал он, — это курится Огненная гора моей родины.

Итак, слова Зикали до сих пор оправдывались. Но если существует не известный ни одному исследователю вулкан, то почему бы не быть также и погребенному городу с окаменелыми людьми, и даже Хоу-Хоу. Но нет, в Хоу-Хоу я не верил.

Между тем наши три туземца запаслись водой и распрощались с нами, твердо уверовав в мою магию: ведь если бы мы вышли несколькими часами позже, мы погибли бы все до единого.

После ухода проводников мы расположились на отдых в тростниках. Но — увы! — нам не суждено было отдохнуть: как только зашло солнце, к болоту со всех окрестностей стало стекаться на водопой зверье.

При свете месяца я видел, как выступали из темноты большие стада слонов и величаво направлялись к воде. Из зарослей, где они укрываются днем, подымались буйволы, выскакивали антилопы, между тем как из воды

доносился рев медлительных бегемотов и слышался тяжелый плеск, производимый, вероятно, спугнутыми крокодилами.

Но это еще не все, ибо обилие дичи привлекало львов, которые хрипели, ревели и убивали, как подобает царям зверей. Стоило хищнику кинуться на какую-нибудь беспомощную антилопу, как все стадо шарахалось в сторону с таким невообразимым шумом, что невозможно было уснуть.

К тому же не исключена была возможность, что львы ради перемены диеты попробуют напасть на нас. Пришлось отказаться от сна и разложить костер из прошлогоднего тростника.

Вокруг нас был настоящий рай для спортсмена, но охотнику здесь нечем было соблазниться: слоновую кость не повезешь через пустыню, а только мальчик убивает дичь бесцельно, на съедение червям. Правда, на рассвете я застрелил к завтраку антилопу, но это был единственный выстрел, который я себе разрешил.

Я воспользовался вынужденной бессонницей, чтобы расспросить Иссикора о его стране. Во время путешествия он был молчалив и сдержан и всю свою энергию сосредоточил на том, чтобы как можно скорее двигаться вперед. Теперь, однако, момент показался мне благоприятным для беседы. Я спрашивал о городе вэллосов и его обитателях. Иссикор отвечал, что город велик и население его многочисленно, хотя не так, как в минувшие поколения. Племя вырождалось, отчасти благодаря родственным бракам, а отчасти из-за тяготевшего над ними террора, отнимавшего у женщин охоту рожать детей, которые в любой момент могли быть востребованы в жертву жестокому богу. В Хоу-Хоу Иссикор безусловно верил, так как, по его словам, однажды видел его издали — и был он так ужасен, что нет слов рассказать.

Я настойчиво вытягивал из него сведения о чудовище, так как Иссикор неохотно останавливался на этой теме. Я только узнал, что ростом оно превышает человека и «ходит прямо», что оно никогда не покидает острова и только жрецы Хоу-Хоу являются на берег.

Иссикор перевел разговор на государственную систему вэллосов. Верховная власть была наследственная и могла передаваться как по мужской, так и по женской линии. Вождь носил по имени своего народа титул «Вэллу», который в то же время являлся именем исконного царского рода.

Теперешний Вэллу был стар. У него осталась одна только наследница-дочь, госпожа Сабила. Сам Иссикор приходится ей троюродным братом: его дед был родным братом ее царственного деда.

— Так что, если эта дама умрет, вы станете вождем, Иссикор? — заметил я.

— Да, господин, по праву наследства. Но может случиться иначе. Жрецы Хоу-Хоу сильнее вождя. Главный жрец Дэча тоже прямой потомок Вэллу, и у него есть наследники-сыновья.

— Значит, Дэча заинтересован в смерти Сабилы?

— Да, господин; ему нужно устранить с дороги нас обоих.

— Но как же ее отец, Вэллу, соглашается на смерть своей единственной дочери?

— Он любит ее, господин, и желает ее брака со мной. Но, как я уже говорил, он стар и боязлив. Он боится бога, который уже взял его старшую дочь; боится жрецов, оракулов бога, которые, говорят, убили его сына, как теперь они стараются погубить меня. Однако, тайно от жрецов, он послал меня, жениха своей дочери, искать помощи у великого южного колдуна, с которым некогда имел дело его отец. И ради Сабилы я нарушил великий запрет и отправился разыскивать Белого Вождя, о котором говорит пророчество. Дорого заплачу я за это деяние.

Молча слушал я туманную речь Иссикора. Лишь некоторое время спустя, как пришлось к слову, я спросил его, когда произойдет роковое жертвоприношение. С некоторым волнением он ответил:

— В ночь полнолуния в месяц жатвы — значит, через четырнадцать дней. Мы должны спешить — наше путешествие продлится еще дней пять: три дня займет обход болота и два дня подниматься по реке. Умоляю тебя, господин, не мешкай, иначе мы придем слишком поздно и Сабила погибнет.

— Я не опоздаю. Будь спокоен, мой друг Иссикор. Мне самому приятнее развязаться с этим делом. А теперь, так как зверье в болоте как будто бы приутихло, попытаюсь немного поспать.

К счастью, мне это удалось.

Несколько часов я проспал здоровым крепким сном, а на рассвете меня разбудил Ханс. Я встал, взял ружье и, высмотрев в стаде антилоп молодую жирную самку, уложил ее метким выстрелом. Мы тут же съели ее за завтраком, ибо, как вы знаете, мясо этих животных следует жарить, пока оно не остыло. Странная, между прочим, вещь: звук выстрела нисколько не смутил других животных. Вероятно, он был им совершенно незнаком и остальные подумали, что их товарка просто легла на землю.

Через час мы уже пустились в обход болота. Не стану описывать подробности этой скучной дороги. Мы вязли то в песке, то в иле, днем изнывая от зноя, ночью — от москитов. На третий день мы подошли

совсем близко к горному кряжу, не очень, правда, высокому, но чрезвычайно крутому: утесы поднимались сплошной стеной от пятисот до восьмисот футов высоты.

В этот день перед заходом солнца мы по настоянию Иссикора сложили на гребне песчаного холма большую кучу тростника, и когда стемнело, подожгли его. Через четверть часа пламя уже стояло ярким высоким столбом. Иссикор не дал никаких объяснений, но, по догадке Ханса, то был, вероятно, сигнальный костер. На следующее утро мы тронулись в путь до зари; рассвет застал нас около самых скал, о которых я только что говорил.

Мы пошли по каменному берегу небольшой бухты и вдруг с поворота увидели на вершине высокого утеса человека в белой одежде, с копьем в руках. По-видимому, он стоял на страже. Завидев нас, он ловко сбежал по камням и направился нам навстречу.

Окинув меня любопытным взглядом, незнакомец подошел прямо к Иссикору, стал перед ним на колени и прижал его руку к своему лбу.

По-видимому, наш проводник пользовался у себя на родине большим почетом. Обменявшись несколькими словами со своим соотечественником, Иссикор повернулся ко мне и сообщил, что пока все обстоит благополучно: сигнал был своевременно замечен и лодка приготовлена.

Мы пошли вслед за часовым и вдруг за поворотом увидели перед собой широкую реку. Налево тихо катился глубокий полноводный поток — направо же, в каких-нибудь ста шагах, он превращался в болото. Высокие красивые папирусы покрывали заводи, с оглушительным клекотом поднимались над водой стаи болотных птиц. Но недаром вэллосы называли этот поток Черной рекой: не одно тысячелетие пробивал он свой путь по дну пропасти. С обеих сторон его теснили каменные стены, такие высокие и отвесные, что казалось, наверху они почти соприкасались, отчего поверхность воды представлялась черной. Мне чудилось, что мы подходим к угрюмому Стиксу, по которому ладья Харона отвезет нас в подземные поля. Невольно в моей памяти всплыли слова поэта:

В стране Теней бежит ручей
Пещерой, темной для людей,
В неведомое солнцу море.

Впрочем, не ручаюсь за точность цитаты.

Признаюсь, мне стало жутко. То было мрачное, нечистое место. Какое «неведомое солнцу море» — дивился я — лежит за этими вратами ада?

Будь я один, я, может быть, поджал бы хвост и пошел вспять по болоту, над которым, по крайней мере, светило солнце, и дальше, через пустыню, к своим волам и фургону. Но в присутствии великолепного Иссикора и его миримидона[102] моя англосакская гордость не позволила мне отступить. Я должен был идти до конца.

Но Ханс перетрусил еще больше, чем я; у него стучали зубы от страха.

— Ох, баас, — сказал он, — если это дверь, то каков же дом за ней?

— Это мы увидим в свое время, — ответил я, — нечего загадывать вперед.

— Иди за мной, господин, — сказал Иссикор после вторичного совещания с нашим новым спутником.

Я последовал приглашению. Ханс держался как можно ближе ко мне. Мы обогнули утес, и перед нами открылась маленькая бухта в берегу. На песчаной отмели стояла большая лодка, в которой сидели шестнадцать гребцов — это число запомнилось мне потому, что, по замечанию Ханса, оно совпадало с числом волов нашей упряжки, вследствие чего он именовал этих гребцов «водяными волами».

При нашем приближении они подняли весла. Это почетное приветствие относилось, по-видимому, к Иссикору. Меня же и Ханса они не удостаивали вниманием и лишь украдкой посматривали на нас.

Иссикор молча указал нам, куда сесть, и сам вошел в лодку, в то время как часовой сел за руль. Гребцы дружно взялись за весла, и мы отчалили.

Глава VII. Вэллу

В безмолвии, нарушаемом лишь мерными всплесками весел, мы быстро скользили по тихой реке. Во всем нашем странном путешествии ничто еще так не поражало меня, как этот покой. Тихо катились волны по каменному коридору в пустыню, чтобы там потеряться в песках — так мирно катится к смерти жизнь старика. Тихо стояли скалистые стены бездны. Они были до того круты, что ни одна живая тварь не нашла бы на ней точки опоры, кроме разве что летучих мышей, но те не летают днем. Тиха была серая лента неба над нами, хотя по временам по ущелью с жалобным стоном проносился ветер — словно дуновение невидимых крыльев. Но тише всего были наши гребцы. Час за часом они в напряженном молчании поднимали и опускали весла, лишь изредка шепотом обмениваясь необходимыми замечаниями.

Постепенно мною овладевало впечатление кошмара. Мне чудилось, что я сонный принимаю участие в драме, которая кому-то снится. Титаническая пропасть, по которой скользила наша лодка, ужасные возможности, таившиеся в грядущем, — все это угнетало мой дух впечатлением отплытия от пристани привычной реальности в бесовскую область неведомого.

Стены ущелья вырастали все выше, и скоро стало так темно, что красивые строгие лица гребцов выступали из мрака лишь при наклоне вперед в начале каждого дружного удара весел, вновь погружаясь в темноту к его концу. Это равномерная смена впечатлений действовала неприятно — месмерически. Словно лица привидений заглядывали под полог кровати, исчезали и снова заглядывали.

Вероятно, под конец я в самом деле заснул. Мне снился тревожный сон: точно я вхожу в сумрачный Гадес[103], где все реальности заменены бессильными назойливыми тенями.

Меня разбудил голос Иссикора, говоривший, что мы прибыли к месту ночлега. Здесь ущелье расширялось, оставляя узкую береговую полосу по обеим сторонам реки. Мы причалили и высадились. Пользуясь последними пробившимися к нам лучами света, мы поужинали всухомятку, не разводя огня. Не успели мы доесть, как воцарилась полная темнота, так как свет месяца не проникал в ущелье. Оставалось только лечь на песок и уснуть под завывание ночного ветра в расселинах.

Ночь тянулась нескончаемо долго. Мне думалось (или снилось), что я

умер и жду следующего перевоплощения; а когда я пробуждался, то только сонное бормотание Ханса возвращало меня к действительности: готтентот молился моему старому отцу, чтобы тот помог ему раздобыть полбутылки джина! Наконец звезда, горевшая на черной ленте неба над нами, погасла; лента стала голубой, или, скорее, серой; где-то на земле начался рассвет. Мы поднялись, сели в лодку и поплыли дальше. В полумиле от места нашей ночевки теснившие реку стены вдруг широко расступились. Утесы теперь поднимались на расстоянии двух миль от каждого берега, замыкая плоскую равнину. Крутые берега поросли высокими развесистыми деревьями, почти так же затемнявшими реку, как утесы ниже по течению. Мы по-прежнему плыли во мраке, тем более что солнце еще не взошло. Когда мои глаза освоились с темнотой, я стал замечать двигавшиеся между деревьями высокие темные фигуры. Они то стояли и ходили, как двуногие, то быстро бежали на четвереньках.

— Смотри Ханс, — прошептал я, — павианы!

— Павианы, баас? Такие огромные? Нет, это черти! Тогда за моей спиной послышался шепот Иссикора:

— Это Волосатые, живущие в лесу, господин. Умоляю вас не говорить так громко, а то они на нас нападут.

Гребцы налегли на весла. И вот в лесном полумраке послышался невыразимо жуткий звук — не то звериное рычание, не то человеческий крик, в котором мое ухо различало слова «Хоу-хоу! Хоу-хоу!» Мгновенно весь лес откликнулся ревом: «Хоу-хоу!» — таким ужасным, что у меня волосы встали дыбом. Я понял, откуда взялось имя бога, к которому мы ехали в гости в такую даль.

Затем послышался тяжелый плеск воды — словно возня крокодилов, — ив густой тени под навесом деревьев я увидел плывущие к нам безобразные головы.

— Волосатые нас почуяли, — в ужасе прошептал Иссикор. — Делать нечего, господин. Они очень любопытны. Может быть, они посмотрят и удалятся.

— А если нет? — спросил я. Вопрос остался без ответа.

Гребцы изо всех сил гребли к середине реки. Здесь было светлее, и я различил на поверхности воды звероподобную голову, несомненно человеческую, с желтыми глазами, толстыми губами и блестящими крепкими зубами. Чудище приближалось к нам с большой скоростью, так как вошло в воду выше нас и теперь плыло вниз по течению. Поровнявшись с нами, оно подняло могучую руку, сплошь покрытую бурыми волосами, как у обезьяны, схватилось за борт прямо рядом со мной

и выставило плечи из воды, показывая, что и тело у него тоже почти все покрыто длинной шерстью. И вдруг оно так близко придвинуло голову, что вонючее дыхание пахнуло мне в лицо. Признаюсь, мне стало страшно: я отроду не видывал подобной твари. Все-таки с минуту я высидел спокойно.

Наконец я не выдержал и, потеряв самообладание, вытащил крепкий охотничий нож, вот этот самый, что вы видите здесь на стене, друзья мои, и хватил им по волосатой руке. В лодку упал отрубленный палец, и с жалобным ревом человек-зверь нырнул в воду и уплыл, махая над головой окровавленной лапой.

Испуганный Иссикор что-то хотел сказать мне, как вдруг Ханс воскликнул:

— Еще один! — и из воды высунулась вторая морда, на этот раз около Ханса.

— Не трогайте его! — воскликнул Иссикор. Но Ханс уже схватился за револьвер и выстрелил. Чудовище шлепнулось в воду и забарахталось, визжа более тонким голосом. Я решил, что то была самка, и не ошибся.

Еще не замер звук выстрела, как лес снова огласился хором «Хоу-хоу! Хоу-хоу!» и другими криками, такими же грозными и дикими. В дюйме от моей головы просвистел большой камень, и вслед за ним вонзилась в борт грубая стрела с наконечником из рыбьей кости.

Под дождем этих любезных посылочек, которые, по счастью, не причинили нам вреда, мы выбрались наконец на середину реки, где они не достигали нас, и мирно продолжали путь. Однако Иссикор не успокоился. Он сел рядом со мной и сказал:

— Беда, господин! Ты объявил войну Волосатым — а Волосатые никогда не забывают. Это будет война до конца!

— Что же я могу сделать? — ответил я еле слышным голосом, потому что меня тошнило от вида этих тварей. — Много их? Они водятся по всей вашей стране?

— Очень много, господин, больше тысячи, но живут они только в лесах. Никогда не ходи в лес, господин, или, по крайней мере, не ходи один. И не ходи на остров, где живет их царь Хоу-Хоу.

Гор больше не было видно. Река текла нетронутым девственным лесом. Деревья достигали огромной толщины и роста. А впереди четко вырисовывался конус вулкана, над которым висело грибовидное облако дыма.

Весь день мы плыли вверх по тихой реке, и только под вечер за изгибом русла открылся вид на широкое озеро, в котором, по-видимому, река брала свое начало (впоследствии я убедился, что она впадала в озеро с

другой стороны, а истоков ее никто не знал). Озеро окружало довольно большой остров, в центре которого поднимался вулкан. У его подножия я разглядел в бинокль какие-то здания, построенные, очевидно, из лавы.

— Это развалины, — объяснил Иссикор. — Там некогда стоял великий город моих праотцов, пока огонь из горы не разрушил его.

— И теперь никто не живет на острове? — спросил я.

— Там живут жрецы Хоу-Хоу, господин. А сам Хоу-Хоу живет в большой пещере на склоне горы, и с ним его слуги из Волосатого Народа. Мой дед был в пещере и видел его там. Я сам однажды видел его; но не спрашивай меня, каков он, ибо я забыл, — поспешно прибавил он. — Перед пещерой в саду растет волшебное дерево, листья которого нужны Властителю Духов для его снадобий. Это дерево посылает сны и видения.

— Хоу-Хоу ест листья этого дерева? — спросил я.

— Не знаю, может быть. Мясо животных он ест, это я знаю, потому что мы должны приносить ему жертвы. А иногда и людей — по крайней, мере, так говорят. Перед садом горят Вечные Огни, а между ними скала Приношений.

Мне хотелось узнать, что это за «Вечные Огни», по-видимому, они имели какое-то отношение к вулкану. Я уже приготовился спросить об этом Иссикора, но в это время мы въехали в бухту, на берегу которой лежал город, занимавший площадь в несколько сот акров. Дома стояли большей частью в отдельных садах, но были и улицы, образованные маленькими домиками восточного типа, то есть низкими, с плоскими крышами. Но только восточные домики обычно бывают выбелены, а эти были сплошь черные. Позднее я узнал, что они построены из лавы. Со стороны суши город был обнесен высокой стеной из того же черного камня. Эта стена, как мне сказал Иссикор, защищала город от ночных нападений Волосатого Народа.

Я отроду не видывал такого мрачного города: черные дома, черная, словно тюремная стена, черные воды озера, черный конус вулкана впереди, черные кущи леса вокруг.

— Ох, баас, если бы я жил в этом городе, я скоро сошел бы с ума! — сказал Ханс, и, честное слово, я внутренне с ним согласился.

Мы причалили к небольшому каменному молу и высадились. Очевидно, наше приближение было замечено, так как перед молом собралась толпа в несколько десятков человек. Я с одного взгляда убедился, что при всем разнообразии возраста все они, мужчины и женщины, напоминали типом нашего проводника Иссикора. Высокий рост, стройное сложение, светлые, красивые лица. Все были одеты в белое. На некоторых

мужчинах были одеты такие же египетские тиары, как у Иссикора. Женские головные уборы состояли из плотно прилегающих холщовых шапочек со свисающими по бокам длинными лопастями. Этот убор чрезвычайно согласовывался с их строгой красотой. От какой расы происходил этот народ? Мне он представлялся пережитком некоей древней культуры.

Толпа расступилась перед нами, образуя два ряда — мужчины направо, женщины налево. Они молча стояли, пристально глядя на нас большими грустными глазами. И ни слова не сказали они, когда мы прошли меж них — только глядели и глядели. Мне было не по себе. Даже к Иссикору не обратились с приветствием, а он, казалось бы, заслужил почести, совершив столь далекое и опасное путешествие.

Но вот к Иссикору подошел какой-то смуглый человек с суровым лицом, одетый отлично от остальных, сказал ему несколько слов и бросил ему что-то на ладонь. Иссикор взглянул на подарок, задрожал и покрылся смертельной бледностью. Затем он безмолвно спрятал его.

Мы направились по берегу озера и подошли к ограде с крепкими бревенчатыми воротами. При нашем приближении ворота отворились, и мы очутились в большом саду, возделанном с тонким вкусом. Я увидел цветы на грядках — единственное красочное пятно в этом городе. В конце сада стоял длинный дом с плоской крышей, выстроенный все из той же лавы.

Мы вошли в просторную комнату, освещенную лампадами в виде изящных таганов, на высоких подставках из цельных слоновьих клыков.

Посредине комнаты стояли два больших кресла черного дерева с высокими спинками и подножками. На креслах сидели мужчина и женщина, воистину достойные созерцания. Мужчина был стар; седые волосы серебряными волнами падали на плечи, а тонкое печальное лицо было изрезано глубокими морщинами.

С одного взгляда я убедился по его величественной, хотя и старческой осанке, что это царь или вождь. Его одежда с пурпурной каймой имела вид королевской мантии. На шее у него была тяжелая, как будто золотая цепь, а в руке была черная палочка с золотым набалдашником — несомненно, скипетр. Однако глаза его смотрели испуганно, и вся внешность производила впечатление слабости и нерешительности.

Женщина сидела на втором кресле так, что свет от лампады падал на нее, и я сразу понял, что это госпожа Сабила, возлюбленная Иссикора. Не диво, что он ее любил, ибо она была почти сверхъестественно прекрасна: высокая, стройная как тростинка, большие глаза, точеные черты лица, женственно округлые и поразительно маленькие ручки и ножки. Ее одежды

также были окаймлены пурпуром. Талия была обвита лентой, сплошь расшитой самоцветными камнями — должно быть, рубинами, а густые волосы, укрывавшие стан длинными волнистыми прядями, каштановые с медно-красным отливом, сдерживала простая золотая повязка. Кроме красного цветка на груди, на ней не было никаких украшений; должно быть, она сознавала, что не нуждается в них.

Оставив нас у дверей, Иссикор подошел к трону и опустился на колени перед стариком, который тронул его скипетром и затем положил руку ему на лоб. Тогда он встал, подошел к даме и также опустился перед ней на колени. Она протянула ему пальцы для поцелуя, и я издали увидел, что ее лицо озарилось улыбкой радости и надежды. Он шепотом поговорил с ней, потом вступил в серьезный разговор с ее отцом. Наконец он вернулся к нам через всю комнату и повел меня представляться. Ханс следовал за мной по пятам.

— О Макумазан, — сказал Иссикор, — перед тобой Вэллу, вождь моего народа, и его дочь, госпожа Сабила. О мой царственный брат, перед тобою благородный Белый Вождь, он внял моим мольбам и по доброте своего сердца пришел спасти нас от гибели.

— Благодарю его, — сказал Вэллу на том же арабском наречии, на котором говорил Иссикор. — Благодарю его от собственного имени и от имени моей дочери, единственной оставшейся у меня, и от имени моего народа.

И он встал со своего трона и поклонился мне со странной чужеземной учтивостью, дама тоже поднялась и поклонилась, или, скорее, присела. Затем он опять опустился на трон и сказал:

— Без сомнения, ты устал; отдохни и утоли голод, а тогда мы будем говорить.

И нас отвели в другую комнату, по-видимому приготовленную для меня. Было в ней также местечко и для Ханса — нечто вроде алькова.

Две женщины средних лет спокойно внесли большой глиняный кувшин с подогретой водой — что совсем не в обычаях у африканцев — и положили на ложе полотенце из тонкого холста.

Я помылся, перелив теплую воду в каменный чан, надел чистое белье и куртку и с помощью Ханса и пары карманных ножничек подстриг волосы и бороду. Не успел я с этим покончить, как опять появились женщины — на этот раз с жареной бараниной на деревянных блюдах и с кувшином местной браги. Этот напиток оказался сладким на вкус, но приятным и довольно крепким, так что мне пришлось принять некоторые предосторожности, чтобы Ханс не выпил лишнего.

Когда мы покончили с нашей трапезой, за нами пришел Иссикор и повел нас опять в большую залу. Вэллу со своей дочерью сидели на прежних местах. На полу вокруг них расселись на корточках несколько стариков. Мне подали стул, и началась аудиенция.

Не стану описывать ее во всех подробностях, так как повествование Вэллу сводилось к тому, что я уже слышал от Иссикора: на острове живет нечто или некто, кто требует ежегодного приношения в жертву прекрасной девушки. Переговоры ведутся через главного жреца, который живет вместе с богом, или фетишем. Этот бог (если только он существует) — царь Волосатого Народа, живущего в лесах. Есть предание, что он является перевоплощением древнего вождя вэллосов, погибшего от рук возмущенных подданных.

Я был уверен, что эта легенда не что иное, как вариант весьма распространенного африканского поверья.

Хоу-Хоу представлялся мне правителем диких волосатых аборигенов этой области, покоренных некогда вэллосами, которые вторгались в страну с севера или с запада и были потомками какого-то достаточно цивилизованного народа. Я и теперь не вижу основания сомневаться в этом заключении. Африка-страна очень древняя, и некогда в ней жило много племен, ныне исчезающих или доживающих свой век в упадочном состоянии, вырождаясь из поколения в поколение.

По всей вероятности, вэллосы являются таким вымирающим племенем. Их предки, судя по их языку, происходили из Западной Африки и были высококультурным народом. Так, вэллосы не знают письма, а между тем я видел у них вырезанные на камне надписи, напоминающие мне египетские иероглифы.

Они знают некоторые ремесла, возможные лишь на известной ступени цивилизации: умеют ткать тонкое полотно, резать по дереву и мрамору, умеют выплавлять металлы, которыми богата их земля, и знакомы с гончарным колесом.

Однако все это постепенно приходит в упадок. Я обратил внимание, что высшими ремеслами и искусством занимались по большей части старики. Так как вэллосы никогда не заключали браков с племенами другой крови, они сохранили свою замечательную наследственную красоту, но по той же причине их народ вырождался. На памяти их стариков население уменьшилось вдвое. Свойственная им меланхолия навевалась, очевидно, мрачной природой и сознанием, что племя их обречено на гибель от рук диких аборигенов, которые некогда были их рабами.

У них сохранились следы прежней религии — они молились Великому

Духу, — но теперь ее вытеснил грубый фетишизм. Они приносили жертвы бесу и верили, что иначе он предаст их гибели от рук Волосатых. Так из их среды выделилась секта жрецов их беса, именуемого Хоу-Хоу, и эта секта поддерживала мир между вэллосами и Волосатым Народом, Хоу-хойа.

Но на этом их бедствия не кончились. Теперь жрецы, по обычаю всех жрецов во всем мире, стремились захватить в свои руки абсолютную власть над народом, как мне уже говорил Иссикор.

Свое печальное повествование Вэллу закончил такими словами:

— Теперь ты понимаешь, о Макумазан, почему в нашем бедствии мы обратились к великому южному вождю, умоляя его прислать к нам спасителя, о котором говорит древнее пророчество. И вот ты здесь, и ныне я заклинаю тебя: спаси мою дочь от уготованной ей гибели. Ты требуешь в вознаграждение белых и красных камней, а также золота и слоновой кости. Бери сколько захочешь. Камней у меня полные, кувшины, а из слоновой кости у нас строят заборы скотных дворов; правда, кость уже почернела от старости, и я не знаю, как ты ее повезешь через пустыню. Но знай, все мое богатство предоставляется тебе. Бери что захочешь, только спаси мою дочь.

— После будем говорить о награде, — сказал я, глубоко растроганный горем старика. — А теперь скажи, что я могу сделать?

— Господин, я не знаю, — ответил он, ломая руки. — На третью ночь, считая от этой, будет полнолуние, означающее начало жатвы. В ту ночь мы должны отвезти мою дочь на остров Огненной горы и привязать ее к столбу на скале Приношений, что стоит между двух Неугасимых Огней. Там мы должны ее оставить, а на рассвете или Хоу-Хоу схватит ее и потащит в свою пещеру, откуда ей нет выхода, или, если не придет за ней сам Хоу-Хоу, жрецы потащат ее к богу. Только мы ее больше не увидим.

— Но зачем вам отвозить ее на остров? Почему вы не созовете народ на битву и не убьете этого бога и его жрецов?

— Господин, никто среди нас, кроме разве что Иссикора, который один ничего не может сделать, не поднимет руки ради спасения Сабилы. Народ убежден, что тогда гора разразится огнем, обращая в камень всех, на кого упадет пепел, и вода хлынет из берегов и погубит посевы, и мы умрем от голода, а кто спасется от огня, воды и лишений, тот погибнет от рук свирепых лесных бесов. Если я прикажу вэллосам идти войной на Хоу-Хоу ради спасения девушки, они меня убьют, а ее выдадут жрецам, ибо так велит закон.

— Понимаю, — сказал я и замолчал.

— Господин, — заговорил опять старый Вэллу, — здесь, со мной, ты в безопасности; никто из моих подданных не тронет ни тебя, ни тех, кто с

тобой. Но я узнал от Иссикора, что ты ранил ножом Волосатого, а твой слуга убил их женщину из волшебного оружия. Потому бойся лесных бесов: если они смогут, то убьют вас обоих и будут пировать на ваших телах.

— Веселенькая история! — подумал я про себя, но ничего не ответил, не зная, что сказать.

Вэллу встал, заявив, что должен пойти помолиться душам своих предков и что на завтра опять назначается беседа. Засим он пожелал нам доброй ночи и вышел в сопровождении старейшин, которые за все время не проронили ни слова и только покачивали головами, как фарфоровые китайские болванчики.

Глава VIII. Священный остров

Как только за ними закрылась дверь, я обернулся к Иссикору и прямо спросил, намечен ли у него план действий. Он отрицательно покачал головой и добавил, что невозможно идти одновременно и против воли народа, и против законов жрецов.

— Для чего же вы притащили меня сюда? — спросил я в негодовании. — Неужели вы ничего не можете придумать? Ну, а почему бы вам с вашей дамой не бежать вместе с нами вниз по реке из этой дьявольской страны?

— Это невозможно, господин, — ответил он грустным голосом. — За нами следят днем и ночью. Мы и мили не пройдем, как нас поймают. И потом, как же она оставит своего отца, а я всю свою родню? Их убьют в отместку за наш кощунственный побег. Только гибель Хоу-Хоу и его жрецов может спасти госпожу Сабилу. Белый Освободитель С Юга найдет путь и сокрушит власть беса, как говорит пророчество.

— К черту ваше пророчество! Много в нем толку! — воскликнул я по-английски, глядя на эту прекрасную, но беспомощную чету. Затем я прибавил по-арабски: — Я устал и пойду спать. Надеюсь, во сне я найду больше мудрости, чем у тебя, Иссикор, — мне показалось, что я замечаю в нем какую-то едва уловимую перемену, какой-то приступ фаталистической покорности, даже отчаянья.

Тогда госпожа Сабила, видя, что я рассердился, сказала:

— О господин, не гневайся, ибо мы только мухи в паутине паука, и нити этой паутины — жрецы Хоу-Хоу, и опора ее — народная вера, а сам Хоу-Хоу — паук, и в мою грудь впиваются его клешни.

Внимая этой аллегории, я подумал, что девушка скорее напоминала птичку, загипнотизированную взглядом змеи.

— Господин, — сказала она, — мы сделали все что могли. Иссикор нарушил запрет и совершил великое путешествие. Чтобы найти моего спасителя, он принял на себя проклятие.

— Да, — ответил я, — и как ты видишь, госпожа, он вернулся в полном здравии. Проклятие не принесло ему ни малейшего вреда.

— Да, тело его здорово… но, однако… — и она задумалась, словно пораженная новой мыслью.

— Хорошо, госпожа Сабила, а не приходило тебе в голову, что могущество Хоу-Хоу просто вздор и обман? Скажи, ты видела когда-нибудь Хоу-Хоу, разговаривала с ним?

— Нет, господин, но если ты меня не спасешь, я его скоро увижу.

— А кто-нибудь другой?

— Нет, господин, с богом говорят только его служители, например мой дальний родственник Дэча, главный жрец.

Убедившись, что о Хоу-Хоу ничего не выведаешь, я спросил, сколько у него жрецов.

— Около двадцати, господин, не считая жен и родственников. Говорят, они живут не в пещере с Хоу-Хоу, а в домах вокруг нее.

— А чем они занимаются, кроме служения бесу, Сабила?

— О, они возделывают землю и управляют Волосатыми, детьми Хоу-Хоу. А кроме того, они приходят сюда и следят за нами.

— Вот как? — заметил я. — А правда, что они надеются захватить трон вэллосов?

— Да. Говорят, если умрем мой отец и я, Дэча объявит войну вэллосам и станет вождем, устранив или убив моего брата и нареченного — Иссикора. Дэча всегда стремится быть первым.

— Значит, ты хорошо знаешь Дэчу, госпожа?

— Да, я встречалась с ним, когда была совсем молодой, а он еще не был призван богом. А однажды, — прибавила она, покраснев, — я виделась с ним уже после того, как он стал жрецом.

— Что же он тебе говорил?

— Он говорил, что если я выберу его в супруги, то, может быть, избавлюсь от Хоу-Хоу.

— И что ты ответила, госпожа?

— Господин, я ответила, что лучше пойду к Хоу-Хоу.

— Почему?

— Потому, что у Дэчи, говорят, уже много жен. И он мне противен. А от Хоу-Хоу я всегда могу найти избавление.

— Как?

— В смерти, господин. У нас в стране есть быстродействующие яды; я спрятала яд в волосах, — торжественно прибавила она.

— Понимаю, отлично. Но, госпожа Сабила, раз уж ты оказала мне честь и обратилась ко мне за помощью, я позволю себе дать тебе совет: не прибегай к яду, пока не убедишься окончательно, что иного выхода нет. Пока мы дышим, еще живет надежда. Часто, когда нам кажется, что все погибло, является неожиданное спасение; но мертвые не оживают, Сабила.

— Слушаюсь и повинуюсь, — ответила она, рыдая. — Все же непробудный сон лучше, чем Дэча или Хоу-Хоу.

— А жизнь лучше всех троих вместе взятых, — возразил я, — в

особенности жизнь с любовью.

Засим я откланялся и пошел в свою спальню в сопровождении Ханса, который стал тоже кланяться, как мартышка на шарманке, собирающая копеечки. В дверях я оглянулся: несчастные влюбленные обнимались, несомненно думая, что уже находятся вне наблюдения. Сабила склонила голову на плечо жениха. По судорожным вздрагиваниям ее плеч я видел, что она рыдает, в то время как он пытался ее утешить древним, не нуждающимся в словах способом. Надо надеяться, ее он мог порадовать больше, чем меня. Мне он казался в тот момент замечательно беспомощным представителем выродившейся расы.

Когда мы наконец заперлись в нашей комнате, я угостил Ханса табаком и указал ему место на полу по другую сторону светильника, и он послушно сел, поджав ноги, точно жаба.

— А теперь, Ханс, скажи мне правду об этом деле: как нам помочь прекрасной даме и старому вождю, ее отцу? — сказал я.

Ханс посмотрел в потолок, где имелось заменявшее окно отверстие, посмотрел на стены и затем сплюнул на пол, за что получил от меня подобающий выговор.

— Баас, — сказал он наконец, — я думаю, для самым лучшим будет набить карманы блестящими камешками и улизнуть из этой страны дураков и чертей. Я уверен, что красавице будет лучше замужем за жрецом Дэчей или даже за самим Хоу-Хоу, чем за Иссикором, который стал теперь просто трусом и деревянным истуканом, раскрашенным под человека.

— Возможно, Ханс, но у женщин странные вкусы, и Сабиле нравится этот деревянный истукан. В конце концов он смел во всем, пока дело не касается привидений и духов. Иначе он не поехал бы ради нее через пустыню. Но есть другие причины. Как мы покажемся на глаза Открывающему Пути без его листьев? Нет, Ханс, надо довести игру до конца.

— Да, баас, я так и думал, что баас по своей глупости это скажет. Будь я один, я уже давно сидел бы в лодке и плыл вниз по течению. Однако баас решил, что надо спасти красавицу и отдать ее в жены деревяшке. Поэтому я могу спать, а завтра или послезавтра баас может спасать даму. Не по душе мне здешнее пиво, баас — слишком сладкое; да и климат здесь скверный и очень сырой. Мне кажется, баас, опять собирается дождь.

За неимением под рукой ничего другого, я бросил Хансу в голову свою табакерку. Он ловко поймал ее на лету и с рассеянным видом сунул себе в карман.

— Если баасу в самом деле угодно знать, что я думаю, — сказал он

зевая, — так, по моему, знахарь Дэча хочет заполучить красавицу для самого себя и хочет единолично управлять этим глупым народом. А Хоу-Хоу, вероятно, просто один из этих Волосатых, которые пришли сюда с началом мира. Самое лучшее, баас, завтра утром взять лодку и отправиться на остров. Там мы сами выведаем всю правду. Может быть, Деревяшка со своими людьми доставят нас туда. А теперь, если баас ничего не имеет против, я лягу спать. Приготовьте револьверы, баас, на случай, если Волосатым вздумается нанести нам визит — потолковать об убитой красотке.

Он удалился в свой угол, завернулся в меховое одеяло и тотчас захрапел, но я прекрасно знал, что один глаз у него всегда открыт. Кто бы ни подкрался, Ханс услышит. Он спит, как пес, стерегущий хозяина.

На следующее утро, прекрасно выспавшись за ночь, я вышел в сад и занялся осмотром цветочных клумб. Многие цветы были мне совершенно незнакомы. Небо было покрыто тяжелыми низкими тучами. Вдруг отворились ворота в высокой садовой ограде и появился Иссикор, усталый и расстроенный. Мне пришло на ум, что он допоздна сидел с Сабилой. Им хотелось, вероятно, вдосталь насмотреться друг на друга перед близкой разлукой. Однако я сразу приступил к делу.

— Иссикор, — сказал я, — можешь ты сейчас же после завтрака приготовить лодку, чтобы отвезти меня с Хансом на остров на озере?

— На остров на озере, господин? — воскликнул он в изумлении. — Ведь он священный!

— Допускаю; но я тоже священная особа, так что если я отправлюсь на остров, он станет священным вдвойне.

Иссикор выставлял всевозможные возражения и наконец в подкрепление своих доводов вызвал Вэллу с его седовласыми старейшинами. К совету присоединились Ханс и Сабила. Днем она выглядела еще прекраснее, чем накануне при свете лампад.

Одна Сабила меня поддержала. Когда все наговорились до хрипоты, она сказала:

— Белый Вождь явился сюда, чтобы мы, в нашем неведении и слепоте, испили от чаши его мудрости. Если мудрость его повелевает ему плыть на остров — пусть будет так, отец мой.

По-видимому, этот аргумент никого не убедил. Я стоял молча, не зная, что предпринять. Тогда взял слово Ханс и сказал на своем ломаном арабском языке:

— Баас! Иссикор, хоть он такой длинный и сильный, боится Хоу-Хоу и его жрецов. Но мы — добрые христиане и не боимся никаких чертей,

потому что знаем, как с ними управляться. И грести мы умеем. А потому пусть вождь даст нам совсем маленькую лодочку и покажет дорогу — мы сами поедем на остров.

Выражаясь языком спортивной хроники, выстрел попал быку прямо в глаз. Иссикор вспыхнул и ответил:

— Разве я трус, чтобы выслушивать такие речи от твоего слуги, владыка Макумазан? Я подыщу людей, и мы доставим тебя до острова. Но мы не ступим ногой на священную землю и не нарушим закона. Только, господин, если ты не вернешься назад, на нас не пеняй.

— Значит, решено, — спокойно ответил я, — а теперь дозвольте вам доложить, что мое святейшество проголодалось.

Два часа спустя мы отчалили от пристани, захватив с собой наше скромное имущество, вплоть до запасной пороховницы с порохом, ибо Ханс наотрез отказался оставить что-нибудь у вэллосов, без надзора. Экипаж предоставленной нам лодки (кстати сказать, выдолбленной из цельного ствола, как и та, на которой мы прибыли в город по Черной реке) состоял из Иссикора, сидящего на руле, и четырех гребцов-вэллосов. Все они на вид были сильные и смелые ребята. Переезд продолжался около двух часов, так как мы, чтобы не возбудить подозрений, подплыли к острову с противоположной стороны.

Когда мы приблизились к южному берегу, я внимательно осмотрел местность в бинокль и убедился, что остров гораздо больше, чем я предполагал — он имел в окружности несколько миль. Конус вулкана был как бы опоясан широкой полосой плоской земли, подымавшейся всего на каких-нибудь пару футов над уровнем воды. Склоны горы, каменистые и бесплодные, были усеяны глыбами лавы, выброшенной при последнем извержении.

Но Иссикор сообщил мне, что в северной, обращенной к городу части, где жили жрецы, остров не пострадал от лавы и очень плодороден.

День был пасмурный; черные дождевые тучи касались гребня горы, скрывая от наших взоров широкий поток лавы, катившейся из кратера по склону вулкана. Но когда мы подъехали достаточно близко, чтобы это увидеть, наши гребцы очень встревожились. По словам Иссикора, это означало нечто совершенно необычайное, потому что гора «спала сто лет».

— Однако во сне она все время курила, — возразил я.

Среди камней я различал погребенные в лаве строения, о которых, кажется, упоминал выше. То были, по словам Иссикора, развалины города предков, где в домах еще сидят окаменелые люди.

Забыв про Хоу-Хоу и его жрецов, я приказал моим вэллосам грести к

берегу. После некоторого колебания они подчинились, и мы въехали в небольшую бухту.

Мы с Хансом высадились, захватили свои мешки и ружья и отправились на разведку. Однако предварительно мы условились с Иссикором, что он обождет нашего возвращения и потом повезет нас обратно, обогнув остров, чтобы мы могли ознакомиться с поселением жрецов.

Он со вздохом согласился и, отплыв ярдов на сто от берега, бросил якорь, то есть попросту пробуравленный камень, привязанный к канату.

Легко взбираясь по естественной лестнице скал, мы с Хансом подошли к ближайшей группе развалин.

— Смотрите, баас, вон собака! — воскликнул Ханс.

Я посмотрел в указанном направлении и действительно увидел большую остромордую собаку, которая, казалось, крепко спала. Мы подошли ближе. Она не двигалась. Ханс бросил в нее камень, угодивший ей в спину. Она и теперь не двинулась. Тогда мы подбежали и рассмотрели ее.

— Это каменная собака, — сказал я. — Живший здесь народ умел делать статуи, — я все еще не верил в легенду об окаменелых созданиях.

— Если так, баас, значит, они в свои изваяния вставляли кости. Смотрите, — и он потрогал сломанную переднюю лапу собаки. Из нее торчала окаменелая кость. Я понял все.

Животное бежало к берегу, когда во время извержения его застигла волна ядовитых газов. А потом на нее упал дождь из минерализующих жидкостей и превратил ее в камень. Это казалось чудом, но я не мог не верить очевидному.

Мы поспешили к следующий группе строений, стоявшей поодаль под защитой нависшей скалы. Судя по большим каменным колоннам, здесь некогда был храм или дворец. Через большую залу мы прошли в заднюю комнату. Необычайное зрелище представилось нашим глазам.

Здесь столпилось двадцать — тридцать человек, — мужчин, женщин, детей, — превращенных в камень. Некоторые сжимали друг друга в объятиях. Несомненно, минерализующая жидкость проникла сквозь трещины в скале, заменявшей этой комнате крышу, и сделала свое дело. Люди были обнажены все до единого. По-видимому, одежды или обгорели на них, или сгнили, прежде чем закончился процесс окаменения. Первое предположение подтверждалось тем фактом, что ни у кого на голове не было волос. Черты лиц было трудно разобрать, но общим телосложением они были похожи на вэллосов.

В безмолвном изумлении вышли мы из этого склепа и стали бродить по окрестностям. То здесь то там попадались нам на глаза тела погибших в великой катастрофе. Раз мы натолкнулись на торчавшую из лавы руку. Должно быть, многое было похоронено глубже. В краале мы нашли окаменелых коз. Какое место для раскопок! Новые Геркуланум и Помпеи[104].

И я погрузился в размышления о бренности нашей славы. Вдруг Ханс толкнул меня в ребра и воскликнул на своем убийственном бурско-голландском языке одно только слово: «Кек! — что, как вам, может быть, известно, означает «смотри», — и кивнул на озеро.

Наша лодка изо всех сил гребла к вэллосскому берегу.

— Почему они удирают? — спросил я.

— Вероятно, кто-нибудь гонится за ними, баас, — спокойно ответил Ханс и, покоряясь судьбе, сел на камень, достал трубку, набил ее и закурил.

Ханс, как всегда, оказался прав: не прошло и полминуты, как из-за поворота показались еще две лодки, очень большие, и с явно враждебными намерениями погнались за нашей.

— Должно быть, жрецы заметили наше судно и решили его поймать, — заметил Ханс и глубокомысленно сплюнул. — Впрочем, Иссикор уже далеко — может быть, им это и не удастся. Что же мы теперь предпримем, баас? Не поселиться же нам здесь с мертвецами? Каменными козами не наешься.

Я струхнул. Положение было отчаянное. Еще минуту тому назад я был полон восторга от этого окаменелого города. А теперь мне было тошно думать о нем. Лучше бы он провалился на дно озера. Так обстоятельства влияют на изменчивое наше настроение. Вдруг меня осенила идея, и я храбро сказал:

— Только одно и можно предпринять: мы отправимся с визитом к Хоу-Хоу и его жрецам.

— Да, баас. Но баас помнит картину в Драконовых горах? Если портрет не врет, Хоу-Хоу знает, как отрывать людям головы!

— Я не верю в существование Хоу-Хоу, — твердо сказал я. — Ведь ты заметил, Ханс, мы много наслышались россказней о Хоу-Хоу, а никто не видал его настолько близко, чтобы точно его описать. Как бы то ни было, лучше сразу лишиться головы, чем медленно умирать от пустоты в желудке. Эти вэллосы, конечно, никогда не приедут за нами сюда.

— Да, баас, я тоже так думаю. Иссикор, с тех пор как вернулся на родину, сделался трусом. Только, баас, если хотите засветло попасть на ту сторону, надо идти, не теряя времени.

Мы тронулись в путь, держась восточного склона вулкана. Пройдя некоторое расстояние, мы оглянулись на озеро. Вдали маленьким пятнышком виднелась наша лодка, преследователи были совсем близко. Но вот из тумана вэллосского берега выступили новые пятнышки — несомненно, вэллосы выслали несколько кораблей на выручку Иссикору, так как жрецы прекратили погоню и повернули восвояси.

— Иссикор расскажет госпоже Сабиле занятную историю, — сказал Ханс, — только навряд ли она поцелует жениха, выслушав его рассказ.

— Он сделал очень умно, что удрал. Что пользы было оставаться? — возразил я и, когда мы поплелись дальше, прибавил: — Тем не менее ты прав, Ханс. Иссикор стал совсем другим.

Мы шли без дороги, прямо по целине. Идти было тяжело. Но вот мы обогнули вулкан, и характер местности резко изменился. Мы очутились на плодоносном возделанном поле, по-видимому искусственно орошенном.

— Должно быть, пашня лежит очень низко, баас, — заметил Ханс, — а то как бы в нее попадала вода из озера?

— Не знаю, — ответил я резко, так как зачастил дождь и мои мысли были заняты не озерной водой, а небесной. Тем не менее замечание Ханса запало в мое сознание, и впоследствии я извлек из него пользу. Мы вошли в пальмовую рощу, пересеченную дорогой.

Дорога привела нас к поселку, состоявшему из каменных домов. Посредине стоял большой дом, задним фасадом почти упиравшийся в подножие горы. Мы вошли в поселок незамеченными, так как все жители укрывались в домах по случаю дождя. Но скоро залаяли собаки. На пороге одного дома показалась женщина и, увидев нас, подняла крик. Со всех сторон показались бритоголовые мужчины в белых жреческих одеяниях и побежали на нас, потрясая длинными копьями.

— Ханс, — сказал я, — держи ружье наготове, но не стреляй без необходимости. В данном случае слова сослужат нам лучшую службу, чем пули.

— Да, баас, только думаю, что нам ни то ни другое не поможет.

И он сел, выжидая, на ствол срубленного дерева, лежавший у дороги. Я последовал его примеру и, воспользовавшись случаем, закурил свою трубку.

Глава IX. Пир

В нескольких шагах от нас жрецы остановились, по-видимому пораженные нашей внешностью, действительно не выдерживавшей никакого сравнения с их собственной, ибо все они были ярко выраженного вэллосского типа. Но еще больше удивила их зажженная мною спичка и дымившаяся трубка — ибо этот народ употреблял только нюхательный табак.

Спичка выгорела, и я зажег новую. При виде внезапно появившегося огня они отступили на два шага. Наконец, указывая на огонек, один из них спросил на том же арабском наречии, которое употребляли вэллосы:

— Что это, о чужеземец?

— Волшебный огонь, — ответил я по наитию, — который я приношу в дар великому богу Хоу-Хоу.

Это сообщение, по-видимому, умиротворило их. Они опустили копья и заговорили с новым человеком, появившимся на сцене в этот момент. Вновь пришедший был красивый статный мужчина внушительной внешности, с горбатым носом и черными блестящими глазами. На голове у него была также жреческая тиара, и белая одежда его была расшита золотом.

— Он у них большой человек, баас, — прошептал Ханс. Я кивнул головой и заметил, что жрецы низко кланялись, обращаясь к нему.

Сам Дэча, собственной персоной, подумал я — и не ошибся.

Он подошел и, глядя на серную спичку, спросил:

— Где живет твой волшебный огонь, чужеземец?

— В этой клетке, покрытой священными тайными письменами, — ответил я, показывая ему коробочку с этикеткой Wax Vestas. Made in England[105], и торжественно прибавил: — Горе непосвященному, если он тронет ее, ибо огонь выскочит и сожрет безумца, о Дэча.

Дэча, следуя примеру своих товарищей, отступил на шаг и заметил:

— Откуда ты знаешь мое имя и кто посылает самовоспламеняющийся огонь в дар Хоу-Хоу?

— Разве имя Дэчи не прогремело до краев земли? — спросил я, и это замечание, кажется, очень понравилось жрецу. — А посылается огонь великим волхвом (хоть и не столь великим, как Дэча) — старцем, носящим имя Зикали, имя Открывающего Пути, имя Того-Кому-Не-Следовало-Родиться.

— Мы слышали о нем. Его посланцы были здесь во дни наших отцов. Чего же от нас хочет Зикали, о чужеземец?

— Он хочет листьев от Древа Видений, что растет в саду Хоу-Хоу.

Дэча кивнул головой, и за ним все остальные жрецы.

По-видимому, все они знали о Древе Видений, как его называл Зикали.

— Почему же Зикали сам не явился за листьями?

— Потому что он стар и немощен. Потому что он занят великими делами. Потому что ему было удобнее послать меня, который в любви ко всему святому возгорелся желанием воздать дань Хоу-Хоу и познакомиться с великим Дэчей.

— Понимаю, — ответил жрец, весьма польщенный, как это явствовало из его расплывшейся физиономии. — А как тебя зовут, о вестник Зикали Великого?

— Меня зовут Быстрокрылый Ветер, ибо я прохожу без дорог и никто не видит ни прихода моего, ни ухода. А этого моего маленького спутника с великой душой, — и я указал на ухмылявшегося Ханса, — зовут Господин Огня и Свет-Во-Мраке (совершенная истина, которая произвела должное впечатление), — ибо он страж волшебного огня (тоже правда, так как у Ханса все карманы были набиты наворованными у меня спичками). Если его оскорбить, он может сжечь дотла этот остров; он могущественнее, чем недра этой горы.

— Неужели?! Упаси нас, Хоу-Хоу! — сказал Дэча, глядя на Ханса с большим уважением.

— О да! Даже я при всем могуществе опасаюсь его, дабы он не обратил меня в пепел.

Но тут Дэчу взяло сомнение, и он спросил:

— Скажите, о Быстрокрылый Ветер и Господин Огня, как явились вы на наш остров? Мы заметили лодку с нашими мятежными подданными, слугами старого узурпатора Вэллу; за ними послана погоня, чтобы убить их за кощунственное приближение к святыне. Не эта ли лодка вас привезла?

— Она, — ответил я смело. — Когда мы пришли в тот город, я встретил даму, очень красивую даму по имени Сабила, и спросил ее, где проживает великий Дэча. Она сказала, что знает тебя и что ты самый красивый и благородный из всех известных ей мужчин. Потом она сказала, что возьмет несколько слуг, в том числе простофилю Иссикора, от которого никак не может отвязаться, и сама отвезет нас на остров в надежде лишний раз увидеть тебя. Итак, она привезла нас сюда и высадила сперва у развалин древней столицы, дабы я мог посмотреть на них. Но твои люди грубо прогнали ее, и нам пришлось идти пешком в твой город. Вот и все.

Дэча взволновался:

— Будем молить Хоу-Хоу, чтобы эти дураки не убили ее вместе с остальными!

— Присоединяюсь к твоей молитве, — ответил я, — ибо она слишком прекрасна, чтобы умереть. Но стой, я скажу тебе, что случилось. Господин Огня, дай огонь.

Ханс зажег спичку о то место, на котором сидят, — единственное не промокшее место во всей его персоне, — и поднес ее мне, сложив ладони лодочкой. Я с таинственным бормотанием смотрел на огонь.

— Все благополучно, — произнес я наконец. — Лодка Сабилы Прекрасной избавилась от преследователей; семь — нет, восемь лодок подоспели ей на выручку из города, когда твои люди уже настигали ее.

В этот момент, как нельзя более кстати, явился вестник и с церемонными поклонами доложил в точности то же самое.

— Удивительно! — воскликнул жрец. — Удивительно! Перед нами настоящие волшебники! — он с благоговейным страхом уставился на нас. Но потом его опять взяло сомнение.

— Господин, — сказал он, — Хоу-Хоу — правитель Волосатого Народа. До нас дошла молва, что некие странники таинственным образом убили громом женщину из племени Хоу-Хоу. Не ты ли сделал это, господин?

— Да, — ответил я, — она приставала к Свету-Во-Мраке со своими ухаживаниями, и он убил ее.

— Но как он это сделал, господин?

Теперь уместно будет сказать, что один обитатель поселка встретил нас далеко не доброжелательно, а именно большая злая собака, все время рычавшая на нас, а в данный момент трепавшая Ханса за полу.

— Стреляй, Ханс! Застрели ее насмерть! — шепнул я по-голландски, и Ханс, со свойственной ему сообразительностью, засунул руку в карман, схватился за револьвер, прижал голову животного к дулу и выстрелил через материю. Собака отправилась ко всем псам.

Среди жрецов произошло смятение. Один упал замертво со страху. Все остальные, кроме Дэчи, поджав хвосты, удалились.

— Это волшебный огонь, — небрежно заметил я. — А теперь, благородный Дэча, дай нам кров и пищу, ибо стало сыро и мы проголодались.

— О, конечно, конечно, господин! — воскликнул Дэча и пошел с нами вперед, пропуская меня между собой и Хансом. Остальные, оправившись от испуга, торжественно понесли куда-то дохлую собаку.

Мы поднялись на голую каменную террасу горы, в правом углу которой я заметил за садом зев большой пещеры. А на краю террасы, над озером горели на расстоянии двадцати шагов одна от другой две огненные колонны, которые раньше не видны были за деревьями. Между огненными колоннами стоял каменный столб.

— Вечные Огни, — подумал я про себя, но, на всякий случай, спросил, что это за костры.

— Эти огни горят с начала мира, — безразлично ответил Дэча, — они не гаснут под самым сильным дождем.

— А! — подумал я. — Вулканические газы, как в Канаде.

Повернув направо, мы пошли вдоль внешней стены сада и остановились у ряда красивых одноэтажных домов, прислонившихся к отвесной скале. Здесь жили жрецы Хоу-Хоу со своими гаремами. Надо сказать, что жрецы пользовались привилегией многоженства.

Нас ввели в самый большой из этих домов, обитатели которого, по-видимому, были предупреждены о нашем приходе, так как мы их застали в хлопотах; суетились красивые женщины в белых платьях, слышались торопливые распоряжения. В очаге был разведен огонь, так как вечер был сырой и прохладный. Мы умылись и сели к огню обсушиться и погреться. Немного погодя жрец пригласил нас ужинать и вышел за дверь.

— Ханс, — сказал я, — пока все идет гладко, мы приняты как друзья Хоу-Хоу, а не как враги.

— Да, баас, благодаря мудрой выдумке бааса со спичками и со всем прочим. Но к чему баас это говорит?

— А вот к чему: наша цель — спасти госпожу Сабилу. Поэтому мы должны смотреть в оба и быть начеку. Ханс, здесь нас будут угощать странными напитками, чтобы развязать нам языки. Но пока мы здесь, мы не должны пить ничего, кроме воды. Понял, Ханс?

— Да, баас, понял.

— Поклянись.

Ханс задумчиво почесал затылок и ответил:

— В желудке у меня холодно, баас. Хорошо бы выпить чего-нибудь тепленького, после того как промокнешь и насмотришься на каменных людей. Тем не менее, баас, я клянусь. Да, я клянусь вашим преподобным отцом, что буду пить только одну воду — или же кофе, которого, увы, тут не достанешь.

— Прекрасно, Ханс. И помни, что если ты нарушишь свою клятву, мой преподобный отец рассчитается с тобой на том свете.

— Знаю, баас. Но пусть баас не забывает, что бутылка джина не

единственная приманка у дьявола. У разных людей разные вкусы. Так вот, какая-нибудь хорошенькая дамочка придет к баасу и станет уверять, что он, о! — как красив, и она, о! — как любит его — как та Мамина, например, о которой всегда упоминает Зикали, — пусть баас поклянется своим преподобным отцом…

— Молчи и не дури, — важно заявил я, — теперь не время болтать о хорошеньких женщинах.

Заключив свой договор, мы вышли из комнаты. Жрец дожидался нас за порогом. Он повел нас по коридору в роскошную, ярко освещенную залу, где стояло несколько накрытых столов. Нас пригласили к главному столу, за которым в праздничных одеяниях сидели еще несколько жрецов и женщины, все до единой красивые, в причудливых нарядах. Одна из них была до странного похожа на Сабилу, только выглядела на несколько лет старше.

Мое место оказалось между Дэчей и этой дамой, которую звали Драманой. Пир начался, и я должен признаться, что много лет не едал таких вкусных блюд, какие нам подавали на этом пиршестве.

Нам с Хансом пришлось сказать, что мы связаны обетом не пить ничего кроме воды, хотя бедный мой готтентот вздыхал каждый раз, как круговую чашу с пивом приносили мимо него. Должен прибавить, что происходило это частенько и выпито было весьма порядочное количество. Все в большей или в меньшей степени опьянели, с обычными неприятными последствиями, которые нет нужды описывать. Однако я заметил, что Драмана почти не пила. Второй ее сосед, глуховатый старый жрец, задремал над своей чашей. Дэча был занят красивой соседкой. Такое стечение обстоятельств давало мне возможность завязать беседу с Драманой, чего она сама, по-видимому, жаждала. Мы обменялись несколькими замечаниями общего характера. Вдруг она понизила голос и сказала:

— Я слышала, господин, что ты виделся с Сабилой, дочерью Вэллу. Расскажи мне о ней, ибо она моя сестра. Я давно-давно не виделась с нею, так как нам не разрешается покидать остров, а жители материка не навещают нас — если только их к тому не принуждают, — многозначительно прибавила она.

— Сабила прекрасна, но живет под гнетом страшной мысли, что, обрученная с любимым человеком, будет отдана в жены богу.

— Ей есть чего бояться, господин, потому что этот бог сидит рядом с тобой, — и с дрожью отвращения она еле приметным кивком головы указала на Дэчу, который охмелел и в данный момент обнимал соседку

слева.

— Нет, — ответил я, — того бога зовут Хоу-Хоу, а не Дэча.

— Хоу-Хоу, господин? Ты узнаешь о Хоу-Хоу прежде, чем минет эта ночь. Сабила станет женою Дэчи.

— Но ведь Дэча твой супруг, госпожа.

— У Дэчи много жен, господин, — и она указала взглядом на нескольких женщин, самых красивых из присутствовавших здесь, — ибо бог снисходителен к своему верховному жрецу. С тех пор как меня привязали к скале между Вечными Огнями, было восемь таких свадеб; впрочем, некоторые невесты были отданы другим жрецам, а некоторые принесены в жертву за попытку побега или другие провинности.

— Господин, — продолжала она, понижая голос до того, что я едва расслышал ее слова, — остерегайся. Если ты не бог, который сильнее, чем Хоу-Хоу, что бы ты здесь ни увидел — не поднимай ни руки, ни даже голоса. Или тебя растерзают в куски! Ш-ш-ш!… Поговорим о чем-нибудь другом… Он наблюдает за нами… О господин, если можешь, спаси меня и мою сестру!



Действительно, Дэча оставил даму и подозрительно смотрел на нас, должно быть уловив какое-нибудь слово. Но Ханс не зевал, он то с шумом ронял свою чарку, то громыхал стулом, что отвлекало от нас полупьяное внимание Дэчи и заглушало наш разговор.

— Тебе, кажется, нравится госпожа Драмана, о Быстрокрылый Ветер, — усмехнулся Дэча. — Ничего, я не ревнив и охотно предоставляю моим гостям все лучшее, что имею. Но госпожа Драмана сама знает, что ожидает того, кто выбалтывает тайны, а потому ты можешь говорить о чем угодно с ней, о маленький Быстрокрылый Ветер, — и он бросил на меня косой взгляд, от которого мне стало весьма не по себе.

— Я расспрашивал госпожу Драману о Древе Видений, — невинно ответил я.

— Вот как? Мне показалось, ты спрашивал совеем о другом. Хорошо, в этом нет никакой тайны. Завтра Драмана покажет тебе дерево и все, что тебя интересует, ибо я и мои собратья будем заняты другими делами. Кстати, сейчас явится Чаша Видений — отвар из плодов этого дерева; его ты должен будешь отведать, о трезвенник — и ты, и твой желторотый карлик, — во славу бога, пред лицом которого мы скоро предстанем.

Я поспешил заявить, что устал и не хотел бы теперь беспокоить бога своими воздаяниями.

— Каждый, кто явится сюда, должен предстать перед богом, — ответил Дэча, пристально глядя на меня. — Выбирай: живым ли ты хочешь предстать перед Хоу-Хоу или мертвым?

Я подумал о том, что теперь самое время напомнить ему, кто я такой, и, глядя в глаза этому неучтивому животному, тихо сказал:

— Кто тут говорит о смерти, быть может не зная, что я сам — властитель смерти? Или он хочет испытать учесть собаки за дверьми? Знай, о служитель Хоу-Хоу, что опасно пугать нас — меня или Господина Огня, ибо мы на угрозы отвечаем молниями.

Это замечание произвело должное впечатление. Дэча сразу присмирел. Его движения стали почти раболепны, в особенности когда Ханс встал рядом со мной, держа в протянутой руке коробок со спичками. Все общество с опаской глядело на таинственное вместилище огня, не подозревая, что вторая рука, безобидно засунутая в карман, сжимала ствол превосходного «кольта». (Кстати, ружья, которые мы не могли взять с собой на пир, мы запрятали в постели заряженными, со взведенными курками, так что если бы кто-нибудь вздумал их пощупать, они бы выстрелили в неосторожного вора.)

— Прости, господин, — сказал Дэча, — если мои слова оскорбили моего могущественного гостя. В этом виновато пиво.

Я милостиво поклонился, но невольно вспомнил древнюю латинскую пословицу, что вино открывает правду. Затем, чтобы переменить щекотливую тему, он указал жестом на угол комнаты, где появились две

миловидные девушки в легкой одежде и с венками на головах. Они несли большую чашу с зеленоватой жидкостью, в которой плавали красные цветы. Грациозным движением подали они чашу Дэче. Пирующие, кто только не был слишком пьян, встали, склонились над чашей и дважды воскликнули хором:

— Кубок наваждения! Кубок наваждения!

— Пей, — сказал мне Дэча. — Пей во славу Хоу-Хоу! — Затем, заметив, что я колеблюсь, прибавил: — Нет, я отопью первый, чтобы доказать тебе, что это не отрава, — и, прошептав: — О дух Хоу-Хоу, снизойди на жреца твоего! — выпил весьма изрядное количество.

Девушки поднесли чашу к моим губам. Я отпил, показывая движениями горла, словно делаю большой глоток, на самом же деле проглотил только капельку. Напиток по вкусу напоминал шартрез. За мной была очередь Ханса. Я шепнул ему через плечо «butje», что на бурском языке означало «немножко», и так как я повернул голову, следя за ним, думаю, он исполнил сей совет. Чаша обошла всех присутствовавших. Принесшие ее девушки допили остаток.

Это было последнее, что я увидел. Как ни мало я выпил, эта капля ударила мне в голову и словно заволокла сознание. В моем мозгу возникли странные бредовые видения; затем появилось ощущение пустоты, наполненной бесчисленными образами, прекрасными и уродливыми; пристально смотрели на меня лица всех моих знакомых и еще другие, никогда прежде не виданные мною лица. Фигуры двигались, сходились, и вот между ними стали разыгрываться всевозможные драмы — драмы войны, любви, смерти, и все это было явственно, как в кошмаре.

Но вдруг бред прошел и сменился чувством великого покоя. Ко мне вернулась способность наблюдения, как будто еще обострившаяся.

Осмотревшись вокруг, я убедился, что напиток на всех произвел такое же действие. Сперва все выказывали признаки сильного возбуждения; затем затихли и сидели неподвижно, словно статуи, устремив глаза в пустоту.

Наконец выпившие в первую очередь стали пробуждаться и тихо разговаривать друг с другом. Все признаки опьянения прошли. Все жрецы смотрели трезво, как целая судебная коллегия. Лица выражали торжественность, в глазах читалась холодная роковая решимость…

Глава X. Жертвоприношение

После торжественной паузы Дэча встал и сказал ледяным тоном:

— Я слышу, бог призывает нас. Предстанем перед богом и принесем ежегодную жертву. Образовалась процессия. Впереди шел Дэча с Драманой, за ними Ханс и я, а за нами — все пирующие, всего человек пятьдесят.

— Баас, — прошептал Ханс, — после этого напитка, которого, вы, к сожалению, не дали мне выпить больше, ко мне явился ваш преподобный отец и разговаривал со мной.

— Что же он тебе сказал, Ханс?

— Он сказал, баас, что мы попали в очень подозрительную компанию, и посоветовал смотреть в оба и не вмешиваться в дела, которые нас не касаются.

Я вспомнил, что час назад получил тот же совет из чисто земного источника. Возможно, что Ханс подслушал предостережение Драманы. Как бы то ни было, я ему сказал, что таким повелениям следует подчиняться, и велел сидеть смирно, что бы ни произошло, и не пускать в ход револьвера без крайней нужды.

Процессия покинула зал через боковую дверь и вступила в какой-то освещенный лампадами тоннель. Пройдя по нему шагов сорок, мы очутились в большой пещере, тоже освещенной лампадами, казавшимися просто светлыми пятнами в окружавшей черноте.

Привыкнув к полумраку, я увидел, что все жрецы, включая Дэчу, покинули нас. В пещере остались только женщины; они стояли на колеях, поодиночке, поодаль одна от другой.

Драмана подвела меня и Ханса к каменной скамье, на которую мы все трое сели. Драмана не молилась подобно другим. Так мы сидели молча, уставив глаза в абсолютную темноту, перед нами не горело ни одной лампады. Признаюсь, это дикое занятие и вся обстановка действовали мне на нервы. Наконец я не выдержал и шепотом спросил у Драманы, что должно произойти.

— Жертвоприношение, — шепнула она в ответ. — Молчи, ибо у бога повсюду уши.

Я подчинился; прошло еще минут десять невыносимой тишины.

— Когда начнется пьеса? — прошептал мне на ухо Ханс (он был со мной однажды в дурбанском театре).

Я его толкнул в колено, чтобы он замолчал, и в то же мгновение вдали послышалось пение. То была дикая и печальная музыка. Мне казалось, что переговариваются два хора, и каждая строфа и антистрофа — если можно здесь применять эти термины — заканчивалась каким-то стоном или криком отчаяния, от которого у меня холодела кровь. Потом я стал различать фигуры, двигавшиеся перед нами во мраке. Ханс, вероятно, видел то же, потому что он шепнул:

— Тут Волосатые, баас.

— Ты их видишь?

— Кажется, баас. Во всяком случае, я различаю их запах.

— Так держи наготове револьвер, — ответил я.

Минуту спустя я увидел колеблющийся в воздухе свет факела, хотя несущего не было видно. Факел наклонился вниз, и послышался треск от разжигаемого огня. Пламя вспыхнуло, осветив сложенные для костра поленья, а за ними высокую фигуру Дэчи в причудливом головном уборе и белом жреческом одеянии, отличном от того, которое было на нем во время пира. Он держал перед собой в протянутых руках белый человеческий череп, опрокинутый вниз лбом.

— Гори, Прах Видений, гори! — воскликнул он. — Покажи нам наши вожделения! — и с этими словами он высыпал из черепа на дрова какой-то порошок.

Густой дым заполнил всю пещеру, а когда он рассеялся, ярко пылающий костер осветил чудовищное зрелище.

За костром на расстоянии приблизительно десяти шагов стоял страшный предмет — внушающая ужас черная фигура, величиной в двенадцать футов на восемь, фигура Хоу-Хоу, каким он был изображен в пещере в Драконовых горах. Только там художник сильно польстил оригиналу. Перед нами был образ дьявола, явившийся безумному монаху, его глаза метали красный огонь.

Чудовище, как я говорил раньше, было похоже на большую гориллу, но все-таки то была не обезьяна, а человек — и не человек, а бес. Длинная серая шерсть, пучками растущая на туловище; большая красно-рыжая косматая борода; грузное туловище, длинные руки и кисти с когтем и перепончатыми пальцами; сидящая на бычьей шее маленькая старушечья головка со скрюченным носом, огромным ртом и павианьими клыками. Выпуклый тяжелый лоб, глубокомысленные пылающие глаза, теперь светящиеся красным огнем, жестокая улыбка — все было резко подчеркнуто. И тело мертвого человека, грудь которого попирала когтистая ступня, и в левой руке голова, оторванная от этого туловища.

О! Очевидно, картина в Драконовых горах не бушменом была написана, как некогда я полагал, но каким-нибудь жрецом Хоу-Хоу, которого судьба занесла туда в давнишние века. При виде чудовища я громко вскрикнул и чуть не упал от страха. Но Ханс схватил меня за руку и сказал:

— Не бойтесь, баас. Он не живой. Это размалеванный камень, а внутри зажжен огонь.

Я еще раз взглянул. Ханс был прав.

Хоу-Хоу был просто идол! Хоу-Хоу существовал только в сердцах своих почитателей!

Но чье сатанинское воображение породило этот образ?

Я облегченно вздохнул при нашем открытии и стал присматриваться к деталям. А было на что посмотреть. По обе стороны от истукана выстроились в ряд отвратительные Волосатые, мужчины — направо, женщины — налево, а на столе у подножия истукана, который, как я разглядел, стоял на пьедестале, лежало тело мертвой женщины из Волосатого племени.

— Баас, — опять заговорил Ханс, — мне сдается, что эта та самая гориллиха, которую я застрелил на реке. Я как будто узнаю ее прелестное личико.

— Если так, то будем надеяться, что нам не придется лечь с ней рядом на этот стол.

И вдруг я обезумел, и все обезумели. Должно быть, пары, поднявшиеся от проклятого порошка, отравляли мозг. Дэча назвал его Прахом Видений. И действительно, предо мною вставали видения — зловещие, кошмарные. Я не в силах их описать. Вы читали, друзья, о переживаниях курильщиков опиума. Это было нечто в том же роде, только еще хуже.

Мне чудилось, что Хоу-Хоу сошел с пьедестала и пустился в пляс по залу; он склонился надо мной и поцеловал меня в лоб. (В действительности меня, вероятно, поцеловала Драмана). Волосатые начали перед истуканом бесовский танец. Женщины неистовствали и кричали с искаженными лицами; жрецы в исступленном восторге размахивали руками, как поклонники Ваала в Ветхом Завете. Коротко говоря, то было буквально служение дьяволу.

Затем наваждение прошло так же внезапно, как и началось. Я очнулся. Моя голова покоилась на плече Драманы, или, может быть, ее голова на моем плече — не помню. Ханс успокоенно целовал мой ботинки, вообразив, что это нежный лоб какой-нибудь чернокожей девы, которую он

знавал лет тридцать тому назад. Я ударил его ногой по носу, после чего он виновато встал, бормоча в свое оправдание, что он никогда не пробовал такой крепкой дакки[106].

— Да, — ответил я, — теперь понятно, на чем основана магия мошенника Зикали. Не диво, что он нас послал в такую даль за пучком листьев.

Костер все еще ярко горел, хотя не производил ядовитого чада, и при свете его я увидел, что Дэча обращается к идолу с страстной молитвой, хотя не мог разобрать слов, так как у меня все гудело в ушах. Но вот он отвернулся и поклонился нам.

— Чего он хочет от нас? — спросил я у Драманы, сидевшей рядом со мной с самым целомудренным видом.

— Он говорит, чтобы вы подошли и воздали богу свою дань.

— Какую дань? — спросил я, полагая, что имелось в виду нечто кровавое.

— Приношение священного пламени, который носит с собой Господин Огня, — и она указала на Ханса.

Я был озадачен.

— Она имеет в виду спички, баас, — подсказал мне Ханс.

Я сообразил, в чем дело, и, вооружившись непочатым коробком Best Wax Vestas[107], мы встали, величественно подошли к огню, обошли его кругом и поклонились звероподобному идолу Хоу-Хоу. Затем по указанию Дэчи Ханс торжественно положил коробок со спичками на каменный стол, после чего нам разрешили вернуться на свое место.

Невозможно представить себе что-нибудь смехотворнее этой сцены. Среди фантастики всего окружающего коробок казался таким жалким, что, глядя на него, я едва удержался от истерического хохота. Я скорее потащил Ханса на место, чувствуя, что с ним происходит то же самое, что со мной. К счастью, не в обычае готтентотов открыто выражать свое веселье.

— Идет жертва, — прошептала Драмана, и в зале появилась высокая женщина в белом покрывале, которую подвели к каменному столу, где лежал труп и спички.

— Кто она? — спросил я.

— Прошлогодняя Невеста. Жрецам она больше не нужна, и они ее передают в обладание богу, — ответила Драмана с каменной улыбкой.

— Несчастную убьют? — спросил я в трепете.

— Бог принимает ее в свое обладание, — загадочно ответила Драмана.

В этот момент один из Волосатых сорвал с жертвы покрывало, и

взорам представилась красивая женщина в белой тунике, глубоко вырезанной на груди и едва достигающей колен. Она стояла перед нами неподвижно, высокая и стройная, с разметавшимися по плечам черными волосами. Затем по сигналу все присутствовавшие встали и завопили:

— Венчание с богом! Венчание с богом! Приобщимся к богу через нее.

К девушке подошли двое из Волосатых, держа в руках что-то, чего я не мог разглядеть, и остановились, словно в ожидании знака. Лица окружающих меня женщин были искажены мерзостным сладострастием. Я ненавидел их всех, кроме Драманы, которая одна не кричала.

Что предстояло мне увидеть? Какой-нибудь отвратительный акт шаманства, практикуемый неграми на Гаити и на Восточном берегу? Возможно; если так, я не выдержал бы, чем бы это мне не грозило. Моя рука почти автоматически схватилась за револьвер.

Дэча приготовился что-то сказать — быть может, слова приговора. Я смерил глазами расстояние между ним и мною, готовясь принести богу жертву, какой он не ожидал.

Но в этот момент девушка вскинула руки и сказала громким чистым голосом:

— Я требую древнего права вознести молитву богу перед тем, как буду отдана ему.

— Говори, — сказал Дэча, — только не тяни.

Она поклонилась чудовищу и, чуть отвернувшись от него, начала речь, направленную скорее к аудитории, чем к идолу.

— О бес Хоу-Хоу, — говорила она, и голос ее звучал горькой насмешкой. — О бес, которому мой народ поклоняется на свою погибель! Я, оторванная от моего народа, прихожу к тебе, ибо не пожелала ни одного из твоих первосвященников и за это должна заплатить кровью. Да будет так. Но сперва я должна сказать нечто тебе, о Хоу-Хоу, и твоим жрецам, что разжирели в пороке. Слушай меня! Во мне говорит дух, открывающий зрение! Я вижу — вода наводнила остров. Вижу — пламя прорывается сквозь воду и обращает в прах твое отвратительное изваяние и сжигает твоих злых служителей; ни единого не останется! Исполнится час древнего пророчества!

Она взглянула на меня и на Ханса и простерла руки, словно собираясь обратиться к нам. Но если и было так, то она изменила свое намерение.

Жрецы слушали, онемев от изумления, а может быть, и страха. Но затем раздался залп яростных проклятий, и когда он замер, я услышал голос Дэчи.

— Смерть богохульнице! Да свершится жертвоприношение! Два дикаря подошли к ней ближе, и теперь я разглядел, что в руках у них была связка веревок. Несомненно, они собирались ее связать. Но она их опередила и одним прыжком очутилась на столе, где лежало тело Волосатой и спички. В ее руке сверкнул нож (должно быть, спрятанный в одежде). Она взмахнула им и с восклицанием: «Да падет на вас кровь моя, о жрецы Хоу-Хоу!» — вонзила его в сердце. Ее тело без движения упало на стол.

В воцарившейся сумятице я различил голос Ханса.

— Храбрая она была женщина, и все, что она сказала, оправдается. Можно мне застрелить того жреца, баас, или вы сами это сделаете?

— Нет, — начал я, но мои слова заглушил взрыв диких выкриков:

— У бога похитили жертву! Бог голоден! Отдать в жертву богу чужеземцев!

Дэча нерешительно смотрел на нас. Я понял, что настало время действовать, встал и воскликнул:

— Знай, о Дэча! Если хоть одна рука поднимется на нас, я сделаю с тобой то, что сделал мой товарищ с вашей собакой!

Дэча тотчас присмирел и заискивающе сказал:

— Не бойся, господин! Ты у нас почетный гость и послании Великого. Ступай с миром!

По его знаку ярко горевший огонь притушили, так что в пещере стало почти совершенно темно.

— За мной — скорее! — сказала Драмана и, схватив меня за руку, повела прочь.

Очутившись дома, мы первым делом бросились осматривать ружья и убедились, что их никто не трогал. Затем, видя, что мы совсем одни, так как все ушли на празднество жертвы, я сказал:

— Госпожа Драмана, правду ли говорит мое сердце, или мне только снится, что ты стремишься уйти от призрака Хоу-Хоу?

Она осторожно посмотрела кругом и тихо ответила:

— Господин, это мое самое сильное желание — даже если избавление означает смерть. Слушай: семь лет тому назад я была привязана к скале Приношений, где завтра будет стоять моя сестра. Я была избрана богом и отдана ему, то есть это означает — выбрана Дэчей и отдана Дэче.

— Каким же образом ты еще жива? — спросил я. — Ведь избранная приносится в жертву на следующей год перед новой свадьбой.

— Господин, я дочь Вэллу. Дэча через меня может получить этот титул. Титул Сабилы выше — она дочь старшей жены Вэллу, я же рождена

от младшей жены. Но я могу пригодиться Дэче. Вот почему я еще жива.

— Какие же замыслы у Дэчи, госпожа Драмана?

— А вот какие, господин: до сих пор в течение многих поколений, с тех пор как великий огонь уничтожил город на острове, у нас было две власти — власть жрецов Хоу-Хоу, господствующая над душою народа, и власть рода Вэллу, распоряжавшаяся телом народа. Дэча честолюбив. Он хочет властвовать над телом и духом; он хочет влить в страну свежую кровь других племен и создать великий народ, каким были вэллосы, когда пришли сюда с севера. Женившись на моей сестре, законной наследнице Вэллу, он ее именем захватит власть.

Жрецы малочисленны и не могут привести этот план в исполнение только собственными силами. Но они управляют Волосатыми, которых зовут детьми Хоу-Хоу. Волосатые сейчас раздражены убийством на реке, которое приписывают Иссикору.

Поэтому они готовы идти войной на вэллосов, под предводительством жрецов Хоу-Хоу, которого называют своим отцом, так как его изображение похоже на них. Сейчас все мужчины дикого племени Хоу-хойа собираются на острове, переплывая озеро на стволах и тростниковых плотах. Завтра к ночи все будут в сборе. Потом, после Святой свадьбы, когда Вэллу привяжет мою сестру Сабилу к столбу к скале Приношений между Вечными Огнями, Волосатые под предводительством Дэчи нападут на город на берегу. Город сдастся, и Дэча убьет моего отца, Иссикора и весь наш род и объявит себя вождем. А потом отравит Волосатый Народ и, как я слышала, влив свежую кровь, утвердит свое царство.

— Обширный замысел, — сказал я, почувствовав известное уважение к этому негодяю Дэче, представлявшему собой резкий контраст с беспомощными и суеверными подданными старого Вэллу.

— А что, госпожа, ожидает меня и моего спутника?

— Не знаю, господин. Но думаю, он вас боится. А может быть, он рассчитывает, что вы будете ему полезны при исполнении его замыслов, и потому захочет оставить вас при себе и убьет вас лишь в случае попытки к бегству. Но, с другой стороны, когда Волосатый Народ узнает, кто в действительности убил на реке их соплеменницу, он может потребовать вашей смерти. Тогда может случиться, что на большом празднике, так называемом Завершении Святой свадьбы, вас привяжут к жертвенному алтарю и жрецы выпьют вашу кровь устами Хоу-Хоу. Быть может, завтра же, на Совете священников, будет вынесено такое решение.

— Благодарю тебя, — сказал я. — Подробности несущественны.

— Но пока вы в безопасности, — продолжала она, — и мне поручено

воздать вам всяческие почести и завтра, пока жрецы будут заняты приготовлениями к Святой свадьбе, показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть, и дать тебе ветвь от Древа Видений для пророка Зикали.

Я еще раз поблагодарил ее и прибавил, что с удовольствием прогуляюсь с ней, даже если будет проливной дождь.

— Насколько я понимаю, — сказал я, — ты хочешь бежать отсюда и хочешь спасти сестру. Должен предупредить тебя, Драмана, что под нашей невзрачной внешностью скрываются великие волхвы. Быть может, мы в силах спасти тебя и Сабилу и совершить другие, еще более замечательные подвиги. Но нам может понадобиться твоя помощь, ибо сильные мира сего действуют через малых. Я хочу знать, можем ли мы рассчитывать на тебя?

— Я твоя до самой смерти, господин, — ответила она.

— До самой смерти, Драмана, ибо, если ты нам изменишь, ты умрешь.

Глава XI. Шлюзы

Всю ночь шел ливень, необычайный даже для тропиков. Казалось, крыша не выдержит. Утром, когда мы встали и выглянули за дверь, все было затоплено и плыло, а от земли к небу поднималась сплошная водяная стена.

— Будет наводнение, баас, — сказал Ханс.

— Да, — ответил я, — будь мы сейчас в другом месте, я пожелал бы, чтобы оно затопило всю человеческую нечисть на этом острове.

— Увы, баас, в худшем случае они спасутся на вершине горы. Но вода может затопить пещеру и устроить Хоу-Хоу баню, в которой он сильно нуждается.

— Через пещеру вода может проникнуть в недра горы, — начал я и остановился, пораженный новой идеей. Я заметил, что пещера шла наклонно вниз к основанию вулкана, по направлению к центру. Возможно, что по своему происхождению она была проходом, пробитым в скалах при каком-нибудь прошлом извержении. Предположим теперь, что наводнение заливает пещеру и поток воды проникает в недра вулкана. Тогда должно произойти нечто небывалое! Вода и огонь — неуживчивые соседи. Соединяясь, они дают пар, а пар стремится к расширению. Эта мысль неотвязно овладела мной. Но с Хансом я ею не поделился — будучи дикарем, он ничего не смыслил в подобных материях.

Вскоре пришла Драмана и сразу заговорила о ночном ливне; такого, по ее словам, не помнят в стране. Она прибавила, что жрецы водрузили на место большие каменные ворота, преграждающие наводнению доступ на пахотные земли.

Я стал ее расспрашивать об устройстве этих шлюзов. Она сказала, что плохо разбирается, и обещала показать их мне, чтобы я мог изучить их систему.

Драмана мне объяснила, что озеро пока поднялось ненамного, но разлива ожидают на следующую ночь, когда переполненная река принесет воды с севера. Поэтому было решено закрыть шлюзы — нелегкая работа, так как каменные ворота очень тяжелы. Одну любопытную задело рычагом (как я понял из объяснения Драманы) и убило на месте. Ее тело еще лежало около шлюзов, ибо закон запрещал касаться трупа между празднеством Видений и празднеством Свадьбы; последний будет завтра ночью, тогда, — многозначительно прибавила она, — жрецы натешатся над трупами вволю.

— Так это будет праздник Крови? — заметил я.

— Да, праздник Крови, и может быть, вашей крови, господин.

— Этого не бойся, — ответил я небрежно, хотя в действительности мне стало очень не по себе. Я расспросил ее обо всех подробностях обряда Святой свадьбы. По ее словам, Невесту привозят к полуночи, жрецы принимают ее и привязывают к столбу. Затем лодка вэллосов отъезжает, и жрецы также удаляются, оставляя Невесту в одиночестве. На рассвете из пещеры выходит верховный жрец, одетый в шкуры, чтобы походить на изображение бога. Под ликующие возгласы сопровождающих его женщин и Волосатых он отвязывает Невесту и отводит ее в пещеру. Там она исчезает для мира.

— Ты думаешь, Сабилу привезут? — спросил я.

— Конечно, иначе суеверный народ из опасения бедствий убьет моего отца, и Иссикора, и Сабилу. Если ты не спасешь ее своим искусством, господин, Сабила достанется Дэче.

— А ты, Драмана, хочешь ли ты действительно покинуть остров?

— Господин, я уже поклялась тебе, а теперь прибавлю: Дэча меня ненавидит. Когда в его руках окажется Сабила, истинная наследница, меня ожидает жребий той несчастной, что прошлой ночью убила себя, дабы избавиться от худшего. О господин, спаси меня, если можешь!

— Если, смогу — спасу, — ответил я. И правда, я думал о ее спасении не меньше, чем о своем.

Она клятвенно обещала безоговорочно подчиниться всем моим приказаниям. Тогда я спросил, нельзя ли нам раздобыть лодку?

— Невозможно, — ответила она. — Дэча умный. Он сообразил, что ты захочешь бежать. Все лодки угнаны на ту сторону острова под охрану Волосатых. Он потому и позволил тебе свободно бродить по берегу, что бежать отсюда можно только на крыльях. Озеро вплавь не пересечешь — оно слишком велико, а главное, вэллосский берег кишит крокодилами.

Вы, друзья, понимаете, как это меня ошарашило. Однако я и вида не подал, что смущен, и как бы невзначай спросил, водятся ли крокодилы в этой части озера. Оказалось, что нет: вероятно, их отпугивали Вечные Огни или запах дыма над горою.

Наконец мы вышли, невзирая на дождь, который здесь, в Англии, мы назвали бы ливнем. Тогда же, по сравнению с тем, что делалось ночью, мне казалось, что только накрапывает. Для нас дождь был очень кстати, так как даже самая любопытная женщина не высунула бы нос на улицу. Мы могли свободно, никем не замеченные, рассматривать поселок жрецов.

Он был невелик, так как жреческая коллегия, если можно так ее

назвать, насчитывала не более пятидесяти человек, не считая жен и наложниц, средним счетом по четыре на брата.

Замечательно, что на острове совершенно не было детей и стариков. Может быть, климат здесь был губителен для детей или их устраняли, принося в жертву Хоу-Хоу. Под давлением постоянной опасности я так и не спросил объяснения этому явлению. Возможно также, что детей и стариков вывозили на материк.

Замечу кстати, что, за исключением Драманы и нескольких опальных жен, которым грозила опасность заклания, женщины были более фанатичными и жестокими поклонницами Хоу-Хоу, чем сами жрецы. В этом я убедился на празднике Видений в пещере.

Мы скоро вышли из поселка и очутились среди возделанных земель, которые обрабатывались рабами из Волосатых, или Хоу-хойа. Почва здесь была чрезвычайно плодородна, как показывал урожай, уже созревший для жатвы. Поля были обнесены каменной оградой и пересекались оросительными каналами, которые наполнялись в засушливое время года и регулировались упомянутыми выше шлюзами. Существование этой оросительной системы служило в моих глазах лишним доказательством, что вэллосы принадлежали по происхождению к какой-нибудь высококультурной расе.

Мы повернули обратно по тропинке вдоль берега и пришли к скале Приношений. По бокам ее горели две странные огненные колонны, а между ними, немного дальше от берега, стоял каменный столб с каменным же кольцом, к которому привязывалась Невеста бога. На кольце уже висели новые веревки, приготовленные для Сабилы.

Осмотрев на скале Приношений все, что можно было осмотреть — вплоть до ступенек пристани, по которой должны повести жертву, мы направились к длинному сараю с крутой тростниковой крышей, скрывавшему, так сказать, аппарат для регулирования шлюзов. Драмана открыла крепкую деревянную дверь каменным ключом, который, по ее словам, получила от Дэчи со строжайшим наказом вернуть по окончании осмотра.

В сарае действительно было на что посмотреть. Ближе к краю через сарай проходил оросительный канал, имевший футов двенадцать в ширину. Таким образом, во всю длину сарая под серединой крыши имелся ров, заполненный водой, что не давало возможности определить его глубину. По обе стороны рва, перпендикулярно к нему, шли очень глубокие желоба, выдолбленные в каменном полу. Эти желоба были закрыты в точности подогнанной каменной плитой в шесть — семь дюймов толщиной,

имевшей выемку в верхней своей части. Когда плита поднималась выше уровня каменного дна канала, где обычно она лежала в своем гнезде, образуя часть русла, она совершенно отрезала приток воды из озера и была достаточно высока, чтобы остановить напор воды даже во время наводнения.

Гуд недоуменно смотрел на Аллана.

— Представьте себе, — пояснил Аллан, — театральный занавес, который, вместо того, чтобы падать сверху, вырастает из-под земли, — вернее, из-под воды. Я бы нарисовал вам, если бы не было так поздно.

— Понимаю, — сказал Гуд, — а подымалась эта ваша каменная дверь подъемным краном?

— А почему не прямо паровым двигателем? Нет, подъемных кранов вэллосы не знали. Они поднимали двери самым простым и древним способом — рычагом. В верхнем крае каменной двери было просверлено отверстие. В отверстие был вставлен каменный болт, который другим концом вставлялся в зарубку у основания рычага, образуя своего рода передачу. Сам рычаг представлял собою толстый каменный брус в двадцать футов длины. Когда дверь была полностью опущена в гнездо на дне канала, конец рычага, естественно, поднимался высоко в воздух — почти до крыши сарая.

Когда же надо было поднять дверь, то рычаг опускался посредством веревок и закреплялся на требуемой высоте. Для этого в скале были выдолблены каменные скобы.

В настоящем случае, в предотвращение наводнения, дверь была поднята до отказа. Она торчала на пять — шесть футов над уровнем воды, в то время как плечо рычага закреплено было над самой нижней скобой, на высоте фута от пола.

Мы с Хансом тщательно осмотрели этот примитивный аппарат. Допустим, размышлял я, что понадобилось бы опустить рычаг так, чтобы дверь упала на дно и вода хлынула бы в канал — как это сделать? Ответ: во-первых, высвободив конец рычага из-под скобы, на что потребовалось бы объединенные усилия нескольких человек; во-вторых, сломав пополам самый рычаг. Конечно, вдвоем с Хансом я не смог бы сделать ни того ни другого. Это и десятерым было бы не под силу. Может быть, посредством мраморной пилы, но таковой у нас не имелось.

Однако из каждого затруднения можно найти выход.

Моя изобретательность была исчерпана, но оставался Ханс с его инстинктом дикаря, нередко приводившим его к цели быстрее, чем все мои умствования цивилизованного человека.

Говоря спокойно по-голландски, чтобы Драмана не угадала моего внутреннего возбуждения, я обрисовал Хансу эту проблему в следующих выражениях:

— Допустим, Ханс, что нам необходимо собственными силами сломать брус, чтобы впустить сюда воду из озера — как нам это сделать теми средствами, которыми мы в настоящее время располагаем?

Ханс посмотрел вокруг, комкая шляпу, и ответил:

— Не знаю, баас.

— Так подумай. Любопытно, совпадет ли твоя догадка с моей?

— Я думаю, что в таком случае она не совпадет ни с чем, — сказал Ханс, сделав этот меткий выстрел с таким деревянным выражением крайней тупости, что никак нельзя была дать ему пинка.

Затем, ни слова не говоря, он отошел от меня и стал внимательно осматривать рычаг, в особенности же скобу. Потом, сказав по-арабски, что хочет замерить глубину рва, он с ловкостью обезьяны полез по рычагу и уселся на нем верхом, около каменной передачи, делая вид, что смотрит на канал.

— Темно, ничего не видно, — вымолвил он наконец и спустился. Потом он обратил внимание на лежавший в тени у самой стены труп женщины, убитой при закреплении рычага. Мы подошли к ней. Как все жители острова, она была молода и красива. Наклонившись над трупом, Ханс сказал мне опять по-голландски:

— Баас помнит, как он меня ругал, что я захватил две жестянки пороха?

Я возразил, что не припомню этого инцидента, но, конечно, не к чему было таскать с собой на остров лишние тяжести.

— А как баас полагает, — продолжал Ханс, — кому лучше известно, что может произойти — баасу или преподобному отцу бааса в небесах?

— Моему отцу, Ханс, — ответил я без колебаний.

— Баас прав. Отец бааса знает больше, чем баас. Но в некоторых случаях Ханс смыслит больше их обоих — по крайней мере, в земных делах.

Я безмолвно смотрел на маленького нахала, а он невозмутимо продолжал:

— Вовсе я не забыл оставить порох на берегу, я его взял с собой, предвидя, что он нам понадобится, так как порохом можно взорвать и людей, и многое другое.

— Ладно, так при чем же тут порох?

— Может быть, и ни при чем, баас. Только вот что: эти вэллосы не

слишком искусны в сверлении камней. Отверстия у них получаются шире, чем нужно. В ту дыру в водных воротах можно вставить под болт две фунтовые пороховницы.

— К чему класть туда порох? — спросил я небрежно, так как мои мысли были заняты мертвой женщиной.

— Ни к чему, баас, совершенно ни к чему. Только, кажется, баас меня спросил, как опустить эту каменную руку? Я думаю, если заложить в это отверстие два фунта пороху да поджечь его, то или разлетится вся верхняя часть каменной плиты, или выскочит болт, а может быть, произойдет и то и другое. Кулак разожмется, и дверь упадет на дно. Озеро хлынет в канал и затопит поля жрецов Хоу-Хоу, если только баас в своей мудрости и доблести полагает, что они еще нужны жрецам после такого дождичка накануне жатвы.

— Ах ты, плутишка! — воскликнул я. — Умный маленький чертенок! Молодчина! Только это дело надо обстоятельно обдумать.

— Да, баас, и лучше нам пойти в дом. Надо отсюда выбраться, баас, пока нашу даму не почуяли крысы. А перед уходом посмотрите отсюда на то отверстие и на болт.

Затем Ханс, все время не отводивший взора от тела женщины, поклонился и сказал по-арабски:

— Аллах, сиречь Хоу-Хоу, да примет тебя в лоно свое, — и почтительно отошел.

Мы вышли из сарая.

Глава XII. Заговор

Драмана тщательно заперла сарай и, положив ключ обратно в кошель, повела нас посмотреть на пресловутое Древо Видений. Оно стояло посреди большого, обнесенного стеной участка земли, именуемого садом Хоу-Хоу, хотя там ничего другого не росло. Драмана уверяла, будто дерево оказывает ядовитое действие на всякое соседнее растение.

Пройдя в калитку, ключ от которой также хранился в кошеле у Драманы, мы очутились перед знаменитым деревом, если можно его так назвать — оно скорее было похоже на куст; верхние его ветки находились в каких-нибудь двадцати футах над землей. Однако оно осеняло большое пространство и имело ствол в три фута толщиной. От ствола отходило множество ветвей, концы которых стлались по земле и пускали новые корни, как это наблюдается, если не ошибаюсь, у дикой смоковницы.

То было нечистое исчадие природы. Вместо листьев у него были только темно-зеленые мясистые стручки, как у молочая. Возможно, что это и была какая-нибудь разновидность молочая. Стручки оканчивались ярко-лиловыми цветами, издававшими отвратительный трупный запах. А под цветами — так как, по-видимому, дерево, подобно апельсину, обладало свойством одновременно давать цвет и плодоносить — висели желтые колючие плоды величиной с грушу. Для полноты картины остается только добавить, что ствол был покрыт сморщенной серой корой и что стручковидные листья были наполнены молочной смолой, как у всего семейства молочайных. По словам Драманы, то был единственный экземпляр и другого не существовало ни на острове, ни на берегу. Пытаться же его культивировать считалось великим грехом. Словом, дерево было монополизировано жрецами.

Ханс принялся за работу и нарезал целый веник листьев или стручков, чтобы препроводить его старому карлику — как ни слаба была надежда когда-либо увидеться с ним. То была пренеприятная работа, так как из дерева брызгала белая смола, как скипидар обжигавшая кожу.

На обратном пути Драмана обратила наше внимание на небывало высокий уровень воды в озере. Вода стояла выше полей, отвоеванных некогда у озера и обнесенных стеной, и даже выше входа в пещеру. Но, по ее словам, опасаться было нечего: стена достаточно высока, шлюзы крепки — а в крайнем случае люди могут укрыться на склонах горы.

Дома она распрощалась с нами, сказав, что вернется перед закатом

солнца. Я ее попросил непременно исполнить это обещание. Самому мне было теперь безразлично, придет она или нет, так как я уже разузнал от нее все что мог. Но я замышлял катастрофу и потому беспокоился, представится ли ей возможность спастись. Все-таки она оказалась нам верным другом, ненавидела Дэчу и Хоу-Хоу и любила свою сестру Сабилу.

Ханс проводил ее до порога и с неуклюжим усердием помог ей надеть дождевой плащ, который она было скинула и несла на руке. И правда — прекратившийся было дождь опять полил как из ведра.

Оставшись наедине, мы с Хансом подкрепились едой и открыли совет.

— Что же нам предпринять, Ханс? — спросил я.

— А вот что, баас: перед полночью мы спрячемся на берегу близ ступенек, что у скалы Приношений, потом, когда придет лодка и высадит госпожу Сабилу, и ее привяжут к столбу, мы доберемся до лодки вплавь, влезем в нее и поедем обратно в город вэллосов.

— Но это, Ханс, не спасет госпожу Сабилу.

— Не спасет, баас. Но я и не ломал голову над участью госпожи Сабилы, которая будет наслаждаться счастьем с Хоу-Хоу. Это спасет нас, баас, хотя, может быть, нам придется оставить Хоу-Хоу кое-что из наших вещей. Если Иссикор и прочие хотят спасти госпожу Сабилу, то пусть не будут трусами и перестанут бояться каменного истукана и горсточки жрецов и пусть стараются сами за себя.

— Слушай, Ханс, мы пришли сюда, чтобы раздобыть пучок вонючих листьев для Зикали и чтобы спасти госпожу Сабилу. Первая задача исполнена, остается вторая. Я спасу несчастную или погибну в попытке это сделать.

— Да, баас, я так и думал, что баас это скажет. Все мы сумасшедшие, каждый на свой лад. Как может человек вырвать из своего сердца дурь, которую его мать заложила туда до его рождения? А потому, раз баас спятил с ума или влюбился в госпожу Сабилу за то, что она такая красивенькая, мы так или иначе должны изобрести другой план и постараться, чтобы нас не укокошили при его проведении в жизнь.

— Какой же план? — спросил я, пропуская мимо ушей наглую насмешку.

— Не знаю, баас, — сказал он, глядя в потолок. — Будь у меня глоток джина, я бы что-нибудь придумал; а то у меня от этой сырости туман в голове и желудок налит водой. Однако баас, кажется, говорил, что если сломать каменные ворота, то озеро затопит всю местность вместе с пещерой Хоу-Хоу, где соберутся на поклонение все жрецы со всеми своими женами?

— Да, Ханс, и очень быстро: стоит только воде вырваться, как она снесет стены шлюзов и хлынет мощным потомком, тем более, что опять полило.

— Тогда, баас, мы должны опустить камень, а так как сами мы не в силах это сделать, то нам поможет вот кто, — и он вытащил из мешка два фунта пороха в прочно запаянных жестяных банках, как их выпустил английский фабрикант. — Раз меня зовут Господином Огня, то жрецы Хоу-Хоу найдут это вполне естественным, — прибавил он, осклабившись.

— Так, Ханс, — подтвердил я.

— Только, баас, нам нужен фитиль.

Я посмотрел вокруг. В комнате стояли глиняные лампадки, а около них лежал моток фитилей местного изготовления.

— Как раз то, что нам надо! — сказал я. Мы взяли его, просмолили смесью туземного масла с ружейным порохом, выбитым мною из патрона, и через полчаса у нас был великолепный фитиль. Испытав его, я убедился, что он прогорит пять минут, пока огонь не достигнет пороха. Это было все, что мы могли сделать в тот момент.

— А теперь, баас, — сказал Ханс, когда мы кончили свои приготовления и положили фитиль сушиться, — допустим, что все пойдет гладко, ворота упадут и вода зальет пещеру — но как же мы сами уберемся с острова? Если мы потопим жрецов Хоу-Хоу (впрочем, я думаю, что мы их не потопим, потому что они полезут на гору, как кролики), мы тем самым потопим и себя, и придется нам отправиться с ними вместе к Месту Очага, о котором так любил говорить ваш преподобный отец. Потопить жрецов Хоу-Хоу, конечно, хорошее дело, но и госпоже Сабиле придется не слаще, если мы ее оставим привязанной к столбу.

— Мы ее не оставим там, Ханс. То есть, если все пойдет, как я надеюсь, мы оставим кое-кого другого.

У Ханса просветлело лицо.

— О баас, теперь понимаю! Вы думаете привязать к столбу госпожу Драману, которая старше госпожи Сабилы и не так хороша собой! Вот почему вы ей велели оставаться при нас весь вечер! Прекрасный план! И он вас избавит от возни впоследствии. Только, баас, придется слегка прихлопнуть ее по башке, чтобы она не подняла шуму и не выдала бы нас в своем себялюбии.

— Ханс, ты просто скотина! — воскликнул я в негодовании.

— Да, баас, конечно, я скотина, которая заботится о вас и о себе прежде, чем о других. Но тогда кого же оставит баас? Ведь не думает же он привязать к столбу меня в одеянии Невесты? — прибавил он в

неподдельной тревоге.

— Ханс, ты скотина и дурак, потому что, несмотря на всю твою тупость, как же я обойдусь без тебя? Я привяжу к столбу мертвую женщину, что лежит в шлюзном сарае.

Ханс посмотрел на меня с явным восхищением и сказал:

— Баас становится совсем умным! Наконец баас придумал нечто, чего я не придумал первый. Это хороший план, если только нам удастся провести его незамеченными и если госпожа Сабила не станет на радостях одновременно плакать и смеяться, как дура. Но, допуская, что все удастся, как же мы четверо проберемся в лодку, баас — если только эти трусливые вэллосы станут так долго ждать?

— А вот как, Ханс: если Драмана говорит правду, то лодка, привезя Невесту, дожидается рассвета, отплыв на небольшое расстояние. Ты доберешься до нее вплавь, держа револьвер над головой; все остальное оставишь. Потом ты войдешь в лодку, назвавшись вэллосам и Иссикору — или кто там будет еще. Затем, когда все затихнет, я с госпожой Драманой притащу к столбу мертвую женщину и мы привяжем ее вместо Сабилы. Тогда ты пригонишь лодку к малой пристани, что мы видели близ шлюзов, помнишь?

— Да, баас.

— Как только ты подъедешь, я подожгу фитиль, и мы побежим к лодке. Надеюсь, жрецы со своими женами не услышат взрыва; а когда они выйдут из пещеры и увидят, что их затопило, им будет не до преследования (лодки у них где-нибудь да спрятаны, хоть Драмана и не знает, где). Теперь понял?

— Да, баас. Как я уже сказал, баас стал вдруг очень умным. Но баас упустил из виду один пустяк: допустим, что я благополучно доберусь до лодки. Как я заставлю этих трусов грести за вами к пристани? А вдруг они побоятся, баас, и заявят, что это против обычая или что там их схватит Хоу-Хоу, или еще что-нибудь в том же духе?

— Ты их попросишь добром, Ханс, а если они не послушаются, тогда ты предоставишь слово своему «кольту». Но надеюсь, в этом не возникнет необходимости: Иссикор сам захочет отнять Сабилу у Хоу-Хоу. А теперь все улажено, и я ложусь спать. Советую тебе сделать то же. Нам предстоит бессонная ночь. Только сперва возьми вон ту циновку и накрой ею вонючий веник проклятого Зикали — чтоб ему пусто было! Послать людей на такое дельце!

— Все уладится! — с внутренней иронией проговорил я про себя, лежа в постели. Успех нашего отчаянного предприятия зависел от цепи

гипотез, такой длинной, как отсюда до Кейптауна. Невольно вспоминалась старая поговорка:

Если бы да кабы,
Да росли во рту бобы,
То был бы то не рот,
А целый огород.

Если лодка приедет; если она станет дожидаться поблизости; если Хансу удастся незаметно к ней подплыть; если его пустят в лодку; если он уговорит суеверных вэллосов подъехать к пристани и забрать нас; если не откроется наша проделка с порохом; если порох благополучно взорвется и разрушит шлюз; если мы сможем отвязать Сабилу от столба; если она не устроит истерики; если негодяи-жрецы не перережут нам глотки во время всех этих операций; и двадцать прочих «если» — тогда, может быть, «все уладится». Однако, положившись, по обыкновению, на судьбу, я помолился и решил, что пора уснуть — я, к счастью, могу спать в любое время и при любых обстоятельствах. Без этого таланта я бы давно помер.

Меня разбудил приход Драманы. Было уже совсем темно. Я взглянул на часы, оказалось — одиннадцатый час.

— Что же ты не разбудил меня раньше? — сказал я Хансу.

— А что пользы было будить вас, баас? Скучно мотаться без дела, когда нечем промочить горло.

Так он оправдывался, а на самом деле просто крепко спал, как и я. Однако я был рад, что избавился от нескольких часов томительного ожидания.

Теперь я решился рассказать Драмане все. В этой женщине было нечто такое, что внушало к ней доверие.

Она выслушала и пристально глядела на меня, пораженная смелостью моего замысла.

— Все это, может быть, кончится благополучно, — сказала она наконец, — но следует опасаться колдовства жрецов, которое открывает им то, чего глаза не видят.

— Я тоже колдун, — возразил ваш покорный слуга.

— И еще одно обстоятельство, — продолжала она. — Мы не можем пройти к каменным воротам, которые вы хотите разрушить. Согласно приказанию, я вернула Дэче кошель с ключами. Жрецы еще раз ходили в сарай удостовериться, что ворота прочно закреплены. Дверь крепко заперта, вам ее не открыть.

Я был ошеломлен. Про ключ я и не подумал. И вдруг я услышал сдавленное идиотское хихиканье Ханса.

— Что смеешься, осел? — закричал я. — Разве время смеяться, когда все наши планы проваливаются?

— Нет, баас, то есть — да, баас. Видите ли, баас, я предугадал, что может случиться что-нибудь в этом роде, и на всякий случай вынул ключ из мешка госпожи Драманы и подменил его камнем того же веса. Вот он, — и Ханс извлек из кармана увесистый архаический ключ.

— Ты поступил мудро. Но ты сказала, Драмана, что жрецы еще раз заходили в сарай. Как же они вошли без ключа? — спросил я.

— Господин, имеется два ключа. Один хранится у того, кто носит титул Стражника Ворот. Согласно присяге, он весь день носит его у пояса и спит с ним ночью. А мне дал свой ключ верховный жрец, у которого имеются все ключи, чтобы он мог прийти с дозором куда и когда захочет. Но он это редко делает.

— Прекрасно. У тебя есть какие-нибудь новости, Драмана?

— Да, господин. На Совете постановили принести в жертву Хоу-Хоу тебя и твоего спутника. Это подачка Волосатому Народу — они узнали, кто убил их соплеменницу, и заявили, что если вас оставят в живых, то они не пойдут на войну с вэллосами. Вероятно, и меня принесут в жертву вместе с вами.

— Вот как? — промолвил я, подумав про себя, что теперь могу с чистой совестью топить всю эту сволочь и угостить предусмотрительных любителей приносить жертвы хорошей дозой их собственного лекарства. С этого момента я стал безжалостен, как сам Ханс.

Теперь стало ясно, почему с нами обходились с такой учтивостью и разрешали осматривать все, что нас заинтересует. Это делалось, чтобы усыпить в нас подозрения.

Мы принялись за ужин, за которым Драмана обмолвилась случайно, что было постановлено украсть у нас оружие, «изрыгающее огонь», чтобы вернее нас схватить. Надо было действовать безотлагательно.

Я ел сколько влезет, исходя из того, что еда придает силу; тоже делал и Ханс. Драмана принесла нам туземной наливки, и я не отказался от выпивки, считая, что умеренная доза алкоголя будет нам обоим на пользу, в особенности же Хансу, которому предстояла холодная ванна.

Поужинав, мы упаковали как можно удобнее наш небольшой багаж. Половину я дал нести Драмане. Ханс же нес только револьвер и вязанку вонючих веток, которая при плавании должна была служить ему поддержкой и прикрытием.

Было около одиннадцати часов, когда мы двинулись в путь, накинув на головы антилопьи шкуры с наших постелей, чтобы по возможности походить на этих животных.

Глава XIII. Страшная ночь

Проливной дождь перешел в изморось. Густой туман стлался по полям и над озером, благоприятствуя нашему бегству. Даже ни одна собака не залаяла на нас, ибо те немногие представители этих животных, какие имелись на острове, из-за холода и сырости все спали в домах. Но сквозь туман сияла с ясного неба большая полная луна, предвещающая перемену погоды.

Никем не замеченные, достигли мы шлюзного канала и, к своему удивлению, нашли дверь незапертой. Приписав это недосмотру жрецов, мы тихо вошли и прикрыли за собой дверь. Затем я зажег свечу, поднял ее над головой и отступил, пораженный ужасом: над каналом сидел человек с длинным копьем в руке.

Пока я недоумевал, что мне делать, и глядел на стража, полусонного и, видимо, еще более напуганного, чем я сам, Ханс со свойственной дикарю быстротой действий положил конец моим раздумьям. Как леопард, прыгнул он на врага. Я услышал удар ножа, и в следующее мгновение отблеск свечи упал на торчащие из воды пятки. Человек исчез навсегда — по крайней мере из нашей жизни.

— Что это значит? Ты говорила, что здесь никого не будет! — свирепо закричал я на Драману, заподозрив ловушку.

Она упала на колени, подумав, должно быть, что я ее собираюсь убить копьем стражника, которое я поднял с земли, и ответила:

— Господин, я не знаю. Должно быть, у жрецов появились подозрения и они выставили стражу. Или, может быть, их встревожил небывалый подъем воды.

Успокоенный ее объяснениями, я велел ей встать, и мы принялись за дело. Заперев дверь изнутри, Ханс взобрался на рычаг и вставил пороховницы в дырку в подъемных воротах, как раз под болт. Затем мы туго законопатили щебнем все щели, чтобы пороховницы не выскочили, и все вместе замазали толстым слоем глины, которую я наскреб с сырой стены сарая. Лишь непосредственно под болтом мы оставили небольшое отверстие, чтобы сконцентрировать силу взрыва на болте и на верхнем крае дырки в подъемных воротах. Фитили мы провели в просверленные в пороховницах дырочки, вставив их для предохранения от сырости в полые тростники. Концы их висели на шесть футов от земли, так что второпях их нетрудно было зажечь.

Теперь было уже четверть двенадцатого, и мы приступили к самой страшной и неприятной части нашей задачи. Мы с Хансом подняли тело убитой при закрытии шлюза женщины и понесли его из сарая. Драмана, отказавшись прикасаться к трупу, следовала за нами, нагруженная всем нашим багажом, который мы ни на минуту не решались оставлять, предвидя возможность, что отступление будет отрезано.

С бесконечным трудом пронесли мы тяжелый труп каких-нибудь пятьдесят ярдов до места, которое я приметил еще утром на краю скалы Приношений. В той части скала подымалась футов на шесть над окружающим уровнем, и спереди в ней имелось промытое водой углубление — как бы небольшой грот без крыши, как раз достаточный, чтобы вместить нас троих и труп.

Здесь мы спрятались и стали ждать.

Спустя некоторое время, перед самой полночью, мы услышали на озере всплеск весел. Лодка приближалась! Еще через минуту совсем близко от нас мы различили человеческие голоса.

Я осторожно высунул голову над краем скалы.

К пристани, вернее, к тому месту, где должна быть пристань, так как вся лесенка, кроме самой верхней ступеньки, была залита водой, подплывала большая лодка. А по площадке скалы Приношений шествовали навстречу лодке четыре жреца в белых одеяниях. Лица их были завешены покрывалами с прорезями для глаз, что придавало им сходство с монахами на старинных изображениях испанской инквизиции. Жрецы и лодка одновременно подошли к пристани. Затем с носа судна спихнули высокую женщину, с головой завернутую в белый плащ, которая по росту вполне могла быть Сабилой.

Жрецы приняли ее безмолвно — вся драма разыгралась в абсолютном молчании — и повели или, скорее, поволокли к каменному столбу меж двумя огнями, и там, насколько можно было разглядеть сквозь туман (в эту ночь я благословлял туман, как это говорится в одном нашем церковном псалме, или там, кажется, наоборот: туман славословит Господа), они привязали ее к столбу. Затем, все в том же молчании, жрецы двинулись обратно по склону скалы и скрылись в зеве пещеры. Лодка тоже отплыла на несколько ярдов — недалеко, как можно было судить по числу весельных ударов — и остановилась.

До сих пор все шло так, как говорила Драмана. Я шепотом спросил ее, вернутся ли жрецы. Она ответила, что нет, никто не придет до самого рассвета, когда Хоу-Хоу в сопровождении женщин выйдет из пещеры принять свою Невесту. Драмана клялась, что это правда, потому что

величайшее преступление — смотреть кому бы то ни было на Святую Невесту с момента, когда ее привяжут к скале, до появления солнца над горизонтом.

— Значит, чем раньше мы возьмемся за дело, тем лучше. Живо, Ханс, пока туман не рассеялся.

Быстро взобрались мы на скалу, волоча за собою мертвую. Обогнув с нашей ужасной ношей ближайший из двух Вечных Огней, мы подошли к столбу с задней стороны. Здесь, благодаря туману и стлавшемуся дыму вулканических огней, мы были почти невидимы. С передней стороны столба, связанная, с упавшей головой, словно в обмороке, стояла Сабила. Ханс клялся, что то была она, так как он узнал ее «по запаху», который ему весьма нравился. Я же, не столь одаренный в отношении нюха, не был в этом уверен. Я заговорил, идя на риск, не решаясь взглянуть на девушку. Признаться, я опасался, что она исполнила свою угрозу и, как к последнему средству, прибегла к яду, спрятанному в волосах.

— Сабила, не пугайся и не кричи. Сабила, это мы — Бодрствующий В Ночи и Свет-Во-Мраке. Мы пришли тебя спасти, — сказал я и тревожно ждал, услышу ли ответ.

Наконец я облегченно вздохнул — она слегка качнула головой и прошептала:

— Это сон, сон!

— Нет, Сабила, ты не спишь, а если спишь, проснись, чтобы нам всем не уснуть навеки.

Затем я прокрался вокруг столба и спросил, где узел связывавшей ее веревки. Она наклонила голову и пробормотала надломленным голосом:

— У моих ног, господин.

Я стал на колени и нащупал узел. Если бы я веревку разрезал, нам нечем было бы привязать к столбу тело. К счастью, узел был затянут не туго — это считалось излишним, так как не бывало случая, чтобы Святая Невеста пыталась бежать. Хотя руки у меня замерзли, я без большого труда развязал веревку. Через минуту Сабила была свободна, и я перерезал путы на ее руках. Гораздо труднее оказалось привязать на ее место мертвое тело, которое всей тяжестью наваливалось на веревку. Однако мы кое-как справились с нашей задачей, предварительно набросив на ледяное лицо мертвой белый плащ Сабилы.

— Надеюсь, господину Хоу-Хоу полюбится Невеста! — пробормотал Ханс, когда мы тревожно осмотрели свою работу.

Наконец, так как все было сделано, мы удалились так же, как пришли, низко наклоняясь к земле, чтобы не высовываться из полосы тумана,

который теперь стал реже и стлался всего фута на три над землей, как осенняя мгла над каким-нибудь английским болотом.

Мы достигли нашей ямы, и Ханс бесцеремонно столкнул Сабилу через край, так что она упала на спину своей сестре Драмане, которая в ужасе прижалась к земле. Трудно придумать более странную встречу двух трагически разлученных родственниц. Я шел последним и, перед тем как спуститься в нашу яму, еще раз оглянулся назад.

Вот что представилось моим глазам: из пещеры вышли два жреца и быстро побежали по склону горы, пока не достигли двух колонн горящего естественного газа или керосина (право, не знаю, что это было). Здесь они остановились, каждый у одной колонны, повернулись на пятках и сквозь прорези в своих масках или покрывалах посмотрели на привязанную к столбу жертву. Вероятно, вид ее их вполне удовлетворил, так как, посмотрев немного, они опять побежали в пещеру, очень быстро, но с размеренностью, исключавшей мысль об удивлении или тревоге.

— Что это значит, Драмана? — воскликнул я. Ты говорила, что закон запрещает смотреть на Святую Невесту до восхода солнца!

— Не знаю, господин, — отвечала она. — Конечно, это против закона. Должно быть, прорицатели почуяли, что не все благополучно, и выслали гонцов. Как я говорила тебе, жрецы Хоу-Хоу искусны в чародействе, господин.

— Значит, они плохие искусники, раз ничего не обнаружили, — заметил я спокойно.

Но в душе я благословлял судьбу, что настоял на своем и привязал мертвую женщину к столбу на место Сабилы. Когда мы тащили ее из сарая, Ханс говорил, что это излишне, раз Драмана клянется, что никто глаз не поднимет на Невесту до самого рассвета — нужно только отвязать Сабилу. Уступи я тогда, мы бы все погибли.

— Теперь, Ханс, — сказал я, скрывая внутреннее волнение, — пора тебе плыть к лодке. Туман рассеивается, торопись, а то тебя увидят.

— Нет, баас, меня не увидят: я положу на голову вязанку веток с Древа Видений, так что буду казаться плавучими водорослями. Но не хочет ли баас поплыть сам? Он плавает лучше меня и не так боится холода, к тому же он умнее и это дурачье в лодке скорее послушается его, чем меня. А если дойдет дело до стрельбы, то стрелок он лучший. А присмотреть за госпожой Сабилой и второй дамой я вполне сумею сам; и фитиль подожгу не хуже, чем баас.

— Нет, — ответил я, — поздно нам менять план, хоть я и сам хотел бы попасть в лодку, где чувствовал бы себя гораздо спокойнее.

— Хорошо, баас. Баасу лучше знать, — ответил он покорно. И затем, не стесняясь условностями, Ханс разделся и завернул свою грязную одежду в циновку из-под вязанки веток Древа Видений, заметив, что с удовольствием наденет сухое платье, когда доберется до лодки или до того света — одно из двух.

Покончив с этими приготовлениями, он привязал к голове веник при помощи веревок, снятых с рук Сабилы, и тронулся в дорогу — жалкая, сморщенная желтая обезьянка. Однако сперва он поцеловал мне руку и спросил, нет ли у меня поручений для моего преподобного отца. Потом он объявил, что, по его мнению, госпожа Сабила не стоит стольких хлопот, тем более что она выходит замуж за другого. И, наконец, он сказал с ударением, что если когда-нибудь выберется из этой страны, то напьется допьяна на двое суток в первом же городе, где можно купить джина — обещание, которое он не преминул исполнить. Затем он соскользнул со скалы и, держа над головой револьвер и кожаный патронташ, нырнул в воду, тихо, как выдра.

Сквозь поредевший туман я различал на расстоянии ста ярдов смутный силуэт лодки.

И вот с замиранием сердца заметил я, что там что-то происходит. Лодка повернулась, и мне казалось, что я различаю удивленные голоса. Кто-то встал во весь рост. Потом послышался всплеск, и снова все стихло.

По-видимому, Ханс благополучно доплыл до лодки, но пустили его на борт или нет — этого я не знал. Я мог лишь предполагать и надеяться.

Так как нам незачем было оставаться дольше в нашем небезопасном убежище, я решил возвратиться в шлюзный сарай. Сабила, казалось, еще не совсем очнулась, и я не стал ее расспрашивать. Драмана взяла ее за левую руку, я за правую, и мы пошли. Оставив обеих женщин в сарае, я вышел на маленькую рыбачью пристань и стал ждать лодки.

Лодка не показывалась. В течение нескольких часов, показавшихся нам вечностью, до самого рассвета, я смотрел и ждал, ждал и смотрел, наведываясь время от времени к моим дамам. Я узнал от Сабилы, что и отец ее, и Иссикор, оба были в лодке, что делало совершенно необъяснимым ее непоявление, конечно, при допущении, что Ханс доплыл благополучно. Если же Ханс погиб, тогда разгадка была проста: ведь экипаж не знал, в каком мы положении, и не знал даже, что нас можно спасти. Наконец, оставалась возможность, что суеверные вэллосы по религиозным мотивам отказались участвовать в похищении Святой Невесты.

Чем больше взвешивал я все возможности, тем сильнее мною

овладевало отчаяние. Несомненно, что-то случилось, но что, что?

А вода поднималась. Казалось, вот-вот она перельет через береговую стену и тогда, конечно, нельзя будет оставаться в шлюзном сарае.

Не помню, упоминал ли я, что в нескольких ярдах направо поднимался футов на восемь над стеной большой утес, имевший вид глыбы, выброшенной из кратера вулкана. На этот утес не трудно было бы взобраться, и он был достаточно широк, чтобы нам можно было всем троим поместиться на нем. Самый сильный прилив не достиг бы его вершины, так как для этого вода должна была бы залить всю расстилающуюся за ним равнину на много ярдов вглубь.

Обсуждая мысленно все обстоятельства, я пришел к заключению, такому неожиданному и твердому, что мне самому показалось, будто оно было подсказано чьим-то внушением извне.

Я выведу женщин и положу их на вершине утеса. Темный плащ Драманы скроет их от наблюдения даже в эту яркую лунную ночь (туман давно рассеялся). Сам я вернусь в сарай, подожгу фитиль и присоединюсь к моим дамам, и мы станем наблюдать с утеса все, что произойдет в результате взрыва, и ждать приближения лодки. Впрочем, на последнее я уже почти не надеялся.

Оставив все сомнения и колебания, я принялся за выполнение плана с холодной, но бешеной энергией. Я схватил за руки обеих сестер, которые, вообразив, что спасение близко, шли довольно бодро, поднялся с ними на утес и велел им лечь ничком, набросив темный плащ Драманы на них обеих и на наши пожитки. Затем я вернулся в сарай, зажег спичку и поднес ее к концу фитиля. Огонек побежал вверх. Я выскочил вон, запер тяжелую дверь и помчался обратно на утес.

Пять минут прошло, и, когда я начал уже думать, что фитиль почему-либо испортился, раздался глухой грохот. Он был негромок. Не думаю, чтобы можно было услышать его на расстоянии пятидесяти ярдов, не напрягая специально слуха. Сарай был основательно построен, а крыша поглощала звуки. Похож был грохот не на ружейный выстрел, а скорее на звук какого-то тяжелого падения.

После этого сперва как будто ничего особенного не произошло. Но вот я заметил, что вода, до сих пор удерживаемая каменной подъемной дверью, вдруг побежала по каналу, как мельничный ручей. Внутренне торжествуя, я понял, что взрыв удался.

Шлюзы рухнули, и озеро прорвалось за ограду!

Минуту спустя я заметил, что из стенки канала выпал камень — один, другой, третий. Все сооружение точно таяло. Уже на его месте зияла все

расширяющаяся брешь в береговой стене. Еще через минуту сарай рухнул, точно карточный домик, так как вода размыла фундамент. Канал превратился в настоящую реку, которая бурно затапливала низко лежащие поля за береговой стеной.

Я взглянул на восток. Край неба, там, где оно встречается с поверхностью озера, из черного становился серым. Начинался рассвет.

С неумолчным ревом через расширяющуюся с каждым моментом брешь в стене воды бежали на поля — безудержные, неисчерпаемые. Вид их был ужасен. Наш утес уже превратился в окруженный морем островок. И вот на востоке забрезжил первый луч еще не вставшего солнца, пронзая гигантским копьем омытое дождями небо. То было чудное зрелище, и с мыслью, что, может быть, в последний раз присутствую при нем на земле, я жадно смотрел на него.

Между тем женщины рядом рыдали от ужаса, ожидая, что нас вот-вот затопит. Будучи сам того же мнения, так как скала дрожала под нами, будто сейчас перевернется, подмытая водой, и погрузится в бездонную пучину, я делал вид, что не обращаю внимания на их страх, и упрямо смотрел на восток.

И вдруг с первым солнечным лучом из туманной мглы над озером вынырнула лодка. Рев воды заглушал всплески весел. На корме, приставив дуло револьвером ко лбу кормщика, стоял Ханс.

Я встал, и он меня увидел. Я знаками указывал ему, куда подплыть. Лодке грозила опасность опрокинуться или быть унесенной течением в водоворот, бурливший на месте шлюзного канала. Но вэллосы были искусными гребцами, а револьвер Ханса придал им храбрости.

Наконец лодка пристала носом к нашему утесу, и Ханс, пробравшись вперед, бросил мне канат. Я схватил его одной рукой, а другой спихнул вниз дрожащих женщин. Ханс подхватил их и швырнул в лодку, словно кули с мукой. Затем я перебросил наше снаряжение и сам сделал отчаянный прыжок, почувствовав, что утес переворачивается. Я шлепнулся по пояс в воду, но Ханс и кто-то еще подхватили меня и втащили в лодку. А еще через мгновение утес исчез под желтым вспененным потоком!

Лодка качнулась и закрутилась веретеном. К счастью, она была велика (на двадцать пар весел) и устойчива, так как была выдолблена из одного огромного ствола. Ханс выкрикивал команды, гребцы гребли изо всех сил. Первую минуту наша гибель казалась неизбежной: течение затягивало и мы не продвигались ни на пядь. Наконец мы немного продвинулись вперед, по направлению к скале Приношений, и еще через минуту были вне опасности.

— Почему ты не пришел раньше, Ханс? — спросил я.

— Ох, баас, да потому, что эти дураки не желали двигаться, пока не покажется первый луч, а когда старый Вэллу и Иссикор пробовали настаивать, гребцы заявили, что убьют их. Они сказали, что это нарушение закона, баас.

— Будь они прокляты на десять поколений! — воскликнул я и замолчал, ибо что толку спорить с этой суеверной бандой.

Суеверие царит еще над большей частью мира, называя себя религией. Вэллосы, конечно, гордились своей религиозностью. Так кончилась страшная ночь.

Глава XIV. Конец Хоу-Хоу

Против скалы Приношений, у самого берега, лодка остановилась. На мой вопрос, зачем это делалось, старый Вэллу, которому сбившаяся набок тиара придавала вид пьяного, робко ответил: — Таков закон, господин. Закон повелевает нам ждать, пока не покажется солнце и Хоу-Хоу не выйдет во славе своей принять Святую Невесту.

— Прекрасно, — ответил я, — так как Святая Невеста сидит в лодке, положив голову мне на колено (это была правда — Сабила, не доверяя никому другому, прислонилась ко мне, и так же поступила Драмана, голова которой покоилась на моем втором колене), я не советую его величеству Хоу-Хоу являться сюда за нею — или в голове у него появится дыра величиною с мой кулак! — прибавил я, выразительно хлопнув по кожаному футляру своего двуствольного «экспресса».

— Все-таки мы должны ждать, господин, — кротко возразил Вэллу, — ибо я вижу, что у столба еще привязана Святая Невеста, а пока ее не отвяжут, закон запрещает нам удаляться.

— Да, — ответил я, — то святейшая из Невест, ибо она мертва, как камень, а все мертвые святы. Ладно, ждите, если вам угодно, потому что мне и самому хочется посмотреть, что произойдет.

Мы сложили весла, и в надлежащий момент, едва показался над горизонтом красный край восходящего солнца, из пещеры вышел Хоу-Хоу, «взыскующий своей Святой Невесты».

— Как он мог выйти? — злорадно спросил Гуд. — Вы сказали, что Хоу-Хоу был просто статуей — как же он мог выйти из пещеры?

— А вам, Гуд, не приходило в голову, — ответил Аллан, — что со статуями иногда бывает, что их везут? Но в данном случае этого не произошло: Хоу-Хоу сам вышел из пещеры в сопровождении нескольких женщин. За ними шла толпа Волосатых. Глядя на чудовище, как оно выступало, безобразное и огромное, я понял две вещи. Во-первых, почему Сабила клялась, что многие, в том числе Иссикор, собственными глазами видели Хоу-Хоу, «идущего прямо». Во-вторых, для чего по закону лодка должна ждать до рассвета, когда Невесту уведут: для того, чтобы гребцы и родичи Невесты могли увидеть Хоу-Хоу и, вернувшись в свою страну, свидетельствовать о телесном существовании бога.

— Но ведь Хоу-Хоу не было, — опять запротестовал Гуд.

— Гуд, — сказал Аллан, — решительно, Ханс назвал бы вас «совсем

умным». С необычайной проницательностью вы дошли до истины. Хоу-Хоу не было. Но, Гуд, когда вы поживете подольше, — продолжал он с любезным сарказмом, в котором сквозила скука, — да, так вот, когда вы поживете подольше, вы узнаете, что этот мир полон обмана и что Древо Видений растет (или, вернее, росло) не только в саду Хоу-Хоу. Как вы метко изволили заметить, никакого Хоу-Хоу не существовало — но зато существовало его превосходное подобие, исполненное с искусством, достойным первоклассного артиста пантомимы. Правда, столь превосходное, что на расстоянии пятидесяти ярдов, или около того, невозможно было найти различия между ним и великим оригиналом, то есть идолом в пещере.

— Во всей своей волосатой красе шел Хоу-Хоу, или, переходя к фактам, шел Дэча — на ходулях, артистически завернутый в обезьяньи шкуры и несущий над головой мочальное сооружение, с холщовой маской, великолепно размалеванной под прелестного бога.

Набожный экипаж нашего судна узрел его, и классические головы благоговейно склонились перед божеством. Даже Иссикор склонился, что заставило Драману и даже саму любящую Сабилу одарить его взглядом, полным негодования и презрения.

Между тем Хоу-Хоу шагал вперед своей в буквальном смысле слова ходульей поступью. Свита одетых в белое дам следовала за ним с пением свадебного гимна, а за дамами шли косматые «пажи». Однако мой бинокль показывал мне, что прекрасные дамы отнюдь не ликовали. Они тревожно косились на подымающуюся воду, а одна повернулась было вспять, но спутницы ее не пустили — должно быть, при сей торжественной церемонии бегство считалось тяжелыми грехом. Так дошли они до столба, где, согласно обычаю, «подружки» бросились к Невесте, чтобы сорвать с нее покрывало, а косматые «пажи» выстроились за ними.

Еще мгновение, и первая «подружка» остановилась с изумленным взором. Потом из ее груди вырвался дикий крик, раскатившийся по озеру, словно рев сирены. Посмотрели и остальные и, в свою очередь, начали вопить. Тогда сам Хоу-Хоу засеменил вокруг столба и взглянул на Невесту. Он, надо думать, хорошо все рассмотрел, потому что кто-то совсем сорвал покрывало с трупа. Он не стал долго любоваться, а в тот же миг со всех ног (то есть со всех ходуль) кинулся к пещере. Я не мог больше выдержать соблазна. Под рукой у меня лежало ружье — мой двуствольный «экспресс», заряженный разрывными пулями. Я вынул его из чехла, поднял и прицелился чуть повыше того места, где, по моему расчету, находилась голова человека, сидевшего внутри чучела, потому что я не хотел убивать

эту скотину, а только его напугать. Секунда — и разрывная пуля смела к черту корзину с павианьими клыками. Не было еще в истории столь внезапного разоблачения духовного князя, одетого во все свои ризы.

Итак, все должно было теперь сойти благополучно, раз Дэча сошел с ходуль и пошел пехом — великолепнейший венценосец, когда-либо разбивавший себе нос о глыбу застывшей лавы. С минуту он лежал на земле, затем вскочил и, бросив ходули, побежал за вопящими женами и их обезьяноподобными пажами назад в пещеру.

— Теперь, — обратился я тоном оракула к старому Вэллу и остальной команде, испуганной ружейным выстрелом, — теперь, друзья мои, вы видите, из чего состряпан ваш бог?

Вэллу пытался возражать. Он слишком был поражен — вы понимаете, крушение иллюзий часто приносят душевную боль. Но один из команды, очевидно официальный блюститель времени, сказал, что солнце взошло, священный обряд свершился, хоть, правда, несколько необычно, и теперь, по закону, надо возвращаться домой.

— Нет, — ответил я, — я вас долго ждал, а теперь вы подождете немного меня, потому что я хочу посмотреть, что произойдет дальше.

Однако блюститель времени — закоренелый рутинер, совершенно лишенный любопытства, — погрузил в воду весло, подавая тем самым сигнал остальным гребцам делать то же, в ответ на что Ханс ударил его по пальцам прикладом револьвера и затем приставил дуло к его виску.

Этот аргумент убедил его в необходимости повиновения, и он, рассыпаясь в извинениях, поднял весло. Остальные последовали его примеру.

Итак, мы остались на месте, наблюдая. И было на что посмотреть: вода уже заливала скалу Приношений. Волны достигли Вечных Огней, в результате чего они перестали быть вечными и расплылись в облако дыма и чада. Еще три минуты, и волны бурным водопадом хлынули в зев пещеры. Не досчитал я и до ста, как из пещеры в панике стали выбегать люди, словно осы из потревоженного гнезда. Среди них я узнал Дэчу, которому пришла в голову блестящая идея позаботиться прежде всего о собственной персоне.

Он и несколько человек за ним бросились вперед и, выбравшись из воды, полезли вверх по склону горы за пещерой. Остальные были менее удачливы. Поток достиг уже значительной глубины, и они не смогли его преодолеть. Их влекло обратно, к любвеобильному лону Хоу-Хоу.

Мгновение — и разом все дома, включая и тот, который служил нам приютом, рухнули и исчезли в пене. Казалось, то был конец. Я раздумывал,

пустить ли мне пулю в Дэчу, который стоял теперь на краю утеса и ломал руки, глядя на разорение своего храма — на гибель своего бога, и города, и гарема, и слуг. Но какой-то голос подсказал мне предоставить этого грешника своей участи, и я уже приготовился дать команду грести восвояси, как Ханс окликнул меня, приглашая взглянуть на вершину горы.

Огромные клубы пара валили из кратера, как из тысячи тысяч паровозов; и рев, подобный пыхтению тысячи тысяч паровозов, раздирал наши уши.

— Что там, Ханс? — прокричал я.

— Не знаю, баас. Должно быть, огонь и вода разговаривают внутри горы и объясняются во взаимной любви, как сварливые супруги, запертые в тесной хижине. Жена шипит, плюется, мечется; муж мечется и тузит жену. — Он остановился, выпучив глаза на вершину горы, и тихо повторил: — Да, муж здорово тузит жену. Гляньте на него, баас!

В это мгновение с оглушительным грохотом, подобным чудовищному громовому раскату, вулкан словно раскололся надвое, а вершина его разлетелась в воздухе.



— Баас, — сказал Ханс, — меня зовут Господином Огня, не так ли? Однако над этим огнем я не властен, и нам лучше держаться от него подальше. Смотрите! — он протянул руку, указывая на мощный поток лавы, хлынувшей, казалось, из облаков прямо в озеро на расстоянии каких-

нибудь двухсот ярдов от нас, поднимая фонтаны пены и дыма, как взорвавшаяся торпеда.

— Гребите! Изо всех сил! — крикнул я вэллосам, которые уже поворачивали лодку со всей поспешностью.

Пока лодка описывала круг (мне эти минуты казались вечностью), я был свидетелем странного и страшного зрелища. Дэча оставил свой уступ и кинулся в озеро, преследуемый потоком расплавленной лавы, приплясывая, словно от боли, — должно быть, его обожгло паром. Он нырнул в воду, и в то же мгновение выросла огромная волна, образовавшаяся, несомненно, от какого-нибудь подземного взрыва. Она мчалась на нас, а на гребне несла Дэчу.

— Я думаю, жрецу хочется к нам на борт, баас, — сказал Ханс, — ему надоел его родной богоспасаемый остров, и теперь он желает поселиться на материке.

— Ты думаешь? — ответил я. — Так в лодке нет места, — я вытащил револьвер.

Волна донесла Дэчу совсем близко. Плыл ли он, или его поддерживало давление снизу, но только казалось, что он почти стоит на гребне волны. Он осыпал нас проклятиями и, потрясая кулаками, грозил Иссикору и Сабиле. Жуткое было зрелище.

Но на Ханса оно не произвело должного впечатления, ибо в ответ он указал сперва на меня, после чего с неискоренимой своей вульгарностью приставил большой палец к своей сопатке и показал длинный нос барахтающемуся в воде верховному жрецу.

Волна превратилась в воронку, и Дэча скрылся, «отправившись в гости к Хоу-Хоу», как пояснил Ханс. Таков был конец этого злого, но далеко не заурядного человека.

— Я рад, — сказал Ханс после некоторого размышления, — что Дэча-проповедник, перед тем как отправиться к Хоу-Хоу, узнал, кто его туда посылает. А подумал ли баас, что все наши планы так славно удались? Одно время я уже боялся, что все пропало — когда я влез в лодку и эти остолопы отказались забрать вас и женщин, потому, мол, что закон не велит. Надевая свое сухое платье, я раздумывал, не застрелить ли мне одного из них. Однако решил, что лучше подождать, баас, потому что, если бы я застрелил одного, остальные стали бы еще тупее и упрямее и, может быть, совсем бы уехали, а меня убили бы. Итак, я дождался, и все пришло к благополучному концу, несомненно благодаря покровительству преподобного отца бааса, взирающего на нас с небес.

— Правильно, Ханс. Но если бы ты пришел к другому решению, кого

бы ты застрелил? — спросил я. — Старого Вэллу?

— Нет, баас, он стар и глуп, как дохлая сова. Я застрелил бы Иссикора, потому что он мне надоел и мне хотелось бы избавить госпожу Сабилу от долгих лет скуки. Что хорошего в человеке, который, зная, что его невесту отдают черту, сидит в лодке и хнычет о непреложности древних законов. Так он вел себя, баас, когда я просил его приказать команде грести к пристани.

— Не знаю, Ханс, это их дело. Пусть улаживают между собой.

— Да, баас, и когда госпожа придет в себя и настанет час расплаты, мне будет жалко Иссикора. Он не будет смотреть таким гоголем, когда она с ним порвет. Мне думается, когда он попросит: «поцелуй меня», она ответит ему «бац, бац!» по обеим щечкам, баас. Смотрите, она уже и теперь повернулась к нему спиной. Однако, баас, это не касается ни меня, ни вас, потому что вам придется иметь дело с госпожой Драманой. Она-то не поворачивается спиной, баас. Она пожирает вас глазами и говорит в своем сердце, что наконец нашла настоящего Хоу-Хоу, хоть он и мал, и бел, и неказист, и волосы у него ежом. Важно, что внутри человека, а не его внешность, как часто говорили мне женщины, когда я был молод, баас.

С восклицанием, которое здесь неуместно было повторять, ибо никто из нас не любит, когда верный, искренний друг критикует нашу наружность, я замахнулся прикладом, намереваясь любезно опустить его Хансу на носок. Но в этот момент мое внимание было отвлечено от болтовни, которой готтентот выражал свою радость по поводу нашего бегства, новой расплавленной глыбой, упавшей рядом с нашей лодкой, а непосредственно за нею — ужасающей финальной сценой извержения.

Не могу сказать в точности, что произошло, но только вдруг полотнища пламени и клубы дыма взвились в небо. Это сопровождалось потрясающим землю грохотом и оглушительными взрывами, отдававшимися словно сильнейшие удары грома, и за каждым ударом следовал дождь пылающих камней и поток расплавленной лавы, с шипением низвергавшейся в бурлящую воду. Лодка качалась, и нас заволакивало густыми тучами пепла и каким-то горячим дождем, до того затемнявшим воздух, что мы не видели ни зги перед самым носом. То была грозная демонстрация сил природы, и, по какой-то смутной ассоциации, я подумал о Судном Дне.

— Хоу-Хоу мстит нам! — застонал старый Вэллу. — За то, что мы у него похитили Святую Невесту!

Но здесь его речь оборвалась, и по веской причине — ибо большой горячий камень угодил ему в голову и, по выражению Ханса, пришиб его,

как скотину.

Когда по причитаниям спутников Сабила поняла, что ее отец убит, она совсем очнулась, словно почувствовав, что на нее легла порфира власти.

— Выбросьте из лодки раскаленный камень, — сказала она, — а то он прожжет насквозь дно и мы утонем.

Иссикор исполнил приказание, и, накрыв тело вождя, мы скорбно поплыли вперед. По счастливой судьбе, поднявшийся с берега ветер задержал и отогнал к острову горячий дождь и пемзовые тучи, и мы опять получили возможность видеть окружающее. Теперь единственную опасность представляли камни, падавшие в воду вокруг нас, вздымая фонтаны пены. Мы плыли точно под тяжелой бомбардировкой, но, к счастью, больше ни один камень не попал в лодку и по мере приближения к пристани риск все уменьшался. Впрочем, впоследствии мы узнали, что некоторые камни долетали до берега.

Однако нам пришлось пройти еще одно испытание, ибо вдруг мы врезались в целую флотилию примитивных пирог, или просто связок тростника и бурелома, на которых сидели верхом волосатые дикари, гребя двухлопастными веслами.

Полагаю, то была армия Дэчи, которую он собрался выслать на город Вэллу. Как ни низко стояли волосатые дикари на скале человечества, они оказались достаточно проницательными, чтобы установить связь между нами и происходящей катастрофой. Визжа и тараторя, как некоторые крупные обезьяны, они тыкали пальцами то на адское зрелище разрушающего вулкана, то на нас.

Затем со своим жутким боевым кличем «хоу-хоу! хоу-хоу!» они приступили к нападению.

Оставалось одно: открыть огонь, что мы с Хансом сделали успешно, и в то же время спасаться, пользуясь нашей превосходящей скоростью. Должен сказать, что эти безобразные жалкие твари выказали замечательную отвагу. Невзирая на смерть своих товарищей, которых поражали наши пули, они упорно старались приблизиться к нам вплотную, с явным намерением опрокинуть лодку и потопить нас всех.

Мы с Хансом стреляли как только могли быстро, но все же этим путем мы справлялись лишь с десятой долей нападающих, так что главная надежда была на скорость и изворотливость. Сабила стояла в лодке и отдавала команду гребцам, в то время как Ханс и я стреляли сперва из ружей, потом из револьверов.

Все-таки один гориллоподобный великан с заросшим волосами звериным лбом схватился за корму и начал переворачивать лодку. Ни

ружья, ни револьверы не были заряжены. Тумаки не помогали — он не отпускал нас. Лодка качалась все сильнее и сильнее и начала зачерпывать воду.

Когда я думал уже, что настал конец, так как и другие нападающие были совсем близко, Сабила со смелостью отчаяния спасла положение. Рядом с ней лежала тяжелая пика того жреца, которого Ханс сбросил в канал около шлюзов. Сабила схватила ее и с неожиданной силой пронзила звероподобного великана. Он отпустил лодку и погрузился в воду. Искусным маневрированием мы ускользнули от остальных и через три минуты были уже вне досягаемости.

— Поработали мы этой ночью, баас! — разглагольствовал Ханс, отирая пот со лба. — Может быть, если около самого берега нас не проглотят крокодилы, если эти дураки не принесут нас в жертву призраку Хоу-Хоу и если нас не убьет молнией, баас позволит мне выпить здешнего пива, когда мы вернемся в город? От всего этого огня у меня пересохло в горле.

Наконец мы доехали. Мне казалось, что прошли десятки лет с тех пор, как я покинул эту пристань, которую мы нашли запруженной смертельно напуганным населением. Они приняли тело вождя в почтительном молчании, но как будто без особого огорчения. Право, этот народ словно изжил все сколько-нибудь острые человеческие страсти. Время вместе с гнетом низменного фетишизма сгладило их характеры и превратило их в автоматы, которые прислушиваются, навострив уши, к голосу бога, улавливая его в каждом естественном звуке. По правде сказать, при всем интересе к их происхождению, я чувствовал презрение к этим вырожденцам.

Возвращение Сабилы их весьма удивило, но не вызвало восторга.

— Она жена бога, — расслышал я чей-то голос, — она бежала от бога, оттого и разразились все эти бедствия.

Сабила тоже расслышала и с воодушевлением повернулась к народу. Девушка уже вполне овладела собой, чего отнюдь нельзя было сказать об Иссикоре, который, вместо того чтобы одуреть от радости, был молчалив и подавлен.

— Какие бедствия? — спросила она. — Правда, мой отец умер, убитый раскаленным камнем, попавшим в него, и я его оплакиваю. Но он был очень стар и должен был скоро отойти. А разве несчастье, что, благодаря храбрости и силе чужеземных гостей, я, его дочь, освободилась от когтей Дэчи? Говорю вам, бог — это Дэча. Хоу-Хоу, которому вы поклоняетесь, — всего лишь размалеванный идол. Если не верите,

спросите мою сестру Драману, забытую вами, мою сестру, которую в прошедшие годы вы отдали богу Святой Невестой. Разве несчастье, что ненавистная дымящая гора тает, объятая пламенем, и больше не будет пещеры таинств, внушавшей ужас? Ныне сбывается пророчество, что нас освободит Белый Вождь С Юга!

Эта пламенная речь заставила замолчать смущенную толпу. Сабила взглянула на поникшие головы и продолжала:

— Иссикор, нареченный мой, выступи вперед и возвести народу свою радость. Чтобы спасти меня от Хоу-Хоу, ты внял моей мольбе и отправился в далекие земли искать помощи у великого Южного Волхва. Он прислал избавителя, и я спасена, и конец жестоким законам, ибо побежден Хоу-Хоу и жрецы его убиты силой и мудростью Белого Вождя. Возвести же народу, нареченный мой, как велика твоя радость, что не напрасно ты ездил и не напрасно вняли они твоей мольбе о содействии. Вот стою я перед вами, свободная и незапятнанная, и отныне земля наша избавлена от проклятия Хоу-Хоу. Да, возвести это народу и выскажи нашу благодарность доблестным чужеземцам.

Как ни был я утомлен, однако не без волнения ждал я, что скажет Иссикор. И что же? После некоторой паузы он выступил вперед и начал, запинаясь:

— Я радуюсь, возлюбленная, что ты спасена, но когда я приглашал Белого Вождя С Юга, я надеялся, что он спасет тебя как-нибудь иначе — не свершая святотатства и не убивая жрецов бога огнем и водой. Ты заявляешь, госпожа Сабила, что Хоу-Хоу умер, но как мы можем это знать? Он дух, а может ли дух умереть? Мертвый ли дух поразил камнем Вэллу? И не может ли он поразить камнями многих из нас — прежде всего тебя, госпожа моя, тебя, стоявшую на скале Приношений в покрывале Святой Невесты?

— Баас, — задумчиво проговорил Ханс, нарушая воцарившуюся за этими робкими вопросами тишину. — Как вы думаете, действительно ли Иссикор мужчина, или, на самом деле, он сделан из дерева и раскрашен под человека, как Дэча был раскрашен под Хоу-Хоу?

— Я думаю, что он был человеком в Черном ущелье, Ханс, но тогда он был далеко от Хоу-Хоу. А теперь я не поручился бы. Но, может быть, он только очень испуган и мало-помалу придет в себя.

А Сабила только смерила взглядом своего красивого жениха и не вымолвила ни слова, по крайней мере ему. Затем она повернулась к толпе и властным голосом сказала следующее:

— Да будет вам известно: мой отец умер и отныне я — Вэллу, и мне

вы должны повиноваться. Возвращайтесь к своей работе и ничего не бойтесь, ибо больше нет Хоу-Хоу, Волосатый Народ разбит. Я же иду отдыхать и беру с собой их, моих гостей и избавителей, — и она указала рукой на меня и на Ханса, — а потом я буду говорить с вами, и с тобой также, господин мой Иссикор. Унесите тело покойного Вэллу, моего отца, в родовую гробницу всех Вэллу.

Она повернулась и в сопровождении нас и присутствовавших членов своей свиты направилась во дворец.

Здесь она с нами простилась, так как мы все были чуть живы от усталости и сильно нуждались в покое. Перед уходом она поцеловала мне руку и со слезами, наполнившими ее прекрасные глаза, поблагодарила меня за все, что я претерпел ради нее. Драмана не преминула сделать то же.

— Почему это, баас, — сказал Ханс, когда мы, перед тем как лечь, уничтожали принесенную нам пищу и туземное пиво, — почему эти дамы не поцеловали руки мне? Ведь я тоже кое-что сделал для их спасения.

— Потому что они слишком устали, Ханс, — ответил я, — и отпустили по одному поцелую на нас обоих.

— Понимаю, баас. Но, наверное, и завтра они все еще будут слишком уставшими, чтобы поцеловать бедного старого Ханса?

С этими словами он вылил в свою чарку все, что оставалось в кувшине, и одним глотком осушил ее.

— Так-то, баас, — сказал он, — по всей справедливости: вам поцелуи, а мне пиво.

Как ни был я изнурен, я не мог удержаться от смеха, хотя, по правде сказать, не прочь был бы выпить еще стаканчик. Затем я повалился на постель и моментально заснул.

Это факт, что я проспал весь остаток дня и всю следующую ночь и проснулся, лишь когда первые лучи солнца осветили нашу комнату сквозь заменявшее нам окно отверстие в крыше. Когда я открыл глаза, чувствуя себя совсем другим человеком и благословляя небо за этот дар сна, Ханс был уже на ногах и чистил ружья и револьверы.

Я смотрел на маленького уродливого готтентота и думал о том, как это чудесно, что столько отваги, ума и преданности скрывается в этой желтой шкуре и в этом шишковатом черепе. Не будь Ханса, я, несомненно, погиб бы вместе с обеими женщинами. Это ему пришла идея разрушить порохом шлюзы. Всеми грозными последствиями этого вдохновения мы обязаны были только Хансу.

Хотя некоторые соображения приходили мне в голову, все-таки я рассчитывал самое большее затопить низко лежащие поля и, может быть,

пещеру, чтобы отвлечь жрецов от преследования. А мы выпустили на волю мощные силы природы, и вот они разыгрались. Вода проникла по внутренним ходам Вечных Огней в недра вулкана и породила пар, спертое дыхание которого оказалось так велико, что оно разорвало гору, как гнилую тряпку, и навсегда разорило гнездо Хоу-Хоу и всех его радетелей.

В этом грозном событии мне чудилась воля судьбы, избравшей Ханса своим орудием. И вот смекалка маленького готтентота смела с лица земли злую тиранию и сразила идола-кровопийцу и всех его служителей.

А как благоразумно вел себя Ханс в лодке? Попробуй он силой заставить этих трусливых фетишистов немедленно взять нас на борт, как я его заставлял, они, по всей вероятности, из опасения нарушить свой дурацкий «закон», стали бы сопротивляться и, пристукнув Ханса веслом по голове, уплыли бы совсем восвояси, предоставив нас нашей судьбе. Но у него достало терпения ждать, хотя сердце разрывалось на части в тревоге обо мне.

От Ханса мысли мои перешли к Иссикору. Почему характер этого человека в корне переменился с тех пор, как он прибыл на родину?

Его путешествие за сотни верст, которое он совершил совершенно один, было настоящим подвигом. Но со дня возвращения домой Иссикор превратился в нравственное ничтожество. Какого труда стоило убедить его отвезти нас на остров! А при первом призраке опасности он бросил нас и бежал.

Далее, он покорно повел свою возлюбленную на казнь и пальцем не пошевелил, чтобы ее спасти. Наконец, несколько часов тому назад он произнес малодушную позорную речь, явно возмутившую его невесту, которая после своего спасения и смерти отца словно обрела все то мужество, что утратил он, и даже более.

Эту необъяснимую для меня загадку я передал на разрешение Хансу.

Он внимательно выслушал меня и ответил:

— Баас не держит глаза открытыми — по крайней мере днем, когда не подозревает об опасности. Если бы у бааса глаза были открыты, он бы понял, почему Иссикор стал мягок, как раскаленный брус железа. Что делает людей мягкими, баас?

— Любовь, — ответил я.

— Да, иногда любовь делает людей мягкими — таких людей, как баас. А еще что, баас?

— Пьянство, — свирепо отразил я удар.

— Да, и пьянство делает людей мягкими. Таких людей, как я, баас, которые знают, что иногда самое мудрое — перестать быть мудрым, дабы

небо не позавидовало нашей мудрости и не захотело бы ее урезать. Но что делает мягким всякого человека?

— Не знаю.

— В таком случае, я опять позволю себе поучать бааса, как меня наставлял его преподобный отец, сказав мне перед смертью: «Ханс, когда ты увидишь, что мой сын попал в лужу, ты его вытаскивай, Ханс».

— Ах ты, лгунишка! — воскликнул я, но Ханс невозмутимо продолжал:

— Баас, всех людей делает мягкими страх. Иссикор гнется, как раскалившийся шомпол, потому что внутри него горит огонь страха.

— Страха перед чем, Ханс?

— Как я уже сказал, если бы у бааса глаза были открыты, он бы знал. Заметил ли баас: когда мы впервые высадились на пристани, к Иссикору подошел высокий темнолицый жрец, перед которым расступалась толпа?

— Заметил. Он вежливо поклонился и, мне показалось, поздравил Иссикора и сделал ему какой-то подарок.

— А разглядел ли баас, что это был за подарок, и расслышал ли слова приветствия? Баас качает головой. Хорошо; зато Ханс разглядел и расслышал. Тот подарок был маленький череп, вырезанный из почерневшей слоновой кости или раковины, или, может быть, из куска полированной лавы. А слова были следующие: «Дар от Хоу-Хоу господину Иссикору, дар, который Хоу-Хоу посылает каждому, кто нарушит закон и осмелится покинуть страну Вэллу».

Потом жрец отошел, а что сделал с подарком Иссикор, я не знаю. Может быть, он носит его на шее, потому что у него нет часовой цепочки, как у бааса, на которой баас носит обыкновенно вещицы, подаренные ему дамами, или их портреты в маленькой серебряной табакерке.

— Так, а что означает череп, Ханс?

— Баас, я наводил справки у старого гребца в лодке — для того, чтобы убить время, баас, пока Иссикор был на другом конце и не мог нас услышать. Череп означает смерть, баас. Помните, баас, в Черном ущелье нам говорили: кто осмелится оставить страну Хоу-Хоу, непременно умрет от какой-нибудь болезни. Иссикор благополучно выбрался и оставил болезнь позади, вероятно потому, что жрецы не знали о его отъезде. Но он сделал ошибку, баас, и вернулся назад, влекомый любовью к Сабиле — совсем как рыбу приманка завлекает на крючок, баас. И крючок крепко вонзился ему в горло, потому что жрецы прекрасно знали о возвращении Иссикора, баас, и, конечно, ждали его.

— Что ты говоришь, Ханс? Как могут жрецы преследовать Иссикора,

когда они все мертвы?

— Да, баас, они все мертвы и никому больше не могут чинить вреда, но Иссикор прав, говоря, что Хоу-Хоу не умер, потому что черт не умирает, баас. Его жрецы погибли, но все-таки Хоу-Хоу сумел убить старого Вэллу — и так же он сможет убить Иссикора. В делах фетиша, баас, есть много такого, что непонятно для добрых христиан, как вы да я. Фетиш не властен над христианами, баас. Вот почему Хоу-Хоу не может убить нас, но кто поклоняется Черному, Черный того в конце концов схватит за горло.

Я подумал по себя, что Ханс, сам того не сознавая, высказал одну из глубочайших и самых основных истин. Однако, не вдаваясь в рассуждения, я только спросил, как он себе представляет, что именно произойдет с Иссикором. Он ответил:

— То, что я уже сказал: Иссикор умрет. Старый гребец объяснил мне, что «Черный череп» приносит смерть в течение месяца, а иногда и раньше. Судя по виду, Иссикор не протянет и недели. Он хоть и красив, но очень глуп, баас, так что большой беды в этом нет. Сабила долго горевать не будет. Да, баас, Иссикор изменился, и Сабила изменилась, потому что для нее страх смерти миновал.

— Чепуха! — воскликнул я, хотя сам разделял эти подозрения. Я кое-что понимал в фетишизме. Конечно, эта религия — вздор, но вздор крайне вредный. Мы не знаем, до чего губительна власть наследственных предрассудков над душой дикаря или вообще примитивного, невежественного человека. Если жертве такого суеверия предречь (со всей торжественностью обычаев, от лица бога или беса), что она должна умереть, то в девяти случаях из десяти она действительно умирает. Никто не убивает ее, но она совершает некое нравственное самоубийство. По выражению Ханса, страх делает ее мягким. Какой-то недуг снедает ее, расшатывая всю его нервную систему, и в урочный час прерывается физическая жизнь человека.

Такова участь несчастного Иссикора.

Глава XV. Прощание Сабилы

Теперь остается досказать совсем немного, и так как уже поздно и я вижу, друзья мои, что вы позевываете (это была неправда, мы слушали с глубоким интересом — в особенности же нас заинтересовала загадка душевного состояния Иссикора), буду по возможности краток. Дам вам лишь сжатый конспект:

— В то же утро мы явились к Сабиле, которую нашли очень взволнованной. Это было вполне естественно, принимая во внимание все перенесенные ею испытания. После душевного напряжения и преодоления большой опасности неизменно следует нервная реакция. К тому же она таким страшным и таким неожиданным образом потеряла отца, к которому была нежно привязана. Но настоящая причина скорби была иная.

Иссикор был очень болен. Никто не знал, что с ним, но Сабила была уверена, что он отравлен. Она попросила немедленно отправиться к больному и вылечить его — требование, чрезвычайно меня возмутившее. Я объяснил ей, что совершенно некомпетентен в здешних ядах, что имею при себе лишь немного лекарств, из которых одно только имеет отношение к ядам — противоядие против змеиных укусов. Однако, так как она очень настаивала, я согласился пойти к нему и сделать все, что окажется в моих силах, предупредив, что навряд ли это что-нибудь даст.

Итак, в сопровождении одного старейшины или советника (у зулусов их называют *индунами*) я с Хансом отправился к Иссикору, занимавшему своеобразный красивый дом на другом конце города. Дорога вела вдоль озера, что дало нам возможность полюбоваться на остров — вернее, на то, что некогда было островом.

Теперь там была только низкая темная масса, над которой висели густые облака дыма. Нашим глазам представились красные потоки лавы, бежавшие в озеро. Там больше не было никакого возвышения — вулкан исчез. Пепел все еще падал дождем. Он густым слоем лежал на дороге и покрывал деревья и землю, окрашивая в серое весь ландшафт.

Нас ввели в комнату, где на ложе из шкур лежал Иссикор, окруженный ухаживавшими за ним женщинами — его родственницами, как я узнал впоследствии. При нашем появлении женщины поклонились и вышли, оставив меня и Ханса наедине с больным. Один взгляд убедил меня, что передо мной умирающий. Прекрасные глаза были устремлены в потолок. Он дышал прерывисто. Пальцы машинально сжимались и разжимались, и

время от времени его охватывала жестокая судорога. Я подумал сперва, что это какая-то форма лихорадки, пока не смерил ему температуру имевшимся в моем аптечном ящике термометром, который показал на два градуса ниже нормы. На мои расспросы он отвечал, что не страдает никакими болями, а только испытывает странную слабость и головокружение.

Я спросил, чему приписывает он свою болезнь. Он сказал:

— Это проклятие Хоу-Хоу, владыка Макумазан. Хоу-Хоу убивает меня.

Я спросил, за что, так как было бы бесполезно доказывать больному нелепость его утверждения, и он ответил:

— По двум причинам, господин: во-первых, я покинул страну вопреки запрету, а во-вторых, я привез тебя и желтого человека по имени Свет-Во-Мраке на священный остров, посещать который без приглашения есть великий грех. За это последнее преступление я умираю раньше, но все равно гибель моя была неизбежна, ибо я покинул страну и отправился искать помощи для Сабилы. Вот доказательство. — И он извлек откуда-то из своей одежды маленький черный «Череп Смерти», о котором мне говорил Ханс. Затем, не позволив мне прикоснуться к ужасному предмету, он опять его спрятал.

Я пытался высмеять эти убеждения, но Иссикор только грустно улыбнулся и сказал:

— Я знаю, что ты должен считать меня трусом, но проклятие Хоу-Хоу изменило мой дух. Молю тебя, объясни все Сабиле, которую я люблю, но которая тоже считает меня трусом — я вчера прочел в ее глазах презрение. А теперь, пока я в силах говорить, слушай меня. Во-первых, благодарю тебя и твоего друга, Господина Огня, за то, что доблестью или волхованием — не знаю, чем — спасли вы Сабилу от Хоу-Хоу и сокрушили его дом, и жрецов его, и, как мне говорили, его образ. Хоу-Хоу воистину жив, потому что не может умереть, но отныне здесь у него нет ни жилища, ни изваяния, ни почитателей — а потому власть его над душами и телами людей миновала и вымрет его культ среди вэллосов. Быть может, больше никто из моего народа не погибнет от проклятия Хоу-Хоу.

— Почему же ты должен умереть, Иссикор?

— Потому что проклятие упало на меня раньше, господин, когда Хоу-Хоу еще царствовал над вэллосами, как он царствовал над ними искони — он, который некогда был их законным царем.

Я начал спорить против этой ереси, но он поднял руку в знак протеста и продолжал:

— Господин, времени у меня мало, а я должен сказать тебе еще кое-что. Скоро меня не станет и я буду всеми забыт, даже Сабилой, которую

надеялся звать супругой. Поэтому прошу тебя жениться на Сабиле.

Я опешил, но сдержался и дал ему закончить.

— Я уже велел ее известить, что такова моя последняя воля. Я также известил об этом всех старейшин народа, и сегодня на утреннем совещании они одобрили этот брак, который справедлив и мудр, и послали вестника сказать мне, чтобы я умер как можно скорее, дабы не задерживать вашу свадьбу.

— Великие небеса! — воскликнул я, но он опять остановил меня и продолжал:

— Господин, хоть Сабила не твоей расы, все же она очень красива и очень умна. С таким супругом, как ты, она превратит вэллосов в великий народ, каким, по преданию, они были в древности, пока не пало на них то проклятие Хоу-Хоу, которое ныне сгинуло. Ибо и ты мудр и смел и знаешь многое, чего не знаем мы. Народ будет тебе служить как богу, и, может быть, станет поклоняться тебе вместо Хоу-Хоу — и ты дашь начало могущественной династии. Сперва эта мысль может показаться тебе странной, но скоро ты поймешь ее величие! Как бы то ни было — если даже ты не согласен, будет так, как я сказал.

— Почему? — спросил я, будучи не в силах больше сдерживаться.

— Потому, господин, что ты теперь пленник в этой стране, и при всей твоей храбрости тебе отсюда не уйти, ибо никто не повезет тебя вниз по реке и за тобой будет надзор. Мало того, вернувшись в дом Вэллу, вы не найдете своих зарядов, кроме тех немногих, которые имеете при себе, так что, значит, вы почти безоружны. А потому, раз ты должен оставаться здесь до конца своей жизни, тебе лучше жить с Сабилой, чем с какой-нибудь другой женщиной, ибо она прекраснее и умнее их всех. По праву крови она правительница, и, женившись на ней, ты станешь Вэллу, как стал бы я, согласно нашему обычаю.

Тут он закрыл глаза и минуту, казалось, лежал без сознания. Но вот он опять поднял веки и, глядя на меня в упор, простер свои слабые руки и воскликнул:

— Да здравствует Вэллу! Долгие лета и слава великому Вэллу!

Но этим дело не кончилось, ибо, к ужасу моему, из-за перегородки, словно эхо, отозвались женские голоса:

— Да здравствует Вэллу! Долгие лета и слава великому Вэллу!

Иссикор опять впал в беспамятство. Ничто, казалось, не доходило до его сознания. Подождав немного, мы с Хансом вышли, считая что настал конец. Но мы ошиблись, ибо он прожил до ночи и, как мне говорили, перед кончиной пришел на несколько часов в полное сознание. В эти часы его

навестила Сабила в сопровождении знатнейших из советников. Тогда-то, должно быть, этот несчастный, но самоотверженный Иссикор, красивейший изо всех виденных мною людей, если не к моему, то к своему собственному удовлетворению, сделал все, что было в его силах, для блага своей родины и дамы сердца.

— Что же, баас, — сказал Ханс, когда мы вышли наконец за порог, — я полагаю, надо нам идти домой? Теперь это ваш дом, не правда ли, баас? Эх, баас, бесполезно теперь смотреть на реку, ибо, как вы видите, эти вэллосы так предусмотрительны, что уже прислали нам царскую свиту, как подобает вождю.

Я оглянулся. Ханс сказал правду. Вместо одного старейшины, провожавшего нас до дома, у дверей ждали двадцать здоровых ребят, вооруженных копьями. Они приветствовали меня весьма почтительно и настояли на том, чтобы следовать за мной по пятам. Так мы пошли назад под конвоем. Ханс всю дорогу ораторствовал:

— Я этого ожидал, баас. Когда мужчина по своей натуре очень любит женщин, баас, они это понимают без слов, баас, и готовы, со своей стороны, полюбить его. Госпожа Сабила с того момента, как увидела вас, ни чуточки не думает об Иссикоре, хоть он так хорош собой и так далеко ездил ради нее. Нет, баас, она увидела, что в вас есть нечто такое, чего ей не найти в двух с лишним ярдах господина Иссикора, который, в сущности, просто надутый барабан и только производит шум, если по нему ударить — маленький шум при здоровом тумаке. А впрочем, чем бы он ни был, теперь с ним кончено, и не стоит тратить время на разговоры о нем.

Что же? Страна недурна, жить можно, тем более теперь, когда почти все хоу-хойа померли — вон сколько их тел прибило к берегу, — а пиво, без сомнения, можно будет сварить покрепче, и табак здесь есть. Нам тут будет неплохо, пока не надоест, баас. А тогда, авось, удерем. Все же я рад, что меня тут не заставят жениться, баас, или работать, как целую упряжку волов, чтобы вытащить из тины здешних дураков.

Так он шел, болтая всякий вздор, а я был до того подавлен, что слова не мог вымолвить. Правда, всегда случается то, чего не ждешь. Каких только опасностей не предвидел я за последние несколько дней, сколько опасностей преодолел! Но это мне и не снилось! Пустяки — судьба! Посадят тебя пленником в золоченую клетку да еще заставят зарабатывать на жизнь, как дрессированную обезьяну. Отлично, я пролезу меж прутьев решетки, или мое имя не Аллан Квотермейн. Однако в данный момент решетка представлялась слишком частой и крепкой, тем более что за нами шагали эти джентльмены с копьями.

Должным порядком мы прибыли во дворец Вэллу и прошли прямо в свою комнату. Ханс тотчас произвел обследование в углу и воскликнул.

— Иссикор был прав, баас! Все патроны исчезли, и ружья тоже. Теперь у нас остались только револьверы и двадцать четыре заряда на двоих.

Я посмотрел — нет ружей! Посмотрел в окно — и что же! В саду мои двадцать человек уже размечали места, где поставить сторожевые будки.

— Они хотят устроиться поблизости, чтобы быть под рукой, когда понадобятся баасу — или когда баас понадобится им, — многозначительно выговорил Ханс и прибавил: — Я думаю, куда бы Вэллу ни пошел, ему всегда полагается свита в двадцать человек.

Ближайшие дни я совсем не видал ни Сабилы, ни Драманы, так как они были заняты торжественным погребением сперва Вэллу, потом несчастного Иссикора. Меня и Ханса по каким-то религиозным мотивам на похороны не приглашали.

Неизменно меня цепко караулили несколько старейшин. Стоило мне высунуть нос за дверь, как они появлялись из-за угла и с низким поклоном выступали вперед, не упуская случая наставлять меня в истории и обычаях вэллосов. Мне казалось, что я опять превратился в школьника, читаю «Сэндфорда и Мэртона» и усваиваю науки посредством бесед. Надоели мне эти джентльмены до смерти. Чтобы отвязаться от них, я предпринимал долгие прогулки скорым шагом, но они доблестно семенили рысцой со мной рядом, пока не валились с ног, и все говорили, говорили без умолку. А если мне удавалось увернуться от старых советников, то эскорт из двадцати оказывался тут как тут. И когда моим телохранителям казалось, что я захожу куда не следует, то десятеро из них кидались вперед и учтиво преграждали мне дорогу.

Наконец на третий или четвертый день все погребальные церемонии кончились, и меня вызвали к Сабиле.

Как сказал впоследствии Ханс, все было очень красиво. Сцена не лишена была пафоса со своим несколько мишурным полузабытым церемониалом, унаследованным от высококультурной расы.

Сабила была великолепна в своем пышном варварском одеянии. Не без достоинства разыграла она роль королевы, как это делали ее прабабушки в течение тысячелетий. Ее окружали седовласые придворные *индуны* — те самые, что так отравляли мне прогулки.

Однако процедура показалось мне очень скучной, ибо все старейшины по очереди произносили речь, в которой повторяли все сказанное предыдущим оратором, рассказывая с некоторыми вариациями все происшедшее в стране с тех пор, как нога моя впервые ступила на их берег,

и прибавляя к этому фантастический отчет о содеянном мной и Хансом на острове.

Из этих речей я узнал, что дикий Волосатый Народ, именуемый Хоу-хойа, погиб в великой катастрофе и в живых для продления племени осталась лишь горсточка стариков, женщин и детей. Поэтому, по их словам, вэллосам на два-три поколения не грозит опасность со стороны диких соседей, что и доказывает плач, поднимавшийся в лесу по ночам (я сам слышал его, страшный трагический хор почти животного горя). Этот плач, говорили безжалостные мудрецы, приносил вэллосам великое счастье, и теперь самое время выследить Волосатый Народ и перебить их до последнего младенца. По их разумению, я был весьма подходящим человеком для выполнения этой задачи!

Когда все высказались, настала очередь Сабилы. Она поднялась со своего трона и обратилась ко мне с подлинным красноречием. Прежде всего она напомнила о своем горе — утрате отца и нареченного, — которое отягчало ее слабое женское сердце. Затем она очень трогательно поблагодарила Ханса и меня за все, что мы сделали ради ее спасения. Только благодаря нам избегла она смерти или еще более горькой участи сделаться жалкой рабой в доме Хоу-Хоу, который мы сокрушили вкупе с самим Хоу-Хоу и тем освободили и ее, и ее страну. Далее она провозгласила в заранее подготовленных выражениях, что теперь ей не время думать о прошлых горестях и погибшей любви, ибо она должна смотреть в будущее. Для человека, подобного мне, может быть лишь одна достойная награда — царский скипетр и в придачу ее собственная прелестная королевская особа.

Посему, согласно желанию своих советников, она назначила нашу свадьбу на четырнадцатое утро от настоящего дня, после чего по праву брака я буду всенародно провозглашен законным Вэллу. При этом она пригласила меня сесть рядом с ней на специально для сего случая приготовленный пустой стул, дабы мы могли обменяться поцелуем помолвленных.

Можете себе представить, как я был ошеломлен. Я не находил, что сказать, язык точно прилип к гортани. Я сидел неподвижно. Эти старые обезьяны уставились на меня, а Сабила следила за мной уголком глаза и ждала. Молчание становилось мучительным. Ханс кашлянул и прошептал:

— Уступите, баас, и конец. Не так это страшно, как кажется, и, право, многим бы даже понравилось. Лучше поцеловать красавицу, чем чтобы вам перерезали горло. Если женщина публично просит ее поцеловать, а мужчина отказывается — она этого никогда ни при каких обстоятельствах

не прощает, баас.

Я понял справедливость этого довода и, коротко говоря, сел на знаменитый стул и сделал… ну, словом… то, что от меня требовалось. Господи! Каким дураком чувствовал я себя, когда эти идиоты возликовали и Ханс ухмылялся на меня снизу, как целая свора павианов в клетке. Впрочем, то была лишь простая церемониальная формальность — легкое прикосновение губами ко лбу прекрасной Сабилы и такое же прикосновение в ответ.

После поцелуя мы некоторое время сидели рядом и слушали, как эти старые болваны пели смешную песню о бракосочетании героя с богиней, сочиненную на этот случай. Пользуясь шумом, который был весьма силен, ибо легкие у них были превосходные, Сабила тихо проговорила, не поворачивая ко мне головы и даже не глядя на меня:

— Господин, старайся не казаться таким несчастным, чтобы эти люди ничего не заподозрили и не стали нас подслушивать. По закону, — продолжала она, — мы не должны встречаться до самой свадьбы, но мне нужно увидеться с тобой наедине сегодня ночью. Не бойся, хотя я поневоле приду одна, ты можешь привести с собой своего товарища, ибо то, что я желаю сказать, касается вас обоих. Жди меня в коридоре, ведущем из этой комнаты в твою, ровно в полночь, когда все спят. В коридоре нет окна, и стены там толсты — нас не увидят и не услышат. Не забудь запереть за собой дверь, а я запру дверь в эту комнату. Ты понял?

С остервенением хлопая в ладоши, чтобы выразить свое восхищение музыкальным антрактом, я шепнул в ответ, что понял и приду непременно.

— Отлично. Когда кончится пение, объяви, что имеешь ко мне просьбу. Ты потребуешь, чтобы завтра тебе дали лодку и гребцов для поездки к острову. Скажи, что ты должен удостовериться, не осталось ли на его берегах кого-нибудь из лесного племени. Если да, то ты, мол, должен принять меры к тому, чтобы покончить с ними и не дать им убежать. А теперь больше ни слова.

Наконец песня кончилась, а с нею — и вся церемония. В знак окончания Сабила встала с трона и поклонилась мне. Я ответил тем же. Затем мы публично распрощались до счастливого свадебного утра. Однако, прежде чем всем разойтись, я во всеуслышание попросил как особой милости, чтобы мне разрешили посетить остров или хотя бы объехать вокруг него, и привел указанные Сабилой причины. Сабила сказала в ответ: «Да будет так, как хочет мой господин» — и, прежде чем кто-либо успел возразить, удалилась в сопровождении нескольких придворных дам и Драманы, которой, видимо, не нравился принятый событиями поворот.

Перехожу к ночному свиданию. В условленное время я вышел в коридор вместе с Хансом, пытавшимся уклониться, ссылаясь на голландскую пословицу, что двое — пара, а третий всегда лишний. Несколько минут мы прождали в темноте. Но вот в конце коридора отворилась дверь, и навстречу нам появилась Сабила в белой одежде, с факелом в руках. В этой обстановке, при этом освещении она казалась прекраснее, чем когда-либо. Не тратя времени на приветствия, она сказала:

— Господин мой, Бодрствующий В Ночи, я нахожу тебя стерегущим ночью, согласно моей просьбе. Эта просьба могла показаться тебе странной, но выслушай мои причины. Ты, конечно, не можешь предполагать, чтобы я хотела нашего брака, неугодного тебе. Я принадлежу к другой расе, и ты во мне видишь только полудикую женщину, которую по воле судьбы ты спас от позора или смерти. Нет, не возражай, умоляю тебя, ибо иногда правда бывает хороша. Я также откровенно выскажу причину, почему мне самой неугоден этот брак, вернее главнейшую причину: я любила Иссикора, который с детства был товарищем моих игр, пока не стал для меня более чем товарищем.

— Да, — перебил я ее, — я знаю, что и он тебя любил. Но почему же на смертном одре он сам настаивал на нашем браке?

— Потому, господин, что у Иссикора было благородное сердце. Он считал тебя величайшим человеком, полубогом, как говорил он мне. И он думал, что ты составишь мое счастье, и будешь мудрым правителем, и пробудишь страну от сна. Наконец, он знал, что если ты не женишься на мне, ты будешь убит вместе со твоим другом. Быть может, он судил неправильно, но не следует забывать, что дух его был омрачен ядом — ибо я убеждена, что не от единого страха умер он.

— Понимаю. Честь ему и слава, — сказал я.

— Благодарю. Знай, господин мой, что, хотя я невежественна, я верю в новую жизнь за вратами смерти. Быть может, эта вера перешла ко мне от моих праотцов, поклонявшихся другим богам, кроме беса Хоу-Хоу; но такова моя вера. И я надеюсь, что когда я преступлю врата смерти (чего, быть может, мне недолго ждать), за порогом я встречу Иссикора — того Иссикора, каким он был до проклятия Хоу-Хоу и яда жрецов. И по этой причине я не стану женой ни одному живущему.

— Честь и слава тебе также, — пробормотал я.

— Благодарю, господин. Теперь перейдем к другим делам. Завтра после полудня будет готова лодка, и в ней ты найдешь украденное у вас оружие и все ваши вещи. На веслах будут сидеть четыре гребца люди, известные в городе как доносчики, служившие жрецам Хоу-Хоу. Теперь,

когда Хоу-Хоу нет, они обречены на смерть от болезни или несчастного случая, ибо советники Вэллу боятся, как бы эти люди не восстановили владычества Хоу-Хоу. А потому они страстно желают покинуть эту страну, пока не поздно.

— Ты виделась с этими людьми, Сабила?

— Нет, но Драмана виделась. А теперь, господин, я должна тебе сообщить нечто, — если только ты сам не догадался, ибо я говорю это не без стыда. Драмана не хочет нашего брака, господин. Ты спас Драману, равно как и меня, и Драмана, подобно Иссикору, видит в тебе полубога. Достаточно тебе сказать, что по этой причине она хочет тебе свободы, предпочитая, чтобы ты был потерян для нас обеих, чем чтобы остался здесь моим супругом. Довольно ли того, что я сказала?

— Вполне, — ответил я, зная, что Сабила говорит правду.

— Итак, мне остается только прибавить, что, я надеюсь, все пойдет благополучно и на рассвете следующего дня ты и желтый человек, твой слуга, будете за пределами этой проклятой страны. Затем я прошу тебя: в своей родной стране вспоминай иногда Сабилу, несчастную царицу обреченного народа, как изо дня в день, вставая с постели и ложась спать, она будет думать о том, кто спас ее от гибели. Прощай, господин мой, счастливого пути; и тебе, Свет-Во-Мраке, счастливого пути!

Она взяла мою руку, поцеловала ее и вышла так же плавно, как вошла.

Так в последний раз я видел Сабилу Прекрасную. С тех пор я не слышал о ней. Не знаю, долго ли она прожила. Но думаю, что нет; в ту ночь в ее глазах я увидел смерть.

Глава XVI. Не на жизнь, а на смерть

Ныне, подобно шотландскому пастору, я наконец приступаю к тому вдохновенному слову, при котором просыпается самая сонная паства. Все утро после полночного свидания мы с Хансом просидели в нашей комнате, ибо, по вэллосскому этикету, за несколько дней до свадьбы жених не должен выходить из дому без специального разрешения, дабы не соблазнила его очей чужая красота.

В полдень мы поели, вернее, поскольку идет речь обо мне, сделали вид, что едим, ибо беспокойство лишило меня аппетита. Некоторое время спустя явился начальник нашей тюремной стражи — назовем мою свиту ее подлинным именем — и доложил, что ему поручено проводить нас до лодки, которая повезет нас осматривать то, что осталось от острова. Я ответил, что мы милостиво соизволяем идти. Итак, собрав наше скромное имущество, вплоть до узелка со сменой белья и вязанки веток Древа Видений, мы вышли и отправились на пристань под конвоем тюремщиков, лица которых надоели мне до тошноты. У пристани нас ждала небольшая лодка. Четыре гребца с закрытыми лицами, все четверо крепкие ребята, подняли весла в знак приветствия. По-видимому, набережную заранее очистили от зевак. На пристани был только один человек — женщина в длинном черном плаще, скрывавшем ее лицо.

Когда мы садились в лодку, женщина подошла к нам и скинула капюшон. Я узнал Драману.

— Господин мой, — сказала она. — Я прислана моей сестрой, новой Вэллу, сказать тебе, что ты найдешь железные трубы, плюющие огнем, и все, что к ним относится, под рогожей на носу лодки. Она просила пожелать вам от ее имени счастливого пути до острова, некогда называвшегося Священным, каковой остров она не желала бы еще раз увидать.

Я поблагодарил Драману и просил передать поклон Вэллу, моей невесте, и громко прибавил, что надеюсь в скором времени приветствовать ее лично, когда с нее «спадет покрывало».

Засим я повернулся, чтобы войти в лодку.

— Господин, — сказала Драмана, судорожно сжимая пальцы. — У меня к тебе просьба. Возьми меня с собой посмотреть в последний раз на остров, где я так долго жила рабыней, и который мне хочется увидеть еще раз теперь, когда я свободна.

Я инстинктивно почувствовал, что кризис назрел и что нужно поступить твердо, даже грубо.

— Нет, Драмана, — ответил я, — освобожденному рабу не следует искушать счастье и навещать свою тюрьму, или вновь ее решетки запрутся за рабом.

— Господин, — сказала она, — выпущенному на волю узнику часто тяжела бывает свобода, и сердце его ноет по плену. Господин, я добрая рабыня и любящая, возьми меня с собой!

— Нет, Драмана, — ответил я, прыгая в лодку. — Челнок перегружен. Это не привело бы ни к твоему счастью, ни к моему. Прощай!

Она пристально смотрела на меня, и выражение скорби на ее лице постепенно сменялось гневом, как это часто бывает у оскорбленной женщины. Затем, прошептав что-то вроде «отвержена», она разразилась злобными слезами и пошла прочь. Я, со своей стороны, дал знак отчаливать, чувствуя себя вором и предателем. Но что мне было делать? Правда, Драмана была добрым другом, я был ей признателен. Но мы отплатили ей за помощь, спасши ее от Хоу-Хоу. А в остальном надо же было положить этому конец. Войди она только в лодку, и тогда, выражаясь метафорически, она уже не вышла бы из нее.

Мы выехали в открытое озеро. Яркое солнце весело играло на зыби, и я был рад, что разделался со всеми этими мучительными осложнениями и мог отдохнуть в мире чистых и естественных явлений. Мы доехали до острова и остановились близ того места, где некогда стоял древний город с окаменевшими обитателями. Но мы не сошли на берег; вокруг лишь струились ручьи горячей лавы, стекая в озеро, а развалины исчезали в море пепла. Не думаю, чтобы кто-либо увидел вновь эти странные реликвии прошлого, не знаю сколь отдаленного.

Тихо огибали мы остров и вот подъехали к месту, где была скала Приношений. Она исчезла, а с нею и зев пещеры, и сад Хоу-Хоу с Древом Видений, и все плодородные возделанные поля. Воды озера, мутные и пенные, бились теперь лишь о груду камней, представлявшую собой все, что осталось от Священного острова. Катастрофа была полная: на месте вулкана подымалась лишь глыба остывшей лавы, умирающее сердце которой еще источало красные потоки огненной крови.

Когда мы завершали объезд берегов, где не осталось ни единого живого существа и только раз или два мы видели вздутый полуобезьяний труп хоу-хойа, качающийся на волнах, солнце уже садилось, и прежде чем мы оказались опять на виду у города, стало совсем темно. Пока свет позволял нас видеть, мы гребли прямо на пристань.

Но едва погас последний луч, наши четыре гребца, экс-неофиты Хоу-Хоу, шепотом стали совещаться. Затем наше направление изменилось, и лодка пошла параллельно берегу, пока мы не достигли устья Черной реки. Было так темно, что я не заметил, как мы оставили за гобой озеро и вошли в реку. Я почувствовал этот переход лишь по возросшей силе течения. А течение было очень сильное после разлива и несло нас с большой скоростью. Я боялся, как бы нам в темноте не наткнуться на скалы или на нависшие ветви деревьев, но наши гребцы, очевидно, знали каждую пядь на реке. Мы все время не отклонялись от середины, где течение было особенно сильно.

Так мы плыли, гребя не слишком усердно из опасения неудачного столкновения, пока не взошел месяц, проливающий достаточно света даже в это затемненное место, так как лишь немного дней прошло с полнолуния. Гребцы налегли на весла, и мы стрелой понеслись по полноводной реке.

— Теперь, баас, все обстоит великолепно, — сказал Ханс, — при такой скорости глупые вэллосы вряд ли нас поймают, даже если попробуют. Мы должны считать себя счастливыми: вы — потому, что удрали от двух дам, которые растерзали бы вас на куски в споре из-за вас, я — потому, что покинул страну, где туземное дурачье до того докучало мне, что я бы скоро помер.

Он замолк и вдруг прибавил полным отчаяния голосом:

— Совсем мы не такие удачники! Мы кое-что позабыли!

— Что? — спросил я в тревоге.

— Как же, баас, да те красные и белые камешки, за которыми мы сюда приехали. Сабила наполнила бы ими нашу лодку, попроси мы только ее об этом, и нам бы не пришлось больше работать, а сидели бы мы в самых разлюбезных домах да пили бы лучший джин с утра до ночи.

При этих словах мне положительно стало дурно. Истина была слишком очевидна. Среди трудов, касающихся жизни и смерти, женитьбы и свободы, я совершенно позабыл об алмазах и золоте. Впрочем, я не представляю себе, как бы при прощании попросил их у Сабилы. Это значило бы с горних высот свалиться в туманную долину. Такая меркантильная просьба оставила бы у нее неприятный привкус во рту. Человек, которого она считала, ну, совершенно незаурядным, вдруг напоминает ей, что остается уладить кое-какие денежные делишки и заплатить чистоганом за оказанную услугу. Далее, мешки с драгоценностями непременно возбудили бы подозрения. Конечно, Сабила могла бы поместить их в лодку вместе с оружием. Но их тяжело и неудобно было бы везти, как я объяснил Хансу. И все-таки мне было тошно — еще

раз мои надежды на богатство, вернее, на солидное обеспечение до конца моих дней, рассеялись как дым.

— Жизнь дороже золота, — наставительно сказал я Хансу, — а великий почет лучше того и другого.

Это звучало цитатой из книги пословиц, но я привел ее не совсем правильно, рассчитывая, что, авось, Ханс не заметит неточности. Но он знал больше, чем я думал, ибо ответил:

— Да, господин, наш преподобный отец, бывало, говаривал это и еще прибавлял, что лучше жить на пустой похлебке, как бы от нее не пучило живот, но со спокойной душой, чем в богатых хоромах с двумя вздорными бабами, что случилось бы с вами, баас, если бы вы остались у вэллосов. А теперь мы спокойны, баас, хоть и не набили карманов золотом да алмазами, которые, по вашим словам, чересчур тяжелы — так спокойны, что я думаю вздремнуть, баас. Однако, баас, это что такое?

— Ничего. Это воют в лесу несчастные волосатые женщины по своим мертвецам, — ответил я беспечно, так как вопли отчаяния, гулко раздававшиеся в тишине над рекой, еще звенели в моих ушах. К тому же, мысли мои были заняты потерянными алмазами.

— Хорошо, когда так, баас. Пусть они воют, пока не надорвутся, не моя забота. Но это не крики, это всплеск весел. Вэллосы гонятся за нами. Слышите?

Я прислушался и, к ужасу своему, услышал вдалеке мерные удары весел. Их было много — вероятно, около пятидесяти. За нами гналась большая лодка.

— Ох, баас! Это опять ваша вина. Без сомнения, госпожа Драмана так любит вас, что не хочет с вами расставаться и послала за нами вдогонку большую лодку. А может быть, — прибавил он в приливе новых упований, — это госпожа Сабила присылает нам в качестве прощального дара драгоценности, чтобы мы вспоминали о ней иногда.

— Это проклятые вэллосы посылают нам в дар копья, — мрачно ответил я и прибавил: — Заряди ружья, Ханс. Я не сдамся живым.

Какова бы ни была причина, но было ясно, что нас преследуют, и в глубине души мне хотелось знать, виновата ли в этом Драмана. Конечно, я обошелся с ней грубо, а дикарки бывают порой очень мстительны. Но все-таки мне хочется верить, что она неповинна была в предательстве. Истины я так и не узнал.

Наша команда из четырех беглых шпионов тоже заслышала весла и усиленно принялась за работу. Великие небеса! Как они гребли! Час за часом летели мы вниз по быстрой реке, а за нами с каждой минутой все

ближе раздавались удары неустанных весел. Быстро летела наша лодка. Но у наших преследователей было пятьдесят гребцов, а у нас лишь четверо — как могли мы надеяться на успешное бегство?

Мы как раз проплывали мимо места нашего ночлега при поездке сюда (лес мы уже оставили позади и неслись по ущелью), когда я различил преследующее нас судно на расстоянии полумили вверх по реке. Это была одна из самых больших лодок вэллосского флота. Затем положение месяца изменилось, и в течение нескольких часов я ее не видел. Но было слышно, что она подходит к нам все ближе и ближе, как верная ищейка, нагоняющая беглого раба.

Наши гребцы начали уставать. Мы с Хансом взялись за весла, чтобы двое из них могли отдохнуть и поесть. Потом мы сменили вторую пару. Наша лодка прогадала на этом некоторое расстояние, так как мы были непривычны к гребле. Впрочем, благодаря быстроте течения недостаток ловкости большой роли не играл.

Наконец забрезжил день, отблеск его проник в ущелье, и при слабом неверном свете я увидел преследующую нас лодку в какой-нибудь сотне ярдов позади. То было чарующее в своем роде и незабываемое зрелище. Крутые склоны каменных громад, узкая полоса синего неба между ними, темный бурный поток, а по его поверхности скользит наш утлый челнок с четырьмя измученными гребцами, а за ним несется большое боевое судно, присутствие которого выдает черный силуэт остова и белые полоски взбиваемой веслами пены.

— Они быстро идут, баас, а нам еще далеко. Они нас скоро догонят, баас, — сказал Ханс.

— Значит, мы должны немного задержать их, — ответил я угрюмо. — Подай мне «экспресс», Ханс, а сам бери «винчестер».

Лежа на дне челнока и уперев ружья в корму, мы выжидали удобного момента. Но вот ущелье расширилось, так что мы довольно ясно могли видеть наших преследователей — уже в пятидесяти ярдах от нас.

— Целься пониже, Ханс, — сказал я и выпустил оба заряда из «экспресса» по двум передним гребцам.

Ханс не заставил себя ждать, и так как «винчестер» был на пять зарядов, то он продолжал еще стрелять, когда я уже закончил.

Результат сказался мгновенно. Несколько человек полегло, несколько весел упало в воду, не скажу сколько, и поднялся стон и вопль раненых и их спутников. Среди павших был, по-видимому, кормчий. Лодка закрутилась и некоторое время стояла поперек течения, подставляя под выстрелы дно и угрожая перевернуться. Я зарядил ружье и всадил в нее две разрывных

пули в надежде пробить дно. Должно быть, я достиг цели, так как, выправив курс, она пошла значительно медленнее, и мне казалось, что один из гребцов вычерпывал воду.

А мы летели вперед, пользуясь задержкой неприятеля. Но теперь наши люди были очень утомлены. Руки у них покрылись волдырями, и только страх смерти вынуждал их продолжать грести. Наше продвижение все замедлялось; мы уже двигались только благодаря течению. Поэтому лодка вэллосов, имевшая, должно быть, запасных гребцов, снова стала нас нагонять.

Теперь река вилась по ущелью, так что мы лишь изредка могли видеть наших преследователей. Но каждый раз, как появлялась эта возможность, я хватал «винчестер» и стрелял, несомненно нанося неприятелю урон и задерживая его ход.

Но вот излучины кончились, мы достигли поворота, от которого река бежала около мили по совершенно прямому руслу, в конце его разливаясь болотом, уже знакомым вам. К этому времени обе лодки шли совсем тихо, так как и преследователи, и преследуемые выбились из сил. Каждый раз, когда была возможность прицелиться, я стрелял по врагам, но они шли вперед, упрямо и безмолвно. Нас уже отделяло каких-нибудь двадцать шагов. Пролетело несколько копий, и одно из них вонзилось в дно нашей лодки, едва не задев мою ногу. Но в этом месте ущелье было так тесно, что мне пришлось прекратить стрельбу; я решил приберечь заряды для последней схватки. Наконец мы достигли конца ущелья и врезались в первую илистую отмель болота.

Те из преследователей, кто были еще невредимы, делали последние усилия, чтобы нас догнать. При ярком свете, лившемся с открытого пространства позади нас, я видел их горящие глаза и высунутые пересохшие языки.

— Хватайте все, что у нас есть, и бегите! — крикнул я, сгребая в охапку ружье и все, что было под рукой, включая оставшиеся патроны.

Остальные поступили так же — не думаю, чтобы в лодке осталось что-нибудь, кроме весел. Затем я выскочил на берег и побежал направо по краю болота. Ханс и наши гребцы мчались за мною. Пробежав ярдов шестьдесят, я в полном изнеможении опустился на пригорке, ибо затекшие ноги отказывались нести меня дальше, и ждал, что произойдет. Право, я так измучился, что скорее был готов умереть на месте, чем пытаться бежать вперед.

Мы сели все рядом, ожидая нападения. Но его не последовало. У отмели вэллосы сложили весла и некоторое время сидели уныло в своем

судне, пока не отдышались.

Затем в первый раз за все время преследования эти немые ищейки дали волю языку, и на нас полились проклятия, в особенности же на наших четырех гребцов, неофитов Хоу-Хоу. Вэллосы кричали, что, хотя закон запрещает им дальше преследовать беглецов, они (то есть беглецы) умрут, как умер Иссикор, покинувший страну. Один из наших не удержался от искушения и язвительно возразил, что кое-кто из преследователей умер в попытке задержать нас в стране, в чем они могут убедиться, пересчитав своих гребцов.

На эту очевидную истину преследователи ничего не отвечали, равно как и на вопрос, кто послал их в погоню за нами. В нашу маленькую лодку они сложили тела своих убитых и тихо двинулись вверх по потоку, волоча ее за собой на привязи. Больше я не видел этих прекрасных фанатичных лиц — последний привет проклятой страны, где я чуть не умер или, еще хуже, чуть не сделался пленником на всю жизнь.

— Баас, — сказал Ханс, закуривая трубку, — ведь мы свершили великое путешествие, о котором будет приятно вспоминать теперь, когда оно кончилось, хоть мне жаль, что мы не убили побольше этих похитителей людей, этих вэллосов.

— А я не жалею, Ханс. Напротив, мне горько, что я в них был вынужден стрелять, — ответил я, — и не хотел бы вспоминать об этой гонке не на жизнь, а на смерть, разве что поневоле померещится в ночном кошмаре.

— Не хотели бы? А мне, баас, приятны такие мысли, когда опасность миновала и вот мы живы, а другие умерли и теперь рассказывают сказки мистеру Хоу-Хоу.

— У каждого свой вкус, — проворчал я. Ханс попыхтел в свою трубку и продолжал:

— Странно, баас, почему эти канальи не вышли из лодки и не напали на нас со своими копьями? Побоялись, верно, наших ружей.

— Нет, Ханс, — ответил я. — Они смелые воины, и пули бы их не остановили. Их задержало нечто более сильное — страх проклятия, тяготеющий над каждым, кто переступит границу их земли. Хоу-Хоу оказал нам большую услугу, Ханс.

— Да, баас. В Стране Огней он стал христианином и воздает добром за зло, подставляя вторую щеку, баас. Ведь часто люди, умирая, становятся святыми, баас. Я это чувствовал на себе, когда вэллосы чуть-чуть нас не поймали. Помните, баас, ваш преподобный отец говорил, бывало, что если ты любишь небеса, то и небеса заботятся о тебе и вытаскивают тебя из

всякой грязной ямы, в которую ты угодишь. Вот почему я теперь сижу и покуриваю, баас, вместо того, чтобы служить пищей крокодилам. Если бы мы еще не забыли алмазов, я бы сказал, что небо совсем хорошо заботилось о нас. Но было столько хлопот, что, может быть, и небо забыло о драгоценностях.

— Нет, Ханс, — ответил я, — небо предусмотрело, что если бы мы вздумали вытаскивать из лодки мешки с камнями в придачу к зелью Зикали и всему прочему, то вэллосы догнали бы нас прежде, чем кинулись бежать. Ведь они были очень близко, Ханс.

— Да, баас, понимаю, и это было очень мило со стороны небес. А теперь, я думаю, нам пора двигаться в путь. Вэллосы могут позабыть на время о проклятии и вернуться, разыскивая нас. Небо капризно, баас. Иногда оно совсем неожиданно меняет свое лицо и вдруг становится сердитым — точь-в-точь как госпожа Драмана, когда вы вчера отказались взять ее с собой в лодку.

Аллан остановился, чтобы налить себе немного слабого виски с водой, — и резко сказал:

— Вот и конец всей истории. Не знаю, как вы, а я ему рад, ибо у меня пересохло в горле от рассказа. Мы благополучно добрались до моего возка после утомительного перехода по безводной пустыне — и как раз вовремя, потому что прибыли в деревню с тремя патронами на нас обоих. Ведь нам пришлось расстрелять массу зарядов по этим хоу-хойа, когда они напали на нас на озере, а потом по вэллосам, чтобы задержать погоню. Но в повозке их у меня было еще много, и на обратном пути я убил четырех слонов. У них были очень большие бивни, которые я впоследствии продал, чем почти покрыл расходы на поездку.

— А заставил вас старый Зикали платить за быков? — спросил я.

— Нет, потому что я ему сказал, что если он только потребует, то не получит вязанки веток, которые мы срезали с Древа Видений и бережно везли всю дорогу. А так как он очень хотел получить свое зелье, то отдал мне волов задаром. Мало того, своих собственных я нашел жирными и крепкими. Зикали их вылечил. И, удивительное дело, старый мошенник уже знал почти все, что случилось с нами. Может быть, ему рассказывали те служители Хоу-Хоу, что бежали вместе с нами из страны вэллосов. Я забыл сказать, что эти господа — весьма неразговорчивые люди — исчезли во время нашего обратного путешествия. Вдруг их не стало. Я думаю, они обосновались в каком-нибудь уединенном месте и сделались знахарями. Если так, весьма возможно, что кто-нибудь из них вступил в сношения с Зикали, прежде чем я достиг Черного ущелья.

Первое, что он спросил у меня, было:

— Почему ты не привез с собой ни золота, ни алмазов? Ты мог бы сделаться богачом, а вот остался бедным, Макумазан.

— Потому что я забыл попросить о них, — ответил я.

— Да, я знаю, ты забыл попросить о них. Ты так занят был думой о том, как трудно сказать «прости» той прекрасной даме, имени которой я не знаю, что забыл попросить об алмазах. Это очень похоже на тебя, Макумазан. О-хо-хо! Хо-хо! Очень на тебя похоже! — Потом он уставился на огонь, перед которым сидел, как всегда, и прибавил: — Все-таки мне думается, что алмазы сделают тебя богатым в один прекрасный день, когда не будет больше женщины, с которой ты мог бы проститься, Макумазан.

То был удачный выпад с его стороны, ибо, как вы знаете, друзья мои, это предсказание сбылось в копях царя Соломона — не так ли? — «когда не было больше женщины, с которой я мог бы проститься».

Гуд отвернул голову, а Аллан торопливо продолжал, должно быть вспомнив Фулату и заметив, что его невольный намек причинил боль.

— Зикали был очень заинтересован всей нашей историей и оставил меня на несколько дней в Черном ущелье, чтобы я мог ему рассказать все подробности.

— Я знал, что Хоу-Хоу — идол, — сказал он, — но хотел, чтобы ты сам в этом убедился, и я видел, что тот красавец Иссикор умрет. Но я ничего ему не сказал, потому что тогда он мог умереть слишком рано, не доведя вас до своей страны, и я не получил бы моих листьев. А как бы я без них стал бы показывать картины в огне? А теперь у меня есть много листьев от Древа Видений. Мне хватит до конца моих дней. Ныне Древо сгорело, и другого такого нет на земле, и не будет. Я рад, потому что не хочу, чтобы поднялся в стране другой прорицатель, столь же могущественный, как Зикали. Пока росло Древо Видений — верховный жрец Хоу-Хоу был почти столь же велик, но ныне он мертв, и дерево его сгорело, и я, Зикали, царствую один. Вот чего я добивался, Макумазан, и вот зачем я тебя послал в страну Хоу-хойа.

— Хитер ты, старый плут! — воскликнул я.

— Да, Макумазан, я хитер, а ты прост, и сердце мое черно, как моя кожа, а твое сердце бело, как кожа твоя бела. Вот почему я велик, Макумазан, и простираю власть свою над тысячами, и желания мои исполняются, а ты, Макумазан, мал и не имеешь власти и умрешь, не исполнив своих желаний. Но в конце — кто знает? — быть может, в том мире будет иначе. Хоу-Хоу был велик, а ныне где Хоу-Хоу?

— Никакого Хоу-Хоу никогда не было, — сказал я.

— Да, Макумазан, никакого Хоу-Хоу никогда не было, но были жрецы Хоу-Хоу. Разве не так бывает со всеми богами, которых люди создают себе? Их нет и не было, но есть их жрецы, и они поднимают копье могущества и пронзают сердца великим страхом. Что значат боги, которых никто не видит, когда есть жрецы, потрясающие копьями и пронзающие сердца своих почитателей? Бог есть жрец, или жрец есть бог — как тебе больше нравится, Макумазан.

— Так, Зикали, — и не желая пускаться с ним в обсуждение этой темы, я спросил: — Кто изваял статую Хоу-Хоу в пещере Наваждений? Вэллосы этого не знают.

— И я не знаю, Макумазан, — ответил карлик. — Мир очень стар, и были в нем народы, о которых мы ничего не слыхали, — так говорит мне мой дух. Вероятно, один из таких народов и изваял много тысяч лет тому назад — какой-нибудь вторгшийся туда народ, представлявший собой потомков вымершей расы, скрывшейся в укромном месте среди орды дикарей, столь отвратительных, что, казалось, их должны преследовать бесы. Там, в пещере, посредине озера, где никто их не мог потревожить, изваяли они изображение своего бога или, может быть, бога тех дикарей, на которых бог похож.

Может быть, дикари получили свое имя от Хоу-Хоу, а может, Хоу-Хоу от дикарей. Кто знает? Но всегда, когда человек ищет бога, он создает его по своему подобию, только больше, безобразнее и злее, по крайней мере в этой стране, а как в других странах — не знаю. И часто люди говорят, что бог был некогда их вождем, ибо все мы в глубине сердца благодарим наших предков, давших нам жизнь, и часто, так как предки дали нам жизнь, мы их считаем богами. Великие предки были первыми богами, Макумазан, а если бы они не были злы, они бы не были велики. Взгляни на Чаку, Зулусского Льва. Его звали Великим, потому что он был зол и жесток. Так было, так будет.

— Некрасивая эта вера, Зикали, — сказал я.

— Некрасивая, Макумазан. Но в мире мало что красиво, кроме самого мира. Хоу-хойа некрасивы, вернее, не были красивы, ибо, я думаю, ты убил их почти всех, взорвав гору, что было добрым делом. Ни Хоу-Хоу не был красив, ни его жрецы. Только вэллосы, в особенности же их женщины, еще красивы — благодаря древней крови, текущей в них, высокой древней крови, которую Хоу-Хоу высасывал из их вен.

— Но Хоу-Хоу больше нет, Зикали. Что же станется теперь с вэллосами?

— Не могу сказать, Макумазан, но думаю, они последуют за Хоу-Хоу,

который владеет их душами и увлечет их за собой. Если так — невелика беда, Макумазан, потому что они гнилой пень дерева, которое некогда было высоко и прекрасно. Прах времени скрывает много таких пней, Макумазан. Но что из этого? Вырастают другие деревья, которые тоже станут пнями в свое время, и так до скончания веков.

Зикали продолжал в том же духе, хоть я и забыл многое из того, что он сказал. Он изрекал истины, но помню, что их печальный пессимизм действовал на меня угнетающе, и я постарался как можно скорее оборвать эту речь. И ничего она мне не разъяснила — Зикали не знал ни кто такие вэллосы и Волосатый Народ, ни того, как стали они поклоняться Хоу-Хоу, ни каково их происхождение или каков будет их конец.

Все эти вещи оставались и ныне останутся под покровом тайны. С тех пор я ничего не слышал о них. Если и добирался какой-нибудь позднейший исследователь до вэллосских границ, что весьма маловероятно, то вряд ли удавалось ему подняться по реке; а если удавалось, то назад он уже не возвращался. Так что, если хотите узнать что-нибудь в дополнение к этой истории, то должны сами отправиться в экспедицию. Только, как я уже предупреждал, я вам не попутчик.

— Да, — сказал капитан Гуд, — удивительная сказка. Черт возьми, я и сам бы лучше не выдумал!

— Правильно, Гуд, — ответил Аллан, зажигая свечу, — я вполне уверен, что вам такой не выдумать, потому что, понимаете ли, факты — это одно, а то, что вы называете «сказками» — совсем другое. Спокойной ночи всем вам, спокойной ночи.

И он пошел спать.

«ТЕРРА» – «TERRA»



notes

[1] Дингаан — зулусский правитель (1828-1840).

[2] Кафры — устаревшее наименование юго-восточных африканских народов, говорящих на языках группы банту.

[3] Крааль — в Южной Африке название особого типа деревень, состоящих из ульеобразных хижин, окруженных общей изгородью.

[4] Головное кольцо из камеди или латекса — застывшего сока, выделяемого корой некоторых растений — служило у зулусов наградой, дающей возможность вступить в брак.

[5] Инкоси — вождь, правитель (*зулу*).

[6] Процедура подобного *вынюхивания* подробно описана в «Копях Царя Соломона».

[7] Иньянга — врачеватель, знахарь у зулусов, лечащий травами и заговорами (*зулу*).

[8] Готтентоты — одна из коренных народностей, живущих в Южной Африке.

[9] Ляпис — азотнокислое серебро, средство для прижигания.

[10] Чака — зулусский правитель (1816-1828), объединивший родственные зулусам племена и создавший могущественную зулусскую империю.

[11] Инкосикази — главная жена вождя, правительница (*зулу*).

[12] Миля — английская мера длины, равная 1609 м.

[13] У зулусов существует обычай не употреблять в разговоре настоящее имя вождя, особенно умершего.

[14] На самом деле, лишь Дингаан и Мхлангана были единокровными братьями Чаки, а Мбопа служил советником Чаки.

[15] Индуна — советник, старейшина (*зулу*).

[16] Самоназвание зулусов — *амазулу*, что означает «сыны неба».

[17] Ассегай — копье или дротик у зулусов.

[18] Муча (правильнее — умутша) — набедренная повязка, передник.

[19] Господин (*африкаанс*).

[20] Наталь — область в Южной Африке, в то время принадлежавшая англичанам.

[21] Так называют кафры пушки. — *А.К.*

[22] Сакубона — приветствие у зулусов, означающее дословно «Вижу тебя».

[23] Ярд — английская мера длины, равная 91,4 см.

[24] Каломель — лекарственный препарат, желчегонное и слабительное средство.

[25] Делагоа — порт и бухта на Юго-Восточном побережье Африки.

[26] Первоначально зулусские воины были вооружены лишь легкими метательными ассегаями, но Чака ввел в употребление тяжелые ассегаи, применявшиеся в ближнем бою.

[27] Фунт стерлингов — английская золотая монета, крупная денежная единица.

[28] Дюйм — английская мера длины, равная примерно 2,5 см.

[29] Инкосазана — принцесса царствующего рода у зулусов (*зулу*).

[30] Ипекакуана — лекарственное растение, применяемое как отхаркивающее и рвотное средство.

[31] Каросс — плащ, накидка или одеяло из шкур.

[32] У зулусов юноши участвовали в боевых действиях в качестве *у-диби* — носильщиков циновок, водоносов и т.д.

[33] Да исполнится воля твоя! (*зулу*)

[34] Зулусы, поразив врага, говорят, что «они поели».

[35] Шиллинг — английская монета, равная 1/20 фунта стерлингов.

[36] 16 декабря 1838 г. объединенные силы англичан и буров нанесли сокрушительное поражение зулусским войскам в долине реки Инкоме, которая после этого получила название Блад (Кровавая).

[37] Унция — английская мера веса, равная 28,35 г.

[38] Йоркшир — графство на севере Англии.

[39] Сквайр — здесь: помещик.

[40] Кения — вторая по высоте вершина Африки (5199 м), расположенная в Восточной Африке, на территории Кении.

[41] Ламу — порт в Кении на побережье Индийского океана.

[42] Занзибар — остров в Индийском океане, у восточного побережья Африки.

[43] Момбаса — город в Кении, один из крупнейших портов Восточной Африки.

[44] Аден — порт на Аравийском полуострове.

[45] Масаи — африканский народ, живущий на территории Кении и Танзании.

[46] Аскари — рядовой солдат из числа туземных жителей в тропической Африке.

[47] Ваква — африканский народ языковой группы банту, обитающий в основном на территории Мозамбика.

[48] У зулусов существует обычай, что человек, достигший известных

лет и положения, получает право носить кольцо, сделанное из черной камеди, вплетенное в волосы и отполированное, как бриллиант. Почетное положение супруга нескольких жен также дает право носить такое кольцо. Пока человек не носит кольца, на него смотрят как на юношу, хотя ему может быть тридцать пять или более лет. — *А.К.*

[49] Баба — отец (*зулу*).

[50] Зулусы имеют обыкновение вскрывать живот умершему врагу. У них существует суеверие, что если не сделать этого, то труп распухнет, так же как тело его убийцы. На жаре первое происходит достаточно часто. — *А.К.*

[51] Нет сомнения, что крик совы, как я узнал потом, служит сигналом у масаев. — *А.К.*

[52] Акр — английская мера площади, равная примерно 0,4 га.

[53] Выдающееся произведение (*лат.*).

[54] Я видел сотни подобных мечей потом, но никогда не мог понять, как вставляются пластинки золота в сталь клинка. Оружейники Зу-венди, которые изготовляют мечи, дают клятву никому не открывать секрета. — *А.К.*

[55] Позднее я узнал, что этот топор принадлежал дикарю, прозванному «Непобедимым». — *А.К.*

[56] Фунт — английская мера веса, равная 454 г.

[57] Бушмены — африканский народ, коренное население Южной и Восточной Африки, практически полностью истребленное европейцами.

[58] Молодые воины-масаи не имеют собственности. Вся добыча, которую они приобретают в битве, принадлежит их отцам и старейшинам. — *А.К.*

[59] Масаи в апреле 1886 г. действительно убили миссионера Гутона и его жену в описанном месте на берегу Таны; это были первые белые люди, которые пали жертвами жестокого племени. — *Примеч. автора.*

[60] Крез — царь древнегреческого государства Лидии, считавшийся одним из богатейших людей древности. Его имя стало символом богатства.

[61] Анероид — вид металлического барометра.

[62] В некоторых древнегреческих мифах рассказывается о старике-перевозчике, переправлявшем в своей лодке через реку Стикс в подземное царство Аид души умерших людей.

[63] По шкале Фаренгейта, т.е. свыше 80° по шкале Цельсия.

[64] Вероятно, м-р Квотермейн не знал, что у народа, обоготворяющего животных, существует обычай ежегодно приносить его в жертву богам. Смотри Геродота, 42. — *Примеч. автора.*

[65] Согласно ветхозаветному преданию, двенадцать сыновей библейского патриарха Иакова стали родоначальниками двенадцати израильских племен, от которых ведет происхождение еврейский народ.

[66] Парсы — потомки древних иранцев, поклонявшихся огню.

[67] Гиератическое письмо — упрощенная, скорописная разновидность письма в Древнем Египте.

[68] В Зу-венди члены королевского дома должны быть обвенчаны великим жрецом или официально назначенным представителем жреческой касты. — *А. К.*

[69] В Стране Зу-венди есть обычай носить умерших офицеров на сложенных в виде носилок копьях солдат. — *А.К.*

[70] Я не знаю, кто этот Галаци. Умслопогас никогда не говорил мне про него. — *А.К.*

[71] Автор имеет в виду холм Маюба, где английские войска потерпели поражение в бою с восставшими бурами.

[72] В переводе этой повести транскрипция некоторых имен, фамилий и понятий несколько отличается от общеупотребительной. — *Примеч. ред.*

[73] В силу особенностей английского права Куотермэн не унаследовал состояния жены.

[74] Произведение английского поэта Р. Г. Барема (1788-1845), писавшего под псевдонимом Томас Инголдсби.

[75] Крааль — здесь: загон для скота (*зулу*).

[76] Имеется в виду миссионерское общество.

[77] Имеется в виду Оранжевое Свободное государство. Провозглашение этой республики состоялось в 1854 г.

[78] Среди зулусских знахарей были специалисты по выявлению тайных колдунов.

[79] Моселекатсе (правильнее — Мзиликази) (ок.1790 -1868) около 1822 г. возглавил несколько родов, составивших в дальнейшем ядро народа атабеле в нынешней Родезии (Зимбабве).

[80] Фарлонг — 201 м.

[81] Трек — переселение (*голл.*).

[82] Менеер — господин мой (*голл.*).

[83] Предикант — миссионер (*голл.*).

[84] Хеер — господин (*голл.*).

[85] Мтетва — родственное зулусам племя, входившее в число подданных зулусской империи.

[86] Схепсел — тип (*голл.*).

[87] Мтетва — легендарный прародитель одноименного племени.

[88] Хе! — боевой клич зулусских воинов.

[89] Между человеком и обезьяной.

[90] Бабуин. — *Примеч. автора.*

[91] Английская пинта — 0,57 л.

[92] Краали, сходные с теми, которые описал мистер Куотермэн, были обнаружены в трансваальском округе Марико. Один из них изображен в книге мистера Андерсона «Двадцать пять лет в фургоне», т. II, стр. 55. — *Примеч. автора.*

[93] Аналогичный случай описан у Андерсона: «Двадцать пять лет в фургоне», т.I, стр.262. — Примеч. автора.

[94] Автор должен сказать, что настоящая повесть написана незадолго до открытия в Родезии окаменелых и чрезвычайно древних останков проточеловека, который вполне мог бы принадлежать к племени Хоу-хойа, «волосатых лесных жителей», о коих книга эта говорит устами Аллана Квотермейна. — Примеч. автора.

[95] Темпль — район Лондона.

[96] Анаконда — змея семейства удавов.

[97] Драконовы горы — горная гряда в Юго-Восточной Африке.

[98] Имеется в виду африканское побережье Индийского океана.

[99] С глазу на глаз (*фр*.).

[100] «Грэфик» — иллюстрированный лондонский журнал.

[101] Как поживаете? (*англ*.)

[102] Миримидон — здесь: верный слуга.

[103] Гадес (Аид) — в древнегреческой мифологии: царство мертвых, которым правил одноименный царь.

[104] Геркуланум и Помпеи — древнеримские города, погибшие при извержении вулкана Везувий.

[105] Восковые спички. Сделано в Англии (*англ*.).

[106] Дакка — одурманивающая конопля, которую курят туземцы.

[107] Лучшие восковые спички (*англ*.).